

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ВИКТОР ГЮГО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 15 ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1954

ВИКТОР ГЮГО

ТОМ ШЕСТОЙ



ОТВЕРЖЕННЫЕ

*Части
первая и вторая*



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1954

Издание осуществляется под редакцией

В. Н. Николаева, А. И. Пузикова,

М. С. Трескунова.

Перевод с французского.

До тех пор, пока силою законов и нравов будет существовать социальное проклятие, которое среди расцвета цивилизации искусственно создает ад и отягчает судьбу, зависящую от бога, роковым предопределением человеческим; до тех пор, пока не будут разрешены три основные проблемы нашего века — принижение мужчины вследствие принадлежности его к классу пролетариата, падение женщины вследствие голода, увядание ребенка вследствие мрака невежества; до тех пор, пока в некоторых слоях общества будет существовать социальное удушение; иными словами и с точки зрения еще более широкой — до тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, не бесполезными.

Отвиль-Хауз, 1862 г.

ЧАСТЬ I

ФАНТИНА

Книга первая

ПРАВЕДНИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Господин Мириэль

В 1815 году Шарль-Франсуа-Бьенвеню Мириэль был епископом города Диня. Это был старик лет семидесяти пяти; архиерейский престол в Дине он занимал с 1806 года.

Хотя это обстоятельство никак не затрагивает сущности того, о чем мы собираемся рассказать, будет, пожалуй, небесполезно, для соблюдения полнейшей точности, упомянуть здесь о толках и пересудах, вызванных в епархии приездом г-на Мириэля. Правдива или лжива людская молва, она часто играет в жизни человека, и особенно в дальнейшей его судьбе, не менее важную роль, чем его собственные поступки. Г-н Мириэль был сыном советника судебной палаты в Эксе и, следовательно, принадлежал к судейской аристократии. Рассказывали, что его отец, желая передать ему по наследству свою должность и придерживаясь обычая, весьма распространенного тогда в кругу судейских чиновников, женил сына очень рано, когда тому было лет восемнадцать — двадцать. Однако, если верить слухам, Шарль Мириэль и после женитьбы давал обильную пищу для разговоров. Он был хорошо сложен, хотя и несколько мал ростом, изящен, ловок, остроумен; первую половину своей жизни он целиком посвятил свету и любовным похождениям.

Но вот пришла революция; события стремительно сменялись одно другим; семьи судейских чиновников, поредевшие, преследуемые, гонимые, рассеялись в разные стороны. Шарль Мириэль в первые же дни революции эмигриро-

вал в Италию. Там его жена умерла от грудной болезни, которой давно уже страдала. Детей у них не было. Как же сложилась дальнейшая судьба Мириэля? Крушение старого французского общества, гибель собственной семьи, трагические события 93-го года, быть может еще более страшные для эмигрантов, следивших за ними издали, сквозь призму своего отчаяния, — не это ли впервые заронило в его душу мысль об отречении от мира и одиночестве? Не был ли он в разгаре каких-нибудь развлечений и увлечений, заполнявших его жизнь, внезапно поражен одним из тех таинственных и грозных ударов, которые порой, попадая прямо в сердце, повергают во прах человека, способного устоять перед общественной катастрофой, ломающей его существование и уничтожающей материальное благополучие? Никто не мог бы ответить на эти вопросы; знали только, что из Италии Мириэль вернулся священником.

В 1804 году г-н Мириэль был приходским священником в Бриньоле. Он был уже стар и жил в глубоком уединении.

Незадолго до коронации какое-то незначительное дело, касающееся его прихода, — теперь уже трудно установить какое именно, — привело его в Париж. Среди прочих власть имущих особ, к которым он обращался с ходатайством за своих прихожан, ему пришлось побывать у кардинала Феша. Как-то раз, когда император приехал навестить своего дядю, почтенный кюре, ожидавший в приемной, оказался лицом к лицу с его величеством. Заметив, что старик с любопытством его рассматривает, Наполеон обернулся и резко спросил:

— Что вы, добрый человек, так на меня смотрите?

— Государь, — ответил Мириэль, — вы видите доброго человека, а я — великого. Каждый из нас может извлечь из этого некоторую пользу.

В тот же вечер император спросил у кардинала об имени этого кюре, и немного времени спустя г-н Мириэль с изумлением узнал о том, что его назначили епископом в Динь.

Впрочем, насколько достоверны были рассказы о первой половине жизни г-на Мириэля, никто не знал. Семья Мириэля была мало известна до революции.

Господину Мириэлю пришлось испытать судьбу всякого нового человека, попавшего в маленький городок, где много языков, которые болтают, и очень мало голов, которые думают. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом, и именно потому, что он был епископом. Впрочем, слухи, которые люди связывали с его именем, были всего только слухи, намеки, словечки, пустые речи, попросту говоря — *околесица*, прибегая к выразительному языку южан.

Как бы то ни было, но после девятилетнего пребывания епископа в Дине все эти рассказы и кривотолки, которые всегда занимают вначале маленький городок и маленьких людей, были преданы глубокому забвению. Никто не осмелился бы теперь их повторить, никто не осмелился бы даже вспомнить о них.

Господин Мириэль прибыл в Динь вместе с пожилой девицею, м-ль Батистиной, своей сестрой, которая была моложе его на десять лет.

Их единственная служанка, г-жа Маглуар, ровесница м-ль Батистины, бывшая прежде «служанкой господина кюре», получила теперь двойное звание: «горничной м-ль Батистины» и «экономки его преосвященства».

Мадмуазель Батистина была высокая, бледная, худощавая и кроткая особа. Она олицетворяла собою идеал всего того, что заключается в слове «достоуважаемая», ибо, как нам кажется, одно лишь материнство дает женщине право называться «досточтимой». Она никогда не была хороша собой, но ее жизнь, являвшаяся непрерывной цепью добрых дел, в конце концов придала ее облику какую-то белизну, какую-то ясность, и, состарившись, она приобрела то, что можно было бы назвать «красотой доброты». Что в молодости было худобой, в зрелом возрасте обратилось в воздушность, и сквозь эту прозрачную оболочку просвечивал ангел. Это была девственница, более того — это была сама душа. Она казалась сотканной из тени; ровно столько плоти, сколько нужно, чтобы слегка наметить пол; комочек материи, светящийся изнутри; большие глаза, всегда опущенные долу, словно душа ее искала предлога для своего пребывания на земле.

Госпожа Маглуар была маленькая старушка, седая, полная, даже тучная, хлопотливая, всегда задыхавшаяся,

во-первых, от постоянной беготни, во-вторых — из-за мучившей ее астмы.

Когда г-н Мириэль прибыл в город, его с почестями водворили в епископском дворце, согласно императорскому декрету, который в списке чинов и званий ставит епископа непосредственно после генерал-майора. Мэр и председатель суда первые нанесли ему визит; к генералу же и префекту первым поехал г-н Мириэль.

Когда епископ вступил в должность, город стал ждать, каким он окажется на деле.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Господин Мириэль превращается в монсеньора Бьенвеню

Епископский дворец в Дине примыкал к больнице.

Это было огромное и прекрасное каменное здание, построенное в начале прошлого столетия монсеньором Анри Пюже — доктором богословия Парижского университета, аббатом Симорским, занимавшим архиерейский престол в Дине в 1712 году. Это был поистине княжеский дворец. Все здесь имело величественный вид: и апартаменты епископа, и гостиные, и парадные покои, и двор, весьма обширный, со сводчатыми галереями в старинном флорентийском вкусе, и сады с великолепными деревьями. В столовой — длинной и роскошной галерее, которая была расположена в нижнем этаже и выходила в сад, — монсеньор Анри Пюже дал 29 июля 1714 года парадный обед, где присутствовали монсеньоры: Шарль Брюлар де Жанлис, архиепископ князь Амбреньский; Антуан де Мегриньи, капуцин, епископ Грасский; Филипп Вандомский, великий приор Франции; аббат Сент-Оноре Леренский; Франсуа де Бертон Крильонский, епископ, барон Ванский; Сезар де Сабран Форкалькьерский, владетельный епископ Гландевский, и Жан Соанен, пресвитер оратории, придворный королевский проповедник, владетельный епископ Сенезский. Портреты этих семи высокочтимых особ украшали стены столовой, и знаменательная дата — 29 июля 1714 года — была золотыми буквами выгравирована на белой мраморной доске.

Больница помещалась в тесном, низеньком двухэтажном доме, при котором был небольшой садик.

Через три дня после приезда епископ посетил больницу, а затем попросил смотрителя пожаловать к нему.

— Господин смотритель, сколько больных у вас в настоящее время? — спросил он.

— Двадцать шесть, монсеньор.

— Да, я насчитал столько же, — подтвердил епископ.

— Кровати стоят слишком близко одна к другой, — добавил смотритель больницы.

— Да, я это тоже заметил.

— Комнаты не приспособлены для палат, и проветривать их довольно затруднительно.

— Да, и мне показалось, что это так.

— И знаете ли, когда выпадает солнечный день, садик далеко не вмещает всех выздоравливающих.

— И я подумал об этом.

— Во время эпидемий — в нынешнем году это был тиф, а два года тому назад горячка — у нас иногда до сотни больных, и мы просто не знаем, что с ними делать.

— Да, эта мысль тоже пришла мне в голову.

— Ничего не поделаешь, монсеньор, — сказал смотритель, — приходится мириться.

Этот разговор происходил в столовой нижнего этажа, имевшей форму галереи.

С минуту епископ хранил молчание.

— Сударь, — спросил он вдруг смотрителя больницы, — сколько кроватей могло бы, по-вашему, поместиться в одной этой комнате?

— В столовой вашего высокопреосвященства? — с изумлением вскричал смотритель.

Епископ обводил комнату взглядом и, казалось, мысленно производил какие-то измерения и расчеты.

— Здесь можно разместить не менее двадцати кроватей, — сказал он как бы про себя. — Послушайте, господин смотритель, я вот что хочу сказать, — продолжал он громче. — Тут, повидимому, какая-то ошибка. Вас двадцать шесть человек, и вы ютитесь в пяти или шести маленьких комнатках. Нас же только трое, а места у нас хватит на шестьдесят человек. Повторяю, тут явная ошибка. Вы заняли мое жилище, а я ваше. Верните мне мой дом. Здесь же — хозяева вы.

На следующий день все двадцать шесть больных бедняков были переведены в епископский дворец, а епископ занял больничный домик.

Господин Мириэль не имел состояния, так как семья его была разорена во время революции. Его сестра пользовалась пожизненной рентой в пятьсот франков, которых при их скромной жизни в церковном доме хватало на ее личные расходы. Как епископ, г-н Мириэль получал от государства содержание в пятнадцать тысяч ливров. Перебравшись в больницу, он в тот же день, раз и навсегда, определил расходование этой суммы следующим образом. Приводим смету, написанную им собственноручно:

СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОИХ ДОМАШНИХ РАСХОДОВ

На малую семинарию	тысяча пятьсот ливров
Миссионерской конгрегации	сто ливров
На лазаристов в Мондидье	сто ливров
Семинарии иностранных духовных миссий в Париже	двести ливров
Конгрегации св. Духа	сто пятьдесят ливров
Духовным заведениям Святой Земли	сто ливров
Обществам призрения сирот	триста ливров
Сверх того, тем же обществам в Арле	пятьдесят ливров
Благотворительному обществу по улучшению содержания тюрем	четыреста ливров
Благотворительному обществу вспомоществования и освобождения заключенных	пятьсот ливров
На выкуп из долговой тюрьмы отцов семейств	тысяча ливров
На прибавку к жалованью нуждающимся школьным учителям епархии	две тысячи ливров
На запасные хлебные магазины в департаменте Верхних Альп	сто ливров
Женской конгрегации в городах Динь, Манок и Систерон на бесплатное обучение девочек из бедных семей	тысяча пятьсот ливров
На бедных	шесть тысяч ливров
На мои личные расходы	тысяча ливров

Итого — пятнадцать тысяч ливров.

За все время своего пребывания в Дине епископ Мириэль ничего не изменил в этой записи. Как мы видим, он называл ее «сметой распределения своих домашних расходов».

Мадмуазель Батистина приняла такое распределение средств с полной покорностью. Для этой святой девушки диньский епископ являлся одновременно и братом и пастырем; другом — по закону кровного родства и наставником — по закону церкви. Она любила его и благоговела перед ним, не мудрствуя лукаво. Когда он говорил, она слушала без возражений; когда он действовал, она безоговорочно одобряла. Одна лишь служанка, г-жа Маглуар, потихоньку ворчала. Как мы могли заметить, епископ оставил себе только тысячу ливров, что вместе с пенсией м-ль Батистины составляло полторы тысячи ливров в год. На эти-то полторы тысячи и жили две старые женщины и старик.

А когда в Динь приезжал какой-нибудь сельский священник, епископ ухитрялся еще благодаря строгой экономии г-жи Маглуар и умелому хозяйничанью м-ль Батистины угостить его хорошим обедом.

Однажды — это было месяца через три после прибытия в Динь — он сказал:

— А все-таки я очень стеснен в средствах!

— Еще бы! — вскричала г-жа Маглуар. — Ведь ваше преосвященство не требовали с департамента даже разъездных, которые вам ежегодно обязаны выдавать на содержание городского экипажа и на поездки по епархии. Прежние епископы всегда пользовались этими деньгами.

— А ведь и в самом деле! — сказал епископ. — Госпожа Маглуар, вы совершенно правы.

И он написал соответствующее ходатайство.

Через некоторое время генеральный совет, приняв требование епископа во внимание, назначил ему ежегодную сумму в три тысячи франков, занеся ее в следующую статью расхода: «Ассигнование г-ну епископу на содержание экипажа, на почтовые кареты и на разъезды по епархии».

Это произвело большой шум среди местной буржуазии, и один сенатор Империи, бывший член Совета пятисот, выказавший себя сторонником 18 брюмера и получивший в окрестностях Диня великолепное сенаторское поместье, написал по этому случаю министру вероисповеданий, г-ну Бигу де Преаме, конфиденциальную, исполненную раздражения записку, из которой мы дословно приводим следующие строки:

«Издержки на содержание экипажа! На что нужен экипаж в городе, где нет и четырех тысяч жителей? Издержки на разъезды по епархии! Да, во-первых, кому они нужны, эти разъезды? А во-вторых, как можно разъезжать на почтовых в этой гористой местности? Здесь нет дорог. Ездить можно только верхом. Мост через Дюрансу у Шато-Арну, и тот едва выдерживает тяжесть двухколесной тележки, запряженной волами. Все эти священники на один лад — жадны и скупы. Этот притворился для начала порядочным человеком. Теперь он поступает так же, как остальные. Ему понадобились экипажи и почтовые кареты! Как и прежним епископам, ему понадобилась роскошь. Ох, уж эти мне попы! Поверьте, господин граф, до тех пор пока император не освободит нас от всех этих долгополых, ничего хорошего не будет. Долой папу! (Дела с Римом запутывались.) Что до меня, я за Цезаря, и только за Цезаря. И т. д. и т. д.».

Зато эти деньги очень обрадовали г-жу Маглуар.

— Вот и хорошо, — сказала она Батистине. — Его vysokoпресвященство начал с других, но в конце концов пришлось ему подумать и о себе. Все свои благотворительные дела он уладил. А уж эти три тысячи пойдут на нас самих. Наконец-то!

В тот же вечер епископ написал и вручил сестре такого рода памятку:

СУММА НА СОДЕРЖАНИЕ ЭКИПАЖА И НА РАЗЪЕЗДЫ

На мясной бульон для лазаретных больных	тысяча пятьсот ливров
На общество призрения сирот в Эксе	двести пятьдесят ливров
На общество призрения сирот в Драгиньяне	двести пятьдесят ливров
На подкидышей	пятьсот ливров
На сирот	пятьсот ливров

Итого — три тысячи ливров.

Таков был бюджет епископа Мириэля.

Что касается побочных епископских доходов — с церковных оглашений, разрешений, крестин, проповедей, с освящения церквей или часовен, венчаний и т. д., то епископ с тем большим рвением взимал деньги с богатых, что целиком отдавал их бедным.

В скором времени пожертвования начали стекаться к нему со всех сторон. Как имущие, так и неимущие — все стучались в двери г-на Мириэля; одни приходили за милостыней, другие приносили ее. Не прошло и года, как епископ сделался казначеем всех благотворителей и кассиром всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки, но ничто не могло заставить его изменить свой образ жизни и позволить себе хотя бы малейшее излишество сверх необходимого.

Напротив. Так как всегда больше нужды внизу, чем братского милосердия наверху, то, можно сказать, все раздавалось еще до того, как получалось, — так исчезает вода в сухой земле. Сколько бы ни получал епископ, ему всегда нехватало. И тогда он грабил самого себя.

Согласно обычаю, епископы всегда проставляли на заголовках пастырских посланий и приказов все имена, данные им при крещении, и местные бедняки, руководимые любовью к своему епископу, из всех его имен бессознательно выбрали то, которое показалось им наиболее исполненным смысла. Они стали называть его не иначе, как «монсеньор Бьенвеню»¹. Мы последуем их примеру и при случае будем называть его так же. Тем более что это прозвище нравилось и ему самому. «Я люблю это имя, — говорил он. — Бьенвеню служит поправкой к «монсеньору».

Мы не притязаем на то, что портрет, нарисованный нами здесь, правдоподобен; скажем только одно — он правдив.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Доброму епископу трудная епархия

Обратив свою почтовую карету в милостыню для бедных, епископ отнюдь не прекратил своих разъездов. Между тем путешествовать по диньской епархии утомительно. Там мало равнин, много гор и почти нет дорог, о чем мы уже знаем из предыдущей главы; там тридцать два церковных прихода, сорок один ~~викариат~~ и двести ~~во~~ семьдесят пять церквей, подчиненных его преосвященству

¹ Бьенвеню (bienvenu) — желанный; желанный гость.

Объехать все это — нелегкое дело. Но епископ преодолевал все трудности. Он отправлялся пешком, когда идти было недалеко, в одноколке — если предстояло ехать по равнине, и верхом — в горы. Обе старушки сопровождали его. В тех случаях, когда путешествие оказывалось им не под силу, он уезжал один.

Однажды он прибыл в старинную епископскую резиденцию Сенез верхом на осле. Кошелек его был в ту пору почти совершенно пуст и не позволял ему какого-либо иного способа передвижения. Мэр города, встретивший его у подъезда епископского дворца, смотрел негодующим взглядом, как монсеньор слезает с осла. Несколько горожан вокруг пересмеивались. «Господин мэр и вы, господа горожане, — сказал епископ, — мне понятно ваше негодование. Вы находите, что со стороны такого скромного священника, как я, слишком большая дерзость ездить на животном, на котором восседал сам Иисус Христос. Уверяю вас, я сделал это по необходимости, а вовсе не из тщеславия».

Во время своих объездов он бывал снисходителен, кроток и не столько поучал людей, сколько беседовал с ними. За доводами и примерами для подражания он далеко не ходил. Жителям одной местности он приводил как образец другую, соседнюю. В округах, где не сочувствовали беднякам, он говорил: «Посмотрите на жителей Бриансона. Они разрешили неимущим, вдовам и сиротам косить луга на три дня раньше, нежели всем остальным. Они даром отстраивают им дома, когда старые разрушаются. И бог благословил эту местность. За целое столетие там не было ни одного убийства».

В деревнях, где все падки до наживы и стремятся поскорее убрать с поля собственный урожай, он говорил: «Посмотрите на жителей Амбрена. Если отец семейства, у которого сыновья находятся в армии, а дочери служат в городе, заболит во время жатвы и не может работать, то священник упоминает о нем в своей проповеди, и в воскресенье после обедни все поселяне — мужчины, женщины, дети — идут на поле этого бедняка, собирают его урожай и сносят солому и зерно в его амбар». Семьям, в которых происходили раздоры из-за денег или наследства, он говорил: «Посмотрите на горцев Девольни, этой дикой местности, где ни разу за пятьдесят лет не услышишь соловья.

Так вот, когда там умирает глава семьи, сыновья уходят на заработки и все имущество оставляют сестрам, чтобы те могли найти себе мужей». В округах, где любили сутяжничать и где фермеры разорялись на гербовую бумагу, он говорил: «Посмотрите на добрых крестьян Кейрасской долины. Их три тысячи душ. Господи боже! Да это настоящая маленькая республика! Там не знают ни судьи, ни судебного пристава. Мэр все делает сам. Он раскладывает налоги, облагая каждого по совести; бесплатно разбирает ссоры, безвозмездно производит раздел имущества между наследниками; выносит приговоры, не требуя покрытия судебных издержек, и простые люди повинуются ему, как справедливому человеку». В деревнях, где не было школьных учителей, он опять-таки ссылался на кейрасцев. «Знаете, как они поступают? — говорил он. — Маленькое селенье в двенадцать или пятнадцать дворов не всегда может прокормить учителя, и вот они сообща, всей долиной, нанимают нескольких наставников, которые и учат, переходя из деревни в деревню и проводя недельку в одной, дней десять в другой. Эти учителя бывают на ярмарках, там я и видел их. Вы сразу можете узнать их по гусиным перьям, засунутым за шнурок шляпы. Те из них, которые обучают только грамоте, носят одно перо; те, которые обучают грамоте и счету, — два пера; те, которые обучают грамоте, счету и латыни, — три пера. Эти последние — великие ученые. Ну, не стыдно ли оставаться невеждами! Поступайте же, как кейрасцы».

Таковы были его речи, серьезные и отечески-заботливые; если нехватало ему примеров, он придумывал притчи, прямо ведущие к цели, немногословные, но образные, — этой особенностью отличалось и красноречие самого Иисуса Христа, проникнутое убеждением, а потому убедительное.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Слово не расходится с делом

Его беседа была исполнена приветливости и веселья. Он умел приноровиться к понятиям двух старушек, чья жизнь протекала вблизи него; смеялся он от души, как школьник.

Госпожа Маглуар любила называть его ваше «высокопреподобие». Однажды, поднявшись с кресла, он подошел к книжному шкафу за какой-то книгой. А стояла она на одной из верхних полок. Епископ был мал ростом и не мог достать ее. «Госпожа Маглуар, — сказал он, — принесите мне стул. Мое высокопреподобие недостаточно высоко, чтобы дотянуться до этой полки».

Одна из его дальних родственников, графиня де Ло, редко упускала случай перечислить при встрече с ним то, что она называла «надеждами» своих трех сыновей. У нее было несколько престарелых и, по всей вероятности, близких к смерти родственников по восходящей линии, прямыми наследниками которых являлись ее сыновья. Младшему предстояло получить после двоюродной бабушки не менее ста тысяч ливров ренты; средний должен был унаследовать от своего дядюшки герцогский титул; старшего ждал после смерти деда титул пэра. Обычно епископ молча слушал это простодушное и вполне простибельное материнское хвастовство. Но как-то раз, когда г-жа де Ло без конца повторяла подробности всех этих наследств и всех этих «надежд», епископ показался ей более рассеянным, чем всегда. Прервав свои излияния, она спросила не без досады: «Ах, бог мой! Да о чем вы задумались, кузен?» — «Я думаю, — ответил епископ, — об одной странной вещи, прочитанной мною, кажется, у блаженного Августина: «Возложите надежды ваши на того, кому никто не наследует».

В другой раз, получив письмо, в котором его просили присутствовать на погребении одного местного дворянина и где на целой странице торжественно перечислялись не только титулы покойного, но и все ленные и аристократические звания его родных, епископ вскричал: «Ну и крепкая же спина у смерти! Просто удивительно, какой груз титулов беззаботно взвалили на нее люди и как остроумно сумели они использовать для своего тщеславия даже могилу!»

При случае он любил пошутить, но его легкая насмешка почти всегда скрывала серьезную мысль. Однажды во время поста в День приехал молодой викарий и произнес в соборе проповедь. Он оказался довольно красноречивым. Темой его проповеди было милосердие. Он увещевал богатых помогать неимущим, дабы избежать ада,

который он обрисовал в самых мрачных красках, и заслужить рай, который он изобразил полным блаженства и очарования. В числе прочих прихожан был богатый, удалившийся от дел торговец, немножко ростовщик, по имени г-н Жеборан, наживший два миллиона выделкой толстых сукон, разных сортов саржи и фесок. Ни разу в жизни Жеборан не подал милостыни ни одному нищему. После этой проповеди было замечено, что он каждое воскресенье подает одно су старухам нищенкам, стоящим на паперти собора. Эта подачка приходилась на шесть человек. Увидев, как Жеборан совершает свой акт милосердия, епископ с улыбкой сказал сестре: «Посмотри, вон господин Жеборан покупает себе на одно су царствия небесного».

Когда дело касалось милостыни, епископа не обескураживал отказ, и он нередко находил в этих случаях такие слова, которые заставляли призадуматься. Однажды он собирал пожертвования для бедных в одном из городских салонов. В числе гостей был маркиз де Шантерсье, старый богатый и скупой человек, ухитрявшийся быть одновременно и ультрароялистом и ультравольтерианцем, — подобная разновидность существовала в то время. Епископ подошел к нему и тронул его за плечо. «Вы должны что-нибудь дать мне, господин маркиз». Маркиз оглянулся и сухо возразил: «Монсеньор, у меня есть свои бедные». — «Так отдайте их мне», — сказал епископ.

Как-то раз он произнес в соборе такую проповедь:

«Возлюбленные мои братья, добрые друзья мои, во Франции есть миллион триста двадцать тысяч крестьянских домов с тремя отверстиями, миллион восьмьсот семнадцать тысяч домов с двумя отверстиями — дверью и окном, и, наконец, триста сорок шесть тысяч лачуг, в которых только одно отверстие — дверь. Причиной этому является вещь, называемая налогом на двери и окна. Поселите-ка в этих жилищах семьи бедняков, старых женщин, маленьких детей — вот вам и лихорадка и всякие болезни! Увы! Бог дарит людям воздух, а закон продает его. Я не осуждаю закон, но славлю бога. В Изере, в Варе, в Альпах, и в Верхних и в Нижних, у крестьян нет даже тачек, они переносят навоз на себе; у них нет свечей, они жгут смолистую лучину и обрывки веревок, пропитанные древесной смолой. Так водится в селениях Верхнего Дофине. Хлеб крестьяне пекут раз в полгода; они пекут его на высушен-

ном коровьем помете. Зимой они разрубают этот хлеб топором и целые сутки размачивают в воде, чтобы можно было его есть. Сжальтесь же, братья, взгляните, как страдают люди вокруг вас!»

Будучи уроженцем Прованса, он быстро усвоил все местные говоры Южной Франции и при случае употреблял выражения жителей нижнего Лангедока, Нижних Альп или Верхнего Дофине. Это очень нравилось простому народу и в значительной степени облегчало епископу доступ ко всем сердцам. В хижинах и в горах он был как у себя дома. О самых возвышенных вещах он умел говорить самыми обычными, понятными народу словами и, владея всеми наречиями, проникал во все души.

Впрочем, он держался одинаково и с простолюдинами и со знатью.

Он никого не осуждал поспешно, не вникнув в обстоятельства дела. Он говорил: «Проследим путь, по которому прошел грех».

«Бывший грешник», как он с улыбкой называл себя сам, он не впадал в крайности ригоризма и вполне открыто, не хмурия бровей, подобно свирепым святошам, проповедовал учение, которое можно было бы вкратце изложить приблизительно так:

«Человек облечен в плоть, которая является для него одновременно и тяжким бременем и искушением. Он влачит ее и покоряется ей.

Он должен строго следить за ней, обуздывать, подавлять ее и подчиняться ей только в крайнем случае. В этом подчинении также может скрываться грех, но, совершенный таким образом, грех простителен. Это падение, но падение коленопреклоненного, которое может завершиться молитвой.

Быть святым — исключение; быть справедливым — правило. Заблуждайтесь, падайте, грешите, но будьте справедливы.

Как можно меньше грешить — вот закон для человека. Совсем не грешить — это мечта ангела. Все земное подвластно греху. Грех обладает силой притяжения».

Когда по какому-нибудь случаю все начинали громко кричать и спешили высказать свое возмущение, он говорил, улыбаясь: «Ого! Тут, как видно, дело идет о крупном прегрешении, в котором повинен каждый. Вот почему те, у

кого рыльце в пуху, испугались и так торопятся отвести от себя подозрение».

Он был снисходителен к женщинам и беднякам, на которых лежит тяжкий гнет человеческого общества. Он говорил: «В проступках жен, детей, слуг, слабых, бедняков и невежд виноваты мужья, отцы, хозяева, сильные, богатые и ученые».

Он говорил также: «Учите невежественных людей всему, чему только можете; общество виновно в том, что не дает бесплатного обучения; оно ответственно за темноту, которую насаждает. Когда душа исполнена мрака, в ней зреет грех. Виновен не тот, кто грешит, а тот, кто создает мрак».

Как видите, у него была странная и своеобразная манера судить о различных вещах. Я подозреваю, что он заимствовал ее из евангелия.

Как-то он услышал в одной гостиной об уголовном деле, по которому велось следствие; вскоре должен был состояться суд. Очутившись без средств, какой-то несчастный, из любви к женщине и к ребенку, которого он имел от нее, стал фальшивомонетчиком. В те времена подделывание денег еще каралось смертью. Женщина была задержана при попытке сбыть первую фальшивую монету, сфабрикованную ее любовником. Ее посадили в тюрьму, но улики имелись только против нее самой. Она одна могла выдать и погубить любовника своим признанием. Она отрицала его вину. Допрос продолжался. Она упорно молчала. И вот королевскому прокурору пришла в голову такая мысль: он оклеветал любовника, обвинив в неверности, и с помощью искусно подобранных выдержек из его писем сумел убедить несчастную женщину в том, что этот человек обманул ее и что у нее есть соперница. Тогда, обезумев от ревности, она изобличила любовника, призналась во всем, подтвердила все. Человека ждала неминуемая гибель. В ближайшем времени его должны были судить в Эксе вместе с сообщницей. Все говорили об этом происшествии, и каждый восхищался ловкостью прокурора. Пустив в ход ревность, он из гнева извлек истину, а из мести — правосудие. Епископ слушал молча. Потом он спросил:

— Где будут судить этого мужчину и эту женщину?

— В суде присяжных.

— А где будут судить королевского прокурора? — снова спросил епископ.

В Дине произошел трагический случай. Один человек был приговорен к смертной казни за убийство. Этот бедняга, не слишком образованный, но и не вполне невежественный, был ярмарочным фокусником и общественным писцом. Весь город с любопытством следил за процессом. Накануне дня, на который была назначена казнь, заболел тюремный священник. Необходимо было отыскать другого пастыря, который находился бы при осужденном в последние минуты его жизни. Обратились к приходскому священнику. Тот отказался, причем будто бы сказал следующее: «Это меня не касается. С какой стати я возьму на себя такую обузу и стану возиться с этим канатным плясуном? Я тоже болен. И вообще мне там не место». Его ответ был передан епископу, и тот сказал: «Господин кюре прав. Это место принадлежит не ему, а мне».

Он немедленно отправился в тюрьму, спустился в одиночную камеру «канатного плясуна», назвал его по имени, взял за руку и начал говорить с ним. Он провел с ним весь день, забыв о пище и о сне, моля бога спасти душу осужденного и моля осужденного спасти собственную душу. Он рассказал ему о величайших истинах, а они-то и являются самыми простыми. Он был ему отцом, братом, другом и, только для того чтобы благословить его, — епископом. Успокаивая и утешая, он просветил его. Этому человеку суждено было умереть в отчаянии. Смерть представлялась ему бездной. И стоя, трепещущий, у этого зловещего порога, он с ужасом отступал от него. Он был недостаточно невежествен, чтобы оставаться совершенно безучастным. Смертный приговор потряс его душу и словно пробил ограду, отделяющую нас от тайны мироздания и называемую нами жизнью. Беспреданно вглядываясь сквозь эти роковые бреши в то, что лежит за пределами нашего мира, он видел одну лишь тьму. Епископ помог ему увидеть свет.

На другой день, когда за несчастным пришли, епископ был возле него. В фиолетовой мантии, с епископским крестом на шее, он вышел вслед за ним и предстал перед толпой бок о бок со связанным преступником.

Он сел с ним в телегу, он взошел с ним на эшафот. Осужденный, такой угрюмый и подавленный еще накануне,

теперь сиял. Он чувствовал, что душа его прониклась миром, и уповал на бога. Епископ обнял его и в тот момент, когда нож гильотины уже готов был опуститься, сказал ему: «Убиенный людьми воскрешается богом; изгнанный братьями вновь обретает отца. Молись, верь, вступи в вечную жизнь! Отец наш там». Когда он спустился с эшафота, в его взгляде светилось нечто такое, что заставило толпу расступиться. Трудно сказать, что больше поражало — бледность его лица или безмятежное его спокойствие. Возвратясь в свое скромное жилище, которое он с улыбкой называл «дворцом», епископ сказал сестре: «Я только что отслужил торжественную панихиду».

Самые высокие побуждения чаще всего остаются непонятыми, и в городе нашлись люди, которые, обсуждая поступок епископа, сказали: «Это желание порисоваться». Впрочем, так говорили только в салонах. Народ же, не склонный подозревать дурное в благих деяниях, был тронут и восхищен.

Что до епископа, то зрелище гильотины явилось для него ударом, от которого он долго не мог оправиться.

Действительно, в эшафоте, когда он воздвигнут и стоит перед вами, есть что-то от галлюцинации. До тех пор, пока вы не видели гильотину своими глазами, вы можете более или менее равнодушно относиться к смертной казни, можете не высказывать своего мнения, можете говорить и «да» и «нет», но если вам пришлось увидеть ее — потрясение слишком глубоко, и вы должны окончательно решить, против нее вы или за нее. Одни восхищаются ею, как де Местр; другие, подобно Беккарии, проклинаят ее. Гильотина — это сгусток закона, имя ее *vindicta*¹, она не нейтральна и не позволяет вам оставаться нейтральным. Увидев ее, человек содрогается, он испытывает самое непостижимое из всех чувств. Каждая социальная проблема ставит перед ножом гильотины свой знак вопроса. Эшафот — это виденье. Эшафот не помост, эшафот — не машина, эшафот — не бездушный механизм, сделанный из дерева, железа и канатов. Кажется, что это живое существо, обладающее неведомой зловещей инициативой: можно подумать, что этот помост видит, что эта машина слышит, что этот механизм понимает, что это дерево, это

¹ Наказание (лат.).

железо и эти канаты обладают собственной волей. Душе, охваченной смертельным ужасом при виде эшафота, он представляется грозным и сознательным участником того, что делает. Эшафот — это сообщник палача. Он пожирает человека, ест его мясо, пьет его кровь. Эшафот — это чудовище, созданное судьей и плотником, это призрак, который живет какой-то страшной жизнью, порождаемой бесчисленными смертями его жертв.

Итак, впечатление было страшное и глубокое; на следующий день после казни и еще много дней спустя епископ казался удрученным. Почти неестественное спокойствие, владевшее им в роковой момент, исчезло; образ общественного правосудия неотступно преследовал его. Этот священнослужитель, который обычно испытывал такое радостное удовлетворение, выполнив любую свою обязанность, на этот раз словно упрекал себя в чем-то. Временами он начинал говорить сам с собой и вполголоса произносил мрачные монологи. Вот один из них, который как-то вечером услышала и запомнила его сестра: «Я не думал, что это так чудовищно. Преступно до такой степени углубляться в божественные законы, чтобы уже не замечать законов человеческих. В смерти волен только бог. По какому праву люди посягают на то, что непостижимо?»

С течением времени эти впечатления потеряли свою остроту и, повидимому, изгладились из его памяти. Однако люди заметили, что с того дня епископ избегал проходить по площади, где совершались казни.

Епископа Мириэля можно было в любое время дня и ночи позвать к изголовью больного или умирающего. Он понимал, что это и есть важнейшая его обязанность и важнейший его труд. Осиротевшим семьям не приходилось просить его, он являлся к ним сам. Он умел целыми часами просиживать молча рядом с мужем, потерявшим любимую жену, или с матерью, потерявшей ребенка. Но, зная, когда надо молчать, он знал также, когда надо говорить. О чудесный утешитель! Он не стремился изгладить скорбь забвением, а, напротив, старался углубить и просветлить ее надеждой. Он говорил: «Относитесь к мертвым, как должно. Не думайте о тленном. Вглядитесь пристальней, и вы увидите живой огонек в небесах — то душа вашего

дорогого усопшего». Он знал, что вера целительна. Он старался наставить и успокоить человека в отчаянии, приводя ему в пример человека, покорившегося судьбе, и преобразить скорбь, обратившую взгляд на могилу, указав на скорбь, взирающую на звезды.

ГЛАВА ПЯТАЯ

О том, что монсеньор Бьенвену слишком долго носил свои сутаны

Домашняя жизнь г-на Мириэля так же полно отражала его взгляды, как и его жизнь вне дома. Добровольная бедность, в которой жил диньский епископ, представила бы привлекательное и в то же время поучительное зрелище для каждого, кто имел бы возможность наблюдать ее вблизи.

Как все старики и как большинство мыслителей, он спал мало. Зато этот короткий сон был глубок. Утром епископ в течение часа предавался размышлениям, потом служил обедню в соборе или у себя дома. После обедни он завтракал ржаным хлебом, запивая его молоком от своих коров. Потом он работал.

Епископ — очень занятой человек. Он должен ежедневно принимать секретаря епархии, обычно это каноник, и почти каждый день — своих старших викариев. Ему приходится наблюдать за деятельностью конгрегаций, раздавать привилегии, просматривать целые вороха духовной литературы — молитвенники, епархиальные катехизисы, часословы и т. д. и т. д., писать пастырские послания, утверждать проповеди, мирить между собой приходских священников и мэров, вести клерикальную корреспонденцию, административную корреспонденцию: с одной стороны — государство, с другой — папский престол; словом, у него тысяча дел.

Время, которое оставалось у него от этой тысячи дел, церковных служб и отправления треб, он в первую очередь отдавал неимущим, больным и скорбящим; время, что оставалось от скорбящих, больных и неимущих, он отдавал работе: вскапывал свой сад или же читал и писал. Для той и другой работы у него было одно название — «садовничать». «Ум — это сад», — говорил он.

В полдень, если погода была хороша, он выходил из дома и пешком гулял по городу или его окрестностям, причем часто заходил в бедные лачуги. Он бродил один, погруженный в свои мысли, с опущенными глазами, опираясь на длинную палку, в фиолетовой мантии, подбитой ватой и очень теплой, в грубых башмаках и фиолетовых чулках, в плоской треугольной шляпе, украшенной на всех трех углах толстыми золотыми кистями.

Всюду, где бы он ни появлялся, наступал праздник. Казалось, он приносил с собою свет и тепло. Дети и старики выходили на порог навстречу епископу, словно навстречу солнцу. Он благословлял, и его благословляли. Каждому, кто нуждался в чем-либо, указывали на его дом.

Время от времени он останавливался, беседовал с маленькими мальчиками и девочками и улыбался матерям. Пока у него были деньги, он посещал бедных; когда деньги иссякали, он посещал богатых.

Так как он подолгу носил свои сутаны и не хотел, чтобы люди заметили их ветхость, он никогда не выходил в город без фиолетовой ватной мантии. Летом это несколько тяготило его.

По возвращении с прогулки он обедал. Обед был похож на завтрак.

Вечером, в половине девятого, он ужинал вместе с сестрой, а г-жа Маглуар прислуживала им за столом. Ничто не могло быть умереннее этих трапез. Однако, если у епископа оставался к ужину кто-нибудь из приходских священников, г-жа Маглуар, пользуясь этим, подавала его преосвященству превосходную озерную рыбу или какую-нибудь вкусную горную дичь. Каждый священник служил предлогом для хорошего ужина, и епископ не препятствовал этому. Обычно же его вечерняя еда состояла из одних только овощей, отваренных в воде, и супа на постном масле. Поэтому в городе говорили: «Когда наш епископ не угощает священника, сам он ест, как монах».

После ужина он с полчаса беседовал с м-ль Батистиной и г-жой Маглуар, потом уходил к себе и снова принимался писать то на отдельных листках бумаги, то на полях какого-нибудь фолианта. Он был человек образованный и даже до известной степени ученый. После него

осталось пять или шесть рукописей, довольно любопытных, и среди них рассуждение на стих из книги Бытия: «Вначале дух божий носился над водами». Он сопоставляет этот стих с тремя текстами — с арабским стихом, который гласит: «Дули ветры господни»; со словами Иосифа Флавия: «Горный ветер устремился на землю»; и, наконец, с халдейским толкованием Онкелоса: «Ветер, исходивший от бога, дул над лоном вод». В другом рассуждении он подвергает разбору богословские труды Гюго, епископа Птолемаидского, двоюродного прадеда автора настоящей книги, и устанавливает, что различные небольшие произведения, опубликованные в прошлом столетии под псевдонимом Барлейкур, также принадлежат перу этого епископа.

Иногда посреди чтения, независимо от того, какая именно книга была у него в руках, епископ вдруг впадал в глубокое раздумье, очнувшись от которого он неизменно писал несколько строк тут же, на страницах книги. Зачастую эти строки не имели никакого отношения к самой книге, в которую они были вписаны. Вот перед нами заметка, сделанная им на полях тома, озаглавленного: «Переписка лорда Жермена с генералами Клинтон и Корнвалисом и с адмиралами американского военного флота. Продается в Версале у книгопродавца Пуэнсо и в Париже у книгопродавца Писо, набережная Августинцев».

Вот эта заметка:

«О ты, Сущий!

Экклезиаст именует тебя Всемогушим, книга Маккавеев — Творцом, Послание к ефесянам — Свободой, Барух — Необъятностью, Псалмы — Мудростью и Истиной, Иоанн — Светом, Книга царств — Господом, Исход называет тебя Провидением, Левит — Святостью, Ездра — Справедливостью, вселенная — Богом, человек — Отцом, но Соломон дал тебе имя Милосердие, и это самое прекрасное из всех твоих имен».

Около девяти часов вечера обе женщины уходили к себе наверх, и епископ до утра оставался один в нижнем этаже.

Здесь необходимо будет дать точное представление о жилище диньского епископа.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Кому он поручил охранять свой дом

Дом, в котором он жил, как мы уже говорили, был двухэтажный, три комнаты внизу, три комнаты наверху, под крышей — чердак. За домом — сад в четверть арпана. Женщины помещались во втором этаже, епископ жил внизу. Первая комната, дверь которой отворялась прямо на улицу, служила ему столовой, вторая — спальней, а третья — молельней. Выйти из этой молельни можно было только через спальню, а из спальни — только через столовую. В молельне была скрытая перегородкой ниша, где стояла кровать для гостей. Кровать эту епископ предоставлял деревенским кюре, приезжавшим в Динь по делам и нуждам своих приходов.

Бывшая больничная аптека — небольшое строение, которое примыкало к дому и выходило в сад, — превратилась в кухню и в кладовую.

Кроме того, в саду имелся хлев, где прежде была больничная кухня, а теперь помещались две коровы епископа. Независимо от количества молока, которое давали эти коровы, епископ неизменно каждое утро половину отсылал в больницу. «Я плачу свою десятину», — говорил он.

Спальня у него была довольно большая, и зимой натопить ее было нелегко. Так как дрова в Дине стоили очень дорого, епископ придумал сделать в коровнике дощатую перегородку и устроил там себе маленькую комнатку. В сильные морозы он проводил там все вечера. Он называл эту комнатку своим «зимним салоном».

Как в этом «зимнем салоне», так и в столовой не было никакой мебели, за исключением простого четырехугольного деревянного стола и четырех соломенных стульев. В столовой сверх того стоял старенький буфет, выкрашенный розовой клеевой краской. Такой же буфет, приличествующим образом покрытый белыми салфетками и дешевыми кружевами, епископ превратил в алтарь, который придавал нарядный вид его молельне.

Богатые прихожанки, исповедовавшиеся у епископа, и другие богомольные жительницы города Диня неоднократно устраивали складчину на устройство нового красивого алтаря для молельни монсеньора; он всякий раз брал

деньги и раздавал их бедным. «Лучший алтарь, — говорил он, — это душа несчастного, который утешился и благодарит бога».

В молельне стояли две соломенные скамеечки для коленопреклонений; одно кресло, тоже соломенное, стояло в спальне епископа. Если случалось, что он одновременно принимал семь или восемь человек гостей — префекта, генерала, начальника штаба полка местного гарнизона, нескольких учеников духовного училища, то приходилось брать стулья из «зимнего салона», приносить скамеечки из молельни и кресло из спальни епископа. Таким образом, набиралось до одиннадцати сидений. Для каждого нового гостя опустошалась одна из комнат.

Бывало и так, что собиралось сразу двенадцать человек, тогда епископ спасал положение, становясь у камина, если это было зимой, или прогуливаясь по саду, если это было летом.

В нише за перегородкой стоял еще один стул, но солома на сиденье наполовину искрошилась, да и держался он всего лишь на трех ножках, так что сидеть на нем можно было, только прислонив его к стене. В комнате у м-ль Батистины было, правда, громадное деревянное кресло, некогда позолоченное и обитое цветной китайской тафтой, но поднять его на второй этаж пришлось через окно, так как лестница оказалась слишком узкой: на него, следовательно, также нельзя было рассчитывать.

Когда-то м-ль Батистина лелеяла честолюбивую мечту приобрести гостиную мебель с диваном гнutoго красного дерева, покрытую желтым утрехтским бархатом в веночках. Однако это должно было стоить по меньшей мере пятьсот франков, и, увидев, что за пять лет ей удалось отложить для этой цели только сорок два франка и десять су, она в конце концов отказалась от своей мечты. Впрочем, кто же достигает своего идеала?

Нет ничего легче, как представить себе спальню епископа. Стеклянная дверь, выходящая в сад; напротив двери — кровать, железная больничная кровать с пологом из зеленой саржи; у кровати, за занавеской, — изящные туалетные принадлежности, говорящие о не забытых до сих пор привычках прежнего светского человека; еще две двери: одна возле камина — в молельню, другая возле книжного шкафа — в столовую; книжный шкаф со сте-

клянными дверцами, полный книг; облицованный деревом камин, выкрашенный под мрамор, и, как правило, холодный; в камине две железные подставки для дров, украшенные на переднем конце двумя вазочками в гирляндах и бороздках, некогда покрытыми серебром и служившие образчиком роскоши в епископском доме; над камином, на черном потертом бархате, — распятие, прежде посеребренное, а теперь медное, в деревянной рамке с облезшей позолотой. Возле стеклянной двери большой стол с чернильницей, заваленный грудой бумаг и толстых книг. Перед столом соломенное кресло. Перед кроватью скамеечка из молельни.

На стене, по обе стороны от кровати, висели два портрета в овальных рамах. Короткие надписи, сделанные золотыми буквами на тусклом фоне полотна, гласили о том, что портреты изображают: один — аббата Шалио, епископа Сен-Клодского, а другой — аббата Турто, главного викария Агдского, аббата Граншанского, принадлежащего к монашескому ордену Цистерцианцев Шартрской епархии. Унаследовав эту комнату от лазаретных больных, епископ нашел здесь эти портреты и оставил их на прежнем месте. Это были священники и, по всей вероятности, жертвователи — два основания для того, чтобы он отнесся к ним с уважением. Об этих двух особах ему было известно лишь то, что король их назначил — первого епископом, а второго викарием — в один и тот же день, 27 апреля 1785 года. Когда г-жа Маглуар сняла портреты, чтобы обтереть с них пыль, епископ обнаружил это обстоятельство, прочтя надпись, сделанную выцветшими чернилами на пожелтевшем от времени листочке бумаги, приклеенном с помощью четырех облаток к оборотной стороне портрета аббата Граншанского.

На окне в спальне епископа висела старомодная, из грубой шерстяной материи, занавесь, которая с течением времени пришла в такую ветхость, что, во избежание расхода на новую, г-жа Маглуар вынуждена была сделать на самой ее середине большой шов. Этот шов имел форму креста. Епископ часто показывал на него.

— Как хорошо это получилось! — говорил он.

Все без исключения комнаты в доме, и в первом этаже и во втором, были выбелены, как это принято в казармах и больницах.

Правда, в последующие годы, как мы увидим в дальнейшем, г-жа Маглуар обнаружила под побелкой на стенах в комнате м-ль Батистины какую-то живопись. Прежде чем стать больницей, этот дом служил местом собраний диньских горожан. Таково происхождение этой росписи стен. Полы во всех комнатах были выложены красным кирпичом, и мыли их каждую неделю; перед каждой кроватью лежал соломенный коврик. Вообще надо сказать, что весь дом сверху донизу содержался двумя женщинами в образцовой чистоте. Чистота была единственной роскошью, которую допускал епископ. «Это ничего не отнимает у бедных», — говаривал он.

Следует, однако, признаться, что от прежних богатств у него оставалось еще шесть серебряных столовых приборов и разливательная ложка, ослепительный блеск которых на грубой холщовой скатерти всякий день радовал взор г-жи Маглуар. И так как мы изображаем здесь диньского епископа таким, каким он был в действительности, то мы должны добавить, что он не раз говорил: «Мне было бы не так-то легко отказаться от привычки есть серебряной ложкой и вилкой».

Кроме этого серебра, у епископа уцелели еще два массивных серебряных подсвечника, доставшиеся ему по наследству от двоюродной бабушки. Подсвечники с двумя вставленными в них восковыми свечами обычно красовались на камине в спальне епископа. Когда же у него обедал кто-либо из гостей, г-жа Маглуар зажигала свечи и ставила оба подсвечника на стол.

Там же, в спальне епископа, над изголовьем его кровати висел маленький стенной шкафчик, куда г-жа Маглуар каждый вечер убирала шесть серебряных приборов и разливательную ложку. Надо заметить, что ключ от шкафчика всегда оставался в замке.

Сад, вид которого несколько портили неприглядные строения, о которых говорилось выше, состоял из четырех аллей, расходившихся крестом от сточного колодца; пятая аллея, огибая весь сад, шла вдоль окружавшей его белой стены. Четыре квадрата земли между аллеями были обсажены буксом. На трех г-жа Маглуар разводила овощи, на четвертом епископ посадил цветы. В саду там и сям росло несколько фруктовых деревьев. Как-то раз г-жа Маглуар сказала епископу не без некоторой доли добродуш-

ного лукавства: «Вы, ваше преосвященство, хотите, чтобы все приносило пользу, а вот этот кусок земли пропадает даром. Уж лучше бы вырастить здесь салат, чем эти цветочки». — «Вы ошибаетесь, госпожа Маглуар, — ответил епископ. — Прекрасное столь же полезно, как и полезное». И добавил, помолчав: «Быть может, еще полезнее».

Этот квадрат земли, разбитый на три или четыре грядки, пожалуй, не меньше занимал епископа, чем его книги. Он охотно проводил здесь час или два, подрезая растения, выпалывая сорную траву, роя там и сям ямки и сажая в них семена. Но к насекомым он относился менее враждебно, чем этого мог бы пожелать настоящий садовник. Впрочем, он отнюдь не считал себя ботаником: он ничего не понимал в классификации и в солидизме, он вовсе не стремился сделать выбор между Турнефором и естественным методом, он не предпочитал сумчатые семядольным и не высказывался за Жюсье против Линнея. Он не изучал растения, а просто любил цветы. Он глубоко уважал ученых, но еще более уважал ничего не ведающих, и, не переставая отдавать дань уважения тем и другим, он каждый летний вечер поливал свои грядки из зеленой жестяной лейки.

В доме не было ни одной двери, которая бы запиралась на ключ. Дверь в столовую, выходящая, как мы уже говорили, прямо на соборную площадь, была в прежние времена снабжена замками и засовами, словно ворота тюрьмы. Епископ сразу же приказал снять все эти запоры, и теперь эта дверь закрывалась только на щеколду, и днем и ночью. Всякий прохожий в любой час суток мог открыть дверь, — стоило лишь толкнуть ее. Вначале эта вечно отпертая дверь сильно тревожила обеих женщин, но диньский епископ сказал им: «Что ж, велите приделать задвижки к дверям ваших комнат, если хотите». В конце концов они заразились его спокойствием или по крайней мере сделали вид, что это так. Только на г-жу Маглуар время от времени нападал страх. Что касается епископа, то три строчки, написанные им на полях библии, поясняют или по крайней мере излагают его мысль: «Вот в чем едва уловимое различие: дверь врача никогда не должна запираться, дверь священника должна быть всегда открыта».

На другой книге, озаглавленной «Философия медицинской науки», он сделал еще одну заметку: «Разве я не такой же врач, как они? У меня тоже есть мои больные: во-первых, те, которых они называют своими больными, а во-вторых, мои собственные, которых я называю несчастными».

Где-то в другом месте он написал: «Не спрашивайте того, кто просит у вас приюта, о его имени. В приюте особенно нуждается тот, кого это имя стесняет».

Однажды какой-то достойный кюре — я уже не помню, кто именно: кюре из Кулубру или кюре из Помпьеры — вздумал, должно быть по наущению г-жи Маглуар, спросить у монсеньора Бьенвеню, вполне ли он уверен, что не совершает некоторой неосторожности, оставляя дверь открытой и днем и ночью для каждого, кому бы вздумалось войти, и не опасается ли он все же, что в столь плохо охраняемом доме может случиться какое-либо несчастье. Епископ коснулся его плеча и сказал ему мягко, но серьезно: «*Nisi Dominus custodierit domum, in vanum vigilant qui custodiunt eam*»¹. Затем заговорил о другом.

Он охотно повторял: «Священник должен обладать не меньшим мужеством, чем драгунский полковник. Но только наше мужество, — добавлял он, — должно быть спокойным».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Крават

Здесь уместно будет рассказать об одном случае, который нельзя обойти молчанием, потому что подобные случаи лучше всего показывают, что за человек был диньский епископ.

После уничтожения разбойничьей шайки Гаспара Бэ, который совершенно разорил Олиульские ущелья, один из ближайших его помощников, Крават, бежал в горы. Некоторое время он скрывался со своими товарищами — остатками шайки Гаспара Бэ — в Ниццком графстве, потом ушел в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции,

¹ Если господь не охраняет дом, тщетно сторожат охраняющие его (лат.).

в окрестностях Барселонеты. Сначала он заглянул в Жозье, потом в Тюиль. Он укрылся в пещерах Жуг-де-л'Эгль и оттуда, ложбинами рек Ибайи и Ибайеты, нередко пробирался к селениям и к деревушкам. Как-то ночью он дошел до самого Амбрена, проник в собор и обо-брал ризницу. Его грабежи разоряли весь край. Жандармы охотились за ним, но безуспешно. Он всегда ускользал от них, а иногда оказывал открытое сопротивление. Этот негодяй был смельчаком. И вот в самый разгар вызванной им паники в те края прибыл епископ, который объезжал тогда Шателярский округ. Мэр города явился к нему и стал уговаривать вернуться назад. Крават хозяйничал в горах до самого Арша и далее. Ехать было опасно даже с конвоем, — это значило напрасно рисковать жизнью трех или четырех злосчастных жандармов.

— Поэтому-то, — сказал епископ, — я и полагаю ехать без конвоя.

— Хорошо ли вы обдумали это, монсеньор? — вскричал мэр.

— Настолько хорошо, что решительно отказываюсь от жандармов; я уеду через час.

— Уедете?

— Уеду.

— Один?

— Один.

— О нет, монсеньор! Вы этого не сделаете.

— Послушайте, — сказал епископ, — там, в горах, есть маленький бедный приход, я не видел его уже три года. Там живут мои добрые друзья — смиренные и честные пастухи. Из каждых тридцати коз, которых они пасут, им принадлежит только одна. Они плетут из шерсти очень красивые разноцветные шнурки и играют горные песни на маленьких свирелях с шестью отверстиями. Они нуждаются в том, чтобы время от времени им говорили о господе боге. Что бы они сказали про епископа, который всего боится? Что бы они сказали, если бы я не посетил их?

— Но разбойники, монсеньор, разбойники!

— В самом деле, — сказал епископ, — я чуть было не забыл о них. Вы правы. Я могу встретиться с ними. По всей вероятности, и они тоже нуждаются в том, чтобы кто-нибудь рассказал им о господе боге.

— Монсеньор, да ведь их целая шайка! Это стая волков!

— Господин мэр, а может быть, Иисус повелевает мне стать пастырем именно этого стада. Пути господни неисповедимы!

— Монсеньор, они ограбят вас.

— У меня ничего нет.

— Они убьют вас.

— Убьют старика священника, который идет своей дорогой, бормоча молитвы? Полно! Зачем им это?

— О боже! Что, если вы повстречаетесь с ними!

— Я попрошу у них милостыню для моих бедных.

— Не ездите, монсеньор, ради бога! Вы рискуете жизнью.

— Господин мэр, — сказал епископ, — неужели в этом все дело? Я для того живу на свете, чтобы о душах людских пеших, а не о собственной жизни.

Пришлось оставить его в покое. Он уехал, сопровождаемый лишь мальчиком, который вызвался быть проводником. Его упорство наделало много шума и вызвало сильное беспокойство во всей округе.

Епископ не пожелал взять с собой ни сестру, ни г-жу Маглуар. Он поднялся в горы на муле, никого не встретил и, здоров и невредим, добрался до своих «добрых друзей» пастухов. Он прожил у них две недели, читая проповеди и совершая требы, наставляя и поучая. Перед отъездом он решил отслужить торжественную мессу. Он сказал об этом приходскому священнику. Но как быть? Не было епископского облачения. Священник мог предоставить в распоряжение епископа лишь убогую деревенскую ризницу с несколькими ветхими ризами из потертой шелковой материи, обшитыми потускневшим галуном.

— Ничего, господин кюре, — сказал епископ, — объявим все-таки с кафедры о нашей мессе. Дело как-нибудь уладится.

Начались поиски в соседних церквях. Однако всех сокровищ этих скромных приходов, соединенных вместе, не хватило бы на то, чтобы приличествующим образом одеть даже соборного певчего.

Среди всех этих хлопот в дом приходского священника был доставлен большой ящик, предназначавшийся для епископа. Его привезли два неизвестных всадника, кото-

рые немедленно ускакали. Ящик открыли; в нем оказалась мантия из золотой парчи, украшенная алмазами митра, архиепископский крест, великолепный посох — все епископское облачение, украденное месяц тому назад из ризницы собора Амбренской богородицы. В ящике лежал лист бумаги, на котором были написаны следующие слова: «Монсеньору Бьенвену от Кравата».

— Я ведь говорил, что все уладится! — сказал епископ. И добавил, улыбаясь: — Тому, кто довольствуется простым священническим стихарем, бог посылает архиепископскую мантию.

— Не знаю, монсеньор, — покачивая головой, с усмешкой пробормотал священник, — бог или дьявол.

Епископ пристально взглянул на него и уверенно повторил:

— Бог.

На обратном пути в Шателляр и в самом Шателляре люди сбегались со всех сторон, любопытствуя посмотреть на своего епископа. М-ль Батистина с г-жой Маглуар ждали его в доме священника. Епископ сказал сестре: «Ну что, разве я не был прав? Бедный священник отправился к бедным жителям гор с пустыми руками, а возвращается с полными. Я увез с собой только упование на бога, а привез все сокровища собора».

Вечером, перед тем как лечь спать, он сказал: «Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Это опасность внешняя, она невелика. Бояться надо самих себя. Предрассудки — вот истинные воры; пороки — вот истинные убийцы. Величайшая опасность скрывается в нас самих. Стоит ли заботиться о том, что угрожает нашей жизни и нашему кошельку! Будем думать лишь о том, что угрожает нашей душе». Потом, обратившись к сестре, он сказал: «Сестра моя, священнику не подобает остерегаться ближнего. Что сделано ближним, то дозволено богом. Если нам кажется, что нас настигает опасность, ограничимся молитвой, но молитвой не за себя, а за нашего брата, чтобы он не впал в грех из-за нас».

Впрочем, в жизни епископа было мало событий. Мы рассказываем лишь о тех, которые нам известны; вообще же жизнь его текла однообразно: изо дня в день в определенное время он делал то же, что накануне. И так велось из года в год, из месяца в месяц.

Что касается сокровищ Амбренского собора, мы затруднились бы ответить на вопрос о том, что с ними стало. Это были весьма красивые, весьма соблазнительные вещи, весьма пригодные и полезные для тех несчастных, которым вздумалось бы их украсть. Впрочем, они уже были украдены. Половина дела была сделана, оставалось только изменить дальнейший путь похищенных предметов и направить их в сторону бедных. Мы не можем, однако, сказать по этому поводу ничего определенного. Известно только, что в бумагах епископа была найдена одна записка, довольно туманная, но, быть может, имеющая отношение к этому делу; она гласит: «Вопрос в том, куда это должно быть возвращено — в собор или в больницу».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Философия за стаканом вина

Сенатор, о котором мы упоминали выше, был человек неглупый; он пробил себе дорогу с прямолинейностью, не считающейся с какими-либо препятствиями вроде так называемой совести, присяги, справедливости или долга, и шагал прямо к намеченной цели, ни разу не оступившись на пути преуспевания и выгоды. Это был прокурор в отставке, человек отнюдь не злой, умиленный собственным успехом, охотно оказывавший всякие мелкие услуги своим сыновьям, зятям, родственникам и даже знакомым, человек, мудро пользовавшийся хорошими сторонами жизни, счастливым случаем, неожиданной удачей. Все остальное представлялось ему сущим вздором. Он был остроумен и начитан ровно настолько, чтобы считать себя последователем Эпикура, хотя в действительности являлся не более как детищем Пиго-Лебрена. Он любил мило подшутить над тем, что бесконечно и вечно, а также над прочими «бреднями простака епископа». Самоуверенно и снисходительно он иногда шутил над этим даже в присутствии самого г-на Мириэля.

Однажды, по случаю какого-то полуофициального приема, графу*** (тому самому сенатору) и г-ну Мириэлю случилось вместе обедать у префекта. За десертом сена-

тор, бывший слегка навеселе, но не утративший важной своей осанки, вдруг вскричал:

— Чорт возьми, господин епископ, давайте поболтаем. Когда сенатор и епископ смотрят друг на друга, они не могут не перемигнуться. Мы с вами — два авгура. Сейчас я сделаю вам одно признание: у меня есть своя философия.

— И вы правы, — ответил епископ. — Какова у человека философия, такова и жизнь. Как постелешь, так и выспишься. Вы покойтесь на пурпурном ложе, господин сенатор.

Поощренный этим замечанием, сенатор продолжал:

— Давайте говорить откровенно.

— И даже чертовски откровенно, — согласился епископ.

— Заявляю вам, — продолжал сенатор, — что маркиз д'Аржанс, Пиррон, Гоббс и Нежон вовсе не плуты. Все мои философы стоят у меня на полке в переплетах с золотым обрезом.

— Они похожи на вас, господин граф, — прервал его епископ.

— Я ненавижу Дидро, — продолжал сенатор. — Это фантазер, болтун и революционер, в глубине души верующий в бога и еще больший ханжа, чем Вольтер. Вольтер вышутил Нидгема, и напрасно, потому что угри Нидгема доказывают бесполезность бога. Капля уксуса в ложке теста заменяет *fiat lux*¹. Представьте каплю покрупнее, а ложку побольше — и перед вами мир. Человек — это угорь. Если так, кому нужен предвечный бог отец? Знаете что, господин епископ, мне надоела гипотеза о Иегове. Она годна лишь на то, чтобы создавать тощих людей, предающихся пустым мечтаниям. Долой это великое Все, которое мне докучает! Да здравствует Нуль, который оставляет меня в покое! Между нами будь сказано, господин епископ, чтобы выложить все, что есть на душе, и исповедаться перед вами, духовным моим отцом, как должно, признаюсь вам, что я человек здравого смысла. Я не в восторге от вашего Иисуса, который на каждом шагу проповедует отречение и жертву. Это совет скряги нищим. Отречение! С какой стати? Жертва! Чего ради? Я не вижу, чтобы волк жертвовал собой для счастья дру-

¹ Да будет свет (лат.).

гого волка. Будем же верны природе. Мы находимся на вершине, так проникнемся же высшей философией. Для чего стоять наверху, если не видишь дальше кончика носа своего ближнего? Давайте жить весело. Жизнь — это все! Чтобы у человека было другое будущее, не на земле, а там, наверху, внизу, — словом, где-то, — не верю ни на иоту. Ах, так! От меня хотят жертвы и отречения, я должен следить за каждым своим поступком, ломать голову над добром и злом, над справедливостью и несправедливостью, над *fas* и *nefas*¹. Зачем? Затем, что мне придется дать отчет в своих действиях. Когда? После смерти. Какое заблуждение! После смерти — лови меня, кто может! Заставьте-ка тень схватить рукою горсть пепла. Мы, посвященные, мы, поднявшие покрывало Изида, скажем напрямик: нет ни добра, ни зла, есть только растительная жизнь. Давайте искать то, что действительно существует. Доберемся до дна. Проникнем в самую суть, чорт возьми! Надо учуять истину, докопаться до нее и схватить. И тогда она даст вам изысканные наслаждения. И тогда вы станете сильным и будете смеяться над всем. Что касается меня, я твердо стою на земле, господин епископ. Бессмертие человека — это еще вилами на воде писано. Ох уж мне все эти прекрасные обещания! Положитесь на них, как же! Нечего сказать, надежный вексель выдан Адаму. Сначала вы — душа, потом станете ангелом, голубые крылья вырастут у вас на лопатках. Напомните мне, кто это сказал, — кажется, Тертуллиан? — что блаженные будут перелетать с одного небесного светила на другое. Допустим. Превратятся, так сказать, в звездных кузнечиков. А потом узрят господа. Та-та-та — чепуха все эти царствия небесные. А бог — чудовищный вздор! Разумеется, я не стал бы печатать этого в «Монитере», но почему бы, чорт побери, не шепнуть об этом приятелю? *Inter rosula*². Пожертвовать землей ради рая — это все равно, что выпустить из рук реальную добычу ради призрака. Дать одурачить себя баснями о вечности! Ну нет, я не так глуп. Я — ничто. Я господин Ничто, сенатор и граф. Существовал ли я до рождения? Нет. Буду ли я существовать после смерти? Нет. Что же я такое? Горсточка пылинок, соеди-

¹ Правда и неправда (лат.).

² За стаканом вина (лат.).

ненных воедино в организме. Что я должен делать на этой земле? У меня есть выбор: страдать или наслаждаться. Куда меня приведет страдание? В ничто. Но я приду туда настрадавшись. Куда меня приведет наслаждение? В ничто. Но я приду туда насладившись. Мой выбор сделан. Надо либо есть, либо быть съеденным. Я ем. Лучше быть зубом, чем травинкой. Такова моя мудрость. Ну, а дальше все идет само собой; могильщик уже там, нас с вами ждет Пантеон, все проваливается в эту бездонную дыру. Конец. Finis! Окончательный расчет. Это место полного исчезновения. Поверьте мне — смерть мертва. Чтобы там был некто, кому бы заблагорассудилось что-нибудь мне сказать, да это просто смешно. Бабушкины сказки. Бука — для детей, Иегова — для взрослых. Нет, наше завтра — это мрак. За гробом все мы ничто и все равны между собой. Будь вы Сарданапалом, будь вы Венсен де Полем, — все равно, вы придете к небытию. Вот она, истина. Итак, живите, наперекор всему живите. Пользуйтесь своим «я», пока оно в вашей власти. Говорю вам, господин епископ, у меня и в самом деле своя философия и свои философы. Я не дам себя соблазнить ребяческой болтовней. Но, само собой разумеется, тем, кто внизу, всей этой голытьбе, уличным точильщикам, беднякам, необходимо что-то иметь. Вот им и затыкают рот легендами, химерами, душой, бессмертием, раем, звездами. И они жуют все это. Они приправляют этим свой сухой хлеб. У кого ничего нет, у того есть господь бог. И то хорошо. Ну что ж, я не против, но лично для себя я оставляю Нежона. Милосердный бог мил лишь сердцу толпы.

Епископ захлопал в ладоши.

— Отлично сказано! — вскричал он. — Какая великолепная штука — этот материализм! Поистине чудесная! Он не каждому дается в руки. Да, того, кто овладел им, уже не проведешь; тот не позволит так глупо изгнать себя из родного края, как это сделал Катон, побить себя камнями, как святой Стефан, или сжечь заживо, как Жанна д'Арк. Люди, которым удалось обзавестись этим превосходным материализмом, испытывают приятное чувство полной безответственности и считают, что они могут безмятежно пожирать все: должности, синекуры, высокие звания, власть, приобретенную как честным путем, так и нечестным; могут разрешать себе все: нарушение слова,

когда это выгодно, измену, если она полезна, сделки с совестью, если они обещают наслаждение, и потом, по окончании пищеварительного процесса, спокойно сойти в могилу. Как это приятно! Я говорю не о вас, господин сенатор, но, право же, не могу вас не поздравить. Вы, знатные господа, обладаете, как вы сами сказали, собственной, лично вам принадлежащей, философией, изысканной, утонченной, доступной одним только богачам, годной под любым соусом, отличной приправой ко всем жизненным радостям. Эта философия извлечена из неведомых глубин, она вытащена на свет божий специальными исследователями. Но вы — добрые малые и не видите вреда в том, чтобы вера в бога оставалась философией народа, — так гусь с каштанами заменяет бедняку индейку с трюфелями.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сестра о брате

Чтобы дать представление о жизни диньского епископа в семейном кругу и о том, как обе благочестивые старушки подчиняли свои поступки, свои мысли, даже свою инстинктивную, чисто женскую робость привычкам и желаниям епископа, причем последнему даже не приходилось для этого высказывать их вслух, лучше всего будет привести здесь письмо м-ль Батистины к виконтессе де Буашеврон, подруге ее детства. Мы располагаем этим письмом.

«Динь, 16 декабря 18...

Моя дорогая, не проходит дня, чтобы мы не говорили о вас. Это вообще вошло у нас в привычку, а сейчас для этого есть особая причина. Представьте себе, что госпожа Маглуар, занимаясь мытьем и чисткой потолков и стен, сделала несколько открытий: теперь обе наши комнаты, которые прежде были оклеены старыми обоями, сверху побеленными, не обезобразили бы и такого дворца, как ваш. Госпожа Маглуар сорвала все обои, и под ними оказалось много интересного. В моей гостиной, где нет никакой мебели и где мы развешиваем белье после стирки, — она пятнадцати футов высотой, а величиной около восем-

надцати квадрагных футов, — потолок покрыт, по старинной моде, живописью с позолотой, а балки там такие же, как у вас. Когда здесь помещалась больница, то все это было затянуто холстом. Кроме того, там деревянные панели времен наших бабушек. Но что всего интереснее, — это моя спальня. Под десятью, если не больше, слоями обоев госпожа Маглуар обнаружила картины, — хоть и не особенно хорошие, но вполне сносные. Это Телемак, посвящаемый в рыцари Минервой, он же в каких-то садах — забыла название, ну, в тех, куда римские матроны отправлялись на одну ночь. Что же еще? У меня есть римляне, римлянки (*тут какое-то слово, которое нельзя разобрать*) и тому подобное. Госпожа Маглуар отмыла все это, летом она исправит кое-какие мелкие повреждения, снова все покроет лаком, и моя спальня превратится в настоящий музей. Кроме того, она нашла где-то на чердаке два маленьких деревянных столика в старинном вкусе. За то, чтобы вызолотить их заново, просят два шестифранковых экю, но лучше отдать эти деньги бедным; к тому же они очень некрасивы, и мне больше хотелось бы иметь круглый стол красного дерева.

Я попрежнему вполне счастлива. Мой брат так добр. Он отдает все, что у него есть, неимущим и больным. Мы очень стеснены в средствах. Зима здесь суровая, и необходимо хоть чем-нибудь помогать тем, кто нуждается. У нас же почти тепло и светло. Это все-таки большая роскошь, не так ли?

У брата есть свои привычки. Он говорит, что всякий епископ должен быть таким. Представьте себе, что двери нашего дома никогда не запираются. Стоит кому-либо войти, и он сразу попадает в комнату брата. Мой брат ничего не боится, даже ночью. В этом-то и проявляется его храбрость, — так он говорит.

Он не хочет, чтобы я или госпожа Маглуар боялись за него. Он подвергает себя всяческим опасностям и хочет, чтобы мы делали вид, что даже не замечаем этого. Надо уметь понимать его.

Он выходит из дому в дождь, шагает по слякоти, путешествует зимой. Он не боится ни темноты, ни опасных дорог, ни подозрительных встреч.

В прошлом году, совершенно один, он поехал в местность, где хозяйничали грабители. Нас он не пожелал взять

с собой. Целых две недели он пробыл в отсутствии. Когда он вернулся, оказалось, что с ним ничего не случилось; его считали мертвым, а он был здоров и невредим. «Посмотрите, как меня ограбили!» — сказал он. И открыл чомодан, набитый драгоценностями из собора Амбренской богоматери, которые ему подарили грабители.

На этот раз, по дороге домой, я не могла удержаться, чтобы не побранить его немного, но старалась говорить в то время, когда колеса повозки стучали, чтобы нас не услышал кто-нибудь из посторонних.

В первое время я думала про себя: «Никакие опасности не могут остановить его, это ужасный человек». Теперь я, наконец, привыкла. Я знаками показываю госпоже Маглуар, чтобы она не преклословила ему. Он рискует собой, сколько хочет. Я увожу госпожу Маглуар, ухажу к себе, молюсь за него и засыпаю. Я спокойна, так как твердо знаю, что если с ним случится несчастье, это будет и мой конец. Я уйду к господу богу вместе с моим братом и моим епископом. Госпоже Маглуар было труднее, чем мне, свыкнуться с тем, что она называла его «безрассудствами». Но теперь все уже вошло в колею. Мы обе молимся, вместе дрожим от страха и потом засыпаем. Если бы самому дьяволу вздумалось войти к нам в дом, никто не помешал бы ему. В самом деле, чего нам бояться в этом доме? Тот, кто сильнее всех, всегда с нами. Дьявол придет и уйдет, а господь бог обитает здесь постоянно.

Этого с меня довольно. Теперь брату уже не нужно что-либо говорить мне. Я понимаю его без слов, и мы отдаемся на волю providения.

Так надо держать себя с человеком, который велик духом.

Я спрашивала брата относительно семейства де Фо, о котором вы справлялись. Вам известно, как он все знает и как много помнит, — ведь он попрежнему добрый роялист. Это действительно очень старинное нормандское семейство из Канского округа. Уже пятьсот лет тому назад Рауль де Фо, Жан де Фо и Тома де Фо были дворянами, причем один из них владел Рошфором. Последний в роде, Ги-Этьен-Александр, был командиром полка и еще кем-то в легкой коннице в Бретани. Его дочь, Мария-Луиза, была замужем за Адриеном-Шарлем де Грамоном, сыном герцога Луи де Грамона, пэра Франции, полков-

ника французской гвардии и генерал-лейтенанта армии. Можно писать «Фо» по-разному, меняя окончание: Фаух, Фауq и Фауисq.

Моя дорогая, попросите вашего достойного родственника, господина кардинала, молиться за нас. А ваша милая Сильвания хорошо сделала, что не стала тратить те краткие мгновения, которые проводит с вами, на письмо ко мне. Ведь она здорова, работает так, как вы этого хотите, и попрежнему меня любит. Больше мне ничего и не нужно. Она прислала мне поклон через вас, и я счастлива этим. Здоровье мое не так уж плохо, а между тем я с каждым днем все больше хую. Прощайте, бумаги у меня больше нет, поэтому я вынуждена расстаться с вами. Тысячу добрых пожеланий.

Батистина.

P. S. Ваш внучек прелестен. Вы знаете, ведь ему скоро минет пять лет! Вчера он увидел на улице лошадь с наколенниками и спросил: «Что у нее с коленками?» Этот ребенок так мил! А его младший братишка таскает по полу старую метлу и, воображая, что это карета, кричит: «Н-но!»

Как явствует из письма, обе старушки хорошо привыкли к привычкам епископа, — это свойственно лишь женщинам, которые понимают мужчину лучше, чем он сам себя понимает. Сохраняя неизменно свой кроткий и простодушный вид, диньский епископ совершал порой высокие, смелые и прекрасные поступки, казалось, даже не сознавая этого. Женщины трепетали, но не вмешивались. Изредка г-жа Маглуар отваживалась сделать замечание до того, как поступок был совершен, но никогда во время совершения его или после. Если дело было начато, никто никогда не мешал ему даже жестом. В иные минуты — ему не приходилось об этом говорить им, а может быть, он и сам этого не сознавал, до того совершенна была его скромность — обе женщины смутно понимали, что он действует как епископ, и тогда они превращались в две тени, скользящие по дому. Они служили ему, отказавшись от проявления собственной воли; и если повиноваться значило исчезнуть — они исчезали. С изумительной тонкостью инстинкта они чувствовали, что порой заботливость

может только стеснять. Поэтому, даже тогда, когда им казалось, что он в опасности, они до такой степени проникали если не в мысли его, то в самую сущность его натуры, что переставали опекать его и поручали это богу.

Впрочем, Батистина говорила, как читатель только что узнал из ее письма, что кончина брата будет и ее кончиной. Г-жа Маглуар не говорила этого, но она это знала.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Епископ перед неведомым светом

Спустя некоторое время после того как было написано письмо, приведенное на предыдущих страницах, епископ совершил поступок, по мнению всего города, еще более безрассудный, нежели его поездка в горы, кишевшие разбойниками.

Недалеко от Диня, в его окрестностях, в полном уединении жил один человек. Человек этот, — произнесем сразу это страшное слово, — был когда-то членом Конвента. Его звали Ж.

В тесном мирке жителей города Диня о члене Конвента Ж. упоминали почти с ужасом. «Вообразите только — члены Конвента! Они существовали в те времена, когда люди говорили друг другу «ты» и «гражданин»! Этот человек был почти чудовищем. Он не голосовал за смерть короля, но был близок к этому. Чуть не цареубийца. Он был страшен. Каким образом по возвращении законных государей этого человека не предали особому уголовному суду? Может быть, ему бы и не отрубили голову, — надо все же проявлять милосердие, — но пожизненная ссылка ему бы не помешала. Чтобы хоть другим было неповадно! и т. д. и т. д. Тем более, что он безбожник, как и все эти люди...» Пересуды гусей о ястребе.

Однако был ли Ж. ястребом? Да, был, если судить о нем по непримиримой суровости его уединения. Он не голосовал за смерть короля, поэтому не попал в проскрипционные списки и мог остаться во Франции.

Он жил в сорока пяти минутах ходьбы от города, вдали от людского жилья, вдали от дороги, в забытом всеми уголке дикой горной долины. По слухам, у него был там

клочок земли, была какая-то лачуга, какое-то логово. Никого вокруг: ни соседей, ни даже прохожих. С тех пор как он поселился в этой долине, тропинка к ней заросла травой. Об этом месте говорили с таким же чувством, с каким говорят о жилье палача.

Но епископ помнил о нем и, время от времени поглядывая в ту сторону, где группа деревьев на горизонте обозначала долину старого члена Конвента, думал: «Там есть душа, которая одинока».

И внутренний голос говорил ему: «Ты должен навещать этого человека».

Все же надо сознаться, что мысль об этом, казавшаяся столь естественной вначале, после минутного размышления уже представлялась епископу нелепой и невозможной, почти отталкивающей. Ибо, в сущности говоря, он разделял общее мнение, и член Конвента внушал ему, хоть он и не отдавал себе в этом ясного отчета, то чувство, которое граничит с ненавистью и которое так хорошо выражается словом «неприязнь».

Однако разве пастырь имеет право отшатнуться от зачумленной овцы? Нет. Но овца овце рознь!

Добрый епископ был в сильном затруднении. Он несколько раз направлялся в ту сторону и с полдороги возвращался обратно.

Но вот однажды в городе распространился слух, что маленький пастух, который прислуживал члену Конвента в его норе, приходил за врачом, что старый нечестивец умирает, что его разбил паралич и он вряд ли переживет эту ночь. «И слава богу!» — добавляли при этом некоторые.

Епископ взял свой посох, надел мантию — потому что его сутана, как мы уже говорили, была чересчур изношена, а также и потому, что по вечерам обычно поднимался холодный ветер, — и отправился в путь.

Солнце садилось и почти касалось горизонта, когда епископ достиг места, проклятого людьми. С легким замедлением сердца он убедился, что подошел почти к самой берлоге. Он перешагнул через канаву, проник сквозь живую изгородь, поднял жердь, закрывавшую вход, оказался в запущенном огороде, довольно храбро сделал несколько шагов вперед и вдруг, в глубине этой пустоши, за высоким густым кустарником, он увидел логовище зверя.

Это была очень низкая, бедная, маленькая и чистая хижина; виноградная лоза обвивала ее фасад.

Перед дверью, в старом кресле на колесиках, простом крестьянском кресле, сидел человек с седыми волосами и улыбался солнцу.

Возле старика стоял мальчик-подросток, юный пастушок. Он протягивал старику чашку с молоком.

Епископ молча смотрел на эту сцену. В эту минуту старик заговорил. «Благодарю, — сказал он, — больше мне ничего не нужно». И, оторвавшись от солнца, его улыбающийся взгляд остановился на ребенке.

Епископ подошел ближе. Услышав шум шагов, старик повернул голову, и на его лице выразилось самое глубокое изумление, на какое еще может быть способен человек, проживший долгую жизнь.

— За все время, что я здесь, — сказал он, — ко мне приходят впервые. Кто вы, сударь?

Епископ ответил:

— Меня зовут Бьенвеню Мириэль.

— Бьенвеню Мириэль. Мне приходилось слышать это имя. Не вас ли народ называет преосвященным Бьенвеню?

— Да, меня.

Слегка улыбаясь, старик продолжал:

— В таком случае, вы мой епископ.

— До некоторой степени.

— Милости просим.

Член Конвента протянул епископу руку, но епископ не пожал ее. Епископ сказал только:

— Я рад убедиться, что меня обманули. Вы вовсе не кажетесь мне больным.

— Сударь, — ответил старик, — я скоро буду здоров.

Помолчав немного, он добавил:

— Через три часа я умру.

И продолжал:

— Я немного врач и знаю, как наступает последний час. Вчера у меня похолодели только ступни; сегодня холод поднялся до колен; сейчас он уже доходит до пояса, я чувствую это; когда он достигнет сердца, оно остановится. А как прекрасно солнце! Я попросил выкатить сюда мое кресло, чтобы в последний раз взглянуть на мир. Можете говорить со мной, это меня нисколько не утомляет. Вы хорошо сделали, что пришли посмотреть на умираю-

щего человека. Такая минута должна иметь свидетеля. У каждого есть свои причуды: мне вот хотелось бы дожить до рассвета. Однако я знаю, что меня едва хватит и на три часа. Будет еще темно. Впрочем, не все ли равно! Кончить жизнь — простое дело. Для этого вовсе не требуется утро. Пусть будет так. Я умру при свете звезд.

Старик обернулся к пастушку:

— Иди ложись. Ты просидел возле меня всю прошлую ночь. Ты устал.

Мальчик ушел в хижину.

Старик проводил его взглядом и добавил, как бы про себя:

— Пока он будет спать, я умру. Сон и смерть — добрые соседи.

Епископа все это тронуло меньше, чем можно было бы ожидать. В этом расставании с жизнью он как-то не ощущал присутствия бога. Скажем прямо — ибо и маленькие противоречия великих сердец должны быть отмечены так же точно, как все остальное, — епископ, который при случае так любил подшутить над своим «высокопреподобием», был слегка задет тем, что здесь его не называли «монсеньором», и ему почти хотелось ответить на это обращением: «гражданин». Он почувствовал себя склонным к грубоватой бесцеремонности, довольно обычной для врачей и священников, но самому ему совсем не свойственной. В конце концов этот человек, этот член Конвента, этот представитель народа был когда-то одним из сильных мира, и, пожалуй, впервые в жизни епископ ощутил прилив суровости.

Между тем член Конвента взирал на него со скромным радушием, в котором, пожалуй, можно было уловить оттенок смирения, вполне уместного в человеке, стоящем на краю могилы.

Епископ же, который обычно воздерживался от любопытства, ибо в его понимании оно граничило с оскорблением, внимательно разглядывал члена Конвента, хотя такое внимание, проистекавшее не из сочувствия, наверное вызвало бы в нем упреки совести, будь оно направлено на любого другого человека. Член Конвента представлялся ему как бы существом вне закона, и даже вне закона милосердия.

Ж., державшийся почти совершенно прямо и говоривший спокойным, звучным голосом, принадлежал к числу тех восьмидесятилетних старцев, которые возбуждают удивление у физиологов. Революция видела немало людей, созданных по образу и подобию своей эпохи. В этом старике чувствовался человек, выдержавший все испытания. Столь близкий к кончине, он сохранил все движения, присущие здоровью. Его ясный взгляд, твердый голос, могучий разворот плеч могли бы привести в замешательство и самое смерть. Магометанский ангел смерти Азраил повернул бы перед ним вспять, решив, что ошибся дверью. Казалось, что Ж. умирает потому, что он сам этого хочет. В его предсмертной агонии чувствовалась свободная воля. Только ноги его были неподвижны. От них начиналась крепкая хватка смерти. Ноги были мертвы и холодны, в то время как голова жила со всей жизненной мощью и, видимо, сохранила полную ясность. В эту торжественную минуту Ж. походил на того царя из восточной сказки, у которого верхняя половина тела была плотью, а нижняя мрамором.

Неподалеку от кресла лежал камень. Епископ сел на него. Вступление было *ex abrupto*¹.

— Я рад за вас, — сказал епископ тоном, в котором чувствовалось осуждение. — Вы все же не голосовали за смерть короля.

Член Конвента, казалось, не заметил оттенка горечи, скрывавшегося в словах «все же». Однако улыбка исчезла с его лица, когда он ответил:

— Не слишком радуйтесь за меня, сударь, я голосовал за уничтожение тирана.

Этот суровый тон явился ответом на тон строгий.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил епископ.

— Я хочу сказать, что у человека есть только один тиран — невежество. Вот за конец этого тирана я и голосовал. Этот тиран породил королевскую власть, то есть власть, источник которой ложь, тогда как знание — это власть, источник которой истина. Управлять человеком может одно лишь знание.

— И совесть, — добавил епископ.

¹ Внезапно, без предисловий (лат.).

— Это одно и то же. Совесть — это та сумма знаний, которая заложена в нас от природы.

Монсеньор Бьенвеню с некоторым удивлением слушал эти речи, совершенно новые для него.

Член Конвента продолжал:

— Что касается Людовика Шестнадцатого, то я сказал: «Нет». Я не считаю себя вправе убивать человека, но чувствую себя обязанным искоренять зло. Я голосовал за уничтожение тирана, то есть за уничтожение проституции женщины, за уничтожение рабства мужчины, за уничтожение невежества ребенка. Голосуя за Республику, я голосовал за все это. Я голосовал за братство, за мир, за утреннюю зарю! Я помогал искоренять предрассудки и заблуждения. Крушение предрассудков и заблуждений порождает свет. Мы низвергли старый мир, и старый мир, этот сосуд страданий, пролившись на человеческий род, превратился в чашу радости.

— Радости замутненной, — сказал епископ.

— Вы могли бы сказать — радости потревоженной, а теперь, после этого рокового возврата к прошлому, имя которого тысяча восемьсот четырнадцатый год, — радости исчезнувшей. Увы, наше дело не было завершено, я это признаю; мы разрушили старый строй в его внешних проявлениях, но не могли совсем устранить его из мира идей. Недостаточно уничтожить злоупотребления, надо изменить нравы. Мельницы уже нет, но ветер остался.

— Вы разрушили. Разрушение может оказаться полезным, но я боюсь разрушения, когда оно сопровождается гневом.

— У справедливости тоже есть свой гнев, господин епископ, и этот гнев справедливости является элементом прогресса. Как бы то ни было и что бы ни говорили, но Французская революция — это самое могучее движение человечества со времен пришествия Христа. Несовершенное, — пусть так, — но благороднейшее. Она вынесла за скобку все неизвестные в социальном уравнении; она смягчила умы; она успокоила, умиротворила, просветила; она пролила на землю потоки цивилизации. Она была исполнена доброты. Французская революция — это помазание на царство самой человечности.

Епископ не мог удержаться и прошептал:

— Да? А девяносто третий год?

С почти зловещей торжественностью умирающий поднялся в своем кресле и, напрягая последние силы, вскричал:

— А! Вот оно что! Девяносто третий год! Я ждал этих слов. Тучи сгущались в течение тысячи пятисот лет. Прошло пятнадцать веков, и они, наконец, разразились грозой. Вы предъявляете иск к удару грома.

Епископ, быть может, сам себе в этом не признаваясь, почувствовал легкое смущение. Однако он не показал виду и ответил:

— Судья выступает от имени правосудия, священник выступает от имени сострадания, которое является тем же правосудием, но более высоким. Удару грома не подобает ошибаться.

И, в упор глядя на члена Конвента, он добавил:

— А Людовик Семнадцатый?

Член Конвента протянул руку и схватил епископа за плечо.

— Людовик Семнадцатый! Послушайте! Кого вы оплакиваете? Невинное дитя? Если так, я плачу вместе с вами. Королевское дитя? В таком случае дайте мне подумать. В моих глазах брат Картуша, невинный ребенок, которого повесили на Гревской площади и который висел там, охваченный веревкой подмышками, до тех пор, пока не наступила смерть, ребенок, чье единственное преступление состояло в том, что он был братом Картуша, — не менее достоин сожаления, нежели внук Людовика Пятнадцатого — другой невинный ребенок, заточенный в Тампль единственно по той причине, что он был внуком Людовика Пятнадцатого.

— Сударь, — прервал его епископ, — мне не нравится сопоставление этих имен.

— Картуша? Людовика Пятнадцатого? За которого из них вы желаете вступитьсь?

Наступило молчание. Епископ почти сожалел о том, что пришел, и в то же время он смутно ощутил, как что-то поколебалось в его душе.

— Ах, господин священник, — продолжал член Конвента, — вы не любите грубой правды. А ведь Христос любил ее. Он брал плетью и выгонял мытарей из храма. Его карающий бич был отличным вещателем суровых истин.

Когда он вскричал «*Sinite parvulos*»¹, то он не делал различия между детьми. Он не постеснялся бы поставить рядом наследника Вараввы и наследника Ирода. Невинность, сударь, сама по себе есть венец. Невинность не нуждается в том, чтобы быть «высочеством». В рубище она столь же царственна, как и в геральдических лилиях.

— Это правда, — тихо проговорил епископ.

— Я настаиваю на своей мысли, — продолжал член Конвента. — Вы назвали имя Людовика Семнадцатого. Давайте же договоримся. Скажите, кого мы будем оплакивать: всех невинных, всех страдающих, всех детей — и тех, которые внизу, и тех, которые наверху? Если так, я согласен. Но в таком случае, повторяю, надо вернуться к более ранним временам, чем девяносто третий год, и начать лить наши слезы не о Людовике Семнадцатом, а о людях, погибших задолго до него. Я буду оплакивать вместе с вами королевских детей, если вы будете вместе со мной оплакивать малышей из народа.

— Я оплакиваю всех, — сказал епископ.

— В равной мере! — вскричал Ж. — Но если чаши весов будут колебаться, пусть перетянет чаша страданий народа. Народ страдает дольше.

Снова наступило молчание. Его нарушил член Конвента. Он приподнялся на локте и, слегка ущемив щеку между указательным и большим пальцем, — машинальный жест, присущий человеку, когда он вопрошает и когда он судит, — вперил в епископа взгляд, исполненный необычайной, предсмертной силы. Он заговорил. Это было похоже на взрыв.

— Да, сударь, народ страдает давно... Но постойте, все это не то. Зачем вы пришли расспрашивать меня и говорить о Людовике Семнадцатом? Я вас не знаю. С тех пор как я поселился в этих краях, я живу один, не делая ни шагу за пределы этой ограды, не видя никого, кроме этого мальчугана, который помогает мне. Правда, ваше имя смутно доходило до меня, и, должен сознаться, о вас отзывались не слишком плохо, но это еще ничего не значит. У ловких людей так много способов обойти народ — этого славного простака. Между прочим, я почему-то не слышал шума колес вашей кареты. Очевидно, вы оставили ее там,

¹ Пустиге детей (лат.).

за рошей, у поворота дороги. Говорю вам — я вас не знаю. Вы сказали, что вы епископ, но это ничего не говорит мне о вашем нравственном облике. Итак, я повторяю свой вопрос: кто вы такой? Вы епископ, то есть князь церкви, один из тех парченосцев и гербонсцев, которые обеспечены ежегодной рентой и имеют огромные доходы с должности. Диньская епархия — это содержание в пятнадцать тысяч франков да десять тысяч франков побочных доходов, всего двадцать пять тысяч в год. Вы — один из тех, у кого отличные повара и ливрейные лакеи, из тех, кто любит хорошо покушать и ест по пятницам водяных курочек, кто выставляет себя напоказ, развалясь в парадной карете, с лакеями на передке и с лакеями на запятках, кто живет во дворцах и разъезжает в экипажах во имя Иисуса Христа, ходившего босиком! Вы сановник! Ренты, дворцы, лошади, слуги, хороший стол, все чувственные радости жизни — вы обладаете ими, как и ваши собратья, и, подобно им, вы наслаждаетесь всем этим. Да, это так, но этим сказано слишком много или слишком мало. Это ничего не говорит мне о вашей внутренней ценности и сущности, о человеке, который пришел с очевидным намерением преподавать мне мудрость. С кем я говорю? Кто вы?

Епископ опустил голову и ответил:

— *Vermis sum*¹.

— Земляной червь, разъезжающий в карете! — проворчал член Конвента.

Роли переменились: теперь член Конвента держался высокомерно, а епископ смиренно.

— Пусть будет так, сударь, — кротко сказал он. — Но объясните мне, в какой мере моя карета, которая стоит там, за кустами, в двух шагах отсюда, мой хороший стол и водяные курочки, которых я ем по пятницам, в какой мере мои двадцать пять тысяч годового дохода, мой дворец и мои лакеи доказывают, что сострадание — не добродетель, что милосердие — не долг и что девяносто третий год не был безжалостен?

Член Конвента провел рукой по лбу, словно отгоняя какую-то тень.

— Прежде чем вам ответить, — сказал он, — я прошу вас извинить меня... Я, сударь, виноват перед вами. Вы

¹ Я червь (лат.).

пришли ко мне, вы мой гость. Мне надлежит быть учтывым. Вы оспариваете мои взгляды, я должен ограничиться возражением на ваши доводы. Ваши богатства и жизненные наслаждения — это мои преимущества против вас в нашем споре, но было бы приличнее, если бы я не воспользовался ими. Обещаю вам больше их не касаться.

— Благодарю вас, — ответил епископ.

— Вернемся к объяснению, которого вы у меня просили, — продолжал Ж. — На чем мы остановились? Что вы мне сказали? Что девяносто третий год был безжалостен?

— Да, безжалостен, — подтвердил епископ. — Что вы думаете о Марате, рукоплескавшем гильотине?

— А что вы думаете о Боссюэ, распевавшем «Те Деум»¹ по поводу драгонад?

Ответ был суров, но он попал прямо в цель с неумолимостью стального клинка. Епископ вздрогнул; он не нашел возражения, но такого рода ссылка на Боссюэ оскорбила его. У самых великих умов есть свои кумиры, и недостаток уважения к ним со стороны логики вызывает порой смутное ощущение боли.

Между тем член Конвента стал задыхаться, голос его прерывался от предсмертного удушья, обычного спутника последних минут жизни, но в глазах отражалась еще полная ясность духа. Он продолжал:

— Я хочу сказать вам еще несколько слов. Если рассматривать девяносто третий год вне революции, которая в целом является великим утверждением человечности, то этот год — увы! — покажется ее опровержением. Вы, сударь, считаете его безжалостным, но что такое, по-вашему, монархия? Карье — это разбойник, но как вы назовете Монревеля? Фукие-Тенвиль — негодяй, но каково ваше мнение о Ламуаньон-Бавиле? Мальяр ужасен, но не угодно ли вам взглянуть на Со-Тавана? Отец Дюшен кровожаден, но какой эпитет выбрали бы вы для отца Летелье? Журдан-Головорез чудовище, но все же не такое чудовище, как маркиз де Лувуа. О сударь, сударь, мне жаль Марию-Антуанетту, эрцгерцогиню и королеву, но мне не менее жаль и ту несчастную гугенотку, которую в 1685 году, при Людовике Великом, сударь, привязали к

¹ «Тебе бога хвалим» (лат.) католическая молитва.

столбу, обнаженную до пояса, причем ее грудного ребенка держали от нее на расстоянии. Грудь женщины была переполнена молоком, а сердце полно мучительной тревоги. Изголодавшийся и бледный малютка видел эту грудь и надрылся от крика. А палач говорил женщине — матери и кормилице: «Отрекись!», предоставляя ей выбор между гибелью ее ребенка и гибелью души. Что вы скажете об этой пытке Тантала, примененной к матери? Запомните, сударь, Французская революция имела свои причины. Будущее оправдает ее гнев. Лучший мир — вот ее последствия. Из самых страшных ее ударов рождается ласка для всего человечества. Довольно. Я умолкаю, у меня на руках слишком хорошие карты. К тому же — я умираю.

И, отведя взор от епископа, член Конвента закончил свою мысль несколькими спокойными словами:

— Да, грубые проявления прогресса носят название революций. После того как они закончены, становится ясно, что человечество получило жестокую встряску, но сделало шаг вперед.

Член Конвента не подозревал, что он последовательно сбивает епископа со всех его внутренних позиций. Однако оставалась еще одна, и, опираясь на этот последний оплот сопротивления, монсеньор Бьенвеню возразил почти с тою же резкостью, с какой он начал разговор:

— Прогресс должен верить в бога. У добра не может быть нечестивых слуг. Атеист плохой руководитель человечества.

Старый представитель народа ничего не ответил. По его телу пробежала дрожь. Он посмотрел на небо, и слеза затуманила его взор. Потом она медленно покатилась по мертвенно бледной щеке, и едва слышно, прерывающимся голосом, словно говоря сам с собой, умирающий произнес, не отрывая глаз от беспредельной небесной глубины:

— О ты! О идеал! Ты один существуешь!

Епископ был охвачен невыразимым душевным волнением.

Немного помолчав, член Конвента поднял руку и, указав на небо, сказал:

— Бесконечное существует. Оно там. Если бы бесконечное не имело своего «я», тогда мое «я» было бы его пределом, и оно бы не было бесконечным; другими словами, бесконечное не существовало бы. Но оно существует. Следова-

тельно, оно имеет свое «я». Это «я» бесконечного и есть бог.

Последние слова умирающий произнес громким голосом, трепеща от восторга; казалось, пред ним стоит некто, видимый только ему одному. Когда он кончил, глаза его закрылись. Напряжение истощило его силы. Было ясно, что в одно это мгновение он прожил те несколько часов, которые еще оставались ему. Оно приблизило его к тому, кто ожидал его за порогом смерти. Наступала последняя минута.

Епископ понял это, мешкать долее было нельзя; ведь он пришел сюда как священник. От крайней холодности он постепенно дошел до крайнего волнения; он взглянул на эти сомкнутые глаза, он взял эту старую, морщинистую, похолодевшую руку и наклонился к умирающему.

— Этот час принадлежит богу. Разве вам не было бы прискорбно, если б наша встреча оказалась напрасной?

Член Конвента открыл глаза. Какая-то суровая, как бы подернутая тенью важность лежала теперь на его лице.

— Господин епископ, — сказал он с медлительностью, которая, быть может, проистекала не столько от упадка физических сил, сколько от чувства внутреннего достоинства, — я провел жизнь в размышлении, изучении и созерцании. Мне было шестьдесят лет, когда родина призвала меня и повелела принять участие в ее делах. Я повиновался. Я видел злоупотребления — и боролся с ними. Я видел тиранию — и уничтожал ее. Я провозглашал и исповедовал права и принципы. Враг вторгся в нашу страну — и я защищал ее; Франции угрожала опасность — и я грудью встал за нее. Я никогда не был богат, теперь я беден. Я был одним из правителей государства; подвалы казначейства ломились от сокровищ, пришлось укрепить подпорами стены, которые не выдерживали тяжести золота и серебра, — а я обедал за двадцать су на улице Арбр-Сэк. Я поддерживал угнетенных и утешал страждущих. Правда, я разорвал алтарный покров, но лишь для того, чтобы перевязать раны отечества. Я всегда помогал шествию человечества вперед, к свету, но порой противодействовал прогрессу, если он был безжалостен. Случалось и так, что я оказывал помощь вам, своим противникам. Во

Фландрии, в Петегеме, там, где была летняя резиденция меровингских королей, существует монастырь урбанисток, аббатство святой Клары в Болье, — в 1793 году я спас этот монастырь. Я исполнял свой долг по мере сил и делал добро где только мог. После чего меня стали гнать, преследовать, мучить, меня очернили, осмеяли, оплевали, прокляли, осудили на изгнание. Вот уже сколько лет, как я, несмотря на свои седины, чувствую, что есть много людей, считающих себя вправе презирать меня, что в глазах бедной невежественной толпы я — проклятый богом преступник. И я приемлю одиночество, созданное ненавистью, сам ни к кому ее не питаю. Теперь мне восемьдесят шесть лет; я умираю. Чего вы от меня хотите?

— Вашего благословения, — сказал епископ.

И опустился на колени.

Когда епископ поднял голову, лицо члена Конвента было величаво-спокойно. Он скончался.

Епископ вернулся домой, погруженный в глубокое раздумье. Всю ночь он провел в молитве. На другой день несколько любопытных отважились заговорить с ним о члене Конвента Ж.; вместо ответа епископ указал на небо. С этой поры его любовь и братская забота о малых сих и страждущих еще усилилась.

Малейшее упоминание об «этом старом нечестивце Ж.» приводило его в состояние какой-то особенной задумчивости. Никто не мог бы сказать, какую роль в приближении епископа к совершенству сыграло соприкосновение этого ума с его умом и воздействие этой великой души на его душу.

Само собой разумеется, что это «пастырское посещение» доставило повод для воркотни местным любителям сплетен. «Разве епископу место у изголовья такого умирающего? — говорили они. — Ведь тут нечего было и ждать обращения. Все эти революционеры — закоренелые еретики. Так зачем ему было ходить туда? Чего он там не видел? Верно, уж очень любопытно было поглядеть, как дьявол уносит человеческую душу».

Как-то раз одна знатная вдовушка, принадлежавшая к разновидности наглых людей, которые мнят себя остроумными, позволила себе следующую выходку. «Монсеньор, — сказала она епископу, — все спрашивают, когда

вашему преосвященству будет пожалован красный колпак».

«О! Это грубый цвет, — ответил епископ. — Счастье еще, что люди, которые презирают его в колпаке якобинца, глубоко чтят его в кардинальской шляпе».

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ

Оговорка

Тот, кто заключит из вышеизложенного, что монсеньор Бьенвеню был «епископом-философом» или «священником-патриотом», рискует впасть в большую ошибку. Его встреча с членом Конвента Ж., которую, быть может, позволительно сравнить с встречей двух небесных светил, оставила в его душе чувство какого-то недоумения, придавшее еще большую кротость его характеру. И это все.

Хотя монсеньор Бьенвеню менее всего был человеком политики, все же, пожалуй, уместно в нескольких словах рассказать здесь, каково было его отношение к событиям того времени, если предположить, что монсеньор Бьенвеню когда-либо проявлял к ним какое-либо отношение.

Итак, вернемся на несколько лет назад.

Немного времени спустя после возведения г-на Мириэля в епископский сан император пожаловал ему, так же как и нескольким другим епископам, титул барона Империи. Как известно, арест папы состоялся в ночь с 5 на 6 июля 1809 года; по этому случаю г-н Мириэль был приглашен Наполеоном в синод епископов Франции и Италии, созванный в Париже. Синод этот заседал в Соборе Парижской богородицы и впервые собрался 15 июня 1811 года под председательством кардинала Феша. В числе девяноста пяти явившихся туда епископов был и г-н Мириэль. Однако он присутствовал всего лишь на одном заседании и на нескольких частных совещаниях. Епископ горной епархии и человек, привыкший к непосредственной близости к природе, к деревенской простоте и к лишениям, он, кажется, высказал в обществе этих высоких особ такие взгляды, которые охладили температуру собрания. Очень скоро он вернулся в Динь. На вопросы о причине столь быстрого возвращения он отвечал: «Я им

мешал. Вместе со мной туда проник свежий ветер. Я показался им чем-то вроде распахнутой настежь двери».

В другой раз он сказал: «Что же тут удивительного? Все эти высокопреподобия — князья церкви, а я — всего только бедный деревенский епископ».

Дело в том, что он пришелся не ко двору. Он наговорил там немало странных вещей, и как-то вечером, когда он находился у одного из самых именитых своих коллег, у него вырвались, между прочим, такие слова: «Какие прекрасные часы! Какие прекрасные ковры! Какие прекрасные ливреи! Все это должно сильно докучать! Нет, я бы ни за что не хотел обладать таким избытком роскоши. Она бы все время кричала мне в уши: «Есть люди, которые голодают! Есть люди, которым холодно. Есть бедняки! Есть бедняки!»

Скажем мимоходом, что ненависть к роскоши — это ненависть неразумная. Она влечет за собой ненависть к искусству. Однако у служителей церкви, если не говорить о парадных службах и празднествах, роскошь является пороком. Она как бы изобличает привычки, говорящие о недостатке истинного милосердия. Богатый священник — это бессмыслица, место священника должно быть подле бедняков. Но возможно ли постоянно, днем и ночью, соприкасаться со всякой нуждой, со всякими лишениями и нищетой, не приняв на себя какой-то доли всех этих бедствий, не запылившись, если можно так выразиться, этой трудовой пылью? Можно ли представить себе человека, который находился бы у пылающего костра и не ощущал бы его жара? Можно ли представить себе человека, который постоянно работал бы у раскаленной печи и не имел ни одного опаленного волоса, ни одного почерневшего ногтя, ни капли пота, ни пятнышка сажи на лице? Первое доказательство милосердия священника, а епископа в особенности, — это его бедность.

Повидимому, именно так думал и диньский епископ.

Впрочем, не следует предполагать, чтобы в отношении некоторых щекотливых пунктов он разделял так называемые «идеи века». Он редко вмешивался в богословские распри того времени и не высказывался по вопросам, роняющим престиж церкви и государства; однако, если бы оказать на него достаточное давление, он, по всей вероятности, скорее оказался бы ультрамонтаном, нежели галли-

канцем. Так как мы пишем портрет с натуры и не имеем желания что-либо скрывать, мы вынуждены добавить, что г-н Мириэль выказал ледяную холодность к Наполеону в период его заката. Начиная с 1813 года он одобрял или даже приветствовал все враждебные императору выступления. Он не пожелал видеть Наполеона, когда тот проезжал через Динь, возвращаясь с острова Эльбы, и не отдал приказа по епархии о служении в церквях молебнов за здоровье императора во время Ста дней.

Кроме сестры, м-ль Батистины, у него было два брата: один — генерал, другой — префект. Он довольно часто писал обоим. Однако он несколько охладел к первому за то, что, командуя войсками в Провансе и приняв начальство над отрядом в тысячу двести солдат, генерал во время высадки в Канне преследовал императора так вяло, словно желал ему дать возможность ускользнуть. Переписка же епископа с другим братом, отставным префектом, достойным и честным человеком, который уединенно жил в Париже на улице Касет, оставалась более сердечной.

Итак, монсеньора Бьенвеню также коснулся дух политических разногласий, у него тоже были свои горькие минуты, своя забота. Тень страстей, волновавших эпоху, задела и этот возвышенный и кроткий ум, поглощенный тем, что нетленно и вечно. Такой человек бесспорно был бы достоин того, чтобы вовсе не иметь политических убеждений. Да не поймут превратно нашу мысль, — мы не смешиваем так называемые «политические убеждения» с возвышенным стремлением к прогрессу, с высокой верой в отечество, в народ и в человека, которая в наши дни должна лежать в основе мировоззрения всякого благородного мыслящего существа. Не углубляя вопросов, имеющих лишь косвенное отношение к содержанию данной книги, скажем просто: «Было бы прекрасно, если бы монсеньор Бьенвеню не был роялистом и если бы его взор ни на мгновение не отрывался от безмятежного созерцания трех чистых светочей — истины, справедливости и милосердия, ярко сияющих над бурной житейской суетой».

Признавая, что бог создал монсеньора Бьенвеню отнюдь не для политической деятельности, мы тем не менее поняли и приветствовали бы его протест во имя права и свободы, гордый отпор, чреватое опасностями, но справедливое сопротивление всесильному Наполеону. Однако

то, что похвально по отношению к восходящему светилу, далеко не так похвально по отношению к светилу нисходящему. Борьба привлекает нас лишь тогда, когда она сопряжена с риском, и уж, конечно, право на последний удар имеет лишь тот, кто нанес первый. Тот, кто не выступал с настойчивым обвинением в дни благоденствия, обязан молчать, когда произошел крах. Только открытый враг преуспевавшего является законным мстителем после его падения. Что касается нас, то, когда вмешивается и наказует провидение, мы уступаем ему поле действия. 1812 год начинает обезоруживать нас. В 1813 году подлое нарушение молчания со стороны Законодательного корпуса, до той поры безмолвного и осмелевшего после ряда катастроф, не могло вызвать ничего, кроме негодования, и рукоплескать ему было бы ошибкой; в 1814 году, при виде предателей-маршалов, при виде сената, который, переходя от низости к низости, оскорблял того, кого он обожествлял, при виде идолопоклонников, трусливо птящихся назад и оплевывающих недавнего идола, мы сочли своим долгом отвернуться; в 1815 году, когда в воздухе появились предвестники страшных бедствий, когда вся Франция содрогалась, чувствуя их зловещее приближение, когда уже можно было различить смутное видение разверстого перед Наполеоном Ватерлоо, в горестных приветствиях армии и народа, встретивших осужденного роком, не было ничего смешного, и, при всей неприязни к деспоту, такой человек, как диньский епископ, пожалуй, не должен был закрывать глаза на все то величественное и трогательное, что таилось в этом тесном объятии великой нации и великого человека на краю бездны.

За этим исключением епископ был и оставался во всем праведным, искренним, справедливым, разумным, смиренным и достойным; он творил добро и был доброжелателен, что является другой формой того же добра. Это был пастырь, мудрец и человек. Даже в своих политических убеждениях, за которые мы только что упрекали его и которые мы склонны осуждать весьма сурово, он был — мы должны признать это — снисходителен и терпим, быть может, более, чем мы сами, пишущие эти строки.

Привратник диньской ратуши, когда-то назначенный на свою должность самим императором, был старый унтер-офицер старой гвардии, награжденный крестом за

Аустерлиц и не менее рьяный бонапартист, чем императорский орел. У этого бедняги вырывались порой не совсем обдуманное слова, которые по тогдашним законам считались «бунтовскими речами». После того как профиль императора исчез с ордена Почетного легиона, старик никогда не одевался «по уставу» — таково было его выражение, — чтобы не быть вынужденным надевать и свой крест. Он с благоговением, собственными руками, вынул из креста, пожалованного ему Наполеоном, изображение императора, благодаря чему в кресте появилась дыра, и ни за что не хотел вставить что-либо на его место. «Лучше умереть, — говорил он, — чем носить на сердце трех жаб!» Он охотно и во всеуслышание насмеялся над Людовиком XVIII. «Старый подагрик в английских гетрах! Пусть он убирается в Пруссию со своей пудреной косицей!» — говаривал он, радуясь, что может в одном ругательстве объединить две самые ненавистные для него вещи: Пруссию и Англию. В конце концов он потерял место. Вместе с женой и детьми он очутился на улице без куска хлеба. Епископ послал за ним, мягко побранил и назначил на должность привратника собора.

За девять лет монсеньор Бьенвеню своими добрыми делами и кротостью снискал к себе любовное и как бы сыновнее почтение обитателей Диня. Даже его неприязнь к Наполеону была принята молча и прощена народом: слабовольная и добродушная паства боготворила своего императора, но любила своего епископа.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Одиночество монсеньора Бьенвеню

Подобно тому, как вокруг генерала почти всегда толпится целый выводок молодых офицеров, — вокруг каждого епископа вьется стая подчиненных аббатов. Именно этих аббатов св. Франциск Сальский в старину и назвал где-то «желторотыми священниками». Всякое жизненное поприще имеет своих искателей фортуны, которые составляют свиту того, кто уже преуспел на нем. Нет власть имущего, у которого бы не было своих приближенных; нет баловня фортуны, у которого бы не было своих придвор-

ных. Искатели будущего вихрем кружатся вокруг велико-
лепного настоящего. Всякая епархия имеет свой штаб.
Каждый сколько-нибудь влиятельный епископ окружен
стражей херувимчиков-семинаристов, которые обходят до-
зором епископский дворец, следят за порядком и караулят
улыбку монсеньора. Угодить епископу — значит встать на
первую ступень, ведущую к должности иподьякона. Надо
же пробить себе дорогу, — апостольское звание не брез-
гует доходным местечком.

Как в миру, так и в церкви есть свои тузы. Это епи-
скопы в милости, богатые, с крупными доходами, ловкие,
принятые в высшем обществе, умеющие молиться, — это
бесспорно, — но умеющие также домогаться того, что им
нужно; епископы, которые, олицетворяя собой целую
епархию, не стесняются дожидаться в чьей-нибудь перед-
ней и являются соединительным звеном между ризницей и
дипломатией, — скорее аббаты, нежели священники, ско-
рее прелаты, нежели епископы. Счастлив тот, кто сумеет
приблизиться к ним! Люди с влиянием, они щедро раз-
дают своим приспешникам, фаворитам и всей этой умею-
щей подделаться к ним молодежи богатые приходы, до-
ходы с церковных имуществ, места архидиаконов, попечи-
телей и другие выгодные кафедральные должности, по-
степенно ведущие к епископскому сану. Продвигаясь
сами, эти планеты движут вперед и своих спутников, —
настоящая солнечная система в движении. Их сияние бро-
сает пурпурный отсвет и на их свиту. Со стола их благо-
денствия крошками сыплются на приближенных малень-
кие теплые местечки. Чем больше епархия покровителя,
тем богаче приход фаворита. А Рим так близко. Епископ,
сумевший сделаться архиепископом, архиепископ, сумев-
ший сделаться кардиналом, берет вас с собой в качестве
кардинальского служки в конклав, вы входите в римское
судилище, вы получаете омофор, и вот вы уже сами член
судилища, вот вы камерарий, вот вы монсеньор, а от прео-
священства до эминенции только один шаг, а эминенцию
и святейшество разделяет только дымок сжигаемого изби-
рательного листка и ничего больше. Каждая скуфья мо-
жет мечтать превратиться в тиару. В наши дни священ-
ник — это единственный человек, который может закон-
ным путем взойти на престол, и на какой престол! Престол
державнейшего из владык! Зато каким питомником упо-

ваний является семинария! Сколько краснеющих певчих, сколько юных аббатов ходят с кувшином Перетты на голове! Как охотно честолюбие именует себя призванием, и — кто знает? — быть может, даже искренне, поддаваясь самообману. Блажен, кто верует!

Монсеньор Бьенвеню, скромный, бедный, чудаковатый, не был причислен к «значительным особам». На это указывало полное отсутствие вокруг него молодых священников. Все видели, что в Париже он «не принялся». Ни одно будущее не стремилось привиться к этому одинокому старику. Ни одно незрелое честолюбие не было столь безрассудно, чтобы пустить ростки под его сенью. Его каноники и старшие викарии были добрые старички, немного грубоватые, как и он сам, как и он, замуровавшие себя в этой епархии, которая не имела никакого общения с кардинальским двором, и похожие на своего епископа, с той лишь разницей, что они были люди конченные, а он был человеком завершенным. Невозможность расцвести возле монсеньора Бьенвеню была так очевидна, что, едва закончив семинарию, молодые люди, рукоположенные им в сан священника, запасались рекомендациями к архиепископам Экса или Оша и немедленно уезжали. Ибо люди хотят, чтобы им помогали расти, повторяем это. Праведник, чья жизнь полна самоотречения, — опасное соседство: он может заразить вас неизлечимой бедностью, параличом сочленений, необходимых, чтобы продвигаться вперед, к успеху, и вообще большей любовью к самопожертвованию, чем вы этого хотите; от сей чумной добродетели все бегут. Этим и объясняется одиночество монсеньора Бьенвеню. Мы живем в обществе, окутанном мраком. Преуспевать — вот высшая мудрость, капля за каплей падающая из тучи корыстных интересов, нависшей над человечеством.

Заметим мимоходом, какая, в сущности, гнусная вещь — успех. Его мнимое сходство с заслугой вводит людей в заблуждение. Удача — это для толпы почти то же, что превосходство. У успеха, этого близнеца таланта, есть одна жертва обмана — история. Только Ювенал и Тацит немного брюзжат на его счет. В наши дни всякая более или менее официальная философия поступает в услужение к успеху, носит его ливрею и лакействует у него в передней. Преуспевайте — такова теория! Благосостояние

предполагает способности. Выиграйте в лотерее, и вы умница. Кто победил, тому почет. Родитесь в сорочке — в этом вся штука! Будьте удачливы — все остальное приложится; будьте баловнем счастья — вас сочтут великим человеком. Не считая пяти или шести грандиозных исключений, которые придают блеск целому столетию, все восторги современников объясняются только близорукостью. Позолота сходит за золото. Будь ты хоть первым встречным — это не помеха, лишь бы удача шла тебе навстречу. Пошлость — это состарившийся Нарцисс, влюбленный в самого себя и рукоплещущий пошлости. То огромное дарование, благодаря которому человек рождается Моисеем, Эсхилом, Данте, Микельанджело или Наполеоном, немедленно и единодушно присуждается толпой любому, кто достиг своей цели, в чем бы она ни состояла. Пусть какой-нибудь нотариус стал депутатом; пусть лже-Корнель написал «Тиридата»; пусть внуху удалось обзавестись гаремом; пусть какой-нибудь военный Прюдом случайно выиграл битву, имеющую решающее значение для эпохи; пусть аптекарь изобрел картонные подошвы для армии департамента Самбр-и-Маас и, выдав картон за кожу, нажил капитал, дающий четыреста тысяч ливров дохода; пусть уличный разносчик женился на ростовщице и от этого брака родилось семь или восемь миллионов, отцом которых является он, а матерью она; пусть проповедник за свою гнусавую болтовню получил епископский сан; пусть управляющий торговым домом оказался по увольнении таким богатым человеком, что его назначили министром финансов, — во всем этом люди видят Гениальность, так же как они видят Красоту в наружности Мушкетона и Величие в шее Клавдия. Звездообразные следы утиных лапок на мягкой грязи болота они принимают за созвездия в бездонной глубине неба.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Во что он верил

Нам незачем доискиваться, был ли диньский епископ приверженцем ортодоксальной веры. Перед такой душой мы можем только благоговеть. Праведнику надо верить на слово. Кроме того, у некоторых исключительных натур

мы допускаем возможность гармонического развития всех форм человеческой добродетели, даже если их верования и отличны от наших.

Что думал епископ о таком-то догмате или о таком-то обряде? Эти сокровенные тайны ведомы лишь могиле, куда души входят обнаженными. Для нас несомненно одно: спорные вопросы веры никогда не разрешались им лицемерно. Никакое тление не может коснуться алмаза. Г-н Мириэль веровал до глубины души. «Credo in Patrem»¹, — часто восклицал он. К тому же он черпал в добрых делах столько удовлетворения, сколько надобно для совести, чтобы она тихонько сказала человеку: «С тобою бог!»

Считаем своим долгом отметить, что помимо веры и, так сказать, сверх веры у епископа был избыток любви. Именно поэтому, *quia multum amavit*², его и считали уязвимым среди «серьезных людей», «благоразумных особ» и «положительных характеров», пользуясь излюбленными выражениями нашего унылого общества, где эгоизм беспрекословно повинует педантизму. В чем же выражался этот избыток любви? В спокойной доброжелательности, которая, как мы уже говорили выше, изливалась на людей, а при случае распространялась и на неодушевленные предметы. Он жил, не зная презрения. Он был снисходителен ко всякому творению божью. В душе каждого человека, даже самого хорошего, таится бессознательная жестокость, которую он приберегает для животных. В диньском епископе эта жестокость, свойственная, между прочим, многим священникам, отсутствовала совершенно. Он не доходил до таких крайностей, как брамины, но, повидимому, ему случалось размышлять над следующим изречением из Экклезиаста: «Кто знает, куда идет душа животных?» Внешнее безобразие, извращения инстинкта не смущали и не отталкивали его. Напротив, он чувствовал себя взволнованным, почти растроганным ими. Глубоко задумавшись, он, казалось, искал за пределами видимого причину зла, объяснение его или оправдание. В иные минуты, он, казалось, молил бога смягчить кару. Без гнева, невозмутимым оком ученого

¹ «Верую в бога-отца» (лат.) — католическая молитва.

² За многолюбие (лат.).

языковеда, разбирающего полустертую надпись на пергаменте, он наблюдал остатки хаоса, еще существующие в природе. Углубленный в свои размышления, он иногда высказывал странные вещи. Однажды утром он гулял в саду, думая, что он один, и не замечая сестры, которая шла за ним; внезапно он остановился и стал рассматривать что-то на земле: это был большой паук, черный, мохнатый, отвратительный. И сестра услышала, как он произнес: «Бедное создание! Оно в этом не виновато».

Почему не рассказать об этих детски непосредственных проявлениях почти божественной доброты? Ребячество? Пусть так, но ведь в таком же возвышенном ребячестве повинны были Франциск Ассизский и Марк Аврелий. Как-то раз епископ вывихнул себе ногу, побоявшись раздавить муравья.

Так жил этот праведник. Иногда он засыпал в своем саду, и не было зрелища, которое могло бы внушить большее благоговение.

Если верить рассказам, то в молодости и даже в зрелом возрасте монсеньор Бьенвеню был человек пылких, быть может даже необузданных страстей. Его всеобъемлющая снисходительность являлась не столько природным его свойством, сколько следствием глубокой убежденности, просочившейся сквозь жизнь в самое его сердце и постепенно, мысль за мыслью, осевшей в нем; ибо в характере человека, так же как и в скале, которую долбит капля воды, могут образоваться глубокие борозды. Эти углубления неизгладимы; эти образования неистребимы.

В 1815 году — мы, кажется, уже упоминали об этом — епископу исполнилось семьдесят пять лет, но на вид ему казалось не более шестидесяти. Он был невысокого роста, имел некоторую склонность к полноте и, противясь ей, охотно совершал длинные прогулки пешком; он сохранил твердую поступь и почти прямой стан — подробность, из которой мы не собираемся делать каких-либо выводов: Григорий XVI в восемьдесят лет держался очень прямо и постоянно улыбался, что, однако, не мешало ему оставаться дурным епископом. У монсеньора Бьенвеню был, говоря языком простонародья, «осанистый вид», но выражение его лица было так ласково, что вы забывали об этой «осанке».

Когда он вел беседу, детская его веселость, о которой мы уже упоминали, составлявшая одну из самых привлекательных черт его характера, помогала людям чувствовать себя легко и непринужденно; казалось, от всего его существа исходит радость. Свежий румянец и прекрасно сохранившиеся белые зубы, блестящие при улыбке, придавали ему тот открытый и приветливый вид, когда невольно хочется сказать о человеке: «Что за славный малый!» — если он молод, и «Что за добряк!» — если он стар. Мы помним, что такое же впечатление он произвел и на Наполеона. В самом деле, на первый взгляд, и в особенности для того, кто видел его впервые, это был добряк — и голько. Но если вам случалось провести с ним несколько часов и видеть его погруженным в задумчивость, этот добряк преображался на глазах, становясь все значительнее; его высокий спокойный лоб, казавшийся величественным благодаря увенчивавшим его сединам, становился еще величественнее благодаря запечатлевшейся на нем глубокой думе; нечто возвышенное исходило от этой доброты, не перестававшей излучать свое сияние; вы испытывали такое волнение, словно улыбающийся ангел медленно раскрывал перед вами свои крылья, не переставая озарять вас своей улыбкой. Почтение, невыразимое почтение медленно охватывало вас, проникало в сердце, и вы чувствовали, что перед вами одна из тех сильных, искушенных и всепрощающих натур, у которых мысль так глубока, что она уже не может не быть кроткой.

Итак, молитва, исполнение церковных служб, милостыня, утешение скорбящих, возделывание уголка земли, братское милосердие, воздержанность, гостеприимство, самоотречение, упование на бога, наука и труд заполняли все дни его жизни. Именно заполняли, ибо день епископа был до краев полон добрых мыслей, добрых слов и добрых поступков. Однако день этот казался ему незавершенным, если вечером, перед сном, после того как обе женщины удалялись к себе, холодная или дождливая погода мешала ему провести два-три часа в своем саду. Казалось, он выполнял какой-то обряд, когда, готовясь ко сну, предавался размышлениям, созерцая величественное зрелище ночного неба. Иногда, даже в очень поздние часы, старушки, если им не спалось, слышали, как он медленно прохаживался по аллеям. Там, наедине с самим собою,

сосредоточенный, спокойный и благоговеющий, он сравнивал ясность своего сердца с ясностью небесного эфира. Взмолвленный зримым во мраке великолепием созвездий и незримым великолепием бога, он раскрывал душу мыслям, являвшимся к нему из Неведомого. В такие мгновения, возносясь сердцем в тот самый час, когда ночные цветы возносят к небу свой аромат, весь светящийся, как лампада, зажженная среди звездной ночи, словно растворяясь в экстазе перед всеобъемлющей лучезарностью мироздания, быть может он и сам не мог бы сказать, что совершалось в душе его; он чувствовал, как что-то излучается из него и что-то нисходит к нему. Таинственный обмен между безднами духа и безднами вселенной! Он думал о величии вездесущего бога, о вечности грядущей — чудесной тайне; о вечности минувшей — тайне, еще более чудесной; обо всем неизмеримом разнообразии бесконечного во всей его глубине; и, не пытаясь постичь непостижимое, он созерцал его. Он не изучал бога, он поражался ему. Он размышлял об удивительных столкновениях атомов, которые придают форму материи, пробуждают силы, обнаруживая их существование, создают своеобразие в единстве, соотношения в пространстве, бесчисленное в бесконечном и порождают красоту с помощью света. Эти столкновения — вечный круговорот завязок и развязок, отсюда жизнь и смерть.

Он сажился на деревянную скамью, прислоненную к ветхой беседке, обвитой виноградом, и смотрел на светила сквозь чахлые и кривые ветви своих плодовых деревьев. Эта четверть арпана с такой скудной растительностью, вся застроенная жалкими сараями и амбарами, была ему дорога и вполне удовлетворяла его.

Что еще нужно было старику, который все досуги своей жизни, где было так мало досуга, делил между садоводством днем и созерцанием ночью? Разве этого узкого огороженного пространства, где небо заменяло потолок, не было довольно для того, чтобы поклониться богу в его прекраснейших творениях? В самом деле, разве в нем не было заключено все? Чего же еще желать?.. Маленький сад для прогулок и вся беспредельность для грез. У ног его то, что можно возделывать и собирать; над головой — то, что можно обдумывать и изучать. Немного цветов на земле и все звезды на небе.

Еще несколько слов.

Все эти подробности, особенно в наше время, могли бы, употребляя модные сейчас выражения, внушить мысль о том, что диньский епископ в своем роде «пантеист» и что он придерживался — в похвалу это ему или в порицание, вопрос особый — одной из тех субъективных, присущих нашему веку философских теорий, какие, возникая иногда в одиноких душах, формируются и развиваются, чтобы заступить в них затем место религии. Поэтому мы со всей твердостью заявляем, что никто из лиц, близко знавших монсеньора Бьенвеню, не считал бы себя вправе приписать ему что-либо подобное. Источником познания для этого человека было его сердце, и мудрость его была соткана из того света, который излучало это сердце.

Никаких теорий — и много дел. Туманная философия таит в себе дух заблуждения; ничто не указывало на то, чтобы он когда-либо дерзал углубляться мыслью в ее таинственные дебри. Апостол может быть дерзновенным, но епископу должно быть робким. Видимо, монсеньор Бьенвеню не позволял себе чрезмерно глубокого проникновения в некоторые проблемы, разрешать которые призваны лишь великие и бесстрашные умы. У порога тайны живет священный ужас; эти мрачные врата отверсты перед вами, но что-то говорит вам, страннику, идущему мимо, что входить нельзя. Горе тому, кто проникнет туда! Гении, погружаясь в бездонные пучины абстракции и чистого умозрения, становясь, так сказать, над догматами веры, изъясняют свои идеи богу. Их молитва смело вызывает на спор, их поклонение вопрошает. Эта религия не имеет посредников, и тот, кто пытается взойти на ее крутые склоны, испытывает тревогу и чувство ответственности.

Человеческая мысль не знает границ. На свой страх и риск она исследует и изучает даже собственное ослепление. Пожалуй, можно сказать, что своим сверкающим отблеском она как бы ослепляет самую природу; таинственный мир, окружающий нас, отдает то, что получает, и, возможно, что созерцатели сами являются предметом созерцания. Так или иначе, но на земле существуют люди, —

впрочем, люди ли это? — которые на далеких горизонтах мечты ясно различают высоты абсолюта, люди, перед которыми встает грозное видение необозримой горы. Монсеньор Бьенвеню отнюдь не принадлежал к их числу. Монсеньор Бьенвеню не был гением. Его устроили бы эти вершины духа, откуда даже столь великие умы, как Сведенборг и Паскаль, соскользнули в безумие. Бесспорно, эти титанические грезы приносят свою долю нравственной пользы, именно этими трудными путями и приближаются люди к идеальному совершенству. Диньский епископ избрал кратчайшую тропу — евангелие.

Он не делал никаких попыток расположить складки своего облачения так, чтобы оно походило на плащ Илии, не старался осветить лучом предвидения туманную зыбь совершающихся событий, не стремился слить в единое пламя мерцающие огоньки малых дел, в нем не было ничего от пророка и ничего от мага. Эта смиренная душа любила — вот и все.

Быть может, он и доводил молитву до какого-то сверхчеловеческого устремления ввысь, но как любовь, так и молитва никогда не могут быть чрезмерны, и если бы молитва, которой нет в текстах священного писания, являлась ересью, то и св. Тереза и св. Иероним были бы еретиками.

Он склонялся к страждущим и кающимся. Вселенная представлялась ему огромным недугом; он везде угадывал лихорадку, в каждой груди он прослушивал страдание и, не доискиваясь причины болезни, старался врачевать раны. Грозное зрелище вызванных к жизни творений умиляло его. Он стремился лишь к одному — найти самому и передать другим наилучший способ пожалеть и поддержать. Все сущее было для этого редкого по своей доброте священнослужителя неисчерпаемым источником печали, жаждущей утешить.

Есть люди, которые трудятся, извлекая из недр земных золото; он же трудился, извлекая из душ сострадание. Его рудником были несчастья мира. Рассеянные повсюду горести являлись для него лишь постоянным поводом творить добро. «Любите друг друга!» — говорил он, считая, что этим сказано все, и ничего больше не желая; вот в чем и заключалось все его учение. «Послушайте, — сказал ему однажды сенатор, о котором мы уже упоминали, человек,

считавший себя философом, — да взгляните же на то, что происходит в мире: война всех против каждого; кто сильнее — тот и умнее. Ваше «любите друг друга» — глупость». — «Что ж, — ответил епископ, не вступая в спор, — если это глупость, то душа должна замкнуться в ней, как жемчужина в раковине». И он замкнулся в ней, жил в ней и полностью удовлетворялся ею, отстраняя от себя великие вопросы, притягивающие нас и в то же время повергающие в ужас. Он отстранял от себя неизмеримые высоты отвлеченного, бездны метафизики, все те глубины, которые сходятся в одной точке — для апостола в божестве, для атеиста в небытии: судьбу, добро и зло, борьбу всех живых существ между собою, самосознание человека и дремотную созерцательность животных, преображение через смерть, повторение существований, берущее начало в могиле, непостижимую власть преходящих чувств над неизменным «я», сущность, материю, Nil и Ens¹, душу, природу, свободу, необходимость; те острые проблемы, те зловещие толщи, над которыми склоняются гиганты человеческой мысли; те страшные пропасти, которые Лукреций, Ману, св. Павел и Данте созерцают таким сверкающим взором, что, будучи устремлен в бесконечность, он, кажется, способен возжечь там звезды.

Монсеньор Бьенвеню был просто человек, который наблюдал таинственные явления со стороны и, не исследуя их, не подходя к ним вплотную, не тревожа ими свой ум, строго хранил в душе благоговение перед неведомым.

¹ Ничто и Сущее (лат.) — термины средневековой философии.

Книга вторая

ПАДЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вечером, после целого дня ходьбы

В первых числах октября 1815 года, приблизительно за час до захода солнца, какой-то путник вошел в городок Динь. Те немногочисленные обитатели, которые в это время смотрели в окна или стояли на пороге своих домов, не без тревоги поглядывали на этого прохожего. Трудно было встретить пешехода более нищенского вида. Это был человек среднего роста, коренастый и плотный, в расцвете сил. Ему можно было дать лет сорок шесть, сорок семь. Надвинутая на лоб фуражка с кожаным козырьком наполовину закрывала его загорелое от солнца, обветренное лицо, по которому струился пот. Грубая рубаша из небеленого холста, заколотая у ворота маленьким серебряным якорем, не скрывала его волосатой груди; на нем был скрученный в жгут шейный платок, синие тиковые штаны, изношенные и потертые, побелевшие на одном колене и с прорехой на другом, старая и рваная серая блуза, заплатанная на локте лоскутом зеленого сукна, пришитым бечевкой; за спиной у путника висел туго набитый солдатский ранец, тщательно застегнутый и совершенно новый, в руках он держал огромную суковатую палку; подбитые железными гвоздями башмаки были надеты прямо на босу ногу; голова у него была острижена, а борода сильно отросла.

Пот, зной, усталость после долгого пути и пыль еще усиливали отталкивающее впечатление, которое производил этот оборванец.

Короткие его волосы стояли торчком; видимо, их остригли совсем недавно, и они только начали отрастать.

Никто не знал его. Очевидно, это был случайный прохожий. Откуда он явился? С юга. Может быть, с побережья. Ибо он вошел в Динь той же дорогой, которою семь месяцев назад прошел император Наполеон, направляясь из Канна в Париж. Должно быть, человек этот шагал без отдыха весь день. Он казался очень усталым. Женщины из старинного предместья, расположенного в нижней части города, заметили, как он остановился под деревьями бульвара Гасенди и пил воду из фонтана, что в конце аллеи. Вероятно, его мучила сильная жажда, потому что дети, которые шли за ним следом, видели, как шагов через двести он снова остановился, чтобы напиться из другого фонтана, на Рыночной площади.

Дойдя до угла улицы Пуашвер, он повернул налево и направился к мэрии. Он вошел туда и пробыл там четверть часа. У дверей, на каменной скамье, той самой скамье, встав на которую генерал Друо 4 марта прочел перед толпой изумленных обитателей Диня прокламацию, написанную в бухте Жуан, сидел жандарм. Прохожий снял фуражку и униженно поклонился ему.

Жандарм, не отвечая на поклон, внимательно посмотрел на прохожего, проводил его взглядом и вошел в мэрию.

В те времена в Дине имелся прекрасный постоянный двор под вывеской «Кольбасский крест». Хозяином этого постоянного двора был некто Жакен Лабар, человек, пользовавшийся в городе уважением за родство с другим Лабаром, который держал в Гренобле постоянный двор «Три дельфина» и когда-то служил фланговым в императорских войсках. Во время высадки императора в тех краях немало ходило слухов о постоянном дворе «Три дельфина». Говорили, будто в январе месяце генерал Бертран, переодетый возчиком, приезжал туда несколько раз, причем раздавал кресты солдатам и пригоршни золотых монет горожанам. Но достоверно одно: вступив в Гренобль, император отказался остановиться в здании префектуры; поблагодарив мэра, он сказал: «Я пойду к одному славному малому, я хорошо его знаю», — и отправился в гостиницу «Три дельфина». Несмотря на расстояние в два-

дцать пять лье, ответ славы Лабара из «Трех дельфинов» озарял и Лабара из «Кольбасского креста». В городе о нем говорили: «Это двоюродный брат того, гренубльского».

К этому-то постоялому двору, лучшему в городе, и направился путник. Он вошел в кухню, двери которой открывались прямо на улицу. Все кухонные печи топились, жаркий огонь весело пылал в камине. Трактирщик, он же и старший повар, с озабоченным видом переходил от очага к кастрюлям, наблюдая за приготовлением великолепного обеда, который предназначался для возчиков, чей шумный говор и смех раздавались из соседней комнаты. Всякий, кому приходилось путешествовать, знает, что никто не любит так хорошо поесть, как возчики. Жирный сурок с белыми куропатками и тетеревами по бокам крутился на длинном вертеле перед огнем; на плите жарились два крупных карпа из озера Лозе и форель из озера Алоз.

Услышав, что дверь отворилась и вошел новый посетитель, трактирщик, не поднимая глаз от плиты, спросил:

— Что вам угодно, сударь?

— Поесть и переночевать, — ответил вошедший.

— Это можно, — сказал трактирщик. Потом обернулся и, смерив вновь прибывшего взглядом, добавил: — Разумеется, за плату.

Пришелец вытащил из кармана блузы туго набитый кожаный кошелек.

— Деньги у меня есть, — сказал он.

— В таком случае, к вашим услугам, — ответил трактирщик.

Незнакомец снова сунул кошелек в карман, снял ранец, поставил его на пол у двери и, не выпуская из рук своей палки, присел на низенькую скамейку перед очагом. Динь лежит в горах. Октябрьские вечера там очень холодны.

Между тем трактирщик, продолжая снова взад и вперед, внимательно разглядывал путника.

— Скоро ли обед? — спросил тот.

— Сейчас будет готов, — ответил трактирщик.

Пока пришелец грелся у огня, повернувшись к хозяину спиной, почтенный трактирщик Жакен Лабар вынул из кармана карандаш и оторвал уголок старой газеты,

валявшейся на маленьком столике у окна. Написав на полях несколько слов, он сложил этот клочок бумаги и, не запечатывая, вручил мальчугану, который, как видно, служил ему одновременно и поваренком и рассыльным. Трактирщик что-то шепнул на ухо поваренку, и тот бегом пустился по направлению к мэрии.

Путник ничего не заметил.

Он снова спросил:

— Скоро ли обед?

— Сейчас будет готов, — ответил трактирщик.

Мальчик вернулся. Он принес записку обратно. Хозяин, словно ожидавший ответа, торопливо развернул ее. Внимательно прочитав написанное, он покачал головой и на минуту задумался. Затем он подошел к путнику, который казался погруженным в размышления далеко не веселого свойства.

— Сударь, — сказал он, — я не могу оставить вас у себя

Незнакомец привстал со своей скамьи.

— Как так! Вы боитесь, что я не заплачу! Хотите, я отдам плату вперед? Говорю вам — у меня есть деньги.

— Дело не в этом.

— А в чем же?

— У вас есть деньги...

— Да, — еще раз подтвердил незнакомец.

— Но у меня-то, — продолжал трактирщик, — нет свободной комнаты.

— Так устройте меня в конюшне, — спокойно возразил незнакомец.

— Не могу.

— Почему?

— Там нет места — все занято лошадьми.

— Ну что ж, — снова возразил незнакомец, — в таком случае отведите мне уголок на чердаке. Дайте охапку соломы. Впрочем, мы потолкуем об этом после обеда.

— Я не могу дать вам обеда.

Это заявление, сделанное сдержанным, но решительным тоном, заставило незнакомца насторожиться. Он встал.

— Ах, так! — вскричал он. — Но послушайте, я умираю от голода. Я без отдыха иду с самого восхода

солнца. Я прошел двенадцать лье. Я плачу деньги. Я хочу есть.

— У меня ничего нет, — сказал трактирщик.

Незнакомец разразился смехом и повернулся к камину и к печам.

— Ничего? А все это?

— Все это мне заказано другими.

— Кем?

— Господами извозчиками.

— Сколько же их?

— Двенадцать.

— Да тут хватит еды на двадцать человек.

— Все это они заказали для себя и уплатили вперед.

Незнакомец сел на прежнее место и сказал, не повышая голоса:

— Я в трактире, я голоден и остаюсь здесь.

Тогда трактирщик наклонился к нему и сказал ему на ухо таким тоном, что тот вздрогнул:

— Уходите отсюда.

В эту минуту путник, нагнувшись, подталкивал в огонь угольки железным наконечником своей палки; он живо обернулся и уже открыл рот, чтобы возразить что-то, но трактирщик пристально посмотрел на него и добавил все так же тихо:

— Послушайте, довольно лишних слов. Сказать вам, как вас зовут? Ваше имя — Жан Вальжан. А теперь — сказать вам, кто вы такой? Когда вы вошли, я кое-что заподозрил, послал в мэрию, и вот что мне ответили. Вы умеете читать?

С этими словами он протянул незнакомцу развернутую записку, которая успела пропутешествовать из трактира в мэрию и из мэрии обратно в трактир. Незнакомец пробежал ее взглядом. Немного помолчав, трактирщик продолжал:

— Я привык вежливо обращаться со всеми. Уходите отсюда.

Незнакомец опустил голову, поднял с пола свой ранец и ушел.

Он направился вдоль главной улицы. Он шагал наудачу, держась поближе к домам, униженный и печальный. Он ни разу не обернулся. Если бы он обернулся, то увидел бы, что хозяин «Кольбасского креста» стоит на

пороге своей двери и, окруженный всеми постояльцами своего заведения и всеми уличными прохожими, оживленно говорит им что-то, указывая на него пальцем; и тогда подозрительные, испуганные взгляды всей этой группы людей сказали бы ему, что его появление не замедлит всполошить весь город.

Но ничего этого он не видел. Те, кто удручены горем, не оглядываются назад. Они слишком хорошо знают, что их злая участь идет за ними следом.

Так он брел некоторое время, все вперед, выбирая наудачу улицы, которых не знал, и забыв об усталости, как это бывает в минуты уныния. Вдруг он снова почувствовал сильный голод. Надвигалась ночь. Он осмотрелся по сторонам, надеясь найти какое-нибудь пристанище.

Приличный трактир закрыл перед ним свои двери; теперь он искал какой-нибудь скромный кабачок, какую-нибудь убогую лачугу.

Вдруг в конце улицы мелькнул огонек; сосновая ветка, подвешенная к железной балке, ясно вырисовывалась на бледном фоне сумеречного неба. Он направился к ней.

Это и в самом деле был кабачок, — кабачок, что на улице Шафо.

На секунду путник остановился и заглянул через окно в низенькую залу кабачка, освещенную стоявшей на столе маленькой лампой, а также ярким пламенем очага. Несколько человек сидели там и пили. Хозяин грелся у огня. Подвешенный на крюке железный котелок кипел над очагом.

В этом кабачке, являвшемся также и своего рода постоялым двором, были две двери. Одна открывалась на улицу, а другая вела в маленький дворик, заваленный навозом.

Путник не решился войти с улицы. Он проскользнул во двор, опять остановился, потом робко нажал на щеколду и толкнул дверь.

— Кто там? — спросил хозяин.

— Человек, который хотел бы поужинать и переночевать.

— За чем же дело стало? Здесь получите и ужин и ночлег.

Он вошел. Все посетители, пившие за столом, обернулись. Лампа освещала прищельца с одной стороны, огонь очага — с другой. Пока он отвязывал свой ранец, все внимательно разглядывали его.

Кабатчик сказал:

— Вот огонь. В этом котелке варится ужин. Подойдите ближе и погрейтесь, приятель.

Путник сел перед очагом. Он протянул к огню нывшие от усталости ноги; вкусный запах шел от котелка. Лицо прищельца, насколько его можно было разглядеть из-под низко надвинутой на лоб фуражки, приняло выражение смутного довольства, к которому примешивался другой, скорбный оттенок, придаваемый длительной привычкой к страданию.

Впрочем, у него был мужественный, энергичный и грустный вид. Это лицо производило какое-то странное, двойственное впечатление: сначала оно казалось смиренным, а под конец суровым. Глаза из-под бровей сверкали, словно пламя из-под кучи валежника.

Один из посетителей, сидевших за столом, был рыбный торговец; прежде чем прийти в этот кабачок, он заходил к Лабару, чтобы поставить к нему в конюшню свою лошадь. По воле случая, утром того же дня он повстречался с этим подозрительным незнакомцем, когда тот шел по дороге между Бра д'Асс и... (забыл название, — кажется, Эскублоном). И вот, поравнявшись с ним, прохожий, который уже и тогда казался очень усталым, попросил подвезти его, в ответ на что рыбный торговец лишь подхлестнул лошадь. Полчаса назад этот самый торговец находился среди людей, окружавших Жакена Лабара, и сам рассказывал посетителям «Кольбасского креста» о своей неприятной утренней встрече. Не вставая с места, он сделал незаметный знак кабатчику. Тот подошел к нему. Они шопотом обменялись несколькими словами. Путник тем временем снова погрузился в свои думы.

Кабатчик подошел к очагу, грубо взял незнакомца за плечо и сказал:

— Немедленно убирайся отсюда.

Незнакомец обернулся и кротко ответил:

— Ах, так? Вы знаете?..

— Да.

— Меня прогнали из того трактира.

— А теперь тебя выгоняют из этого.

— Куда же мне деваться?

— Куда хочешь.

Путник взял свою палку, ранец и ушел.

На улице несколько мальчишек, которые провожали его от самого «Кольбасского креста» и, видимо, поджигали здесь, стали бросать в него камнями. Он с гневом повернул назад и погрозил им палкой; детвора рассыпалась в разные стороны, словно птичья стайка.

Он пошел дальше и оказался напротив тюрьмы. У ворот висела железная цепь, прикрепленная к колоколу. Он позвонил.

Окошечко в воротах приоткрылось.

— Господин привратник, — сказал прохожий, почтительно снимая фуражку, — сделайте милость, откройте и дайте мне приют на одну ночь.

Голос ответил ему:

— Тюрьма не постоялый двор. Пусть вас арестуют, тогда откроют.

Окошечко снова захлопнулось.

Он забрел в переулок, где было много садов. Некоторые из них вместо забора были обнесены живой изгородью, что придает улице веселый вид. Посреди этих садов и изгородей путник увидел маленький одноэтажный домик с освещенным окном. Он заглянул в это окно, как раньше в окно кабачка. Перед ним была большая, выбеленная комната, с кроватью, затянутой пологом из набивного ситца, детской люлькой в углу, несколькими деревянными стульями и двустольным ружьем, висевшим на стене. Посредине комнаты стоял накрытый стол. Медная лампа освещала грубую белую холщовую скатерть, оловянный кувшин, блестящий, как серебро, и полный вина, и коричневую суповую миску, от которой шел пар. За столом сидел мужчина лет сорока с веселым, открытым лицом; он подбрасывал на коленях маленького ребенка. Сидевшая рядом с ним молоденькая женщина кормила грудью второго ребенка. Отец смеялся, ребенок смеялся, мать улыбалась.

На миг незнакомец остановился в задумчивости перед этой мирной, отрадной картиной. Что происходило в его душе? Ответить на этот вопрос мог бы только он один.

Вероятно, он подумал, что этот радостный дом не откажет ему в гостеприимстве и что там, где он видит столько счастья, быть может найдется для него крупица сострадания.

Он стукнул в стекло тихо и нерешительно.

Никто не услышал его.

Он стукнул еще раз.

Он услышал, как женщина сказала:

— Послушай, муженек, мне кажется, кто-то стучит.

— Нет, — ответил муж.

Он стукнул в третий раз.

Муж встал, взял лампу, подошел к двери и отворил ее.

Это был мужчина высокого роста, полукрестьянин, полуремесленник. Широкий кожаный передник доходил ему до левого плеча; из-за нагрудника, словно из кармана, торчал молоток, красный носовой платок, пороховница и разные другие предметы, поддерживаемые снизу кушаком. Он стоял откинув голову назад; открытый ворот расстегнутой рубахи обнажал белую бычью шею. У него были густые брови, огромные черные бакенбарды, глаза навывкате, выступавшая вперед нижняя челюсть и, главное, то не поддающееся описанию выражение лица, которое свойственно человеку, знающему, что он у себя дома.

— Извините, сударь, — сказал путник, — не могли бы вы за плату дать мне тарелку супу и угол для ночлега вон в том сарае, что стоит у вас в саду? Скажите, могли бы? За плату.

— Кто вы такой? — спросил хозяин дома.

Человек ответил:

— Я иду из Пюи-Муасона. Шел пешком целый день. Я прошагал двенадцать лье. Скажите, вы могли бы? За плату.

— Я бы не отказался пустить к себе хорошего человека, который согласен заплатить, — сказал крестьянин. — Но почему вы не идете на постоянный двор?

— Там нет места.

— Ну, этого не может быть. Ведь сейчас не ярмарка и не базарный день. Вы были у Лабара?

— Да.

— И что же?

— Не знаю, право, но он меня не пустил, — с замешательством ответил путник.

— А были вы у этого, как бишь его? Ну, что на улице Шафо?

Замешательство незнакомца возрастало.

— Он тоже не пустил меня, — пробормотал он.

Лицо крестьянина выразило подозрение; он оглядел пришельца с ног до головы и вдруг с каким-то ужасом вскричал:

— Да уж не тот ли вы человек?

Он снова оглядел незнакомца, отступил на три шага, поставил лампу на стол и снял со стены ружье.

Между тем, услышав слова крестьянина: «Да уж не тот ли вы человек?», женщина вскочила с места, схватила обоих детей на руки и поспешно, даже не прикрыв обнаженную грудь, спряталась за спиной мужа, со страхом уставившись на незнакомца и тихо шепча про себя: «Воровское отродье».

Все это произошло гораздо быстрее, нежели можно себе представить. Несколько секунд хозяин рассматривал незнакомца так, словно перед ним была ядовитая змея, потом снова подошел к двери и сказал:

— Убирайся.

— Ради бога, хоть стакан воды, — попросил путник.

— А не хочешь ли пулю в лоб? — ответил крестьянин.

Затем он сильно хлопнул дверью, и путник услышал, как заскрипели один за другим два тяжелых железных засова. Через минуту окно закрылось ставнем, с шумом задвинулся поперечный железный брус.

Между тем мрак все сгущался. С Альп дул холодный ветер. При слабом свете угасавшего дня незнакомец разглядел в одном из садов, окаймлявших улицу, что-то вроде землянки, как ему показалось, крытой дерном. Он смело перепрыгнул через решетчатый забор и очутился в саду. Он подошел к землянке; дверью ей служило узкое, очень низкое отверстие, и она походила на те шалаши, которые обычно сооружают себе шоссе́йные рабочие на краю дороги. Должно быть, незнакомец решил, что это и в самом деле такой шалаш; он страдал от холода и голода; с голодом он уже примирился, но перед ним было по крайней мере какое-то убежище от стужи. Обычно такого рода жилище по ночам пустует. Он лег на живот и полз-

ком пролез в землянку. Внутри было тепло, и он нашел там довольно сносную соломенную подстилку. С минуту он лежал, вытянувшись на этой подстилке, не в силах сделать ни одного движения, до того он устал. Затем, чувствуя, что ранец на спине мешает ему, и сообразив, что он может заменить ему подушку, путник начал отстегивать один из ремней. В этот момент раздалось грозное рычание. Он поднял глаза. Голова огромного пса показалась в темном отверстии землянки.

Он попал в собачью конуру.

Он и сам был силен и страшен; вооружившись палкой и превратив свой ранец в щит, он кое-как выбрался из землянки, причем прорехи в его рубище сделались еще шире.

Подобным же образом выбрался он из сада, пятась к выходу и размахивая палкой; чтобы удержать пса на почтительном расстоянии, он был вынужден прибегнуть к приему, известному среди мастеров фехтовального искусства под названием «закрытая роза».

Когда он не без труда вторично перелез через забор и опять оказался на улице, один, без жилья, без крова, без приюта, лишившись даже этой соломенной подстилки, выгнанный из этой жалкой собачьей конуры, он тяжело опустился на камень, и говорят, что какой-то прохожий слышал, как он вскричал: «Собаке — и той лучше, чем мне!»

Вскоре он встал и снова отправился в путь. Он вышел из города, надеясь найти в поле какое-нибудь дерево, какой-нибудь стог сена, где можно было бы укрыться.

Долго брел он так, низко опустив голову. Наконец, почувствовав себя вдали от всякого человеческого жилья, он поднял глаза и осмотрелся по сторонам. Он был в поле; перед ним простирался пологий холм с коротко срезанным жнивьем, — такие холмы после жатвы напоминают стриженую голову.

Горизонт был совершенно черен — и не только из-за ночного мрака: темноту сгущали очень низкие облака, которые, казалось, прилегали к самому холму и, поднимаясь вверх, заволакивали все небо. Но так как вскоре должна была взойти луна, а в зените еще реяли отблески сумеречного света, эти облака образовали в высоте нечто вроде

белесоватого свода, отбрасывавшего на землю бледный ответ.

Земля поэтому была освещена ярче, чем небо, что всегда производит особенно зловещее впечатление, и однообразные, унылые очертания холма мутным сизым пятном вырисовывались на темном горизонте. Все вместе создавало впечатление чего-то отвратительного, убогого, угрюмого, давящего. На все поле и на весь холм — только одно уродливое дерево, которое, качаясь и вздрагивая под ветром, стояло в нескольких шагах от путника.

Человек этот, без сомнения, не принадлежал к числу людей утонченного духовного и умственного склада, чутко воспринимающих таинственную сторону явлений; однако это небо и этот холм, эта равнина и это дерево дышали такой безотрадной тоской, что после минуты неподвижного созерцания он внезапно повернул назад. Бывают мгновенья, когда сама природа кажется враждебной.

Он пустился в обратный путь. Городские ворота были уже закрыты. В 1815 году Динь, выдержавший во времена религиозных войн три осады, был еще окружен старинными крепостными стенами с четырехугольными башнями, которые были снесены лишь впоследствии. Путник отыскал пролом в стене и снова вошел в город.

Было около восьми часов. Не зная улиц, он опять отправился наудачу.

Он дошел таким образом до префектуры, потом очутился у семинарии. Проходя по Соборной площади, он погрозил кулаком церкви.

На углу этой площади находится типография. Именно здесь были впервые отпечатаны воззвания императора и императорской гвардии к армии, привезенные с острова Эльбы и продиктованные самим Наполеоном.

Выбившись из сил и ни на что больше не надеясь, путник растянулся на каменной скамье у дверей типографии.

В это время какая-то старая женщина вышла из церкви. Она заметила лежащего в темноте человека.

— Что вы здесь делаете, друг мой? — спросила она.

— Разве вы не видите сами, добрая женщина? Я ложусь спать, — ответил он резко и злобно.

Добрая женщина, действительно вполне достойная этого имени, была маркиза де Р.

— На этой скамье? — снова спросила она.

— Девятнадцать лет я спал на голых досках, — сказал человек, — сегодня посплю на голом камне.

— Вы служили в солдатах?

— Да, добрая женщина, в солдатах.

— Почему вы не идете на постоянный двор?

— Потому что у меня нет денег.

— Как жаль! — сказала г-жа де Р. — У меня в кошельке только четыре су.

— Все равно. Давайте.

И он взял четыре су. Г-жа де Р. продолжала:

— Этих денег вам нехватит на постоянный двор. Но, скажите, пытались ли вы устроиться где-нибудь? Не можете же вы провести так всю ночь. Вам, наверное, холодно, вы голодны. Кто-нибудь мог бы приютить вас просто из сострадания.

— Я стучался во все двери.

— И что же?

— Меня гнали отовсюду.

«Добрая женщина» прикоснулась к плечу незнакомца и указала ему на маленький низкий домик, стоявший по ту сторону площади, рядом с епископским дворцом.

— Вы говорите, что стучались во все двери? — еще раз спросила она.

— Да.

— А стучались вы в эту?

— Нет.

— Так постучитесь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мудрость, предохраняемая благоразумием

В этот вечер, после своей обычной прогулки по городу, диньский епископ довольно долго сидел, затворившись у себя в комнате. Он был занят обширным трудом на тему «Об обязанностях», который, к сожалению, так и остался незаконченным. Он тщательно собирал все сказанное отцами церкви и учеными по этому важному вопросу. Его труд распадался на две части: в первой говорилось об обязанностях общечеловеческих, во второй — об обязанностях каждого отдельного человека, в зависимости от

общественного его положения. Общечеловеческие обязанности — суть великие обязанности. Их четыре. Святой апостол Матфей определяет их так: обязанности по отношению к богу (*Матф.*, VI), обязанности по отношению к самому себе (*Матф.*, V, 29, 30), обязанности по отношению к ближнему (*Матф.*, VII, 12), обязанности по отношению к творениям Божиим (*Матф.*, VI, 20, 25). А что до остальных обязанностей, то епископ нашел их обозначенными и предписанными в других местах: обязанности государей и подданных — в Послании к римлянам; судей, жен, матерей и юношей — у св. Петра; мужей, отцов, детей и слуг — в Послании к ефесянам; верующих — в Послании к евреям; девственниц — в Послании к коринфянам. Все эти предписания он прилежно объединял в одно гармоническое целое, которое ему хотелось сделать достоянием человеческих душ.

В восемь часов вечера он еще работал, держа на коленях раскрытую толстую книгу и ухитряясь при этом делать записи на маленьких четвертушках бумаги; как всегда в это время, вошла г-жа Маглуар, чтобы взять столовое серебро из шкафчика, висевшего над кроватью. Через минуту, вспомнив, что стол накрыт и что сестра, должно быть, уже ждет его, епископ закрыл книгу, встал из-за стола и вышел в столовую.

Столовая представляла собою продолговатую комнату с камином, с дверью, выходившей прямо на улицу (мы уже говорили об этом), и окном в сад.

Госпожа Маглуар действительно кончала накрывать на стол.

Не отрываясь от дела, она разговаривала с м-ль Батистиной.

На столе горела лампа; стол стоял близко от камина, где был разведен довольно сильный огонь.

Нетрудно представить себе этих двух женщин, из которых каждой было за шестьдесят: г-жу Маглуар — низенькую, полную, подвижную; м-ль Батистину — кроткую, худощавую, хрупкую, немного повыше ростом, чем ее брат, в шелковом платье красновато-бурого цвета, которое было модно в 1806 году в Париже, когда она купила его, и верно служило ей до сих пор. Употребляя простонародное выражение, имеющее ту заслугу, что оно одним словом передает мысль, на которую едва хватило бы

целой страницы, скажем, что г-жа Маглуар была «из простых», а м-ль Батистина — «из господ». Г-жа Маглуар носила на голове белый чепец с гофрированными оборками, а на шее золотой крестик — единственное золотое женское украшение, которое можно было найти в этом доме; белоснежная косынка оживляла ее черное платье из толстой шерстяной материи с широкими короткими рукавами; передник из бумажной ткани в красную и зеленую клетку, перехваченный на талии зеленым кушаком, и такой же нагрудник, приколотый сверху по углам двумя булавками, довершал ее туалет; на ногах у нее были грубые башмаки и желтые чулки, какие носят жительницы Марселя. Платье м-ль Батистины было скроено по фасону 1806 года: короткая талия, узкая юбка, рукава с наплечниками, нашивки и пуговики. Свои седые волосы она прикрывала завитым париком, причесанным «под ребенка». Г-жа Маглуар производила впечатление смышленной, живой и добродушной женщины, хотя неодинаково приподнятые углы рта и верхняя губа, которая была у нее толще нижней, придавали ей оттенок грубоватости и властности. Пока монсеньор молчал, она разговаривала с ним весьма решительно, с какой-то смесью почтительности и фамильярности, но стоило монсеньору заговорить, и — мы уже убедились в этом — она повиновалась так же беспрекословно, как и ее хозяйка. Сама м-ль Батистина даже не разговаривала. Она ограничивалась тем, что повиновалась и одобряла. Даже в молодости она не отличалась миловидностью: у нее были большие голубые глаза навыкате и длинный, с горбинкой, нос, но все ее лицо, все ее существо — мы уже говорили об этом вначале — дышало невыразимой добротой. Она и всегда была предрасположена к кротости, а вера, милосердие, надежда — эти три добродетели, согревающие душу, — мало-помалу возвысили эту кротость до святости. Природа сделала ее лишь агнцем, религия превратила ее в ангела. Бедная святая девушка! Милое исчезнувшее воспоминание!

Впоследствии м-ль Батистина столько раз рассказывала о том, что произошло в епископском доме в этот вечер, что многие из тех, кто еще остался в живых, помнят все до мельчайших подробностей.

В ту минуту, когда вошел епископ, г-жа Маглуар что-то с горячностью говорила м-ль Батистине. Она бесе-

довала с мадмуазель на свою излюбленную тему, к которой епископ уже успел привыкнуть. Речь шла о щеколде у наружной двери.

Повидимому, г-жа Маглуар, закупая кое-какую провизию для ужина, наслушалась разных разностей. Поговаривали о каком-то бродяге подозрительного вида, о том, что в городе появился опасный незнакомец, что он шатается где-то на улицах и что у тех, кому бы вздумалось поздно вернуться домой этой ночью, может произойти неприятная встреча. Говорили также, что полиция никуда не годится, потому что префект и мэр не ладят между собою и, стараясь подставить друг другу ножку, нарочно устраивают всякие неприятности. И что поэтому люди благоразумные должны сами взять на себя обязанности полиции, быть настороже и позаботиться о том, чтобы их дома были надлежащим образом закрыты, входы загорожены, а двери снабжены засовами и *накрепко заперты*.

Госпожа Маглуар особенно подчеркнула последние слова, но епископ, войдя в столовую из своей комнаты, где было холодновато, теперь грелся, сидя у камина, да и вообще думал о другом. Он оставил без внимания многозначительную фразу г-жи Маглуар. Она повторила ее. Тогда м-ль Батистина, которой хотелось доставить удовольствие г-же Маглуар, не вызвав при этом недовольства брата, осмелилась робко спросить у него:

— Вы слышите, братец, что говорит госпожа Маглуар?

— Да, я слышал что-то в этом роде, — ответил епископ.

Потом, передвинув несколько свой стул и опершись обеими руками о колени, он обратился к старой служанке свое приветливое, веселое лицо, освещенное снизу пламенем камина, и спросил:

— Ну, в чем дело? Что случилось? Мы, стало быть, находимся в большой опасности?

И г-жа Маглуар начала всю историю сначала, немного прикрашивая ее, незаметно для себя самой. Выходило так, что в городе находится какой-то цыган, какой-то оборванец, какой-то опасный нищий. Он хотел переночевать у Жакена Лабара, но тот не пустил его к себе. Люди видели, что он прошел по бульвару Гасенди и бродил по городу до самых сумерек. Наружность у него самая разбойничья — настоящий висельник.

— В самом деле? — спросил епископ.

Этот снисходительный вопрос ободрил г-жу Маглуар; она решила, что епископ уже близок к тому, чтобы обеспокоиться, и с торжеством продолжала:

— Да, ваше высокопреосвященство. Так оно и есть. Нынешней ночью в городе непременно случится несчастье. Все это говорят. К тому же полиция никуда не годится (полезное повторение). Жить в горной местности и не иметь ночью даже уличных фонарей! Выходишь, а тут тьма кромешная! Вот я и говорю, ваше преосвященство, да и барышня тоже говорит, что...

— Я ничего не говорю, — прервала ее м-ль Батистина. — Все, что делает мой брат, хорошо!

Словно не слыша этого возражения, г-жа Маглуар продолжала:

— Вот мы и говорим, что наш дом совсем ненадежен и что если его преосвященство позволит, я схожу к Полену Мюзбуа, к слесарю, и скажу ему, чтобы он приладил к дверям те задвижки, что были прежде; они в сохранности, так что это минутное дело; говорю вам, ваше преосвященство, задвижки необходимы, хотя бы на одну только нынешнюю ночь, потому что, говорю вам, нет ничего ужаснее, чем дверь на щеколде, которую может открыть снаружи первый встречный; ну и потом ваше преосвященство имеет привычку всегда говорить: «Войдите», будь это хоть посреди ночи. О господи, да чего уж тут! Никому нет нужды и спрашивать разрешения...

В эту минуту кто-то громко постучал в дверь.

— Войдите, — сказал епископ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Героизм слепого повиновения

Дверь открылась.

Она открылась широко, настежь; видимо, кто-то толкнул ее решительно и сильно.

Вошел человек.

Мы уже знаем его. Это тот самый путник, который только что блуждал по городу в поисках ночлега.

Он вошел, сделал шаг вперед и остановился, не закрывая за собой двери. На плече у него висел ранец, в руке он держал палку, выражение глаз было жесткое, дерзкое, усталое и злобное. Огонь камина ярко освещал его. Он был страшен. В этой внезапно появившейся фигуре было что-то зловещее.

У г-жи Маглуар нехватило сил даже вскрикнуть. Она задрожала и словно остолбенела.

Мадмуазель Батистина обернулась, увидела входящего человека и, испугавшись, приподнялась со стула; потом, медленно повернув голову в сторону камина, посмотрела на брата, и лицо ее снова стало безмятежным и ясным.

Епископ устремил на вошедшего пристальный и спокойный взгляд.

Он уже открыл рот, видимо собираясь спросить у пришельца, что ему угодно, но человек обеими руками оперся на палку, окинул взглядом старика и обеих женщин и, не ожидая, пока заговорит епископ, начал громким голосом:

— Вот что. Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я пробыл на каторге девятнадцать лет. Четыре дня назад меня выпустили, и я иду в Понтарлье, по месту назначения. Вот уже четыре дня, как я шагаю пешком из Тулона. Сегодня я прошел двенадцать лье. Вечером, придя в этот город, я зашел на постоялый двор, но меня выгнали из-за моего желтого паспорта, который я предъявил в мэрии. Ничего не поделаешь. Я зашел на другой постоялый двор. Мне сказали: «Убирайся!» Сначала на одном, потом на другом. Никто не захотел впустить меня. Я был и в тюрьме, но привратник не открыл мне. Я был в собачьей конуре. Собака укусила меня и выгнала вон, словно она была человеком. Можно подумать, что она знала, кто я такой. Я вышел в поле, чтобы переночевать под открытым небом. Но небо заволокло тучами. Я решил, что пойдет дождь и что нет бога, который мог бы помешать дождю, и я вернулся в город, чтобы устроиться там хотя бы в какой-нибудь дверной нише. Здесь, на площади, я уже хотел было лечь на каменной скамье, но какая-то добрая женщина показала мне на ваш дом и сказала: «Постучись туда». Я постучался. Что здесь такое? Постоялый двор? У меня есть деньги. Целый капитал. Сто девять франков пятнадцать су, которые я заработал на каторге

за девятнадцать лет... Я заплачу. Отчего же не заплатить? У меня есть деньги. Я очень устал, я шел пешком двенадцать лье и сильно проголодался. Вы позволите мне остаться?

— Госпожа Маглуар, — сказал епископ, — поставьте на стол еще один прибор.

Человек сделал несколько шагов вперед и подошел к столу, на котором горела лампа.

— Погодите, — продолжал он, словно не поверив своим ушам, — тут что-то не то. Вы слышали? Я каторжник. Острожник. Я прямо с каторги.

Он вынул из кармана большой желтый лист бумаги и развернул его.

— Вот мой паспорт. Как видите — желтый. Это для того, чтобы меня гнали отовсюду, куда бы я ни пришел. Хотите прочитать? Я и сам умею читать. Выучился в остроге. Там есть школа для тех, кто желает. Посмотрите, вот что они вписали в паспорт: «Жан Вальжан, освобожденный каторжник, уроженец...» — ну да это вам безразлично... — «пробыл на каторге девятнадцать лет. Пять лет за кражу со взломом. Четырнадцать за четырехкратную попытку к побегу. Человек этот весьма опасен». Ну, вот! Все меня выбрасывали вон. Ну, а вы? Согласны вы пустить меня к себе? Это что, постоянный двор? Согласны вы дать мне поесть и переночевать? У вас найдется конюшня?

— Госпожа Маглуар, — сказал епископ, — постелите чистые простыни на кровати в алькове.

Мы уже говорили о том, какой характер носило повиновение обеих женщин.

Госпожа Маглуар вышла исполнить оба приказания. Епископ обратился к незнакомцу:

— Сядьте, сударь, и погрейтесь. Сейчас мы будем ужинать, а тем временем вам приготовят постель.

Только теперь смысл сказанного дошел до сознания путника. На его лице, до этой минуты суровом и мрачном, изобразилось необыкновенное изумление, недоверие, радость. Он стал бормотать, словно помешанный:

— Вправду? Быть этого не может! Вы оставите меня здесь? Не выгоните вон? Меня? Каторжника? Вы называете меня «сударь», вы не тыкаете мне? «Убирайся прочь, собака!» — вот что всегда говорят мне люди. Я был

уверен, что вы тоже прогоните меня. Ведь я сразу сказал вам, кто я такой. Вот спасибо той славной женщине, что научила меня зайти сюда. Сейчас я буду ужинать! Кровать с матрацем и с простынями, как у всех людей! Кровать! Вот уже девятнадцать лет, как я не спал на кровати! Вы позволяете мне остаться! Право, вы достойные люди! Впрочем, у меня есть деньги. Я хорошо заплачу вам. Прошу прощения, как вас зовут, господин трактирщик? Я заплачу, сколько потребуется. Вы славный человек. Ведь вы трактирщик, правда?

— Я священник и живу в этом доме, — сказал епископ.

— Священник! — повторил пришелец. — Ох, и славный же вы священник! Вы, значит, не спросите с меня денег? Вы — кюре, не так ли? Кюре из этой вот большой церкви? Гляди-ка, ну и дурень же я, право! Не заметил вашей скуфейки.

С этими словами он поставил в угол ранец и палку, положил в карман паспорт и сел. М-ль Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал:

— Вы добрый человек, господин кюре, вы никем не гнушаетесь. Это так хорошо — хороший священник! Вам, значит, не понадобятся мои деньги?

— Нет, — ответил епископ, — оставьте ваши деньги при себе. Сколько у вас? Кажется, вы сказали — сто девять франков?

— И пятнадцать су, — добавил путник.

— Сто девять франков пятнадцать су. А сколько же времени вы потратили, чтобы заработать это?

— Девятнадцать лет.

— Девятнадцать лет!

Епископ глубоко вздохнул.

Путник продолжал:

— У меня покуда все мои деньги целы. За четыре дня я истратил только двадцать пять су, которые заработал в Грасе, помогая разгружать телеги. Вы аббат, поэтому я хочу рассказать вам, что у нас на каторге был тюремный священник. А потом однажды я видел епископа. Его называют: ваше преосвященство. Это был майоркский епископ, в Марселе. Епископ — это такой кюре, который поставлен над всеми кюре. Простите меня, я, знаете, плохо рассказываю про это, но уж очень непонятны мне такие

вещи. Вы подумайте только — наш брат и он! Он служил обедню посреди тюремного двора, там устроили престол, а на голове у него была какая-то остроконечная штука из чистого золота. Она так и горела на полуденном солнце. Мы стояли с трех сторон, рядами, и на нас были наведены пушки с зажженными фитилями. Нам было очень плохо видно. Он говорил что-то, но стоял слишком далеко от нас, мы ничего не слышали. Вот что такое епископ.

Не прерывая его, епископ встал и закрыл дверь, которая все это время была открыта настежь.

Вошла г-жа Маглуар. Она принесла прибор и поставила его на стол.

— Госпожа Маглуар, — сказал епископ, — поставьте этот прибор как можно ближе к огню. — И, повернувшись к своему гостю, добавил: — Ночной ветер очень холоден в Альпах. Вы, должно быть, сильно озябли, сударь?

Всякий раз, как он произносил слово *сударь* своим ласковым, серьезным и таким дружелюбным тоном, лицо пришельца озарялось радостью. *Сударь* для каторжника — это все равно, что стакан воды для пассажира, пострадавшего при кораблекрушении на «Медузе». Опозоренные жаждут уважения.

— Как тускло горит эта лампа, — заметил епископ

Госпожа Маглуар поняла епископа, пошла в его спальню, взяла там с камина два серебряных подсвечника и поставила их с зажженными свечами на стол.

— Господин кюре, — сказал приходец, — вы добрый человек. Вы не погнушались мною. Вы приютили меня у себя. Вы зажгли для меня свечи. А ведь я не утаил от вас, откуда я пришел, не утаил, что я преступник.

Епископ, сидевший с ним рядом, слегка прикоснулся к его руке.

— Вы могли бы и не говорить мне, кто вы. Это не мой дом, это дом Иисуса Христа. У того, кто входит в эту дверь, спрашивают не о том, есть ли у него имя, а о том, нет ли у него горя. Вы страдаете, вас мучит голод и жажда — добро пожаловать! И не благодарите меня, не говорите мне, что я приютил вас у себя в доме. Здесь хозяин лишь тот, кто нуждается в приюте. Говорю вам, прохожему человеку, этот дом скорее ваш, нежели мой. Все, что здесь есть, принадлежит вам. Для чего же мне

знать ваше имя? Впрочем, еще прежде чем вы успели назвать мне себя, я знал другое ваше имя.

Человек изумленно взглянул на него.

— Правда? Вы знали, как меня зовут?

— Да, — ответил епископ, — вас зовут «брат мой».

— Знаете что, господин кюре, — вскричал путник, — входя сюда, я был очень голоден, но вы так добры, что сейчас я и сам уж не знаю, что со мной, — у меня как будто и голод прошел.

Епископ посмотрел на него и спросил:

— Вы очень страдали?

— Ох! Арестантская куртка, ядро, прикованное цепью к ноге, голые доски вместо постели, зной, стужа, работа, галеры, палочные удары! Двойные кандалы за ничтожную провинность. Карцер за одно слово. Даже на больном, в постели, — все равно кандалы. Собаки, и те счастливее нас! Девятнадцать лет! А всего мне сорок шесть. Теперь вот желтый паспорт. И все тут.

— Да, — сказал епископ, — вы вышли из юдоли печали. Но послушайте. Залитое слезами лицо одного раскаявшегося грешника доставляет небесам больше радости, чем незапятнанные одежды ста праведников. Если вы вышли из этого горестного места, затаив в душе чувство гнева и ненависти к людям, вы достойны сожаления; если же вы вынесли оттуда чувство доброжелательности, кротости и мира, то вы лучше любого из нас.

Между тем г-жа Маглуар подала ужин: суп на постном масле, с хлебным мякишем и солью, немного свиного сала, кусок баранины, несколько смокв, творог и большой каравай ржаного хлеба. Она сама догадалась добавить к обычному меню епископа бутылку старого мовского вина.

На лице епископа внезапно появилось веселое выражение, свойственное радушным людям.

— Милости просим! — с живостью сказал он.

Он усадил гостя по правую руку, как делал всегда, когда у него ужинал кто-либо из посторонних. М-ль Батистина, державшаяся невозмутимо спокойно и непринужденно, заняла место налево от брата.

Епископ прочел предобеденную молитву и, согласно своему обыкновению, сам разлил суп. Гость жадно набросился на еду.

Вдруг епископ заметил:

— Однако у нас на столе как будто чего-то нехватает.

В самом деле, г-жа Маглуар положила на стол только три прибора, по числу сидевших за столом человек. Между тем, когда у епископа оставался к ужину кто-либо из гостей, в обычае дома было раскладывать на скатерти все шесть серебряных приборов — невинное хвастовство! Это наивное притязание на роскошь являлось своего рода ребячеством, которое в этом гостеприимном и в то же время строгом доме, возводившем бедность в достоинство, было исполнено особого очарования.

Госпожа Маглуар поняла намек, безмолвно вышла из комнаты, и через минуту три прибора, которые потребовал епископ, сверкали на скатерти, симметрично разложенные перед каждым из трех сотрапезников.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Некоторые подробности о сыроварнях в Понтарлье

А теперь, чтобы дать представление о том, что происходило за этим столом, лучше всего будет привести здесь отрывок из письма м-ль Батистины к г-же де Буашеврон, где с простодушной добросовестностью передана беседа каторжника с епископом:

«...Наш гость ни на кого не обращал внимания. Он ел с прожорливостью изголодавшегося человека. Однако после ужина он сказал:

— Господин кюре, служитель божий, для меня-то все, что здесь на столе, даже слишком хорошо, но, признаться, возчики, которые не разрешили мне поужинать с ними, едят куда лучше вас.

Между нами говоря, это замечание немного задело меня. Мой брат ответил:

— У них больше работы, чем у меня.

— Нет, — возразил человек, — у них больше денег. Вы бедны, я это хорошо вижу. А может быть, вы даже и не священник? Скажите, вы вправду священник? Право же, если господь бог справедлив, вы, конечно, должны быть священником.

— Господь бог более чем справедлив, — ответил мой брат.

Затем он спросил:

— Скажите, господин Жан Вальжан, вы ведь направляетесь в Понтарлье?

— Да, по принудительному маршруту.

Кажется, этот человек выразился именно так. Потом он продолжал:

— Завтра мне надо выйти чуть свет. Тяжело ходить пешком. Ночи холодные, а дни жаркие.

— Вы идете в хорошие места, — сказал мой брат. — Во время революции семья моя была разорена, и сначала я нашел убежище в Франш-Конте, где некоторое время жил трудами рук своих. Я был полон желания работать. И я нашел, чем заняться. Там есть, из чего выбирать. Писчебумажные фабрики, кожевенные заводы, винокурни, маслобойни, крупные часовые фабрики, сталелитейные и меднолитейные заводы, не менее двадцати железодельных заводов, причем четыре из них, очень значительные, в Лодсе, Шатильоне, Оденкуре и Бере.

По-моему, я не ошибаюсь, и это именно те названия, которые привел мой брат. Затем он прервал свою речь и обратился с вопросом ко мне.

— Сестрица, — сказал он, — мне кажется, у нас есть родственники в этих краях.

Я ответила:

— Были, и при старом режиме один из них, господин де Люсенэ, служил в Понтарлье начальником городской стражи.

— Все это так, — продолжал брат, — но в девяносто третьем году родных больше не было, были только собственные руки. Я работал в Понтарлье, куда вы направляетесь, господин Вальжан, есть одна отрасль промышленности, весьма патриархальная и просто очаровательная, сестрица. Я говорю об их сыроварнях, которые там называют «сырнями».

Тут мой брат, не забывая усиленно угощать этого человека, очень подробно разъяснил ему, что такое понтарлийские общественные сыроварни. Он рассказал, что они бывают двух родов «большие риги», принадлежащие богатым, где держат по сорок — пятьдесят коров и где за лето выдывают от семи до восьми тысяч сыров,

и «артельные сырни», принадлежащие беднякам, — то есть крестьянам с предгорий, которые сообща содержат своих коров и делят доход между собой. Они сообща нанимают сыровара, который у них называется «сыроделом»; сыродел по три раза в день принимает от членов артели молоко, отмечая полученное количество нарезками на бирке. Работа сыроварни начинается в конце апреля, а около середины июня сыровары выгоняют коров в горы.

За едой этот человек стал понемногу оживать. Брат подливал ему отличного мовского вина, которое сам он не пьет, говоря, что оно слишком дорого. Все эти подробности он рассказывал с той непринужденной веселостью, которая вам хорошо знакома, и время от времени прерывал свой рассказ, ласково обращаясь ко мне. Он много раз принимался хвалить ремесло «сыродела», словно желая натолкнуть нашего гостя на мысль, что это занятие было бы для него спасением, но не советуя ему это прямо и грубо. Меня поразила одна вещь. Я уже сказала вам, кто был этот человек. Так вот, за исключением нескольких фраз об Иисусе Христе, сказанных сразу по приходе незнакомца, мой брат в продолжение всего ужина и даже всего вечера не обмолвился ни одним словом, которое могло бы напомнить этому человеку о его положении или осведомить его о том, кем является мой брат. Казалось бы, для него, как для епископа, это был самый подходящий случай сказать небольшую проповедь и воздействовать на каторжника, чтобы навсегда запечатлеть в его душе эту встречу. Возможно, всякий другой на месте брата, увидев этого несчастного у себя в доме, счел бы уместным дать ему пищу не только телесную, но и духовную, заставил бы его выслушать слова укоризны, приправленной советами и моралью, а может быть, уделил бы ему немного сострадания, увещевая в будущем вести лучшую жизнь. Брат не спросил у него даже о том, откуда он родом, не спросил о его жизни. Ведь в ней заключалась и история его проступка, а брат явно избегал всего, что могло бы вызвать это воспоминание. И до такой степени, что, говоря о горных жителях Понтарлье, «которые мирно трудятся под самыми облаками» и которые, добавил он, «счастливы, потому что

безгрешны», брат вдруг остановился, испугавшись, как бы эти печально вырвавшиеся у него слова не оскорбили нашего гостя. Хорошенько поразмыслив, я, кажется, поняла, что происходило в сердце моего брата. Очевидно, он решил, что этот человек, по имени Жан Вальжан, и без того слишком много думает о своем позоре и что наилучший способ отвлечь его от этих мыслей и внушить ему, хотя бы на миг, что он такой же человек, как все, — это обращаться с ним так же, как со всеми. Не в этом ли и состоит правильно понятое милосердие? Не находите ли вы, моя дорогая, что в этой деликатности, которая воздерживается от нравучений, морали и намеков, есть что-то поистине евангельское и что подлинное сострадание заключается именно в том, чтобы вовсе не касаться больного места человека, когда он страдает? Мне кажется, что такова была затаенная мысль моего брата. Так или иначе, я могу сказать только, что если у него и были эти мысли, то он не поделился ими ни с кем, даже со мной; в продолжение всего вечера он был совершенно таким же, как всегда, и, ужиная с этим Жаном Вальжаном, вел себя точно так же, как если бы ужинал с великим библейским судьей Гедеоном или с нашим приходским священником.

К концу ужина, когда мы уже закусывали смоквами, кто-то постучал в дверь. Это пришла тетушка Жербо с малышом на руках. Брат поцеловал малютку в лоб, взял у меня пятнадцать су, случайно оказавшихся при мне, и отдал их тетушке Жербо. Наш гость в это время почти не обращал внимания на окружающее. Он больше не говорил и казался очень утомленным. Когда бедная старушка Жербо ушла, брат прочитал послеобеденную молитву, потом, обращаясь к гостю, сказал: «Вам, наверное, хочется поскорее лечь в постель». Госпожа Маглуар поспешила убрать со стола. Я поняла, что нам следует уйти, чтобы путник мог лечь спать, и мы обе поднялись наверх. Однако через минуту я послала г-жу Маглуар отнести на постель гостя шкуру шварцвальдской косули, которая обычно лежит в моей спальне. Ночи здесь морозные, а мех хорошо греет. Жаль только, что она такая старая, шерсть из нее так и лезет. Брат купил ее, когда был в Германии, в Тотлингене, у истоков Дуная; там же

он купил и ножичек с ручкой слоновой кости, который я употребляю за столом.

Госпожа Маглуар тотчас же вернулась назад, потом мы помолились богу в комнате, где обычно развешиваем белье, и разошлись по своим спальням, ничего не сказав друг другу».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Спокойствие

Пожелав сестре доброй ночи, монсеньор Бьенвеню взял со стола один из серебряных подсвечников, другой вручил своему гостю и сказал:

— Пойдемте, сударь, я провожу вас в вашу комнату.

Путник последовал за ним.

Как уже известно из вышесказанного, расположение комнат в доме было таково, что войти в молельню, где находился альков, или же выйти из нее можно было только через спальню епископа.

В ту минуту, когда они проходили через спальню, г-жа Маглуар убирала столовое серебро в шкафчик, висевший над изголовьем кровати. Она каждый вечер заканчивала этим свои хозяйственные дела, перед тем как лечь спать.

Епископ проводил своего гостя до самого алькова. Там ожидала его постель с чистым и свежим бельем. Путник поставил подсвечник на маленький столик.

— Ну, желаю вам спокойной ночи, — сказал епископ — Завтра утром, перед уходом, вы выпьете чашку парного молока от наших коров, совсем еще теплого.

— Спасибо вам, господин аббат, — сказал путник.

Не успел он произнести эти исполненные мира слова, как вдруг, без всякого перехода, в нем произошла странная перемена, которая привела бы в ужас обеих достойных женщин, если бы они присутствовали при этом. Даже и сейчас нам трудно отдать себе отчет, какое именно чувство руководило им в ту минуту. Что это было — предостережение или угроза? Или он просто повиновался какому-то безотчетному побуждению, которое не было понятно и ему самому? Он круто обернулся

к старику, скрестил руки на груди и, устремив на своего хозяина дикий взгляд, хрипло вскричал:

— Вот оно что! Так вы, значит, укладываете меня в доме, вот здесь, рядом с собой!

Он помолчал, потом прибавил с усмешкой, в которой таилось что-то страшное:

— Хорошо ли вы подумали о том, что делаете? Почему знать, — может быть, мне случилось на своем веку убить человека?

— Про то ведает только бог, — ответил епископ.

Затем, торжественно подняв руку со сложенными для крестного знаменья пальцами и шевеля губами, словно молясь или разговаривая сам с собой, он благословил путника, даже не наклонившего при этом голову, и, не оглядываясь назад, пошел к себе.

Когда в алькове кто-нибудь спал, широкая саржевая занавеска, протянутая в молельне от стены к стене, закрывала алтарь. Проходя мимо этой занавески, епископ встал на колени и сотворил краткую молитву.

Минуту спустя он был уже в саду и шагал по дорожкам, размышляя, созерцая, отдаваясь душой и мыслью великой тайне, которую ночью бог открывает очам тех, кто бодрствует.

Что касается путника, то он так сильно устал, что даже не порадовался прекрасным чистым простыням. Зажав одну ноздрю и сильно дунув из другой, он погасил свечу, как это делают каторжники, потом, одетый, бросился на кровать и тотчас же заснул крепким сном.

Когда епископ возвращался из сада в свою спальню, пробило полночь.

Через несколько минут в маленьком домике все спало.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Жан Вальжан

Посреди ночи Жан Вальжан проснулся.

Жан Вальжан родился в бедной крестьянской семье, в Бри. В детстве он не учился грамоте. Возмужав, он стал подрезальщиком деревьев в Фавероле. Его мать звали Жанной Матье, отца — Жаном Вальжаном, или

Влажаном, — по всей вероятности, «Влажан» было прозвище, получившееся от сокращения слов *voilà Jean* ¹.

Жан Вальжан был по характеру задумчив, но не печален, — свойство привязчивых натур. А в общем этот Жан Вальжан, по крайней мере с виду, казался существом довольно вялым и незначительным. Совсем еще ребенком он потерял отца и мать. Мать его, вследствие дурного ухода, умерла от родильной горячки. Отец, занимавшийся, как и сын, подрезкой деревьев, убился насмерть, свалившись с дерева. У Жана Вальжана не осталось никого, кроме старшей сестры, вдовы с семью детьми — мальчиками и девочками. Эта-то сестра и вырастила Жана Вальжана. До тех пор пока был жив ее муж, она кормила и содержала брата. Муж умер. Старшему из семерых малышей было восемь лет, младшему — год. Самому Жану Вальжану минуло тогда двадцать четыре года. Он заменил детям отца и в свою очередь поддерживал выросшую его сестру. Это сделалось само собой, как долг, не без некоторого глухого недовольства со стороны Жана Вальжана. Так, в тяжелом и плохо оплачиваемом труде, проходила его молодость. Никто не слышал, чтобы у него когда-нибудь была подружка. Ему некогда было влюбляться.

Вечером он приходил домой усталый и молча съедал свой суп. Пока он ел, сестра его, тетушка Жанна, частенько вылавливала из его миски лучший кусочек мяса, ломтик сала или капустный лист, чтобы отдать кому-нибудь из своих детей. Казалось, ничего не замечая, он не мешал сестре делать свое дело, и, низко согнувшись над столом, продолжал есть, почти уткнувшись носом в свой суп, не убирая длинных волос, падавших ему на глаза и свисавших над миской. В Фавероле, недалеко от хижины Вальжана, на противоположной стороне улочки, жила фермерша по имени Мари-Клод; малыши из семейства Вальжан, почти всегда голодные, иной раз прибегали к Мари-Клод, чтобы занять у нее, якобы от имени матери, кринку молока, которую и выпивали где-нибудь за забором или в глухом уголке аллеи, вырывая друг у друга горшок с такой поспешностью, что больше проливалось молока им на фартучки, чем попадало в рот. Если б мать узнала об

¹ Вот Жан.

этом мошенничестве, она строго наказала бы виновных. Резкий и суровый Жан Вальжан тайком от матери уплачивал Мари-Клод за кринку молока, и дети избегали кары.

В сезон подрезки деревьев он зарабатывал по восемнадцать су в день, а потом нанимался жнецом, поденщиком, волопасом на ферме, чернорабочим. Он делал все, что мог. Сестра его тоже работала, но нелегко прокормить семерых малышей. Постепенно нужда все сильнее зажимала в тиски это злополучное семейство. Одна зима оказалась особенно тяжелой. Жан Вальжан потерял работу. Семья очутилась без хлеба. Без хлеба — в буквальном смысле. Семеро детей без хлеба.

В один воскресный вечер Мобер Изабо, владелец булочной, что на Церковной площади в Фавероле, уже собирался ложиться спать, как вдруг услышал сильный удар в защищенную решеткой стеклянную витрину своей лавчонки. Он прибежал во-время и успел еще заметить руку, которая просунулась сквозь дыру, пробитую ударом кулака в решетке и в стекле. Рука схватила каравай хлеба и исчезла вместе с ним. Изабо бросился на улицу; вор убегал со всех ног; Изабо погнался за ним и догнал. Вор успел уже бросить хлеб, но рука у него оказалась в крови. Это был Жан Вальжан.

Дело происходило в 1795 году. Жан Вальжан был предан суду «за кражу со взломом, учиненную ночью в жилом помещении». У него оказалось ружье, из которого он отлично стрелял, — он немного промышлял браконьерством, — и это повредило ему. Против браконьеров существует вполне законное предубеждение. Браконьер, так же как контрабандист, весьма недалеко ушел от разбойника. Однако заметим мимоходом, что между этой породой людей и отвратительным типом убийцы-горожанина лежит целая пропасть. Браконьер живет в лесу, контрабандист — в горах или на море. Города создают кровожадных людей, потому что они создают людей развращенных. Горы, море, лес создают дикарей; они развивают суровость характера, не уничтожая подчас его человечности.

Жан Вальжан был признан виновным. Статьи закона имели вполне определенный смысл. Нашей эпохе знакомы грозные мгновения: это те минуты, когда карательная система провозглашает крушение человеческой жизни. Как

зловещ этот миг, когда общество отстраняется и навсегда отталкивает от себя мыслящее существо! Жан Вальжан был приговорен к пяти годам каторжных работ.

22 апреля 1796 года в Париже праздновали победу под Монтеноте, одержанную главнокомандующим Итальянской армии, которого в послании Директории к Совету пятисот от 2 флореаля IV года называют Буона-Парте; в тот самый день в Бисетре заковывали в цепи большую партию каторжников. В эту партию попал и Жан Вальжан. Бывший привратник тюрьмы — сейчас ему около девяти лет — все еще хорошо помнит этого беднягу, который был прикован к концу четвертой цепи в северном углу двора. Он сидел на земле, как и все остальные. Казалось, он совершенно не понимал своего положения, сознавая лишь, что оно ужасно. Быть может также, из глубины его смутных представлений — представлений бедного невежественного человека — просачивалась мысль о чрезмерной жестокости его судьбы. Когда сильными ударами молота ему заклепывали железный ошейник на затылке, он плакал; слезы душили его, мешали говорить, и только время от времени ему удавалось произнести: «Я был подрезальщиком деревьев в Фавероле». Затем, не переставая рыдать, он поднимал правую руку и последовательно опускал ее семь раз, с каждым разом все ниже, как бы прикасаясь к семи детским головкам, и по этому жесту можно было догадаться, что преступление, в чем бы оно ни состояло, было совершено для того, чтобы накормить и одеть семерых малышей.

Он был отправлен в Тулон. Его везли туда двадцать семь суток на телеге, с цепью на шее. В Тулоне на него надели красную арестантскую куртку. Все прежнее, что было когда-то его жизнью, перестало существовать, вплоть до имени; он даже перестал быть Жаном Вальжаном, он превратился в номер 24601. Что случилось с его сестрой? Что случилось с ее семерыми детьми? Кому какое дело до этого? Что станет с горсточкой листьев молодого деревца, если подпилить его под самый корень?

Все та же старая история. Эти злополучные живые существа, эти создания божии, потерявшие отныне всякую опору, покровителя, пристанище, разбрелись куда глаза глядят — кто знает, куда именно, быть может каждый

своей дорогой, — и понемногу потонули в холодном тумане, поглощающем одинокие существования, в печальной мгле, где постепенно, в безрадостном шествии рода человеческого, исчезает столько несчастных. Они покинули родные места. Колокольня деревенской церкви забыла их; межа их собственного поля забыла их; после нескольких лет, проведенных на каторге, Жан Вальжан и сам позабыл о них. В сердце, где прежде зияла рана, теперь остался рубец. Вот и все. За то время, пока он был в Тулоне, он всего лишь раз услышал о сестре. Кажется, это случилось в конце четвертого года его заключения. Не знаю, право, каким путем дошло до него это известие. Кто-то, знавший их семью еще на родине, встретил его сестру. Она была в Париже. Она жила на бедной маленькой улице возле Сен-Сюльпис, на улице Хлебопеков. При ней оставался только один ребенок, мальчуган, самый младший. Где были шестеро остальных? Возможно, что этого не знала и она сама. Каждое утро она ходила в типографию, что на Башмачной улице, дом 3, где работала фальцовщицей и брошировщицей. На работу надо было являться к шести часам утра, в зимнее время — задолго до рассвета. В одном доме с типографией помещалась школа, и она водила в эту школу своего малыша, которому исполнилось семь лет. Но в типографию она приходила к шести часам, а школа открывалась только в семь, и ребенку нужно было ждать во дворе, пока откроется школа, целый час, — целый час зимой, на холоде, в темноте. Мальчику не позволяли входить в типографию, «потому что он мешает». Утром, проходя мимо, рабочие видели это бедное маленькое созданище: сидя прямо на мостовой, малыш дремал, а нередко и засыпал тут же во тьме, съежившись в комочек и склонившись над своей корзинкой. Когда шел дождь, старуха привратница из жалости брала его к себе в каморку, где стояла только убогая кровать, прятка да два деревянных стула, и мальчуган спал там, в уголке, прижав к себе кошку, чтобы немного согреться. В семь часов школу отпирали, и он уходил туда. Вот что сообщили Жану Вальжану. Этот рассказ явился для него как бы вспышкой молнии, окном, которое, внезапно распахнувшись и дав ему увидеть судьбу тех, кого он любил когда-то, снова захлопнулось; больше он ничего о них не слышал — ничего и никогда. Никакие вести о них больше

не приходили, он никогда больше их не видел, ему ни разу не случилось их встретить; и в дальнейшем нашем горестном повествовании о них не будет больше ни слова.

К концу четвертого года пришла очередь Жана Вальжана бежать с каторги. Товарищи помогли ему, согласно обычаям этого невеселого места. Он бежал. Двое суток он бродил по полям, на свободе, если можно назвать свободой положение человека, которого травят, который оборачивается каждую секунду, вздрагивает от малейшего шума, боится всего: дыма из трубы, человека, проходящего мимо, залаявшей собаки, быстро скачущей лошади, боя часов на колокольне; боится дня — потому что светло, ночи — потому что темно, боится дороги, тропинки, куста, боится, как бы не уснуть. К вечеру второго дня его поймали. Он не ел и не спал тридцать шесть часов. За его проступок морской суд продлил срок наказания на три года, что составило уже восемь лет. На шестой год снова пришла его очередь бежать; он воспользовался этим, но побег не удался. Его хватились на перекличке. Был дан выстрел из пушки, и ночью часовые нашли его под килем строившегося судна; он оказал сопротивление схватившей его страже. Побег и бунт. Это преступление, предусмотренное в специальном пункте кодекса законов, каралось увеличением срока на пять лет, из коих два года Жан Вальжан должен был носить двойные кандалы Тринадцать лет. На десятом году снова настала его очередь бежать, и он снова воспользовался ею. И опять с тем же успехом. Еще три года за эту новую попытку. Шестнадцать лет. Наконец, кажется на тринадцатом году, он бежал в последний раз, лишь для того, чтобы быть пойманным через четыре часа. За эти четыре часа отсутствия — три года. Девятнадцать лет. В октябре 1815 года его освободили, а попал он на каторгу в 1796 году за то, что разбил оконное стекло и взял каравай хлеба.

Позволим себе краткое отступление. Изучая вопросы уголовного права и осуждения именем закона, автор этой книги вторично сталкивается с кражей хлеба, как с исходной точкой крушения человеческой судьбы. Клод Ге украл хлеб; Жан Вальжан украл хлеб. Английской статистикой установлено, что в Лондоне из каждых пяти краж четыре имеют непосредственной причиной голод.

Жан Вальжан вошел в каторжную тюрьму дрожа и рыдая; он вышел оттуда бесстрастным. Он вошел туда полный отчаянья; он вышел оттуда мрачным.

Что же произошло в этой душе?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Глубь отчаянья

Попытаемся рассказать это.

Общество обязано взглянуть в такого рода явления, ибо оно само создает их.

Это был, как мы уже говорили, человек невежественный, но далеко не глупый. В нем светился природный ум. А несчастье, которое по-своему просветляет человека, раздуло огонек, тлевший в этой душе. Под ударами палки, в цепях, в карцере, на тяжелой работе, изнемогая под палящим солнцем, лежа на голых досках арестантской койки, он исследовал свою совесть и стал размышлять.

Он объявил себя судьей.

И прежде всего призвал к суду самого себя.

Он признал, что вовсе не был осужден невинно. Он понял, что совершил отчаянный поступок, достойный порицания, что если бы он попросил, ему, быть может, и не отказали бы в этом хлебе; что, так или иначе, лучше было подождать, чтобы ему дали этот хлеб либо из сострадания, либо за работу; что на слова «разве может человек ждать, когда он голоден?» — нетрудно привести множество возражений: что, во-первых, такие случаи, когда умирают от голода, в прямом значении этого слова, крайне редки, а во-вторых, к несчастью или счастью, человек создан так, что он долго и много может страдать физически и нравственно, не умирая; что, следовательно, надо было запастись терпением; что так было бы лучше даже и для бедных его детишек; что он, жалкий, ничтожный человек, совершил безумный поступок, схватив за горло общество и вообразив, что можно уйти от нищеты с помощью кражи; что, так или иначе, выход, который вел из нищеты в бесчестье, — был дурной выход; словом, он признал себя виновным.

Затем он спросил себя:

Один ли он был виновен во всей этой роковой истории? И, прежде всего, не является ли весьма существенным то обстоятельство, что он, рабочий, остался без работы, что он, трудолюбивый человек, остался без куска хлеба? Далее, не слишком ли жестока и чрезмерна была кара для преступника, который открыто сознался в своем преступлении? Не допустило ли правосудие, столь сурово наказав его, большего злоупотребления, нежели сам преступник? Не перевешивает ли одна из чашек весов, и притом именно та, на которой лежит искупление? Не сглаживается ли чрезмерностью наказания совершённый проступок, и не меняет ли этот перевес всего положения вещей, на место вины осужденного подставляя вину карающей власти, превращая виновного в жертву, должника в кредитора и привлекая закон на сторону того, кто его нарушил? И, наконец, не является ли это наказание, отягченное последовательными увеличениями срока за неоднократные попытки убежать, своего рода покушением сильного на слабого, преступлением общества по отношению к личности, — преступлением, повторяющимся каждый день, преступлением, длящимся девятнадцать лет?

Он спросил себя, вправе ли человеческое общество в равной мере подвергать своих членов безрассудной своей беспечности, с одной стороны, и беспощадной предусмотрительности — с другой, навсегда зажимая несчастного человека в тиски между недостатком и чрезмерностью — недостатком работы, чрезмерностью наказания?

Он спросил себя, не чудовищно ли, что общество так обращалось именно с теми из своих членов, которые по воле случая, распределяющего жизненные блага, были одарены наименее щедро и, следовательно, были наиболее достойны снисхождения?

Поставив и разрешив все эти вопросы, он подверг общество суду и вынес приговор.

Он приговорил его к своей ненависти.

Он возложил на общество ответственность за свою судьбу и сказал себе, что, быть может, настанет день, когда он отважится потребовать у него отчета. Он заявил себе, что между ущербом, причиненным им, и ущербом, причиненным ему, нет равновесия; наконец он пришел к выводу, что его наказание, не будучи, правда, незаконным, все же никак не являлось и актом справедливости.

Гнев может быть безрассуден и слеп; раздражение бывает неоправданным; но негодование всегда внутренне обосновано так или иначе. Жан Вальжан был полон негодования.

К тому же человеческое общество причинило ему только зло. Он всегда видел лишь тот разгневанный лик, который оно именует своим правосудием и открывает только тем, кого бьет. Люди всегда приближались к нему только затем, чтобы причинить боль. Всякое соприкосновение с ними означало для него удар. После того как он расстался со своим детством, с матерью, с сестрой, он ни разу, ни одного разу не слышал ласкового слова, не встретил дружеского взгляда. Переходя от страдания к страданию, он постепенно убедился, что жизнь — война и что в этой войне он принадлежит к числу побежденных. Единственным его оружием была ненависть. Он решил отточить это оружие на каторге и унести с собой, когда уйдет оттуда.

В Тулоне существовала школа для арестантов, которую содержали монахи-иньорантинцы и где обучали самому необходимому тех несчастных, у кого была охота учиться. Жан Вальжан принадлежал к числу последних. Он начал ходить в школу сорока лет и выучился читать, писать и считать. Он чувствовал, что, укрепляя свой ум, он тем самым укрепляет и свою ненависть. В иных случаях просвещение и знания могут лишь усилить могущество зла.

Грустно говорить об этом, но, предав суду общество, которое было творцом его несчастья, он предал суду провидение, сотворившее общество, и также вынес ему приговор.

Таким образом, в течение девятнадцати лет пытки и рабства эта душа одновременно возвысилась и пала. С одной стороны, в нее проник свет, а с другой — тьма.

Как мы видели, Жан Вальжан не был от природы дурным человеком. Когда он попал на каторгу, он был еще добрым. Именно там он осудил общество и почувствовал, что становится злым; именно там он осудил провидение и почувствовал, что становится нечестивым.

Здесь мы не можем не задержаться для минутного размышления.

Способна ли человеческая натура измениться коренным образом, до основания? Может ли человек, которого

бог создал добрым, стать злым по вине другого человека? Может ли душа под влиянием судьбы совершенно преобразиться и стать злой, если судьба человека оказалась злой? Может ли сердце под гнетом неизбывного горя стать дурным и уродливым, заболев неизлечимым недугом, подобно тому как искривляется позвоночный столб под чрезмерно низким, давящим сводом? Нет ли в душе любого человека, в частности не было ли в душе Жана Вальжана той первоначальной искры, той божественной основы, которая не подвержена тлению в этом мире и бессмертна в мире ином и которую добро может развить, разжечь, воспламенить и превратить в лучезарное сияние, а зло никогда не может окончательно погасить?

Это важные и неизученные вопросы, причем на последний из них любой физиолог, по всей вероятности, без колебаний ответил бы *нет*, если бы увидел в Тулоне этого каторжника, когда тот, в часы отдыха — часы его размышлений, — сунув в карман конец цепи, чтобы он не волочился, и скрестив руки, сидел на колесе какого-нибудь судового вóрота, мрачный, серьезный, молчаливый, задумчивый — пария закона, гневно взиравший на человека, отверженец цивилизации, сурово взиравший на небо.

Да, несомненно, и мы вовсе не хотим скрывать это, наблюдатель физиолог усмотрел бы здесь неисцелимый недуг; он, возможно, пожалел бы этого больного, искалеченного по милости закона, но не сделал бы ни малейшей попытки его лечить; он отвратил бы свой взгляд от бездн, зияющих в этой душе, и, как Данте со врат ада, он стер бы с этого существования слово, которое перст божий начертал на челе каждого человека, — слово *надежда*.

Понимал ли сам Жан Вальжан свое душевное состояние, в котором мы попытались разобраться, с той ясностью, с какой, быть может, представляет его себе читатель этой книги после наших разъяснений? Вполне ли отчетливо различал Жан Вальжан те элементы, из которых слагался его нравственный недуг, по мере их возникновения и формирования? Мог ли этот неотесанный и безграмотный человек отдать себе точный отчет в последовательной смене мыслей, с помощью которых он, шаг за шагом, поднимался и опускался до мрачных представлений о жизни, составлявших столько лет его умственный кругозор?

Сознавал ли он все то, что произошло в его душе и что шевелилось в ней? Мы не смеем утверждать это, и даже больше того — мы в это не верим. Жан Вальжан был чересчур невежествен, и даже после того как он испытал столько горя, многое в нем самом осталось для него туманным. Порою он с трудом разбирался в собственных ощущениях. Жан Вальжан пребывал во мраке, страдал во мраке, ненавидел во мраке; можно сказать, он заранее ненавидел все и вся. И он брел в этой тьме, ощупью находя свой путь, как слепой или как мечтатель. Однако время от времени, по внутренней ли, или по внешней причине, им овладевал порыв гнева, приступ страдания; мгновенная вспышка молнии озаряла вдруг его душу, и в зловещем отблеске мертвенного света ему внезапно являлись, окружая его со всех сторон, страшные пропасти и мрачные картины будущего.

Но вот молния гасла, и снова воцарялся мрак. Что это было? Он уже не помнил и сам.

Особенностью такого рода наказаний, в которых преобладает беспощадность, то есть нечто, притупляющее разум, является то, что они изменяют человека, мало-помалу превращая его путем какого-то бессмысленного преобразования в дикого зверя, а иногда и в кровожадного зверя. Одни только попытки Жана Вальжана к бегству, последовательные и упорные, с достаточной ясностью говорят о странном воздействии закона на человеческую душу. Жан Вальжан был готов возобновлять эти попытки, такие бесполезные и безумные, столько раз, сколько бы ни представлялся к тому случай, ни на миг не задумываясь над их последствиями или над опытом предыдущих. Он убегал стремительно, как убегает волк, который вдруг замечает, что его клетка открыта. Инстинкт говорил ему: «Беги!» Разум сказал бы ему: «Останься!» Но перед столь сильным искушением разум исчезал, оставался голый инстинкт. Действовал только зверь. Новые жестокости, которым его подвергали после поимки, только способствовали большему его одичанию.

Не следует упускать из вида то обстоятельство, что Жан Вальжан обладал огромной физической силой; ни один из обитателей каторги не мог с ним сравниться в этом отношении. На тяжелой работе, отдавая канат или поворачивая судовой ворот, Жан Вальжан стоил четырех

человек. Иногда он поднимал и держал на спине огромные тяжести и при случае заменял орудие, которое теперь называют домкратом, а в старину звали *orgueil*¹, и от которого, упомянем вскользь, произошло название улицы Монт-оргейль, находящейся недалеко от парижских рынков. Товарищи прозвали его Жан-Домкрат. Однажды, при ремонте балкона тулонской ратуши, одна из чудесных кариатид Пюже, поддерживающих этот балкон, отошла от стены и чуть было не упала. Жан Вальжан, случайно оказавшийся при этом, поддержал кариатиду плечом и простоял так, пока не подоспели рабочие.

Гибкость была развита у него еще больше, чем сила. Некоторые из каторжников, беспрестанно мечтая о побеге, в конце концов из умения сочетать ловкость с силой создают своеобразную науку. Это наука управления мускулами. Это таинственное искусство равновесия, ежедневно совершенствуемое арестантами — людьми, которые вечно завидуют насекомым и птицам. Вскарabкаться на отвесную стену и найти точку опоры там, где глаз едва видит крохотный выступ, было детской игрой для Жана Вальжана. Уцепившись за угол стены, напрягая мышцы спины и ног, втискивая локти и пятки в неровности камня, он, словно по волшебству, взбирался на четвертый этаж. Иногда ему случалось таким же способом подняться до самой крыши острога.

Он мало говорил. Он никогда не смеялся. Необходимо было какое-нибудь чрезвычайное душевное потрясение, чтобы вызвать у него раз или два в год злобеший хохот — хохот каторжника, звучащий, как отголосок сатанинского смеха. У него был такой вид, словно он постоянно занят созерцанием чего-то страшного.

И действительно, он был поглощен своими мыслями.

Сквозь дымку болезненных восприятий недоразвитой натуры и угнетенного сознания он смутно ощущал, что над ним тяготеет какая-то чудовищная сила. Пытаясь оглянуться и оторвать свой взгляд от тусклого и унылого полумрака, в котором он прозябал, он всякий раз с яростью и страхом видел, как воздвигается над ним, уступ за уступом, круто вздымаясь в недоступную для глаза высь, какая-то жуткая громада вещей, законов, предрассудков,

¹ Вага.

людей и событий, — громада, очертания которой ускользали от него, а давящая масса преисполняла отчаянием; он видел колоссальную пирамиду, называемую нами цивилизацией. В этой полной движения и бесформенной гряде он вдруг различал там и сям, то совсем рядом с собой, то вдали, на недостижимых высотах, какую-нибудь ярко освещенную группу или отдельную фигуру: надсмотрщика с палкой, жандарма с саблей или архиепископа в митре, а на вершине — окруженного солнечным нимбом, самого императора в ослепительно сияющей короне. И ему казалось, что этот далекий блеск не только не рассеивает, но, напротив, сгущает мрак окружающей его ночи, делает его еще более зловещим. Все это — законы, предрассудки, события, люди, предметы — кружилось, проносилось над его головой, повинаясь сложному и таинственному велению бога, продиктованному цивилизации, топча и уничтожая его с какой-то невозмутимой жестокостью и неумолимым равнодушием. Души, упавшие в самую глубь бедствия, возможного для человека, несчастливцы, затерянные на самом дне земного чистилища, куда уже не заглядывает ничей глаз, отринутые законом, чувствуют на себе весь гнет человеческого общества, столь грозного для тех, кто вне его, столь страшного для тех, кто внизу.

Таково было умонастроение Жана Вальжана, предававшегося своим думам. В чем же заключалась сущность его размышлений?

Если бы зерно проса, попавшее под мельничный жернов, могло думать, у него, наверно, были бы те же мысли, что и у Жана Вальжана.

В конце концов все это — действительность, населенная призраками, фантазмагория, населенная образами из реальной жизни, — привело его к особому душевному состоянию, которое почти невозможно выразить словами.

Случалось, в самый разгар своей тяжелой, мучительной работы он вдруг останавливался. Он начинал думать. Его рассудок, более зрелый, чем прежде, но и более смятенный, возмущался. Все, что случилось с ним, казалось ему бессмысленным; все, что окружало его, казалось ему неправдоподобным. Он говорил себе: «Это сон». Он глядел на надсмотрщика, стоявшего в нескольких шагах от него:

надсмотрщик казался ему привидением; и вдруг это привидение ударило его палкой.

Видимый мир почти не существовал для него. Пожалуй, можно сказать, что для Жана Вальжана не было ни солнца, ни чудесных летних дней, ни ясного неба, ни свежих апрельских зорь. Свет проникал в эту душу, словно через какое-то подвальное оконце.

В заключение, подводя итоги и делая выводы из всего вышесказанного, если только возможно сделать из этого какие-либо положительные выводы, мы устанавливаем, что за девятнадцать лет Жан Вальжан, безобидный фаверольский подрезальщик деревьев, Жан Вальжан, опасный тулонский каторжник, стал способен — таким воспитала его каторжная тюрьма — к дурным поступкам двоякого рода: во-первых, к дурному поступку, внезапному, необдуманному, чисто инстинктивному, который совершается в полном беспамятстве и является как бы местью за все, что он выстрадал; во-вторых — к дурному поступку, серьезному и значительному, который обдуман заранее и основан на ложных понятиях, порожденных его несчастьем. Размышления, предшествовавшие его поступкам, проходили у него через три последовательные фазы, что имеет место только у людей определенного склада характера: через рассудок, через волю, через упорство. Им руководили постоянный протест, душевная горечь, глубокое сознание перенесенных несправедливостей, чувство возмущения даже против добрых, невинных и праведных, если они существуют. Исходной и конечной точкой его мыслей являлась ненависть к человеческим законам — та ненависть, которая, не будучи остановлена какой-нибудь спасительной случайностью в самом начале, превращается с течением времени в ненависть к обществу, затем в ненависть к человеческому роду, затем в ненависть ко всему сущему и выражается в смутном, беспрестанном и животном стремлении вредить — все равно кому, любому живому существу. Как мы видим, паспорт не без оснований определял Жана Вальжана как *весьма опасного человека*.

Из года в год душа его все более черствела — медленно, но непрерывно. Черствое сердце — сухие глаза. К тому времени, когда Жан Вальжан уходил с каторги, исполнилось девятнадцать лет, как он пролил последнюю слезу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Море и мрак

Человек за бортом!

Ну так что же! Корабль не останавливается. Дует ветер. У этого мрачного корабля свой путь, и он вынужден его продолжать. Он уходит дальше.

Человек исчезает, потом появляется снова, он погружается и снова выплывает на поверхность, он вызывает о помощи, он простирает руки; никто не слышит его. Корабль, сотрясаемый ураганом, неуклонно идет вперед; матросы и пассажиры уже не видят тонущего человека; голова несчастного — лишь крошечная точка в необъятной громаде волн.

Он испускает отчаянные крики, которые замирают в глубинах океана. Каким страшным призраком кажется ему этот исчезающий парус! Человек смотрит на него, смотрит безумным, иступленным взглядом. Парус удаляется, бледнеет, уменьшается. Только что человек был еще там, на корабле, он был членом экипажа, он ходил по палубе вместе с другими, он имел право на свою долю воздуха и солнца, он принадлежал к числу живых. Что же такое произошло с ним? Он поскользнулся, он упал — все кончено.

Он в чудовищной пучине. Под ним все уплывает, все рушится. Волны, изодранные и растрепанные ветром, окружают его своим ужасным объятием; бездна уносит его в своей качке, водяные лоскутья валов кружатся над его головой, разнузданная чернь вод оплевывает его, невидимые провалы хотят его поглотить; погружаясь в воду, он видит, как перед ним разверзаются пропасти, полные мрака; отвратительные неведомые растения хватают его, цепляются за ноги, тянут к себе; он чувствует, как сливается с бездной, становится частицей морской пены; валы перебрасывают его друг другу, он глотает их горечь; гнусный океан с остервенением топит его; беспредельность тешится его предсмертной мукой. Кажется, что вся эта масса воды — воплощенная ненависть.

И все же он борется.

Он пытается сопротивляться, держаться на поверхности, он делает усилие, плывет. Он — это жалкое созда-

ние, силы которого истощаются так быстро, — сражается с неистощимым.

А где же корабль? Далеко. Едва заметный в бледном сумраке горизонта.

На человека налетают шквалы, его душит морская пена. Он поднимает глаза — над ним только свинцовые тучи. Расставаясь с жизнью, он присутствует при неопи-суемом бесновании моря. И он — жертва этого безумия. Он слышит чуждые человеку звуки, которые, кажется, исходят из какого-то потустороннего, страшного мира.

Подобно ангелам, реющим над человеческой скорбью, в облаках реют птицы, но чем они могут помочь ему? Они летают, поют, парят в небе, а он — он изнывает в пред-смертной муке.

Он чувствует себя погребенным меж двух бесконечно-стей — меж океаном и небом: первый — могила, второе — саван.

Надвигается ночь, уже столько часов он плывет, его силы приходят к концу; этот корабль, этот далекий маяк, где были люди, скрылся совсем; он один среди гигантской сумеречной пучины; он тонет, коченеет, корчится, он чув-ствует под водою движение каких-то бесформенных чу-дищ невидимого; он зовет на помощь.

Людей больше нет. Где же бог?

Он зовет: «Спасите! Спасите!» Он зовет и зовет.

Ничего не видно на горизонте. Ничего — в небе.

Он взывает к пространству, к волне, к водоросли, к под-водному камню — они глухи. Он молит бурю, но безучаст-ная буря послушна лишь бесконечности.

Вокруг него мрак, туман, одиночество, бессмысленное и шумное буйство, бесконечная рябь свирепых вод. В нем самом ужас и изнеможение. Под ним — омут. Ни одной точки опоры. Ему представляются мрачные скитания трупа в безграничной тьме. Смертельный холод сковывает его тело. Судорожно сжимаясь, его руки хватают пустоту. Ветры, тучи, вихри, дуновения, бесполезные звезды! Что делать? Человек, доведенный до отчаяния, отдается на волю судьбы; тот, кто устал, решается умереть; он пере-стает бороться, он уступает, он сдается; и вот он исче-зает, навеки поглощенный темными глубинами океана.

О беспощадное шествие человеческого общества! Уни-чтожение людей и человеческих душ, оказавшихся на

дороге! Океан, куда падает все, чему дает упасть закон! О зловещее исчезновение поддержки! О нравственная смерть!

Море — это неумолимая социальная ночь, куда карательная система сталкивает тех, кого она осудила. Море — это безграничное страдание.

Душа, попавшая в эту бездну, может превратиться в труп. Кто воскресит ее?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Новые горести

Когда пришло время покинуть острог, когда в ушах Жана Вальжана прозвучали необычные слова: «Ты свободен!» — наступила неправдоподобная, неслыханная минута; луч яркого света, луч истинного света из мира живых внезапно проник в его душу. Однако этот луч не замедлил померкнуть. Жан Вальжан был ослеплен мыслью о свободе. Он поверил в новую жизнь. Но очень скоро узнал, что такое свобода для человека с желтым паспортом.

У него было немало горьких минут. Он высчитал, что его заработок за время пребывания на каторге должен составить сто семьдесят один франк. Правда, надо добавить, что в своих расчетах он забыл о вынужденном отдыхе по воскресным и праздничным дням, который за девятнадцать лет уменьшил его капитал приблизительно на двадцать четыре франка. Так или иначе, но вследствие всевозможных вычетов его заработок свелся к сумме в сто девять франков пятнадцать су, которая и была ему отсчитана при выходе из острога.

Он ничего в этом не понял и счел себя обиженным. Скажем попросту — обворованным.

На другой день после освобождения, проходя через Грас, он увидел перед воротами завода померанцевых вод людей, выгружавших тюки товара. Он предложил свои услуги. Работа была спешная, и его взяли. Он принялся за дело. Он был сообразителен, силен и ловок, он старался изо всех сил; хозяин, видимо, был доволен им. В то время как он работал, проходивший мимо жандарм заметил его

и потребовал у него документы. Пришлось показать желтый паспорт. Затем Жан Вальжан снова взялся за работу. Перед этим он спросил у одного из рабочих, сколько они получают в день; тот ответил: «Тридцать су». Наутро ему предстоял дальнейший путь, и вечером он попросил хозяина рассчитаться с ним. Не говоря ни слова, тот вручил ему пятнадцать су. Жан Вальжан запротестовал. Ему сказали: «Хватит с тебя и этого». Он продолжал настаивать. Посмотрев на него в упор, хозяин сказал ему: «Смотри, как бы на тебя снова не надели колодки».

Он опять счел себя обворованным.

Общество, государство, уменьшив сумму его заработка, обокрало его оптом. Теперь настала очередь отдельных лиц, которые обкрадывали его в розницу.

Освобождение — это еще не свобода. Выйти из острога — еще не значит уйти от осуждения.

Вот что произошло с Жаном Вальжаном в Грасе. Мы уже видели, как его встретили в Дине.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Человек проснулся

Итак, когда на соборной колокольне пробило два часа пополудни, Жан Вальжан проснулся.

Он проснулся оттого, что постель его была слишком мягка. Почти двадцать лет он не спал в постели, и хотя он лег не раздеваясь, все же это ощущение было слишком ново, чтобы не нарушить его сон.

Он проспал более четырех часов. Усталость его прошла. Он не привык отдыхать подолгу.

Открыв глаза, он с минуту всматривался в окружающую его темноту, потом опять закрыл их, пытаясь уснуть.

Если человек пережил за день много разных впечатлений, если множество мыслей тревожит его ум, он легко засыпает с вечера, но когда проснется, ему уже не уснуть. Первый сон приходит легче, чем второй. Так было и с Жаном Вальжаном. Он больше не мог уснуть и принялся размышлять.

Он находился в таком состоянии духа, когда мысли и представления неясны. В голове у него теснился хаос.

Воспоминания о прошлом и только что пережитом беспорядочно носились в его мозгу и, сталкиваясь друг с другом, теряли форму, безмерно разрастались и вдруг исчезали, как во взбаламученной, мутной воде. У него возникало и пропадало множество мыслей, но одна из них упрямо возвращалась, вытесняя все остальные. Вот эта мысль, мы сейчас ее откроем: он заметил шесть серебряных приборов и разливательную ложку, которые г-жа Маглуар разложила за ужином на столе.

Эти шесть приборов не давали ему покоя. Они были здесь... В нескольких шагах... Когда он проходил через соседнюю комнату, направляясь в ту, где находился сейчас, старуха служанка убирала их в маленький шкафчик у изголовья кровати... Он отлично заметил этот шкафчик... С правой стороны, если идти из столовой... Они были тяжелые и притом из старинного серебра... За них, вместе с разливательной ложкой, можно было выручить по меньшей мере двести франков... Вдвое больше того, что он заработал за девятнадцать лет... Правда, он заработал бы больше, если бы начальство не «обокрало» его.

Добрый час он провел в колебаниях и сомнениях, к которым примешивалась какая-то внутренняя борьба. Пробыло три. Он снова открыл глаза, резко приподнялся на постели, протянул руку и нащупал ранец, который, ложась, бросил в угол алькова; затем свесил ноги, коснулся ими пола и внезапно сел, почти сам не сознавая, как это произошло.

Некоторое время он сидел задумавшись, в позе, которая, наверно, показалась бы зловещей всякому, кто разглядел бы в темноте этого человека, одиноко бодрствующего в уснувшем доме. Вдруг он нагнулся, снял башмаки и осторожно поставил их на цыновку у кровати; потом принял свое прежнее положение и застыл на месте, снова погрузившись в задумчивость.

Среди этого страшного раздумья та мысль, о которой мы уже говорили, ни на минуту не оставляла его в покое; она появлялась, исчезала и появлялась снова, она словно давила его; и потом, сам не зная почему, он не переставал думать об одном каторжнике, по имени Бреве, с которым вместе отбывал наказание и у которого штаны держались только на одной вязаной подтяжке. Шахмат-

ный рисунок этой подтяжки с какой-то механической назойливостью мелькал перед его глазами.

Он сидел все в той же позе и, может быть, просидел бы так до рассвета, если бы часы не пробили один раз: четверть или половину. Этот звук словно сказал ему: «Иди!»

Он встал, в нерешительности постоял еще несколько секунд и прислушался: все в доме молчало; тогда мелкими шагами он направился прямо к окну, смутно белевшему перед ним. Ночь была не очень темная; светила полная луна, которую временами заслоняли широкие тучи, гонимые ветром. Поэтому снаружи происходила постоянная смена тени и света, затмение и прояснение, а в комнате стоял какой-то сумеречный полумрак. Этот полумрак, достаточный для того, чтобы различать предметы, перемежающийся из-за набегавших на луну облаков, походил на сизую дымку, просачивающуюся в подвал через отдушину, мимо которой снуют прохожие. Подойдя к окну, Жан Вальжан внимательно осмотрел его. Оно было без решеток, выходило в сад и, по местному обыкновению, запиралось только на маленькую задвижку. Он открыл окно, но холодная, резкая струя воздуха ворвалась в комнату, и он тут же захлопнул его. Он окинул сад тем испытующим взглядом, который не рассматривает, а скорее изучает. Сад окружала невысокая белая стена, через которую легко было перелезть. Позади нее, в отдалении, Жан Вальжан различил верхушки деревьев, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга; это свидетельствовало о том, что за стеной была аллея какого-то бульвара или же обсаженный деревьями переулок.

Покончив с этим осмотром и, повидимому, приняв окончательное решение, он направился к алькову, взял свой ранец, пошарил в нем, вынул из него какой-то предмет, положил его на кровать, засунул башмаки в карман, снова застегнул ранец, вскинул его на спину, надел фуражку, надвинув козырек на глаза, ощупью достал палку и поставил ее на окно, прислонив к косяку, затем снова подошел к кровати и без колебаний схватил тот предмет, который оставил на ней. Он походил на железный брус, заостренный на одном конце, как копье.

Было бы трудно определить в темноте, для чего мог предназначаться этот кусок железа. Возможно, это был какой-нибудь рабочий инструмент. А возможно — дубинка.

Днем каждому стало бы ясно, что это попросту подсвечник рудокопа. В то время каторжников посылали иногда в каменоломни, находившиеся на высоких холмах в окрестностях Тулона, и им давали иногда рабочие орудия рудокопов. Подсвечник рудокопа сделан из массивного железа и заканчивается острием, которое вонзают в горную породу.

Он взял подсвечник в правую руку и, задерживая дыхание, бесшумным шагом направился к двери соседней комнаты, как известно, служившей епископу спальней. Подойдя к этой двери, он нашел ее полуоткрытой. Епископ даже не затворил ее как следует.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Что он делает

Жан Вальжан прислушался. Ни малейшего шума.

Он толкнул дверь.

Он толкнул ее кончиком пальца, тихонько, с осторожной и беспокойной мягкостью крадущейся в комнату кошки.

Дверь подалась едва заметным, бесшумным движением, слегка расширившим отверстие.

Он подождал с секунду, потом еще раз толкнул дверь, уже смелее.

Дверь продолжала бесшумно открываться. Теперь отверстие расширилось настолько, что он мог бы пройти. Однако возле двери стоял маленький столик, который углом своим загораживал вход.

Жан Вальжан заметил это препятствие. Надо было во что бы то ни стало сделать отверстие еще шире.

Он решился и в третий раз толкнул дверь, сильнее, чем прежде. На этот раз одна из петель, видимо плохо смазанная, вдруг закрипела во мраке резко и протяжно.

Жан Вальжан затрепетал. Скрип этой петли прозвучал в его ушах с оглушительной и грозной силой, словно трубный глас, возвещающий час Страшного суда.

Охваченный сверхъестественным ужасом, в первую минуту он готов был вообразить, что эта петля внезапно

ожила, превратилась в какое-то страшное живое существо и залаяла, как собака, чтобы предостеречь спящих людей и разбудить весь дом.

Он остановился, дрожащий, растерянный, и тяжело переступил с носков на всю ногу. Ему казалось, что кровь стучит у него в висках, как два кузнечных молота, а дыхание вырывается из груди со свистом, словно ветер из пещеры. Он считал невероятным, чтобы ужасный вопль этой разгневанной петли не поколебал весь дом, подобно землетрясению; дверь, которую он толкнул, подняла тревогу и позвала на помощь; сейчас проснется старик, закричат женщины, сбегутся на помощь люди; не пройдет и четверти часа, как в городе подымется шум и будет поставлена на ноги полиция. Одно мгновение он считал себя погибшим.

Он застыл на месте, словно превратившись в соляной столб, не смея шевельнуть пальцем.

Прошло несколько минут. Дверь стояла отворенной настежь. Он отважился заглянуть в комнату. Ничто там не шевельнулось. Он прислушался. Все безмолвствовало в доме. Скрип ржавой петли не разбудил ни единой души.

Первая опасность миновала, но в душе его продолжало бушевать страшное смятение. Однако он не отступил. Он не думал об отступлении даже и в тот момент, когда считал себя погибшим. Теперь он хотел одного — поскорее покончить с задуманным. Сделав шаг вперед, он вошел в комнату.

В комнате царило глубокое спокойствие. Там и сям можно было различить смутные, неясные очертания предметов, — днем это просто были разбросанные по столу листы бумаги, раскрытые фолианты, груды книг на табурете, кресло со сложенной на нем одеждой или молитвенный налой, но теперь, в этот час, все это представлялось лишь темным силуэтом или белесоватым пятном. Жан Вальжан осторожно подвигался вперед, боясь задеть за мебель. Из глубины комнаты доносилось ровное, спокойное дыхание спящего епископа.

Вдруг он остановился. Он был уже у кровати. Он дошел до нее скорее, чем ожидал.

Иногда природа с помощью своих явлений и эффектов весьма своевременно, с каким-то мрачным и проникновенным искусством вмешивается в наши действия, как бы

желая натолкнуть нас на размышления. Уже около получаса большая туча заволакивала небо. В ту минуту, когда Жан Вальжан остановился у кровати, эта туча, словно нарочно, разорвалась, и луч луны, проникший сквозь высокое окно, внезапно озарил бледное лицо епископа. Он мирно спал. Ночи в Нижних Альпах холодны, и он лежал в постели почти одетый; рукава коричневого шерстяного подрясника закрывали до кистей его руки. Голова его откинулась на подушку, вся поза говорила о полном и безмятежном отдыхе; рука с пастырским перстнем на пальце, сотворившая столько милосердных поступков и столько добрых дел, свесилась с кровати. Лицо его было озарено каким-то смутным выражением удовлетворения, надежды и покоя. Оно не улыбалось, оно сияло. Чудесное отражение какого-то невидимого света трепетало на челе спящего. Душам праведников во время сна видится таинственное небо.

Отблеск этого неба лежал на лице епископа.

И в то же время оно светилось изнутри, ибо это небо заключено было в нем самом. То была его совесть.

Когда лунный луч коснулся лица епископа и как бы слился с этим внутренним сиянием, спящий предстал словно в сверкающем венце. Однако вся эта картина была смягчена и словно окутана каким-то не поддающимся описанию полусветом. Эта луна в небе, эта уснувшая природа, этот недвижный сад, этот мирный дом, этот ночной час, эта минута, тишина — все вместе придавало невыразимую торжественность священному отдыху этого человека и окружало ореолом величия и покоя эти седые волосы и сомкнутые глаза, это лицо, исполненное надежды и веры, эту старческую голову и этот младенческий сон.

Что-то почти божественное чувствовалось в этом человеке, который был столь величествен, сам того не ведая.

Жан Вальжан стоял в тени неподвижно, держа в руке железный подсвечник, и смотрел, ошеломленный, на этого светлого старца. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. Эта доверчивость ужасала его. Нравственному миру неведомо более высокое зрелище, нежели смущенная, нечистая совесть, стоящая на пороге преступного деяния и созерцающая сон праведника.

Этот сон в таком уединении, рядом с таким человеком, каким был он, заключал в себе нечто возвышенное, и Жан Вальжан ощущал это смутно, но с непреодолимой силой.

Никто не мог бы сказать, что происходило в его душе, — даже он сам. Чтобы разобраться в его ощущениях, надо вообразить себе самое жестокое пред лицом самого кроткого. В глазах его тоже трудно было прочесть что-либо определенное. Какое-то угрюмое изумление — и только. Он смотрел — вот и все. Но о чем он думал? Кто мог разгадать это? Было очевидно, что он взволнован и потрясен. Но что означало это волнение?

Его взгляд не отрывался от старца. Единственно, о чем с полной ясностью говорила его поза и выражение лица — это о какой-то странной нерешительности. У него был такой вид, словно он колебался между двумя безднами: той, где гибнут, и той, где спасаются. Казалось, он готов размоzzжить этот череп или поцеловать эту руку.

Прошло несколько секунд, его левая рука медленно поднялась, и он снял фуражку; потом, все так же медленно, рука опустилась, и Жан Вальжан вновь предался созерцанию, держа в левой руке фуражку, а в правой — свой железный брусок; короткие волосы ошетинились над его нахмуренным лбом.

Епископ все так же спокойно и крепко спал под этим страшным взглядом.

Освещенное лунным бликом, над камином смутно вырисовывалось распятие, которое словно раскрывало им объятия, благословляя одного и прощая другого.

Внезапно Жан Вальжан надел фуражку, затем быстро, не глядя на епископа, прошел вдоль кровати прямо к шкафчику, видневшемуся у изголовья; он поднял свой подсвечник, видимо желая взломать замок, но ключ торчал в скважине; он открыл дверцу; первое, что он увидел, была корзинка с серебром; он взял ее, прошел крупными шагами, без всяких предосторожностей и не обращая внимания на производимый им шум, через всю комнату, дошел до двери, вошел в молельню, распахнул окно, схватил палку, перешагнул через подоконник, положил серебро в ранец, бросил корзинку на землю, пробежал по саду и, словно тигр перепрыгнув через забор, скрылся.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Епископ за работой

На следующее утро, когда солнце только еще всходило, монсеньор Бьенвеню прогуливался по саду. Вдруг к нему подбежала г-жа Маглуар, сильно встревоженная.

— Ваше преосвященство, ваше преосвященство! — кричала она. — Не знает ли ваша милость, где корзинка, в которой я держу серебро?

— Знаю, — ответил епископ.

— Слава богу! — обрадовалась она. — А то я понять не могла, куда это она делась.

Епископ только что подобрал на клумбе эту корзинку. Он подал ее г-же Маглуар.

— Вот она, — сказал он.

— То есть как? — удивилась она. — Пустая? А серебро?

— Ах, вы беспокоитесь о серебре? — проговорил епископ. — Я не знаю, где оно.

— Господи помилуй! Оно украдено! Это ваш вчерашний гость — вот кто украл его!

В мгновение ока, со всей живостью, на какую была способна эта подвижная старушка, г-жа Маглуар побежала в молельню, заглянула в альков и снова вернулась к епископу. Тот стоял нагнувшись и, вздыхая, рассматривал саженец ложечника, сломанный корзинкой при ее падении на клумбу. Услыхав крик г-жи Маглуар, епископ выпрямился.

— Ваше преосвященство! — кричала она. — Он ушел! Серебро украдено!

В то время как она произносила эти слова, ее взгляд упал на дальний конец сада, где виднелись следы бегства. Верхняя обшивка ограды была сорвана.

— Посмотрите! Вот где он перелез. Он спрыгнул прямо в переулочек Кошфиле! Какой негодяй! Он украл наше серебро!

Епископ с минуту молчал, потом поднял на г-жу Маглуар свой серьезный взгляд и кротко возразил ей:

— А где сказано, что это серебро было нашим?

Госпожа Маглуар оцепенела от изумления. Снова наступило молчание, потом епископ продолжал:

— Госпожа Маглуар, я был неправ, пользуясь, и так долго, этим серебром. Оно принадлежало бедным. А кто такой этот человек? Несомненно, бедняк.

— Господи Иисусе! Дело ведь не во мне и не в барышне, — возразила г-жа Маглуар. — Нам-то все равно. Все дело в вашем преосвященстве. Чем вы, ваше преосвященство, будете теперь кушать?

Епископ взглянул на нее с удивлением.

— Ах, вот что! Но разве не существует оловянных приборов?

Госпожа Маглуар пожала плечами.

— У олова неприятный запах.

— А железных?

Госпожа Маглуар сделала выразительную гримасу.

— Железные дают привкус.

— В таком случае, — сказал епископ, — мы обзаведемся деревянными.

Через несколько минут он завтракал за тем же столом, за когорым накануне сидел Жан Вальжан. За завтраком он весело доказывал сестре, которая слушала его молча, и г-же Маглуар, потихоньку ворчавшей, что нет ни малейшей нужды ни в ложках, ни в вилках, хотя бы и деревянных, чтобы обмакнуть кусок хлеба в чашку с молоком.

— Ведь надо же придумать! — бормотала про себя г-жа Маглуар, суетясь у стола. — Пустить к себе такого человека! И оставить его на ночь рядом с собой! Счастье еще, что он только обокрал! Господи помилуй! Просто дрожь пробирает, как подумаешь!..

Брат с сестрой собирались уже встать из-за стола, как вдруг раздался стук в дверь.

— Войдите, — сказал епископ.

Дверь открылась. Странная и возбужденная группа людей появилась на пороге. Три человека держали за ворот четвертого. Трое были жандармы, четвертый — Жан Вальжан.

Жандармский унтер-офицер, повидимому главный над ними, остановился в дверях. Затем он вошел в комнату и, подойдя к епископу, отдал ему честь по-военному.

— Ваше высокопреосвященство... — начал он.

При этих словах Жан Вальжан, стоявший с угрюмым и подавленным видом, изумленно поднял голову.

— Высокопреосвященство! — прошептал он. — Значит, это не простой священник...

— Молчать! — сказал жандарм. — Это его высокопреосвященство господин епископ.

Между тем монсеньор Бьенвеню пошел к ним навстречу с той быстротой, какую только позволял его преклонный возраст.

— Ах, это вы! — вскричал он, обращаясь к Жану Вальжану. — Я очень рад вас видеть. Но послушайте, что же это вы? Ведь я вам отдал и подсвечники. Они тоже серебряные, как все остальное, и вы вполне можете получить за них франков двести. Почему вы не захватили их вместе с вашими приборами?

Жан Вальжан широко раскрыл глаза и взглянул на почтенного епископа с таким выражением, которое не мог бы передать никакой человеческий язык.

— Ваше высокопреосвященство, — сказал жандармский унтер-офицер, — следовательно, то, что нам сказал этот человек, — правда? Мы встретили его. У него был такой вид, словно он убегал от кого-то. На всякий случай мы задержали его. При нем оказалось это серебро.

— И он вам сказал, — улыбаясь, прервал епископ, — что это серебро ему подарил старичок священник, в доме которого он провел ночь? Понимаю, понимаю. А вы привели его сюда? Это недоразумение.

— В таком случае мы можем отпустить его? — спросил унтер-офицер.

— Разумеется, — ответил епископ.

Жандармы выпустили Жана Вальжана, который невольно попятился назад.

— Это правда, что меня отпускают? — произнес он почти невнятно, словно говоря во сне.

— Ну да, отпускают, не слышишь, что ли? — ответил один из жандармов.

— Друг мой, — сказал епископ, — не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники. Вот они.

Он подошел к камину, взял подсвечники и протянул их Жану Вальжану. Обе женщины смотрели на это без единого слова, движения или взгляда, которые могли бы помешать епископу.

Жан Вальжан дрожал всем телом. Машинально, с растерянным видом, он взял в руки оба подсвечника.

— А теперь, — сказал епископ, — идите с миром. Между прочим, мой друг, когда вы придете ко мне в следующий раз, вам не к чему идти через сад. Вы всегда можете входить и выходить через парадную дверь. Она запирается только на щеколду, и днем и ночью.

Затем он обернулся к жандармам:

— Господа, вы можете идти.

Жандармы вышли.

Казалось, Жан Вальжан вот-вот потеряет сознание.

Епископ подошел к нему и сказал тихим голосом:

— Не забывайте, никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком.

Жан Вальжан, совершенно не помнивший, чтобы он что-нибудь обещал, стоял в полном смятении. Епископ произнес эти слова, как-то особенно подчеркнув их. Он торжественно продолжал:

— Жан Вальжан, брат мой, вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее богу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мальш Жерве

Жан Вальжан вышел из города с такой поспешностью, словно убегал от погони. Быстрым шагом он шел по полям, выбирая первые попавшиеся дороги и тропинки и не замечая, что кружится на одном месте. Он пробродил так целое утро, не евши и не ощущая голода. Он был во власти множества новых ощущений. Он чувствовал в себе глухой гнев. Против кого? — он не знал. Он не мог бы сказать, растроган он или унижен. Минутами на него находило какое-то странное умиление, с которым он боролся и которому противопоставлял ожесточение последних двадцати лет своей жизни. Это чувство тяготило его. Он с тревогою замечал, как рушится страшное внутреннее спокойствие, которое даровано было ему незаслуженностью его несчастья. Он спрашивал себя, что же теперь его заменит? Были мгновения, когда он предпочел бы,

пожалуй, оказаться в тюрьме среди жандармов, только бы не было того, что произошло; это бы меньше взволновало его. Хотя стояла глубокая осень, кое-где в живых изгородях, мимо которых он проходил, еще попадались запоздалые цветы, и доносившийся до него запах воскрешал в нем воспоминания детства. Эти воспоминания были ему почти невыносимы — столько времени не возникали они перед ним.

Так в течение всего дня накапливались в нем мысли, которые было бы трудно выразить словами.

Когда солнце склонялось к западу и самый крошечный камешек уже отбрасывал длинную тень, Жан Вальжан сидел за кустом на широкой бурой равнине, совершенно пустынной. На горизонте не видно было ничего, кроме Альп. Ничего — даже колокольни какой-нибудь отдаленной деревенской церкви. Жан Вальжан находился приблизительно в трех лье от Диня. В нескольких шагах от куста вилась тропинка, пересекавшая равнину.

Погруженный в свое мрачное раздумье, которое способно было придать еще более устрашающий вид его лохмотьям в глазах случайного прохожего, Жан Вальжан вдруг услышал веселую песенку.

Он обернулся и увидел на тропинке маленького са-вояра, мальчика лет десяти, который, напевая, приближался к нему с небольшой шарманкой через плечо и с сурком в ящике за спиной, — одного из тех ласковых и веселых малышей, что ходят из края в край в рваных своих штанишках, сквозь которые светятся голые колени.

Не прерывая своей песенки, мальчик время от времени останавливался и, словно играя в камешки, подкидывал на ладони несколько мелких монет — должно быть, весь свой капитал. Среди медяков была одна монета в сорок су.

Мальчик остановился у куста и, не замечая Жана Вальжана, подбросил пригоршню монет, которую только что ему удалось подхватить всю целиком тыльной стороной руки.

Однако на этот раз монета в сорок су отскочила и покатилась к кустарнику, по направлению к Жану Вальжану.

Жан Вальжан наступил на нее ногой.

Но мальчик, следивший за монетой взглядом, заметил это.

Он ничуть не удивился и подошел прямо к Жану Вальжану.

Место было совершенно пустынное. Насколько видел глаз, ни на равнине, ни на тропинке не было ни души. Только слабые крики перелетных птиц, летевших стаей где-то на огромной высоте, доносились сверху. Мальчик стоял спиной к солнцу, которое вплетало в его волосы золотые нити и заливало кроваво-красным светом свирепое лицо Жана Вальжана.

— Сударь, — сказал маленький савояр с той детской доверчивостью, которая слагается из неведения и невинности, — а моя монета?

— Как тебя зовут? — спросил Жан Вальжан.

— Малыш Жерве, сударь.

— Убирайся, — сказал Жан Вальжан.

— Сударь, — повторил мальчик, — отдайте мне мою монету.

Жан Вальжан опустил голову и ничего не ответил.

— Мою монету, сударь! — еще раз повторил мальчик.

Взгляд Жана Вальжана был попрежнему устремлен в землю.

— Мою монету! — кричал ребенок. — Мою светленькую монетку! Мои деньги!

Жан Вальжан, казалось, не слышал. Мальчик схватил его за ворот блузы и начал трясти. В то же время он силится сдвинуть с места толстый, подкованный железом башмак, наступивший на его сокровище.

— Я хочу мою монету! Мою монету в сорок су!

Мальчик плакал. Жан Вальжан поднял голову. Он все еще сидел, не трогаясь с места. Глаза его были тусклы. Он взглянул на мальчика как бы с удивлением, потом протянул руку к палке и крикнул грозным голосом:

— Кто это?

— Я, сударь, — ответил ребенок. — Малыш Жерве! Я! Я! Отдайте мне, пожалуйста, мои сорок су! Отодвиньте ногу, сударь, пожалуйста, отодвиньте!

И вдруг, внезапно рассердившись, этот ребенок, этот мальчуган заговорил почти угрожающим тоном:

— Вот что, отодвинете вы, наконец, вашу ногу? Говорят вам, отодвиньте ногу!

— Ах, ты все еще здесь! — вскричал Жан Вальжан и, вскочив, вытянулся во весь рост; попрежнему не сдвигая ноги с серебряной монеты, он прибавил:

— Уходи, покуда цел!

Мальчуган с испугом посмотрел на него, весь задрожал и после нескольких секунд оцепенения пустился бежать со всех ног, не смея ни оглянуться назад, ни крикнуть.

Однако, отбежав на некоторое расстояние, он до того запыхался, что вынужден был остановиться, и Жан Вальжан, погруженный в свое раздумье, услышал его плач.

Через несколько мгновений ребенок исчез.

Солнце село.

Вокруг Жана Вальжана становилось все темнее. Он ничего не ел целый день; возможно, у него была лихорадка.

Он продолжал стоять на одном месте, не меняя положения с той самой минуты, как убежал мальчик. Прерывистое, неровное дыхание приподнимало его грудь. Его взгляд, устремленный на десять — двенадцать шагов вперед, казалось с глубоким вниманием изучал очертания синего фаянсового черепка, валявшегося в траве. Вдруг он вздрогнул: только сейчас он почувствовал вечерний холод.

Он глубже надвинул на лоб фуражку, машинально запахнул и застегнул блузу, сделал шаг вперед и нагнулся, чтобы поднять с земли свою палку.

В эту минуту он заметил монету в сорок су, наполовину вдавленную в землю его ногой и блестящую между камнями.

Это произвело на него действие гальванического тока. «Что это такое?» — пробормотал он сквозь зубы. Он отступил шага на три, потом остановился, не в силах оторвать взгляда от этого кружочка, который только что топтала его нога и который теперь блестел в темноте, словно чей-то открытый, пристально устремленный на него глаз.

Так прошло несколько минут. Вдруг он судорожно бросился к серебряной монете, схватил ее, выпрямился, окинул взор равнину и, весь дрожа, стал озираться по сторонам, как испуганный дикий зверь, который ищет убежища.

Он ничего не увидел. Надвигалась ночь, равнина дышала холодом, очертания ее расплылись в густом фиолетовом тумане, поднявшемся из сумеречной мглы.

Он глубоко вздохнул и быстро зашагал в том направлении, в котором исчез ребенок. Пройдя шагов тридцать, он остановился, осмотрелся и опять ничего не увидел.

Тогда он закричал изо всей силы: «Малыш Жерве! Малыш Жерве!»

Потом замолчал и прислушался.

Никакого ответа.

Поле было пустынно и угрюмо. Бесконечность обступала Жана Вальжана со всех сторон. Вокруг был лишь мрак, в котором терялся его взгляд, и молчание, в котором терялся его голос.

Дул ледяной ветер, сообщая всему окружающему какую-то зловещую жизнь. Маленькие деревца с невероятной яростью потрясали своими тощими ветвями. Казалось, они кому-то угрожают, кого-то преследуют.

Он снова пошел, потом пустился бежать; время от времени он останавливался и кричал в этой пустыне самым грозным и самым горестным голосом, какой только можно себе представить: «Малыш Жерве! Малыш Жерве!»

Если бы даже мальчик и услышал его, он бы, несомненно, испугался и поостерегся показаться ему на глаза. Но, по всей вероятности, мальчик был уже далеко.

Дорогой Жан Вальжан встретил ехавшего верхом священника. Он подошел к нему и спросил:

— Господин кюре, не видали вы тут мальчика?

— Нет, — ответил священник.

— Мальчика по имени Малыш Жерве?

— Я никого не видел.

Жан Вальжан вынул из своего кошелька две пятифранковые монеты и протянул священнику.

— Господин кюре, вот вам на ваших бедных. Господин кюре, это мальчуган лет около десяти. Кажется, он был с сурком и шарманкой. Он прошел здесь... знаете, из этих савяров.

— Я не видел его.

— Малыш Жерве! А он не из ближних сел? Вы не можете мне сказать?

— Если этот мальчик такой, как вы его описали, друг мой, то это, наверное, чужестранец. Они иногда бывают в наших краях, но никто их не знает.

Жан Вальжан быстро вынул еще две пятифранковых монеты и передал их священнику.

— На ваших бедных, — сказал он.

И вдруг добавил в каком-то исступлении:

— Господин аббат, велите меня арестовать. Я вор.

Священник стегнул лошадь и ускакал, очень испуганный.

Жан Вальжан побежал в прежнем направлении.

Он пробежал таким образом довольно большое расстояние, он смотрел, звал, кричал, но никого больше не встретил. Два или три раза он сворачивал с тропинки, бросаясь ко всему, что издали напоминало ему маленькое существо, лежащее на земле или присевшее на корточки: это оказывался небольшой кустик или камень, почти вровень с землей. Наконец, подойдя к месту, где скрещивались три тропинки, Жан Вальжан остановился. Луна уже взошла. Он еще раз взгляделся в даль и прокричал в последний раз: «Малыш Жерве! Малыш Жерве! Малыш Жерве!» Его крик замер в тумане, не пробудив даже эха. Он пробормотал еще раз: «Малыш Жерве!», но уже слабым и почти невнятным голосом. Это было его последнее усилие; ноги у него вдруг подкосились, словно какая-то невидимая сила внезапно придавила его всей тяжестью его нечистой совести; в полном изнеможении он опустился на большой камень и, вцепившись руками в волосы, спрятав лицо в колени, воскликнул: «Я негодяй!»

Сердце его больше не могло выдержать, и он заплакал. Он плакал в первый раз за девятнадцать лет.

Когда Жан Вальжан вышел от епископа, он отшелся уже — мы видели это — от всего, что занимало его мысли до тех пор. Он не мог отдать себе ясного отчета в том, что происходило в его душе. Он внутренне противился ангельскому поступку и кротким словам старика: «Вы обещали мне стать честным человеком. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у духа тьмы и передаю ее господу богу». Слова эти преследовали его неотступно. Он противопоставлял этой небесной снисходительности гордость, живущую внутри нас, как оплот зла. Он смутно

сознавал, что милость священника была самым сильным наступлением, самым грозным нападением, какому он когда-либо подвергался; что если он устоит перед этим милосердием, то душа его очерствеет навсегда; что если он уступит, то придется отказаться от той ненависти, которою в течение стольких лет наполняли его душу поступки других людей и которая давала ему чувство удовлетворения; что на этот раз надо было либо победить, либо остаться побежденным, и что сейчас завязалась борьба, гигантская и решительная борьба между его злобой и добротой того человека.

Вглядываясь в открывшийся ему туманный просвет, он шагал, словно пьяный. Было ли у него отчетливое представление о том, какие последствия могло иметь для него происшествие в Дине, когда он шел так, с блуждающим взором? Слышал ли он те таинственные звуки, которые предупреждают или преследуют нас в иные минуты нашей жизни? Шепнул ли ему на ухо чей-то голос, что он только что пережил торжественный час, решивший его судьбу; что отныне для него уже не может быть середины, и если он не станет лучшим из людей, то станет худшим из них; что теперь он должен либо подняться выше епископа, либо пасть ниже каторжника; что если он хочет стать добрым, ему придется сделаться ангелом, если же он хочет остаться злым, ему надо превратиться в чудовище?

Здесь нужно еще раз задать себе те вопросы, которые мы уже задавали себе ранее: доходила ли до его сознания хотя бы смутная тень того, что творилось в его душе? Разумеется, несчастье воспитывает ум, — мы уже говорили об этом; однако сомнительно, чтобы Жан Вальжан был в состоянии разобраться во всем том, о чем здесь упоминалось. Если все эти мысли и приходили ему в голову, то он не останавливался на них, они лишь мелькали в его мозгу, повергая его в неизъяснимую, почти болезненную тревогу. Когда он вышел из отвратительной черной ямы, носящей название каторги, явился епископ и причинил его душе такую же боль, какую мог бы причинить чрезмерно яркий свет глазам человека, вышедшего из мрака. Будущая жизнь, та возможная для него жизнь, которая открывалась теперь перед ним, лучезарная и чистая, вызывала в нем беспокойство и трепет. Он совсем перестал пони-

мать, что с ним происходит. Подобно сове, увидевшей вдруг восход солнца, каторжник был ошеломлен и как бы ослеплен сиянием добродетели.

Одно было достоверно, в одном он не сомневался: он стал другим человеком, все в нем изменилось, и уже не в его власти было уничтожить звучавшие в нем слова епископа, тронувшие его сердце.

Таково было его душевное состояние, когда он встретил Малыша Жерве и украл у него сорок су. Для чего? Вероятно, он и сам не мог бы объяснить; не было ли это конечным следствием и как бы последним чрезвычайным усилием злых помыслов, вынесенных им из каторги, остатком тяготения к злу, результатом того, что в статике называют «силой инерции»? Да, это было так и в то же время, может быть, не совсем так. Скажем просто: это украл не он, не человек, — украл зверь; послушный привычке, инстинктивно, бессмысленно, он наступил ногой на монету, в то время как разум метался, одержимый столькими идеями, необычными и новыми. Когда разум прозрел и увидел поступок зверя, Жан Вальжан с ужасом отшатнулся, испустив крик отчаяния.

Ибо — странное явление, возможное лишь при тех условиях, в каких находился он, — украв у мальчика эти деньги, он совершил то, на что уже не был более способен.

Так или иначе, но это последнее злодеяние оказало на него решающее действие: оно внезапно прорезало хаос, царивший в его уме, рассеяло его и, отделив все неясное и туманное в одну сторону, а свет — в другую, воздействовало на его душу в том состоянии, в каком она тогда была, так же как некоторые химические реактивы действуют на мутную смесь, осаждая один элемент и очищая другой.

Прежде всего, даже не успев еще осознать и обдумать случившееся, растерянный, словно спасаясь от погони, он бросился искать мальчика, чтобы вернуть ему его деньги; потом, убедившись, что это бесполезно и невозможно, он остановился в отчаянии. В ту минуту, когда он крикнул: «Я негодяй!», он вдруг увидел себя таким, каким он был; но он уже до такой степени отрешился от самого себя, что ему показалось, будто он — только призрак, а пред ним, облеченный в плоть и кровь, с палкой в руках и ранцем,

полным краденого добра, за спиной, в рваной блузе, с угрюмым, решительным лицом и с тысячей гнусных помыслов в душе, стоит омерзительный каторжник Жан Вальжан.

Как мы уже говорили, чрезмерность несчастий сделала его в некотором роде ясновидящим. И этот образ был как бы видением. Он действительно увидел перед собой этого Жана Вальжана, его страшное лицо. Он почти готов был спросить себя, кто этот человек, и человек этот внушил ему отвращение.

Его мозг находился в том напряженном и в то же время до ужаса спокойном состоянии, когда задумчивость становится настолько глубокой, что она вытесняет действительность. Человек перестает видеть предметы внешнего мира, зато все, что порождает его воображение, он рассматривает как нечто реальное, существующее вне его самого.

Итак, Жан Вальжан стоял как бы лицом к лицу с самим собой, созерцая себя; и в то же время сквозь этот образ, созданный галлюцинацией, он видел в таинственной глубине какой-то мерцающий огонек, который принял сначала за факел. Однако, вглядываясь более внимательно, Жан Вальжан заметил, что огонек, вспыхнувший в глубине его сознания, имеет человеческий облик, и что этим факелом был епископ.

Его мысль попеременно останавливалась на двух людях, стоявших перед его сознанием, — на епископе и Жана Вальжане. Никто, кроме первого, не мог бы смягчить душу второго. Вследствие странной особенности, присущей восторженному состоянию такого рода, по мере того как галлюцинация Жана Вальжана продолжалась, епископ все вырастал и становился все лучезарней в его глазах, а Жан Вальжан становился все меньше и незаметнее. В какое-то мгновение он превратился в тень. И вдруг исчез. Остался один епископ.

Он заполнил всю душу этого несчастного дивным сиянием.

Жан Вальжан плакал долго. Он плакал горячими слезами, он плакал навзрыд, слабый, как женщина, испуганный, как ребенок.

Пока он плакал, сознание его все прояснялось и, наконец, озарилось необычайным светом, чудесным и в то

же время грозным. Его прежняя жизнь, его первый проступок, его длительное искупление, его внешнее одичание и внутреннее очерствение, минута его выхода на свободу, еще более радостная для него благодаря многочисленным планам мести, то, что произошло у епископа, и последнее, что он сделал, — эта кража монеты в сорок су у ребенка, кража тем более подлая, тем более чудовищная, что она произошла уже после прощения епископа, — все это припомнилось ему и предстало перед ним с полной ясностью, но в совершенно новом освещении. Он всмотрелся в свою жизнь, и она показалась ему безобразной; в свою душу — и она показалась ему чудовищной. И все же какой-то мягкий свет сиял над этой жизнью и над этой душой. Ему казалось, что он видит сатану в лучах райского солнца.

Сколько часов проплакал он? Что сделал после того, как перестал плакать? Куда пошел? Это осталось неизвестным. Повидимому, можно считать достоверным лишь то, что в эту самую ночь кучер дилижанса, ходившего в ту пору между Греноблем и Динем и прибывавшего в Динь около трех часов утра, видел, проезжая по Епархиальной улице, какого-то человека, который стоял на коленях прямо на мостовой и молился во мраке у дверей монсеньора Бьенвеню.

Книга третья

В 1817 ГОДУ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1817 год

1817 год был годом, который Людовик XVIII с истинно королевским апломбом, не лишенным некоторой надменности, называл двадцать вторым годом своего царствования. То был год славы для г-на Брюгьера де Сорсум. Все парикмахерские заведения, уповая на возврат к пудре и к взбитым локонам, размалевали свои вывески лазурью и усеяли их геральдическими лилиями. То были наивные времена, когда граф Линч восседал каждое воскресенье в церкви Сен-Жермен-де-Пре на почетной скамье церковного старосты в парадной одежде пэра Франции, с красной орденской лентой, привлекая к себе внимание длинным своим носом и тем величественным выражением лица, какое свойственно человеку, совершившему славный подвиг. Славный же подвиг г-на Линча заключался в следующем: будучи мэром города Бордо, он 12 марта 1814 года сдал город герцогу Ангулемскому несколько раньше, чем следовало. За это он и получил звание пэра. В 1817 году мода нахлобучила на головы маленьких мальчиков в возрасте от четырех до пяти лет огромные шапки из сафьяна с наушниками, сильно напоминавшие остроконечные колпаки эскимосов. Французская армия была одета в белое, на манер австрийской; полки именовались легионами; их уже не обозначали номерами, а присвоили им названия департаментов. Наполеон находился на острове св. Елены, и, так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он перелицовывал свои старые мундиры. В 1817 году Пеллегрини пел,

м-ль Биготтини танцевала; царил Потье; Одри еще не успел прославиться. Г-жа Саки заступила место Фориозо. Во Франции продолжали стоять пруссаки. Г-н Делало был важной особой. Законный порядок только что утвердился, отрубив руки, а потом и голову Пленье, Карбоно и Толерону. Обер-камергер князь Талейран и аббат Луи, которого прочили в министры финансов, смотрели друг на друга, подсмеиваясь, как два авгура; оба они 14 июля 1790 года отслужили торжественную мессу в праздник Федерации, на Марсовом поле: Талейран в качестве епископа, а Луи в качестве дьякона. В 1817 году в боковых аллеях этого самого Марсова поля мокли под дождем и гнили в траве громадные деревянные столбы, выкрашенные в голубой цвет, с облупившимися изображениями орлов и пчел, с которых слезла позолота. Это были колонны, два года назад поддерживавшие трибуну императора на Майском собрании. Они почернели местами от бивуачных костров австрийцев, построивших свои бараки возле Гро-Кайу. Две-три таких колонны и вовсе превратились в пепел, обогревая ручищи кайзеровцев. Майское собрание было замечательно тем, что оно происходило на Марсовом поле, и не в мае, а в июне¹. Двумя достопримечательностями этого 1817 года были: Вольтер, издания Туке, и табакерка с конституционной хартией. Последним событием, взволновавшим парижан, было преступление Дотена, который бросил голову своего брата в бассейн Цветочного рынка. В морском министерстве только что приступили к расследованию дела злополучного фрегата «Медуза», которое должно было покрыть позором Шома-рея и славою — Жерико. Полковник Сельв отправился в Египет, чтобы стать там Сулейман-пашой. Дворец Терм на улице Лагарпа служил лавчонкой какому-то бочару. На площадке восьмиугольной башни особняка Ключи еще можно было видеть маленькую дощатую будку, которая во времена Людовика XVI заменяла обсерваторию Месье, астроному морского ведомства. Герцогиня Дюра в своем небесно-голубом будуаре, обставленном табуретами с крестообразными ножками, читала трем или четверем из своих

¹ Игра слов, построенная на двойном смысле *Champ de Mai* — Майское собрание (буквально — Майское поле) и *Champ de Mars* — Марсово поле (буквально — Мартовское поле).

друзей еще неизданную «Урику». В Лувре соскабливали отовсюду букву «Н». Аустерлицкий мост отрекся от своего имени и назвался мостом Королевского сада — двойная загадка, ибо в ней одновременно скрывались два прежних названия: Аустерлицкий мост и мост Ботанического сада. Людовик XVIII, попрежнему читая Горация и делая ногтем пометки на полях, стал, однако, задумываться над судьбой героев, которые превращались в императоров, и башмачников, которые превращались в дофинов; у него было два источника тревоги: Наполеон и Матюрен Брюно. Французская академия объявила конкурс на тему: «Счастье, доставляемое занятиями наукой». Г-н Беллар блистал официальным красноречием. Под его сенью уже созрел будущий товарищ прокурора Броэ, которому суждено было стать мишенью для сарказмов Поля-Луи Курье. Нашелся лже-Шатобриан в лице Маршанжи; лже-Маршанжи в лице д'Арленкура еще не появился. «Клара Альба» и «Малек-Адель» считались образцовыми произведениями; г-жа Коттен была провозглашена лучшим писателем современности. Французский институт вычеркнул из своих списков академика Наполеона Бонапарта. Весь Ангулем королевским указом был превращен в морское училище: ведь герцог Ангулемский был генерал-адмиралом, и, следовательно, Ангулем должен был по праву пользоваться всеми преимуществами морского порта, не то пострадал бы самый принцип монархической власти. В совете министров обсуждался вопрос о том, можно ли допускать печатанье виньеток, которые изображали акробатические упражнения и, придавая особую остроту афишам Фанкони, собирали перед ними целые толпы уличных мальчишек. Г-н Паэр, автор «Агнезы», добряк с квадратным лицом и бородавкой на щеке, дирижировал небольшими камерными концертами у маркизы де Сасене в улице Виль-л'Эвек. Все молодые девушки распевали «Сент-Авельского отшельника», текст которого был написан Эдмоном Жеро. Журнал «Желтый карлик» преобразился в «Зеркало». Кафе «Ламблен» стояло за императора в пику кафе «Валуа», стоявшему за Бурбонов. Герцога Беррийского, которого где-то во мраке уже подстерегал Лувель, только что женили на сицилийской принцессе. Прошел год со смерти г-жи де Сталь. Гвардейцы встречали свистками м-ль Марс. Большие газеты стали

совсем маленькими. Формат их был ограничен, зато не ограничена свобода. Газета «Конституционалист» была действительно конституционной «Минерва» писала фамилию Chateaubriand¹ так: Chateaubriant. Эта буква t на конце вместо d вызывала у буржуа громкие насмешки над великим писателем. Бесчестные журналисты оскорбляли в продажных газетах изгнанников 1815 года: Давид уже не был талантлив, Арно не был умен, Карно не был честен; Сулыт не выиграл ни одного сражения; Наполеон — и это правда — уже не был гениален. Ни для кого не секрет, что письма, адресованные по почте лицам, высланным за пределы Франции, очень редко до них доходили, ибо полиция считает своим священным долгом перехватывать их. Это факт далеко не новый; еще Декарт жаловался на него, находясь в изгнании. Когда Давид в одной из бельгийских газет высказал некоторое неудовольствие по поводу того, что не получает отправляемых ему писем, это показалось роялистской прессе весьма забавным, и она осыпала изгнанника насмешками. Одни говорили: «цареубийцы», а другие: «голосовавшие за казнь»; одни говорили: «враги», а другие: «союзники», одни говорили: «Наполеон», а другие: «Буонапарте», — и это разделяло людей, словно глубочайшая пропасть. Все здравомыслящие люди сходились на том, что эра революций была навсегда закончена королем Людовиком XVIII, прозванным «бессмертным автором хартии». На береговом откосе у Нового моста, на пьедестале, ожидавшем статую Генриха IV, вырезали слово Redivivus². Г-н Пье подготовлял в доме № 4 на улице Терезы тайное сборище с целью упрочить монархию. Главари правой говорили в затруднительных случаях: «Надо написать Бако». Канюэль, О'Магони и де Шапделен, слегка поощряемые старшим братом короля, уже намечали то, чему впоследствии предстояло стать «Береговым заговором». Со своей стороны, общество «Черной булавки» тоже составляло заговор. Делавердри стакнулся с Троговым. Г-н Деказ, до некоторой степени либерал, господствовал над умами. Шатобриан стоял каждое утро у своего окна в доме № 27 по улице Сен-Доминик, в панталонах со штрипками, в домашних туфлях, с шелковым платком на

¹ Шатобриан

² Воскресший (лат.).

седой голове. Разложив перед собой целый набор инструментов дантиста, он, не отводя глаз от зеркала и заботливо осматривая свои прекрасные зубы, за которыми тщательно ухаживал, одновременно диктовал секретарю г-ну Пилоржу различные варианты «Монархии согласно хартии». Делавшая погоду критика отдавала предпочтение Лафону перед Тальма. Де Фелец подписывался буквой А; Гофман — буквой Z. Шарль Нодье писал «Терезу Обер». Развод был упразднен. Лицеи назывались коллежами. Ученики коллежей, с золотой лилией на воротничках, тузили друг друга из-за римского короля. Дворцовая тайная полиция доносила ее королевскому высочеству герцогине Шартрской о том, что на выставленном повсюду портрете герцог Орлеанский в мундире гусарского генерал-полковника имел более молодцеватый вид, нежели герцог Беррийский в мундире драгунского полковника, — крупная неприятность. Город Париж за свой счет обновил позолоту на куполе Дома инвалидов. Серьезные люди спрашивали друг у друга, как поступил бы в том или ином случае г-н де Тренкелаг; г-н Клозель де Монталь расходился в некоторых вопросах с г-ном Клозелем де Кусерг; г-н де Салабери был недоволен. Автор комедий Пикар, принятый в члены Академии, куда не мог попасть автор комедий Мольер, ставил пьесу «Два Филибера» в Одеоне, на фронтоне которого по следам сорванных букв было еще совсем нетрудно прочесть: «Театр императрицы». Одни высказывались за Кюнье де Монтарло, другие против. Фабвье был бунтовщиком; Баву был революционером. Книгопродавец Пелисье издавал Вольтера под следующим заголовком: «Сочинения Вольтера, члена Французской академии». «Это привлечет покупателей», — говорил сей наивный издатель. Общее мнение гласило, что г-н Шарль Луазон будет гением века; его уже начинала грызть зависть — признак славы, и про него написали такой стишок:

Луазон, воришка, плут,
Хоть в орла рядится он, —
Ножки сразу выдают,
Что гусенок — Луазон.

Так как кардинал Феш не пожелал добровольно отказаться от своих прав на Лионскую епархию, то ею теперь управлял де Пен, архиепископ Амазийский. Между Швей-

царией и Францией возникли трения из-за Дапской долины, начавшиеся с докладной записки капитана Дюфура, впоследствии произведенного в генералы. Еще никому неизвестный Сен-Симон вынашивал величественную свою мечту. В Академии наук восседал знаменитый Фурье, теперь уже давно забытый потомством, а где-то на чердаке ютился другой, неизвестный Фурье, память о котором никогда не исчезнет. Уже начинала всходить звезда лорда Байрона; в примечании к одному из своих стихотворений Мильвуа возвестил о нем Франции, именуя его «неким лордом Байроном». Давид д'Анже делал уже попытки вдохнуть жизнь в мрамор. В узком кругу семинаристов, в безлюдном тупике Фельянтинок, аббат Карон с похвалой отзывался о неизвестном священнике Фелисите Робере, впоследствии превратившемся в Ламение. Какая-то штука, которая дымила и пыхтела на Сене, издавая при этом такие же звуки, какие издает барахтающаяся в воде собака, сновала взад и вперед под окнами Тюильри от Королевского моста к мосту Людовика XV: это была никчемная механическая игрушка, выдумка пустоголового изобретателя, утопия, — словом, это был пароход. Парижане равнодушно смотрели на эту бесполезную затею. Г-н де Воблан, преобразовавший Французский институт с помощью государственного переворота, приказов и новых назначений, явился почтенным творцом нескольких академиков, но, совершив этот подвиг, сам так и не смог попасть в их число. Сен-Жерменское предместье и Марсанский павильон пожелали себе в префекты полиции г-на Делаво по причине его благочестия. Дюпюитрен и Рекамье бранились в анатомическом театре Медицинской школы и, споря о божественном происхождении Иисуса Христа, готовы были надавать друг другу тумачков. Кювье, глядя одним глазом в Книгу бытия, а другим на природу, стремился угодить реакционным ханжам, пытаясь примирить ископаемых с библейскими текстами и заставляя мастодонтов прославлять Моисея. Франсуа де Нефшато, достойный почитатель памяти Пармантье, усердно хлопотал о том, чтобы слово «картофель» произносилось как «пармантофель», что отнюдь не возымело успеха. Аббат Грегуар, бывший епископ, бывший член Конвента, бывший сенатор, был низведен роялистской полемикой в степень «презренного Грегуара».оборот речи, который мы только

что употребили: «низведен в степень», был объявлен неологизмом г-ном Руайе-Колларом. Под третьей аркой Иенского моста еще можно было отличить, по его белизне, новый камень, которым за два года до того было заложено отверстие пробоины, сделанной Блюхером, собиравшимся взорвать мост пороховой миной. Правосудие посадило на скамью подсудимых человека, который, увидев входящего в Собор Парижской богородицы графа д'Артуа, громко сказал: «Чорт возьми! Как мне жаль того времени, когда Бонапарт и Тальма под руку являлись на Бал дикарей». Крамольные речи; полгода тюрьмы. Изменники распоясались; люди, которые накануне сражения перешли на сторону врага, не скрывали полученных наград и бесстыдно разгуливали средь бела дня, цинично хвастаясь богатством и чинами; дезертиры, показавшие себя при Линьи и при Катр-Бра, обнажали свои продажные душонки и верноподданнические чувства, забыв слова, написанные на внутренней стенке общественных уборных в Англии: Please adjust your dress before leaving¹.

Вот что вперемежку всплывает на поверхности 1817 года, ныне забытого. История пренебрегает почти всеми этими своеобразными подробностями, и иначе поступить она не может: они затопили бы ее бесконечным своим потоком. А между тем эти подробности, несправедливо называемые мелкими, — полезны, ибо для человечества нет чересчур мелких фактов, как для растительного мира нет чересчур мелких листьев. Именно из физиономии отдельных лет и складывается облик столетий.

В этом-то 1817 году четверо юных парижан придумали «забавную шутку».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Двойной квартет

Парижане эти были: один из Тулузы, другой из Лиможа, третий из Кагора и четвертый из Монтобана; но они были студенты, а студент — это парижанин: учиться в Париже — все равно что родиться в Париже.

¹ Перед уходом оправляйте одежду (англ.).

Эти молодые люди ничего значительного собой не представляли, всякому случалось видеть им подобных; четыре образчика «первого встречного», не добрые и не злые, не ученые и не невежды, не гении и не дураки, все они пленяли очарованием того апреля, имя которому «двадцать лет». То были просто четыре Оскара, ибо Артуров еще не существовало в ту эпоху. «Воскурите для него благовония Аравии, — восклицал романс, — Оскар идет, я увижу Оскара!» Увлечение Оссианом еще не остыло; образцом изящества считались скандинавы и шотландцы; подлинный английский стиль одержал верх лишь значительно позднее, и первый из Артуров, Веллингтон, только недавно выиграл сражение при Ватерлоо.

Этих Оскаров звали: одного — Феликс Толомьес из Тулузы, второго — Листолье из Кагора, третьего — Фамейль из Лиможа и последнего — Блашвель из Монтобана. Разумеется, у каждого из них была любовница. Блашвель любил Фавуритку, получившую это искаженное на английский лад имя после ее поездки в Англию; Листолье обожал Далию, избравшую своей кличкой название цветка; Фамейль боготворил Зефину — уменьшительное от Жозефины; Толомьес обладал Фантиной, прозванной Блондинкой за ее прекрасные волосы цвета солнца.

Фавуритка, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительные девушки, благоуханные и сияющие, еще не совсем потерявшие облик работниц и не окончательно расставшиеся с иглой, немного выбитые из колеи любовными приключениями, но еще сохранившие на лицах душевную ясность — спутницу труда, а в душе пушок невинности, которая у женщин переживает ее первое падение. Одну из четырех называли молодой, потому что она была младшей, а другую называли старухой. «Старухе» было двадцать три года. Чтобы ничего не утаить, сознаемся, что первые три были более опытные, более легкомысленны и сильнее увлечены шумным потоком жизни, нежели Фантина-Блондинка, переживавшая пору своей первой иллюзии.

Далия, Зефина и в особенности Фавуритка не могли бы сказать о себе того же. Романтическая повесть их юности, едва начавшись, уже насчитывала не один эпизод, и влюбленный, который в первой главе носил имя Адольфа, во второй превращался в Альфонса, а в третьей

в Гюстава. Бедность и кокетство — пагубные советчицы: первая брюзжит, а вторая льстит, и обе, каждая о своем, нашептывают что-то красивым девушкам из народа. Души, оставшиеся без присмотра, прислушиваются к этим голосам. В результате — падение, а потом и камни, которыми бросают в падших. Бедняжек подавляют блеском всего, что непорочно и неприступно. Увы, что случилось бы с Юнгфрау, если бы она испытала голод!

У Фавуритки, побывавшей в Англии, были две поклонницы — Зефина и Далия. Уже в ранней юности она жила совсем одна. Отец ее, старый учитель математики, грубиян и любитель прихвастнуть, не был женат и, несмотря на преклонный возраст, бегал по урокам. В молодости этот учитель увидал однажды, как горничная зацепилась юбкой за каминную решетку; этого случая оказалось довольно, чтобы он влюбился. В результате на свет появилась Фавуритка. Время от времени она встречалась с отцом на улице, и он раскланивался с нею. Однажды утром какая-то старая женщина, на вид святоша, вошла к ней в комнату и сказала: «Вы меня не узнаете, барышня?» — «Нет». — «Я твоя мать». Затем старуха открыла буфет, напилась и наелась, послала за своим тюфяком и водворилась у дочери. Эта мать, ворчунья и ханжа, ни о чем не говорила с Фавуриткой, часами сидела молча, завтракала, обедала и ужинала за четверых, а потом спускалась вниз посудачить с швейцаром, которому рассказывала гадости про свою дочь.

Причиной, которая свела Далию с Листолье, — а быть может, и не с одним Листолье, — и бросила ее в объятия праздности, были ее чересчур красивые розовые ногти. Ну как можно портить такие ногти грязной работой? Женщина, которая хочет остаться добродетельной, не должна беречь свои руки. Что касается Зефины, то она завоевала Фамейля своей задорной и вместе с тем ласковой манерой произносить: «Да, сударь».

Молодые люди были приятелями, молодые девушки стали подругами. Подобные любовные связи всегда сопровождаются такого рода дружбой.

Мудрость и целомудрие — вещи разные; доказательством этому служит то, что Фавуритка, Зефина и Далия — разумеется, если принять во внимание все необходимые оговорки относительно этих незаконных супружеств —

были девушками мудрыми, а Фантина — девушкой целомудренной.

«Целомудренной? — спросите вы. — А Толомьес?» Соломон ответил бы, что любовь является частицей целомудрия. Мы же скажем только, что любовь Фантины была первой любовью, любовью единственной и верной.

Из всех четырех лишь к ней одной обращался на «ты» только один мужчина.

Фантина принадлежала к числу тех созданий, какие порой расцветают, так сказать, в самых недрах народа. Выйдя из бездонных глубин социального мрака, она носила на своем челе печать безыменности и неизвестности. Родилась она в городе Монрейле-Приморском. Кто были ее родители? Никто не мог бы ответить на это. Никто не знал ее матери, ее отца. Ее звали Фантиной. Почему Фантиной? Другого имени у нее не было. Когда она родилась, еще существовала Директория. У нее не было фамилии, потому что не было семьи; у нее не было имени, которое обычно дают при крещении, потому что в то время не было церкви. Ее стали звать так, как вздумалось окликнуть ее случайному прохожему, который встретил ее на улице босоногой девчонкой. Она приняла свое имя так же покорно, как принимала потоки воды, поливавшие ее непокрытую голову, когда шел дождь. Ее называли малюткой Фантиной. И это было все, что о ней знали. Так вступило в жизнь это человеческое существо. Десяти лет Фантина покинула город и поступила в услужение к каким-то фермерам в окрестностях города. Пятнадцати лет она явилась в Париж «искать счастья». Фантина была красива и оставалась непорочной так долго, как только могла. Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданое ее состояло из золота и жемчуга: золото — на головке, а жемчуг — во рту.

Она работала, чтобы жить; потом — тоже для того, чтобы жить, — она полюбила, ибо существует и сердечный голод.

Она полюбила Толомьеса.

Для него — любовное похождение, для нее — истинная страсть. Улицы Латинского квартала, кишачие толпами студентов и гризеток, видели начало ее грез. Фантина в этом лабиринте холма Пантеона, где происходит завязка и развязка стольких любовных приключений, долго избегала

Толомьеса, но так, что каким-то образом везде встречала его. Есть такой способ избегать, который весьма напоминает способ искать. Короче говоря, пастушеская идиллия началась.

Блашвель, Листолье и Фамейль составляли нечто вроде кружка, главарем которого являлся Толомьес. Он-то и был умнее их всех.

Толомьес олицетворял уже исчезающий тип старого студента; это был богач с четырьмя тысячами франков ренты; четыре тысячи франков ренты — скандально много для горы св. Женеьевы. Толомьес был тридцатилетний кутила, плохо сохранившийся, морщинистый и беззубый; кроме того, у него намечалась лысина, о которой сам он говорил без тени грусти: «В тридцать лет плешь, а в сорок — колено». У него плохо варил желудок и с некоторых пор начал слезиться один глаз. Но по мере того как угасала его молодость, он разжигал свою веселость; зубы он заменил остротами, волосы — жизнерадостностью, здоровье — иронией, а его плачущий глаз то и дело смеялся. Он был изношен и в то же время цвел пышным цветом. Его молодость, которая снялась с лагеря на много раньше срока, отступала в полном порядке, покатываясь со смеху и ослепляя всех своим блеском. Он сочинил пьесу, которую отверг театр «Водевиль». Время от времени он пописывал посредственные стишки. А главное, он высокомерно сомневался во всем на свете — великая сила в глазах слабых. Итак, обладая иронией и плешью, он был главарем. Игон — по-английски значит железо. Не от него ли произошло и слово ирония?

Однажды Толомьес отвел в сторону остальных трех членов компании и с загадочным видом сказал им:

— Скоро год, как Фантина, Далия, Зефина и Фавуритка просят, чтобы мы сделали им сюрприз. Мы торжественно обещали им это. Они то и дело напоминают нам о нашем обещании, и особенно мне. Как старухи в Неаполе кричат святому Януарию: «Faccia gialluta, fa o miracolo! — Желтолицый, сотвори чудо!» — так и наши красотки беспрестанно твердят мне: «Толомьес, когда же ты разрешишься своим сюрпризом?» В то же самое время наши родители шлют нам бесконечные письма. Словом, пилят с обеих сторон. Мне кажется, что время пришло. Давайте потолкуем.

Тут Толомьес понизил голос и таинственно произнес нечто столь забавное, что взрыв громкого восторженного смеха одновременно вырвался из всех четырех глоток, и Блашвель вскричал: «Вот так мысль!»

По дороге им попался кабачок, полный табачного дыма, они зашли туда, и завеса мрака покрыла конец со-
вещания.

Следствием этого темного дела явилась блистательная прогулка, которая состоялась в следующее же воскресенье и на которую четверо молодых людей пригласили четырех девиц.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Четыре пары

В наше время мы плохо представляем себе, чем была загородная прогулка студентов и гризеток сорок пять лет назад. Окрестности Парижа сейчас совсем не те; за полвека облик так называемой «около-парижской» жизни совершенно преобразился; прежняя двучолка сменилась вагоном, пакетбот — пароходом, и сегодня съездить в Фекаан так же просто, как в Сен-Клу. Париж 1862 года — город, предместьем которого является вся Франция.

Четыре парочки добросовестно проделали все глупости, какие можно было проделать на свежем воздухе в то время. Каникулы только что начались, и стоял жаркий, солнечный летний день. Накануне Фавуритка, единственная из девушек, которая умела писать, написала Толомьесу от имени всех четырех записку следующего содержания: «Кто долго спит, тот щастье праспит». По этой-то причине они и поднялись в пять часов утра. Затем отправились дилижансом в Сен-Клу, осмотрели бездействовавший каскад, вскричав при этом: «Как это должно быть красиво, когда пускают воду», позавтракали в «Черной голове», куда еще не заглядывал отравитель Кастен, угостили себя игрой в кольца на обсаженной косыми рядами деревьев площадке у большого водоема, взобрались на Диогенов фонарь, сыграли в рулетку на миндальное печенье у Севрского моста, нарвали цветов в Пюто, купили дудок в Нельи, ели повсюду яблочные пирожные и были совершенно счастливы.

Девушки шумели и щебетали, словно малиновки, вырвавшиеся на волю. Они были в каком-то чаду. По временам они награждали молодых людей легкими шутливыми шлепками. Опьянение утром жизни! Чудесные годы! Трепещущие крылья стрекоз! О, кто бы вы ни были, читатель, вспоминаете ли вы это? Приходилось ли вам сбегать, смеясь, по мокрому от дождя откосу вместе с любимой женщиной, которая восклицает, опираясь на вашу руку: «Ой, мои новые ботинки! На что они стали похожи!»

Надо заметить, что на сей раз веселая помеха в виде ливня миновала нашу жизнерадостную компанию, хотя, отправляясь в путь, Фавуритка и сказала наставительным и материнским тоном: «По дорожкам ползают улитки. Это к дождю, дети мои».

Все четыре девушки были дьявольски хороши собой. Некий поэт классической школы, пользовавшийся в то время большой известностью, шевалье де Лабуис, добродушный старичок, воспевавший свою Элеонору, бродил в тот день, около десяти часов утра, под сенью каштанов в Сен-Клу и, встретив подруг, вскричал, несомненно имея в виду трех граций: «Одна тут лишняя!» Фавуритка, возлюбленная Блашвеля, та, которой было двадцать три года, то есть «старушка», очертя голову неслась впереди всех под густыми зелеными ветвями, перепрыгивала через канавы, перескакивала через кусты и предводительствовала всеобщим весельем с пылом юной дриады. Зефина и Далия, которых случай создал так, что красота одной дополняла красоту другой, причем каждая только выигрывала от сравнения с подругой, не расставались, побуждаемые не столько дружеской привязанностью, сколько инстинктивным кокетством, и, томно прислонившись друг к другу, принимали позы английских леди; первые «кипсеки» только что появились, меланхолия уже входила в моду у женщин, как несколько позже байронизм стал модой у мужчин, и волосы представительниц прекрасного пола уже начинали свисать грустными прядями; Зефина и Далия укладывали волосы валиком. Листолье и Фамейль занялись спором о своих профессорах и разъясняли Фантине, чем г-н Дельвенкур отличался от г-на Блондо.

Блашвель, казалось, был создан исключительно для того, чтобы по воскресным дням носить на руке кашемировую шаль Фавуритки с цветной каймой по краям.

Толомьес шел сзади и руководил всей компанией. Он был очень весел, но в нем чувствовалось сознание власти; в его шутках сказывался диктатор. Главным украшением его особы были нанковые панталоны фасона «слоновой ноги» со штрипками из медных цепочек, в руке у него была массивная трость стоимостью в двести франков, и так как он позволял себе решительно все, то во рту у него торчала странная штука, именуемая сигарой. Для него не было ничего святого — он курил.

«Этот Толомьес просто изумителен! — с почтительным уважением говорили о нем приятели. — Какие панталоны! Какая энергия!»

Что касается Фантины, то это была сама радость. Ее чудесные зубы, несомненно, получили от бога определенное назначение — сверкать при улыбке. Свою шляпку из строченой соломки, с длинными белыми завязками, она охотнее носила не на голове, а на руке. Ее густые белокурые волосы, то и дело рассыпавшиеся и расплетавшиеся, вечно нуждались в шпильках и приводили на память образ Галатеи, бегущей под ивами. Ее розовые губы что-то восторженно лепетали. Уголки губ, сладострастно приподнятые, как на античных масках Эригоны, казалось, поощряли к вольностям, но длинные скромно опущенные ресницы, полные тайны, смягчали вызывающее выражение нижней части лица, словно предостерегая от вольных мыслей. Весь ее наряд производил впечатление чего-то певучего и сияющего. На ней было береговое платье розовато-лилового цвета, маленькие темнокрасные башмачки-котурны, с лентами, перекрещивающимися на тонких белых ажурных чулках, и тот самый муслиновый спенсер, который придумали марсельцы и название которого — «канзу», искаженное на канебьерский лад: quinze août — означало пятнадцатое августа, то есть хорошую погоду, зной, полдень. Остальные три девушки, как мы уже говорили, менее робкие, были откровенно декольтированы, что летом, при шляпках, украшенных цветами, придавало им очень изящный и задорный вид. Однако рядом с этими смелыми костюмами прозрачное канзу белокурой Фантины, с его нескромностью и недомолвками, что-то скрывающее и в то же время что-то обнажающее, казалось дерзкой находкой приличия, и, пожалуй, знаменитый суд любви, где председательствовала

виконтесса де Сет, обладавшая глазами цвета морской воды, скорее вручил бы этому канзу приз за кокетливость, нежели за целомудрие, на которое оно претендовало. Нередко наивность оказывается величайшим искусством. Это бывает.

Ослепительный цвет лица, тонкий профиль, темно-голубые глаза, тяжелые веки, изящные маленькие ножки с высоким подъемом, восхитительные линии рук, белая кожа с сетью синих жилок, свежие детские щеки, сильная и гибкая шея эгинских Юнон, крепкий затылок, плечи, словно изваянные резцом Кусту, с двумя просвечивающими сквозь тонкий муслин сладострастными ямочками, веселость, слегка скованная мечтательностью, скульптурные, изысканные формы — вот Фантина; под тканями и лентами вы чувствовали статую и в этой статуе — живую душу.

Фантина была прекрасна, сама того не сознавая. Немногие мечтатели, таинственные служители культа красоты, которые молча сравнивают с совершенством все, что они видят, уловили бы в юной швее сквозь прозрачную дымку парижского изящества античную и священную гармонию. В этой безвестной девушке чувствовалась порода. Она соединяла в себе и красоту стиля и красоту ритма. Стиль — форма идеала, ритм — его движение.

Мы уже сказали, что Фантина была сама радость; Фантина была также сама стыдливость.

Наблюдатель, внимательно присмотревшись к ней, заметил бы, что сквозь опьянение юностью, весной и любовью в ней просвечивало выражение непреодолимой сдержанности и скромности. Она всегда казалась слегка удивленной. Вот это целомудренное удивление и есть оттенок, отличающий Психею от Венеры. У Фантины были длинные, белые и тонкие пальцы весталки, которая ворошит пепел священного огня золотой булавкой. Хотя, как мы это слишком ясно увидим из дальнейшего, она ни в чем не отказала Толомьесу, лицо ее в минуты покоя выражало чистейшую непорочность; печать какого-то серьезного и почти строгого достоинства внезапно появлялась на нем в иные часы, и нельзя было без удивления и волнения смотреть, как быстро угасала на нем веселость и как, без всякого перехода, безмятежная ясность сменялась вдруг глубокой сосредоточенностью. Эта внезапная серьезность,

порой выраженная очень резко, походила на высокомерие богини. Лоб, нос и подбородок представляли ту идеальную линию, совершенно отличную от идеальных пропорций, которая и обуславливает гармонию лица; а в характерном промежутке между основанием носа и верхней губой у нее была та едва заметная и очаровательная ямочка — таинственная примета целомудрия, — благодаря которой Барбаросса влюбился в Диану, найденную при раскопках в Иконии.

Любовь — грех, пусть так! Фантина была невинностью, всплывшей над пучиной греха.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Толомьес так весел, что поет испанскую песенку

Весь этот день от начала и до конца был соткан из лучей утренней зари. Казалось, что всю природу отпустили на каникулы и она ликует. Цветники Сен-Клу благоухали, дыхание Сены едва заметно шевелило листву деревьев, ветви покачивались от легкого ветерка, пчелы безжалостно грабили кусты жасмина, целая ватага бабочек налетела на тысячелистник, клевер и дикий овес; заповедным парком французского короля завладела шумная толпа беспутных бродяг — то были птицы.

Четыре веселые парочки, слившись с солнцем, полями, цветами, с лесом, сияли радостью жизни.

И в этом райском единении с природой молодые девушки болтали, смеялись, бегали взапуски, танцевали, гонялись за бабочками, рвали повилику, промачивая в высокой траве свои розовые ажурные чулки; юные, сумасбродные, отнюдь не строптивые, они то и дело получали поцелуи от каждого из мужчин, — все, кроме Фантины, замкнувшейся в своей бессознательной, задумчивой и пугливой неприступности, — кроме той, которая любила. «Ты всегда разыгрываешь из себя недотрогу», — говорила ей Фавуритка.

Таковы истинные радости. Счастливые пары — это могучий призыв к жизни и к природе; при их появлении все сущее брызжет лаской и светом. Некогда жила фея, которая создала рощи и луга только для влюбленных. Так воз-

никла бессмертная школа любовников, которая возрождается вновь и вновь и будет существовать до тех пор, пока будут существовать рощи и школьники. Вот почему весна увлекает мыслителей. Патриций и уличный точильщик, герцог, возведенный в достоинство пэра, и приказный, «придворные и горожане», как говорилось встарь, все они подвластны этой фее. Все смеются, все ищут друг друга, воздух пронизан сиянием апофеоза, — вот как преображает любовь! Жалкий писец нотариуса становится полубогом. А эти легкие возгласы, это преследование друг друга в зеленой траве, эта девическая талия, которую обнимают на бегу, эти словечки, звучащие, как музыка, это обожание, выдающее себя интонацией одного слога, эти вишни, вырванные губами из губ, — все это искрится, проносясь мимо, в каком-то небесном ликовании. Красавицы сладостно и щедро расточают себя. Всем кажется, что это будет длиться вечно. Философы, поэты, художники взирают на эти восторги и, ослепленные, не знают, как отобразить их. «Отплытие на Киферу!» — восклицает Ватто; Ланкре, живописец, увековечивший разночинцев, созерцает своих горожан, улетающих в лазурь; Дидро раскрывает объятия всем влюбленным, а д'Юрфе видит среди них друидов.

После завтрака четыре парочки отправились в Королевский цветник, как его называли в то время, посмотреть на недавно привезенное из Индии растение, название которого мы не можем сейчас припомнить и которое привлекало тогда в Сен-Клу весь Париж; это было причудливое и прелестное деревцо с высоким стволом, с бесчисленными тонкими, как нити, растрепанными веточками, лишенными листьев, но покрытыми множеством крошечных белых розочек, отчего куст напоминал голову, всю усыпанную цветами. Около него всегда стояла толпа любопытных.

Осмотрев деревцо, Толомьес вскричал: «Угощаю ослами!», и, договорившись с погонщиком о цене, компания пустилась в обратный путь через Ванв и Исси. В Исси — происшествие. Парк, конфискованный во время революции и перешедший к тому времени во владение поставщика армии Бургена, случайно оказался открытым. Они вошли за ограду, посетили пещеру с куклой-анахоретом, испытали на себе все таинственные эффекты знамени-

той зеркальной комнаты — этой западни, достойной похотливого сатира, ставшего миллионером, или Тюркаре, преобразившегося в Приапа. Молодые люди как следует раскачали большую сетку-качели, висевшую меж двух каштанов, воспетых аббатом де Берни. Поочередно качая красавиц, среди дружного смеха и взлета юбок, образовывавших такие складки, которые восхитили бы самого Греза, Толомьес, уроженец Тулузы и немного испанец, — ведь Тулуза двоюродная сестра Толозы, — напевал заунывным речитативом старинную испанскую песенку, должно быть тоже навеянную образом какой-нибудь красотки, высоко взлетавшей на веревке меж двух деревьев:

Soy de Badajoz.
Amor me llama,
Toda mi alma
Es en mis ojos,
Porque enseñas
A tus piernas¹.

Одна только Фантина отказалась качаться.

— Терпеть не могу, когда так ломаются, — пробормотала Фавуритка довольно едким тоном.

После катанья на ослах новое развлечение: переехали на лодке Сену и прошли пешком от Пасси до заставы Звезды. Как мы помним, молодежь была на ногах с пяти часов утра, но что из этого! «В воскресенье не устают, — говорила Фавуритка, — по воскресеньям усталость тоже отдыхает». Около трех часов дня четыре парочки, уже совсем ошалевшие от счастья, кубарем слетали с русских гор. Это странного вида сооружение находилось в то время на Божонских холмах, и его извилистая линия виднелась над верхушками деревьев Елисейских полей.

Время от времени Фавуритка восклицала:

— Ну, а сюрприз? Я требую сюрприза.

— Терпение, — отвечал Толомьес.

¹ Я из Бадахоса.
Любовь меня зовет.
Вся душа моя
В моих глазах,
Когда ты показываешь
Свои ножки (испан.).

ГЛАВА ПЯТАЯ

У Бомбарды

Исчерпав все прелести русских гор, компания стала подумывать об обеде, и сияющая восьмерка, наконец-то немного утомившаяся, осела в кафе «Бомбарда»; то был открытый на Елисейских полях филиал ресторана знаменитого Бомбарды, вывеска которого красовалась в те времена на углу улицы Риволи, рядом с пассажем Делорм.

Большая, но неудобная комната с альковым и кроватью в глубине ее (по случаю воскресенья ресторанчик был переполнен, и пришлось волей-неволей примириться с этим пристанищем), два окна, из которых сквозь листву вязов можно было созерцать набережную и реку; лучи великолепного августовского солнца, заглядывавшего в окна; два стола: на одном — гора пышных букетов вперемежку со шляпами, мужскими и дамскими; за другим — четыре парочки, сидящие перед веселым нагромождением блюд, тарелок, стаканов и бутылок; кружки пива, бутылки вина; не слишком большой порядок на столе и еще больший беспорядок под ним;

Там делали такое ногами под столом,
Что гром гремел, дрожало все кругом, —

как сказал Мольер.

Вот как обстояло дело в половине пятого вечера с пастьешеской идиллией, начавшейся в пять часов утра. Солнце уже садилось, аппетит постепенно ослабевал.

Елисейские поля, залитые солнцем и толпой, были полны света и пыли, двух составных частей славы. Мраморные кони Марли взвивались на дыбы и словно ржали в золотистой дымке. Экипажи сновали взад и вперед. Эскадрон блестящих лейб-гвардейцев с горнистом во главе ехал по авеню Нельи; белое знамя, чуть порозовевшее в лучах заката, развевалось над куполом Тюильрийского дворца. Площадь Согласия, вновь переименованную в площадь Людовика XV, заливала радостная толпа гуляющих. У многих были в петлицах серебряные лилии на белых муаровых бантах, еще не совсем исчезнувшие в 1817 году. Хороводы маленьких девочек, окруженные кольцом апло-

дирующих зрителей, распевали знаменитую в то время песенку, прославлявшую Бурбонов и предназначенную для посрамления Ста дней, с таким припевом:

Верните нам отца из Гента,
Верните нашего отца.

Жители предместий, разодетые по-праздничному, а иногда, по примеру буржуа, тоже украшенные лилиями, шумными группами разбрелись по главной площади и по площади Мариньи, играли в кольца, катались на карусели, пили; типографские ученики разгуливали в бумажных колпаках; раздавались взрывы смеха. Все кругом ликовало. То была эпоха прочного спокойствия и полнейшей безопасности для роялистов; именно в те времена одно из секретных и подробных донесений префекта полиции Англеса к королю относительно предместий Парижа заканчивалось следующими словами: «По зрелому размышлению, ваше величество, нет никаких оснований опасаться этих людей. Они беззаботны и ленивы, как кошки. Простонародье провинций беспокойно, а парижское — ничуть. Все это маленькие человечки. Чтобы выкроить одного гренадера вашего величества, понадобилось бы не менее двух таких карликов. Нет, со стороны столичной черни не предвидится ни малейшей угрозы. Интересно отметить, что за последние пятьдесят лет эти люди стали еще ниже ростом и теперь население парижских предместий мельче, чем до революции. Они совершенно не опасны. В общем — это добродушные каналы».

Префекты полиции не считают возможным, чтобы кошка могла превратиться в льва; однако это бывает, и в этом чудеснейшее свойство парижского народа. Впрочем, кошка, столь презираемая графом Англесом, пользовалась уважением в античных республиках, она являлась там воплощением свободы и, подобно тому как в Пирее возвышалось изображение бескрылой Афины, в Коринфе на городской площади стояла колоссальная бронзовая статуя кошки. Простодушная полиция эпохи Реставрации видела парижский люд в чересчур розовом свете. Это далеко не «добродушные каналы», как думают некоторые. Парижанин по отношению к французу — то же, что афинянин по отношению к греку, никто не спит слаще его, ничье легкомыслие и лень не проявляются так открыто, никто,

казалось бы, не умеет так быстро забывать, как он; и все же не следует слишком полагаться на все эти свойства; он способен на любое проявление беспечности; но когда перед ним забрезжит слава, его яростный пыл преисполняет вас восторженным изумлением. Дайте ему пику — и вы увидите 10 августа, дайте ему ружье — и вы увидите Аустерлиц. Он — точка опоры Наполеона и помощник Дантона. Речь идет об отечестве — он вербует в солдаты; речь идет о свободе — он разбирает мостовую и строит баррикады. Берегитесь! Власы его напоены гневом, словно у эпического героя; его блуза драпируется складками хламиды. Будьте осторожны. Первую попавшуюся улицу, хотя бы улицу Гренета, он превратит в Кавдинское ущелье. Пробьет час, и этот обыватель предместья вырастет, этот маленький человечек поднимется во весь рост, и взгляд его станет грозным, дыханье станет подобным буре, и из этой жалкой тщедушной груди вырвется вихрь, способный потрясти громады Альпийских гор. Именно благодаря жителю парижских предместий революция, соединившись с армией, завоевала Европу. Он поет — в этом его радость. Сообразуйте его песню с его натурой, и тогда вы увидите! Пока его припев всего лишь «Карманьола», он ниспровергает одного Людовика XVI; дайте ему запеть «Марсельезу» — и он освободит весь мир.

Написав на полях донесения Англеса эту заметку, возвращаемся к нашим четырем парам. Обед, как мы уже сказали, подходил к концу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой все обожают друг друга

Застольные речи и любовные речи! Те и другие одинаково неуловимы: любовные речи — это облака, застольные — клубы дыма.

Фамейль и Далия что-то напевали; Толомьес пил; Зефина смеялась, Фантина улыбалась. Листолье трубил в деревянную дудочку, купленную в Сен-Клу. Фавуритка нежно поглядывала на Блашвеля и повторяла:

— Блашвель, я обожаю тебя.

Это вызвало у Блашвеля вопрос:

— А что бы ты сделала, Фавуритка, если бы я тебя разлюбил?

— Я! — вскричала Фавуритка. — Ах, не говори этого, даже в шутку! Если б ты разлюбил меня, я бы бросилась на тебя, искусала, исцарапала, облила бы тебя водой, заставила тебя арестовать.

Блашвель улыбнулся с плотоядным самодовольством фата, самолюбие которого приятно пощекотали. Фавуритка продолжала:

— Да я бы попросту закричала: «Держи его!» Стану я с тобой церемониться, шельма ты этакая!

Блашвель в полном восторге откинулся на спинку стула и горделиво зажмурился.

Далия, не переставая что-то жевать, шопотом спросила Фавуритку среди общего гама:

— Так ты, значит, здорово влюблена в своего Блашвеля?

— Я-то? Да я его ненавижу, — так же тихо ответила Фавуритка, снова берясь за вилку. — Он скупой. Я люблю мальчика, который живет против меня. Такой милый молодой человек. Ты не знаешь его? И сразу видно, что он будет актером. Я очень люблю актеров. Как только он приходит домой, его мать говорит: «О господи, кончился мой покой! Вот сейчас он начнет кричать. Голубчик, да у меня просто голова разламывается!» Это потому, что он, знаешь ли, ходит по всему дому, забирается на чердаки, где полно крыс, во все темные углы и чуть не на самую крышу, начинает там петь, декламировать и всякое такое, да так громко, что его слышно в самом низу. Он и сейчас уже зарабатывает по двадцать су в день у одного адвоката, пишет ему какие-то кляузные бумаги. Отец его был певчим в церкви Сен-Жак-дю-О-Па. Ах, как он мил! Он до того в меня влюблен! Увидел как-то раз, что я развожу тесто для блинчиков, — руки у меня были все в тесте, — да и говорит: «Мамзель, сделайте оладушки из ваших перчаток, и я их съем». Нет, только артисты способны так выражаться. Ах, как он мил! Я прямо готова потерять голову из-за этого мальчика. Но это ничего не значит, я говорю Блашвелю, что обожаю его. Вот врунья, а? Вот врунья!

Фавуритка помолчала немного, потом продолжала:

— Знаешь, Далия, такая тоска! Все лето не переставая льет дождь, ветер меня раздражает, никак не уни-

мается, а Блашвель ужасный скупердяй; на рынке ничего нет, один зеленый горошек, просто не знаешь, что и готовить. У меня сплин, как говорят англичане! Масло так дорого; и потом, погляди только, какая гадость, — мы обедаем в комнате, где стоит кровать; это окончательно убивает у меня охоту жить на свете.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мудрость Толомьеса

Пока одни пели, другие беспорядочно болтали; все голоса сливались в какой-то нестройный шум. Толомьес прервал его.

— Нечего нести вздор, да еще без передышки, — воскликнул он. — Для блестящей беседы надо обдумывать свои слова. Избыток импровизации понапрасну опустошает ум. Откупоренное пиво не пенится. Не спешите, господа. Давайте внесем в нашу попойку величие; будем есть сосредоточенно, будем пировать медленно. Не надо торопиться. Взгляните на весну: если она поторопится, то прогорит, вернее сказать — замерзнет. Чрезмерное рвение губит персиковые и абрикосовые деревья. Чрезмерное рвение убивает изящество и радость хороших обедов. Не слишком усердствуйте, господа. Гримо де ла Реньер вполне согласен на этот счет с Талейраном.

Глухой гул протеста раздался среди присутствовавших.

— Толомьес, оставь нас в покое, — сказал Блашвель.

— Долой тирана! — заявил Фамейль.

— Да здравствует кабак, кабацкое зелье, кабацкое веселье! — вскричал Листолье.

— На то и воскресенье, — продолжал Фамейль.

— Мы совершенно трезвы, — добавил Листолье.

— Толомьес, — произнес Блашвель, — оцени мою канальскую выдержку.

— Да, поистине монканальмскую, — скаламбурил Толомьес.

Эта посредственная игра слов произвела действие камня, упавшего в болото. Маркиз Монкальм был знаменитый в то время роялист. Все лягушки немедленно умолкли.

— Друзья, — вскричал Толомьес тоном человека, вновь обретшего авторитет, — придите в себя. Право же, этот каламбур, упавший с неба, не стоит того, чтобы его встретили таким оцепенением. Далеко не все, что падает оттуда, достойно восторженного почитания. Каламбур — это помет парящего в высоте разума. Шутка падает куда попало, и разум, разрешившись очередной глупостью, уносится в небесную лазурь. Белесоватое пятно, расползшееся по скале, не мешает полету кондора. Я не собираюсь оскорблять каламбур. Я уважаю его, но в меру его заслуг, никак не более. Все самое возвышенное, самое прекрасное и самое привлекательное в человечестве, а может быть и за пределами человечества, забавлялось игрой слов. Иисус Христос сочинил каламбур по поводу святого Петра. Моисей — по поводу Исаака, Эсхил — по поводу Полиника, Клеопатра — по поводу Октавия. Заметьте, что каламбур Клеопатры предшествовал битве при Акциуме и без него никто не вспомнил бы о городе Торине, что по-гречески значит — «поварешка». Установив это, возвращаясь к моему призыву. Братья мои, повторяю вам: поменьше рвения, поменьше суматохи, поменьше излишеств даже в островах, в радостях, в веселье и в игре слов. Послушайте меня, обладающего благоразумием Амфиарая и лысиной Цезаря. Все хорошо в меру, даже словесные ребусы. *Est modus in rebus*¹. Все хорошо в меру, даже обеды. Вы, сударыни, любите яблочные оладьи, так не злоупотребляйте же ими. Даже яблочные оладьи требуют здравого смысла и искусства. Обжорство карает самого обжору — *gula punit gulax*. Расстройство пищеварения уполномочено господом богом читать мораль желудкам. И запомните вот что: каждая наша страсть, даже любовь, обладает своим желудком, который не следует обременять. Нужно уметь во-время написать на всем слово *finis*², нужно обуздывать себя, когда это становится необходимым, запирайте на замок свой аппетит, загоняйте в кутузку фантазию и отводить собственную особу в участок. Мудрец тот, кто способен в нужный момент арестовать самого себя. Доверьтесь мне хоть немного. Из того, что я, как-никак, занимался юридическими науками, — а это

¹ Во всем должна быть мера (лат.) — Гораций, Сатиры.

² Конец (лат.).

подтверждают сданные мною экзамены, — из того, что я знаю разницу между процессом, подлежащим разбирательству, и процессом, находящимся в производстве, из того, что я защищал по-латыни диссертацию на тему о способах казни, применявшихся в Риме во времена, когда Мунаций Деменс был квестором по делам об отцеубийстве, из того, что я, повидимому, буду доктором права, из всего этого, мне кажется, не так уж безусловно следует, чтобы я был круглым идиотом. Я рекомендую вам умеренность в желаниях. И я прав — это так же верно, как то, что меня зовут Феликс Толомьес. Счастлив тот, кто сумел во-время принять героическое решение и отречься, как Сулла или как Ориген!

Фавуритка слушала с глубоким вниманием.

— Феликс! — сказала она. — Какое красивое слово! Мне нравится это имя. Оно латинское. Оно значит — Счастливец.

Толомьес продолжал:

— Квириды, джентльмены, кабаллерос, друзья мои! Хотите не чувствовать больше плотского вожделения, обходиться без брачного ложа и пренебречь любовью? Нет ничего проще! Рецепт таков: лимонад, усиленные физические упражнения, тяжелая работа; надрывайтесь, ворочайте каменные глыбы, не спите, бодрствуйте, пейте селитренные напитки и отвары из кувшинки, наслаждайтесь эмульсиями из мака и перца, приправьте все это строгой диетой, умирайте от голода, а ко всему этому прибавьте холодные ванны, пояс из трав, не забудьте свинцовую пластинку, растворы из эссенции Сатурна и примочки из сахарной воды с уксусом.

— Я предпочитаю женщину, — сказал Листолье.

— Женщину! — подхватил Толомьес. — Берегитесь женщины! Горе тому, кто вверит себя ее изменчивому сердцу! Женщина вероломна и изворотлива. Она ненавидит змею из профессиональной зависти. Змея — это ее конкурент.

— Толомьес, ты пьян! — вскричал Блашвель.

— И еще как! — сказал Толомьес.

— В таком случае будь весел, — продолжал Блашвель.

— Согласен, — отвечал Толомьес.

И, наполнив свой стакан, он встал.

— Слава вину! Nunc te, Bacche, sapam! ¹ Прошу прощения у дам, — это по-испански. И вот доказательство, сеньоры: каков народ — такова и посудина. Кастильская арроба вмещает шестнадцать литров, кантаро в Аликанте — двенадцать, альмуд Канарских островов — двадцать пять, куартин Балеарских островов — двадцать шесть, бочка царя Петра — тридцать. Да здравствует этот царь, который был великаном, и да здравствует его бочка, которая была еще больше, чем он! Сударыни, дружеский совет: не стесняйтесь путать своих соседей, сделайте одолжение! Ошибаться — неотъемлемое свойство любви. Любовное приключение создано не для того, чтобы ползать на коленях и доводить себя до оупения, словно английская служанка, которая натирает мозоли на коленках от вечного мытья полов. Оно создано не для того, и оно весело впадает в ошибки, это сладостное любовное приключение! Кто-то сказал: «Человеку свойственно ошибаться»; я же говорю: влюбленному свойственно ошибаться. Сударыня, я боготворю вас всех. О Зефина, о Жозефина, ваше неправильное личико было бы прелестно, если бы все в нем было на месте. У вашей хорошенькой мордочки такой вид, словно однажды кто-то нечаянно сел на нее. Что касается Фавуритки, — о нимфы и музы! — как-то раз, переходя через канаву на улице Герен-Буассо, Блашвель увидал красивую девушку, которая показывала свои ножки в белых, туго натянутых чулках. Этот пролог понравился ему, и он влюбился. Девушка, в которую он влюбился, оказалась Фавуриткой. О Фавуритка, у тебя ионические губы. Некогда существовал греческий живописец по имени Эвфорион, прозванный живописцем уст. Только этот грек был бы достоин нарисовать твой рот. Слушай же! До тебя не было в мире существа, достойного этого имени. Ты создана, чтобы получить яблоко, как Венера, или чтобы съесть его, как Ева. Красота начинается с тебя. Только что я упомянул Еву, — это ты сотворила ее. Ты вполне заслуживаешь патента на изобретение хорошенькой женщины. О Фавуритка, я больше не обращаюсь к вам на «ты», ибо перехожу от поэзии к прозе. Вы упомянули о моем имени. Это растрогало меня, но, кто бы мы ни были, не надо доверять именам. Они обманчивы. Меня

¹ Ныне пою тебя, Вакх! (лат.)

зовут Феликс, но я не слишком счастлив. Слова лгут. Не надо слепо верить обозначениям, которые они дают нам. Было бы ошибкой обращаться за беарнскими пробками в Льеж, а за льежскими перчатками в Беарн. Мисс Далия, на вашем месте я бы назвал себя Розой. Цветок должен обладать ароматом, а женщина — умом. Я ничего не скажу о Фантине — это мечтательница, задумчивая, рассеянная, чувствительная; это призрак, принявший образ нимфы и облекшийся в целомудрие монахини, которая сбилась с пути и ведет жизнь гризетки, но ищет убежища в иллюзиях, которая поет, молится и созерцает лазурь, не отдавая себе ясного отчета в том, что она видит или делает; это призрак, который устремил взор в небеса и бродит по саду, где летает столько птиц, сколько не насчитаешь во всем реальном мире! О Фантина, знай: я, Толмьес, — всего лишь иллюзия. Да она и не слушает меня, эта белокурая дочь химер! Итак, все в ней свежесть, пленительность, юность, нежная утренняя прозрачность. О Фантина, дева, достойная называться маргариткой или жемчужиной, вы — сама расцветающая заря. Сударыни, второй совет: не выходите замуж; замужество — это прививка: быть может, она окажется удачной, а быть может, и неудачной; избегайте этого риска. Впрочем, что я! О чем я говорю с ними? Я только даром теряю слова. Там, где речь идет о свадьбе, девушки неизлечимы; и все, что можем сказать мы, мудрецы, не помешает жилетницам и башмачницам мечтать о мужьях, осыпанных бриллиантами. Ну что ж, пусть будет так, но вот что вам надо запомнить, красавицы: вы едите слишком много сахара. У вас только один недостаток, о женщины, вы вечно грызете сахар! О пол грызунов, твои хорошенькие беленькие зубки обожают сахар! Так вот, слушайте внимательно, сахар — это соль. Всякая соль сушит. А сахар сушит сильнее, нежели все остальные соли. Он высасывает через вены жидкие элементы крови; отсюда свертывание, а затем застой крови; отсюда бугорки в легких; отсюда смерть. И вот почему сахарная болезнь граничит с чахоткой. Итак, не грызьте сахар, и вы будете жить! Перехожу к мужчинам. Господа, одерживайте победы. Без зазрения совести отнимайте возлюбленных друг у друга. Как в кадрили, сходитесь, расходитесь с дамами. В любви нет дружбы. Где есть хорошенькая женщина, там открыта дорога вражде.

Никакой пощады, война не на жизнь, а на смерть! Хорошенькая женщина — это *casus belli*¹; хорошенькая женщина — это повод для преступления. Все набеги, какие знает история, вызваны женской юбкой. Женщина по праву принадлежит мужчине. Ромул похищал сабинянок, Вильгельм — саксонок, Цезарь — римлян. Человек, у которого нет возлюбленной, как ястреб, парит над чужими любовницами; и что касается меня, то я обращаю ко всем этим несчастным бобылям великолепный клич Бонапарта, брошенный им итальянской армии: «Солдаты, у вас ничего нет. У врага есть все».

Толомьес остановился.

— Передохни, Толомьес, — сказал Блашвель.

И тотчас Блашвель затянул, а Листолье и Фамейль дружно подхватили одну из тех песен мастеровых, с жалобным напевом, которые сложены из первых попавшихся слов, рифмованных или даже вовсе без рифмы, столь же бессмысленных, сколь бессмысленны движения древесных веток и шум ветра, песен, которые зарождаются в дыму трубок, улетая и исчезая с ним вместе. Вот каким куплетом ответила эта троица на речь Толомьеса:

Отцов-глупцов не в меру
Снабжали прихожане,
Чтобы Клермон-Тонеру
Стать папою в Сен-Жане.
Но кто родился шляпой,
Вовек не будет папой.
И у отцов-глупцов приход
Забрал обратно весь доход

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы охладить импровизаторский пыл Толомьеса; он осушил свой стакан, вновь наполнил его и продолжал:

— Долой мудрость! Забудьте все, что я вам говорил. К чему нам благомыслие, благонравие, благопристойность? Предлагаю тост за веселье! Будем веселы! Пополним наш курс юридических наук безрассудством и пищей. Да здравствует процесс судебного разбирательства и процесс пищеварения. Пусть Юстиниан и Пирушка вступят в брак! О радость глубин! Живи, мироздание! Мир — это крупный

¹ Повод к войне (лат.).

бриллиант. Я счастлив. Птицы изумительны. Как празднично все кругом! Соловей — это бесплатный Элевью. Приветствую тебя, лето. О Люксембургский сад! О георгики, которые разыгрываются на улице Принцессы и в аллее Обсерватории! О задумчивые солдатики! О прелестные нянюшки! Они пасут детей и попутно забавляются любовью! Мне могли бы понравиться американские пампасы, не будь у меня аркад Одеона. Душа моя уносится в девственные леса и в саванны. Все прекрасно. В сиянии лучей жужжат мухи. Солнце чихнуло, и родился колибри. Поцелуй меня, Фантина!

Он ошибся и поцеловал Фавуритку.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Смерть лошади

— А ведь у Эдона лучше кормят, чем у Бомбарды, — вскричала Зефина.

— Я предпочитаю Бомбарду, — заявил Блашвель. — Здесь больше роскоши. Больше азиатчины. Посмотрите на нижний зал. Стены сверкают зеркалами.

— Лучше б у них так сверкали тарелки, — возразила Фавуритка.

Блашвель настаивал на своем:

— Посмотрите на ножи. У Бомбарды ручки серебряные, а у Эдона костяные. А ведь серебро дороже кости.

— Только не для тех, у кого вставная челюсть из серебра, — заметил Толомьес.

Он смотрел в эту минуту на купол Дома инвалидов, видневшийся из окон рестораника.

Наступило молчание.

— Толомьес! — вскричал Фамейль. — Только что у нас с Листолье был спор.

— Спор хорошая вещь, — ответил Толомьес, — но ссора лучше.

— Мы спорили о философах.

— Отлично.

— Ты кому отдаешь предпочтение — Декарту или Спинозе?

— Дезожье, — сказал Толомьес.

Вынеся это безапелляционное решение, он выпил и продолжал:

— Я согласен жить. Не все еще кончено на земле, пока можно молотъ вздор. Воздаю хвалу за это бессмертным богам. Мы лжем, но и смеемся. Мы утверждаем, но и сомневаемся. Это прекрасно. Неожиданности выскакивают из силлогизма. Есть еще на земле смертные, которые умеют весело отпирать и запирать потайной ящичек с парадоксами. Знайте, сударыни, вино, которое вы пьете с таким безучастным видом, — это мадера из виноградников, которые находятся на высоте трехсот семнадцати туаз над уровнем моря! Вдумайтесь в эту цифру, когда будете пить его! Триста семнадцать туаз! А господин Бомбарда, наш великолепный трактирщик, отдает вам эти триста семнадцать туаз за четыре франка пятьдесят сантимов!

Тут его опять прервал Фамейль:

— Толомьес, твое мнение — закон. Кто твой любимый автор?

— Бер...

— ...кен?

— Нет... шу.

И Толомьес продолжал:

— Слава Бомбарде! Он мог бы сравниться с Мунофисом Элефантинским, если бы нашел мне алмею, и с Тигелионом Керонейским, если бы раздобыл мне гетеру. Ибо знайте, о сударыни, что в Греции и в Египте тоже имелись свои Бомбарды. Мы знаем об этом от Апулея. Увы! Всегда одно и то же, и ничего нового. Ничего неизведанного не осталось более в творениях творца! «Nil sub sole novum»¹, — сказал Соломон; «Amor omnibus idem»², — сказал Вергилий; и медикус со своей подружкой, отправляясь в Сен-Клу, садятся в галиот точно так же, как Аспазия с Периклом восходили на одну из галер Самосской эскадры. Еще два слова. Известно ли вам, сударыни, кто такая была Аспазия? Несмотря на то, что она жила в те времена, когда женщины еще не обладали душой, у нее, однако, была душа, — душа, отливавшая розой и пурпуром, жгучая, как пламя, свежая, как утренняя заря. Аспазия была существом, в котором соединялись два противопо-

¹ Нет ничего нового под солнцем (лат.).

² Любовь у всех одна и та же (лат.) — Вергилий, Георгики.

ложных женских типа: распутницы и богини. В ней жили Сократ и Манон Леско. Аспазия была создана на тот случай, если бы Прометею понадобилась публичная девка.

Толомьес увлекся, и остановить его было бы нелегко, если бы в эту самую минуту на набережной не упала лошадь. От сотрясения и телега и оратор остановились как вкопанные. Это была старая и тощая кляча, вполне заслуживавшая места на живодерне и тащившая тяжело нагруженную телегу. Поравнявшись с ресторанчиком Бомбарды, одёр, выбившись из последних сил, отказался идти дальше. Это происшествие привлекло толпу любопытных. Едва успел негодующий возчик произнести с подобающей случаю энергией сакраментальное слово «тварь!», подкрепив его безжалостным ударом кнута, как животное упало, с тем чтобы уже никогда больше не подняться. Отвлеченные шумом, веселые слушатели Толомьеса посмотрели в окно, и Толомьес, воспользовавшись этим, завершил свое краткое выступление следующим меланхолическим четверостишием:

Ей был отчизной мир, где возу и карете
Равно враждебен темный рок.
И, разделив судьбу всех кляч на этом свете,
Она сломилась, как цветок.

— Бедная лошадка! — вздохнула Фантина.

А Далия вскричала:

— Вот те на! Фантина, кажется, собирается оплакивать лошадей. Надо же быть такой душой!

Тут Фавуритка, скрестив руки и откинув голову назад, посмотрела на Толомьеса и спросила решительным тоном:

— Ну, а где же сюрприз?

— Совершенно верно. Час пробил, — ответил Толомьес. — Господа, время удивить наших дам настало. Сударыни, обождите нас здесь несколько минут.

— Сюрприз начинается с поцелуя, — сказал Блашвель.

— В лоб, — добавил Толомьес.

Каждый запечатлел на лбу своей возлюбленной торжественный поцелуй, потом все четверо гуськом направились к двери, таинственно приложив палец к губам.

Фавуритка захлопала в ладоши.

— Это уже и сейчас интересно, — сказала она.

— Только не уходите надолго, — негромко проговорила Фантина. — Мы вас ждем.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Веселый конец веселья

Оставшись одни, девицы по двое оперлись на подоконники и принялись болтать, высовываясь из окон и перебрасываясь шутками.

Они увидели, как молодые люди вышли под руку из кабачка Бомбарды, потом обернулись, с улыбкой кивнули им головой и растворились в пыльной воскресной толпе, ежедневно наводняющей Елисейские поля.

— Возвращайтесь поскорее! — крикнула Фантина.

— Интересно знать, что они принесут нам? — сказала Зефина.

— Уж конечно что-нибудь красивое, — ответила Далия.

— Мне бы хотелось, — сказала Фавуритка, — чтобы это было что-нибудь золотое.

Вскоре они загляделись на экипажи, пронесившиеся по набережной, еле различимые сквозь ветви высоких деревьев и целиком поглощавшие их внимание. Был час отправления почтовых карет и дилижансов. Почти все дорожные кареты, которые держали путь на юг и на запад, проезжали в то время через Елисейские поля. Большей частью они следовали вдоль набережной и выезжали через заставу Пасси. Ежеминутно опромная, желтая с черным, тяжело нагруженная и шумно гроыхающая колымага, бесформенная под грудой покрытых брезентом сундуков, над которыми торчало множество тут же исчезающих голов, дробя мостовую и превращая каждый булыжник в огниво, бешено врезалась в толпу; она рассыпала искры, словно горн, окутанная вместо дыма клубами пыли. Этот содом веселил молодых девушек. Фавуритка восклицала:

— Ну и грохот! Можно подумать, что мчится целый ворох железных цепей.

Одна из таких повозок, чуть видная сквозь густую зелень вязов, на миг остановилась и снова понеслась дальше. Это удивило Фантину.

— Как странно! — сказала она. — Я думала, что дилижансы никогда не останавливаются по пути.

Фавуритка пожала плечами.

— Нет, эта Фантина просто поражает меня. Я иной раз захожу к ней просто из любопытства. Ее удивляют самые обыкновенные вещи. Ну, представь себе, что я пас-

сажир и говорю кондуктору дилижанса: «Я пойду вперед, а вы захватите меня на набережной, когда будете проезжать мимо». Кондуктор замечает меня, останавливается, и я еду дальше. Это случается сплошь и рядом. Ты, милочка, совсем не знаешь жизни.

Так прошло некоторое время. Вдруг Фавуритка вздрогнула, словно пробуждаясь от сна.

— Что же это? — произнесла она. — А сюрприз?

— Да, да, — подхватила Далия, — где же этот знаменитый сюрприз?

— Как долго их нет, — вздохнула Фантина.

Не успела она договорить эти слова, как в комнату вошел слуга, подававший им обед. В руке он держал что-то, похожее на письмо.

— Что это? — спросила Фавуритка.

Лакей ответил:

— Это, сударыня, записка, которую изволили оставить для вас те господа.

— Почему же вы не принесли ее сразу?

— Потому, — отвечал слуга, — что господа приказали передать ее вам не раньше, чем через час.

Фавуритка быстро вырвала бумагу из его рук. Это и в самом деле было письмо.

— Странно! — сказала она. — Адреса нет. Но вот что здесь написано:

«Это и есть сюрприз».

Она поспешно распечатала письмо, развернула его и прочла (она умела читать):

«О возлюбленные!

Знайте, что у нас есть родители. Вам не очень хорошо известно, что такое родители. В гражданском кодексе, добропорядочном и наивном, так называют отца и мать. И вот эти родители охают и вздыхают, эти старички призывают нас к себе, эти добрые мужья и жены называют нас блудными сыновьями; они жаждут нашего возвращения и собираются заклать тельцов в нашу честь. Будучи добродетельны, мы повинемся им. В ту минуту, когда вы будете читать эти строки, пять горячих коней уже будут мчать нас к папашам и мамашам. Выражаясь высоким слогом Боссюэ, мы дали стрекача. Мы уезжаем, мы

уехали. Мы несемся в объятия Лафита на крыльях Кальяра. Тулузский дилижанс спасет нас от бездны, а бездна — это вы, о прекрасные наши малютки! Мы возвращаемся в лоно общества, долга и порядка, возвращаемся рысью, со скоростью трех лье в час. Интересы отчизны требуют, чтобы мы, подобно всем остальным людям, стали префектами, отцами семейств, провинциальными судейскими чиновниками и государственными советниками. Отнеситесь же к нам с глубоким уважением. Мы приносим себя в жертву. Постарайтесь не оплакивать нас долго и поскорее заменить нас другими. Если это письмо разорвет вам сердце, сделайте с ним то же. Прощайте.

Почти два года мы дарили вам счастье. Не поминайте же нас лихом».

Подписались: *Блашвель.*

Фамейль.

Листолье.

Феликс Толомьес.

Post-scriptum. За обед заплачено».

Четыре девушки переглянулись.

Фавуритка первая нарушила молчание.

— Что ж! — воскликнула она. — Как-никак, это забавная шутка.

— Да, очень смешно, — подтвердила Зефина.

— Это, должно быть, выдумка Блашвеля, — продолжала Фавуритка. — Если так, я просто готова в него влюбиться. Что пропало, то в сердце запало. Вот так история.

— Нет, — сказала Далия, — это выдумка Толомьеса. Тут не может быть никакого сомнения.

— В таком случае, — возразила Фавуритка, — смерть Блашвелю и да здравствует Толомьес!

— Да здравствует Толомьес! — подхватили Далия и Зефина.

И покатались со смеху.

Фантина смеялась вместе с остальными.

Но часом позже, вернувшись в свою комнату, она заплакала. То была, как мы уже говорили, ее первая любовь; она отдалась Толомьесу, как мужу, и у бедной девушки был от него ребенок.

Книга четвертая

ДОВЕРИТЬ ДРУГОМУ, ЗНАЧИТ ИНОГДА БРОСИТЬ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой одна мать встречает другую мать

В первой четверти нашего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стояла маленькая харчевня, ныне уже не существующая. Харчевню эту содержали люди по имени Тенардье, муж и жена. Она находилась в улочке Хлебопек-ков. Над дверью, прямо к стене, была прибита доска, а на доске было намалевано что-то похожее на человека, который нес на спине другого человека, причем на последнем красовались широкие золоченые генеральские эполеты с большими серебряными звездами; красные пятна означали кровь; остальную часть картины заполнял дым, и, повидимому, она изображала сражение. Внизу можно было разобрать следующую надпись: *«Ватерлооский сер-жант»*.

Нет ничего обыденнее вида повозки или телеги, стоящей у дверей какого-нибудь трактира. И тем не менее колымага, или, вернее сказать, обломок колымаги, заграждавший улицу перед харчевней «Ватерлооский сержант», в один из весенних вечеров 1818 года, несомненно привлек бы своей громадой внимание живописца, если бы ему случилось пройти мимо.

Это был передок роспусков, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и бревен. Передок этот состоял из массивной железной оси с сердечником, на который надевалось тяжелое дышло; ось поддерживали два огромных колеса. Все вместе представляло собой нечто приземистое, давящее, бесформенное и напоминало лафет гигантской пушки. Дорожная грязь и глина

облепили колеса, ободья, ступицы, ось и дышло толстым слоем замазки, напоминавшей ту отвратительную бурую охру, которой часто окрашивают соборы. Дерево пряталось под грязью, а железо — под ржавчиной. Под осью свисала полукругом толстая цепь, достойная плененного Голиафа. Эта цепь вызвала представление не о тех бревнах, которые ей полагалось поддерживать при перевозках, а о мастодонтах и мамонтах, для которых она вполне могла служить путами; что-то в ней напоминало каторгу, но каторгу циклопическую и сверхчеловеческую; казалось, она была снята с какого-то чудовища. Гомер сковал бы ею Полифема, а Шекспир — Калибана.

Для чего же эти роспуски стояли здесь, посреди дороги? Во-первых, для того, чтобы загородить ее, а во-вторых — чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые так же открыто располагаются на пути общества, не имея для этого никаких иных оснований.

Середина цепи спускалась почти до земли, и в этот вечер на ней, словно на веревочных качелях, сидели, слившись в восхитительном объятии, две маленькие девочки; одной было года два с половиной, другой — года полтора, и старшая обнимала младшую. Искусно завязанный платок предохранял их от падения. Очевидно, какая-то мать увидела эту страшную цепь и подумала: «Да ведь это отличная игрушка для моих малюток!»

Обе малютки, одетые довольно мило и даже изящно, излучали сияние; это были две розы, распутившиеся среди ржавого железа; глаза их светились восторгом, свежие щечки смеялись. У одной девочки волосы были русые, а у другой — темные. Их наивные личики выражали восторженное изумление; цветущий кустарник, росший рядом, овеивал прохожих своим благоуханием, и казалось, что оно исходит от малюток; полутораговаялая с целомудренным бесстыдством младенчества показывала свой нежный голенький животик. Над этими нежными головками, осиянными счастьем и окропленными светом, высился гигантский передок телеги, весь почерневший от ржавчины, почти страшный, напоминавший своими резкими кривыми линиями и углами вход в какую-то пещеру. Сидя поблизости от них на крылечке харчевни, мать, женщина не слишком привлекательного вида, но в эту минуту

вызывавшая чувство умиления, раскачивала детей с помощью длинной веревки, привязанной к цепи, и, боясь, как бы они не упали, не сводила с них глаз, в которых было животное и в то же время божественное выражение, свойственное материнству. При каждом взмахе звенья отвратительной цепи издавали пронзительный скрежет, похожий на гневный окрик; малютки были в восторге, заходящее солнце разделяло их радость, и ничто не могло быть очаровательнее этой игры случая, превратившей цепь титанов в качели для херувимов.

Мать раскачивала детей и фальшиво напевала модный в те времена романс:

Так надо, — рыцарь говорил .

Поглощенная пением и созерцанием своих девочек, она не слышала и не видела того, что происходило на улице.

Между тем, когда она пела первый куплет романса, кто-то подошел к ней, и вдруг, почти над самым ухом, она услышала слова:

— Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.

Прекрасной, нежной Иможине, —

ответила мать, продолжая свой романс, и обернулась.

Перед ней в двух шагах стояла женщина. У этой женщины тоже был маленький ребенок; она держала его на руках.

Кроме того, она несла довольно большой и, видимо, очень тяжелый дорожный мешок.

Ее ребенок был божественнейшим в мире созданием. Это была девочка двух-трех лет. Кокетливостью наряда она смело могла поспорить с двумя другими девочками; поверх чепчика, отделанного кружевцем, на ней была надета тонкая полотняная косыночка; кофточка была обшита лентой. Из-под завернувшейся юбочки виднелись пухленькие белые и крепкие ножки. Цвет лица у нее был чудесно розовый и здоровый. Щечки хорошенькой малютки, словно яблочки, вызвали желание укусить их. О глазах девочки трудно было сказать что-либо, кроме того, что они были, очевидно, очень большие и осенялись великолепными ресницами. Она спала.

Она спала безмятежным, доверчивым сном, свойственным ее возрасту. Материнские руки — воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках.

Что касается матери, то она казалась печальной. Ее убогая одежда выдавала в ней работницу, которая собирается снова стать крестьянкой. Она была молода. Красива ли? Возможно, но в таком наряде это было незаметно. Судя по выбившейся белокурой пряди, волосы у нее были очень густые, но они сурово прятались под монашеским чепцом, некрасивым, плотным, узким и завязанным под самым подбородком. Улыбка обнажает зубы, и вы любуетесь ими, если они красивы, но эта женщина не улыбалась. Глаза ее, казалось, давно уже не просыхали от слез. Она была бледна; у нее был усталый и немного болезненный вид; она смотрела на дочь, заснувшую у нее на руках, тем особенным взглядом, какой бывает только у матери, выкормившей своего ребенка грудью. Большой синий платок, вроде тех, какими утираются инвалиды, сложенный косынкою, неуклюже спускался ей на спину. Ее загорелые руки были покрыты веснушками, и кожа на исколотом иглой указательном пальце сильно огрубела; на ней была коричневая грубой шерсти накидка, бумажное платье и тяжелые башмаки. Это была Фантина.

Это была Фантина. Почти неузнаваемая. И все же, приглядевшись к ней повнимательней, вы бы заметили, что она все еще была красива. Грустная морщинка, в которой начинала сквозить ирония, появилась на ее правой щеке. Что касается ее наряда, ее воздушного наряда из муслина и лент, казавшегося сотканным из веселья, безумства и музыки, — наряда, словно звучавшего трелью колокольчиков и распространявшего аромат сирени, то он исчез, как те блестящие звездочки инея, которые на солнце можно принять за бриллианты; они тают, и обнажается черная ветка.

Десять месяцев прошло со дня «забавной шутки».

Что же произошло за эти десять месяцев? Об этом нетрудно догадаться.

Оказавшись покинутой, Фантина сразу узнала нужду. Она сейчас же потеряла из вида Фавуритку, Зефину и Далию. Узы, расторгнутые мужчинами, были разорваны и женщинами; две недели спустя эти юные особы очень удивились бы, если б кто-нибудь напомнил им о преж-

ней дружбе: для нее уже не было больше никаких оснований. Фантина осталась одна. Когда отец ее ребенка уехал, — увы! подобные разрывы всегда бесповоротны, — она оказалась совершенно одинокой, причем привычка ее к трудовой жизни ослабела, а склонность к развлечениям возросла. Связь с Толомьесом повлекла за собой пренебрежение к ее скромному ремеслу, она забросила прежних своих заказчиков, и теперь их двери для нее закрылись. Никаких средств к существованию. Фантина едва умела читать и совсем не умела писать; в деревне ее научили только подписывать свое имя; она обратилась к уличному писцу, который и написал по ее поручению письмо к Толомьесу, затем второе, третье. Ни на одно из них Толомьес не ответил. Как-то раз Фантина слышала, как две кумушки, глядя на ее ребенка, говорили: «Разве кто-нибудь принимает всерьез таких детей? Пожимают плечами и только!» Тогда она подумала о Толомьесе, который пожимал плечами при мысли о своем ребенке и не принимал всерьез это невинное создание, и сердце ее ожесточилось против этого человека. Но что же ей предпринять? Несчастная не знала, к кому обратиться. Она согрешила, это правда, но в глубине души, мы уже говорили об этом, она была целомудренной и чистой. Она смутно почувствовала, что близка к отчаянию и может соскользнуть в пропасть. Необходимо было мужество: она вооружилась им и обрела силы. Ей пришла в голову мысль вернуться в свой родной город, в Монрейль-Приморский. Быть может, там найдется кто-нибудь из знакомых и ей дадут работу. Да, но придется скрывать свой грех. И у нее возникло неясное предчувствие новой разлуки, еще более тяжелой, чем первая. Сердце ее сжалось, но она не отступила от своего решения. Фантина, как мы увидим дальше, обладала суровым бесстрашием пред невзгодами. Она мужественно отказалась от нарядов, начала носить простые холщовые платья, а все свои шелка, все свои уборы, все ленты и кружева употребила на дочь — единственный оставшийся у нее повод для тщеславия, на сей раз святого. Она продала все, что имела, и получила за это двести франков; после уплаты разных мелких долгов у нее осталось очень мало — около восьмидесяти франков. Ей было двадцать два года, когда в прекрасное весеннее утро она покинула Париж, унося на руках свое

дитя. Всякий, кто встретил бы на дороге эти два существа, проникся бы жалостью. У этой женщины не было в мире никого, кроме этого ребенка, а у этого ребенка не было в мире никого, кроме этой женщины. Фантина сама кормила дочь; это надорвало ей грудь, и она немного покашливала.

Нам не придется больше говорить о г-не Феликсе Толомьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя, в царствование короля Луи-Филиппа, это был крупный провинциальный адвокат, влиятельный и богатый, благоразумный избиратель и весьма строгий присяжный; такой же любитель развлечений, как и прежде.

К концу дня Фантина, проделавшая для отдыха часть пути в так называемых «одноколках парижских окрестностей», которые брали от трех до четырех су за лье, очутилась в Монфермейле, на улице Хлебопеков.

Когда она проходила мимо харчевни Тенардье, две девочки, которые с восторгом раскачивались на своих чудовищных качелях, словно ослепили ее, и она остановилась перед этим радостным видением.

Чары существуют. Эти две девочки очаровали эту мать. Она смотрела на них глубоко взволнованная. Присутствие ангелов возвещает близость рая. Она словно увидела над этой харчевней таинственное ЗДЕСЬ, начертанное провидением. Малютки, несомненно, были счастливы. Она смотрела на них, восхищалась ими и пришла в такое умиление, что когда мать остановилась, чтобы перевести дыхание между двумя фразами своей песенки, она не выдержала и сказала ей те слова, которые мы уже привели выше:

— Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.

Самые свирепые существа смягчаются, когда ласкают их детенышей. Мать подняла голову, поблагодарила и предложила прохожей присесть на скамье перед дверью; сама она сидела на пороге. Женщины разговаривались.

— Меня зовут госпожа Тенардье, — сказала мать двух девочек. — Мы с мужем держим этот трактир.

И, вернувшись к своему романсу, она снова замурлыкала:

Так надо, — рыцарь повторит, —
Я уезжаю в Палестину.

Мамаша Тенардые была рыжая, плотная и неуклюжая женщина, тип «солдата в юбке» во всей его непривлекательности. И странная вещь — на лице ее лежало выражение томности, которым она была обязана чтению романов. Это была мужеподобная жеманница. Старинные романы, зачитанные до дыр не лишенными воображения трактирщицами, иной раз оказывают именно такое действие. Она была еще молода; пожалуй, не старше тридцати лет. Возможно, если бы эта сидевшая на крыльце женщина стояла, то ее высокий рост и широкие плечи, подстать великанше из ярмарочного балагана, с самого начала испугали бы путницу, поколебали бы ее доверие, и тогда не случилось бы того, о чем нам предстоит рассказать. Сидел человек или стоял — вот от чего иногда может зависеть судьба другого человека.

Путешественница рассказала свою историю, несколько изменив ее.

Она работница; муж ее умер; с работой в Париже стало туго, и вот она идет искать ее в другом месте, на родине. Из Парижа она вышла только сегодня утром, но она несла на руках ребенка, поэтому она устала и села в проезжавший мимо вилемонбльский дилижанс; из Вилемонбля до Монфермейля она опять брела пешком; правда, девочка шла иногда ножками, но очень мало, — она ведь еще такая крошка. Пришлось снова взять ее на руки, и ее сокровище уснуло.

Тут она поцеловала свою дочку таким страстным поцелуем, что разбудила ее. Девочка открыла глаза, большие голубые глаза, такие же, как у матери, и стала смотреть... На что? Да ни на что и на все, с тем серьезным, а порой и строгим выражением, которое составляет у маленьких детей тайну их сияющей невинности, столь отличной от сумерек наших добродетелей. Можно подумать, что они чувствуют себя ангелами, а в нас видят всего лишь людей. Потом девочка рассмеялась и, несмотря на то, что мать удерживала ее, соскользнула на землю с неукротимой энергией маленького существа, которому захотелось побегать. Вдруг она заметила двух девочек на качелях, круто остановилась и высунула язык в знак восхищения.

Мамаша Тенардые отвязала дочек, сняла их с качелей и сказала:

— Поиграйте втроем.

В этом возрасте легко осваиваются друг с другом, и через минуту девочки Тенардые уже играли вместе с гостьей, роя ямки в земле и испытывая громадное наслаждение.

Эта гостья оказалась очень веселой; веселость малютки лучше всяких слов говорит о доброте матери; девочка взяла щепочку и, превратив ее в лопату, энергично копала могилку, годную разве только для мухи. Дело могильщика становится веселым, когда за него берется ребенок.

Женщины продолжали беседу.

— Как зовут вашу крошку?

— Козетта...

Козетта — читай Эфрази. Малютку звали Эфрази. Но из Эфрази мать сделала Козетту, следуя тому инстинкту изящного, благодаря которому матери и народ любовно превращают Хосефу в Пепиту, а Франсуазу в Силету. Такого рода производные вносят полное расстройство и путаницу в научные выводы этимологов. Мы знавали одну бабушку, которая ухитрилась из Теодоры сделать Ньон.

— Сколько ей?

— Скоро три.

— Как моей старшей.

Между тем три девочки сбились в кучку, позы их выражали сильное волнение и величайшее блаженство; произошло важное событие: из земли только что вылез толстый червяк, — сколько страха и сколько счастья!

Их ясные личики соприкасались; все эти три головки, казалось, были окружены одним сияющим венцом.

— Как быстро сходится эта детвора! — вскричала мамаша Тенардые. — Поглядеть на них, так можно поклясться, что это три сестрички!

Это слово оказалось той искрой, которой, должно быть, и ждала другая мать. Она схватила Тенардые за руку, впилась в нее взглядом и сказала:

— Согласны вы оставить у себя моего ребенка?

Тенардые сделала изумленное движение, не означавшее ни согласия, ни отказа.

Мать Козетты продолжала:

— Видите ли, я не могу взять дочурку с собой на родину. Работа этого не позволяет. С ребенком не найдешь места. Они все такие чудные в наших краях. Это сам бог

направил меня к вашему трактиру. Когда я увидела ваших малюток, таких хорошеньких, чистеньких, таких довольных, сердце во мне так и перевернулось. Я подумала: «Вот хорошая мать». Да, да, пусть они будут как три сестры. И к тому же я скоро вернусь за нею. Согласны вы оставить мою девочку у себя?

— Надо будет подумать, — ответила Тенардье.

— Я стала бы платить по шесть франков в месяц.

Тут чей-то мужской голос крикнул из харчевни:

— Не меньше семи франков. И за полгода вперед.

— Шестью семь сорок два, — сказала Тенардье.

— Я заплачу, — согласилась мать.

— И сверх того пятнадцать франков на первоначальные расходы, — добавил мужской голос.

— Всего пятьдесят семь франков, — сказала г-жа Тенардье, сопровождая свой подсчет все той же песенкой:

Так надо, — рыцарь говорил...

— Я заплачу, — сказала мать, — у меня есть восемьдесят франков. Мне еще хватит и на то, чтобы добраться до места. Конечно, если идти пешком. Там я начну работать и, как только скоплю немного денег, сейчас же вернусь сюда за моей дорогой крошкой.

— Есть у девочки одежда? — раздался снова мужской голос.

— Это мой муж, — сказала Тенардье.

— Разумеется есть, у нее целое приданое, у дорогой моей бедняжки. Я сразу догадалась, сударыня, что это ваш муж. И еще какое приданое! Роскошное. Всего по дюжине; и шелковые платица, как у настоящей барышни. Они здесь, в моем дорожном мешке.

— Вам придется отдать все это, — снова сказал мужской голос.

— А как же иначе! — удивилась мать. — Вот было бы странно, если б я оставила свою дочку голенькой!

Хозяин просунул голову в дверь.

— Ладно, — сказал он.

Сделка состоялась. Мать переночевала в трактире, отдала деньги и оставила ребенка; она снова завязала свой дорожный мешок, ставший совсем легким, когда из него были вынуты вещи, принадлежавшие Козетте, и наутро отправилась в путь, рассчитывая скоро вернуться. На

такую разлуку с виду решаются спокойно, душа же полна отчаянья.

Соседка супругов Тенардые повстречалась на улице с этой матерью и, придя домой, сказала:

— Я только что встретила женщину, которая так плакала, что просто сердце разрывалось.

Когда мать Козетты ушла, муж сказал жене:

— Теперь я заплачу сто десять франков по векселю, которому завтра срок. Мне как раз нехватило пятидесяти франков. Знаешь, если бы не это, не миновать бы мне судебного пристава и опротестованного векселя. Ты устроила недурную мышеловку, подсунув своих девчонок.

— А ведь я и думать об этом не думала, — ответила жена.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Беглая характеристика двух темных личностей

Пойманная мышка была очень тщедушна, но ведь даже и тощий мышонок радует сердце кошки.

Что представляли собой эти Тенардые?

Пока что скажем о них только два слова. Мы дополним этот набросок несколько позже.

Эти существа принадлежали к тому промежуточному классу, который состоит из людей невежественных, но преуспевших, и людей образованных, но опустившихся, — к классу, который, находясь между так называемым средним и так называемым низшим классом, соединяет в себе некоторые недостатки второго и почти все пороки первого, не обладая при этом ни благородными порывами рабочего, ни порядочностью буржуа.

Это были те карликовые натуры, которые легко вырастают в чудовища, если случайно их подогреет какое-нибудь зловещее пламя. В характере жены таилось животное начало, в характере мужа — прирожденная подлость. Оба они были в высшей степени одарены той омерзительной способностью к развитию, которая осуществляется лишь в сторону зла. Есть души, подобные ракам. Вместо того чтобы идти вперед, они непрерывно пятятся к тьме и пользуются жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного уродства, все больше развращаясь и все

больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали супруги Тенардые.

Особенно неприятное впечатление на физиономиста производил сам Тенардые. Некоторые люди с первого взгляда внушают вам недоверие, ибо вы чувствуете, что они темны, так сказать, со всех сторон. Позади себя они оставляют тревогу, а тому, что впереди, несут угрозу. В них таится неизвестность. Невозможно поручиться ни за то, что они уже сделали, ни за то, что будут делать. Их сумрачный взгляд сразу их выдает. Стоит услышать одно слово, сказанное ими, или увидеть хотя бы одно их движение, как вы уже ощущаете темные провалы в их прошлом и темные тайны в их будущем.

Этот Тенардые, если верить его словам, был некогда солдатом — сержантом, как он говорил, — повидимому, он участвовал в кампании 1815 года и, кажется, даже проявил некоторую отвагу. В свое время мы узнаем, кем именно он был. Вывеска на кабачке намекала на один из его военных подвигов. Он намалевал ее сам, так как с грехом пополам умел делать все, — и намалевал скверно.

То была эпоха, когда старый классический роман уже спустился от «Клелии» к «Лодоиске» и, продолжая оставаться аристократическим, но все более опошляясь и переходя от м-ль де Скюдери к г-же Бурнон-Маларм и от г-жи де Лафайет к г-же Бартеlemi-Адо, воспламенял любвеобильные сердца парижских привратниц и даже распространял свое разрушительное действие на пригороды Парижа. Умственного развития г-жи Тенардые как раз хватало на чтение подобных книг. Они были ее пищей. Она топила в них свой последний разум; именно поэтому в дни ранней молодости, и даже немного позднее, она казалась несколько мечтательной рядом с мужем, мошенником с некоторой долей глубокомыслия и распутником, осилившим кое-какие премудрости за исключением грамматики, человеком простоватым и в то же время хитрым, а в отношении всяких сентиментов — почитателем Пиго-Лебрена, законченным и беспримерным хамом во всем, что, выражаясь на его жаргоне, «касается женского пола». Жена была лет на двенадцать — пятнадцать моложе мужа. С течением времени, когда ее романтически спускающиеся локоны начали сесть, когда в Памеле проглянула мегера,

Тенардье превратилась попросту в толстую злую бабу, голова которой была набита глупыми романами. Но чтение вздора не проходит безнаказанно. Вот почему ее старшая дочь была названа Эпониной. Что до младшей, то бедняжку чуть было не называли Гюльнаррой, и только благодаря счастливому повороту в ее судьбе, произведенному появлением романа Дюкре-Дюминия, она отделалась именем Азельма.

Впрочем, упомянем мимоходом, не все было смешно и легковесно в ту любопытную эпоху, о которой идет речь и которую можно было бы назвать анархией собственных имен. Наряду с упомянутой выше романтической стороной здесь есть и призрак социального характера. В наше время какого-нибудь мальчишку-волопаса нередко зовут Артуром, Альфредом или Альфонсом, а виконта — если еще существуют виконты — зовут Томá, Пьером или Жаком. Это перемещение имен, при котором «изящное» имя получает плебей, а «мужицкое» — аристократ, есть не что иное, как отголосок равенства. Здесь, как и во всем, сказывается непреодолимое проникновение нового духа. Под этим внешним несоответствием таится нечто великое и глубокое: Французская революция.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Жаворонок

Чтобы благоденствовать, еще недостаточно быть негодяем. Дела харчевни шли плохо.

Благодаря пятидесяти семи франкам путешественницы супругу Тенардье удалось избежать протеста векселя и уплатить в срок. Через месяц им снова понадобились деньги; жена отвезла в Париж и заложила в ломбарде гардероб Козетты, получив за него шестьдесят франков. Как только эта сумма была израсходована, Тенардье начали смотреть на девочку так, словно она жила у них из милости, и обращаться с ней соответственным образом. У нее не было теперь никакой одежды, и ее стали одевать в старые юбчонки и рубашонки маленьких Тенардье, иначе говоря — в лохмотья. Кормили ее объедками с общего стола, немного лучше, чем собаку, и немного хуже, чем

кошку. Кстати сказать, собака и кошка были ее постоянными сотрапезниками: Козетта ела вместе с ними под столом из такой же, как у них, деревянной площадки.

Мать Козетты, поселившись, как мы это увидим дальше, в Монрейле-Приморском, ежемесячно писала, или, вернее сказать, поручала писать письма к Тенардье, справляясь о своем ребенке. Тенардье неизменно отвечали: «Козетта чувствует себя превосходно».

Когда истекли первые полгода, мать прислала семь франков за седьмой месяц и довольно аккуратно продолжала посылать деньги из месяца в месяц. Не прошло и года, как Тенардье сказал: «Можно подумать, что она благодетельствовала нас! Что для нас значат ее семь франков?» И он написал ей, требуя двенадцать. Мать, которую они убедили, что ее ребенок счастлив и «растет отлично», покорилась и стала присылать по двенадцать франков.

Есть натуры, которые не могут любить одного человека без того, чтобы в то же самое время не питать ненависти к другому. Мамаша Тенардье страстно любила своих дочерей, и поэтому возненавидела чужую. Печально думать, что материнская любовь может принимать такие отвратительные формы. Как ни мало места занимала Козетта в доме г-жи Тенардье, той все казалось, что это место отнято у ее детей и что девочка ворует воздух, принадлежащий ее дочерям. У этой женщины, как и у многих, ей подобных, был в распоряжении ежедневный запас ласк, колотушек и брани. Без сомнения, не будь у нее Козетты, ее собственные дочери, несмотря на всю нежность, которую она к ним питала, получали бы от всего этого свою долю; но чужачка оказала им услугу, приняв на себя все удары. Маленьким Тенардье доставались одни лишь ласки. Каждое движение Козетты навлекало на ее голову град жестоких и незаслуженных наказаний. Нежное, слабое создание! Она не имела еще никакого представления ни об этом мире, ни о боге и, без конца подвергаясь наказаниям, побоям, ругани и попрекам, видела рядом с собой два маленькие существа, которые ничем не отличались от нее самой и в то же время жили, словно купаясь в сиянии утренней зари.

Тенардье дурно обращалась с Козеттой; Эпонина и Азельма тоже стали обращаться с ней дурно. Дети в таком

возрасте — копия матери. Формат меньше, вот и вся разница.

Прошел год, потом другой.

В деревне говорили: «Какие славные люди эти Тенардые. Сами небогаты, а воспитывают бедную девочку, которую им подкинули!»

Все думали, что мать бросила Козетту.

Между тем папаша Тенардые, разузнав бог знает какими путями, что, по всей вероятности, ребенок незаконнорожденный и что мать не может открыто признать его своим, потребовал пятнадцать франков в месяц, заявив что «эта тварь» все растет и *ест*, и пригрозив отправить ее к матери. «Пусть лучше не выводит меня из терпения! — восклицал он. — Не то я швырну ей назад ее отродье и выведу на чистую воду все ее секреты. Мне нужна прибавка». И мать стала платить по пятнадцать франков.

Ребенок рос, и вместе с ним росло его горе.

Пока Козетта была совсем маленькая, она была бессловесной жертвой двух других девочек; как только она немножко подросла — то есть едва достигнув пятилетнего возраста, — она стала служанкой в доме.

— В пять лет! — скажут нам. — Да ведь это неправдоподобно! Увы, это правда. Социальные невзгоды постигают людей в любом возрасте. Разве мы не знаем о недавнем процессе некоего Дюмолара, бандита, который, рано осиротев, уже в пятилетнем возрасте, как утверждают официальные документы, «зарабатывал себе на жизнь и воровал».

Козетту заставляли ходить за покупками, подметать комнаты, двор, улицу, мыть посуду, даже таскать тяжести. Тенардые тем более считали себя вправе поступать таким образом, что мать, попрежнему жившая в Монрейле-Приморском, начала неаккуратно высылать плату. Она задолжала за несколько месяцев.

Если бы по истечении этих трех лет Фантина вернулась в Монфермейль, она бы ни за что не узнала своего ребенка. Козетта, вошедшая в этот дом такой хорошенькой и свеженькой, была теперь худой и бледной. Во всех ее движениях чувствовалась настороженность. «Она себе на уме!» — говорили про нее Тенардые.

Несправедливость сделала ее угрюмой, а нищета — некрасивой. От нее не осталось ничего, кроме прекрасных

больших глаз, на которые больно было смотреть, потому что, будь они меньше, в них, казалось, не могло бы уместиться столько печали.

Сердце разрывалось при виде бедной малютки, которой не было еще и шести лет, когда зимним утром, дрожа в старых дырявых обносках, с полными слез глазами, она подметала улицу, еле удерживая огромную метлу в маленьких посиневших ручонках.

В околотке ее прозвали «Жаворонком». Народ, любящий образные выражения, охотно называл так это маленькое созданище, занимавшее не больше места, чем птичка, такое же трепещущее и пугливое, встававшее раньше всех в доме, да и во всей деревне, и выходившее на улицу или в поле задолго до восхода солнца.

Только этот бедный жаворонок никогда не пел.

Книга пятая

ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Как было усовершенствовано производство изделий из черного стекла

Что же, однако, случилось с ней, с этой матерью, которая, как полагали жители Монфермейля, бросила своего ребенка? Где она была? Что делала?

Оставив свою маленькую Козетту у Тенардье, она продолжала путь и пришла в Монрейль-Приморский.

То было, как мы помним, в 1818 году.

Фантина покинула родину лет десять назад. С тех пор Монрейль-Приморский сильно изменился. В то время как Фантина медленно спускалась по ступенькам нищеты, ее родной город богател.

Года за два до ее прихода там произошел один из тех промышленных переворотов, которые в небольшой провинции являются крупнейшим событием.

Факт этот имеет большое значение, и мы считаем полезным изложить его со всеми подробностями, даже больше — подчеркнуть его.

Монрейль-Приморский с незапамятных времен занимался особой отраслью промышленности — имитацией английского гагата и немецких изделий из черного стекла. Этот промысел всегда был в жалком состоянии вследствие дороговизны сырья, что отражалось и на заработке рабочих. Но к тому времени, когда Фантина вернулась в Монрейль-Приморский, в производстве «черного стеклянного товара» совершились неслыханные перемены. В конце 1815 года в городе поселился никому не известный чело-

век, которому пришла мысль заменить при изготовлении этих изделий древесную смолу камедью и, в частности при выделке браслетов, заменить кованые металлические застёжки литыми. Это ничтожное изменение произвело целую революцию.

В самом деле, это ничтожное изменение в огромной степени снизило стоимость сырья, что позволило, во-первых, повысить заработок рабочих — благодеяние для края, во-вторых — улучшить выделку товара — выгода для потребителя, в-третьих — дешевле продавать изделия, одновременно утроив барыши, — выгода для фабриканта.

Итак, одна идея дала три результата.

Меньше чем за три года изобретатель этого способа разбогател — что очень хорошо, и обогатил всех вокруг себя — что еще лучше. В этом краю он был чужой. Никто ничего не знал о его происхождении; сведения о его прошлом были самые скудные.

Говорили, что когда он пришел в город, у него было очень мало денег — самое большее, несколько сот франков.

Этот-то ничтожный капитал, употребленный на осуществление остроумной идеи и умноженный благодаря разумному употреблению и деятельной мысли, послужил не только к его собственному обогащению, но и к обогащению целого края.

Когда он появился в Монрейле-Приморском, то своей одеждой, речью и манерами ничем не отличался от простого рабочего.

По слухам, в тот самый декабрьский день, когда в сумерки с мешком за спиной и с терновой палкой в руках, никем не замеченный, он вошел в маленький городок Монрейль-Приморский, здание ратуши было внезапно охвачено сильным пожаром. Незнакомец бросился в огонь и, рискуя жизнью, спас двоих детей, которые оказались детьми жандармского капитана; по этой причине никому не пришлось в голову потребовать у него паспорт. Имя его стало известно позднее. Его звали *дядюшка Мадлен*.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мадлен

Это был человек лет пятидесяти, с задумчивым взглядом и добрым сердцем. Вот и все, что можно было о нем сказать.

Благодаря быстрым успехам той отрасли промышленности, которую он так изумительно преобразовал, Монрейль-Приморский стал значительным центром торговых операций. Испания, потреблявшая много черного гагата, ежегодно давала на него огромные заказы. Монрейль-Приморский в этом промысле чуть ли не соперничал теперь с Лондоном и Берлином. Дядюшка Мадлен получал такие барыши, что уже на второй год ему удалось выстроить большую фабрику, где были две обширные мастерские: одна для мужчин, другая для женщин. Всякий голодный мог явиться туда с полной уверенностью, что получит работу и кусок хлеба. От мужчин Мадлен требовал усердия, от женщин хорошего поведения, от тех и других — честности. Он отделил мужские мастерские от женских для того, чтобы сохранить среди девушек и женщин добрые нравы. Здесь он был непреклонен. Только в этом вопросе он и проявлял своего рода нетерпимость. Его суровость имела тем большие основания, что Монрейль-Приморский, как гарнизонный город, был местом, полным соблазнов. Словом, его приход туда был благодеянием, а сам он — даром провидения. До дядюшки Мадлена весь край был погружен в спячку; теперь все здесь жило здоровой трудовой жизнью. Могуций деловой подъем оживлял все и проникал повсюду. Безработица и нищета были теперь забыты. Не было ни одного самого ветхого кармана, где бы не завелось хоть немного денег; не было такого бедного жилища, где бы не появилось хоть немного радости.

Дядюшка Мадлен принимал на работу всех. Он требовал одного:

«Будь честным человеком! Будь честной женщиной!»

Как мы уже сказали, посреди всей этой кипучей деятельности, источником и главным двигателем которой был дядюшка Мадлен, он богател и сам, но, как ни странно это для простого коммерсанта, он, видимо, не считал наживу своей основной заботой. Казалось, он больше думал о других, чем о себе. К 1820 году, это все знали, у Лафита на

его имя было помещено шестьсот тридцать тысяч франков, но, прежде чем отложить для себя эти шестьсот тридцать тысяч франков, он израсходовал более миллиона на нужды города и на бедных.

Больница нуждалась в средствах. Он содержал в ней за свой счет десять коек. Монрейль-Приморский делится на верхний и нижний город. В нижнем городе, где жил дядюшка Мадлен, была только одна школа — жалкая лачуга, грозившая развалиться; он построил две новых — одну для девочек, другую для мальчиков. Он из собственных средств назначил двум учителям пособие, превышающее вдвое их скудное казенное жалованье; и когда однажды кто-то выразил удивление по этому поводу, он сказал: «Самые важные чиновники в государстве — это кормилица и школьный учитель». Он на свой счет основал детский приют — учреждение, почти неизвестное в то время во Франции, и кассу вспомоществования для престарелых и увечных рабочих. Так как его фабрика сделалась рабочим центром, вокруг нее очень быстро вырос новый квартал, где поселилось немало нуждающихся семей; он открыл там бесплатную аптеку.

В первое время, когда он только начинал свою деятельность, добрые люди говорили: «Это хитрец, который хочет разбогатеть». Когда он занялся обогащением края, прежде чем разбогатеть самому, те же добрые люди сказали: «Это честолюбец». Последнее казалось тем более вероятным, что человек этот был религиозен и даже до известной степени соблюдал обряды, что в ту пору считалось очень похвальным. Каждое воскресенье он аккуратно ходил к ранней обедне. Его набожность не замедлила встревожить местного депутата, которому повсюду чудились конкуренты. Этот депутат, заседавший во времена Империи в законодательном собрании, разделял религиозные воззрения одного из членов конгрегации, известного под именем Фуше — герцога Отрантского, который был его другом и покровителем. При закрытых дверях он слегка подсмеивался над богом. Однако, узнав, что богатый фабрикант Мадлен ходит в семь часов утра к ранней обедне, он увидел в нем возможного кандидата на свое место и решил превзойти его; он взял себе в духовники иезуита и стал ходить и к обедне и к вечерне. В те времена честолюбцы добивались у бога земных благ земными

поклонами. От этого страха перед соперником выиграл не только господь бог, но и бедняки, ибо почтенный депутат тоже взял на себя содержание двух больничных коек, с прежними их стало двенадцать.

Но вот, в 1819 году, однажды утром в городе распространился слух, что по представлению г-на префекта и ввиду заслуг, оказанных краю, король назначает дядюшку Мадлена мэром Монрейля-Приморского. Лица, назвавшие пришельца честолюбцем, с восторгом подхватили этот слух, дававший приятную для каждого человека возможность кричать: «Ага! А мы что говорили?» Весь город заволновался. Слух оказался обоснованным. Несколько дней спустя назначение появилось в «Монитере». На следующий день Мадлен от него отказался.

В том же 1819 году изделия, выработанные по новому способу, изобретенному Мадленом, попали на промышленную выставку; согласно заключению испытательной комиссии, король пожаловал изобретателю орден Почетного легиона. Новое волнение в городе. «Так вот чего он хотел! Орденского креста!» Дядюшка Мадлен отказался и от орденского креста.

Решительно этот человек был загадкой. Добрые люди вышли из затруднения, сказав: «В таком случае это какой-то авантюрист».

Как мы видели, край был обязан ему очень многим, а бедняки были обязаны ему всем; он принес столько пользы, что нельзя было не проникнуться к нему уважением, и был так приветлив, что нельзя было не полюбить его; рабочие его фабрики просто преклонялись пред ним, и он принимал их преклонение с какой-то печальной серьезностью. Когда его богатство стало общепризнанным фактом, «люди из общества» начали раскланиваться с ним, и в городе его стали называть «господин Мадлен»; рабочие и детвора попрежнему звали его «дядюшка Мадлен», и это обращение вызывало у него самую добродушную улыбку. Как только он пошел в гору, приглашения посыпались на него дождем. «Общество» заявляло на него свои права. Маленькие чопорные гостиные Монрейля-Приморского, которые, разумеется, в свое время были закрыты для ремесленника, широко распахнули двери перед миллионером. Ему была сделана тысяча лестных предложений. Он отклонил их.

Добрые люди и на этот раз не остались в долгу. «Это невежественный и невоспитанный человек. Неизвестно еще, откуда он взялся. Он, наверное, не сумел бы держать себя в порядочном обществе. Вполне возможно, что он не знает даже и грамоты».

Когда он начал зарабатывать деньги, про него сказали: «Это торгаш». Когда он начал сорить деньгами, про него сказали: «Это честолюбец». Когда он оттолкнул от себя почести, про него сказали: «Это авантюрист». Когда он оттолкнул от себя общество, про него стали говорить: «Это грубиян».

В 1820 году, через пять лет после его водворения в Монрейле-Приморском, услуги, оказанные им краю, были так очевидны, воля всего населения так единодушна, что король снова назначил его мэром города. Он снова отказался, но префект не принял его отказа, все именитые лица города явились просить его, народ, столпившийся на улице, умолял его согласиться, настояния были так горячи, что в конце концов он уступил. Было замечено, что на его решение, пожалуй, больше всего повлиял возглас какой-то старухи из простонародья, которая сердито крикнула ему с порога своего домишки: *«От хорошего мэра может быть большая польза. Как не совестно итти напопятную, если выпал случай сделать добро?»*

Это была третья фаза его восхождения. Дядюшка Мадлен превратился в господина Мадлена; господин Мадлен превратился в господина мэра.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Суммы, депонированные у Лафита

Впрочем, он продолжал держать себя так же просто, как и вначале. У него были седые волосы, серьезный взгляд, загорелая кожа рабочего, задумчивое лицо философа. Обычно он носил широкополую шляпу и длинный редингот из толстого сукна, застегнутый доверху. Обязанности мэра он выполнял добросовестно, но вне этих обязанностей жил отшельником. Он редко разговаривал с кем-либо. Он уклонялся от расточаемых ему учтивостей, кланялся на ходу, быстро исчезал, улыбался, чтобы избе-

жать беседы, и давал деньги, чтобы избежать улыбки. «Что за славный медведь!» — говорили о нем женщины. Больше всего он любил прогулки по окрестным полям.

Он всегда обедал в одиночестве, держа перед собой открытую книгу, которую читал. У него была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Он любил книги; книги — это друзья, бесстрастные, но верные. По мере того как вместе с богатством увеличивались и его досуги, он, видимо, старался употребить их на то, чтобы развивать свой ум. С тех пор как он поселился в Монрейле-Приморском, речь его с каждым годом становилась все более изысканной и более мягкой, что было замечено всеми.

Он часто брал с собой на прогулку ружье, но редко им пользовался. Когда же ему случалось выстрелить, он обнаруживал такую меткость, что становилось страшно. Он никогда не убивал безвредных животных. Никогда не стрелял в птиц.

Он был уже далеко не молод, но о его физической силе рассказывали чудеса. Он предлагал помощь всякому, кто в ней нуждался: поднимал упавшую лошадь, вытаскивал увязшее колесо, останавливал, схватив за рога, вырвавшегося быка. Он всегда выходил из дому с полным карманом денег, а возвращался с пустым. Когда он заходил в деревни, оборванные ребятишки весело бежали за ним следом, кружась возле него, словно рой мошек.

Можно было предположить, что когда-то он жила в деревне, потому что у него был большой запас полезных сведений, которые он сообщал крестьянам. Он учил их уничтожать хлебную моль, обрызгивая амбары и заливая щели в полу раствором поваренной соли, и выгонять долгоносиков, развешивая повсюду, на стенах, на крыше, на пастбищах и в домах, пучки шалфея в цвету. У него были «рецепты», как выводить с полей куколь, журавлиный горох, лисий хвост — все сорные травы, заглушающие хлебные злаки. Он охранял кроличий садок от крыс, сажая туда морскую свинку, запаха которой они не выносят.

Однажды он увидел, что местные жители усердно трудятся над уничтожением крапивы; взглянув на кучу вырванных с корнем и уже засохших растений, он сказал: «Завяла. А ведь если бы знать, как за нее взяться, она могла бы пойти в дело. Когда крапива еще молода, ее листья — вкусная зелень, а в старой крапиве — такие же

волокна и нити, как в конопле и льне. Холст из крапивы ничем не хуже холста из конопли. Мелко изрубленная крапива годится в корм домашней птице, а толченая — хороша для рогатого скота. Семя крапивы, подмешанное к корму, придает блеск шерсти животных, а ее корень, смешанный с солью, дает прекрасную желтую краску. Кроме того, это отличное сено, которое можно косить два раза в лето. А что нужно для крапивы? Немного земли, и никаких забот и ухода. Правда, семя ее, по мере созревания, осыпается, и собрать его бывает нелегко. Вот все. Приложите к крапиве хоть немного труда, и она станет полезной; ею пренебрегают, и она становится вредной. Тогда ее убивают. Как много еще людей, похожих на крапиву! — И после минутного молчания он добавил: — Помните, друзья мои: нет ни дурных трав, ни дурных людей. Есть только дурные хозяева».

Дети любили его еще и за то, что он умел делать хорошенькие вещицы из соломы и скорлупы кокосовых орехов.

Когда он видел, что дверь церкви затянута черным, он входил туда; похороны привлекали его так же, как других привлекают крестины. Чужая утрата и чужое горе притягивали его к себе, потому что у него было доброе сердце; он смешивался с толпой опечаленных друзей, с родственниками, одетыми в траур, и священниками, молящимися за усопшего. Казалось, он охотно погружался в размышления, внимая погребальным псалмам, полным видений иного мира. Устремив взгляд в небо, как бы порываясь к тайнам бесконечного, он слушал скорбные голоса, поющие на краю темной бездны, называемой смертью.

Он творил множество добрых дел тайком, как обычно творят дурные. Вечером он украдкой проникал в дома, тихонько пробирался по лестницам. Какой-нибудь бедняга, поднявшись на свой чердак, находил вдруг дверь отпертой, а иной раз даже взломанной. «Здесь побывали воры!» — восклицал несчастный. Он входил к себе, и первое, что бросалось ему в глаза, была золотая монета, кем-то забытая на столе. Побывавшим у него «вором» оказывался дядюшка Мадлен.

Он был приветлив и печален. Народ говорил: «Вот богат, а совсем не гордый. Вот счастливец, а с виду невеселый».

Некоторые предполагали, что это какая-то загадочная личность, и уверяли, что никому и никогда не разрешается входить к нему в спальню, которая якобы представляет собой настоящую монашескую келью, где красуются старинные песочные часы, скрещенные кости и череп. Об этом говорилось так много, что несколько жителей Монрейля-Приморского, молодых и нарядных, однажды явились к нему домой и попросили: «Господин мэр, покажите нам вашу спальню. Мы слышали, что это настоящая пещера». Он улыбнулся и тотчас же ввел их в эту «пещеру». Насмешницы были жестоко наказаны за свое любопытство. Это была комната, обставленная самой обыкновенной мебелью из красного дерева, довольно некрасивой, как и вся мебель такого сорта, и оклеенная обоями по двенадцать су за кусок. Единственное, что привлекло внимание дам, были два старомодных подсвечника, стоявших на камине, повидимому серебряные, «потому что на них имелась проба». Замечание, которое было вполне в духе провинциального городка.

Люди тем не менее продолжали говорить, что никому не разрешается входить в эту комнату и что это келья отшельника, молчальня, могила, склеп.

Шушукались также о том, что у него имеются «колоссальные» суммы, лежащие у Лафита, причем будто бы эти суммы вложены с таким условием, что могут быть взяты оттуда полностью и в любое время, «так что, — добавляли кумушки, — господин Мадлен может в одно прекрасное утро зайти к Лафиту, написать расписку и через десять минут унести с собой свои два или три миллиона». В действительности, как мы уже говорили, эти «два или три миллиона» сводились к сумме в шестьсот тридцать или шестьсот сорок тысяч франков.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Господин Мадлен в трауре

В начале 1821 года газеты возвестили о смерти диньского епископа г-на Мириэля, прозванного *монсеньором Бьенвеню* и почившего смертью праведника в возрасте восьмидесяти двух лет.

Диньский епископ — добавим здесь одну подробность, опущенную в газетах, — ослеп за несколько лет до кончины, но не печалился о своей слепоте, так как сестра его была рядом.

Заметим мимоходом, что на этой земле, где все несовершенно, быть слепым и быть любимым — это поистине одна из самых странных и утонченных форм счастья. Постоянно чувствовать рядом с собой жену, дочь, сестру, чудесное существо, которое здесь потому, что вы нуждаетесь в нем, а оно не может обойтись без вас, знать, что вы необходимы той, которая нужна вам, иметь возможность беспрестанно измерять ее привязанность количеством времени, которое она вам уделяет, и думать про себя: «Она посвящает мне все свое время, значит ее сердце целиком принадлежит мне»; видеть мысли за невозможностью видеть лицо, убеждаться в верности любимого существа посреди затмившегося мира, ощущать шелест платья, словно шум крыльев, слышать, как это существо входит и выходит, двигается, говорит, поет, и знать, что вы центр, к которому направлены эти шаги, эти слова, эта песня; каждую минуту проявлять свою собственную нежность, чувствовать себя тем сильнее, чем слабее ваше тело, стать во мраке и благодаря мраку ярким светилom, к которому тяготеет этот ангел, — все это такая радость, которой нет равных. Высшее счастье жизни — это уверенность в том, что вас любят; любят ради вас самих, вернее сказать — любят вопреки вам; этой-то уверенностью и обладает слепой. В такой скорби видеть заботу о себе — значит видеть ласку. Лишен ли он чего-либо? Нет. Свет для него не погас, если он любим. И какой любовью! Любовью, целиком сотканной из добродетели. Там, где есть уверенность, кончается слепота. Душа ощупью ищет другую душу и находит ее. И эта найденная и испытанная душа — женщина. Чья-то рука поддерживает вас, — это ее рука; чьи-то уста прикасаются к вашему лбу, — это ее уста; совсем близко от себя вы слышите чье-то дыхание, — это она. Обладать всем, что она может дать, начиная от ее поклонения и кончая страданием, никогда не знать одиночества благодаря ее кроткой слабости, которая является вашей силой, опираться на этот негнибающийся тростник, касаться своими руками провидения и брать его в объятия — боже великий, какое

блаженство! Сердце, этот загадочный небесный цветок, достигает своего полного и таинственного расцвета. Вы не отдали бы этого мрака за весь свет мира. Ангельская душа здесь, все время здесь, рядом с вами; если она удаляется, то лишь затем, чтобы снова вернуться к вам. Она исчезает, как сон, и возникает, как явь. Вы чувствуете тепло, которое все приближается, — это она. На вас нисходит ясность, веселье, восторг; вы — сияние посреди ночи. А тысяча мелких забот! Пустяки, занимающие в этой пустыне огромное место. Самые тонкие, самые неуловимые оттенки женского голоса, убаюкивающие вас, заменяют вам утраченную вселенную. Вы ощущаете ласку души. Вы ничего не видите, но чувствуете, что кто-то боготворит вас. Это рай во тьме.

Из этого-то рая монсеньор Бьенвеню и переселился в иной рай.

Извещение о его смерти было перепечатано местной монрейльской газетой. На следующий день г-н Мадлен появился весь в черном и с крепом на шляпе.

В городе заметили его траур, и начались толки. Обыватели решили, что это проливает некоторый свет на происхождение г-на Мадлена. Очевидно, он был в каком-то родстве с почтенным епископом. «Он надел траур по диньском епископе», — говорили в салонах; это предположение сильно повысило г-на Мадлена в глазах монрейльской знати, и все немедленно прониклось к нему уважением. Микроскопическое сен-жерменское предместье городка решило снять карантин с г-на Мадлена, по всей видимости родственника епископа. Г-н Мадлен заметил возросшее свое значение по более низким поклонам старушек и более приветливым улыбкам молодых женщин. Как-то вечером одна из видных представительниц этого маленького «большого света», считавшая, что ее преклонный возраст дает ей право на любопытство, отважилась спросить у него:

— Скажите, господин мэ́р, покойный диньский епископ был, вероятно, в родстве с вами?

— Нет, сударыня, — ответил он.

— Почему же вы носите по нем траур? — снова спросила старушка.

— Потому что в молодости я служил лакеем у него в доме, — ответил он.

Было замечено еще одно обстоятельство: каждый раз, когда в городе появлялся юный савояр, г-н мэр звал его к себе, справлялся о его имени и давал ему денег. Маленькие савояры рассказывали об этом друг другу, и в городе их перебивало очень много.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Смутные вспышки молний

Мало-помалу и с течением времени всякая неприязнь утихала. Вначале г-н Мадлен, согласно неписанному закону, которому всегда подвластен тот, кто преуспевает, был окружен грязными сплетнями и клеветой, затем их заменили злобные выходки, затем только злые шутки, а затем исчезло и это; уважение сделалось полным, искренним, единодушным, и, наконец, настало время, — это было около 1821 года, — когда слова: «господин мэр» произносились в Монрейле-Приморском почти с таким же благоговением, с каким слова: «монсеньор епископ» произносились в Дине. Люди приезжали за десять лье, чтобы посоветоваться с г-ном Мадленом. Он решал споры, предупреждал тяжбы, мирил врагов. Каждый для защиты своей правоты приглашал его в заступники. Казалось, душа его заключала в себе весь свод естественных законов. Это была какая-то эпидемия преклонения перед ним, которая, переходя в течение шести-семи лет от одного к другому, наконец охватила весь край.

Один только человек в городе и во всем округе оставался чужд этой болезни и, несмотря на все добрые дела дядюшки Мадлена, не поддавался ей, словно какой-то инстинкт, непоколебимый и неподкупный, стоял на страже и не давал ему покоя. Казалось, в некоторых людях и в самом деле таится животный инстинкт; природный и неистребимый, как всякий инстинкт, он подсказывает симпатии и антипатии, неумолимо отделяет одну породу существ от другой, никогда не колеблется, не смущается, не дремлет и не изменяет себе; он ясен в своей слепоте, безошибочен, властен, не подчиняется никаким советам разума, никакому разлагающему воздействию рассудка и, независимо от того, к чему приводит людей судьба, тайно

уведомляет человека-собаку о близости человека-кошки и человека-лису — о близости человека-льва.

Нередко, когда г-н Мадлен проходил по улице, спокойный, приветливый, осыпaeмый всеобщими благословениями, какой-то высокий человек в рединготe серо-стального цвета и в шляпе с опущенными полями, вооруженный толстой палкой, внезапно оборачивался ему вследа и провожал его взглядом до тех пор, пока мэр не скрывался из виду; потом, скрестив руки и медленно покачивая головой, он поджимал губы к самому носу, — многозначительная гримаса, которую можно было бы истолковать так: «Кто такой этот человек? Я уверен, что где-то видел его прежде. Во всяком случае, меня-то он не проведет».

Этот суровый, почти угрожающе суровый человек принадлежал к числу тех людей, которые даже при беглой встрече внушают наблюдателю тревогу.

Его звали Жавер, и он служил в полиции.

В Монрейле-Приморском он исполнял тягостные, но полезные обязанности полицейского надзирателя. Он не был свидетелем первых шагов Мадлена. Своей должностью он был обязан протекции г-на Шабулье, секретаря графа Англеса — министра, состоявшего в то время префектом парижской полиции. Когда Жавер появился в Монрейле-Приморском, Мадлен успел уже стать крупным фабрикантом с большим состоянием и из дядюшки Мадлена превратиться в господина Мадлена.

У некоторых полицейских чиновников бывают какие-то своеобразные лица: выражение их представляет странную смесь низости и сознания власти. У Жавера было именно такое лицо, но низость в нем отсутствовала.

Если бы человеческие души были доступны для глаза, то, по нашему глубокому убеждению, все явственно увидели бы одну странность, а именно — соответствие каждого из представителей человеческого рода какому-нибудь виду животного мира; и это помогло бы легко убедиться в истине, пока еще едва прозреваемой мыслителем и состоящей в том, что — от устрицы до орла, от свиньи до тигра — все животные таятся в людях, и каждое в отдельности — в отдельном человеке. А бывает и так, что даже несколько в одном одновременно.

Животные суть не что иное, как прообразы наших добродетелей и пороков, блуждающие пред нашим взором

призраки наших душ. Бог показывает их нам, чтобы заставить нас задуматься. Но так как животные — это всего лишь тени, то бог не одарил их восприимчивостью к воспитанию в полном смысле этого слова; да и к чему им она? Наши же души, напротив, существуя реально и обладая конечной своей целью, получили от бога разум, то есть восприимчивость к воспитанию. Правильно поставленное общественное воспитание всегда может извлечь из души, какова бы она ни была, то полезное, что она содержит.

Разумеется, все сказанное верно лишь в отношении видимой земной жизни и не предreshает сложного вопроса о предшествующем и последующем облике существ, которые не являются человеком. Видимое «я» никоим образом не дает мыслителю права отрицать «я» скрытое. Сделав эту оговорку, продолжаем.

Итак, если читатель на минуту предположит вместе с нами, что в каждом человеке таится какой-то представитель животного мира, нам будет легко определить, что представлял собой полицейский чиновник Жавер.

Астурийские крестьяне убеждены, что среди волчат одного помета всякий раз попадается щенок, которого мать сразу же убивает, потому что иначе, выросши, он непременно сожрал бы остальных волчат.

Придайте этому псу, детенышу волчицы, человеческое лицо, и перед вами Жавер.

Жавер родился в тюрьме от гадалки, муж которой был сослан на каторгу. Выросши, он понял, что находится вне общества, и отчаялся когда-либо проникнуть в него. Он заметил, что общество беспощадно устраняет из своей среды два класса людей: тех, кто на него нападает, и тех, кто его охраняет; у него был выбор только между этими двумя классами; в то же время он чувствовал в себе какие-то задатки моральной стойкости, порядочности и честности, которым сопутствовала необъяснимая ненависть к той цыганской среде, откуда он вышел сам. Он поступил в полицию. И преуспел. В сорок лет он был полицейским надзирателем.

В молодости он служил на юге надсмотрщиком на галерах.

Но прежде чем перейти к дальнейшему, давайте уточним, что именно мы имели в виду, употребив выражение «человеческое лицо» в применении к Жаверу.

Человеческое лицо Жавера состояло из вздернутого носа с двумя глубоко вырезанными ноздрями, к которым с двух сторон примыкали огромные бакенбарды. Вам сразу становилось не по себе, когда вы впервые видели эти две чаши и две пещеры. Когда Жавер смеялся, что случалось редко, смех его был страшен: тонкие губы раздвигались и обнажали не только зубы, но и десны, а вокруг носа широко расплзались свирепые складки, словно на морде хищного зверя. Когда Жавер бывал серьезен, это был дог; когда он смеялся, это был тигр. Далее: узкий череп, массивная челюсть, волосы, закрывавшие лоб и свисавшие до самых бровей, над переносицей звездобразная неизгладимая морщина, словно печать гнева, мрачный взгляд, злобно сжатые губы, вид начальственный и жестокий.

Этот человек состоял из двух чувств, очень простых и относительно хороших, но доведенных им до крайности и сделавшихся поэтому почти дурными, — из уважения к власти и из ненависти к бунту; а в его глазах воровство, убийство, все существующие преступления являлись лишь разновидностями того же бунта. Он был проникнут какой-то слепой и глубокой верой во всякое должностное лицо, начиная от первого министра и кончая сельским стражником; он чувствовал презрение, неприязнь и отвращение ко всем тем, кто хоть раз преступил границы закона. Он был непреклонен и не признавал никаких исключений. О первых он говорил: «Чиновник не может ошибаться. Судья никогда не бывает неправ». О вторых он говорил: «Эти погибли безвозвратно. Ничего путного из них выйти не может». Он целиком разделял крайние убеждения тех людей, которые приписывают человеческим законам какой-то дар создавать или, если хотите, обнаруживать этих демонов и которые изгоняют низы общества на берега некоего Стикса. Он был стоически тверд, серьезен и суров, печален и задумчив, скромн и надмен, как все фанатики. Взгляд его леденил и сверлил, как бурав. Вся его жизнь заключалась в двух словах: следить и выслеживать. Он проложил прямую линию на самом извилистом пути в мире; он верил в полезность своего дела, свято чтил свои обязанности, он был шпионом, как бывают священником. Горе тому, кому суждено было попасть в его руки! Он арестовал бы родного отца за побег

с каторги и донес бы на родную мать, уклонившуюся от полицейского надзора. И он сделал бы это с тем чувством внутреннего удовлетворения, которое дарует добродетель. Наряду с этим — жизнь, полная лишений, одиночество, самоотречение, целомудрие, никаких удовольствий. Олицетворение беспощадного долга, полиция, понятая так, как спартанцы понимали Спарту, неумолимый страж, свирепая порядочность, сыщик, изваянный из мрамора, Брут в шкуре Видока — вот что такое был Жавер.

Вся его особа изобличала человека, который подсматривает и таится. Мистическая школа Жозефа де Местра, которая в ту эпоху приправляла высокой космогонией стряпню газет так называемого ультрароялистского толка, не преминула бы изобразить Жавера как символ. Вы не видели его лба, прятавшегося под шляпой, вы не видели его глаз, исчезающих под бровями, вы не видели его подбородка, потонувшего в шейном платке, вы не видели его рук, закрытых длинными рукавами, вы не видели его палки, которую он носил под полой редингота. Но вот приходила надобность — и из всей этой тьмы, словно из засады, вдруг выступал узкий и угловатый лоб, зловещий взгляд, угрожающий подбородок, огромные руки и увесистая дубинка.

В свободные свои минуты, которые выпадали не часто, он, ненавидя книги, все же читал их, благодаря чему не был совершенным невеждой. Это проявлялось в некоторой напыщенности его речи.

Как мы уже сказали, у него не было никаких пороков. Когда он бывал доволен собой, то позволял себе понюшку табаку. Только это и роднило его с человечеством.

Легко понять, что Жавер был грозой для того разряда людей, который в ежегодном статистическом отчете министерства юстиции значится под рубрикой: *Темные личности*. При одном имени Жавера они обращались в бегство, появление самого Жавера приводило их в оцепенение.

Таков был этот страшный человек.

Жавер был недреманным оком, постоянно устремленным на г-на Мадлена. Оком, полным догадок и подозрений. В конце концов г-н Мадлен заметил это, но, видимо, не придал этому никакого значения. Он ни разу ни о чем не спросил Жавера, не искал с ним встречи и не избегал его; казалось, он с полным равнодушием выносил этот

тяжелый и почти давящий взгляд. Обращался он с Жавером, как со всеми, приветливо и непринужденно.

По нескольким случайно вырвавшимся у Жавера словам можно было заключить, что, побуждаемый характерным для этой породы людей любопытством, которое вызывается столько же инстинктом, сколько и волей, он тайно занимался поисками следов, какие только мог оставить дядюшка Мадлен за собой в прошлом. Очевидно, ему удалось узнать, — и иногда он намеками говорил об этом, — что кто-то наводил где-то какие-то справки о некоем исчезнувшем семействе. Как-то раз он сказал вслух, разговаривая сам с собой: «Теперь, кажется, он в моих руках!» После этого целых три дня он ходил задумавшись и не произносил ни слова. Должно быть, нить, которую он уже считал пойманной, порвалась.

Впрочем, в человеческом существе нет ничего непогрешимого, — такова необходимая поправка к некоторым словам, иначе смысл их мог бы показаться чересчур непреложным, — и сущность инстинкта состоит именно в том, что он может колебаться, сбиться со следа и потерять дорогу. В противном случае инстинкт одержал бы верх над разумом и животное оказалось бы умнее человека.

Очевидно, Жавер был немного сбиг с толку полнейшей естественностью и спокойствием г-на Мадлена.

Но однажды странный образ действий Жавера, видимо, произвел впечатление на г-на Мадлена. И вот при каких обстоятельствах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дедушка Фошлеван

Как-то утром г-н Мадлен шел по одному из немощных монрейльских переулков. Вдруг он услышал шум и увидел на некотором расстоянии кучку людей. Он подошел к ним. У старика-крестьянина, которого звали дядюшка Фошлеван, упала лошадь, а сам он очутился под телегой.

Этот Фошлеван принадлежал к числу тех немногих врагов, какие еще оставались у г-на Мадлена в это время. Когда Мадлен поселился в Монрейле, Фошлеван, довольно грамотный крестьянин, бывший прежде сельским писцом, занимался торговлей, но с некоторых пор

дела его шли плохо. Фошлеван видел, как этот простой рабочий богател, а он, хозяин, постепенно разорялся. Это наполняло его сердце завистью, и он при всяком удобном случае старался чем-нибудь повредить Мадлену. Затем наступило банкротство, и старик, у которого от всего имущества осталась только лошадь с телегой, не имевший к тому же ни семьи, ни детей, вынужден был стать ломовым извозчиком.

При падении лошадь сломала обе ноги и не могла подняться. Старик оказался между колесами, и упал он так несчастливо, что телега всей своей тяжестью давила ему на грудь. Она была основательно нагружена. Дедушка Фошлеван испускал душераздирающие стоны. Его пытались вытащить, но безуспешно. Неловкое движение, неверное усилие, неудачный толчок — и ему был бы конец. Высвободить его можно было лишь одним способом — приподняв телегу снизу. Жавер, случайно оказавшийся здесь в момент несчастья, послал за домкратом.

Но вот подошел г-н Мадлен. Все почтительно расступились.

— Помогите! — кричал старик Фошлеван. — Добрые люди, спасите старика!

Господин Мадлен обратился к присутствующим:

— Нет ли домкрата?

— За ним пошли, — отвечал один крестьянин.

— А скоро его сюда доставят?

— Да пошли-то в самое ближнее место, в Флашо, к кузнецу, но на это понадобится добрых четверть часа.

— Четверть часа! — вскричал Мадлен.

Накануне шел дождь, земля размокла, телега с каждой минутой все глубже уходила в грунт и все сильнее придавливала грудь старика Фошлевана. Все понимали, что не пройдет и пяти минут, как у него будут сломаны все ребра.

— Нельзя ждать четверть часа, — сказал Мадлен крестьянам, стоявшим вокруг.

— Ничего не поделаешь!

— Да ведь будет уже поздно! Разве вы не видите, что телега уходит все глубже?

— Как не видеть!

— Послушайте, — продолжал Мадлен, — пока еще под телегой довольно места, можно подлезть под нее и

приподнять ее спиной. Всего полминуты, а за это время беднягу успеют вытащить. Найдется здесь человек с крепкой спиной и добрым сердцем? Кто хочет заработать пять луидоров?

Никто в толпе не сдвинулся с места.

— Десять луидоров, — сказал Мадлен.

Присутствовавшие смотрели в землю. Один из них пробормотал:

— Тут нужна дьявольская сила. И рискуешь, что тебя самого придавит!

— Ну же! — настаивал Мадлен. — Двадцать луидоров!

Прежнее молчание.

— Желания-то у них хватает, — произнес чей-то голос.

Господин Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил его, когда подошел.

— А вот силы нехватает, — продолжал Жавер. — Чтобы сделать подобную вещь, поднять на спине такую телегу, как эта, надо быть страшным силачом.

И, пристально глядя на г-на Мадлена, он произнес, отчеканивая каждое слово:

— Господин Мадлен, в своей жизни я знал только одного человека, способного сделать то, что вы требуете.

Мадлен вздрогнул.

Равнодушным тоном, но не сводя с Мадлена взгляда, Жавер добавил:

— Это был один каторжник.

— Вот как! — отозвался Мадлен.

— Каторжник из Тулонской тюрьмы.

Мадлен побледнел.

Между тем телега продолжала медленно уходить в землю. Дедушка Фошлеван хрипел и вопил:

— Задыхаюсь! У меня ребра трещат! Домкрат! Сделайте что-нибудь! Ох!

Мадлен оглядел толпу.

— Неужели никто не хочет заработать двадцать луидоров и спасти жизнь бедному старику?

Ни один из присутствовавших не шевельнулся. Жавер продолжал:

— В своей жизни я знал только одного человека, который мог заменить домкрат. Это тот каторжник.

— Ох! Сейчас меня раздавит! — крикнул старик.

Мадлен поднял голову, встретил все тот же ястреби-

ный, не отрывавшийся от него взгляд Жавера, посмотрел на неподвижно стоявших крестьян и грустно улыбнулся. Потом, не сказав ни слова, опустился на колени, и не успела толпа даже вскрикнуть, как он был уже под телегой.

Наступила страшная минута ожидания и тишины.

На глазах у всех Мадлен, почти плашмя лежа под чудовищным грузом, дважды пытался подвести локти к коленям, но тщетно. Ему закричали: «Дядюшка Мадлен! Вылезайте!» Сам старик Фошлеван сказал ему: «Господин Мадлен! Уходите! Видно, уж мне на роду написано так умереть! Оставьте меня! Не то вас и самого задавит!» Мадлен ничего не отвечал.

Зрители тяжело дышали. Колеса продолжали уходить все глубже, и теперь Мадлену было уже почти невозможно вылезти из-под телеги.

Вдруг вся эта громада пошатнулась, телега начала медленно приподниматься, колеса наполовину вышли из колеи. Послышался задыхающийся голос: «Скорей! Помогите!» Это крикнул Мадлен, напрягший последние силы.

Все бросились на помощь. Самоотверженный поступок одного придал силу и мужество остальным. Два десятка рук подхватили телегу. Старик Фошлеван был спасен.

Мадлен встал на ноги. Он был смертельно бледен, хотя пот лил с него градом. Его одежда была разорвана и покрыта грязью. Все плакали. Старик целовал ему колени и называл самым господом богом. А на лице Мадлена было какое-то странное выражение блаженного неземного страдания, и он спокойно смотрел на Жавера, все еще не спускавшего с него глаз.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Фошлеван становится садовником в Париже

Фошлеван при падении вывихнул себе коленную чашку. Дядюшка Мадлен велел отвезти его в больницу, устроенную им для рабочих в самом здании его фабрики; уход за больными был там поручен двум сестрам милосердия. На следующее утро старик нашел на тумбочке возле кровати тысячефранковый билет и записку, напи-

санную рукой дядюшки Мадлена: «Я покупаю у вас телегу и лошадь». Телега была сломана, а лошадь околела. Фошлеван выздоровел, но его колено перестало сгибаться. Заручившись рекомендациями сестер и местного священника, г-н Мадлен устроил старика садовником при женском монастыре в квартале Сент-Антуан в Париже.

Вскоре после этого случая г-н Мадлен был назначен мэром. Когда Жавер впервые увидел г-на Мадлена, опоясанного шарфом, дававшим ему власть над всем городом, он ощутил такой трепет, какой мог бы ощутить пес, который под одеждой своего хозяина почуял волка. С этой минуты он стал всячески избегать встречи с ним. Но когда служебные обязанности принуждали его являться к г-ну мэру и уклониться от этого было невозможно, он выказывал ему глубочайшее почтение.

На благоденствие, созданное дядюшкой Мадленом в Монрейле-Приморском, кроме видимых признаков, о которых мы уже упоминали, указывал и другой признак, который, не будучи видимым, казался, однако, не менее знаменательным. Признак этот безошибочен. Когда население нуждается, когда работы нехватает, когда торговля идет плохо, налогоплательщик, вынужденный к тому безденежьем, невольно уклоняется от уплаты, пропускает все сроки, и государству приходится расходовать большие деньги на принудительные меры по сбору податей. Когда же работы вдоволь, когда край счастлив и богат, налоги выплачиваются легко, и взыскание их обходится государству дешево. Можно сказать, что для определения степени общественной нищеты и общественного богатства имеется один непогрешимый барометр: это расходы по взиманию налогов. За семь лет расходы по взиманию налога сократились в Монрейльском округе на три четверти, благодаря чему г-н де Виллель, тогдашний министр финансов, часто приводил этот округ в пример другим.

Таково было состояние края, когда Фантина вернулась на родину. Все давно забыли ее. К счастью, двери фабрики Мадлена были гостеприимно раскрыты для всех желающих. Она явилась туда, и ее приняли в женскую мастерскую. Ремесло было для Фантины совершенно новым, она не могла проявить в нем особого мастерства и зарабатывала очень мало, но ей хватало и этого; главная задача была разрешена: она жила своим трудом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Госпожа Викторньен тратит тридцать пять франков во имя нравственности

Когда Фантина увидела, что может жить самостоятельно, ее охватила радость. Жить честным трудом — какая милость неба! И в самом деле, к ней вернулась любовь к труду. Она купила зеркало, радовалась, глядя на свою молодость, на свои красивые волосы и красивые зубы, о многом забыла, стала думать теперь только о Козетте и возможном будущем и зажила почти счастливо. Она сняла маленькую комнатку и обмелировала ее в кредит, в расчете на будущий заработок; в этом сказались привычки ее прежней беспорядочной жизни.

Не решаясь выдавать себя за замужнюю женщину, она, как мы уже упоминали, всячески избегала говорить кому-нибудь о своей дочурке.

В первое время она, как известно читателю, аккуратно платила Тенардье. Но писать она не умела, научившись только подписывать свое имя, поэтому ей приходилось для переписки с ними обращаться к общественному писцу.

Писала она часто. Это было замечено. В женской мастерской начали тихонько поговаривать о том, что Фантина «пишет письма» и что она «завела шашни».

Никто не следит за поступками других так ревниво, как те, кого эти поступки меньше всего касаются. «Почему этот господин выходит только в сумерках? Почему по четвергам господин такой-то никогда не вешает на гвоздь ключ от своей комнаты? Почему он всегда ходит переулками? Почему та дама всегда выходит из фиакра, не доезжая до дому? Почему она посылает за почтовой бумагой, когда дома у нее «полным-полно» этой бумаги?» и т. п., и т. п. Есть особы, которые, ради того чтобы отыскать разгадку этих загадок, в сущности говоря совершенно им безразличных, расходуют больше денег, тратят больше времени, делают больше усилий, чем могло бы понадобиться на десяток добрых дел; и все это бескорыстно, из любви к искусству, получая в награду за свое любопытство только удовлетворение этого самого любопытства и ничего больше. Они готовы следить за такой-то женщиной или за таким-то мужчиной по целым дням,

часами простаивать на перекрестках, в подъездах, ночью, в холод и в дождь, подкупать посыльных, подпаивать извозчиков и лакеев, задаривать горничную, давать на чай привратнику. Для чего? Да просто так. Из страстного желания увидеть, узнать, раскопать. Из непреодолимой потребности разболтать. А ведь часто эти разоблаченные секреты, эти обнародованные тайны, эти разгаданные загадки влекут за собой катастрофы, дуэли, банкротства, разоряют целые семейства, разбивают жизни, к великой радости того, кто «раскрыл все» без всякой выгоды для себя, повинувшись одному лишь инстинкту. И это очень печально.

Некоторые особы бывают злыми единственно из-за того, что им хочется поговорить. Их беседы, болтовня в гостиной, пересуды в прихожей напоминают камины, быстро пожирающие дрова; они требуют много топлива, а топливо — это ближний.

Итак, за Фантиной стали наблюдать.

При этом многие завидовали ее белокурым волосам и белым зубам.

Заметили, что в мастерской ей часто случалось отвернуться и смахнуть слезу. Это бывало в те минуты, когда она думала о своем ребенке, а возможно, и о человеке, которого любила когда-то.

Рвать таинственные нити, привязывающие нас к прошлому, — мучительный и трудный процесс.

Было установлено, что она пишет письма не реже двух раз в месяц, всегда по одному и тому же адресу, и оплачивает их почтовым сбором. Ухитрились узнать и адрес: «Милостивому государю, господину Тенардье, трактирщику в Монфермейле». Выпытали все в кабачке у общественного писца, простодушного старика, который не мог влить в себя бутылочку красного вина, без того чтобы не выложить при этом весь свой запас чужих секретов. Словом, стало известно, что у Фантины есть ребенок. «Судя по всему, это шлюха». Нашлась кумушка, которая совершила путешествие в Монфермейль, повидалась с Тенардье и, вернувшись, сказала: «Я истратила тридцать пять франков, зато все узнала. Я видела ребенка!»

Кумушка, проделавшая это, была мегера по имени г-жа Виктюрье, блудница и опекунша всеобщей добродетели. Г-же Виктюрье было пятьдесят шесть

лет, и старость удваивала ее природное безобразие. Голос у нее был дребезжащий, а характер брюзжащий. Как ни странно, но когда-то эта женщина была молода. В молодости, в разгаре 93-го года, она вышла замуж за монаха, который, надев красный колпак, сбежал из монастыря и из бернардинца стал якобинцем. Она была сухая, злая, скупая, упорная, вздорная, ядовитая, но все же не могла забыть своего покойника монаха, который сумел подчинить ее и согнуть. Это была черная душонка, отдававшая чернецом. Во время Реставрации она стала святошей, и столь ревностной, что священники простили ей ее монаха. У нее сохранилась земляца, которую она собиралась отказать какой-то духовной общине, о чем кричала на всех перекрестках. Она была на очень хорошем счету в Аррасском епископстве. Вот эта-то самая г-жа Виктюрньен съездила в Монфермейль и вернулась со словами: «Я видела ребенка».

На все это ушло немало времени. Фантина уже больше года работала на фабрике, как вдруг, однажды утром, надзирательница мастерской вручила ей от имени г-на мэра пятьдесят франков и, заявив, что она уволена, посоветовала ей, также от имени г-на мэра, уехать из города.

Это случилось именно в тот месяц, когда супруги Тенардье, которые уже получали двенадцать франков вместо первоначальных шести, только что потребовали пятнадцать франков вместо двенадцати.

Фантина была сражена этим ударом. Уехать из города она не могла, так как задолжала за квартиру и за мебель. Пятидесяти франков не могло хватить на то, чтобы покрыть долг. Она пробормотала несколько умоляющих слов. Надзирательница объявила ей, что она должна немедленно покинуть мастерскую. Фантина к тому же была посредственной работницей. Подавленная отчаянием и еще более стыдом, она ушла из мастерской и вернулась в свою комнату. Итак, теперь ее проступок был известен всем.

Она почувствовала себя не в силах защищаться дальше. Кто-то посоветовал ей повидать г-на мэра; она не посмела. Г-н мэр дал ей пятьдесят франков, потому что он был добр, и выгнал ее, потому что был справедлив. Она покорилась этому приговору.

Итак, вдова монаха тоже на что-нибудь да пригодилась.

Между тем сам г-н Мадлен ничего не знал обо всей этой истории. Жизнь изобилует такими сложными сплетениями обстоятельств! Г-н Мадлен, как правило, почти никогда не заходил в женскую мастерскую. Во главе этой мастерской он поставил некую старую деву, рекомендованную ему местным кюре, и вполне доверял этой надзирательнице, которая действительно была вполне почтенной, справедливой и неподкупной особой весьма твердых правил, исполненной милосердия, но того милосердия, которое, умея оделять подающим, не возвысилось, однако, до умения понимать и прощать. Г-н Мадлен во всем полагался на нее. Лучшие из людей часто бывают вынуждены передавать свои полномочия другим. И вот, облеченная полной властью и вполне убежденная в своей правоте, надзирательница произвела следствие, разобрала дело, осудила и наказала Фантину.

Что до пятидесяти франков, то она взяла их из суммы, которая была предоставлена г-ном Мадленом в ее полное и безотчетное распоряжение для выдачи пособий и для вспомоществования нуждающимся работницам.

Фантина стала искать места служанки; она ходила из дома в дом. Никто не хотел ее брать. Уехать из города она не могла. Старьевщик, которому она задолжала за мебель — и какую мебель! — сказал ей: «Если вы вздумаете сбежать, вас арестуют, как воровку». Домохозяин, которому она задолжала за квартиру, сказал ей: «Вы молоды и красивы, значит можете заплатить». Она разделила между домохозяином и старьевщиком свои пятьдесят франков, вернула торговцу три четверти обстановки, сохранив лишь самое необходимое, и осталась без работы, без всякого общественного положения, не имея ничего, кроме кровати, и все-таки обремененная долгом приблизительно в сто франков.

Она принялась шить грубые рубахи для солдат гарнизона, зарабатывая по двенадцать су в день. Содержание дочери стоило ей десять су. Именно в это время она и начала неаккуратно платить Тенардье.

Тогда же старушка, у которой она, возвращаясь домой по вечерам, зажигала свою свечку, научила ее искусству жить в нищете. Вслед за уменьем жить малым идет уменье жить ничем. Это как бы две комнаты: в первой темно, во второй непроглядный мрак.

Фантина узнала, как зимой обходятся без дров, как отказываются от птички, которая за два дня съедает у вас проса на целый лиар, как превращают юбку в одеяло, а одеяло в юбку, как берегут свечу, ужиная при свете, падающем из окна противоположного дома. Мы и не подозреваем, как много умеют извлечь из одного су некоторые слабые создания, состарившиеся в честности и в нужде. В конце концов такое уменье становится талантом. Фантина приобрела этот высокий талант и немного приободрилась.

В этот период своей жизни она как-то раз сказала соседке: «Знаете что? Если я буду спать не больше пяти часов, а все остальное время заниматься шитьем, мне все-таки удастся кое-как заработать на хлеб. И потом, когда человеку грустно, он и ест меньше. Ну что ж! Страдания, тревога и кусочек хлеба, с одной стороны, огорчения — с другой, все это вполне насытит меня».

Видеть возле себя Козетту было бы для Фантины в ее отчаянном положении величайшим счастьем. Она хотела было поехать за ней. Но разве это возможно? Заставить ребенка разделять ее лишения? И потом она ведь должна Тенардьё! Как рассчитаться с ними? А деньги на дорогу! Где взять их?

Старушка по имени Маргарита, которая, если можно так выразиться, давала ей уроки нищенского существования, была святая женщина, истинно набожная, бедная, но всегда готовая помочь беднякам и даже богачам, грамотная ровно настолько, чтобы уметь подписать: *Моргорита*, если была в этом надобность, но верившая в бога, что является высшей ученостью.

Внизу, на дне, есть много таких праведниц: когда-нибудь они будут наверху. Эта жизнь имеет свое «завтра».

В первое время Фантина испытывала такой стыд, что не решалась выйти из дому.

Когда она шла по улице, ей казалось, что люди оборачиваются ей вслед и показывают на нее пальцем; все

смотрели на нее, но никто не здоровался; едкое и холодное презрение прохожих пронизывало ее тело и душу, как струя ледяного ветра.

В маленьких городках несчастная женщина чувствует себя словно обнаженной под насмешливыми и любопытными взглядами толпы. В Париже вас по крайней мере никто не знает, и эта безвестность заменяет одежду. О, как бы Фантине хотелось вернуться в Париж! Но это было невозможно.

Волей-неволей пришлось привыкать к потере уважения, как она уже привыкла к нищете. Мало-помалу она примирилась и с этим. Месяца через два или три она отбросила стеснение и начала выходить как ни в чем не бывало. «Мне все равно», — говорила она. И шла, высоко подняв голову, с горькой улыбкой на губах, чувствуя сама, что становится бесстыдной.

Госпожа Виктюрье иногда видела из окна Фантину, когда та проходила мимо, замечала жалкое состояние «этой твари», поставленной благодаря ей «на надлежащее место», и торжествовала. У злых людей — свои, подлые, радости.

Непосильная работа утомляла Фантину, и легкий сухой кашель, который был у нее и прежде, усилился. Иногда она говорила соседке: «Пощупайте, какие у меня горячие руки».

И все-таки по утрам, когда она расчесывала старым сломанным гребнем свои чудные волосы, пушистые и мягкие, как шелк, она испытывала приятное чувство удовлетворенного женского тщеславия.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Последствия торжества

Она была уволена с фабрики в конце зимы; прошло лето, и снова наступила зима. Чем короче день, тем меньше успеваешь сделать. Зимой нет тепла, нет света, нет полудня, вечер сливается с утром, туман, сумерки, окошко серо, в него ничего не видно. Небо — словно отдушина, а день — как темный подвал. У солнца нищенский вид. Ужасное время года! Зима все превращает в

камень — и влагу небесную, и сердце человеческое. Кредиторы не давали Фантине покоя.

Она зарабатывала слишком мало. Долги все росли. Тенардье, неаккуратно получавшие деньги, забрасывали ее письмами, содержание которых приводило ее в отчаянье, а уплата за них почтовых сборов просто разоряла. Однажды они написали, что ее маленькая Козетта ходит в эти холода чуть не голой, что ей необходима шерстяная юбка и что мать должна прислать не меньше десяти франков. Получив это письмо, Фантина весь день не выпускала его из рук. Вечером она зашла к одному цирюльнику, заведение которого находилось на углу, и вынула гребень из прически. Чудесные белокурые волосы покрыли ее до пояса.

— Какие замечательные волосы! — вскричал цирюльник.

— А сколько бы вы дали мне за них? — спросила она.

— Десять франков.

— Стригите.

Она купила вязаную юбку и отослала ее Тенардье.

Эта юбка привела супругов Тенардье в ярость. Они хотели получить деньги. Юбку они отдали Эпонине. Бедный Жаворонок продолжал дрогнуть от холода.

Фантина думала: «Теперь моей детке тепло. Я одела ее своими волосами». Она начала носить маленькие круглые чепчики, закрывавшие ее стриженую голову, и все еще была красива.

Черное дело свершалось в сердце Фантины. Лишившись отрады расчесывать свои волосы, она возненавидела все окружающее. Она долгое время разделяла всеобщее глубокое уважение к дядюшке Мадлену; однако, без конца повторяя про себя, что это он выгнал ее с фабрики и что именно он является причиной всех ее несчастий, она начала ненавидеть и его, — его-то больше всех. Проходя мимо фабрики в те часы, когда рабочие толпились у ворот, она нарочно старалась громко смеяться и петь.

Услыхав однажды это пение и этот смех, одна старуха-работница сказала про нее: «Ну, эта девушка плохо поет».

И вот, с бешенством в сердце, словно бросая кому-то вызов, она завела любовника, первого встречного, человека, которого она вовсе не любила. Это был негодяй, какой-то бродячий музыкант, проходимец; он бил ее и вскоре

бросил с таким же отвращением, с каким она сошлась с ним.

Она обожала своего ребенка.

Чем ниже она опускалась, чем темнее становилось все вокруг нее, тем ярче сиял в глубине ее души образ этого кроткого маленького ангела. Она говорила: «Когда я разбогатею, моя Козетта будет со мной», и смеялась от радости. Кашель больше не покидал ее, и она часто вся обливалась потом.

Однажды она получила от Тенардье письмо такого содержания: «Козетта заболела заразной болезнью, которая ходит у нас по всей округе. Это сыпная горячка, как ее называют. Нужны дорогие лекарства. Они нас совсем разорили, и мы больше не в состоянии покупать их. Если в течение недели вы не пришлете сорок франков, девочка умрет».

Фантина громко расхохоталась и сказала старухе соседке: «Они сошли с ума! Сорок франков! Сколько это? Два наполеондора! Где же мне взять их? До чего глупы эти крестьяне!»

Однако она вышла на лестницу и, подойдя к слуховому окошку, перечитала письмо еще раз.

Потом она спустилась с лестницы и вприпрыжку побежала по улице, все еще продолжая хохотать.

Прохожий, попавшийся ей навстречу, спросил ее: «С чего это вы так развеселились?»

Она ответила: «Да так, получила глупое письмо из деревни. Просят прислать сорок франков. Одно слово — крестьяне!»

Проходя по площади, она увидела множество людей, окружавших какую-то повозку странной формы; на империале ее стоял и разглагольствовал человек, одетый в красное. Это был шарлатан-дантист, разъезжавший из города в город и предлагавший публике вставные челюсти, разные порошки, мази и эликсиры.

Фантина вмешалась в толпу и принялась, как все, хохотать над его напыщенной речью, уснащенной воровскими словечками для черни и ученой тарабарщиной для чистой публики. Внезапно зубодер заметил эту красивую смеющуюся девушку и крикнул: «Эй ты, хохотунья, у тебя красивые зубки! Уступи мне два твоих резца, и я дам тебе по наполеондору за каждый».

— Что это еще за резцы у меня? — спросила Фантина.

— Резцы, — важно отвечал зубной лекарь, — это передние зубы. Два верхних зуба.

— Какой ужас! — вскричала Фантина.

— Два наполеондора! — прошамкала беззубая старуха, стоявшая сзади. — И выпадает же людям счастье!

Фантина убежала и закрыла уши, чтобы не слышать хриплого голоса дантиста, который кричал ей вслед:

— Поразмысли, красотка! Два наполеондора не валяются на улице. Если надумаешь, приходи вечером в трактир «Серебряная палуба», я буду там.

Фантина вернулась домой рассерженная и рассказала о случившемся своей доброй соседке Маргарите.

— Вы только представьте себе! Это просто какой-то изверг. И как только подобным людям позволяют разъезжать по городам? Вырвать у меня два передних зуба! Да ведь я стану уродом! Волосы могут еще отрасти, но зубы! Какое чудовище! Да я лучше соглашусь броситься вниз головой с шестого этажа! Он сказал, что вечером будет в «Серебряной палубе».

— И сколько он тебе предложил? — спросила Маргарита.

— Два наполеондора.

— Это сорок франков.

— Да, — сказала Фантина, — это сорок франков.

Она задумалась и принялась за работу. Через четверть часа она бросила шитье и вышла на лестницу, чтобы перечитать письмо Тенардье.

Вернувшись, она спросила у Маргариты, работавшей рядом с ней:

— Скажите, вы не знаете, что это такое, — сыпная горячка?

— Знаю, — ответила престарелая девица, — это такая болезнь.

— И на нее требуется много лекарств?

— О да. Страшно много.

— А что при этом болит?

— Да все болит, все тело.

— И к детям она, значит, тоже пристает?

— О, к детям-то всего чаще.

— А бывает ли, чтобы от нее умирали?

— Сколько угодно, — ответила Маргарита.

Фантина вышла на улицу и еще раз перечитала письмо.

Вечером она вышла из дому, и люди видели, что она направилась в сторону Парижской улицы, где были трактиры.

На следующее утро, когда Маргарита, как обычно, чуть свет вошла в комнату Фантины, где они всегда работали вместе, чтобы не жечь второй свечки, девушка сидела на постели бледная, вся застывшая. Видно было, что она совсем не ложилась. Чепчик лежал у нее на коленях. Свеча горела всю ночь, и от нее остался лишь маленький огарок.

Потрясенная этим чудовищным нарушением обычного порядка, Маргарита остановилась на пороге и вскричала:

— Господи помилуй! Вся свечка сгорела! Видно, случилось что-то недоброе!

И она посмотрела на Фантину, повернувшую к ней свою стриженую голову.

За эту ночь Фантина постарела на десять лет.

— Иисусе! — изумилась Маргарита. — Что это такое с тобой случилось, Фантина?

— Ничего, — ответила Фантина. — Напротив, теперь все хорошо. Моя девочка не умрет от этой ужасной болезни, у нее будут лекарства. Я довольна.

С этими словами она показала старой деве на два наполеондора, блестевшие на столе.

— Господи Иисусе! — снова вскричала Маргарита. — Да ведь это целое богатство! Где же ты взяла эти золотые?

— Достала, — ответила Фантина.

И она улыбнулась. Свеча осветила ее лицо. Это была кровавая улыбка. Красноватая слюна показалась в углах губ, а во рту зияла черная дыра.

Два передних зуба были вырваны.

Она послала в Монфермейль сорок франков.

А между тем со стороны Тенардье это была хитрость, чтобы выманить деньги. Козетта не была больна.

Фантина выбросила зеркало за окошко. Она давно уже перебралась из своей комнатки на третьем этаже в мансарду под самой крышей, запиравшуюся только на

щеколду, в одну из тех конур, где потолок, спускаясь к половицам, образует угол и где на каждом шагу вы ударяетесь об него головой. Бедняк может дойти до конца своей комнаты, так же как и до конца своей судьбы, лишь все ниже и ниже сгибая спину. У Фантины уже не было кровати, у нее оставалась только какая-то рвань, которую она называла одеялом, тюфяк, валявшийся на голом полу, да разодранный соломенный сгул. Забытый в углу маленький розан засох. Глиняный кувшин из-под масла, в другом углу, теперь служил для воды; зимой вода замерзала, и различный ее уровень долго оставался отмеченным на его стенках ледяными кольцами. Потеряв стыд, Фантина потеряла и кокетливость. Это была последняя грань. Она стала выходить на улицу в грязных чепчиках. За недостатком времени, а быть может из равнодушия, она перестала чинить свое белье. Когда пятки на чулках прорывались, она подворачивала носки, и это было заметно по особым некрасивым сборкам над башмаками. Свой старый изношенный корсаж она чинила лоскутками коленкора, которые рвались при каждом движении. Кредиторы делали ей сцены и ни на минуту не оставляли ее в покое. Они ловили ее на улице, они ловили ее на лестнице. Она проводила в слезах и думах целые ночи. Глаза у нее были теперь очень блестящие, и она ощущала постоянную боль в спине, у верхушки левой лопатки. Она сильно кашляла. Она глубоко ненавидела дядюшку Мадлена и никому не жаловалась. Она шила по семнадцать часов в сутки, но вдруг один подрядчик, ведавший работой заключенных женщин и заставлявший их трудиться за очень низкую плату, сбавил цену на рубашки настолько, что оплата рабочего дня вольной швеи свелась к девяти су. Семнадцать часов работы за девять су! Кредиторы Фантины стали безжалостнее, чем когда-либо. Старьевщик, который забрал у нее обратно почти всю обстановку, без конца повторял: «Когда же ты мне заплатишь, негодная?» Господи боже! Чего хотели от нее все эти люди? Она чувствовала себя затравленной, и в ней стали развиваться инстинкты, присущие дикому зверю. Около этого времени Тенардье написал ей, что он положительно был чересчур добр, ожидая так долго, что ему нужны сто франков, и немедленно; в противном случае он вышвырнет маленькую Козетту, хоть она только еще оправляется от тяжелой

болезни, на холод, на улицу, а там — будь что будет, пусть околеваает, это ее дело. «Сто франков, — подумала Фантина. — Но разве есть ремесло, при котором можно заработать сто су в день?»

— Ну что ж! — сказала она. — Продадим остальное. И несчастная стала публичной женщиной.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

*Christus nos liberavit*¹

Что же такое представляет собой история Фантины? Это история общества, покупающего рабыню.

У кого? У нищеты.

У голода, у холода, у одиночества, у заброшенности, у лишений. Горестная сделка. Душу за кусок хлеба. Нищета предлагает, общество принимает предложение.

Святой завет Иисуса Христа руководит нашей цивилизацией, но еще не проник в нее. Говорят, что рабство упразднено европейской цивилизацией. Это заблуждение. Оно все еще существует, но теперь его тяжесть падает только на женщину, и имя его — проституция.

Его тяжесть падает на женщину, то есть на грацию, на слабость, на красоту, на материнство. Это позор для мужчины, и притом величайший позор.

В том акте горестной драмы, к которому мы подошли в нашем повествовании, уже ничего не осталось от прежней Фантины. Окунувшись в грязь, женщина превращается в камень. Прикосновение к ней пронизывает холодом. Она проходит мимо вас, она терпит вас, но она вас не знает; она обещана и сурова. Жизнь и общественный строй сказали ей свое последнее слово. С ней уже случилось все то, что было ей отпущено на всю жизнь. Она все перечувствовала, все перенесла, все испытала, все перестрадала, все утратила, все оплакала. Она покорила судьбе с той покорностью, которая так же похожа на равнодушие, как смерть похожа на сон. Она ничего больше не избегает. Она ничего больше не боится.

¹ Христос наш спаситель (лат.).

Пусть разверзнутся над ней хляби небесные, пусть прокатит над ней свои воды весь океан! Что ей до того? Она — как губка, насыщенная до предела.

Так по крайней мере кажется ей самой, но человек ошибается, если думает, что возможно исчерпать свою судьбу и что чаша его выпита до дна.

Увы! Что же представляют собой все эти судьбы, беспорядочно толкаемые вперед? Куда они идут? И почему они такие, а не иные?

Тот, кому ведомо сие, видит весь этот мрак.

Он один. Имя его — бог.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Досуги господина Баматабуа

Во всех маленьких городках, а в частности и в Монрейле-Приморском, всегда имеется особая порода молодых людей, которые в провинции проедают свои полторы тысячи ливров ренты с таким же видом, с каким все им подобные пожирают в Париже двести тысяч франков в год. Это существа, относящиеся к многочисленным видам пустоцветов, — это круглые нули, паразиты, ничтожества, у которых есть немного земли, немного глупости и немного ума; люди, которые в гостиную показались бы деревенщиной, а в кабаке считают себя аристократами, которые говорят: «мои луга, мои леса, мои крестьяне», освящают актрис в театре, чтобы показать, что они люди со вкусом, и задевают гарнизонных офицеров, чтобы доказать, что они люди храбрые, охотятся, курят, зевают, пьют, пахнут табаком, играют на бильярде, глазают на приезжих, когда те выходят из дилижанса, днюют и ночуют в кафе, обедают в трактире, держат собаку, которая грызет кости у них под столом, и любовницу, которая накрывает на стол, торгуются из-за гроша, утрируют моду, восхищаются трагедией, презируют женщин, донашивают до дыр свои старые сапоги, подражают Лондону, глядя на него сквозь призму Парижа, и Парижу, глядя на него сквозь призму Понт-а-Мусон, к старости окончательно тупеют, ничего не делают, ни на что не годны, но особого вреда не приносят.

Господин Феликс Толомьес, несомненно, был бы одним из таких господ, если бы он никогда не выезжал из своей провинции и ни разу не побывал в Париже.

Будь они богаче, про них сказали бы: «Это щеголи». Будь они победнее, про них сказали бы: «Это лодыри». Но, в сущности говоря, это просто тунеядцы. Среди таких тунеядцев есть скучные, есть скучающие, есть мечтатели; попадают и негодяи.

В те времена щеголь состоял из высокого воротничка, широкого галстука, часов с брелоками, трех разноцветных жилетов, одетых один на другой, причем синий и красный надевались снизу, из оливкового фрака с короткой талией, длинными заостренными фалдами и двумя рядами серебряных пуговиц, посаженных очень тесно и доходящих до самых плеч, а также из более светлых, оливковых же, панталон, украшенных по швам неопределенным, но всегда нечетным числом шелковых кантов, менявшихся от одного до одиннадцати, — предел, которого никто не преступал. Присоедините к этому полусапожки с железными подковками на каблуках, цилиндр с узкими полями, волосы, взбитые копной, огромную трость и речь, расцвеченную каламбурами Потье. Вдобавок ко всему — усы и шпоры. Усы в те годы являлись отличительным признаком штатских лиц, а шпоры — пешеходов.

У провинциального франта шпоры бывали длиннее, а усы свирепее.

Это происходило во времена борьбы южно-американских республик с испанским королем, борьбы Боливара с Морильо. Шляпы с узкими полями составляли принадлежность роялистов и назывались «морильо»; либералы облюбовали шляпы с широкими полями, носившие название «боливаров».

Месяцев через восемь или десять после того, о чем было рассказано на предыдущих страницах, в первых числах января 1823 года, вечером, на улице, покрытой только что выпавшим снегом, один из этих франтов, из этих бездельников — человек «благонамеренный», ибо голова у него была увенчана «морильо», закутанный в широкий теплый плащ, довершавший в зимнюю пору модный наряд, — забавлялся тем, что поддразнивал некое создание женского пола, разгуливавшее в открытом бальном платье и с цветами на голове перед витриной офицерской

кофейни. Франт курил сигару, ибо таково было решительное требование моды.

Всякий раз как женщина проходила мимо него, он пускал ей в лицо вместе с облаком сигарного дыма какое-нибудь замечание, казавшееся ему верхом остроумия и веселости, как, например: «Вот так уродина! Да уберешься ли ты наконец? Эх ты, беззубая!» и т. п., и т. п. Имя этого франта было господин Баматабуа. Женщина, унылое разряженное привидение, сновавшее взад и вперед по снегу, не отвечала ему, даже не смотрела на него и молча, с мрачной настойчивостью, продолжала свою прогулку, каждые пять минут снова и снова подвергаясь его насмешкам, словно осужденный солдат, прогоняемый сквозь строй. Такое невнимание, должно быть, раздосадовало шалопая и, воспользовавшись моментом, когда она повернулась к нему спиной, он подкрался к ней сзади, нагнулся, заглушая смех, схватил пригоршню снега и внезапно сунул его за вырез платья, между ее обнаженными лопатками. Девушка испустила дикий вопль, обернулась и, как пантера, бросилась на мужчину, впиваясь ему в лицо ногтями и обливая его потоком отборной брани, которой могла бы позавидовать пьяная солдатня. Эти ругательства, выкрикиваемые осипшим от водки голосом, вылетали из обезображенного рта, в котором действительно не доставало двух передних зубов. То была Фантина.

На шум из кофейни гурьбой высыпали офицеры, столпились прохожие, и вокруг живого клубка, в котором трудно было разобрать, где был мужчина и где женщина, образовался широкий круг зрителей, которые хохотали, гикали и били в ладоши; мужчина отбивался, шляпа его упала на землю, а женщина колотила его ногами и кулаками, рыча от ярости, беззубая, простоволосая, стриженная, вся посиневшая, страшная.

Внезапно от толпы отделился высокий человек, схватил женщину за лиф ее атласного, забрызганного грязью платья и сказал: «Иди за мной».

Женщина подняла голову, и ее истошный крик внезапно оборвался. Глаза ее остекленели, посиневшее лицо стало мертвенно-бледным, она задрожала от ужаса. Она узнала Жавера.

Франт воспользовался этим обстоятельством и улизнул.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Разрешение некоторых вопросов, находящихся в ведении муниципальной полиции

Жавер раздвинул толпу, прорвал сомкнутый круг и крупным шагом направился к находившемуся на противоположном конце площади полицейскому участку, таща за собой несчастную женщину. Она машинально повиновалась ему. Ни он, ни она не произнесли ни слова. Туча зевак шла за ними следом в полном восторге, отпуская грубые шутки. Чем глубже несчастье, тем больше поводов для сквернословия.

Дойдя до полицейского участка, представлявшего собой отапливаемую печкой и охраняемую постовыми низкую комнату, со стеклянной зарешеченной дверью, выходящей прямо на улицу, Жавер отворил дверь и, войдя вместе с Фантиной, закрыл ее за собой, к великому разочарованию любопытных, которые, встав на цыпочки и вытянув шею, заглядывали в мутное стекло караульни, пытаясь что-нибудь увидеть. Любопытство подобно кревоугодию. Увидеть — все равно что полакомиться.

Войдя в комнату, Фантина опустилась на пол в углу, неподвижная и безмолвная, съежившись, как испуганная собачонка.

Караульный сержант принес зажженную свечу и поставил на стол. Жавер сел, вынул из кармана листок гербовой бумаги и принялся писать.

Этот разряд женщин всецело отдан нашим законодательством во власть полиции. Она делает с ними все, что хочет, наказывает их, как ей угодно, и, по своему усмотрению, отнимает у них два печальных блага, которые они называют своим ремеслом и своей свободой. Жавер казался бесстрастным, его суровое лицо не выдавало никаких чувств. Между тем он был серьезно и глубоко озабочен. Наступила одна из тех минут, когда он бесконтрольно, но отдавая полный отчет строгому суду собственной совести, должен был проявить грозную и неограниченную власть. В эту минуту — он сознавал это — табурет простого агента полиции становился судилищем. Он творил суд. Творил суд и выносил приговор. Он напрягал все свои умственные способности, чтобы как можно правильнее разрешить великую задачу, стоявшую

перед ним. Чем глубже он вникал в дело этой женщины, тем глубже становилось его возмущение. Только что он сам был свидетелем преступного действия, это было несомненно. Он сам видел там, на улице, как общество в лице домовладельца и избирателя подверглось нападению и оскорблению со стороны какой-то выброшенной за борт твари. Проститутка посягнула на буржуа. И он сам видел это, он, Жавер. Не прерывая молчания, он писал.

Кончив, он поставил свою подпись, сложил бумагу и, вручив ее сержанту, сказал:

— Возьмите трех солдат и отведите эту девку в тюрьму. — Потом, обернувшись к Фантине, добавил: — Ты отсидишь шесть месяцев.

Несчастливая задрожала.

— Шесть месяцев! Шесть месяцев тюрьмы! — вскричала она. — Шесть месяцев зарабатывать по семь су в день! Что же будет с Козеттой? С моей дочкой! С моей дочкой! Но ведь я и так должна Тенардье больше ста франков, знаете ли вы об этом, господин полицейский надзиратель?

Она поползла к нему на коленях по мокрому каменному полу, истоптанному грязными сапогами всех этих людей.

— Господин Жавер, — говорила она, в отчаянии ломая руки, — умоляю вас, пощадите меня. Уверяю вас, я не виновата. Если бы вы были там с самого начала, вы бы сами увидели, что это так! Клянусь вам господом богом, я не виновата. Этот господин, которого я даже не знаю, ни с того ни с сего сунул мне ком снега за ворот платья. Разве разрешается совать нам снег за ворот, когда мы спокойно ходим по улице и никого не трогаем? Меня всю так и перевернуло. Я, видите ли, не совсем здорова! А потом он и до этого довольно долго говорил мне разные обидные слова. Уродина! Беззубая! Я и без того знаю, что у меня нет зубов. Я ничего не делала, я думала про себя: «Ну что ж, этот господин забавляется». Я вела себя с ним по-хорошему, я с ним не разговаривала. Вот тут-то он и сунул мне снег за спину. Господин Жавер, добрый господин надзиратель! Неужели же там, за дверью, не найдется ни одного человека, который видел, как было дело, и мог бы подтвердить, что это правда? Может быть, нехорошо, что я рассердилась. Но знаете, в первую минуту

не владеешь собой. Бывает, и погорячишься. И когда вам на спину неожиданно попадает такое холодное... Я виновата, что испортила шляпу этого господина. Зачем он ушел? Я бы попросила у него прощения. О господи, мне это ничего не стоит, я бы попросила у него прощения. Помилуйте меня на этот раз, господин Жавер. Послушайте, вы же знаете, в тюрьме зарабатывают только по семь су в день, правительство в этом не виновато, но там зарабатывают только по семь су в день, а ведь я, вы можете себе представить, я ведь должна выплатить сто франков, или мне привезут мою крошку. Боже великий! Я не могу взять ее к себе. То, что я делаю, так гадко! О моя Козетта, мой маленький святой ангелочек, что только с ней будет, с моей бедной деткой! Вы знаете, эти Тенардые — крестьяне, трактирщики, их не урезонишь. Им нужны деньги, и все тут. Не сажайте меня в тюрьму! Ведь мою крошку сейчас же выбросят вон, на большую дорогу, иди куда глаза глядят, среди зимы. Вы должны сжалиться над ней, вы добрый, господин Жавер. Если бы она была постарше, она бы сама зарабатывала себе на жизнь, но она еще не может, она ведь совсем маленькая. В конце концов я не такая уж дурная женщина. Не подлость и не жадность сделали из меня то, чем я стала. Если я пила водку, то с горя. Я совсем ее не люблю, но она как-то оглушает. Когда мне лучше жилось, вам стоило бы только заглянуть в мои шкафы, и вы бы сразу увидели, что я не какая-нибудь ветреница и что я люблю порядок. У меня и белье было, много белья. Сжальтесь надо мной, господин Жавер!

Не поднимаясь с колен, согнувшись чуть не до земли, сотрясаясь от рыданий, ничего не видя от застилавших глаза слез, с полуобнаженной грудью, ломая руки и кашля сухим отрывистым кашлем, она говорила тихо, словно умирающая. Великая скорбь — это божественный и грозный луч, преображающий лица несчастных. В эту минуту Фантина снова была прекрасна. Время от времени она умолкала и кротко целовала у сыщика полу сюртука. Она смягчила бы каменное сердце; но деревянное сердце смягчить нельзя.

— Ну, — сказал Жавер, — хватит, я выслушал тебя! Ты, кажется, все сказала? Теперь ступай. Ты отсидишь

шесть месяцев, и сам господь бог не сможет тут ничего поделывать.

При этих торжественных словах: «Сам господь бог не может тут ничего поделывать», она поняла, что приговор произнесен. Она совсем припала к земле и прошептала:

— Помилуйте!

Жавер повернулся к ней спиной.

Солдаты схватили ее за руки.

За несколько минут до того, никем не замеченный, в комнату вошел какой-то человек. Закрыв за собой дверь и прислонившись к ней, он слышал отчаянные мольбы Фантины.

В тот миг, когда солдаты схватили несчастную женщину, не желавшую подняться с пола, он шагнул вперед, выступил из мрака и сказал:

— Погодите минуту!

Жавер поднял глаза и узнал г-на Мадлена. Он снял шляпу и поклонился ему принужденно и с досадой.

— Извините, господин мэр... — начал он.

Это обращение «господин мэр» произвело на Фантину странное действие. Она сразу встала на ноги, во весь рост, словно привидение, выросшее из-под земли, обеими руками оттолкнула солдат, которые не успели ее удержать, вплотную подошла к г-ну Мадлену и, устремив на него помутившийся взгляд, выкрикнула:

— Ах, вот что! Так это ты — господин мэр?!

И, разразившись хохотом, плюнула ему в лицо.

Господин Мадлен вытер лицо и сказал:

— Инспектор Жавер, отпустите эту женщину на свободу.

Жаверу показалось, что он сходит с ума. В эту минуту он испытал одно за другим, и почти одновременно, самые сильные душевные потрясения, какие ему когда-либо выпадали на долю. Увидеть своими глазами, как публичная женщина плюет в лицо мэру, было столь чудовищно, что даже при самых ужасных своих предположениях он считал бы святотатством одну мысль о возможности такого факта. С другой стороны, в глубине души он смутно и с отвращением сопоставлял то, чем была эта женщина, с тем, чем, может быть, некогда был этот мэр, и тогда, к его ужасу, совершившееся преступление

начинало представляться ему вполне естественным. Когда же этот мэр, этот государственный чиновник, спокойно вытер лицо и сказал: «Отпустите эту женщину на свободу», в голове у него все смешалось; он лишился дара мысли и дара речи; доступный ему предел изумления был превзойден. Он онемел.

Не менее странное действие произвела эта фраза и на Фантину. Она подняла обнаженную руку и схватилась за печную заслонку, словно у нее вдруг закружилась голова. Потом оглянувшись по сторонам и заговорила тихо, словно про себя:

— На свободу! Меня отпустят! Значит, я не сяду в тюрьму на шесть месяцев! Кто это сказал? Не может быть, чтобы кто-нибудь сказал это. Я, наверно, ослышалась. Этот изверг мэр не мог сказать такую вещь! Дорогой мой господин Жавер, ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу? Знаете что, я расскажу вам все, и тогда вы позволите мне уйти. Этот изверг, этот старый негодяй мэр один виноват во всем. Вообразите только, господин Жавер, что он выгнал меня из мастерской только из-за сплетен нескольких негодниц. Ну, разве это не чудовищно? Уволить бедную девушку, которая честно живет своим трудом! И тогда я стала зарабатывать слишком мало денег, с этого-то и начались все несчастья. Прежде всего вам, господам полицейским, следовало бы ввести одно улучшение — вам бы надо запретить тюремным подрядчикам причинять вред бедным людям. Сейчас я вам объясню, в чем дело. Вы зарабатываете шитьем рубах двенадцать су, вдруг заработок падает до девяти су, и вы никак не можете прожить на это. Ну, и живи, как знаешь. А у меня ведь была моя маленькая Козетта, вот мне и пришлось волей-неволей стать дурной женщиной. Теперь вы понимаете, что во всем виноват этот подлый мэр. Правда, я растоптала перед офицерской кофейней шляпу того господина, но ведь он погубил мне снегом все платье. А у нашей сестры только и есть одно шелковое платье, чтобы надевать по вечерам. Поверьте мне, господин Жавер, я никогда нарочно не делала зла, и все-таки кругом я вижу столько женщин, которые гораздо хуже меня, а живут гораздо счастливее. О господин Жавер, ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили? Правда? Наведите справки, спросите у моего квартирного хозяина, теперь я

во-время вношу квартирную плату, все скажут вам, что я честная женщина. Ой, господи! Простите меня, я нечаянно дотронулась до заслонки и надымила.

Господин Мадлен слушал ее с глубоким вниманием. Пока она говорила, он успел пошарить в своем кармане, вытащить оттуда кошелек и открыть его. Кошелек оказался пустым. Он спрятал его обратно в карман и спросил Фантину:

— Как вы сказали, сколько у вас долгу?

Фантина, не сводившая глаз с Жавера, обернулась в его сторону:

— Не с тобой говорят!

И обратилась к солдатам:

— А видели вы, ребята, как я плюнула ему в физиономию? Ага, старый мошенник мэр, ты пришел сюда, чтобы напугать меня, а я тебя не боюсь! Я боюсь только господина Жавера, моего доброго господина Жавера!

Сказав это, она снова обратилась к Жаверу:

— Видите ли, господин полицейский надзиратель, надо все-таки быть справедливым. Я понимаю, что вы человек справедливый, господин надзиратель. В самом деле, все это очень просто: мужчина для забавы сунул женщине за ворот немного снега и насмешил господ офицеров, — надо же людям чем-нибудь развлекаться, ведь такие, как я, только для этого и существуют на свете! А потом приходите вы, — вы должны ведь навести порядок; вот вы и уводите женщину, которая провинилась; но так как вы человек добрый, то, поразмыслив, вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу; это ради малютки, ведь если бы вы посадили меня на полгода в тюрьму, я не могла бы кормить мою крошку. Но смотри не попадайся снова, чертовка! О, больше я не попадусь, господин Жавер! Пусть теперь делают со мной все что угодно, я и не пикну. Сегодня, видите ли, я закричала потому, что мне стало нехорошо, я совсем не ожидала, что этот господин сунет мне снег за ворот, и потом, я уже говорила вам, я не совсем здорова, я кашляю, и здесь, в желудке, у меня словно клубок какой-то, так и жжет. Доктор сказал мне: «Лечитесь». Да вот, троньте, дайте руку, не бойтесь, вот здесь...

Она больше не плакала, голос ее звучал кротко, она прижимала к своей нежной белой груди громадную грубую руку Жавера и смотрела на него с улыбкой.

Вдруг она торопливо поправила платье, опустила задрывшуюся почти до колен юбку и пошла к двери. Дружески кивая головой солдатам, она проговорила вполголоса:

— Ну, ребята, господин надзиратель сказал, чтобы меня отпустили. Я ухожу.

Она положила руку на щеколду. Еще один шаг, и она была бы на улице.

До этой минуты Жавер стоял неподвижно, устремив глаза в землю, похожий на сдвинутую с места, поставленную боком статую, которая ждет, чтобы ее куда-нибудь убрали.

Стук щеколды пробудил его. Он поднял голову, лицо его выражало сознание своей неограниченной власти, — выражение, тем более пугающее, чем ниже стоит обладатель этой власти: свирепое у дикого зверя, жестокое у ничтожного человека.

— Сержант, — крикнул он, — разве вы не видите, что эта мерзавка уходит? Кто разрешил вам отпустить ее?

— Я, — сказал Мадлен.

Услышав голос Жавера, Фантина задрожала и выпустила щеколду, подобно тому как пойманный вор выпускает из рук украденную вещь. Услышав голос Мадлена, она обернулась и с этой минуты, не произнося ни слова, не осмеливаясь даже вздохнуть полной грудью, попеременно, в зависимости от того, который из них говорил, переводила взгляд с Мадлена на Жавера и с Жавера на Мадлена.

Было очевидно, что Жавер, как говорится, совершенно «спятил», если он позволил себе сказать сержанту то, что он сказал, после приказания мэра отпустить Фантину на свободу. Дошел ли он до того, что забыл о присутствии мэра? Решил ли, что «начальство» не могло отдать такого приказания и что господин мэр попросту оговорился? А может быть, перед лицом чудовищных событий, которые в течение последних двух часов разыгрывались перед его глазами, он убедил себя, что надо решиться на крайние меры, что необходимо низшему стать высшим,

сыщику сделаться чиновником, представителю полиции превратиться в представителя юстиции и что при создавшемся исключительном положении порядок, законность, нравственность, правительство — словом, все общество в целом олицетворяется в нем одним, в Жавере?

Как бы там ни было, но когда г-н Мадлен произнес: «Я», полицейский надзиратель Жавер обернулся к господину мэру, бледный, застывший, с посиневшими губами и полным отчаяния взглядом, весь дрожа едва заметной мелкой дрожью, и — неслыханное дело — сказал, опустив глаза, но твердым голосом:

— Господин мэр, это невозможно.

— Как так? — спросил г-н Мадлен.

— Эта дрянь оскорбила почтенного горожанина.

— Полицейский надзиратель Жавер, — возразил г-н Мадлен примирительным и спокойным тоном, — послушайте. Вы честный человек, и мы легко пойдем друг друга. Вот как обстояло дело. Я проходил по площади, когда вы уводили эту женщину; там еще оставались группы людей, я расспросил их и все узнал. Винават был этот господин, и по-настоящему полиции следовало арестовать именно его.

Жавер ответил:

— Эта мерзавка только что оскорбила вас, господин мэр.

— Это мое дело, — возразил г-н Мадлен. — Оскорбление касается, по-моему, только меня. Я могу отнестись к нему, как мне угодно.

— Прошу прощения, господин мэр, но оскорбление вашей особы касается не только вас, оно касается правосудия.

— Полицейский надзиратель Жавер, — возразил г-н Мадлен, — высшее правосудие — это совесть. Я слышал рассказ этой женщины и знаю, что я делаю.

— А я, господин мэр, не знаю, верить ли мне своим глазам.

— В таком случае ограничьтесь повиновением.

— Я повинуюсь долгу. Мой долг требует посадить эту женщину в тюрьму на шесть месяцев.

Господин Мадлен мягко ответил ему:

— Запомните хорошенько: она не проведет в тюрьме ни одного дня.

После этого решительного заявления Жавер отважился пристально взглянуть на мэра и сказал ему своим прежним, глубоко почтительным тоном:

— Мне очень жаль, что я должен послушаться господина мэра, это впервые в моей жизни, но осмелюсь заметить, что я действую в пределах своих полномочий. Ограничусь, если так угодно господину мэру, случаем, касающимся этого горожанина. Я был там. Эта самая девка набросилась на господина Баматабуа, избирателя и домовладельца. Именно ему и принадлежит красивый дом с балконом, что на углу площади, четырехэтажный, из тесаного камня. Вот оно, что бывает на белом свете! Как хотите, господин мэр, а это проступок, подлежащий ведению уличной полиции, за которую отвечаю я, и я арестую девицу Фантину.

Тогда г-н Мадлен скрестил руки на груди и произнес таким суровым тоном, какого еще никто в городе от него не слышал:

— Проступок, о котором вы говорите, подлежит рассмотрению муниципальной полиции. Согласно статье девятой, одиннадцатой, пятнадцатой и шестьдесят шестой свода уголовных законов, подобные проступки подсудны мне. Приказываю отпустить эту женщину на свободу.

Жавер хотел было сделать еще одну последнюю попытку:

— Однако, господин мэр...

— Что касается вас, то напоминаю вам статью восемьдесят первую закона от тринадцатого декабря тысяча семьсот девяносто девятого года о произвольном аресте.

— Позвольте, господин мэр...

— Ни слова больше.

— Но я...

— Ступайте, — сказал г-н Мадлен.

Жавер принял этот удар грудью, не дрогнув, не опустив глаза, как русский солдат. Он низко поклонился господину мэру и вышел.

Фантина, посторонившись, застыла у дверей, изумленно глядя ему вслед.

Она тоже была во власти странного смутения. Только что здесь из-за нее происходил как бы поединок двух

враждебных сил. На ее глазах боролись два человека, которые держали в руках ее свободу, ее жизнь, ее душу, ее ребенка; один из этих людей тянул ее в сторону мрака, другой возвращал к свету. Она смотрела на борьбу этих людей расширенными от страха глазами, и ей казалось, что перед ней два исполина; один говорил, как ее злой дух, другой — как добрый ангел. Ангел победил злого духа, и этим ангелом, — вот что заставляло ее дрожать с головы до ног, — этим освободителем оказался тот самый человек, которого она ненавидела, тот самый мэр, которого она так долго считала виновником всех своих бедствий, тот самый Мадлен! И он спас ее в ту именно минуту, когда она нанесла ему такое ужасное оскорбление! Неужели она ошиблась? Неужели ей предстояло переделать всю свою душу?.. Она не знала, что думать, она трепетала. Она слушала, она смотрела, ошеломленная, растерянная, и чувствовала, как с каждым словом г-на Мадлена в ней тает и рассеивается чудовищный мрак ненависти, как отогревается сердце и как зарождается в нем что-то неизъяснимое, таившее в себе радость, доверие и любовь.

Когда Жавер вышел, г-н Мадлен обернулся к ней и медленно, с трудом выговаривая каждое слово, как сдержанный человек, который не хочет дать волю слезам, сказал ей:

— Я слышал то, что вы рассказали. Я ничего не знал об этом. Думаю, что все это правда, и больше того, чувствую, что все это правда. Я не знал даже, что вы работали в моей мастерской. Отчего же вы не обратились прямо ко мне? Впрочем, теперь уж об этом нечего говорить; я заплачу ваши долги, я пошлю за вашим ребенком или вы сами поедете к нему. Вы будете жить здесь или в Париже, где захотите. Я беру на себя заботу о вашем ребенке и о вас. Вы не будете больше работать, если сами не пожелаете. Я буду давать вам столько денег, сколько понадобится. Вы снова будете счастливы, а став счастливой, снова станете честной. И даже, — слушайте, я утверждаю это, — если только все было так, как вы говорите, а я в этом не сомневаюсь, то вы никогда и не переставали быть чистой и непорочной перед богом. О бедная женщина!

Это было свыше сил бедной Фантины. Взять к себе Козетту! Бросить эту гнусную жизнь! Жить свободно, богато, счастливо, честно и с Козеттой! Внезапно увидеть, как посреди ее горестей расцветает райское блаженство! Она взглянула на человека, который говорил ей все это, почти бессмысленным взглядом, и могла лишь простонать: «О-о-о!» Ноги у нее подкосились, она упала на колени перед Мадленом, и, прежде чем он успел помешать ей, он почувствовал, как она схватила его руку и припала к ней губами.

Тут она лишилась сознания.

Книга шестая

ЖАВЕР

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Начало отдохновения

Господин Мадлен велел перенести Фантину в больницу, устроенную им в том доме, где жил он сам, и поручил ее сестрам, которые сразу же уложили ее в постель. У нее открылась сильнейшая горячка. Почти всю ночь она была без памяти и громко бредила. Однако под утро она все же уснула.

На другой день около полудня Фантина проснулась и услышала у своей постели, совсем близко, чье-то дыхание; она отвернула полог и увидела стоявшего подле нее г-на Мадлена, который устремил взгляд куда-то поверх ее головы. Взгляд этот был полон тревоги и сострадания и молил о чем-то. Она проследила направление этого взгляда и увидела, что он был обращен к висевшему на стене распятию.

Отныне г-н Мадлен совершенно преобразился в глазах Фантины. Ей казалось, что от него исходит сияние. Видимо, он был погружен в молитву. Она долго смотрела на него, не осмеливаясь нарушить его задумчивость. Наконец она робко проговорила:

— Что это вы делаете?

Господин Мадлен стоял здесь уже целый час. Он ждал, когда Фантина проснется. Взяв ее за руку, он пощупал пульс и спросил:

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо, я немного поспала, — ответила она, — кажется, мне лучше. Это скоро пройдет.

Тогда, отвечая на вопрос, который она задала ему вначале, и как будто только что услышав его, он сказал:

— Я молился страдальцу, который там, в небесах.

И мысленно добавил: «За страдальцу, которая здесь, на земле».

Ночь и утро г-н Мадлен провел в розысках. Теперь он знал все. История Фантины стала известна ему во всех ее душераздирающих подробностях. Он продолжал:

— Вы много выстрадали, бедная мать. О, не сетуйте, ваш удел — удел избранных! Ибо именно таким путем люди создают ангелов. Люди не виноваты: они не умеют делать это по-иному. Тот ад, из которого вы вышли, — начало рая. Пройти через него было необходимо.

Он глубоко вздохнул. А она улыбалась ему своей особенной улыбкой, которой недостаток двух передних зубов придавал высшую красоту.

Этой же ночью Жавер написал письмо. Утром он сам сдал это письмо в почтовую контору Монрейля-Приморского. Оно было адресовано в Париж, и надпись на конверте гласила: «*Господину Шабулье, секретарю господина префекта полиции*». Так как происшествие в полицейском участке получило широкую огласку, почтмейстерша и еще несколько человек, видевшие письмо до того, как оно было отправлено, и узнавшие на конверте почерк Жавера, решили, что он посылает прошение об отставке.

Господин Мадлен поспешил написать супругам Тенардь. Фантина задолжала им сто двадцать франков. Он послал триста, с тем чтобы они взяли себе причитающуюся им сумму, а на остальные немедленно привезли ребенка в Монрейль-Приморский, где его ожидает больная мать.

Тенардь был потрясен. «Чорт побери, — сказал он жене, — мы не выпустим из рук ребенка. Вот когда эта пичуга превратится в дойную корову. Я догадываюсь, в чем тут дело. Какой-нибудь простофиля втюрился в мамашу».

Он прислал в ответ искусно составленный счет на пятьсот с чем-то франков. В этом счете фигурировали два других неоспоримых счета, один от врача, другой от аптекаря, которые лечили и снабжали лекарствами Эпонину и

Азельму, перенесших длительную болезнь. Что касается Козетты, то, как мы уже говорили, она не была больна. Пришлось сделать лишь маленькую подтасовку имен. Под счетом Тенардье приписал: «Получено в счет долга триста франков».

Господин Мадлен немедленно послал еще триста франков и написал: «Поскорее привезите Козетту».

— Чорта с два! — сказал Тенардье. — Нет, мы не выпустим из рук ребенка.

Между тем Фантина все не поправлялась. Она попрежнему лежала в больнице.

Вначале сестры приняли «эту девку» и ухаживали за ней с каким-то брезгливым чувством. Кто видел барельефы в Реймском соборе, тот помнит, как презрительно оттопырены губы дев мудрых, взирающих на дев неразумных. Это извечное презрение весталок к блудницам вытекает из чувства женского достоинства. Сестры оказались во власти этого глубочайшего инстинкта, еще усиленного в них набожностью. Однако Фантина очень быстро обезоружила их. Все ее слова были проникнуты кротостью и смирением, а страстная материнская любовь невольно смягчала сердце. Однажды сестры слышали, как она громко бредила в жару: «Я была грешницей, но когда ко мне вернется мое дитя, это будет означать, что бог простил меня. Пока я вела дурную жизнь, мне не хотелось, чтобы моя Козетта была со мной, я не могла бы вынести ее удивленного и грустного взгляда. Но ведь я и грешила ради нее одной, вот почему бог прощает меня. Когда Козетта будет здесь, я почувствую на себе благословение господа бога. Я взгляну на нее, и при виде этого невинного создания мне станет легче. Она ничего еще не знает. Понимаете, сестрицы, ведь это ангел. Пока они такие маленькие, крылышки у них еще не отпали».

Господин Мадлен навещал ее по два раза в день, и всякий раз она спрашивала его:

— Скоро ли я увижу мою Козетту?

Он отвечал:

— Возможно, что завтра утром. Я жду ее приезда с минуты на минуту.

И бледное лицо матери сияло.

— О, как я буду счастлива! — говорила она.

Мы уже сказали, что она не поправлялась. Напротив, состояние ее как будто ухудшалось с каждой неделей. Этот ком снега, попавший ей на голую спину между лопаток, вызвал внезапное исчезновение испарины, и болезнь, назревавшая в ней в течение нескольких лет, вдруг разразилась с необычайной силой. В то время при исследовании и лечении грудных болезней уже начинали руководствоваться полезными советами Лаэнека. Врач выслушал Фантину и покачал головой.

Господин Мадлен спросил врача:

— Ну, как?

— У нее, кажется, есть ребенок, которого она хочет видеть? — ответил врач вопросом.

— Да.

— Так поторопитесь с его приездом.

Господин Мадлен вздрогнул.

Фантина спросила у него:

— Что сказал врач?

Сделав над собой усилие, г-н Мадлен улыбнулся.

— Он сказал, что надо поскорее послать за вашим ребенком и что это вылечит вас.

— О да! — вскричала она. — Он прав. Почему только эти Тенардые так долго держат у себя мою Козетту? Но она придет. О, наконец-то счастье близко, оно тут, я уже вижу его!

Тенардые, однако, «не выпускал ребенка из рук» и отвиливал всевозможными способами. То Козетта не совсем здорова и нельзя ей пускаться в путь посреди зимы. То ему надо получить в деревне мелкие просроченные долги и т. д., и т. д.

— Я пошлю кого-нибудь за Козеттой, — сказал дядюшка Мадлен. — А если понадобится, поеду сам.

Под диктовку Фантины он написал следующее письмо, которое дал ей подписать:

«Господин Тенардые,

Отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены. Остаюсь с уважением

Фантина».

Тем временем произошло важное событие. Тщетно пытаемся мы как можно искуснее обтесывать таинственную глыбу, которую мы называем нашей жизнью. Черная жилка рока неизменно проступает на ее поверхности.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Каким образом Жан может превратиться в Шан

Однажды утром, когда г-н Мадлен сидел у себя в кабине и занимался приведением в порядок некоторых срочных дел мэрии на случай своей поездки в Монфермейль, ему сказали, что с ним желает говорить полицейский надзиратель Жавер. Услышав это имя, г-н Мадлен не мог подавить в себе неприятное чувство. Со времени происшествия в полицейском участке Жавер избегал его более чем когда-либо, и с тех пор г-н Мадлен ни разу его не видел.

— Пусть войдет, — сказал он.

Жавер вошел.

Господин Мадлен продолжал сидеть у камина, с пером в руке, не поднимая глаз от папки с протоколами о нарушении правил распорядка на общественных дорогах, которую он просматривал, делая пометки. При появлении Жавера он даже не пошевелился. Совершенно невольно он вспомнил о бедной Фантине и счел уместным проявить холодность.

Жавер почтительно поклонился г-ну мэру, который сидел к нему спиной. Г-н мэр не обернулся и продолжал делать пометки на бумагах.

Жавер сделал два-три шага вперед и, не прерывая молчания, остановился.

Физиономист, хорошо знакомый с натурой Жавера и в течение долгого времени изучавший этого дикаря, состоявшего на службе у цивилизации, это странное сочетание римлянина, спартанца, монаха и капрала, этого неспособного на ложь шпика и непорочного сыщика, — физиономист, которому была бы известна его затаенная и давняя ненависть к г-ну Мадлену и его столкновение с мэром из-за Фантины, наблюдая Жавера в эту минуту, непременно сказал бы себе: «Что-то случилось». Всякому

человеку, знающему его совесть, непоколебимую, ясную, искреннюю, честную, суровую и свирепую, стало бы ясно, что во внутренней жизни Жавера только что произошло какое-то крупное событие. Все, что лежало на душе у Жавера, немедленно отражалось и на его лице. Как все люди с сильными страстями, он был подвержен резким сменам настроения, но никогда еще выражение его лица не было так необычно и так странно. Войдя, он поклонился г-ну Мадлену, причем во взгляде его не было сейчас ни злобы, ни гнева, ни подозрительности; он остановился в нескольких шагах от мэра, позади его кресла, и теперь стоял почти навтыжку, с безыскусственным и суровым хладнокровием человека, который никогда не отличался кротостью, но всегда обладал терпением; он ждал без единого слова или жеста, полный непритворного смирения и спокойной покорности, когда г-ну мэру угодно будет обернуться к нему, ждал невозмутимый, серьезный, сняв шапку и опустив глаза, словно солдат перед офицером или преступник перед судьей. Все чувства и все воспоминания, какие можно было в нем предположить, исчезли. На этом лице, простом и непроницаемом, как гранит, не было теперь ничего, кроме угрюмой печали. Все его существо выражало приниженность, решимость и какое-то мужественное уныние.

Наконец г-н мэр положил перо и, полуобернувшись, спросил:

— Ну! Что такое? В чем дело, Жавер?

Жавер с минуту молчал, словно собираясь с мыслями, потом заговорил с грустной торжественностью, не лишенной, однако, простоты:

— Дело в том, господин мэр, что совершено преступное деяние.

— Какое?

— Один из низших чинов администрации проявил неуважение к важному должностному лицу и притом самым грубым образом. Считаю своим долгом довести об этом до вашего сведения.

— Кто этот низший чин администрации? — спросил г-н Мадлен.

— Я, — сказал Жавер.

— Вы?

— Я.

— А кто то должностное лицо, которое имеет основания быть недовольным этим низшим чином?

— Вы, господин мэр.

Господин Мадлен приподнялся со своего кресла. С суровым видом, попрежнему не поднимая глаз, Жавер продолжал:

— Господин мэр, я пришел просить вас, чтобы вы потребовали у начальства моего увольнения.

Господин Мадлен, изумленный, хотел было что-то сказать, но Жавер прервал его:

— Вы скажете, что я мог бы подать в отставку и сам. Но этого недостаточно. Подать в отставку — это почетно. Я совершил проступок, я должен быть наказан. Надо, чтобы меня выгнали.

И, помолчав, он добавил:

— Господин мэр, в прошлый раз вы были несправедливы, когда обошлись со мной так строго. Сегодня это будет справедливо.

— Да почему? За что? — вскричал г-н Мадлен. — Что за вздор! Что все это значит? В чем же оно состоит, это ваше преступное деяние, направленное против меня? Что вы мне сделали? В чем ваша вина передо мной? Вы обвиняете себя, вы хотите, чтобы вас сместили...

— Выгнали, — поправил его Жавер.

— Хорошо, выгнали. Пусть будет так. Но я не понимаю...

— Сейчас поймете, господин мэр.

Жавер глубоко вздохнул и продолжал все так же холодно и печально:

— Господин мэр, полтора месяца назад, после истории с той девкой, я был вне себя от ярости, и я донес на вас.

— Донесли?

— Да. В полицейскую префектуру Парижа.

Господин Мадлен, смеявшийся немногим чаще, чем Жавер, вдруг рассмеялся.

— Как на мэра, вмешавшегося в распоряжения полиции?

— Нет, как на бывшего каторжника.

Мэр сделался бледен, как полотно.

Жавер, все еще не поднимая глаз, продолжал:

— Я думал, что это так. У меня давно уже были кое-какие подозрения. Сходство, справки, которые вы навели в Фавероле, ваша необыкновенная физическая сила, история со стариком Фошлеваном, ваше искусство в стрельбе, нога, которую вы слегка волочите, — не знаю и сам, что еще... разные пустяки! Но так или иначе, а я принимал вас за некоего Жана Вальжана.

— За некоего... Как вы его называли?

— За Жана Вальжана. Это каторжник, которого я видел двадцать лет назад, когда служил помощником надзирателя на тулонских галерах. Говорят, что по выходе из острога этот Жан Вальжан обокрал епископа, потом совершил еще одно вооруженное нападение — ограбил на большой дороге маленького савояра. Восемь лет тому назад он каким-то образом скрылся, его разыскивали. Я и вообразил себе... Словом, я сделал это. Гнев подтолкнул меня, и я донес на вас в префектуру.

Господин Мадлен, который уже несколько минут снова занимался своими протоколами, спросил с выражением полнейшего равнодушия:

— И что же вам там ответили?

— Что я сошел с ума.

— Ну?

— Ну, и они были правы.

— Хорошо, что вы сами сознаете это!

— Еще бы не сознавать, когда настоящий Жан Вальжан нашелся.

Листок бумаги, который держал г-н Мадлен, выскользнул у него из рук; он поднял голову, пристально посмотрел на Жавера и сказал с неизъяснимым выражением:

— Ах, так!

Жавер продолжал:

— Вот как это было, господин мэр. Говорят, что в нашем округе, возле Альи-Высокая-Колокольня, жил какой-то старикашка, по имени Шанматье. Это был настоящий голяк, и никто не замечал его. Неизвестно, на что живет этот народец. И вот недавно, нынешней осенью, дядю Шанматье арестовали за кражу яблок, из которых готовят сидр, совершенную им у... впрочем, это неважно. Там имели место кража, проникновение в сад через забор и повреждение веток на дереве. И вот нашего Шанматье поймали с поличным: ветка яблони так и осталась у него

в руке. Негодяя сажают в кутузку. Пока что дело пахло исправительным домом, не больше. Но тут-то и вмешивается провидение. Местная тюрьма была в плохом состоянии, и судебный следователь счел нужным перевести Шанматье в Аррас, в департаментскую тюрьму. В этой самой аррасской тюрьме сидит бывший каторжник Бреве. Не знаю, право, за что его там держат, но за хорошее поведение он назначен старостой камеры. Так вот, господин мэр, не успел этот Шанматье войти туда, как Бреве закричал: «Эге! Да я знаю этого человека. Это старый острожник. Погляди-ка на меня, дружище! Ты — Жан Вальжан!..» — «Жан Вальжан? Какой Жан Вальжан?» — Шанматье прикидывается удивленным. «Не валяй дурака, — говорит тогда Бреве. — Ты — Жан Вальжан! Двадцать лет назад ты был на каторге в Тулоне. И я был там вместе с тобой». Шанматье отпирается. Чорт возьми! Вы, конечно, понимаете, почему! Начинается расследование. Раскапывают всю эту историю. И вот что обнаружилось. Тридцать лет назад этот самый Шанматье был подрезальщиком деревьев в разных местах и в том числе в Фавероле. Тут его след пропадает. Однако спустя долгое время он снова появляется в Оверни, потом в Париже, где, по его словам, он был тележником и где у него дочь-прачка, что не доказано, и, наконец, он оказывается в этих краях. Ну-с, кем же был Жан Вальжан до того, как попал на каторгу за кражу? Подрезальщиком деревьев. Где? В Фавероле. Еще одно обстоятельство. Крестное имя этого Вальжана было Жан, а мать его носила до замужества фамилию Матье. Вполне естественно будет предположить, что по выходе из острога он, чтобы скрыть прошлое, принял фамилию матери и назвался Жан Матье. Он отправляется в Овернь. Имя Жан местное произношение превращает в Шан, и его начинают называть Шан Матье. Наш приятель не возражает, и вот вам — Шанматье! Вы ведь следите за моим рассказом? Навели справки в Фавероле. Семьи Жана Вальжана там уже не оказалось. Где она — неизвестно. Знаете, среди людей этого класса нередко такие исчезновения целого семейства. Вы ищете — и никого уже не находите. Если эти люди не грязь, то они — пыль. И так как от начала этих событий прошло тридцать лет, в Фавероле нет теперь никого, кто бы помнил Жана Вальжана. Тогда обращаются за справ-

ками в Тулон. Кроме Бреве, остались только два каторжника, которые когда-то видели Жана Вальжана. Это приговоренные к пожизненной каторге Кошпайль и Шенильдье. Их выписывают из острога и привозят в Аррас. Устраивают им очную ставку с так называемым Шанматье. У них нет сомнений. Для них, как и для Бреве, это Жан Вальжан. Тот же возраст — ему пятьдесят четыре года, — тот же рост, та же наружность, — словом, тот же человек, тот самый. Вот в это-то время я и послал донос в парижскую префектуру. Мне ответили, что я сошел с ума и что Жан Вальжан находится в Аррасе в руках полиции. Вы понимаете, как это удивило меня? Ведь я-то считал, что этот Жан Вальжан здесь и что я держу его в руках! Я написал судебному следователю. Он вызвал меня, мне показали Шанматье...

— И что же? — прервал его г-н Мадлен.

Лицо Жавера, не умеющего лгать, было печально. Он ответил:

— Господин мэр, правда есть правда. Мне очень досадно, но этот человек несомненно Жан Вальжан. Я тоже узнал его.

— Вы уверены в этом? — спросил г-н Мадлен очень тихо.

Жавер рассмеялся тем горьким смехом, который невольно вырывается у человека, глубоко убежденного в своей правоте.

— Еще бы!

Задумавшись, он с минуту машинально перебирал пальцами в песочнице, стоявшей на столе, мелкий песок для просушки чернил, затем добавил:

— И теперь, когда я увидел настоящего Жана Вальжана, я и сам не понимаю, как это я мог думать иначе. Простите меня, господин мэр.

Обращая эти значительные, молящие о прощении слова к тому, кто полтора месяца тому назад унизил его в полицейском участке, сказав в присутствии всех: «Ступайте!», Жавер, этот высокомерный человек, был, сам того не зная, исполнен простоты и достоинства. Г-н Мадлен ответил на его просьбу лишь следующим внезапным вопросом:

— А что говорит этот человек?

— Да что уж, господин мэр, его дело плохо! Если это

Жан Вальжан, тут рецидив. Перепрыгнуть через забор, сломать ветку, стянуть несколько яблок — для ребенка это шалость, для взрослого — проступок, для каторжника — преступление. Это кража, и притом за оградой владения. Тут уж пахнет не исправительной полицией, а судом присяжных. Не несколькими днями тюрьмы, а пожизненной каторгой. К тому же имеется еще история с маленьким савояром, которая, надеюсь, всплывет наружу. Чорт побери, тут уж есть от чего открещиваться, не так ли? Да, для всякого другого, но не для Жана Вальжана. Жан Вальжан хитрая бестия! Вот еще одна черта, по которой я его узнаю. Другой почуял бы, что тут можно обжечься, стал бы бесноваться, кричать — и котелок закипает, когда ставишь его на огонь, — другой не согласится быть Жаном Вальжаном и так далее и тому подобное. А этот делает вид, что ничего не понимает, и говорит: «Я Шанматье, я не был на каторге!» Он прикидывается удивленным, он разыгрывает из себя тупицу, и это куда умнее. О, это ловкая шельма! Ну, да все равно, доказательства налицо. Его опознали четыре человека. Старый мошенник будет осужден. Дело передано в аррасский суд! Я еду туда. Меня вызывают свидетелем.

Между тем г-н Мадлен снова отвернулся к своему письменному столу и спокойно разбирал бумаги, читая их и делая пометки с видом сильно занятого человека. Наконец он обратился к Жаверу:

— Ну, довольно, Жавер. В сущности говоря, меня все эти подробности мало интересуют. Мы теряем время, а у нас есть срочные дела. Вот что, Жавер, немедленно сходите к тетушке Бюзопье, которая торгует зеленью на углу улицы Сен-Сольв, и скажите ей, чтобы она подала жалобу на возчика Пьера Шенелонга. Этот скот едва не раздавил своей телегой и ее и ее ребенка. Он должен понести наказание. Затем вы пойдете к господину Шарселе, улица Монтр-де-Шампиньи. Он жалуется, что дождевая вода из водосточной трубы соседа стекает прямо под фундамент его дома и размывает его. Затем проверьте, действительно ли имеют место нарушения полицейских правил в домах вдовы Дорис на улице Гибур и госпожи Рене ле Босе на улице Гаро-Блан, и составьте протоколы. Впрочем, я даю вам слишком много поручений. Вы ведь, кажется, собираетесь уезжать? Если не ошибаюсь, вы сказали, что

дней через восемь или десять едете в Аррас по этому делу?..

— Нет, господин мэр, раньше.

— Когда же?

— Мне казалось, что я уже сказал вам, господин мэр, — дело разбирается в суде завтра, я еду сегодня с вечерним дилижансом.

Господин Мадлен сделал едва уловимое движение.

— И сколько времени оно продлится?

— Самое большее — день. Приговор будет вынесен не позже, чем завтра вечером. Но я не буду ждать приговора. Тут дело верное. Дам показание и сейчас же вернусь сюда.

— Хорошо, — сказал г-н Мадлен.

И он жестом отпустил Жавера.

Однако Жавер не уходил.

— Простите, господин мэр, — сказал он.

— Что еще? — спросил г-н Мадлен.

— Господин мэр, мне остается еще напомнить вам об одном обстоятельстве.

— О каком?

— О том, что я должен быть уволен со службы.

Господин Мадлен встал.

— Жавер, вы честный человек, и я уважаю вас. Вы преувеличиваете свою вину. К тому же это оскорбление опять-таки касается одного меня. Жавер, вы заслуживаете повышения, а не понижения. Я настаиваю на том, чтобы вы остались на своем месте.

Жавер взглянул на г-на Мадлена своим правдивым взглядом, сквозь который словно просвечивала его немудрая, но чистая и неподкупная совесть, и спокойно возразил:

— Господин мэр, я не могу согласиться с вами.

— Повторяю, это касается меня одного, — сказал г-н Мадлен.

Но Жавер, поглощенный все той же мыслью, продолжал:

— Что до преувеличения, то нет, я ничего не преувеличил. Вот как я рассуждаю. Я несправедливо заподозрил вас. Однако это еще терпимо. Подозревать — наше право, право полиции; хотя подозревать лиц, стоящих выше себя, — в этом уже, пожалуй, кроется некоторое

беззаконие. Но вот, не имея доказательств, в порыве гнева, из мести, я донес на вас как на каторжника, на вас, почтенного человека, мэра, на должностное лицо! Это предосудительно, весьма предосудительно. В вашем лице я, представитель власти, оскорбил власть! Если бы кто-либо из моих подчиненных сделал то, что сделал я, я считал бы его недостойным служить в полиции и выгнал бы со службы. И что же? — спросите вы. Так вот, послушайте, господин мэр, еще два слова. Я в своей жизни частенько бывал строг. По отношению к другим. Это было справедливо. Я поступал правильно. И если бы теперь я не оказался строг по отношению к самому себе, все то справедливое, что я делал, стало бы несправедливым. Разве я имею право щадить себя больше, нежели других? Нет. Как! Я, значит, был годен лишь на то, чтобы карать всех, кроме самого себя? Но в таком случае я был бы презренным человеком! Но в таком случае все те, которые говорят: «Что за подлец этот Жавер!», оказались бы правы! Господин мэр, я не хочу, чтобы вы были добры ко мне; ваша доброта испортила мне немало крови, когда она была обращена на других, и я лично отказываюсь от нее. Доброта, отдающая предпочтение публичной девке перед почтенным горожанином, агенту полиции перед мэром, тому, кто внизу, перед тем, кто наверху, — такую доброту я считаю дурной добротой. Именно эта доброта и разрушает общественный строй. Господи помилуй! Быть добрым очень легко, быть справедливым — вот что трудно! Окажись вы тем, за кого я вас принимал, — ого! я бы уж не был добр с вами; вы бы тогда увидели! Господин мэр, я обязан поступить с самим собой так же, как поступил бы со всяким другим. Преследуя злодеев и расправляясь с негодяями, я часто повторял себе: «Смотри у меня! Если ты споткнешься, если только я поймаю тебя на каком-нибудь промахе, пощады не жди!» И я споткнулся, я совершил промах. Тем хуже для меня! Уволен, прогнан, вышвырнут! Пусть, так и надо. У меня есть руки, пойду работать землепашцем, кем угодно. Господин мэр, интересы службы требуют, чтобы был показан пример. И я прошу об увольнении полицейского надзирателя Жавера.

Все это было произнесено смиренным, гордым, безнадешным и убежденным тоном, придававшим какое-то своеобразное величие этому странному носителю чести.

— Посмотрим, — проговорил г-н Мадлен.

И протянул ему руку.

Жавер отступил и произнес непримиримо суровым тоном:

— Прошу прощения, господин мэр, но это недопустимо. Мэр не подает руки доносчику.

И он добавил сквозь зубы:

— Да, доносчику! С той минуты, как я употребил во зло полицейскую власть, я не более как доносчик.

Затем он низко поклонился и направился к двери.

Здесь он обернулся и сказал, попрежнему не поднимая глаз:

— Господин мэр, я не оставляю службы до тех пор, пока мне не назначат заместителя.

Он вышел. Г-н Мадлен сидел в задумчивости, прислушиваясь к звуку твердых и уверенных шагов, постепенно затихавших на каменных плитах коридора.

Книга седьмая

ДЕЛО ШАНМАТЬЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Сестра Симплиция

Не все происшествия, о которых сейчас пойдет речь, стали известны в Монрейле-Приморском, но и то немногое, что проникло туда, оставило в этом городе такое потрясающее воспоминание, что в нашей книге оказался бы большой пробел, если бы мы не рассказали о них в мельчайших подробностях.

Среди этих подробностей читатель встретит два или три обстоятельства, которые покажутся ему неправдоподобными, но мы сохраним их из уважения к истине.

После посещения Жавера, около полудня г-н Мадлен, как обычно, отправился навестить Фантину.

Прежде чем войти в ее палату, он вызвал к себе сестру Симплицию.

Две монахини, служившие сиделками в больнице, были, как и все сестры милосердия, лазаристками. Одну из них звали сестра Перепетуя, другую — сестра Симплиция.

Сестра Перепетуя, попросту сиделка, была самая обыкновенная крестьянка, поступившая в услужение к господу богу, как она поступила бы на всякое другое место. Она пошла в монахини, как идут в кухарки. Подобный тип далеко не редкость. Монашеские ордена охотно прибирают к рукам эту грубую мужицкую глину, из которой нетрудно вылепить что угодно: и капуцина и урсулинку. Эту деревенщину обычно посылают на черную работу благочестия. Превращение волопаса в кармелита совершается очень просто; первый становится вторым без

особых затруднений; невежество, объединяющее деревню и монастырь, быстро подготавливает почву для сближения и сразу ставит сельского жителя на один уровень с монахом. Блуза пошире — вот вам и ряса. Сестра Перепетуя была здоровенная монахиня, родом из Марина близ Понтуазы; дерзкая, честная и краснощекая, она говорила на языке простонародья, бормотала псалмы, брюзжала, подслащала лекарственный отвар, в зависимости от степени ланжества или лицемерия пациента, грубила больным, ворчала на умирающих, почти насильно навязывала им бога и сердито глушила их агонию молитвами.

Сестра Симплиция была бела чистейшей белизною воска. Рядом с сестрой Перепетуей она напоминала восковую свечу, стоящую возле сальной. Венсен де Поль превосходно запечатлел образ сестры милосердия в тех прекрасных словах, где слиты воедино безграничная свобода и полное порабощение: «Не будет у них иной обители — как больница, иной кельи — как наемный угол, иной часовни — как приходская церковь, иного монастырского двора — как улицы города или же больничные палаты, иной ограды — как послушание, иной решетки — как страх божий, иного покрывала — как скромность». Сестра Симплиция являлась олицетворением этого идеала. Никто не знал возраста сестры Симплиции; она никогда не была молода и, казалось, никогда не будет старой. Это была особа — мы не смеем сказать «женщина» — кроткая, строгая, хорошо воспитанная, холодная и не солгавшая ни разу в жизни. Она была до того кротка, что казалась хрупкой, и в то же время была крепче гранита. Она прикасалась к страждущим чудесными пальцами, тонкими и прозрачными. От ее речей словно веяло тишиной; она говорила ровно столько, сколько было необходимо, и звук ее голоса в одинаковой степени мог бы наставить грешника в исповедальне и очаровать слушателя в светской гостиной. И это нежное создание охотно мирилось с грубым шерстяным платьем, чувствуя в его жестком прикосновении постоянное напоминание о небесах и о боге. Подчеркнем одну особенность. Полная неспособность солгать, никогда в жизни не сказать, даже по необходимости, даже невольно, чего бы то ни было, не соответствующего истине, — такова была отличительная черта характера сестры Симплиции, такова была высшая ее добродетель. Эта

непоколебимая правдивость снискала ей славу чуть ли не во всей конгрегации. Аббат Сикар упоминает о сестре Симплиции в письме к глухонемому Масье. «Как бы искренни, как бы чисты мы ни были, в нашей правдивости всегда можно найти трещинку — трещинку мелкой невинной лжи. Но только не у сестры Симплиции». Мелкая ложь, невинная ложь — да полно, существует ли она! Ложь — это воплощение зла. Солгать немного — невозможно; тот, кто лжет, лжет до конца; ложь — это олицетворение дьявола; у Сатаны есть два имени: он зовется Сатаной, и он зовется Ложью. Так думала она. И как думала, так и поступала. Отсюда и проистекала та чистейшая белизна, о которой мы уже говорили, — белизна, сияние которой распространялось даже на ее уста и глаза. У нее была сияющая чистотой улыбка, у нее был сияющий чистотой взгляд. В окне этой совести не было ни одной паутинки, ни одной пылинки. Вступая в общину Сен-Венсен де Поль, она приняла имя Симплиции, и выбор ее был не случаен. Как известно, Симплиция Сицилийская — это та святая, которая дала вырвать себе обе груди, но, будучи уроженкой Сиракуз, не согласилась сказать, что родилась в Сежесте, хотя эта ложь спасла бы ее. Она была подходящей заступницей для этой святой души.

У сестры Симплиции, когда она вступала в общину, были две слабости, от которых она постепенно избавилась: она питала пристрастие к сладостям, и она любила получать письма. Она никогда ничего не читала, кроме молитвенника, написанного крупным шрифтом и по-латыни. Она не понимала латыни, но понимала молитвенник.

Благочестивая девушка привязалась к Фантине, очевидно чувствуя в ней скрытую добродетель, и посвятила себя почти исключительно уходу за ней.

Господин Мадлен отвел сестру Симплицию в сторону и каким-то странным тоном, который припомнился сестре несколько позже, попросил ее позаботиться о Фантине.

Переговорив с сестрой, он подошел к Фантине.

Фантина каждый день так ждала появления г-на Мадлена, как ждут солнечного луча, несущего с собой тепло и радость. Она говорила сестрам: «Я голько тогда и живу, когда приходит господин мэр».

В этот день ее сильно лихорадило. Увидев г-на Мадлена, она сейчас же спросила:

— А Козетта?

— Скоро, — ответил он, улыбаясь.

Господин Мадлен держал себя с Фантиной так же, как обычно. Только вместо получаса он, к великому удовольствию Фантины, просидел целый час. Он тысячу раз повторил окружающим, что больная ни в чем не должна нуждаться. Все заметили, что на минуту лицо его стало очень мрачным. Однако это объяснилось, когда узнали, что врач, нагнувшись, шепнул ему на ухо: «Ей значительно хуже».

Затем он вернулся в мэрию, и конторщик видел, как он, внимательно изучив дорожную карту Франции, висевшую у него в кабинете, карандашом записал на клочке бумаги какие-то цифры.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Проницательность дядюшки Скофлера

Из мэрии он направился на другой конец города, к некоему фламандцу Скауфлеру, а на французский лад — Скофлёру, который отдавал внаем лошадей и «кабриолеты по желанию».

Чтобы кратчайшим путем добраться до этого Скофлера, надо было идти по безлюдной улице, где находился церковный дом того прихода, к которому принадлежал г-н Мадлен. По слухам, священник этого прихода был человек достойный и почтенный, умевший при случае подать добрый совет. В ту минуту, когда г-н Мадлен поравнялся с церковным домом, на улице был только один прохожий, и этот прохожий заметил следующее: уже миновав дом священника, г-н мэр остановился, немного постоял на месте, потом вернулся обратно и дошел до ворот этого дома; в воротах была калитка с железным стукальцем; он быстро взялся за стукальце и приподнял его, потом снова остановился и как бы замер в раздумье; однако по прошествии нескольких секунд, вместо того чтобы громко постучать, он тихонько опустил стукальце и пошел дальше с поспешностью, которой до того не обнаруживал.

Господин Мадлен застал Скофлера дома, за починкой конской сбруи.

— Дядюшка Скофлер, — сказал он, — есть у вас хорошая лошадь?

— У меня все лошади хороши, господин мэр, — возразил фламандец. — Что значит, по-вашему, «хорошая лошадь»?

— Такая, которая могла бы пробежать двадцать лье за один день.

— Чорт возьми! — воскликнул фламандец. — Двадцать лье!

— Да.

— Запряженная в кабриолет?

— Да.

— А сколько времени она будет отдыхать после такого конца?

— Если понадобится, она должна быть в состоянии выехать обратно на следующий же день.

— И проделать такой же путь?

— Да.

— Чорт возьми! Чорт возьми! Как вы сказали? Двадцать лье?

Господин Мадлен вынул из кармана листок бумаги, на котором было карандашом набросано несколько цифр. Он показал их фламандцу. Это были цифры: пять, шесть и восемь с половиной.

— Видите? — сказал он. — Всего девятнадцать с половиной, то есть все равно, что двадцать лье.

— Господин мэр, — сказал фламандец, — у меня есть то, что вам нужно. Моя белая лошадка. Вам, наверно, как-нибудь случалось ее видеть. Это коняшка из нижнего Булонэ. Горяча, как огонь. Сперва ее думали объездить под седло — куда там! Брыкается, скидывает всех на землю. Решили, что она с пороком, не знали просто, что с ней и делать. Я купил ее и запряг в кабриолет. И что же вы думаете, сударь? Этого-то ей и надо было. Послушна, как овечка, быстра, как ветер. Дело в том, что не надо было садиться ей на спину. Не желала она ходить под седлом. У каждого свой норов. Везти — согласна, нести на себе — ни за что. Видно, уж так она про себя и решила.

— И она пройдет такое расстояние?

— Пройдет все ваши двадцать лье. Крупной рысью и меньше, чем за восемь часов, но только при некоторых условиях.

— При каких же?

— Во-первых, на полдороге вы дадите ей часок передохнуть; она поест, и пока она будет есть, кто-нибудь должен побыть при этом, чтобы работник постоянного двора не отсыпал у нее овса, а то я замечал, что на постоянных дворах конюхи пропивают больше овса, чем лошади его съедают.

— За этим последят.

— Во-вторых... А что, этот кабриолет нужен вам самим, господин мэр?

— Да.

— А умеете ли вы, господин мэр, править?

— Да.

— Хорошо, но только, господин мэр, вы должны ехать один и без поклажи, чтобы не перегружать лошадь.

— Согласен.

— Но послушайте, господин мэр, ведь если с вами никого не будет, вам самим придется потрудиться и присмотреть за кормежкой.

— Об этом мы уже договорились.

— Я возьму с вас по тридцать франков в сутки. Простойные дни оплачиваются так же. Ни на грош меньше, и прокорм коня за ваш счет, господин мэр.

Господин Мадлен вынул из кошелька три наполеондора и положил их на стол.

— Вот вам за два дня вперед.

— И в-четвертых, для такого конца кабриолет будет слишком тяжел и утомит лошадь. Лучше бы вы, господин мэр, согласились ехать в моем маленьком тильбюри.

— Согласен.

— Экипаж легкий, но открытый.

— Это мне безразлично.

— Но подумали ли вы, господин мэр, о том, что у нас зима?

Господин Мадлен не ответил.

— И что на улице стоит сильный холод? — продолжал фламандец.

Господин Мадлен хранил молчание.

— И что может пойти дождь?

Господин Мадлен поднял голову и сказал:

— Завтра, в половине пятого утра, тильбюри вместе с лошастью должны стоять у моих дверей.

— Слушаю, господин мэр, — ответил Скофлер; потом, соскабливая ногтем большого пальца пятно на деревянном столе, добавил тем равнодушным тоном, каким фламандцы так искусно прикрывают хитрость:

— Да! Только сейчас вспомнил! Ведь вы, господин мэр, еще не сказали, куда вы едете. Куда это вы едете, господин мэр?

Он только об этом и думал с самого начала разговора, но, сам не зная почему, не решался задать этот вопрос.

— Надежны ли передние ноги у вашей лошади? — спросил г-н Мадлен.

— О да, господин мэр. Только немного придерживайте ее на спусках. Много ли спусков будет по дороге отсюда до вашего места?

— Не забудьте: быть у моих дверей точно в половине пятого утра, — ответил г-н Мадлен и вышел.

Фламандец остался «в дураках», как он сам признавался впоследствии.

Не прошло и двух-трех минут после ухода г-на мэра, как дверь отворилась снова; это был г-н мэр.

У него был все тот же бесстрастный и рассеянный вид.

— Господин Скофлер, — спросил он, — во сколько вы цените лошадь и тильбюри?

— А разве вы, господин мэр, хотите купить их у меня?

— Нет, но на всякий случай я хочу обеспечить вам их стоимость. Когда я приеду, вы вернете мне эти деньги. Во сколько вы цените кабриолет и лошадь?

— В пятьсот франков, господин мэр.

— Вот они.

Господин Мадлен положил на стол банковый билет, затем вышел и на этот раз больше не вернулся.

Скофлер горько пожалел о том, что не запросил тысячу франков. Впрочем, лошадь с тильбюри вместе стоила не больше ста экю.

Фламандец позвал жену и рассказал ей всю историю. Куда бы это, чорт возьми, мог ехать господин мэр? Они начали обсуждать этот вопрос.

— Он едет в Париж, — сказала жена.

— Не думаю, — возразил муж.

Господин Мадлен забыл на камине клочок бумаги, где были записаны цифры. Фламандец взял его и внимательно исследовал.

— Пять, шесть, восемь с половиной. Да это, должно быть, означает расстояние между почтовыми станциями.

Он обернулся к жене.

— Понял.

— Ну?

— Пять миль отсюда до Эсдена, шесть от Эсдена до Сен-Поля, восемь с половиной от Сен-Поля до Арраса. Он едет в Аррас.

Тем временем г-н Мадлен вернулся домой.

Обратно он пошел самой дальней дорогой, словно дверь церковного дома представляла для него искушение и он хотел избежать его. Он сразу поднялся в свою комнату и заперся там, что было в порядке вещей; он любил рано ложиться. Тем не менее фабричная привратница, являвшаяся одновременно и единственной служанкой г-на Мадлена, заметила, что свет у него погас в половине девятого, и сказала об этом возвращавшемуся домой кассиру, добавив:

— Уж не захворал ли господин мэр? У него сегодня был какой-то странный вид.

Комната этого кассира приходилась как раз под комнатой г-на Мадлена. Он не обратил на слова привратницы никакого внимания, лег и заснул. Около полуночи он внезапно проснулся: сквозь сон он услышал над головой какой-то шум. Он прислушался. Это был шум шагов: казалось, кто-то ходил взад и вперед в верхнем этаже. Он прислушался более внимательно и узнал шаги г-на Мадлена. Это удивило его: обычно в спальне г-на Мадлена было совершенно тихо до самого утра, то есть до тех пор, пока он не вставал. Через минуту до кассира снова донесся какой-то звук, похожий на стук открывшейся и снова захлопнувшейся дверцы шкафа. Затем передвинули что-то из мебели, наступила тишина — и вот снова раздались шаги. Кассир приподнялся на постели, совсем проснулся, огляделся по сторонам и увидел через стекло красноватый отблеск освещенного окна на противоположной стене. Судя по направлению лучей, это могло быть только окно спальни г-на Мадлена. Отблеск дрожал; казалось, его отбрасывала туда не лампа, а скорее топящийся камин.

Тень оконной рамы не вырисовывалась на стене, и это указывало на то, что окно было широко открыто. При таком холоде это открытое окно вызывало чувство недоумения. Кассир снова заснул, но спустя час или два опять проснулся. Те же медленные размеренные шаги раздавались над его головой.

Отблеск света все еще вырисовывался на стене, но теперь уже бледный и ровный, как от лампы или свечи. Окно было попрежнему открыто.

Вот что происходило в комнате г-на Мадлена.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Буря в душе

Читатель, вероятно, догадался, что г-н Мадлен был не кто иной, как Жан Вальжан.

Мы уже однажды заглядывали в тайники этой совести; пришел час заглянуть в нее еще раз. Приступаем к этому не без волнения и не без трепета. Ничто в мире не может быть ужаснее такого рода созерцания. Духовное око никогда не найдет света ярче и мрака глубже, чем в самом человеке; на что бы ни обратилось оно, нет ничего страшнее, сложнее, таинственнее и беспредельнее. Есть зрелище более величественное, чем море, — это небо; есть зрелище более величественное, чем небо, — это глубь человеческой души.

Создать поэму человеческой совести, пусть даже совести одного человека, хотя бы ничтожнейшего из людей, это значит слить все эпопеи в одну высшую и законченную героическую эпопею. Совесть — это хаос химер, вожделений и дерзаний, горнило грез, логовище мыслей, которых мы сами стыдимся, это пандемониум софизмов, это поле битвы страстей. Попробуйте в иные минуты проникнуть в то, что кроется за бледным лицом какого-либо человеческого существа, погруженного в раздумье, и загляните вглубь, загляните в эту душу, загляните в этот мрак. Там, под этой видимостью спокойствия, происходят поединки гигантов, как у Гомера, схватки драконов с гидрами, там сонмища призраков, как у Мильтона, и фантазмагорические круги, как у Данте. Как темна бесконеч-

ность, которую каждый человек носит в себе и с которою в отчаянье он соразмеряет причуды своего ума и поступки своей жизни!

Алигьери встретил однажды на своем пути зловещую дверь, отворить которую не решился. Перед нами сейчас такая же дверь, и мы стоим в нерешимости на пороге. Войдем однакож.

Нам осталось немного добавить к тому, что уже знает читатель о судьбе Жана Вальжана после его встречи с Малышом Жерве. Как мы видели, с этой минуты он стал другим человеком. Он стал таким, каким его хотел сделать епископ. Произошло нечто большее, чем превращение, — произошло преобразование.

Он сумел исчезнуть, продал серебро епископа, оставив себе лишь подсвечники — как память; незаметно перебираясь из города в город, он исколесил всю Францию, попал в Монрейль-Приморский, где ему пришла в голову счастливая мысль, о которой мы уже говорили, совершил там то, о чем мы уже рассказали, ухитрился стать одновременно неуловимым и недоступным, и отныне, обосновавшись в Монрейле-Приморском, счастливый сознанием, что совесть его печалится лишь о прошлом и что первая половина его существования уничтожается второю, зажил мирно и покойно, полный надежд, затаив в душе лишь два стремления: скрыть свое имя и освятить свою жизнь; уйти от людей и возвратиться к богу.

Эти два стремления так тесно переплелись в его сознании, что составляли одно; оба они в равной степени поглощали все его существо и властно управляли малейшими его поступками. Обычно они дружно руководили его поведением: оба побуждали его держаться в тени, оба учили быть доброжелательным и простым, оба давали одни и те же советы. Бывало, однакож, что между ними возникал разлад. И в этих случаях, как мы помним, человек, которого во всем Монрейле-Приморском и его окрестностях называли г-ном Мадленом, не колеблясь жертвовал первым ради второго, жертвовал своей безопасностью ради добродетели. Так, например, вопреки всякой осторожности и всякому благоразумию, он хранил у себя подсвечники епископа, открыто носил по нем траур, он расспрашивал всех маленьких савояров, появлявшихся в городе, наводил справки о семьях, проживающих в Фаве-

роле, и спас жизнь старику Фошлевану, несмотря на внушающие тревогу намеки Жавера. Очевидно, руководясь примером мудрецов, святых и праведников, он считал, и мы уже упоминали об этом, что в первую очередь следует заботиться о благе ближнего, а потом уже о своем собственном.

Правда, надобно заметить, что никогда еще с ним не случалось чего-либо подобного тому, что произошло сейчас. Никогда еще два помысла, управлявшие жизнью несчастного человека, о страданиях которого мы рассказываем, не вступали в столь жестокую борьбу между собою. Он смутно, но глубоко ощутил это после первых же слов, которые произнес Жавер, войдя в его кабинет. В ту секунду, как было названо имя, погребенное им в такой непроницаемой тьме, он впал в оцепенение и словно опьянел от роковой своенравности своей судьбы, но вскоре его пронизала дрожь, та дрожь, которая предшествует сильным потрясениям; он склонился, как дуб под напором урагана, как солдат под натиском врага. Он почувствовал, как нависли над его головой тучи, несущие в себе громы и молнии. Когда он слушал Жавера, первой его мыслью было итти, бежать, донести на себя, освободить этого Шанматье из тюрьмы и сесть туда самому; эта мысль была такой мучительной и такой острой, словно его резнули по живому телу; но потом она исчезла, и он сказал себе: «Нет! Нет! Что это я!» Он подавил в себе первый великодушный порыв и отступил перед подвигом.

Разумеется, было бы прекрасно, если бы после святых напутствий епископа, после стольких лет раскаяния и самоотречения, посреди чудесно начатого искупления, этот человек ни на миг не дрогнул даже пред лицом столь ужасного стечения обстоятельств и продолжал все той же твердой поступью итти к разверстой бездне, в глубине которой сияло небо; это было бы прекрасно, но этого не случилось. Мы обязаны дать здесь полный отчет о том, что свершалось в этой душе, и должны говорить лишь о том, что имело место в действительности. В первую минуту инстинкт самосохранения одержал в ней верх над всеми другими чувствами; г-н Мадлен поспешил собраться с мыслями, подавил свое волнение, осознал присутствие Жавера и всю сопряженную с этим опасность; с твердостью отчаянья, отложив решение вопроса, он постарался

отвлечься от того, что предстояло сделать, и призвал обратно свое спокойствие, — так борец подбирает с земли щит, выбитый из его рук.

Весь остаток дня он провел в том же состоянии: вихрь в душе, внешне — глубокое бесстрашие; он сделал лишь одно: принял так называемые «предварительные меры». Все было еще беспорядочно и неопределенно в его мозгу; смятение, царившее там, было настолько сильно, что ни одна мысль не имела отчетливой формы, и он мог бы сказать про себя только одно — что ему нанесен жестокий удар. Он, как обычно, отправился в больницу навестить Фантину и, движимый инстинктом доброты, затянул свое посещение, подумав, что должен был поступить так и попросить сестер хорошенько позаботиться о ней на тот случай, если бы ему пришлось отлучиться. Смутно предчувствуя, что, может быть, ему придется поехать в Аррас, но далеко еще не решившись на эту поездку, он сказал себе, что, будучи вне всяких подозрений, беспрепятственно может присутствовать в суде при разборе дела, и заказал у Скофлера тильбюри, чтобы на всякий случай быть готовым.

Он пообедал с недурным аппетитом.

Придя в себя, он стал размышлять.

Он вдумался в положение вещей и нашел его чудовищным, до такой степени чудовищным, что вдруг среди своего раздумья он, под влиянием какого-то почти необъяснимого чувства тревоги, встал и запер дверь на задвижку. Он боялся, как бы еще что-нибудь не вторглось к нему. Он ограждал себя от возможного.

Еще через минуту он задул свечу. Свет смущал его.

Ему казалось, что кто-то может его увидеть.

Кто же был этот «кто-то»?

Увы! То, что он хотел прогнать, вошло в комнату; то, что он хотел ослепить, смотрело на него. То была его совесть.

Его совесть, иначе говоря — бог.

Однако в первую минуту ему удалось обмануть себя: его охватило чувство безопасности и одиночества; заперев дверь на задвижку, он счел себя неприступным; погасив свечу, он счел себя невидимым. Тогда он овладел собой и, облокотившись на стол, закрыв лицо руками, начал думать во мраке.

«Что же это случилось? Не сплю ли я? Что такое мне сказали? Правда ли, что я видел Жавера и что он так говорил со мной? Кто такой этот Шанматье? Говорят, он похож на меня. Ужели это возможно? Подумать только, что еще вчера я был так спокоен и так далек от каких бы то ни было подозрений. Что я делал вчера в это время? Чем мне грозит это происшествие? Чем окончится все это? Как быть?»

Вот такая буря бушевала в его душе. Мозг его утратил способность удерживать мысли, они убегали, как волны, и он обеими руками сжимал лоб, чтобы остановить их.

Этот потрясавший его волю и рассудок ураган, посреди которого он пытался отыскать просвет и твердое решение, рождал лишь мучительную тревогу.

Голова его горела. Он подошел к окну и распахнул его. На небе не было ни одной звезды. Он вернулся к столу и сел на прежнее место.

Так прошел первый час.

Мало-помалу, однако, расплывчатые очертания его мыслей стали принимать более определенные и устойчивые формы, и он мог представить себе в истинном свете свое положение если не в целом, то хотя бы в некоторых деталях. И прежде всего он понял, что, несмотря на всю исключительность и всю рискованность этого положения, он оставался полным его господином.

Но это открытие только усилило его растерянность.

Независимо от суровой и священной цели, направлявшей его поступки, все, что он делал до сего дня, было лишь ямой, которую он рыл для того, чтобы похоронить в ней свое имя. В часы глубокой сосредоточенности, в бессонные ночи он больше всего в мире боялся одного — услышать когда-нибудь, как произнесут это имя; он говорил себе, что эта минута будет означать конец всему, что в день, когда снова раздастся это имя, рассыплется в прах его новая жизнь и — кто знает? — быть может, также и его новая душа. Он содрогался при одной мысли о том, что это возможно. Право, если бы в одну из таких минут кто-нибудь сказал ему, что придет час, когда это имя вновь прозвучит в его ушах, когда эти омерзительные два слова — «Жан Вальжан», внезапно выплыв из мрака, встанут перед ним; что этот грозный свет, предназначен-

ный рассеять тайну, которой он себя окружил, блеснет вдруг над его головой, но лишь сгустит эту тьму; что это имя уже не будет для него страшным, что эта разорванная завеса лишь углубит тайну, что это землетрясение лишь упрочит фундамент его здания, что в результате этого ужасного происшествия его жизнь станет, если он того захочет, более светлой и в то же время более непроницаемой и что после сличения с призраком Жана Вальжана добрый и почтенный гражданин «господин Мадлен» окажется еще более уважаемым, более почитаемым и более спокойным, чем прежде, — если бы кто-нибудь сказал ему это, он бы покачал головой и счел эти слова бессмыслицей. И вот все это случилось на самом деле; все это нагромождение невероятностей стало реальным фактом, и бог допустил, чтобы этот бред превратился в действительность.

Мысли его продолжали проясняться. Он все более и более отчетливо понимал свое положение.

Ему казалось, что он проснулся от какого-то страшного сна и теперь, среди ночи, скользит, дрожа и тщетно силясь удержаться, по откосу, на самом краю бездны. И он ясно различал во мраке незнакомого, чужого человека, которого рок принимал за него и толкал в пропасть. Для того чтобы пропасть снова закрылась, кто-то из них неизбежно должен был упасть в нее — либо он сам, либо тот, другой.

От него требовалось лишь одно: не мешать судьбе.

Теперь в его сознании воцарилась полная ясность, и он сказал себе, что место его на галерах пусто, что оно все время ждет его, независимо ни от чего, что ограбление Малыша Жерве должно привести его туда, что это пустое место будет ждать его и притягивать к себе до тех пор, пока он его не займет, что это неминуемо и неизбежно. И он сказал себе также, что в эту минуту у него нашелся заместитель, что, повидимому, некоему Шанматье выпало на долю это несчастье; что же касается его самого, то, отбывая каторгу под именем Шанматье и живя в обществе под именем г-на Мадлена, он может отныне быть спокоен, если только сам не вздумает помешать людям обрушить на голову этого Шанматье камень позора, — тот камень, который, подобно могильному камню, опустившись раз, не поднимется никогда.

Все это было так мучительно и так необычно, что в глубине его души вдруг возникло одно из тех неопишуемых ощущений, которые человеку дано испытать не более двух-трех раз в жизни, нечто вроде судорог совести, будоражащих все, что есть в сердце неясного, смесь иронии, радости и отчаянья, — нечто такое, что, пожалуй, можно было бы назвать взрывом внутреннего смеха.

Внезапно он снова зажег свечу.

«Что же это? — сказал он себе. — Чего мне бояться? Зачем об этом думать? Я спасен. Все кончено. Существовала лишь одна полуоткрытая дверь, через которую прошлое могло ворваться в мою жизнь; теперь эта дверь замурована, и навсегда! Этот Жавер, который так долго мучил меня, этот опасный, облекшийся в плоть инстинкт ищейки, который, кажется, разгадал меня — да, наверное разгадал, можно поклясться в этом! — и преследовал неотступно, этот страшный охотничий пес, который вечно делал надо мной стойку, наконец-то запутался, потерял след и погнался за другой дичью! Отныне Жавер удовлетворен и оставит меня в покое, он поймал своего Жана Вальжана! Кто знает, быть может даже он захочет переехать в другой город! И все это совершилось помимо меня! Я тут ни при чем! Да в конце концов что же во всем этом плохого? Честное слово, люди, увидев меня, могли бы подумать, что у меня случилось какое-то несчастье! Но ведь если кто и попал в беду, то никак не по моей вине. Это дело рук providения. Очевидно, такова его воля! Разве я имею право расстраивать то, что устроено им? Так чего же я теперь добиваюсь? Во что собираюсь вмешаться? Ведь это не мое дело. Как? И я еще недоволен? Чего же мне еще надо? Цель, к которой я стремился в течение стольких лет, мечта моих бессонных ночей, то, о чем я молил небо, безопасность, — я достиг ее! Так угодно богу. Я не должен противиться его воле. А почему ему угодно это? Чтобы я мог продолжать начатое, чтобы я мог творить добро, чтобы я мог в будущем стать высоким и поощряющим примером, наконец чтобы наложенная на меня эпитимья и вновь обретенная мной добродетель дали мне хоть немного счастья! Не понимаю, право, отчего я побоялся зайти к этому славному кюре и, поведав ему все, как на исповеди, попросить у него совета. Без со-

мнения, он сказал бы мне то же самое. Решено, пусть все идет своим чередом! Пусть все вершит господь!

Так беседовал он с сокровенными глубинами своей совести, наклонясь над краем того, что можно было назвать бездной его собственной души. Он встал со стула и начал шагать по комнате. «Вот что, — сказал он, — довольно думать об этом. Решение принято!» Но он не испытал при этом ни малейшей радости.

Напротив.

Нельзя запретить мысли возвращаться к определенному предмету, как нельзя запретить морю возвращаться к своим берегам. Моряк называет это приливом, преступник — угрызениями совести. Бог вздымает душу, как океан.

Через несколько секунд он опять, помимо воли, возобновил свой мрачный диалог, в котором он один и говорил и слушал, высказывая то, о чем бы ему хотелось умолчать, выслушивая то, чего ему не хотелось бы слышать, подчиняясь той таинственной силе, которая приказывала ему: «Думай!», как две тысячи лет назад приказала другому осужденному: «Иди!»

Чтобы нас правильно поняли, мы должны, прежде чем продолжать рассказ, остановиться на одном необходимом замечании.

Люди, конечно, разговаривают сами с собой; нет такого мыслящего существа, с которым не случилось бы этого. Быть может даже, слово никогда не представляет собой более чудесной тайны, нежели тогда, когда оно, оставаясь внутри человека, переходит от мысли к совести и вновь возвращается от совести к мысли. Только в этом смысле и следует понимать часто встречающиеся в этой главе выражения вроде: «он сказал», «он воскликнул». Мы говорим, мы беседуем, мы восклицаем в глубине своего «я», не нарушая при этом нашего безмолвия. Все внутри нас в смятении; все говорит за исключением уст. Реальные душевные движения невидимы, неосвязаемы, но тем не менее они реальны.

Итак, он спросил себя, к чему же он пришел? Он задал себе вопрос, что же представляло собой это «принятое решение»? Он признался перед самим собой, что уловки, допущенные его умом, были чудовищны, что слова «пусть все идет само собой, пусть все вершит господь» были

попросту ужасны. Допустить ошибку, свершаемую судьбою и людьми, не помешать этому, участвовать в ней своим молчанием, — словом, ничего не делать — значило все делать! Это была последняя ступень недостойного лицемерия! Это было преступление, низкое, подлое, коварное, мерзкое, гнусное!

Впервые за восемь лет несчастный ощутил горький привкус злого помысла и злого дела.

И он плюнул с отвращением.

Он продолжал себя допрашивать. Он сурово спросил, что означали его собственные слова: «Я достиг цели!» И заявил себе, что его жизнь действительно имела цель. Но какую? Скрыть свое имя? Обмануть полицию? Ужели ради такой мелочи сделал он все то, что сделал? Разве не было у него иной — высокой, истинной цели? Спасти не жизнь свою, но душу. Снова стать честным и добрым. Быть праведником! Ведь только этого, одного лишь этого всегда хотел он сам, и именно это повелел ему епископ! Закрывать дверь в прошлое? Боже великий, да разве таким образом он закроет ее? Совершив подобный поступок, он снова откроет ее настежь! Он вновь станет вором, и при том самым презренным из воров! Он украдет у другого его существование, жизнь, спокойствие, его место под солнцем! Он станет убийцей! Он убьет, убьет душу этого жалкого человека, он обречет его на ту ужасную смерть заживо, на ту смерть под открытым небом, которая называется каторгой! И напротив, донести на себя, спасти этого человека, ставшего жертвой столь роковой ошибки, вновь принять свое имя, выполнить свой долг и превратиться вновь в каторжника Жана Вальжана — вот это действительно значило завершить свое обновление и навсегда закрыть перед собой двери ада, из которого он вышел. Попад туда физически, он выйдет оттуда морально. Да, он должен сделать это! Если он не сделает этого, — значит, он никогда ничего не сделал! Вся его жизнь окажется бесполезной, раскаяние — бесплодным, и ему останется сказать лишь одно: к чему было все, что было? Он почувствовал, что епископ здесь, возле него; что, мертвый, он присутствует тут еще более ощутимо, нежели живой; что он пристально смотрит на него; что отныне мэр Мадлен со всеми его добродетелями станет ему отвратителен, а каторжник Жан Вальжан станет чист и достоин

восхищения в его глазах; что все видели лишь его личину, а он, епископ, видит истинное его лицо; что люди видели его жизнь, а он, епископ, видит его совесть. Итак, надо ехать в Аррас, освободить мнимого Жана Вальжана и выдать настоящего! Увы! Вот она величайшая из жертв, горчайшая из побед, самое тяжкое из усилий, но так надо. Горестный удел! Он может стать праведным перед лицом бога, только опозорив себя в глазах людей!

— Что ж, — сказал он, — надо решиться! Надо исполнить свой долг! Надо спасти этого человека!

Он произнес эти слова громко, даже не заметив, что говорит вслух.

Он собрал свои счетные книги, проверил их и привел в порядок. Он бросил в огонь пачку долговых расписок от нескольких мелких торговцев, находившихся в стесненных обстоятельствах. Он написал письмо, запечатал его, и тот, кто находился бы в комнате в эту минуту, мог бы прочесть: «Г-ну Лафиту, банкиру, улица Артуа, Париж».

Он вынул из ящика бумажник, где лежало несколько банковых билетов и паспорт, с которым он ездил на выборы еще в нынешнем году.

Наблюдая, как г-н Мадлен, погруженный в глубокое раздумье, занимался всеми этими делами, никто не мог бы догадаться, что происходило в его душе. Только губы его порой шевелились, да время от времени он вдруг поднимал голову и устремлял пристальный взгляд в какую-нибудь точку стены, как будто именно там находилось нечто, от чего он ждал ответа и разъяснения.

Кончив письмо к Лафиту, он положил его вместе с бумажником в карман и снова начал шагать по комнате.

Мысли его не отклонялись от прежнего направления. Он все так же ясно видел свой долг, начертанный сверкающими буквами, которые пламенели перед его глазами и перемещались вместе с его взглядом: *«Ступай! Назови свое имя! Донеси на себя!»*

Он видел также перед собой, словно ожившими и принявшими осязаемую форму, два помысла, которые до сих пор составляли двойное правило его жизни: скрыть свое имя, освятить свою душу. Впервые они появились перед ним каждый в отдельности, и он увидел, что их рознило. Он понял, что один из них был безусловно добрым, тогда как другой мог стать дурным; что один означал само-

отречение, а другой — себялюбие; что один говорил: *ближний*, а другой говорил: я; что источником одного был свет, а другого — тьма.

Они боролись между собой, и он наблюдал их борьбу. По мере того как он размышлял, они все росли перед его умственным взором; они приобрели теперь исполинские размеры, и ему казалось, что в глубине его сознания, в той бесконечности, о которой мы только что говорили, среди проблесков, перемежавшихся с темнотою, какое-то божество сражается с каким-то великаном.

Он был исполнен ужаса, но ему казалось, что доброе начало берет верх.

Он чувствовал, что для его совести и его судьбы вновь наступила решительная минута; что епископ отметил первую фазу его новой жизни, а Шанматье отмечает вторую. После великого перелома — великое испытание.

Между тем стихшее на миг лихорадочное возбуждение снова стало овладевать им. В мозгу его проносились тысячи мыслей, но они лишь продолжали укреплять его в принятом решении.

Была минута, когда он сказал себе, что, пожалуй, принимает все происходящее слишком близко к сердцу, что, в сущности говоря, этот Шанматье ничего собой не представляет и что, как-никак, он совершил кражу.

И он ответил себе: «Если этот человек действительно украл лишь несколько яблок, это грозит месяцем тюрьмы и только. Отсюда еще далеко до каторги. Да и кто знает, украл ли он? Доказано ли это? Имя Жана Вальжана тяготеет над ним и, видимо, исключает необходимость доказательств. Королевские прокуроры всегда поступают так. Каторжник — значит вор».

Мгновением позже ему пришла в голову другая мысль; быть может, если он выдаст себя, героизм его поступка и безупречная жизнь в течение семи лет, а также все то, что он сделал для края, будет принято во внимание и его помилуют.

Но это предположение быстро исчезло, и он горько улыбнулся, вспомнив, что кража сорока су у Малыша Жерве превращает его в рецидивиста, что это дело, несомненно, всплывет наружу и, согласно строгой букве закона, его приговорят к бессрочным каторжным работам.

Он отогнал от себя все иллюзии и, отдаляясь все больше от земного, стал искать утешения и силы в другом. Он сказал себе, что надо исполнить свой долг; что, быть может даже, исполнив его, он будет менее несчастен, нежели уклонившись от его исполнения; что если он даст всему итти «своим чередом» и останется в Монрейле-Приморском, уважение, которым его окружают, его добрая слава, его добрые дела, общее почтение и благоговение, его милосердие, богатство, известность, его добродетель — все это будет отравлено горечью преступления; и чего стоили бы все его благие дела, завершенные таким гнусным делом! Если же он принесет себя в жертву, то все — каторга, позорный столб, железный ошейник, зеленый колпак, непрерывная работа, беспощадные оскорбления — все будет проникнуто небесной благодатью!

И наконец он сказал себе, что обязан так поступить, что такова его судьба, что не в его власти нарушить то, что предназначено свыше, что так или иначе, но придется выбирать: либо кажущаяся добродетель и подлинная мерзость, либо подлинная святость и кажущийся позор.

Перебирая в уме такое множество мрачных мыслей, он не терял мужества, но мозг его начал утомляться. Невольно он начал думать о другом, о совершенно безразличных вещах.

В висках у него стучало. Он все еще ходил взад и вперед. Пробило полночь — сначала в приходской церкви, потом в ратуше. Он сосчитал двенадцать ударов на тех и других башенных часах и сравнил звук обоих колоколов. Ему вспомнилось, что несколько дней назад он видел у торговца старым железом дряхлый колокол с надписью: «Антуан Альбен из Роменвиля».

Ему стало холодно. Он растопил камин, но не догадался закрыть окно.

Между тем им опять начало овладевать оцепенение. Он сделал над собой усилие, чтобы припомнить, о чем он думал до того, как пробило полночь. Наконец ему это удалось.

«Ах, да! — подумал он, — я решил донести на себя».

И вдруг он вспомнил о Фантине.

— Как же так? — сказал он. — А что будет с этой несчастной?

И тут на него снова нахлынули сомнения.

Образ Фантины, внезапно всплывший в его мыслях, вдруг пронизал их, словно луч света. Ему показалось, что все вокруг него переменялось, он воскликнул:

— Что же это такое? Ведь до сих пор я принимал в расчет одного себя! Что мне делать — молчать или донести на себя; скрыть себя или спасти свою душу; быть достойным презрения, но всеми уважаемым должностным лицом или опозоренным, но достойным уважения каторжником? Все это относится ко мне, только ко мне, ко мне одному! Но, господи боже, ведь все это себялюбие! Не совсем обычные формы себялюбия, но все же себялюбие! А что, если я немного подумаю и о других? Ведь высшая святость состоит в том, чтобы заботиться о ближнем. Посмотрим, вникнем поглубже. Если исключить меня, вычеркнуть меня, забыть обо мне — что тогда получится из всего этого? Предположим, я доношу на себя. Меня арестуют, Шанматье выпускают на свободу, меня снова отправляют на каторгу, все это хорошо, а дальше? Что происходит здесь? Да, здесь! Здесь — целый край, город, фабрики, промышленность, рабочие, мужчины, женщины, дети, весь этот бедный люд! Все это создал я, это я дал им всем средства к существованию; повсюду, где бы ни дымилась труба, топливо для очага и мясо для котелка даны мною; я создал довольство, торговый оборот, кредит, до меня не было ничего; я пробудил, ободрил, оплодотворил, обогатил весь край, вдохнул в него жизнь; если исчезну я, исчезнет его душа. Если уйду я, все замрет. А эта женщина, которая столько выстрадала, которая стоит так высоко, несмотря на свое падение, и причиной несчастья которой невольно явился я! А этот ребенок, за которым я думал поехать, которого обещал вернуть матери! Разве я не обязан что-нибудь сделать и для этой женщины, чтобы искупить зло, причиненное ей мною? Если я исчезну, что будет тогда? Мать умрет. Ребенок останется без призора. Вот что произойдет, если я донесу на себя. Ну, а если я не донесу на себя? Что же будет, если я не донесу на себя?

Задав себе этот вопрос, он остановился; на миг им овладела какая-то нерешительность, какие-то сомнения; но это длилось недолго, и он спокойно ответил самому себе.

— Ну что ж, человек этот пойдет на каторгу, это правда, но ведь, чорт возьми, он вор! Сколько бы я ни говорил себе, что он не украл, — он украл! А я, я останусь здесь и буду продолжать начатое. Через десять лет у меня будет десять миллионов, и я раздам их всему краю, — мне самому ничего не надо, на что мне деньги? Все, что я делаю, я делаю не для себя! Общее благоденствие все возрастает, промышленность пробуждается и оживает, заводов и фабрик становится все больше, семьи, сотни семейств, тысячи семейств счастливы! Население увеличивается, на месте отдельных ферм рождаются деревни, на месте голых пустырей рождаются фермы; нужда исчезнет, а вместе с нуждой исчезнут разврат, проституция, воровство, убийство, все пороки, все преступления! И эта бедная мать воспитает своего ребенка! И весь край заживет богато и честно! Да нет, с ума я, что ли, сошел, совсем потерял рассудок, что пойду доносить на себя? Право же, надо все обдумать и не ускорять событий. Как? Только потому, что мне хочется разыграть великого и благородного человека — да ведь это в конце концов настоящая мелодрама! — только потому, что я думаю лишь о себе, о себе одном и собираюсь спасти от наказания, может быть чрезмерно сурового, но, в сущности говоря, справедливого, неведомо кого, какого-то вора, какого-то негодяя, — должен погибнуть целый край! Несчастливая женщина должна околеть в больнице, а бедная малютка — на мостовой, как собака! Но ведь это чудовищно! И мать даже не увидит своего ребенка! А ребенок так и погибнет, почти не зная матери! И все это ради старого плута и вора, который крадет яблоки и, несомненно, заслужил каторгу, если не этим проступком, то каким-нибудь другим! Хороша ж эта совесть, если она спасает преступника и жертвует невинными, спасает старого бродягу, которому в конечном счете и жить-то осталось всего несколько лет, которому на каторге к тому же будет, несомненно, лишь немногим хуже, чем в его лачуге, и приносит в жертву население целого края, матерей, жен, детей! Бедняжка Козетта! У нее ведь никого нет в мире, кроме меня, а сейчас она, наверное, посинела от холода в берлоге Тенардье! Какие, должно быть, негодяи эти люди! И я не выполню своего долга по отношению ко всем этим несчастным! Я пойду доносить на себя! Сделаю эту

неслыханную глупость! Представим все в худшем свете. Предположим, что в этом поступке кроется нечто дурное и что когда-нибудь совесть упрекнет меня. Пойти для блага других на эти укоры совести, которые будут мучить меня одного, на этот дурной поступок, который пятнает лишь мою собственную душу, — да ведь это и есть самопожертвование, это и есть добродетель.

Он встал и снова зашагал по комнате. На этот раз ему показалось, что он удовлетворен.

Алмазы можно отыскать лишь в недрах земли; истины можно отыскать лишь в глубинах человеческой мысли. Ему казалось, что, опустившись на самое дно этой мысли, роясь ощупью в этих темных недрах, он, наконец, отыскал один из таких алмазов, одну из таких истин, что он держит ее в руках, и он смотрел на нее, ослепленный ее блеском.

«Да, — думал он, — это так. Я на правильном пути. Я нашел решение. Пора на чем-нибудь остановиться. Выбор сделан. Пусть все идет своим чередом! Не надо больше колебаться, не надо пятиться назад. Этого требуют не мои, а общие интересы. Я — Мадлен и останусь Мадленом. Горе Жану Вальжану! Это уже не я. Я не знаю этого человека, ведать о нем не ведаю. Если есть сейчас кто-то, кого зовут Жан Вальжан, пусть устраивается, как хочет! Я тут ни при чем. Это роковое имя, реющее среди мрака; и если случится так, что вдруг оно остановится и обрушится на чью-то голову, что ж, тем хуже для этой головы!»

Он посмотрелся в маленькое зеркальце, стоявшее на камине, и сказал:

— Ну вот! Я принял решение, и мне стало легче. У меня теперь совсем другой вид.

Он походил еще немного, потом внезапно остановился.

— Вот что! — сказал он. — Не следует отступать перед каким бы то ни было последствием принятого решения. Есть нити, которые еще связывают меня с Жаном Вальжаном. Надо порвать их. Здесь, в этой самой комнате, есть вещи, которые могли бы выдать меня, немые предметы, которые могли бы заговорить, как живые свидетели. Решено: все это должно исчезнуть!

Он пошарил в кармане, достал из него кошелек, открыл его и вынул маленький ключ.

Он вставил этот ключ в едва заметную замочную скважину, затерянную в темном узоре обоев, которыми были

оклеены стены. Открылся тайничок, нечто вроде незаметного снаружи шкафа, вделанного в стену между углом комнаты и железным колпаком камина. В этом тайничке лежали какие-то лохмотья, синяя холщовая блуза, потертые штаны, старый ранец и толстая терновая палка с железными наконечниками на обоих концах. Кто видел Жана Вальжана в ту пору, когда он проходил через Динь в октябре 1815 года, легко узнал бы все принадлежности этого нищенского одеяния.

Он сохранил их, как сохранил и серебряные подсвечники, чтобы навсегда запомнить то, с чем он начал новую жизнь. Но вещи, вынесенные им еще с каторги, он прятал, а подсвечники, подаренные епископом, стояли у него на виду.

Он украдкой оглянулся на дверь, словно боясь, что она вдруг откроется, несмотря на задвижку, потом резким и быстрым движением схватил все в охапку и, даже не взглянув на предметы, которые так благоговейно и с таким риском для себя хранил в течение стольких лет, бросил в огонь все — лохмотья, палку и ранец.

Затем он снова запер потайной шкаф и с величайшими предосторожностями, уже ненужными теперь, когда шкаф был пуст, заслонил дверцу высоким креслом.

Через несколько секунд комната и стена противоположного дома озарились дрожащим багровым отблеском сильного пламени. Все пылало. Терновая палка трещала, и от нее почти до середины комнаты летели искры.

Ранец, вместе с лежавшими в нем отвратительными тряпками, догорел, и в золе блеснул какой-то кружок. Нагнувшись, можно было легко узнать в нем серебряную монету. Вероятно, это была та самая монета в сорок су, которая была украдена у маленького савояра.

Но он не смотрел в огонь и продолжал все тем же мерным шагом ходить по комнате из угла в угол.

Вдруг взгляд его упал на серебряные подсвечники, которые смутно поблескивали на камине в отсветах огня.

«Ах, да! — подумал он. — В этом тоже сидит Жан Вальжан. Надо уничтожить и это».

Он взял подсвечники.

Огня было еще довольно, чтобы быстро расплавить их и превратить в бесформенную массу.

Нагнувшись над очагом, он с минуту погрелся. Ему стало очень хорошо. «Как славно! Тепло!» — проговорил он.

Он помешал горящие угли одним из подсвечников.

Еще секунда, и они очутились бы в огне.

Но в это самое мгновение ему почудилось, что какой-то голос внутри его крикнул: «Жан Вальжан! Жан Вальжан!»

Волосы у него встали дыбом, словно он услышал нечто ужасное.

«Да, да, кончай свое дело! — говорил голос. — Заверши его! Уничтожь эти подсвечники! Истреби это воспоминание! Забудь епископа! Забудь все! Погуби Шанматье! Это будет отлично. Можешь поздравить себя! Итак, это решено окончательно и бесповоротно. Вот человек, вот старик, который не понимает, чего от него хотят, который, быть может, ничего не сделал дурного, невинный человек, чье несчастье заключается лишь в твоём имени, невинный, над которым твоё имя тяготеет, как преступление. Его примут за тебя, его осудят, и остаток его жизни пройдет в мерзости и позоре! Отлично! Ты же будь честным человеком. Оставайся мэром, продолжай пользоваться уважением и почетом, обогащай город, корми неимущих, воспитывай сирот, живи счастливо, исполненный добродетели и окруженный восхищением; а в это время, пока ты будешь здесь, среди радости и света, кто-то, на кого наденут твою красную арестантскую куртку, будет носить твоё обесчещенное имя и влачить на каторге твою цепь! Да, ты ловко устроил все это! О, презренный!»

Пот градом катился у него со лба. Он смотрел на подсвечники диким взглядом. Однако тот, кто говорил внутри него, еще не кончил. Голос продолжал:

«Жан Вальжан! Множество голосов будут благодарить и благословлять тебя, и притом очень громко; но раздастся один голос, которого не услышит никто и который проклянет тебя из мрака. Так слушай же, низкий человек! Все эти благословения падут вниз, не достигнув неба, и только проклятие дойдет до господ бога!»

Этот голос, вначале совсем слабый, исходивший из самых темных тайников его души, постепенно становился громче и теперь, оглушительный и грозный, гулко отдавался в его ушах. Ему казалось, что, выйдя из глубины

его существа, голос звучал теперь уже вне его. Последние слова он услышал так явственно, что с ужасом оглянулся по сторонам.

— Кто здесь? — спросил он вслух, в полной растерянности.

Потом с каким-то бессмысленным смехом ответил себе:

— Как я глуп! Кому же здесь быть?

И все же здесь был некто; но этот «некто» не принадлежал к числу тех, кого может видеть человеческий глаз.

Господин Мадлен поставил подсвечник на камин.

И снова начал он то монотонное и зловещее хождение, которое тревожило сон человека, спавшего в нижнем этаже, и заставляло его испуганно вскакивать с постели.

Это хождение облегчало и в то же время как бы опьяняло его. Когда с нами случается что-либо необычное, мы стараемся двигаться, словно предметы, встречаемые нами на пути, могут подать нам благой совет. Но через несколько секунд он совсем запутался.

Оба решения, которые он принял — сперва одно, потом другое, — внушали ему теперь одинаковый ужас. Оба помысла, руководившие прежде его жизнью, казались ему теперь одинаково пагубными. Какая роковая случайность этот Шанматье, которого приняли за него! То самое средство, которое, как ему казалось сначала, было ниспослано судьбой, чтобы упрочить его положение, разверзало перед ним пропасть!

На миг он заглянул в будущее. Донести на себя, боже великий! Выдать себя! С безмерным отчаяньем он перебрал в памяти все то, с чем ему предстояло расстаться, все то, к чему предстояло вернуться. Итак, ему предстояло сказать прости этому существованию — такому мирному, чистому, радостному, этому всеобщему уважению, чести, свободе! Он не будет больше гулять по полям, не услышит, как запоют птицы в мае, не будет раздавать милостыню детям! Не почувствует больше сладости обращенных на него признательных и любящих взоров! Расстанется с этим домом, который выстроил он сам, с этой маленькой комнаткой! Все казалось ему сейчас таким чудесным. Он не будет больше читать эти книги, не будет писать за этим маленьким некрашеным столом. Старуха привратница, его единственная служанка, не будет приносить ему больше утренний кофе. И вместо этого — боже правый! — каторга,

железный ошейник, арестантская куртка, цепь на ноге, тяжелая работа, карцер — все эти ужасы, уже изведенные! И это в его возрасте, после того как он был тем, кем он был! Если бы еще он был молод! Но на старости лет слышать «ты» от первого встречного, давать себя обыскивать надзирателю, получать от надсмотрщика палочные удары! Ходить в подбитых железом башмаках, надетых на босые ноги! Каждое утро и каждый вечер подставлять ногу под молоток из пальмового дерева, проверяющий звенья цепи! Терпеть взгляды любопытных, которым будут говорить: «Вот это знаменитый Жан Вальжан, тот самый, что был прежде мэром в Монрейле-Приморском!» А вечером, обливаясь потом, изнемогая от усталости, в зеленом колпаке, надвинутом на глаза, подниматься под кнутом сержанта, в паре с другим каторжником, по судовой лестнице, возвращаясь в пловучий острог! О, какая мука! Ужели судьба может быть зла, как мыслящее существо, и так же уродлива, как человеческое сердце!

И все время, снова и снова, он возвращался к мучительной дилемме, лежащей в основе его тяжелого раздумья: остаться в раю и там превратиться в демона, или же вернуться в ад и стать там ангелом.

Что делать, боже великий, что делать?

Буря, укрощенная с таким трудом, снова забушевала в его мозгу. Мысли его опять начали мешаться. В них появились какая-то неподвижность и тупость, свойственные отчаянию. В мозгу его назойливо звучало слово «Роменвиль» и вместе с ним два стиха из песенки, которую он слышал когда-то. Ему вспомнилось, что Роменвиль — это рощица близ Парижа, куда влюбленные ходят в апреле рвать сирень.

Он потерял равновесие — не только духовное, но и физическое. Он ступал, словно маленький ребенок, которого пустили ходить одного.

Минутами, борясь с усталостью, он силился вновь овладеть своим рассудком. Он пытался в последний раз, и уже навсегда, поставить перед собой вопрос, который довел его почти до полного изнеможения. Должен ли он донести на себя? Должен ли молчать? Ему никак не удавалось мыслить отчетливо. Всевозможные доводы, которые намечало его воображение, словно теряли форму и, колеб-

лясь, рассеивались, как дым. Он чувствовал только, что, какое бы решение из этих двух он ни принял, некая часть его существа непременно и неизбежно умрет; что — направо ли, налево ли — перед ним равно зияет могила; что сейчас он переживает предсмертную агонию, агонию своего счастья или агонию своей добродетели.

Увы! Все сомнения вновь завладели им. Он был так же далек от решения, как и вначале.

Так билась под гнетом мучительной тревоги эта злополучная душа. За тысячу восемьсот лет до того, как жил этот несчастный человек, когда оливковые деревья дрожали под жестоким ветром, дувшим из бесконечности, таинственное существо, воплотившее в себе все страдания и всю святость человечества, тоже долго отстраняло рукою страшную чашу, полную мрака, которая предстала пред ним, изливая тьму, в звездных глубинах неба.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Страдание принимает во сне странные образы

Пробило три часа полуночи; он шагал так, почти без отдыха, уже пять часов подряд и, наконец, в изнеможении опустился на стул.

Здесь он заснул, и ему приснился сон.

Сон этот, как и большинство снов, не имел прямого отношения к действительности и соприкасался с ней лишь тем, что было в нем зловещего и мучительного, но он произвел на него большое впечатление. Этот кошмар поразил его так сильно, что впоследствии он его записал. В числе бумаг, написанных его рукою, сохранилась и эта рукопись. Считаю нужным привести здесь дословно ее содержание.

Без описания этого сна, каков бы он ни был, история той ночи оказалась бы неполной. Это эпизод из мрачных скитаний больной души.

Вот он. На конверте мы читаем следующую надпись:
Сон, который приснился мне в ту ночь.

«Я находился в поле. В широком и унылом поле, где не было травы. Я не мог понять, когда это происходило, — днем или ночью.

Я гулял с братом, с товарищем моих детских лет, с тем братом, о котором, признаться, я никогда не вспоминаю и которого почти совсем забыл.

Мы разговаривали, встречали прохожих. Мы говорили об одной нашей соседке, которая когда-то жила рядом с нами и, с тех пор как поселилась в комнате, выходящей на улицу, всегда шила у открытого окна. Продолжая разговор, мы почувствовали, что нам стало холодно, оттого что это окно было открыто.

В поле не было ни одного дерева.

Мимо нас проехал всадник. Это был совершенно голый человек, тело у него было цвета пепла, и сидел он верхом на лошади цвета земли. У человека не было волос; мы видели его голый череп и на черепе жилы. В руках он держал хлыст, гибкий, как виноградная лоза, и тяжелый, как железо. Всадник проехал мимо, не сказав ни слова.

Брат сказал мне: «Пойдем ложбиной».

Мы пошли ложбиной, где не увидели ни кустика, ни горсточку мха. Все было цвета земли, даже небо. Пройдя несколько шагов, я заметил, что мои слова остаются без ответа. И понял, что брата уже нет со мной.

Заметив деревню, я вошел в нее. Мне подумалось, что, должно быть, это Роменвиль (почему Роменвиль?)¹.

Первая улица, по которой я пошел, была пустынна. Я пошел по другой улице. На перекрестке этих улиц стоял человек, прислонясь к стене. Я спросил у человека: «Что это за местность? Где я?» Человек ничего не ответил. Я заметил, что дверь одного из домов открыта, и вошел в дом.

Первая комната была пуста. Я вошел во вторую. За дверью этой комнаты стоял человек, прислонясь к стене. Я спросил у человека: «Чей это дом? Где я?» Человек ничего не ответил.

При доме был сад. Я вышел из дома и вошел в сад. Сад был пуст. За первым же деревом я увидел стоящего человека. Я спросил у него: «Что это за сад? Где я?» Человек ничего не ответил.

Я блуждал по этой деревне и тут заметил, что это город. Все улицы были пустынные, все двери отворены. Ни одно живое существо не проходило по улицам, не шагало

¹ Эти скобки поставлены рукой Жана Вальжана.

по комнатам, не гуляло в садах. Но за каждым выступом стены, за каждой дверью, за каждым деревом стоял человек, который молчал. И везде было только по одному человеку. Эти люди смотрели, как я проходил мимо.

Я вышел из города и стал бродить по полям.

Спустя некоторое время я обернулся и увидел целую толпу, шедшую за мной следом. Я узнал всех тех людей, которых видел в городе. У них был странный взгляд. Незаметно было, чтобы они торопились, и все же они шли быстрее меня. Они шли совершенно бесшумно. Через минуту эта толпа настигла меня и окружила. Лица у этих людей были цвета земли.

И вот первый из тех, кого я видел и к кому обращался с вопросом, войдя в город, спросил меня: «Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы давно уже умерли?»

Я хотел было ответить, но увидел что возле меня никого нет».

Он проснулся. Он весь продрог. Створки все еще открытого окна раскачивались на своих петлях от холодного утреннего ветра. Огонь погас. Свеча догорала. Было еще совсем темно.

Он встал и подошел к окну. Ни одна звезда не светила в небе.

Из окна видны были двор его дома и улица. Сухой и резкий стук, внезапно прозвучавший по мостовой, заставил его опустить глаза.

Он увидел внизу две красные звезды, лучи которых то причудливо удлинялись, то укорачивались во мраке.

Мысли его еще не совсем выплыли из мглы сновидения. «Как странно! — подумал он. — Их нет в небе, теперь они спустились на землю».

Однако мгла эта рассеялась: другой звук, подобный первому, окончательно разбудил его, — он всмотрелся и понял, что это были не звезды, а фонари экипажа. Отбрасываемый ими свет помог ему различить очертания этого экипажа. То было тильбюри, запряженное маленькой белой лошастью. Услышанный им шум — был топот конских копыт по мостовой.

«Что это за экипаж? — подумал он. — Кто мог приехать так рано?»

В эту минуту кто-то тихонько постучался к нему в дверь. Он весь задрожал и крикнул страшным голосом:

— Кто там?

Чей-то голос ответил:

— Это я, господин мэр.

Он узнал голос старушки, своей привратницы.

— Что такое? — спросил он. — Что вам нужно?

— Господин мэр, только что пробило пять часов утра.

— Ну и что же?

— Господин мэр, кабриолет подали.

— Какой кабриолет?

— Тильбюри.

— Какое тильбюри?

— А разве вы не заказывали тильбюри, господин мэр?

— Нет, — ответил он.

— А кучер говорит, что приехал за господином мэром.

— Какой кучер?

— Кучер от господина Скофлера.

— От Скофлера?

Услышав это имя, он вздрогнул, словно перед его глазами сверкнула молния.

— Ах, да! — сказал он. — От Скофлера.

Если бы старуха могла видеть его в эту минуту, она бы ужаснулась.

Наступило довольно длительное молчание. Он бессмысленно смотрел на пламя свечи и, собирая вокруг фитиля горячий воск, мял его между пальцами. Старуха ждала. Наконец она отважилась спросить еще раз:

— Что прикажете ответить ему, господин мэр?

— Хорошо, скажите, что я сейчас сойду вниз.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Палки в колесах

В ту эпоху почтовое сообщение между Аррасом и Монрейлем-Приморским еще осуществлялось при помощи маленьких кареток времен Империи. Эти каретки представляли собой двухколесные экипажи на спиральных рессорах, обитые внутри бурой кожей; в них было только два места — одно для нарочного, другое для

пассажира. Колеса были снабжены очень длинными, угрожающего вида ступицами, которые удерживали все другие экипажи на почтительном расстоянии; такие ступицы еще и сейчас можно встретить на проезжих дорогах Германии. Ящик для писем, огромный и продолговатый, помещался позади кузова и составлял с ним одно целое. Он был выкрашен в черный цвет, а сама каретка — в желтый.

Эти повозки, не имевшие ни малейшего сходства с нынешними, казались какими-то уродливыми и горбатыми; издали, когда они медленно ползли по дороге, отчетливо вырисовываясь на горизонте, они напоминали насекомых, называемых, кажется, термитами, которые, при короткой передней части туловища, тащат за собой огромную заднюю его часть. Впрочем, они двигались весьма проворно. Каретка, ежедневно выезжавшая из Арраса в час ночи, после прихода парижской почты, прибывала в Монрейль-Приморский около пяти часов утра.

В эту ночь почтовая карета, следовавшая в Монрейль-Приморский по эсенской дороге, въезжая в город, задела на повороте одной из улиц маленькое, запряженное белой лошастью тильбюри, которое направлялось в противоположную сторону и где сидел только один пассажир, закутанный в широкий плащ. Колесо тильбюри получило довольно чувствительный толчок. Почтарь крикнул этому пассажиру, чтобы он остановился, но путешественник не послушал его и продолжал ехать дальше крупной рысью.

— Вот человек, которому чертовски некогда! — заметил почтарь.

Человек, который так спешил, был тот самый, кого мы только что видели в единоборстве с самим собою, в душевной муке, вполне достойной сострадания.

Куда он ехал? Он и сам не мог бы ответить на этот вопрос. Почему так спешил? Он и сам не знал. Он ехал вперед наудачу. Куда? Конечно, в Аррас; но, быть может, он ехал и не только туда. Мгновениями он чувствовал это, и его охватывала дрожь. Он погружался в эту ночь, как в пучину. Что-то подталкивало его, что-то влекло. Никто не мог бы передать словами, что происходило в его душе, но всякий поймет это. Кому из людей не приходилось хотя бы раз в жизни вступать в эту мрачную пещеру неведомого?

Однако он ни к чему не пришел, ничего не решил, ни на чем не остановился, ничего не сделал. Ни одно из его умозаключений не было окончательным. Сильней чем когда бы то ни было им владела нерешительность самых первых минут.

Зачем он ехал в Аррас?

Он повторил себе все, о чем думал, когда заказывал кабриолет у Скофлера: что, каковы бы ни были последствия, не мешает видеть все собственными глазами и самому в этом разобраться; что этого требует даже и простая осторожность, ибо ему необходимо знать обо всем происходящем; что, не проследив и не изучив всех обстоятельств, ничего нельзя решать; что издали всегда делаешь из мухи слона; что, быть может, увидев этого Шанматье, вероятно негодяя, он перестанет терзать себя и спокойно допустит, чтобы тот занял на каторге его место; что там, правда, будет Жавер, будут Бреве, Шенильдье и Кошпайль, но разве они узнают его? — какая нелепость! — а Жавер теперь далек от всяких подозрений; что все предположения и все догадки сосредоточены сейчас вокруг этого Шанматье, а ведь ничего нет упрямее предположений и догадок; что, следовательно, никакой опасности и не существует.

Он повторял себе, что, разумеется, ему предстоят тяжелые минуты, но он найдет в себе силы перенести их; что, как бы ни была жестока его судьба, но в конце концов она в его руках, что он сам волен в ней. Он жадно цеплялся за эту мысль.

Однако, если говорить откровенно, он предпочел бы не ехать в Аррас.

И все же он ехал туда.

Не отрываясь от своих дум, он подстегивал лошадь, которая бежала отличной, мерной и уверенной рысью, делая по два с половиной лье в час.

По мере того как кабриолет подвигался вперед, он чувствовал, как в нем самом что-то отступает назад.

Перед восходом солнца он был в открытом поле; город Монрейль-Приморский уже остался далеко позади. Он наблюдал, как светлеет горизонт; он смотрел, не видя, как перед его глазами проносятся холодные картины зимнего рассвета. У утра есть свои призраки, так же как и у вечера. Он не видел их, но, помимо его сознания, эти

мрачные силуэты деревьев и холмов, путем какого-то почти физического проникновения, добавляли что-то унылое и зловещее к хаосу, царившему в его душе.

Проезжая мимо уединенных домиков, изредка попадавшихся близ дороги, он всякий раз говорил себе: «А люди спокойно спят там, внутри!»

Топот лошади, позвякивание бубенчиков на сбруе, стук колес по мощеной дороге сливались в приятный однообразный звук. Все это кажется полным очарования, когда человеку весело, и тоскливым — когда ему грустно.

Было уже совсем светло, когда он прибыл в Эсден. Он остановился у постоялого двора, чтобы покормить лошадь овсом и дать ей передохнуть.

Эта лошадь, как и говорил Скофлер, принадлежала к мелкой булонской породе, которая отличается чрезмерно большой головой и брюхом, короткой шеей, но вместе с тем и широкой грудью, широким крупом, крепкими бабками и поджарыми сильными ногами, — некрасивая, но здоровая и выносливая порода. Хотя славная лошадка пробежала за два часа пять лье, на ней не было заметно ни малейшего следа испарины.

Он не вышел из тильбюри. Конюх, принесший овес, вдруг нагнулся и начал рассматривать левое колесо.

— И много вы проехали так? — спросил он.

— А что? — ответил путник, попрежнему погруженный в свои мысли.

— Я говорю — вы издалека? — повторил конюх.

— Я проехал пять лье.

— Ого!

— Почему «ого»?

Конюх снова нагнулся, с минуту помолчал, не отрывая глаз от колеса, потом выпрямился и сказал:

— Потому что, если это колесо и проехало пять лье, то сейчас уж наверняка не проедет и четверти лье.

Путник выскочил из тильбюри.

— Что вы говорите, друг мой?

— Говорю, что вы просто чудом проехали пять лье, не свалившись вместе с лошастью в какую-нибудь придорожную канаву. Да вы взгляните сами.

Колесо было в самом деле сильно повреждено. От толчка почтовой кареты сломались две спицы; ступица тоже пострадала: гайка на ней едва держалась.

— Скажите, друг мой, — спросил путник у конюха, — нет ли здесь у вас тележника?

— Как не быть, сударь.

— Так я попрошу вас, сходите за ним.

— Да он здесь, в двух шагах. Эй! Дядюшка Бургальяр!

Дядюшка Бургальяр, тележник, стоял на пороге своего дома. Он подошел, осмотрел колесо и скорчил гримасу, как хирург, увидевший сломанную ногу.

— Вы можете немедленно починить это колесо?

— Могу, сударь.

— Когда мне можно будет выехать?

— Завтра.

— Как завтра?

— Тут хватит работы на целый день. А что, сударь, разве вы так спешите?

— Очень спешу. Мне необходимо выехать не позже, чем через час.

— Это никак нельзя, сударь.

— Я не постою за деньгами.

— Никак нельзя.

— Ну, хорошо. Через два часа.

— Нет, сегодня нельзя. Ведь надо сделать заново две спицы и ступицу. Нет, сударь, вы никак не сможете выехать до завтра.

— Но дело, по которому я еду, не терпит до завтра. А что, если не чинить это колесо, а просто заменить его новым?

— Это как же?

— Да ведь вы тележник?

— Точно так, сударь.

— Разве у вас не найдется продажного колеса? Тогда я мог бы отправиться в путь сейчас же.

— Колеса взамен вот этого?

— Да.

— Нет, у меня нет готового колеса для вашего кабриолета. Колеса ведь делаются под пару. Два разных колеса невозможно подогнать друг к другу.

— Так продайте мне пару колес.

— Не всякое колесо, сударь, подойдет к вашей оси.

— Да вы попробуйте.

— Напрасный труд, сударь. Я торгую только тележными колесами. У нас ведь здесь глухое место.

— А нет ли у вас кабриолета напрокат?

Каретный мастер с первого же взгляда распознал, что тильбюри было наемное. Он пожал плечами.

— Недурно же вы разделяетесь с кабриолетами, которые берете напрокат. Да если бы у меня и был экипаж, я бы вам все равно его не дал.

— А не найдется ли у вас продажного кабриолета?

— Нет, не найдется.

— Как? Даже и двуколки? Как видите, я не привередлив.

— У нас здесь глухое место. Правда, — добавил тележник, — есть у меня в сарае одна старая коляска. Хозяин ее, из наших городских, поставил ее ко мне на хранение, а сам, почитай, никогда на ней и не ездит, разве что раз в год по обещанию. Я бы дал вам ее напрокат, мне не жалко, да как бы хозяин не заметил, когда вы будете проезжать мимо, и кроме того, это ведь коляска, тут потребуется не одна лошадь, а пара.

— Я найму пару почтовых лошадей.

— А вы куда едете, сударь?

— В Аррас.

— И хотите добраться туда за один день?

— Непременно.

— Это на почтовых-то лошадях?

— Почему бы и нет?

— А ничего, если вы приедете туда часа этак в четыре утра?

— Нет, это поздно.

— Тогда я должен сказать вам вот что. Видите ли, на почтовых лошадях... А разрешение на это при вас, сударь?

— Да.

— Так вот, на почтовых лошадях вы, сударь, будете в Аррасе не раньше завтрашнего дня. У нас ведь тут проселочная дорога. На станциях лошадей мало, все они заняты в поле. Сейчас начинается пахота, требуются сильные упряжки, лошадей нанимают, где только можно — и у почты тоже. Вам, сударь, придется ожидать по три-четыре часа на каждой станции. Да и повезут вас шагом. На этой дороге много пригорков.

— Хорошо, я поеду верхом. Отпрягите лошадь. Ведь найдется же у вас здесь продажное седло.

— Найдись-то найдется, да ходит ли ваша лошадь под седлом?

— Правда, я совсем забыл об этом. Нет, под седлом она не ходит.

— Ну, значит...

— Да неужели я не найду в деревне наемную лошадь?

— Лошадь, которая без передышки добежит до самого Арраса?

— Да.

— В наших краях нет таких лошадей. Конечно, вам пришлось бы купить ее, потому что здесь никто вас не знает. Но ни купить, ни нанять такую лошадь вам не удастся ни за пятьсот, ни даже за тысячу франков.

— Как же быть?

— Сказать по чести, самое лучшее будет, если я починю ваше колесо и вы отложите поездку до завтра.

— Завтра будет уже поздно.

— Ничего не поделаешь!

— Кажется, здесь проходит почтовая карета на Аррас. Когда она должна прибыть?

— Завтра ночью. Обе почтовые кареты ездят по ночам, и туда и оттуда.

— Скажите, неужели на починку этого колеса вам необходим целый день?

— Целый день, да еще какой работы!

— А если взять помощника?

— Хоть десятерых.

— Нельзя ли связать спицы веревками?

— Спицы-то можно, а вот ступицу нельзя. Да и обод еле держится.

— Нет ли в городе человека, который отдает внаем лошадей?

— Нет.

— Нет ли другого тележника?

Конюх и тележник отрицательно покачали головами и в один голос ответили:

— Нет.

Он почувствовал невыразимую радость.

В дело вмешалось провидение — это было очевидно. Это оно сломало колесо тильбюри и задержало его

в дороге. Он сдался не сразу, он сделал все, что мог, чтобы продолжать путь; он честно и добросовестно исчерпал все возможные средства; он не отступил ни перед холодом, ни перед усталостью, ни перед издержками; ему не в чем было упрекнуть себя. Если же он все-таки не поедет дальше, то уже не по своей вине; это не его воля, это воля providения.

Он вздохнул. Впервые после посещения Жавера он вздохнул свободно и полной грудью. Ему показалось, что железная рука, в течение двадцати часов сжимавшая его сердце, вдруг разжалась.

Он решил, что теперь бог на его стороне и что этим он явил ему свое присутствие.

Он сказал себе, что сделал все возможное и что сейчас ему остается лишь одно: спокойно вернуться обратно.

Если бы беседа с тележником происходила в зале трактира, она не имела бы свидетелей, никто не услышал бы ее, дело тем бы и кончилось, и, вероятно, нам не пришлось бы рассказывать ни об одном из событий, которые предстоит узнать читателю; но разговор этот происходил на улице. Всякая беседа на улице неизбежно привлекает кружок любопытных. Всегда найдутся люди, жаждущие стать зрителями. Пока путник расспрашивал тележника, около них остановилось несколько случайных прохожих. Послушав немного, какой-то мальчуган, на которого никто не обратил внимания, отделился от группы и убежал.

В ту минуту, как путник закончил свои размышления, о которых мы только что рассказали, и решил повернуть обратно, этот мальчуган вернулся. Его сопровождала пожилая женщина.

— Сударь, — сказала она, — правду ли говорит сын, что вы хотите нанять кабриолет?

При этих самых обыкновенных словах, произнесенных пожилой женщиной, которую привел мальчик, путник весь покрылся холодным потом. Ему почудилось, что отпустившая его рука снова появилась во мраке за его спиной и сейчас снова схватит его.

Он ответил:

— Да, голубушка, я хочу нанять кабриолет.

И поспешил добавить:

— Но здесь его нет.

— Есть, — ответила старуха.

— У кого же это? — спросил тележник.

— У меня, — ответила старуха.

Путник вздрогнул. Роковая рука опять сдавила его.

У старухи действительно оказалось в сарае нечто вроде двуколки с кузовом, сплетенным из ивовых прутьев. Тележник и трактирный слуга, раздосадованные тем, что путешественник ускользает из их рук, вмешались в дело:

— И не двуколка это, а настоящая трясучка, кузов у нее стоит прямо на оси; сидение, правда, подвешено на кожаных ремнях, но внутри она так отсырела, что с нее прямо течет; колеса все проржавели; и уедешь на ней не намного дальше, чем на этом тильбюри, — настоящая рухлядь! Несдобровать тому, кто на ней поедет, и т. д., и т. д.

Они говорили правду, но эта трясучка, эта рухлядь, эта плетенка, какова бы она ни была, стояла все же на двух целых колесах и на ней можно было ехать в Аррас.

Он заплатил столько, сколько с него потребовали, оставил тильбюри у тележника для починки, условившись, что заедет за ним на обратном пути, велел запрячь в двуколку белую лошадь и поехал по той же самой дороге, по которой ехал с раннего утра.

Когда двуколка тронулась в путь, он признался самому себе, что минуту назад испытал некоторую радость при мысли о том, что не поедет туда, куда собирался ехать. Теперь он рассердился на себя за эту радость и нашел ее нелепой. Чему тут было радоваться? В конце концов он едет совершенно добровольно. Никто его не принуждает.

И, разумеется, с ним не случится ничего такого, чего не захочет он сам.

Выезжая из Эсдена, он вдруг услышал чей-то голос, кричавший: «Стойте! Стойте!» Он остановил двуколку быстрым движением, в котором еще было что-то лихорадочное и судорожное, что-то похожее на надежду.

Это был сын той старухи.

— Сударь, — сказал он, — ведь это я раздобыл двуколку.

— Ну и что же?

— А вы мне ничего не дали.

Человек, дававший всем и каждому, дававший так охотно, счел это требование чрезмерным, почти дерзким.

— Ах, это ты, негодный мальчишка? — крикнул он. — Ты ничего не получишь!

Он стегнул лошадь и пустил ее крупной рысью.

Он потерял много времени в Эсдене, и теперь ему хотелось наверстать его. Лошадка была бодрая и везла за двоих, но стоял февраль месяц, дороги были размыты дождями. И к тому же двуколка — не тильбюри. Она была неуклюжа и очень тяжела. А вдобавок еще, множество подъемов в гору.

Чтобы добраться от Эсдена до Сен-Поля, он потратил около четырех часов. Четыре часа на пять лье!

В Сен-Поле он распряг лошадь у первого попавшегося трактира и велел отвести ее в конюшню. Верный обещанию, данному им Скофлеру, он сам стоял возле яслей, пока лошадь ела. Мысли его были печальны и смутны.

Трактирщица вошла в конюшню.

— Не угодно ли вам будет позавтракать, сударь?

— В самом деле, — сказал он, — я действительно сильно проголодался.

Он последовал за женщиной; у нее было свежее и веселое лицо. Она проводила его в низенькую залу, где стояли столы, покрытые вместо скатерти клеенкой.

— Только поскорее, — сказал он, — мне надо сейчас же ехать. Я спешу.

Толстуха фламандка торопливо поставила ему прибор. Он смотрел на служанку с чувством удовольствия.

«В этом все дело, — подумал он, — я не завтракал сегодня».

Ему подали еду. Он набросился на хлеб, откусил кусок, потом медленно положил хлеб на стол и больше не дотронулся до него.

За другим столом завтракал ломовой извозчик. Путник сказал ему:

— Отчего это хлеб у них такой горький?

Извозчик был немец и не понял вопроса. Путник вернулся в конюшню к своей лошади.

Через час он выехал из Сен-Поля, направляясь в Тенк, откуда до Арраса было только пять лье.

Что он делал во время этой поездки? О чем думал? Как и утром, он смотрел на мелькавшие перед ним деревья, соломенные крыши, вспаханные поля, на пейзаж, менявшийся при каждом новом повороте дороги. Такое

созерцание иногда целиком поглощает душу и почти освобождает ее от необходимости думать. Видеть тысячу предметов в первый и последний раз — что может быть печальнее этого и вместе с тем глубже! Путешествовать — значит рождаться и умирать каждую секунду. Быть может, в самом туманном уголке своего сознания он сопоставлял эти изменчивые горизонты с человеческим бытием. Все жизненные явления непрерывно бегут от нас. Сумрак чередуется со светом. После яркой вспышки — тьма; вы смотрите, спешите, вы протягиваете руки, чтобы схватить мимолетное видение; каждое событие — это поворот дороги; и вдруг приходит старость. Вы чувствуете какой-то толчок, вокруг темно; вы смутно различаете перед собой темные врата, угрюмый конь жизни, который привез вас сюда, останавливается, и некто с закрытым лицом, некто, неведомый вам, распрягает его во мраке.

Вечерело, уже дети выходили из школы, когда путник въехал в Тенк. Правда, дни в это время года были еще короткие. Он не остановился в Тенке. Когда он выезжал из деревни, рабочий, мостивший щебнем дорогу, поднял голову и сказал:

— До чего заморили лошадь.

В самом деле, бедное животное уже плелось шагом.

— Вы куда едете, в Аррас? — спросил рабочий.

— Да.

— Ну, таким ходом вы не скоро туда попадете.

Путник остановил лошадь и спросил у рабочего:

— Сколько еще отсюда до Арраса?

— Добрых семь лье.

— Как же так? По почтовому расписанию значится только пять с четвертью.

— А-а! Вы, стало быть, не знаете, что сейчас чинят дорогу, — сказал рабочий. — В четверти часа отсюда она загорожена, и проезда нет.

— В самом деле?

— Сверните влево, на дорогу, которая ведет в Каранси, потом переправьтесь через реку и, когда доедете до Камблена, возьмите вправо. Это и будет дорога на Аррас, через Мон-Сент-Элуа.

— Но ведь скоро стемнеет. Я могу заблудиться.

— Так вы не здешний?

— Нет.

— Это хуже. Тем более что тут у нас все проселочные дороги. Знаете что, сударь, — сказал рабочий, — я вам дам совет. Лошадь у вас устала, воротитесь-ка вы в Тенк. Там есть хороший постоялый двор, переночуете там. А завтра поедете в Аррас.

— Я должен быть в Аррасе сегодня вечером.

— Это другое дело. Но все-таки ступайте на постоялый двор и возьмите там пристяжную. А конюх проводит вас по проселочной дороге.

Путник послушался совета, повернул обратно и через полчаса снова проехал той же дорогой, но уже крупной рысью, с хорошей пристяжной. Конюх, величавший себя почтарем, сидел на передке двуколки.

Между тем времени было потеряно много — путник чувствовал это.

Стало уже совсем темно.

Они свернули на отвратительную проселочную дорогу. Двуколка переваливалась из одной колеи в другую. Путник сказал почтарю:

— Гони рысью, получишь на выпивку вдвойне.

На одной из рытвин переломился валец.

— Сударь, — сказал почтарь, — сломался валец. Я не знаю, как припрягу теперь свою лошадь. Ночью очень трудно ехать по этой дороге. Не вернуться ли вам ночевать в Тенк? А завтра мы могли бы рано утром быть в Аррасе.

— Есть у тебя веревка и нож? — спросил путник.

— Есть, сударь.

Он срезал с дерева ветку и сделал валец.

На это ушло еще двадцать минут, зато дальше поехали вскачь.

Равнина была окутана мраком. Короткие и черные клочья тумана снизу наплывали на холмы и вдруг отрывались от них, словно клубы дыма. В тучах мерцали белеватые отблески. Сильный ветер, дувший с моря, грохотал во всех концах горизонта, словно кто-то невидимый передвигал тяжелую мебель. Все вокруг застыло от страха. Все трепещет пред этим могучим дыханием ночи!

Холод пронизывал путника до костей. Он не ел со вчерашнего дня. Ему смутно припоминалось другое ночное странствие — по широкой равнине в окрестностях Диня.

С тех пор прошло восемь лет, но, казалось, это было вчера.

Пробили часы на какой-то отдаленной колокольне. Он спросил у конюха:

— Который это час?

— Семь часов, сударь. В Аррасе мы будем в восемь. Нам осталось только три лье.

В эту минуту ему впервые пришло в голову, — и его удивило, как мог он не подумать об этом раньше, — что, возможно, все его усилия напрасны; что он даже не знает, на какой час назначено слушание дела; что он должен был осведомиться хотя бы об этом; что опрометчиво было ехать наобум, не зная, послужит ли это к чему-либо. Затем, прикинув в уме, он рассчитал, что обычно судебные заседания начинаются в девять часов утра; что это дело не могло затянуться надолго, — вопрос о краже яблок должен был отнять очень мало времени; что после него оставалось только установить тождество личности, то есть пять-шесть свидетельских показаний, не дающих адвокатам материала для длинных речей; словом, что он придет, когда все уже будет кончено.

Конюх гнал лошадей во всю мочь. Они переправились через реку и оставили за собой Мон-Сент-Элуа.

Становилось все темнее и темнее.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Испытание сестры Симплиции

Между тем Фантина в эту самую минуту была преисполнена радости.

Ночь она провела очень дурно. У нее был страшный кашель, сильнейшая лихорадка; ее мучили какие-то сны. Утром, во время посещения врача, она была в бреду. Врач заметно встревожился и попросил, чтобы ему тотчас дали знать, как только придет г-н Мадлен.

Все утро она была уныла, неразговорчива и, комкая пальцами простыню, бормотала про себя какие-то цифры, словно вычисляя расстояние. Глаза у нее совсем ввалились и смотрели в одну точку. Они казались почти потухшими, но временами вдруг загорались и начинали сиять, как

звезды. Должно быть, при приближении роковой минуты небесный свет озаряет взоры тех, кто не увидит больше земного света.

Когда сестра Симплиция спрашивала у нее, как она себя чувствует, она всякий раз неизменно отвечала: «Хорошо. Но мне хотелось бы видеть господина Мадлена».

Несколько месяцев назад, когда Фантина потеряла свой последний стыд и свою последнюю радость, она была собственной тенью, теперь она стала собственным призраком. Физический недуг довершил дело недуга нравственного. У этой двадцатипятилетней женщины был морщинистый лоб, дряблые щеки, заострившийся нос, обнажившиеся десны, свинцовый цвет лица, костлявая шея, торчащие ключицы, хилое тело, землистая кожа, а в отставших белокурых волосах появилась седина. Увы! Как искусно болезнь надевает на нас личину старости!

В полдень врач пришел еще раз, сделал несколько предписаний, осведомился, приходил ли в больницу г-н мэр, и покачал головой.

Обычно г-н Мадлен навещал больную в три часа. Он был точен, ибо точность здесь была проявлением его доброты.

Около половины третьего Фантина начала волноваться. На протяжении двадцати минут она чуть не десять раз спросила у монахини: «Сестрица, который час?»

Но вот пробило три часа. После третьего удара Фантина, которая в обычное время лежала почти неподвижно, села на постели, судорожно стиснула свои худые, желтые руки, и монахиня услышала, как из ее груди вырвался тот глубокий вздох, который говорит, что с сердца свалился камень. Потом Фантина обернулась и посмотрела на дверь.

Однако никто не вошел, дверь оставалась закрытой.

Четверть часа больная сидела в той же позе, устремив взгляд на дверь, не шевелясь, затаив дыхание. Сестра не решалась заговорить с ней. На церковной колокольне пробило четверть четвертого. Фантина снова откинулась на подушку.

Она ничего не сказала и снова начала собирать простыню в складки.

Прошло полчаса, прошел час. Никто не приходил. Каждый раз, когда били часы, Фантина приподнималась и смотрела на дверь, потом снова падала на подушку.

Все понимали, о чем она думает, но она не произносила ничего имени, не жаловалась, никого не обвиняла. Она только кашляла страшным, зловещим кашлем. Казалось, на нее нисходил какой-то мрак. Она была бледна, как смерть, и губы у нее совсем посинели. Время от времени она улыбалась.

Пробило пять часов. И сестра расслышала, как она сказала тихо и очень кротко: «Завтра я уйду, и он нехорошо поступил, что не пришел сегодня!»

Сестра Симплиция была и сама удивлена тем, что г-н Мадлен запаздывал.

А Фантина смотрела теперь вверх, на потолок своей постели, и словно искала или вспоминала что-то. Вдруг она запела слабым, подобно дуновению ветерка, голосом. Монахиня стала прислушиваться. Вот что пела Фантина:

Чудесных вещей мы накупим, гуляя
По тихим предместьям в воскресный денек.
Ах, белая роза, малютка родная,
Ах, белая роза, мой нежный цветок!
Вчера мне пречистая дева предстала, —
Стоит возле печки в плаще золотом
И молвит мне: «Ты о ребенке мечтала, —
Я дочку тебе принесла под плащом».
— Скорей, мы забыли купить покрывало,
Беги за иголкой, за ниткой, холстом.
Чудесных вещей мы накупим, гуляя
По тихим предместьям в воскресный денек.
«Пречистая, вот колыбель, поджидая,
Стоит в уголке за кроватью моей.
Найдется ль у бога звезда золотая,
Моей ненаглядной дочурки светлей?»
— Хозяйка, что делать с холстом? — Дорогая,
Садись, для малютки приданое шей!
Ах, белая роза, малютка родная,
Ах, белая роза, мой нежный цветок!
— Ты холст постирай. — Где же? — В речке про-
хладной.

Не пачкай, не портъ, — сядь у печки с иглой
И юбочку сделай да лифчик нарядный,
А я на нем вышию цветок голубой.
— О горе! Не стало твоей ненаглядной!
Что делать? — Мне саван готовъ гробовой.
Чудесных вещей мы накупим, гуляя
По тихим предместьям в воскресный денек.
Ах, белая роза, малютка родная,
Ах, белая роза, мой нежный цветок!

Это была старинная колыбельная песенка, которой она убаюкивала когда-то свою маленькую Козетту и которая ни разу не приходила ей на память за все пять лет разлуки с ребенком. Она пела ее таким грустным голосом и с таким кротким видом, что могла разжалобить всякого, даже монахиню. Сестра милосердия, закаленная строгой, суровой жизнью, почувствовала, что на глаза у нее вернулись слезы.

На башенных часах пробило шесть. Фантина как будто не слышала. Казалось, она больше не обращала внимания на происходившее вокруг нее.

Сестра Симплиция послала служанку к фабричной привратнице справиться, не пришел ли домой г-н мэр и скоро ли он будет в больнице. Через несколько минут служанка вернулась.

Фантина попрежнему лежала неподвижно, казалось она вся ушла в свои мысли.

Служанка шопотом сообщила сестре Симплиции, что г-н мэр уехал сегодня утром, когда еще не было и шести часов, в маленьком тильбюри, запряженном белой лошадью, — уехал, несмотря на холод, один, без кучера, и никто не знает, куда. Некоторые видели, как он свернул на аррасскую дорогу, а другие уверяют, что встретили его по дороге на Париж. Уезжая, он был такой же, как всегда, очень ласковый, и только сказал привратнице, чтобы нынешней ночью его не ждали.

Женщины шептались, стоя спиной к постели Фантины, причем сестра задавала вопросы, а служанка высказывала свои догадки. Тем временем Фантина, с присущей некоторым органическим недугам лихорадочной живостью, при которой ужасающая худоба смерти сочетается с полной свободой движений, свойственной здоровью, встала на колени и, опершись сжатыми кулаками на подушку, прислушивалась, просунув голову в отверстие между занавесок. Внезапно она вскричала:

— Вы говорите о господине Мадлене! Почему вы шепчетесь? Что с ним? Отчего он не приходит?

Голос ее прозвучал так резко и так хрипло, что обеим женщинам показалось, будто это говорит мужчина, и они обернулись в испуге.

— Отвечайте же! — кричала Фантина.

Служанка пролепетала:

— Привратница сказала, что он не может прийти сегодня.

— Дитя мое, — сказала сестра, — успокойтесь, лягте. Не меняя позы, Фантина громко продолжала властным и в то же время раздирающим душу тоном:

— Не может прийти? Почему же? Вы знаете причину. Сейчас вы шептались об этом между собой. Я хочу все знать.

Служанка торопливо проговорила на ухо монахине: «Скажите, что он в муниципальном совете».

Сестра Симплиция слегка покраснела: служанка посоветовала ей солгать. С другой стороны, она и сама понимала, что сказать больной правду — значило нанести ей тяжелый удар, очень опасный в том положении, в каком находилась Фантина. Но краска быстро сбегала с ее лица. Сестра подняла на Фантину свой спокойный, грустный взгляд и сказала:

— Господин мэр уехал.

Фантина приподнялась на подушках и села. Глаза ее засверкали. Безмерной радостью засияло ее страдальческое лицо.

— Уехал! — вскричала она. — Он поехал за Козеттой!

Она протянула обе руки к небу, вся преображенная неизъяснимым чувством. Губы ее шевелились; она тихо читала молитву.

Помолившись, она сказала:

— Сестрица, сейчас я лягу, я буду делать все, что мне прикажут; я была дурной, простите меня за то, что я говорила так громко, я знаю, что нехорошо говорить громко; но, видите ли, милая сестрица, я так рада. Господь бог так добр, господин Мадлен так добр, подумайте только, он поехал в Монфермейль за моей маленькой Козеттой!

Она улеглась, помогла монахине поправить подушки и поцеловала висевший у нее на шее маленький серебряный крестик, подаренный ей сестрой Симплицией.

— Дитя мое, — сказала сестра, — теперь постарайтесь успокоиться и не говорите больше.

Фантина взяла в свои влажные от пота руки руку сестры, и та с огорчением ощутила эту испарину.

— Сегодня утром он уехал в Париж. А ведь ему даже незачем проезжать через Париж. Монфермейль немного

левее. Помните, как вчера, когда я говорила ему про Козетту, он ответил: «Скоро, скоро!» Он решил сделать мне сюрприз. Знаете, он дал мне подписать письмо, чтобы забрать у Тенардье ребенка. Они ведь не посмеют возражать, правда? Они отдадут Козетту. Им же уплачено сполна. Власти не позволяют им задерживать ребенка, раз все уплачено. Сестрица, не останавливайте меня, позвольте мне говорить. Я так счастлива, я здорова, у меня больше нигде ничего не болит, я увижу Козетту... я даже захотела есть. Ведь я не видела ее около пяти лет. Вы не можете себе представить, как тянет к ребенку! И потом она так мила, да вот вы увидите сами! Если бы вы знали, какие у нее пальчики — хорошенькие, розовые! У нее будут очень красивые руки. А когда ей был годик, до чего ручонки у нее были потешные! Такие вот! Теперь она уже, наверно, совсем большая. Шутка ли сказать, ей семь лет. Настоящая барышня. Я зову ее Козеттой, но ее правильное имя Эфрази. Послушайте, сегодня утром я посмотрела на пыль на камине, и вдруг мне пришло в голову, что я скоро увижу Козетту. Господи, как дурно годами не видеть своих детей! Надо бы людям всегда помнить, что жизнь у нас не вечная! О, какой добрый господин мэр, что сам поехал за ней! Правду ли говорят, что на дворе так холодно? По крайней мере взял ли он с собой плащ? Как вы думаете, он придет завтра? Завтра будет праздник. Напомните мне, сестрица, чтобы завтра утром я надела тот чепчик, который с кружевами. Монфермейль — это целый округ. Когда-то я проделала весь этот путь пешком. Мне он показался таким длинным. Но diligences ходят очень быстро! Завтра он будет здесь с Козеттой. Скажите, сколько отсюда до Монфермейля?

Сестра, не имевшая ни малейшего понятия о расстояниях, ответила:

— О, я уверена, что завтра он уже может быть здесь.

— Завтра! Завтра! — повторяла Фантина. — Завтра я увижу Козетту! Вы знаете, добрая сестрица, я уже совсем здорова. Я схожу с ума от радости. Я готова танцевать, если угодно.

Тот, кто видел ее за четверть часа до этого, не мог бы понять совершившейся в ней перемены. Она вся порозовела, голос ее звучал естественно и живо, лицо сияло улыбкой. Она то и дело смеялась и тихо разговаривала

сама с собой. Радость матери — это почти то же, что радость ребенка.

— Вот что, — сказала монахиня, — теперь вы счастливы, так будьте же послушны и перестаньте разговаривать.

Фантина положила голову на подушку и вполголоса говорила:

— Да, да, ложись, будь умницей, ведь завтра тебе привезут твое дитя. Сестра Симплиция права. Все те, кто здесь, правы.

Затем, не шевелясь, не поворачивая головы, она принялась оглядывать комнату широко раскрытыми веселыми глазами и не проронила больше ни слова.

Сестра задернула полог, надеясь, что она задремлет.

Между семью и восемью часами пришел врач. Не слыша никакого шума, он решил, что Фантина спит, тихонько вошел в палату и на цыпочках приблизился к кровати. Раздвинув полог, он увидел при свете ночника устремленные на него большие и спокойные глаза Фантины.

Она сказала ему:

— Господин доктор, мне ведь позволят поставить ее маленькую кроватку рядом с моей?

Врач решил, что она бредит. Она добавила:

— Посмотрите, тут как раз хватит места.

Врач отозвал в сторону сестру Симплицию, и она объяснила ему, в чем дело: г-н Мадлен уехал на день или два, и, не зная точно, куда он уехал, она не сочла нужным разуверять больную, решившую, что г-н мэр отправился в Монфермейль; в сущности говоря, это могло оказаться и правдой. Врач одобрил сестру.

Он снова подошел к кровати Фантины, и та продолжала:

— Видите ли, утром, когда она проснется, я смогу сразу поздороваться с моим бедным котенком, а ночью я буду слушать, как она спит, — ведь я-то все равно не сплю по ночам. Мне так приятно будет прислушиваться к нежному дыханию моей крошки.

— Дайте руку, — сказал врач.

Она протянула руку и вскричала со смехом:

— Ах, да! Ведь и правда, вы не знаете еще! Я выздоровела. Завтра приезжает Козетта.

Врач был поражен. Ей в самом деле было лучше. Одышка уменьшилась. Пульс стал полнее. Внезапный прилив жизненных сил воскресил это жалкое, истощенное тело.

— Господин доктор, — продолжала она, — сказала ли вам сестрица, что господин мэр уехал за моим сокровищем?

Врач запретил ей разговаривать и велел окружающим оберегать ее от каких бы то ни было тяжелых впечатлений. Он прописал ей хинную настойку без всякой примеси и успокоительное питье, на случай если бы лихорадка возобновилась ночью. Уходя, он сказал сестре:

— Ей лучше. Если бы, на счастье, господин мэр действительно приехал завтра с ее ребенком — как знать? — бывают иногда такие изумительные переломы; известны случаи, когда сильная радость останавливала развитие болезни. Правда, тут заболевание органическое и очень запущенное, но в человеческих недугах так много тайн! Быть может, мы еще и спасем ее.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Приезжий обеспечивает себе обратный путь

Было около восьми часов вечера, когда оставленная нами в дороге двуколка въехала в ворота Почтовой гостиницы в Аррасе. Из нее вышел человек, которого мы сопровождали вплоть до этого момента; отослав пристяжную лошадь и рассеянно отвечая на вопросы услужливой гостиничной прислуги, он сам отвел в конюшню свою белую лошадку; затем он вошел в бильярдную, находившуюся в нижнем этаже, и уселся там, облокотившись на стол. Он потратил четырнадцать часов на поездку, которую рассчитывал проделать за шесть. Ему не в чем было себя упрекнуть — здесь не было его вины. И в глубине души он не досадовал на это.

Вышла хозяйка гостиницы.

— Изволите переночевать, сударь? Изволите поужинать?

Он отрицательно покачал головой.

— А конюх говорит, что ваша лошадь очень устала.

При этих словах он нарушил молчание.

— Вы думаете, что ей не под силу пуститься в обратный путь завтра утром?

— Помилуйте, сударь! Ей надобно отдохнуть по крайней мере двое суток.

Он спросил:

— Кажется, здесь помещается почтовая контора?

— Да, сударь.

Хозяйка проводила его в эту контору, он показал свой паспорт и справился, есть ли возможность сегодня же ночью вернуться в Монрейль-Приморский с почтовой каретой; место рядом с почтарем оказалось еще не занятым; он оставил его за собой и заплатил за него. «Сударь, — сказал конторщик, — только не опаздывайте, карета отправляется ровно в час ночи».

Покончив с этим делом, путник вышел из гостиницы и пошел по городу.

Он совсем не знал Арраса; улицы были малолюдны, он шел наугад. Однако он почему-то упорно не спрашивал дорогу у прохожих. Перейдя мост через небольшую речку Креншон, он очутился в таком лабиринте узеньких улиц, что совсем запутался. По дороге шел какой-то горожанин с большим фонарем. После некоторого колебания путник решил обратиться к этому человеку, причем предварительно оглянулся по сторонам, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не услышал, о чем он будет спрашивать.

— Сударь, — сказал он, — скажите, пожалуйста, где находится здание суда?

— Вы, должно быть, нездешний, сударь, — ответил прохожий, уже почти старик, — пойдемте со мной. Я как раз иду в ту сторону, где находится суд, то есть, собственно говоря, где находится префектура, так как здание суда сейчас ремонтируется и судебные заседания происходят в префектуре.

— И суд присяжных тоже заседает там? — спросил он.

— Конечно. Видите ли, сударь, нынешнее здание префектуры было до революции епископским дворцом. Монсеньор де Конзье, который был епископом в восемьдесят втором году, выстроил там большой зал. В этом-то зале и заседает суд.

Дорогой старик сказал ему:

— Если вы, сударь, хотите присутствовать на каком-нибудь процессе, то сейчас немного поздновато. Обычно заседания кончаются в шесть часов.

Однако, когда они вышли к широкой площади, старик показал ему на четыре высоких освещенных окна, выделявшихся на темном фасаде огромного здания.

— Право, сударь, вам везет, вы не опоздали. Видите эти четыре окна? Это-то и есть судебный зал. Там светло. Значит, еще не все кончено. Очевидно, дело затянулось и назначено вечернее заседание. А что — вас интересует это дело? Это, должно быть, уголовный процесс? Вас вызвали в качестве свидетеля?

Он ответил:

— Я приехал не ради какого-либо дела. Просто мне надо повидать одного адвоката.

— Ах, так! — сказал старик. — Да вот и дверь, сударь. Та, возле которой стоит часовой. Вам надо будет только подняться по главной лестнице.

Он последовал указаниям прохожего и несколько минут спустя очутился в какой-то комнате, где было много народа и где отдельные группы людей вперемешку со стряпчими в судейских мантиях, перешептывались между собой

Сердце всегда невольно сжимается при виде этих фигур в черном, которые тихо переговариваются друг с другом на пороге судилища. Слова милосердия и сострадания редко срываются с их уст. Чаще всего это обвинительные приговоры, предусмотренные заранее. Все эти группы кажутся наблюдателю, задумчиво проходящему мимо, какими-то темными ульями, где жужжащие духи сообща замышляют мрачные козни.

Эта просторная комната, освещенная единственной лампой, была прежде одним из приемных залов епископского дворца, а теперь служила залом ожидания. Двустворчатая дверь, в эту минуту закрытая, отделяла ее от большого зала, где заседал суд присяжных.

Было так темно, что путник не побоялся обратиться к первому попавшемуся стряпчему.

— Сударь, — спросил он, — в каком положении дело?

— Дело кончено, — ответил стряпчий.

— Кончено!

Это слово было повторено таким тоном, что стряпчий обернулся.

— Извините, сударь, вы, вероятно, родственник?

— Нет. Я никого здесь не знаю. И каков приговор — обвинительный?

— Конечно. Ничего иного нельзя было и ждать.

— Каторжные работы?..

— Пожизненная каторга.

— Значит, тождество личности установлено? — произнес путник таким слабым голосом, что его с трудом можно было слышать.

— Какое там тождество? — ответил стряпчий. — Об этом не было и речи. Дело совсем простое. Эта женщина убила своего ребенка, детоубийство было доказано, но присяжные отклонили предположение о заранее обдуманном намерении, и она приговорена к пожизненной каторге.

— Так это женщина? — проговорил он

— Разумеется, женщина. Девушка Лимозен. А вы о чем говорите?

— Да так, ни о чем. Но если дело кончено, то почему же зал все еще освещен?

— Сейчас там слушается другое дело. Оно началось часа два назад.

— Какое же дело?

— О, тоже очень простое. Какой-то бродяга, рецидивист, каторжник совершил кражу. Я забыл его имя. Вот уж поистине разбойничья физиономия. За одну эту физиономию я бы сослал его на галеры.

→ Сударь, — спросил путник, — есть ли возможность попасть в зал?

— Не думаю. Очень много народа. Правда, сейчас перерыв. Многие вышли. Попробуйте, когда заседание возобновится.

— Где вход?

— Здесь. Через эти большие двери.

Стряпчий отошел. За несколько секунд путник пережил почти одновременно, почти слившиеся воедино все чувства, какие только доступны душе человека. Равнодушные слова стряпчего то пронзали его сердце, как ледяные иглы, то жгли его, как раскаленное железо. Узнав, что ничего еще не кончено, он вздохнул; но он и сам не мог

бы сказать, испытывал он чувство облегчения, или же глубокой скорби.

Он подходил то к одной, то к другой группе людей и прислушивался к тому, что говорилось. Эта сессия была перегружена делами, и потому председатель назначил на один и тот же день два несложных и коротких дела. Начали с детоубийства, а теперь разбиралось дело каторжника, рецидивиста, «обратной кобылки». Последний украл несколько яблок, но это, кажется, не вполне доказано; зато доказано, что он уже побывал на каторге в Тулоне. Это-то ему и повредило. Допрос с обвиняемого уже снят, и свидетельские показания тоже, но остается еще речь защитника и заключительная речь прокурора, так что дело кончится не ранее полуночи. По всей вероятности, преступник будет осужден: товарищ прокурора очень искусен и никогда не «упускает» своих подсудимых; это человек с умом, он даже стихи пишет.

У двери в зал заседаний стоял судебный пристав. Путник спросил у него:

— Скажите, скоро ли откроют двери?

— Их совсем не откроют, — ответил пристав.

— Как! Не откроют, когда снова начнется заседание? Ведь сейчас перерыв?

— Заседание уже началось, — ответил пристав, — но дверей открывать не будут.

— Почему?

— Потому что зал полон.

— Как? Неужели нет ни одного места?

— Ни одного. Дверь заперта, и никого больше в зал не пустят.

Помолчав, судебный пристав добавил:

— Правда, за креслом господина председателя есть еще два или три свободных места, но господин председатель разрешает занимать их только должностным лицам.

С этими словами пристав повернулся к нему спиной

Опустив голову, путник отошел от него и, пройдя через зал ожидания, начал медленно спускаться по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке и словно раздумывая. Быть может, он советовался с самим собой. Жестокий поединок, завязавшийся в его душе со вчерашнего дня, еще не кончился и каждую секунду лишь вступал в какой-нибудь новый фазис. Дойдя до площадки лестницы, он

прислонился к перилам и скрестил руки. Внезапно он растегнул сюртук, вынул бумажник, достал из него карандаш, оторвал клочок бумаги и при свете фонаря быстро набросал на нем одну строчку: «Г-н Мадлен, мэр Монрейля-Приморского». Затем быстрым шагом он снова поднялся по лестнице, протолкался сквозь толпу, подошел прямо к судебному приставу, протянул ему записку и сказал повелительным тоном:

— Передайте господину председателю

Тот взял записку, пробежал ее взглядом и пошел исполнять поручение.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вход для избранных

Сам того не подозревая, мэр Монрейля-Приморского был в некотором роде знаменитостью. За семь лет молва о его добродетели разнеслась по всему Нижнему Булонэ, вышла в конце концов за пределы края и распространилась на два или три соседних департамента. Он оказал значительную услугу не только главному городу, где основал фабрику изделий из черного стекла — из всех ста сорока одной общины Монрейльского округа не нашлось бы такой, которая бы не была ему чем-либо обязана. Он умудрялся даже, если в том была нужда, оказывать помощь промышленным предприятиям других округов и способствовал их процветанию. Так, были случаи, когда он поддерживал своим кредитом и средствами тюлевую фабрику в Булони, механическую льнопрядильню во Фреване и полотняную мануфактуру на водяном двигателе в Бубере на-Канше. Повсюду с благоговением повторяли имя г-на Мадлена. Аррас и Дуэ завидовали счастливому городку Монрейлю-Приморскому, которым управляет такой мэр.

Член королевского суда в Дуэ, председательствовавший на этой сессии суда присяжных в Аррасе, не хуже других знал это имя, окруженное столь глубоким и столь единодушным уважением. Когда судебный служитель, осторожно приоткрыв дверь из совещательной комнаты в зал заседаний, наклонился над креслом председателя и, вручив ему записку, содержание которой уже известно читателю, добавил: «Этот господин хочет присутствовать

на заседании суда», председатель живо повернулся, с готовностью схватил перо, быстро написал на той же записке несколько строчек и передал ее служителю со словами: «Пропустите».

Несчастный человек, историю которого мы рассказываем, продолжал стоять у дверей зала на том же месте и в той же позе, как его оставил судебный пристав. Словно сквозь сон, он услышал чьи-то обращенные к нему слова: «Покорнейше прошу вас, сударь, следовать за мной». Тот самый пристав, который несколько минут назад повернулся к нему спиной, теперь стоял перед ним, кланяясь чуть не до земли. Одновременно он протягивал ему записку. Путник развернул ее и, так как рядом с ним оказалась лампа, смог прочесть: «Председатель суда свидетельствует свое почтение господину Мадлену».

Он скомкал записку в руке, словно в этих немногих словах таился для него какой-то странный и горький привкус.

Он последовал за приставом.

Через несколько минут он оказался один в обшитом панелями строгом кабинете, освещенном двумя свечами, стоявшими на покрытом зеленым сукном столе. В его ушах еще звучали слова судебного служителя, с которым он только что расстался: «Сударь, это совещательная комната. Стоит вам повернуть медную ручку вот этой двери, и вы окажетесь в зале заседаний позади кресла господина председателя». Эти слова сливались у него в уме с неясным воспоминанием об узких коридорах и темных лестницах, которыми он только что проходил.

Судебный пристав оставил его одного. Решительная минута настала. Он пытался сосредоточиться, но это не удавалось ему. Когда особенно необходимо связать все нити размышления с мучительными подробностями действительной жизни, тогда-то эти нити и рвутся чаще всего. Он находился сейчас именно в том помещении, где судьи совещаются и выносят обвинительные приговоры. С каким-то тупым спокойствием он рассматривал эту мирную и одновременно грозную комнату, где было разбито столько жизней, где через несколько мгновений должно было прозвучать его имя и куда привела его в эту минуту судьба. Он оглядывал стены, оглядывался на себя и не верил, что это именно та комната, не верил, что это именно он.

Он ничего не ел более суток, он был весь разбит от тряски экипажа, но не чувствовал этого; ему казалось, что он вообще ничего не чувствует.

Он подошел к стене, где под стеклом в черной рамке висело старинное собственноручное письмо Жана-Николя Паша, парижского мэра и министра, которое было помечено, должно быть по ошибке, девятым *июня* II года и в котором Паш посылал местной общине список министров и депутатов, находящихся под домашним арестом. Посторонний свидетель, которому случилось бы увидеть его и наблюдать за ним в эту минуту, без сомнения подумал бы, что это письмо сильно его заинтересовало, так как он не отрывал от него глаз и перечел его два или три раза кряду. В действительности же он читал его машинально, не вникая в смысл. Он думал о Фантине и о Козетте.

Все еще погруженный в размышления, он рассеянно отвернулся и увидел медную ручку двери, отделявшей его от зала заседаний. Он почти совсем забыл об этой двери. Взгляд его, вначале спокойный, остановился на этой медной ручке и уже не отрывался от нее; потом он сделался напряженным, растерянным, и в нем все яснее стал проступать ужас. Волосы у него стали влажными от пота, и крупные капли потекли по вискам.

Вдруг он сделал решительный и возмущенный жест, — тот не поддающийся описанию жест, который должен означать и так ясно означает: «Чорт возьми! Да кто же может меня заставить?» Затем он быстро повернулся, увидел перед собой дверь, через которую только что вошел сюда, приблизился к ней, открыл ее и вышел. Он покинул эту комнату; теперь он был вне ее; в коридоре, в длинном и узком коридоре со ступеньками и переходами, образующем множество углов и поворотов, скупо освещенном фонарями, напоминавшими ночники у изголовья больного, — словом, в том самом коридоре, через который он проходил, направляясь в совещательную комнату. Он вздохнул свободнее и прислушался: ни малейшего шума ни впереди, ни позади него; он пустился бежать, словно спасаясь от погони.

Миновав несколько поворотов этого коридора, он снова прислушался. Вокруг все та же тишина, тот же полумрак. Задышавшись, шатаясь от усталости, он прислонился к стене.

Камень был холодный, пот на его лбу стал ледяным; он выпрямился, весь дрожа.

И тогда, один, стоя в темноте, вздрагивая от холода, а быть может, и не только от холода, он задумался.

Перед этим он думал всю ночь, думал весь день; теперь внутри его раздавался лишь один голос, и этот голос говорил: «Увы!»

Так прошло с четверть часа. Наконец он понурил голову, тяжело вздохнул, опустил руки и той же дорогой пошел назад. Шел он медленно, словно изнемогая. Кажется, кто-то настиг его во время бегства и теперь ведет обратно.

Он снова вошел в совещательную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, была дверная ручка. Круглая, медная, полированная, она сверкала перед ним, словно какая-то грозная звезда. Он смотрел на нее, как овца смотрит в глаза тигру.

Он не мог отвести от нее взгляда.

Время от времени он делал шаг вперед и приближался к двери.

Если бы он прислушался, то услышал бы смутный, неясный говор, неясный шум, доносившийся из соседнего зала; но он не слушал и не слышал.

Внезапно, сам не зная как, он оказался у самой двери. Он судорожно схватился за ручку; дверь отворилась.

Он был в зале заседаний.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Место, где слагаются убеждения

Он шагнул вперед, машинально закрыл за собой дверь и остановился, озираясь кругом.

Перед ним было просторное, скудно освещенное помещение, то полное неясного гула, то полное тишины; здесь на глазах у толпы разворачивались перипетии уголовного процесса во всей их убогой и зловещей торжественности.

В том конце зала, где он сейчас находился, — судьи в потертых мантиях, грызущие ногти с рассеянным видом или просто сидящие полузакрыв глаза; в другом конце — толпа оборванных людей; стряпчие в самых разнообраз-

ных позах; солдаты с честными и суровыми лицами; стены, обитые старыми панелями и все в пятнах; грязный потолок, столы, покрытые саржей, которая из зеленой сделалась желтой; почерневшие захватанные двери; на гвоздях, вбитых в обшивку стен, кенкеты, какие горят в кабачках и дают больше копоти, нежели света; сальные свечи в медных подсвечниках на столах; полумрак, неприглядность, тоска; и тем не менее все вместе создавало впечатление строгости и величия, ибо здесь ощущалось присутствие того высокого человеческого начала, которое зовется законом, и того высокого божественного начала, которое зовется правосудием.

Никто в этой толпе не обратил на него внимания. Все взоры сходились в одной точке, все смотрели на деревянную скамью, прислоненную к маленькой дверке в стене, по левую руку от председателя; на этой скамье, освещенной несколькими свечами, меж двух жандармов сидел человек.

Это был тот самый человек.

Вошедший не искал его: он увидел его сразу. Его глаза сами собой остановились на этой фигуре, как будто они заранее знали ее место.

Ему показалось, что он видит самого себя, только сильно постаревшего; разумеется, это лицо не было точной копией его лица, но манера держать себя, общий вид были поразительно схожи: те же всклокоченные волосы, тот же беспокойный звериный взгляд, блуза, точно такая же, какая была на нем самом в тот день, когда, исполненный ненависти и схоронив в душе отвратительный клад страшных помыслов, накопленных им в течение девятнадцати лет каторги, он вошел в Динь.

И, содрогнувшись, он сказал себе: «О боже! Неужели я опять стану таким?»

Судя по внешнему виду, этому человеку было по меньшей мере шестьдесят лет. В нем чувствовалось что-то грубое, тупое и растерянное.

При скрипе отворившейся двери все посторонились, чтобы пропустить его, председатель повернул голову и, догадавшись, что вошел мэр Монрейля-Приморского, поклонился ему. Товарищ прокурора, который встречался с г-ном Мадленом в Монрейле-Приморском, куда ему неоднократно приходилось ездить по делам службы, узнал

его и тоже поклонился. Новоприбывший едва заметил все это. Он был во власти какой-то галлюцинации; он смотрел на другое.

Судьи, секретарь, жандармы, множество физиономий с написанным на них выражением жестокого любопытства — все это уже было однажды, двадцать семь лет тому назад. Он вновь увидел перед собой эти зловещие образы, они были здесь, они шевелились, они существовали. Это был уже не результат усилия памяти, не мираж мысли, — нет, теперь это были настоящие жандармы и настоящие судьи, настоящая толпа, настоящие люди из плоти и крови. Свершилось: чудовищные призраки прошлого вновь обступили его; они воскресли со всей грозной силой реальности.

Зияющая бездна разверзлась перед ним.

Он ужаснулся ей, закрыл глаза и вскричал в самой сокровенной глубине своей души: «Никогда!»

И благодаря трагической шутке судьбы, будоражившей все его мысли и доводившей его почти до безумия, он видел здесь свое второе «я». Человека на скамье подсудимых все присутствовавшие звали — Жан Вальжан!

У него на глазах происходило нечто невероятное. перед ним воспроизводился самый ужасный момент его жизни, и его роль играл его собственный призрак.

Все, все было здесь: та же обстановка, тот же ночной час, почти те же лица судей, солдат и зрителей. Только теперь над головой председателя висело распятие, которого не было в трибуналах тех времен, когда судили его. Когда выносили ему приговор, бог отсутствовал.

Позади него был стул; он почти упал на него, ужаснувшись при мысли, что его могут увидеть. На судейском столе лежала целая груда папок, и он воспользовался этим, чтобы спрятать за ней лицо от всего зала. Теперь он получил возможность видеть, не будучи видимым. Мало-помалу он начал приходить в себя. К нему полностью вернулось ощущение действительности; он достиг той степени спокойствия, при которой уже можно слушать.

Господин Баматабуа был в числе присяжных.

Новоприбывший взглядом поискал Жавера, но не увидел его. Стол секретаря заслонял свидетельскую скамью. И кроме того, как мы уже упоминали, зал был освещен очень скудно.

В ту минуту, когда он вошел, защитник обвиняемого заканчивал свою речь. Всеобщее внимание было возбуждено до крайности; дело тянулось уже три часа. Уже три часа кряду толпа наблюдала за тем, как сгибался под бременем страшного подобия правды какой-то человек, какой-то неизвестный, какое-то жалкое существо, необычайно тупое или необычайно хитрое. Как мы уже знаем, это был бродяга, которого поймали в поле по соседству с участком, именуемым «левадой Пьерона»; в руках у него была ветка со спелыми яблоками, отломленная от яблони, росшей на этой леваде. Кто был этот человек? Произвели дознание, выслушали свидетелей, все показания совпали, судебное разбирательство пролило полную ясность на это дело. Обвинение гласило: «Перед нами не только вор, укравший несколько яблок, не простой мародер; перед нами разбойник, бывший каторжник, неисправимый, опаснейший негодяй, скрывавшийся от полицейского надзора, злоумышленник по имени Жан Вальжан, которого уже давно разыскивает правосудие и который восемь лет назад, возвращаясь с тулонских галер, совершил на большой дороге вооруженное нападение на некоего маленького савояра по имени Малыш Жерве; это преступление предусмотрено статьей 383 уголовного кодекса, и мы оставляем за собой право судить за него впоследствии, когда тождество личности будет установлено судебным порядком. Теперь он совершил новую кражу. Мы имеем дело с рецидивистом. Судите его за новую провинность, а за старую он будет предан суду позднее». Слушая эти обвинения, видя единодушие свидетельских показаний, подсудимый прежде всего казался удивленным. Иногда он принимался жестикулировать, словно хотел сказать знаками: «Нет, нет», иногда же тупо смотрел в потолок. Говорил он плохо, отвечал сбивчиво, но вся его фигура с головы до пят являлась олицетворенным отрицанием. Он выглядел каким-то идиотом рядом с этими ополчившимися против него учеными людьми, совсем чужим посреди этого общества, крепко державшего его в своих руках. А между тем ему угрожало самое страшное будущее; справедливость обвинения становилась с каждой минутой все более и более явной, и толпа с большим беспокойством, нежели он сам, ждала этого приговора, все более и более неотвратимого и чреватого для него

бесчисленными бедами. В случае если бы тождество личности было установлено, а дело Малыша Жерве в дальнейшем тоже бы закончилось обвинением, можно было предвидеть не только каторгу, но и смертную казнь. Что представляет собой этот человек? Почему он так безучастен? Что это — слабоумие или притворство? Понимает он слишком хорошо или ничего не понимает? Вот вопросы, которые разделяли публику, да, пожалуй, и самих присяжных, на два лагеря. В этом процессе было нечто пугающее и в то же время загадочное; драма была не только мрачной, она была темной.

Защитник произнес неплохую речь, пользуясь тем провинциальным языком, который в течение долгого времени считался образцом судебного красноречия и когда-то употреблялся не только где-нибудь в Роморантене или в Монбризоне, но и в Париже, а ныне, став классическим, сделался достоянием лишь официальных представителей правосудия, которых он привлекает своей торжественной звучностью и напыщенностью. На этом языке муж именуется *супругом*, а жена *супругой*. Париж — *средоточием искусств и цивилизации*, король — *монархом*, монсеньор епископ — *святым прелатом*, помощник прокурора — *красноречивым представителем обвинения*, защитительная речь — *словесами*, коим мы только что внимали, век Людовика XIV — *великим веком*, театр — *храмом Мельпомены*, царствующая фамилия — *августейшей нашей династией*, концерт — *музыкальным празднеством*, начальник военного округа — *доблестным воином*, который и пр., воспитанники семинарии — *нашими кроткими левитами*, ошибки, вменяемые прессе, — *клеветой, изливающей свой яд на столбцах печатных органов* и пр., и пр. Итак, адвокат начал с выяснения вопроса о краже яблок, что являлось предметом, мало подходящим для высокого стиля, но ведь и сам Бенинь Боссюэ в своей надгробной речи вынужден был упомянуть о некоей курице и с честью вышел из этого затруднения. Адвокат установил, что явных доказательств кражи яблок не было. Никто не видел, как его клиент, которого он, в качестве защитника, упорно называл Шанматье, перелезал через стену и обламывал ветку. Когда его задержали, при нем оказалась эта ветка (которую адвокат предпочитал именовать «ветвью»), но он сказал, что нашел ветку на дороге и подо-

брал ее. Имелось ли хоть одно доказательство противного? Конечно, эта ветка была сломана и похищена путем вторжения в огороженный участок, а потом брошена испугавшимся мародером; конечно, вор существовал; но где доказательство, что этим вором был именно Шанматье? Только одно: предположение, что он бывший каторжник. Адвокат не отрицал, что, к несчастью, это предположение было как будто бы подкреплено вескими доводами: подсудимый когда-то жил в Фавероле, подсудимый занимался там подрезкой деревьев, имя Шанматье вполне могло произойти из Жана Матье, — все это совершенно справедливо; наконец четыре свидетеля, не колеблясь, самым определенным образом признали в Шанматье каторжника Жана Вальжана. Всем этим заявлениям, всем этим показаниям он, адвокат, может противопоставить лишь одно — заирательство своего подзащитного, заирательство заинтересованного лица; но если даже допустить, что подсудимый действительно является каторжником Жаном Вальжаном, доказывает ли это, что именно он совершил кражу яблок? Это не более, как презумпция, но отнюдь не доказательство. Правда, обвиняемый — и защитник «чистосердечно» признает это — избрал «дурную систему самозащиты». Он упорно отрицает все — и кражу, и тот факт, что был когда-то на каторге. Признавшись в последнем, он, без сомнения, поступил бы более благоразумно и снискал бы этим благосклонность своих судей; защитник и советовал ему поступить так, но подсудимый решительно отказался, очевидно, надеясь скрыть все, не признаваясь ни в чем. Он поступал нехорошо, но разве не следовало принять во внимание узость его кругозора? Этот человек явно тупоумен. Длительные несчастья на каторге, длительная нищета после каторги — все это привело его к одичанию и т. д., и т. д. Он плохо защищает самого себя, но разве это причина, чтобы осудить его? Что до обвинения по делу Малыша Жерве, то он, адвокат, не собирается обсуждать его, оно не имеет касательства к данному процессу. В заключение защитник обратился к присяжным и к судьям, с просьбой применить к подсудимому, в случае если его тождество с Жаном Вальжаном покажется им несомненным, обычное полицейское взыскание, которое налагается на освобожденного каторжника, самовольно покинувшего указанное ему место жительства.

Товарищ прокурора выступил с ответной речью. Он говорил горячо и цветисто, как все товарищи прокурора.

Он похвалил защитника за его «лойяльность» и весьма искусно использовал эту лойяльность. Он обратил против подсудимого все уступки, сделанные защитником. Защитник, повидимому, признавал и сам, что подсудимый — это Жан Вальжан. Что и было принято к сведению. Итак, этот человек — Жан Вальжан. Этот пункт обвинения признан и не подлежит опровержению. Затем прокурор обратился к первоисточникам и первопричинам преступности вообще и, прибегнув к искусной антономазии, обрушился на безнравственность романтической школы, бывшей тогда в расцвете и носившей название «сатанинской школы», которым ее наградили критики из «Еженедельника» и из «Орифламмы»; влиянию этой-то извращенной литературы он и приписал, не без некоторой доли правдоподобия, проступок Шанматье, или, вернее сказать, проступок Жана Вальжана. Исчерпав эти рассуждения, он перешел к самому Жану Вальжану. Что представляет собой этот Жан Вальжан? Тут следовала характеристика Жана Вальжана. Чудовище, исчадие ада и т. д., и т. д. Образчик подобного рода характеристик можно найти в рассказе расиновского Ферамена, который не имеет существенного значения для самой трагедии, но ежедневно оказывает немалые услуги любителям судебного красноречия. Публика и присяжные «содрогнулись». Прокурор покончил с характеристикой и, в порыве ораторского вдохновения, рассчитанного на то, чтобы возбудить восторги читателей завтрашнего номера «Ведомостей префектуры», продолжал: «И подобный человек и пр., и пр., бродяга, нищий, не имеющий никаких средств к существованию и пр., и пр., приученный своей прошлой жизнью к преступным деяниям и мало исправленный пребыванием на каторге, как это доказывает нападение на Малыша Жерве, совершенное им, и пр., и пр., пойманный на большой дороге с поличным, с украденной ветвью в руках, в нескольких шагах от ограды, через которую он перелез и пр., и пр., отрицает очевидность, кражу, отрицает факт перелезания через ограду, отрицает все, вплоть до своего имени, вплоть до своего тождества с Жаном Вальжаном. Помимо сотни других улик, которые мы не будем повторять здесь, его опознали четыре свидетеля: неподкупный полицейский надзиратель Жавер и трое из

его прежних сотоварищей по бесчестию, каторжники Бреве, Шенильдье и Кошпайль. Что же противопоставляет он этому сокрушительному единодушию? Запирательство. Какая закоренелость! Господа присяжные заседатели, творите правосудие и пр., и пр.

В то время как товарищ прокурора говорил, подсудимый слушал его разинув рот, с каким-то удивлением, не лишенным и некоторой доли восхищения. Видимо, его поражало, что человек может говорить так красиво. Время от времени, в наиболее патетических местах обвинительного заключения, в те минуты, когда красноречие выходит из берегов, изливаясь в потоке позорящих эпитетов, и поражает подсудимого настоящими раскатами грома, он медленно качал головой справа налево и слева направо, как бы в знак печального и немого протеста, которым он и ограничился с самого начала прений. Зрители, сидевшие от него ближе других, слышали, как он сказал вполголоса два или три раза: «А все оттого, что они не спросили у господина Балу!» Товарищ прокурора обратил внимание присяжных на этот его придурковатый вид, явно рассчитанный заранее, обличавший отнюдь не слабоумие, но ловкость, хитрость, привычку обманывать правосудие, и указывающий со всей очевидностью на «глубокую испорченность» этого человека. Он закончил, оговорив, что еще займется делом Малыша Жерве, и потребовал сурового приговора.

Как мы уже упоминали, в данную минуту этот приговор грозил пожизненными каторжными работами.

Защитник встал, поздравил «господина товарища прокурора» с его «изумительной речью», потом привел все возражения, какие мог, но силы изменяли ему; было ясно, что почва ускользает у него из-под ног.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Система запирательства

Пора было прекратить прения сторон. Председатель велел подсудимому встать и обратился к нему с обычным вопросом:

— Подсудимый, имеете ли вы что-нибудь добавить в свое оправдание?

Человек стоял на месте, комкая в руках свой безобразный колпак, и, казалось, не слышал вопроса.

Председатель повторил его еще раз.

На этот раз человек услышал. Видимо, до его сознания дошел смысл сказанного; он сделал такое движение, словно только что проснулся, огляделся по сторонам, обвел глазами публику, жандармов, своего защитника, присяжных, судей, положил свой чудовищный кулак на деревянный барьер, находившийся перед его скамьей, еще раз огляделся по сторонам и вдруг заговорил, устремив взгляд на товарища прокурора. Это было настоящее извержение. Слова вылетали у него изо рта бессвязно, стремительно, отрывисто, вперемешку и теснили друг друга, словно хотели вырваться все одновременно.

Он сказал:

— Вот что Я был тележником в Париже и служил у господина Балу. Это тяжелое ремесло. В тележном деле всегда работаешь на вольном воздухе, во дворах. Если попадется хороший хозяин, то под навесом, а в закрытом помещении — никогда, потому что для этого, понимаете ли, требуется много места. Зимой до того промерзнешь, что бьешь руку об руку, только бы согреться; но хозяева этого не любят, — по-ихнему, это лишняя проволочка времени. Орудовать с железом, когда мостовая насквозь промерзла, дело нелегкое. Тут быстро надорвешься. На этой работе и молодой становится стариком. В сорок лет ты конченный человек. А мне уж стукнуло пятьдесят три, и приходилось трудно. К тому же в Париже все такой нехороший народ! «Старый хрыч, старый дурак!» — только и слышишь, как твое дело к старости подойдет. Я стал зарабатывать не больше тридцати су в день, мне платили дешевле дешевого, хозяева пользовались моими годами. Правда, у меня была дочь прачка, занималась стиркой на речке. Она тоже немного прирабатывала, и вдвоем мы все-таки кое-как перебивались. Но и ей приходилось нелегко. Целый день по пояс в бадье, ветер хлещет прямо в лицо; мороз не мороз — все равно приходится стирать; у некоторых людей белья мало, и они не могут ждать подолгу; а если не выстираешь в срок, потеряешь заказчиков. Доски в бадье сколочены плохо, и брызги так и обдают вас со всех сторон. Юбка намокает снизу доверху. Все мокро насквозь. Она работала и в прачечной, в

приюте Красных сирот, где вода идет прямо из кранов. Там не приходится стирать в бадье. Стираешь под краном, а полощешь рядом, в лохани. Помещение закрытое, и не так мерзнешь. Зато от горячей воды валит густой пар, а это большой вред для глаз. Она, бывало, придет вечером, часов около семи, и сразу завалится спать, — уж очень сильно она уставала. Муж бил ее. Она умерла. Не было нам счастья в жизни. Честная была девушка, не бегала по танцулькам. Такая уж смиренная уродилась. Помнится мне, был вторник на масленой неделе, а она все равно легла спать в восемь часов. Вот оно что! Думаете, вру? Спросите, кого хотите. Да что это я — «Спросите!» Какой я дурень! Ведь Париж — что омут, кто знает там дядюшку Шанматье? А все-таки я вам опять скажу про господина Балю, вот съездили бы вы к господину Балю. А то я уж и вовсе не понимаю, что вам от меня нужно.

Подсудимый умолк, но продолжал стоять. Все это он проговорил громким, хриплым, грубым, осипшим голосом, очень быстро, с каким-то наивным и диким раздражением. Один раз он прервал свою речь и поздоровался с каким-то человеком, сидевшим в публике. Своеобразные показания, которые он выкрикивал словно наобум, походили на икоту, и каждое из них он сопровождал таким жестом, какой делает дровосек, раскалывая полено. Когда он кончил, слушатели разразились смехом. Взглянув на публику и видя, что все хохочут, он, не понимая причины этого смеха, стал смеяться и сам.

Это было страшно.

Председатель, человек участливый и благожелательный, взял слово.

Он напомнил «господам присяжным», что «ссылка на упомянутого Балю, бывшего тележного мастера, у которого будто бы служил подсудимый, была совершенно бесполезной. Он обанкротился, и разыскать его так и не удалось». Затем, обращаясь к подсудимому, он попросил его внимательно выслушать его слова и добавил: «Вы находитесь в таком положении, когда вам следует хорошенько поразмыслить. Над вами тяготеют серьезнейшие обвинения, могущие повлечь за собой самые тяжелые последствия. Подсудимый, я обращаюсь к вам в последний раз и призываю вас в ваших собственных интересах ясно высказаться по следующим двум пунктам. во-первых,

действительно ли вы перелезли через стену левады Пьерона, действительно ли сломали ветку и украли яблоки, — другими словами, совершили кражу с вторжением в чужие владения? Во-вторых, действительно ли вы являетесь освобожденным каторжником Жаном Вальжаном, отвечайте — да или нет?»

Подсудимый тряхнул головой с видом смышленного человека, который отлично все понял и знает, что ответить. Он открыл рот, повернулся к председателю и сказал:

— Для начала...

Потом он посмотрел на свой колпак, посмотрел на потолок и замолчал.

— Подсудимый, — снова начал товарищ прокурора суховатым тоном, — будьте осторожны. Вы не отвечаете ни на один из обращенных к вам вопросов. Ваше смущение изобличает вас. Совершенно очевидно, что ваше имя не Шанматье, что вы каторжник Жан Вальжан, укрывавшийся вначале под именем Жана Матье — девичьим именем вашей матери, что вы были в Оверни и что вы родились в Фавероле, где были подрезальщиком деревьев. Совершенно очевидно, что вы перелезли через стену левады Пьерона и совершили там кражу спелых яблок. Господа присяжные войдут в рассмотрение этих фактов.

Теперь подсудимый уже сидел; но когда товарищ прокурора замолчал, он неожиданно вскочил с места и крикнул:

— Вы злой человек, очень злой! Вот что я хотел сказать. Только сначала я растерялся. Я ничего не крал. Мне и поесть случается не каждый день. Я возвращался из Альи, шел после проливного дождя, и вся земля была совсем желтая, лужи, знаете, разлились тогда, и только с краю дороги из песка торчали травинки. Я нашел на земле обломанную ветку, на которой были яблоки, и поднял ее. Знал бы я тогда, что с ней беды не оберешься, не поднял бы. Вот уже три месяца, как я сижу в тюрьме и меня таскают по судам. Больше я ничего не могу сказать, а все наговаривают на меня и твердят: «Отвечайте!» Вон и жандарм — он, видно, славный малый — толкает меня под локоть и тихонько шепчет: «Да отвечай же». А я не умею все как следует объяснить, я ведь совсем неученый, я бедный человек. Зря вы этого в толк не возьмете. Я ничего не крал, я поднял то, что валялось на земле. Вы го-

ворите: «Жан Вальжан, Жан Матье!» — а я и знать не знаю этих людей. Это, должно быть, крестьяне. А я работал у господина Баллу, на Госпитальном бульваре, и зовут меня Шанматье. Очень уж вы хитрые, если знаете, где я родился. Я и сам-то этого не знаю. Ведь не у всякого есть свой дом, чтоб там родиться. А оно было бы неплохо. Я думаю, что отец с матерью попросту бродяжничали по дорогам. По правде сказать, мне и самому это неизвестно. Когда я был мальчиком, меня звали Малышом, а теперь кличут Старинной. Вот и все мои крестные имена, хотите — верьте, хотите — нет. Я жил в Оверни, жил в Фавероле. Ну так что же из этого, чорт побери! Разве нельзя жить в Оверни или в Фавероле, не побывав при этом на каторге? Говорю вам, я ничего не крал, я — дядюшка Шанматье. Я работал у господина Баллу, не бродяжничал, а проживал на квартире. Надоели мне все ваши глупости, да и все тут! Что это вы все накинулись на меня, точно с цепи сорвались?

Продолжая стоять, товарищ прокурора обратился к председателю:

— Господин председатель, ввиду сбивчивых, но весьма искусных отпирательств подсудимого, которому очень хотелось бы прослыть дурачком, что ему никак не удастся, — об этом мы предупреждаем его заранее, — мы обращаемся к вам и к суду с покорнейшей просьбой вновь пригласить в этот зал арестантов Бреве, Кошпайля и Шенильдье, а также полицейского надзирателя Жавера, чтобы в последний раз снять с них допрос касательно тождества личности подсудимого с каторжником Жаном Вальжаном.

— Я вынужден заметить господину товарищу прокурора, — ответил председатель, — что полицейский надзиратель Жавер, призванный служебными обязанностями в главный город соседнего округа, покинул судебное заседание и даже город немедленно после дачи показаний. Мы дали ему разрешение на это с согласия самого господина товарища прокурора, а также защитника подсудимого.

— Совершенно верно, господин председатель, — продолжал товарищ прокурора. — И ввиду отсутствия съёра Жавера, я считаю долгом напомнить господам присяжным слова, произнесенные им в этом самом зале несколько

часов назад. Жавер — это человек, пользующийся всеобщим уважением. Суровой и безукоризненной честностью он возвышает свою, пусть скромную, но весьма важную службу. Вот вкратце его показание: «Я не нуждаюсь ни в отвлеченных догадках, ни в вещественных уликах, чтобы опровергнуть заpiresательство подсудимого. Я прекрасно узнал его. Этого человека зовут не Шанматье; это бывший каторжник по имени Жан Вальжан, опаснейший негодяй. По истечении срока наказания его освободили крайне неохотно. Девятнадцать лет он отбывал каторжные работы при усугубляющих его вину обстоятельствах. Пять или шесть раз совершил попытки к бегству. Помимо кражи у Малыша Жерве и на леваде Пьерона, я подозреваю его еще в краже, совершенной у его преосвященства, покойного епископа Диньского. В бытность мою помощником надзирателя на тулонских галерах мне случалось видеть его очень часто. Повторяю, я прекрасно узнал его».

Это определенное показание, видимо, произвело сильное впечатление и на публику и на присяжных. Заканчивая свою речь, товарищ прокурора настоятельно потребовал, чтобы, ввиду отсутствия Жавера, были снова вызваны и допрошены по всей форме остальные три свидетеля — Бreve, Шенильдье и Кошпайль.

Председатель отдал приказание одному из судебных служителей, и через минуту дверь из свидетельской комнаты отворилась. Судебный пристав, сопровождаемый жандармом, готовым в случае надобности оказать ему помощь, ввел арестанта Бreve. Публика ждала с замиранием сердца; все, как один, сидели, затаив дыхание.

На бывшем каторжнике Бreve была надета черная с серым куртка — обычная одежда заключенных в центральных тюрьмах. Это был человек лет шестидесяти, с физиономией не то дельца, не то плута. Такое сочетание не редкость. В той тюрьме, куда его привели новые провинности, он сделался чем-то вроде тюремного сторожа. Начальство говорило о нем: «Он старается быть полезным». Священники одобрительно отзывались о его набожности. Не следует забывать, что все это происходило в эпоху Реставрации.

— Бreve, — сказал председатель, — вы подверглись позорящему вас приговору и не можете быть приведены к присяге.

Бреве опустил глаза.

— Тем не менее, — продолжал председатель, — даже в человеке, осужденном законом, может оставаться, если того хочет божественное милосердие, чувство справедливости и чести. К этому-то чувству и взываю я в этот решительный час. Если оно еще не исчезло в вас, а я надеюсь на это, поразмыслите хорошенько, прежде чем мне ответить. Подумайте об этом человеке, которого вы можете погубить одним своим словом, и о правосудии, которому одно ваше слово может помочь в раскрытии истины. Это торжественная минута, и для вас еще не поздно взять обратно свои показания, если вы считаете, что ошиблись. — Подсудимый, встаньте! — Бреве, хорошенько взгляните в подсудимого, напрягите память и скажите, повинуюсь голосу совести, продолжаете ли вы настаивать на том, что этот человек — ваш бывший товарищ по каторге Жан Вальжан

Бреве взглянул на подсудимого, потом повернулся к судьям.

— Да, господин председатель. Я первый узнал его и стою на своем. Этот человек — Жан Вальжан. Он прибыл в Тулон в тысяча семьсот девяносто шестом году и освободился оттуда в тысяча восемьсот пятнадцатом году. Меня освободили годом позже. Сейчас у него придурковатый вид, — может, он поглупел с годами, а на каторге он был себе на уме. Я узнаю его, и у меня нет сомнений.

— Садитесь, — сказал председатель, — а вы, подсудимый, продолжайте стоять.

Ввели Шенильдьё. Это был бессрочный каторжник, о чем говорили его красная куртка и зеленый колпак. Он отбывал наказание в Тулоне, и его вызвали оттуда нарочно ради этого дела. Это был человечек лет пятидесяти, вертлявый, морщинистый, тщедушный, желтый, наглый, лихорадочно возбужденный; вся его фигура производила впечатление слабости и болезненности, но взгляд выдавал огромную внутреннюю силу. Товарищи по каторге прозвали его Шельмадьё.

Председатель обратился к нему приблизительно с теми же словами, что и к Бреве. При напоминании о том, что позорное наказание лишает его права приносить присягу, Шенильдьё вскинул голову и вызывающе посмотрел на публику. Председатель попросил его сосредоточиться

и спросил у него, так же как спрашивал у Бреве, продолжает ли он узнавать в подсудимом Жана Вальжана.

Шенильдье покотился со смеху.

— Вот тебе и раз! Узнаю ли я его! Да мы пять лет были прикованы с ним к одной цепи. Ты что от меня выдержишь нос, старина?

— Садитесь, — сказал председатель.

Судебный пристав ввел Кошпайля. Этот второй бессрочный каторжник, прибывший, как и Шенильдье, с галер и тоже одетый в красное, был лурдский крестьянин, настоящий пиренейский медведь. Когда-то он пас стадо в горах и из пастуха незаметно превратился в разбойника. Кошпайль был не менее дик и казался еще более тупоумным, чем сам подсудимый. Он принадлежал к числу тех несчастных, которых природа создает вчерне, делая их дикими зверьми, а общество довершает ее работу, превращая их в каторжников.

Сделав попытку растрогать его несколькими патетическими и торжественными словами, председатель спросил у него, как и у первых двух свидетелей, продолжает ли он без колебаний и сомнений настаивать на том, что в стоящем перед ним человеке узнает Жана Вальжана.

— Это Жан Вальжан, — сказал Кошпайль. — У нас его даже звали Жан Домкрат, такой это был силач.

Каждое показание этих трех людей, несомненно говоривших искренне и чистосердечно, вызывало со стороны слушателей ропот, являвшийся дурным предзнаменованием для подсудимого, — ропот, который все возрастал и становился все более длительным, всякий раз, как новое свидетельство добавлялось к предыдущему. Что до подсудимого, то он выслушивал их с тем удивленным выражением лица, которое, по мнению обвинителя, служило ему главным орудием защиты. После первого показания жандармы, ближайшие его соседи, слышали, как он пробормотал сквозь зубы: «Вот так так! Тоже нашелся!» После второго он сказал несколько громче и почти одобрительно: «Ловко!» После третьего он вскричал: «Ну и брехун!»

Председатель обратился к нему:

— Подсудимый, вы все слышали. Что вы скажете теперь?

Он ответил:

— Я ведь говорю: «Ну и брехун!»

Громкий ропот поднялся в публике и даже среди части присяжных. Очевидно было, что участь этого человека решена.

— Приставы, — сказал председатель, — водворите тишину. Я закрываю прения.

В эту минуту рядом с председателем возникло какое-то движение. Чей-то голос прокричал:

— Бреве, Шенильдье, Кошпайль! Взгляните-ка сюда!

Все, услышавшие этот голос, почувствовали леденящий ужас, так он был скорбен и так страшен. Все взгляды устремились в ту сторону, откуда он раздался. Какой-то человек, сидевший среди привилегированных посетителей, позади судей, поднялся с места, распахнул низенькую дверцу в перегородке, отделявшей судейскую трибуну от публики, и теперь стоял посреди зала. Председатель, товарищ прокурора, г-н Баматабуа, еще два десятка человек узнали его и воскликнули в один голос:

— Господин Мадлен!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Удивление Шанматье возрастает

Это и в самом деле был он. Лампа на столе секретаря освещала его лицо. Шляпу он держал в руке, в его одежде не было заметно ни малейшего беспорядка, редингот его был тщательно застегнут. Он был очень бледен и слегка дрожал. Волосы его, которые к моменту приезда в Аррас только начинали седеть, были теперь совсем белые. Они побелели за тот час, что он находился здесь.

Все головы обратились в его сторону. Впечатление было неопишное. В первую минуту присутствовавшие не поняли, что происходит. Голос прозвучал такой мукой, но человек, выступивший вперед, казался таким спокойным, что сначала все были в недоумении. Все спрашивали себя, кто это крикнул. Никто не мог поверить, чтобы этот страшный возглас мог вырваться из груди этого тихого человека.

Однако неуверенность длилась лишь несколько мгновений. Не успели председатель и товарищ прокурора вымолвить слово, не успели жандармы и служители дви-

нуться с места, как человек, которого в эту минуту все называли еще господином Мадленом, подошел к свидетелям Кошпайлю, Бреве и Шенильдье.

— Вы не узнаете меня? — спросил он.

Все трое остолбенели от изумления и только отрицательно покачали головой. Кошпайль, оробев, отдал честь по-военному. Повернувшись к присяжным и к судьям, г-н Мадлен кратко сказал им:

— Господа присяжные, прикажите освободить подсудимого. Господин председатель, прикажите арестовать меня. Человек, которого вы ищете, не он, а я. Я — Жан Вальжан.

Все замерли. Поднявшийся было ропот изумления сменился гробовым молчанием. В зале ощущался тот почти благоговейный трепет, какой охватывает толпу, когда у нее на глазах совершается нечто великое.

Лицо председателя выразило печаль и сочувствие; он обменялся с товарищем прокурора быстрым взглядом и шопотом сказал несколько слов заседателям. Затем он обратился к публике и спросил тоном, который поняли все:

— Нет ли здесь врача?

Потом заговорил товарищ прокурора.

— Господа присяжные, — сказал он, — необычный и непредвиденный случай, взволновавший всех присутствующих, внушает нам, так же как и вам, лишь одно чувство, называть которое нет надобности. Все вы знаете, хотя бы понаслышке, достопочтенного господина Мадлена, мэра Монрейля-Примсрского. Если в зале присутствует врач, мы присоединяемся к просьбе господина председателя оказать помощь господину Мадлену и проводить его домой.

Господин Мадлен не дал товарищу прокурора договорить. Он прервал его мягким, но не допускающим возражений тоном. Вот подлинные слова, которые он произнес, — слова, которые были записаны одним из свидетелей этой сцены немедленно после судебного заседания и которые до сих пор звучат в ушах тех, кто их слышал, хотя это было около сорока лет назад.

— Благодарю вас, господин товарищ прокурора, но я в здравом уме. Сейчас вы убедитесь в этом. Вы чуть было не совершили большую ошибку. Отпустите на сво-

боду этого человека, я выполняю свой долг, несчастный осужденный — это я. Я единственный человек, кому ясно все то, что происходит здесь, и я говорю вам правду. То, что я делаю в эту минуту, видит всевышний, и этого для меня довольно. Можете меня арестовать, я здесь. А ведь я старался делать все, что было в моих силах. Я укрылся под вымышленным именем; я разбогател, стал мэром; я хотел вернуться в среду честных людей. Видимо, это невозможно. Есть многое, о чем я не могу говорить сейчас, я не собираюсь рассказывать вам свою жизнь; когда-нибудь о ней узнают. Я обокрал монсеньора епископа — это правда; я обокрал Малыша Жерве — это правда. Вам сказали, что Жан Вальжан был опасным негодяем — и сказали не напрасно. Но, быть может, не он один виноват в этом. Послушайте, господа судьи, человек, так низко павший, как я, не имеет права укорять провидение или давать советы обществу; но, видите ли, позорное существование, из которого я пробовал выбраться, губительно само по себе. Каторга создает каторжника. Вдумайтесь в это, прошу вас. До галер я был бедным крестьянином, очень неразвитым, почти совсем темным; каторга переделала меня. Я был тупым — я стал злым; я был поленом — я стал раскаленной головней. Впоследствии снисходительность и доброта спасли меня, подобно тому как суровость погубила раньше. Но, простите, вы ведь не можете понять всего того, о чем я говорю с вами. Дома у меня, в камине, в куче золы вы найдете монету в сорок су, которую я украл у Малыша Жерве семь лет назад. Больше мне нечего добавить. Арестуйте меня. О боже! Господин помощник прокурора качает головой, вы говорите: «Господин Мадлен сошел с ума». Вы не верите мне! Как это мучительно! Но по крайней мере не осуждайте этого человека! Как? Эти люди не узнают меня? Хотел бы я, чтобы здесь был Жавер. Вот кто узнал бы меня сразу!

Невозможно передать оттенок добродушной и безнадежной грусти, прозвучавшей в этих словах.

Он обернулся к трем каторжникам:

— А вот я вас сразу узнал! Бреве! Помните ли вы...

Он запнулся, с минуту молчал, колеблясь, потом сказал:

— Помнишь ли ты вязанные подтяжки шашками, которые ты носил на каторге?

Бреве вздрогнул от удивления и испуганно осмотрел говорившего с головы до ног. Тот продолжал:

— Шенильдье или Шельмадые, как ты называешь себя, у тебя сожжено все правое плечо, потому что как-то раз ты прислонился плечом к жаровне с раскаленными углями, чтобы уничтожить три буквы: П. К. Р.¹ Однако они видны до сих пор. Отвечай, правда это?

— Правда, — ответил Шенильдье.

Он обратился к Кошпайлю:

— Кошпайль, на сгибе левой руки у тебя выжжена порохом синяя надпись. Это дата высадки императора в Канне, *первое марта тысяча восемьсот пятнадцатого года*. Засучи рукав.

Кошпайль засучил рукав, все взгляды устремились на его обнаженную руку. Жандарм ближе поднес лампу; дата была видна.

Несчастный человек обернулся к публике и к судьям с улыбкой, которую все, видевшие ее, до сих пор не могут вспомнить без содрогания.

То была улыбка торжества, то была также улыбка отчаянья.

— Теперь вы видите, что я Жан Вальжан, — сказал он.

В этом зале не было больше ни судей, ни обвинителей, ни жандармов; здесь были только напряженные взгляды, растроганные сердца. Ни один человек не помнил о той роли, которую ему надлежало играть; товарищ прокурора забыл, что он здесь для того, чтобы обвинять, председатель — что он здесь для того, чтобы председательствовать, защитник — что он здесь для того, чтобы защищать. Поразительная вещь: ни один вопрос не был задан, ни один из представителей власти не вмешался. Особенность возвышенных зрелищ состоит в том, что они захватывают все души и всех свидетелей превращают в зрителей. Никто, быть может, не отдавал себе отчета в своих чувствах; никто, конечно, не понимал, что перед ним сияет свет великой души; но все чувствовали себя внутренне ослепленными.

Теперь уже не было сомнений в том, что перед судом стоял настоящий Жан Вальжан. Это было ясно как день.

¹ П К Р. — пожизненные каторжные работы.

Его появление немедленно рассеяло мрак, окутывавший дело еще несколько минут назад. Никакие объяснения были уже не нужны, все присутствовавшие, словно пронзенные электрической искрой, словно по наитию, поняли сразу и с первого взгляда простую, но изумительную историю человека, который пришел донести на себя, чтобы другой человек не был осужден вместо него. Подробности, колебания, мелкие трудности, могущие возникнуть, потонули во всепоглощающем сиянии этого поступка.

Это впечатление длилось недолго, но в то мгновение оно было неотразимо.

— Я не хочу больше нарушать порядок судебного заседания, — продолжал Жан Вальжан. — Никто не задерживает меня, и я ухожу. У меня еще много дела. Господин товарищ прокурора знает, кто я, знает, куда я еду, и может арестовать меня, когда ему будет угодно.

Он направился к выходу. Ни один голос не раздался ему вслед, ни одна рука не поднялась, чтобы ему помешать. Толпа расступилась, давая ему дорогу. В эту минуту в нем было что-то божественное, что-то такое, благодаря чему тысячи людей почтительно расступаются перед одним человеком. Он медленно прошел сквозь толпу. Неизвестно, кто отворил ему дверь, но достоверно одно — что она распахнулась перед ним, когда он подошел к ней. На пороге он обернулся и сказал

— Господин товарищ прокурора, я в вашем распоряжении

Затем он обернулся к публике.

— Вы все, — все, кто находится здесь, — наверное, считаете меня достойным сожаления, не так ли? Боже мой! А я, когда подумаю о том, чего я чуть было не сделал, считаю себя достойным зависти. И все-таки я предпочел бы, чтобы всего этого не случилось.

Он вышел, и дверь затворилась за ним так же, как и отворилась, ибо тот, кто совершает высокие деяния, может быть уверен в том, что в толпе всегда найдутся люди, готовые ему услужить.

Менее чем через час вердикт присяжных снял всякое обвинение с лица, именуемого Шанматье, и Шанматье, немедленно выпущенный на свободу, ушел пораженный, решив, что все сошли с ума, и ничего не понимая во всем этом бреде.

Книга восьмая

УДАР РИКОШЕТОМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В каком зеркале господин Мадлен видит свои волосы

Начало светать. Фантина провела всю ночь в жару, не смыкая глаз, однако бессонница ее была полна радостных видений; под утро она заснула. Воспользовавшись этим сном, сестра Симплиция, ни на шаг не отходившая от больной, пошла приготовить ей новую порцию хинной настойки. Почтенная сестра уже несколько минут находилась в больничной аптеке и, низко нагнувшись над своими снадобьями и пузырьками, напряженно всматривалась в предметы, еще окутанные предутренней мглой. Вдруг она повернула голову и слегка вскрикнула — перед ней стоял г-н Мадлен. Он вошел в комнату совершенно бесшумно.

— Как! Это вы, господин мэр? — воскликнула она.

Он спросил вполголоса:

— Как здоровье этой бедной женщины?

— Сейчас ничего. Но, знаете, вчера она порядком напугала нас.

И она рассказала ему о том, что произошло накануне, о том, что Фантине было очень худо, а теперь лучше, так как она думает, что г-н мэр уехал в Монфермейль за ее дочуркой. Сестра не решилась расспрашивать г-на мэра, но по его виду она сразу поняла, что он приехал не оттуда.

— Это хорошо, — сказал он, — вы правильно поступили, что не разуверяли ее.

— Да, господин мэр, — продолжала сестра, — но что мы ей скажем теперь, когда она увидит вас одного, без ребенка.

На минуту он задумался.

— Бог наставит нас, — сказал он.

— Однако нельзя же солгать, — прошептала сестра.

В комнате стало уже совсем светло. Лицо г-на Мадлена было теперь ярко освещено. Случайно сестра подняла глаза.

— О боже! — вскричала она. — Что это с вами случилось, сударь? Ваши волосы совсем побелели.

— Побелели? — повторил он.

У сестры Симплиции не было зеркала; она порылась в сумке с инструментами и вынула оттуда маленькое зеркальце, которым обычно пользовался больничный врач, чтобы удостовериться, что больной умер и уже не дышит. Г-н Мадлен взял зеркальце, взглянул на свои волосы и сказал: «В самом деле!»

Он произнес эти слова с полным равнодушием, видимо думая о другом.

От всего этого на сестру пахло чем-то леденящим и неведомым.

Он спросил:

— Можно мне повидать ее?

— А что, господин мэр, разве вы не пошлете за ее ребенком? — произнесла сестра, едва отважившись на такой вопрос.

— Непременно, но на это понадобится не менее двух или трех дней.

— Если бы до тех пор вы не показывались ей, господин мэр, — робко продолжала сестра, — то она так и не узнала бы о том, что вы вернулись, и было бы нетрудно убедить ее потерпеть еще немного, а когда ребенок придет, то, разумеется, она решит, что вы приехали вместе с ним. И тогда не пришлось бы прибегать ко лжи.

Господин Мадлен задумался на несколько минут, потом сказал с присущей ему спокойной серьезностью:

— Нет, сестрица, я должен ее увидеть. Быть может, мне надо будет поторопиться.

Монахиня, видимо, не заметила этого, «быть может», придававшего словам г-на мэра непонятный и странный смысл. Опустив глаза, она почтительно ответила ему, понизив голос:

— Она спит, но раз это нужно, господин мэр, войдите к ней.

Он сделал замечание относительно какой-то двери, которая закрывалась со скрипом и могла разбудить больную, затем вошел в комнату, где лежала Фантина, подошел к кровати и приоткрыл полог. Она спала. Дыхание вылетало у нее из груди со зловещим шумом, характерным для болезней такого рода и раздражающим сердце бедных матерей, когда они бодрствуют ночью у постели своего спящего ребенка, приговоренного к смерти. Однако это затрудненное дыхание почти не нарушало невыразимой ясности, разлитой на ее лице и преобразившей ее во сне. Бледность превратилась у нее в белизну, щеки алели легким румянцем. Длинные золотистые ресницы, сомкнутые и опущенные, единственное украшение, оставшееся ей от былой невинности и молодости, слегка трепетали. Все ее тело дрожало, словно от движения каких-то невидимых шелестящих крыльев, готовых раскрыться и унести ее ввысь. Увидев ее сейчас, никто не поверил бы, что перед ним почти безнадежно больная. Она походила на существо, собирающееся улететь, а не умереть.

Ветка вздрагивает, когда рука человека приближается к ней, чтобы сорвать цветок; она и уклоняется, и поддается. В человеческом теле бывает что-то похожее на это содрогание, когда таинственная рука смерти готовится унести душу.

Некоторое время г-н Мадлен стоял неподвижно у этого ложа, глядя то на больную, то на распятие, точно так же, как это было два месяца назад, в тот день, когда он впервые пришел навестить ее в этом убежище. Они снова были тут, и оба делали то же, что тогда: она спала, он молился. Но только за эти два месяца в ее волосах проступила седина, а его совсем побелели.

Сестра не вошла к Фантине вместе с ним, но он стоял у кровати, приложив палец к губам, словно в комнате был еще кто-то, кого надо было просить о молчании.

Вдруг она открыла глаза, увидела его и сказала совершенно спокойно и с улыбкой:

— А Козетта?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Фантина счастлива

Она не сделала ни одного движения, говорившего об удивлении или радости; она вся была воплощенная радость. Этот простой вопрос: «А Козетта?» задан был с таким глубоким доверием, с таким спокойствием, с таким полным отсутствием тревоги или сомнения, что г-н Мадлен не нашелся, что ответить. Она продолжала:

— Я знала, что вы здесь. Я спала и видела вас. Я вижу вас уже давно. Всю ночь я следила за вами взглядом. Вы были в каком-то сиянии, и вас окружали фигуры ангелов.

Он поднял глаза к распятию.

— Но скажите же мне, где Козетта? — продолжала она. — Почему вы не положили ее прямо ко мне в постель? Тогда я увидела бы ее сразу, как только проснулась бы.

Он бессознательно ответил ей что-то, но никогда впоследствии не мог припомнить, что именно.

К счастью, в эту минуту вошел врач, которого успели предупредить. Он пришел на помощь к г-ну Мадлену.

— Голубушка, — сказал врач, — успокойтесь. Ваш ребенок здесь.

Глаза у Фантины заблестели, осветив все ее лицо. Она сложила руки с выражением самой горячей и самой нежной мольбы.

— О, принесите же мне ее! — вскричала она.

Трогательная иллюзия матери! Козетта все еще была для нее маленьким ребенком, которого носят на руках.

— Нет еще, — возразил врач, — не сейчас. Вас еще немного лихорадит. Вид ребенка взволнует вас, а вам это вредно. Сначала мы вылечим вас.

Она стремительно перебила его:

— Но ведь я уже здорова, говорю вам, здорова! До чего он глуп, этот доктор! Слышите вы! Я хочу видеть моего ребенка, и все тут!

— Вот видите, как вы горячитесь, — сказал врач. — До тех пор пока вы будете вести себя так, я не разрешу вам держать возле себя вашу дочку. Недостаточно еще

увидеть ребенка, надо жить для него. Когда вы будете благоразумны, я сам приведу его к вам.

Бедная мать опустила голову.

— Простите меня, господин доктор, очень прошу вас, простите меня. В прежнее время я бы не стала так разговаривать, как сейчас, но со мной случилось столько несчастий, что иной раз я и сама не знаю, что говорю. Я понимаю, вы боитесь, чтобы я не взволновалась, я буду ждать, сколько вы захотите, но, клянусь вам, мне не причинило бы вреда, если бы я взглянула на мою дочурку. Все равно я вижу ее; она так и стоит у меня перед глазами с самого вчерашнего вечера. Знаете что? Если бы мне принесли ее сейчас, я бы стала тихонечко разговаривать с ней, и все. Разве не понятно, что я хочу видеть своего ребенка, за которым нарочно для меня ездили в Монфермейль? Я не сержусь. Я уверена, что скоро буду счастлива. Всю ночь я видела что-то белое и какие-то фигуры, которые мне улыбались. Когда господин доктор захочет, тогда он и принесет мне мою Козетту. У меня уже нет жара, я ведь выздоровела. Я чувствую, что у меня все прошло, но я буду вести себя так, как будто еще больна, и не стану двигаться, чтобы сделать приятное здешним сестрицам. Когда все увидят, что я спокойна, то скажут: надо дать ей ее ребенка.

Господин Мадлен сидел на стуле рядом с кроватью. Она повернулась к нему. Видно было, что она изо всех сил старается казаться спокойной и «быть умницей», как она выражалась в своем болезненном бессилии, похожем на детскую слабость, — старается для того, чтобы все увидели ее спокойствие и позволили привести к ней Козетту. Однако, как она ни сдерживалась, она все же не могла не задать г-ну Мадлену тысячи вопросов.

— Хорошо ли вы съездили, господин мэр? О, какой вы добрый, что поехали за ней! Скажите мне только одно: как ее здоровье? Хорошо ли она перенесла дорогу? Она и не узнает меня. Как это грустно! Она забыла меня за столько времени, бедная крошка! Дети ведь такие беспамятные. Все равно что птички. Сегодня видят одно, завтра другое и сразу все забывают. По крайней мере чистое ли было на ней белье? Аккуратно ли держали ее эти Тенардье? Как они кормили ее? О, если бы вы знали,

как я мучилась, когда задавала себе все эти вопросы в дни нужды! Теперь все прошло. Я так рада. Ах, как бы мне хотелось увидеть ее! Скажите, господин мэр, понравилась вам моя дочурка? Ведь, правда, она красавица? Вы, наверно, очень озябли в этом дилижансе? Скажите, неужели нельзя принести ее сюда, хотя бы на одну минутку? А потом сейчас же унести обратно? Вы ведь здесь хозяин, и если бы вы захотели...

Он взял ее за руку.

— Козетта красавица, — сказал он, — Козетта здорова, вы скоро увидите ее, только успокойтесь. Вы говорите слишком быстро и к тому же высовываете руку из-под одеяла, а от этого у вас кашель.

В самом деле, приступы удушливого кашля прерывали Фантину чуть не на каждом слове.

Фантина не стала возражать; она испугалась, что нарушила чересчур пылкими мольбами то доверие, которое ей хотелось внушить окружающим, и принялась болтать о посторонних вещах.

— Не правда ли, Монфермейль — это довольно красивое место? Летом туда ездят на прогулку. Как идут дела у Тенардьё? В тех краях бывает мало народу. Это не постоянный двор, а какая-то харчевня.

Не выпуская ее руки, г-н Мадлен смотрел на нее с тревогой; очевидно было, что он пришел сказать ей нечто такое, перед чем теперь мысленно отступал. Врач, навестив больную, ушел, и с ними оставалась только сестра.

Внезапно среди наступившей тишины раздался возглас Фантины:

— Я слышу ее! Боже мой, я слышу ее!

Она протянула руку, чтобы все помолчали, и, затаив дыхание, стала прислушиваться.

Во дворе играл ребенок — девочка привратницы или какой-нибудь из работниц. Подобные случайности всегда имеют место в развертывающемся таинственном спектакле трагических происшествий, словно играя в нем свою роль. Девочка резвилась, бегала, чтобы согреться, смеялась и звонко пела. Увы! В какие только человеческие переживания не вторгаются иногда детские игры! Песенку этой-то девочки и услыжала Фантина.

— О! — вскричала она. — Это моя Козетта! Я узнаю ее голосок!

Ребенок исчез так же быстро, как появился; голосок умолк; Фантина прислушивалась еще некоторое время, потом лицо ее омрачилось, и г-н Мадлен услышал, как она прошептала: «Какой дурной человек этот доктор, что не позволяет мне увидеть мою дочку! У этого человека и лицо злое».

Однако радостные мысли снова вернулись к ней. Откинув голову на подушку, она продолжала говорить сама с собой: «Какие мы будем с ней счастливые! Во-первых, у нас будет небольшой садик! Господин Мадлен обещал мне это. Моя дочурка будет играть в саду. Она уже, наверно, знает азбуку. Я заставлю ее читать по складам. Она станет бегать по траве за бабочками. А я буду смотреть на нее. А потом она пойдет к причастию. Кстати! Когда же она в первый раз пойдет к причастию?»

Она начала считать по пальцам.

— .. Один, два, три, четыре... сейчас ей семь. Значит, через пять лет. Она наденет белую вуаль и ажурные чулочки, она будет похожа на маленькую женщину. О добрая моя сестрица, вы еще не знаете, до чего я глупа — я думаю о том, как моя дочь пойдет к первому причастию!

И она рассмеялась.

Он уже не держал руку Фантины. Он слушал эти слова, как слушают дуновение ветерка, опустив глаза в землю, углубившись в свои бездонные думы. Вдруг она замолчала, и он машинально поднял глаза. Вид Фантины испугал его.

Она больше не говорила, она больше не дышала; она приподнялась на своем ложе, ее худое плечо показалось из-под спустившейся сорочки; лицо, такое сияющее за минуту перед тем, было теперь мертвенно-бледно, и расширенными от ужаса глазами она как будто пристально вглядывалась во что-то страшное, находившееся на другом конце комнаты.

— Боже мой! — вскричал он. — Что с вами, Фантина?

Она не ответила, она не отрывала глаз от того, на что смотрела; она коснулась одной рукой его плеча, а другой сделала ему знак взглянуть назад.

Он обернулся и увидел Жавера.

Вот что произошло.

Пробило половину первого ночи, когда г-н Мадлен вышел из зала аррасского суда. Вернувшись в гостиницу, он как раз успел сесть в почтовую карету, в которой, как мы помним, он заранее заказал себе место. Около шести часов утра он приехал в Монрейль-Приморский и первым делом отправил по почте свое письмо к Лафиту, а затем зашел в больницу навестить Фантину.

Едва он успел покинуть зал заседаний суда присяжных, как товарищ прокурора, оправившись от первоначального потрясения, выступил с речью, в которой, оплакивая внезапное помешательство почтенного мэра города Монрейля-Приморского, заявил, что его уверенность в виновности подсудимого ничуть не поколебалась в связи с этим странным происшествием, которое, конечно, должно было объясниться в свое время, и пока что требует осуждения Шанматье, несомненно являющегося истинным Жаном Вальжаном. Упорство товарища прокурора находилось в явном противоречии с мнением всех — публики, судей и присяжных. Защитник с легкостью опроверг его слова и установил, что благодаря признаниям г-на Мадлена — другими словами, истинного Жана Вальжана — все дело в корне изменилось, и что перед присяжными находится невинный. Он извлек из этого несколько сентенциозных замечаний, к сожалению, уже не новых, относительно судебных ошибок и т. д., и т. д.; председатель в заключительной речи присоединился к защитнику, и через несколько минут присяжные объявили Шанматье непричастным к делу.

Однако товарищу прокурора требовался ведь какой-нибудь Жан Вальжан, и, потеряв Шанматье, он ухватился за Мадлена.

Немедленно после освобождения Шанматье товарищ прокурора уединился с председателем. Они обсудили вопрос «касательно нового обвиняемого, касательно особы г-на мэра города Монрейля-Приморского и касательно необходимости его задержать». Эта коллекция «касательных» принадлежит перу г-на товарища прокурора и собственноручно включена им в подлинник его донесения

главному прокурору. Волнение председателя уже улеглось, и он не стал особенно возражать. Как-никак, а правосудие должно было вершиться своим порядком. К тому же, если уж договаривать до конца, председатель, человек незлой и довольно неглупый, был в то же время правоверным роялистом, почти фанатиком, и его покорило то, что мэр Монрейля-Приморского, говоря о высадке в Канне, употребил слово *император*, а не *Буонапарте*.

Итак, приказ об аресте был изготовлен. Товарищ прокурора послал его в Монрейль-Приморский с нарочным, наказав последнему мчаться во весь опор и передать пакет полицейскому надзирателю Жаверу.

Как известно, Жавер вернулся в Монрейль-Приморский немедленно после дачи показаний.

Жавер только что встал, когда нарочный вручил ему постановление об аресте и приказ о доставке арестованного.

Нарочный тоже был из агентов полиции, человек весьма опытный, и он в двух словах осведомил Жавера обо всем, что произошло в Аррасе. Приказ об аресте, подписанный товарищем прокурора, гласил: «Полицейскому надзирателю Жаверу предписывается задержать съёра Мадлена, мэра Монрейля-Приморского, в лице коего суд на заседании от сего числа опознал отпущенного на волю каторжника Жана Вальжана».

Если бы при входе Жавера в переднюю больницы его увидел человек посторонний, то никогда не догадался бы по его внешнему виду о том, что в нем происходит, и не заметил бы ничего необыкновенного. Жавер был холоден, спокоен, серьезен, его седые волосы были аккуратно приглажены на висках, и по лестнице он поднялся своим обычным неторопливым шагом. Однако человек, изучивший его насквозь, внимательно присмотревшись к нему, ощутил бы трепет. Застежка его кожаного воротничка, вместо того чтобы быть сзади, как полагалось, приходилась под левым ухом. Это выдавало невероятное возбуждение.

Жавер был цельной натурой и не допускал ни одного пятнышка ни на обязанностях своих, ни на мундире; он был методически строг в обращении с преступниками и непреклонно суров в отношении пуговиц своей одежды.

Если ему случилось неправильно застегнуть воротничок — значит, в душе его произошла такая буря, какую

можно было бы назвать разве только внутренним землетрясением.

Захватив с собой одного капрала и четырех солдат с ближайшего полицейского участка, он без всяких околичностей явился в больницу, оставил солдат во дворе и попросил ничего не подозревавшую привратницу, привыкшую к тому, что вооруженные люди спрашивают г-на мэра, указать ему, где лежит Фантина.

Дойдя до палаты Фантины, Жавер повернул ключ, с осторожностью сиделки или полицейского шпика отворил дверь и вошел.

Точнее сказать, не вошел, а остановился на пороге полуоткрытой двери, не снимая шляпы и засунув левую руку за борт наглухо застегнутого сюртука. Подмышкой у него виднелся свинцовый набалдашник его огромной трости, конец которой исчезал за его спиной.

С минуту он простоял так, незамеченный никем. Внезапно Фантина подняла глаза, увидела его и заставила обернуться г-на Мадлена.

В тот миг, когда взгляд Мадлена встретился со взглядом Жавера, Жавер стал страшен, хоть и не двинулся с места, не шевельнулся, не приблизился ни на шаг. Никому человеческому чувству не дано порой вселять такой ужас, как это дано радости.

То было лицо сатаны, который вновь обрел своего грешника.

Уверенность в том, что наконец-то Жан Вальжан находится в его власти, вызвала наружу все чувства, скрывавшиеся в душе Жавера. Вся тина со дна взбаламученных вод всплыла на поверхность. Чувство унижения, вызванное тем, что он было потерял след и в течение нескольких минут принимал Шанматье за другого, исчезло, вытесненное гордостью сознания, что он угадал истину с самого начала и что его безошибочный инстинкт так долго сопротивлялся обману. Жавер был доволен, и его повелительная осанка ясно говорила об этом. Все, что есть уродливого в торжестве, распустилось пышным цветом на его узком лбу. Здесь во всей своей наготе явило себя все ужасное, чем веет от самодовольной человеческой физиономии.

Жавер в эту минуту был на седьмом небе. Не отдавая себе ясного отчета, но бессознательно и смутно ощущая свою полезность и свой успех, он, Жавер, олицетворял

сейчас свет, истину и справедливость в их священной функции — в уничтожении зла. За ним, вокруг него, где-то в бесконечной дали, стояли власть, здравый смысл, судебное решение, совесть по мерке закона, общественная кара — все звезды его неба. Он защищал порядок, он извлекал из закона громы и молнии, он мстил за общество, он оказывал поддержку абсолюту; он словно вырастал, окруженный ореолом; в его победе еще жил отзвук вызова и поединка; надменный, блистательный, он стоял, выставляя напоказ среди бела дня сверхъестественное животное начало какого-то свирепого ангела мщения; в грозной тени свершаемого им дела неясно проступал пламенеющий меч социального правосудия, который судорожно сжимала его рука; счастливый и негодующий, он топтал каблуком преступление, порок, бунт, грех, ад; он сиял, он искоренял, он улыбался, и было какое-то неоспоримое величие в этом чудовищном архангеле Михаиле.

Жавер был страшен, но в нем не было ничего низкого.

Честность, искренность, прямотушие, убежденность, преданность долгу — это свойства, которые, свернув на ложный путь, могут стать отталкивающими, но и тут они остаются значительными; величие, присущее человеческой совести, не покидает их даже тогда, когда они внушают ужас. У этих добродетелей есть лишь один порок — заблуждение. Безжалостная искренняя радость фанатика, при всей ее жестокости, излучает некое сияние, зловещее, но требующее уважения. Сам того не сознавая, Жавер в своем непомерном восторге был достоин жалости, как всякий торжествующий невежда. И ничто не могло бы произвести более мучительное и более страшное впечатление, чем это лицо, на котором, если можно так выразиться, отразилась вся скверна добра.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Законная власть восстанавливает свои права

Фантина ни разу не видела Жавера с того самого дня, когда г-н мэр вырвал ее из рук этого человека. Но хотя ее больной мозг и не был в состоянии разобраться в происходящем, она ни на секунду не усомнилась в том, что,

он пришел за ней. Она не могла вынести вида ужасной этой фигуры, она почувствовала, что силы ее угасают, и, закрыв лицо руками, закричала в томительной тревоге: — Господин Мадлен, спасите меня!

Жан Вальжан — отныне мы уже не будем называть его иначе — поднялся со стула. Самым ласковым, самым спокойным тоном он сказал Фантине:

— Успокойтесь. Он пришел не за вами.

Затем он повернулся к Жаверу и сказал ему:

— Я знаю, что вам нужно.

Жавер ответил:

— Живо! Идем!

В тоне, каким были произнесены эти два слова, слышалось что-то иступленное, что-то дикое. Жавер не сказал: «Живо! Идем!» Он сказал: «Живидем!» Никакое правописание не могло бы точно передать эти звуки; то была уже не человеческая речь, то было рычание.

На сей раз он поступил не так, как обычно: он не объявил о цели своего прихода, он не предъявил даже приказа о доставке арестованного. Для него Жан Вальжан являлся своего рода противником, таинственным и неуловимым, загадочным борцом, которого он держал в своих тисках на протяжении пяти лет, но свалить не мог. Этот арест был не началом, а концом. Он ограничился тем, что сказал: «Живо! Идем!»

Произнеся эти слова, он не сделал ни шагу; он только метнул на Жана Вальжана тот взгляд, который он закидывал, как крюк, насильственно притягивая им к себе свои несчастные жертвы.

Этот самый взгляд пронзил Фантину до мозга костей за два месяца перед тем.

При окрике Жавера Фантина открыла глаза. Но ведь г-н мэр был здесь. Чего же ей было бояться?

Жавер шагнул на середину комнаты и крикнул:

— Эй, как тебя там! Пойдешь ты или нет?

Бедняжка оглянулась. В комнате не было никого, кроме монахини и г-на мэра. К кому же могло относиться это омерзительное «ты»? Только к ней. Она задрожала.

И вот она увидела нечто невероятное, нечто до такой степени невероятное, что ничего подобного не могло бы померещиться ей даже в самом тяжелом горячечном бреду.

Она увидела, как сыщик Жавер схватил за шиворот г-на мэра; она увидела, как г-н мэр опустил голову. Ей показалось, что рушится мир.

Жавер, действительно, взял за шиворот Жана Вальжана.
— Господин мэр! — вскричала Фантина.

Жавер разразился смехом, своим ужасным смехом, обнажившим его зубы до десен.

— Никакого господина мэра здесь больше нет!

Жан Вальжан не сделал попытки отстранить руку, державшую его за воротник редингота. Он сказал:

— Жавер...

— Я для тебя «господин полицейский надзиратель», — перебил его Жавер.

— Сударь, — снова начал Жан Вальжан, — мне хотелось бы сказать вам несколько слов наедине.

— Громко! Говори громко! — ответил Жавер. — Со мной не шепчутся!

Жан Вальжан продолжал, понизив голос:

— Я хочу обратиться к вам с просьбой...

— А я приказываю тебе говорить громко.

— Но этого не должен слышать никто, кроме вас...

— Какое мне дело? Я не желаю слушать!

Жан Вальжан повернулся к нему лицом и проговорил торопливо и очень тихо:

— Дайте мне три дня! Только три дня, чтобы я мог съездить за ребенком этой несчастной женщины! Я заплачу все, что будет нужно. Вы можете меня сопровождать, если захотите.

— Да ты шутишь! — крикнул Жавер. — Право же, я не считал тебя за дурака! Ты просишь дать тебе три дня. Сам задумал удрать, а говорит, что хочет поехать за ребенком этой девки! Ха-ха-ха! Здорово! Вот это здорово!

Фантина затрепетала.

— За моим ребенком! — вскричала она. — Поехать за моим ребенком! Значит, ее здесь нет? Сестрица, отвечайте мне: где Козетта? Дайте мне моего ребенка! Господин Мадлен! Господин мэр!

Жавер топнул ногой.

— И эта туда же! Замолчишь ли ты, мерзавка! Что за негодная страна, где каторжников назначают мэрами, а за публичными девками ухаживают, как за графинями! Ну, нет! Теперь все это переменится. Давно пора!

Он пристально посмотрел на Фантину и добавил, снова ухватив галстук, ворот рубашки и воротник редингота Жана Вальжана:

— Говорят тебе, нет здесь никакого господина Мадлена, и никакого господина мэра здесь нет. Есть вор, разбойник, есть каторжник по имени Жан Вальжан! Его-то я и держу! Вот и все!

Фантина вдруг приподнялась, опираясь на застывшие руки; она взглянула на Жана Вальжана, на Жавера, на монахиню, открыла рот, словно собираясь что-то сказать, какой-то хрип вырвался у нее из глубины груди, зубы застучали, она в отчаянье протянула вперед обе руки, ловя воздух пальцами, словно утопающая, которая ищет, за что бы ей ухватиться, и опрокинулась на подушку. Голова ее ударилась об изголовье кровати и упала на грудь; рот и глаза остались открытыми, взор погас.

Она была мертва.

Жан Вальжан положил свою руку на руку державшего его Жавера и разжал ее, словно руку ребенка, потом сказал Жаверу:

— Вы убили эту женщину.

— Хватит! — с яростью крикнул Жавер. — Я пришел сюда не за тем, чтобы выслушивать нравоучения. Обоидемся без них. Стража внизу. Немедленно иди за мной, не то — наручники!

В углу комнаты стояла старенькая железная расшатанная кровать, на которой спали сестры во время ночных дежурств; Жан Вальжан подошел к этой кровати, в мгновение ока оторвал от нее изголовье, уже и без того еле державшееся и легко уступившее его могучим мускулам, вынул из него прут, служивший основанием, и взглянул на Жавера. Жавер попятился к двери.

Жан Вальжан, с железным брусом в руках, медленно направился к постели Фантины. У постели он обернулся и едва слышно сказал Жаверу:

— Не советую вам мешать мне в эту минуту.

Достоверно известно одно: Жавер вздрогнул.

У него мелькнула мысль позвать стражу, но Жан Вальжан мог воспользоваться его отсутствием и бежать. Поэтому он остался, сжал в руке свою палку, держа ее за нижний конец, и прислонился к косяку двери, не сводя глаз с Жана Вальжана.

Жан Вальжан оперся локтем о спинку кровати и, опустив голову на руку, стал смотреть на неподвижно распростертую Фантину. Он долго стоял так, погруженный в свои мысли, безмолвный, видимо забыв обо всем на свете. Его лицо и поза выражали одно только беспредельное сострадание. После нескольких минут этой задумчивости он нагнулся к Фантине и начал что-то тихо говорить ей.

Что он ей сказал? Что мог сказать человек, который был осужден законом, женщине, которая умерла? Какие это были слова? Никто в мире не слышал их. Слышала ли их умершая? Существуют трогательные иллюзии, в которых, может быть, заключается самая возвышенная реальность. Несомненно лишь одно: сестра Симплиция, единственная свидетельница всего происходившего, часто рассказывала впоследствии, будто в тот момент, когда Жан Вальжан шептал что-то на ухо Фантине, она ясно видела, как блаженная улыбка показалась на этих бледных губах и забрезжила в затуманенных зрачках, полных удивления перед тайной могилы.

Жан Вальжан взял обеими руками голову Фантины и удобно положил ее на подушку, как это сделала бы мать для своего дитяти; он завязал тесемки на вороте ее сорочки и подобрал ей волосы под чепчик. Потом закрыл ей глаза.

Лицо Фантины в эту минуту, казалось, озарило какое-то непостижимое сияние.

Смерть — это переход к вечному свету.

Рука Фантины свесилась с кровати. Жан Вальжан опустился на колени перед этой рукой, осторожно поднял ее и приложился к ней губами.

Потом он встал и обернулся к Жаверу.

— Теперь я в вашем распоряжении, — сказал он.

ГЛАВА ПЯТАЯ

По мертвецу и могила

Жавер доставил Жана Вальжана в городскую тюрьму.

Арест г-на Мадлена произвел в Монрейле-Приморском небывалую сенсацию, или, вернее сказать, небывалый переполох. Нам очень грустно, но мы не можем скрыть тот

факт, что при этих словах — *бывший каторжник*, почти все отвернулись от него. За какие-нибудь два часа все добро, сделанное им, было забыто, и он стал только «каторжником». Правда, подробности происшествия в Аррасе еще не были известны. Целый день повсюду в городе слышались такого рода разговоры:

— Вы еще не знаете? Он каторжник, отбывший срок. — Кто это он? — Да наш мэр. — Как! Господин Мадлен? — Да. — Неужели? — Его и звали-то не Мадлен, у него какое-то жуткое имя — не то Бежан, не то Божан, не то Бужан... — Ах, бог мой! — Его посадили. — Посадили! — В тюрьму, в городскую тюрьму, покамест его не переведут. — Покамест не переведут! Так его переведут? Куда же это? — Его еще будут судить в суде присяжных за грабеж на большой дороге, совершенный им в былые годы. — Ну вот! Так я и знала! Слишком уж он был добрый, слишком хороший, до приторности. Он отказался от ордена и раздавал деньги всем маленьким озорникам, которые попадались ему навстречу. Мне всегда казалось, что тут дело нечисто.

Особенно возмущались им в так называемых салонах.

Одна пожилая дама, подписчица газеты «Белое знамя», высказала замечание, измерить всю глубину которого почти невозможно.

— Меня это нисколько не огорчает. Это хороший урок бонапартистам!

Так рассеялся в Монрейле-Приморском миф, называвшийся когда-то г-ном Мадленом. Только три или четыре человека во всем городе остались верны его памяти. Старуха привратница, которая служила у него в доме, относилась к их числу.

Вечером того же дня эта почтенная старушка сидела у себя в камерке, все еще не оправившись от испуга и погруженная в печальные размышления. Фабрика была закрыта с самого утра, ворота на запоре, улица пустынна. Во всем доме не было никого, кроме двух монахинь — сестры Перепетуи и сестры Симплиции, бодрствовавших у тела Фантины.

Около того часа, когда г-н Мадлен имел обыкновение возвращаться домой, добрая старушка машинально поднялась с места, достала из ящика ключ от комнаты

г-на Мадлена и подсвечник, который он всегда брал с собой, поднимаясь по лестнице к себе наверх, повесила ключ на гвоздик, откуда он снимал его обычно, и поставила подсвечник рядом, словно ожидая хозяина. После этого она опять села на стул и погрузилась в свои мысли. Бедная славная старушка проделала все это совершенно бессознательно.

Только часа через два с лишним она очнулась от своей задумчивости и вскричала: «Господи Иисусе! Подумать только! А я-то повесила его ключ на гвоздик!»

В эту самую минуту окно ее каморки отворилось, в отверстие просунулась рука, взяла ключ и подсвечник и зажгла восковую свечу от сальной, горевшей на столе.

Привратница подняла глаза и застыла с разинутым ртом, заглушая готовый сорваться крик.

Она узнала эти пальцы, эту руку, рукав этого редингота.

То был г-н Мадлен.

В течение нескольких секунд она не могла вымолвить ни слова, сердце у нее прямо «захолонуло», как выразилась она, рассказывая впоследствии о своем приключении.

— О господи, это вы, господин мэр! — вскричала она наконец. — А я-то думала, что вы...

Она запнулась, конец ее фразы был бы непочтительным по отношению к началу. Жан Вальжан все еще оставался для нее господином мэром.

Он dokonчил ее мысль:

— В тюрьме, — сказал он. — Я и был там. Я выломал железный прут в решетке окна, спрыгнул с крыши, и вот я здесь. Сейчас я поднимаюсь к себе наверх, а вы пришлите ко мне сестру Симплицию. Она, наверное, сидит у тела той бедной женщины.

Старуха поспешно повиновалась.

Он не стал предостерегать ее; он был уверен, что она позаботится о его безопасности лучше, чем он сам.

Никто так и не узнал впоследствии, каким образом ему удалось проникнуть во двор, не открывая ворот. У него всегда был при себе запасный ключ от калитки, но ведь при обыске у него должны были отобрать ключ. Это обстоятельство так и осталось невыясненным.

Он поднялся по лестнице, которая вела в его комнату. Дойдя до верхней площадки, он оставил подсвечник на последней ступеньке, бесшумно открыл дверь, нащупал в темноте и закрыл окно и ставень, затем воротился за свечой и снова вошел в комнату.

Эта предосторожность была не лишней; как мы помним, окно выходило на улицу, и на него могли обратить внимание.

Он осмотрелся по сторонам, бросил взгляд на стол, на стул, на постель, которую не раскрывал уже трое суток. Нигде не было никаких следов беспорядка позапрошлой ночи. Привратница «прибралась в комнате», но, в отличие от прочих дней, аккуратно разложила на столе вынутые из золы два железных наконечника его палки и монету в сорок су, почерневшую от огня.

Он взял листок бумаги, написал на нем: *«Вот два железных наконечника моей палки и украденная у Мальша Жерве монета в сорок су, о которой я говорил в суде присяжных»*, потом переложил на этот листок серебряную монету и два куска железа так, чтобы они сразу бросились в глаза каждому, кто вошел бы в комнату. Он вынул из шкафа старую рубаху и разорвал ее. Получилось несколько кусков полотна, в которые он завернул оба серебряных подсвечника. Кстати сказать, в нем не было заметно ни торопливости, ни волнения, и, заворачивая подсвечники епископа, он в то же время жевал кусок черного хлеба. Возможно, что это была тюремная порция, захваченная им с собой при побеге.

Последнее было обнаружено по хлебным крошкам, найденным на полу комнаты при обыске, произведенном несколько позже.

Кто-то два раза тихо постучал в дверь.

— Войдите, — сказал он.

Вошла сестра Симплиция.

Она была бледна, глаза ее были заплаканы. Свеча дрожала в ее руке. Жесткие удары судьбы обладают той особенностью, что, до какой бы степени совершенства или черствости мы ни дошли, они извлекают из глубины нашего «я» человеческую природу и заставляют ее показаться на свет. Потрясения этого дня снова превратили монахиню в женщину. Она проплакала весь день и теперь вся дрожала.

Жан Вальжан написал на листке бумаги несколько строк и протянул ей записку со словами: «Сестрица, передайте это нашему кюре».

Листок не был сложен. Она мельком взглянула на него.

— Можете прочесть, — сказал он.

Она прочитала: «Я прошу господина кюре распорядиться всем тем, что я оставляю здесь. Покорно прошу оплатить судебные издержки по моему делу и похоронить умершую сегодня женщину. Остальное — бедным».

Сестра хотела что-то сказать, но едва могла произнести несколько бессвязных звуков. Наконец ей удалось выговорить:

— Не угодно ли вам, господин мэр, повидать в последний раз эту несчастную страдалицу?

— Нет, — сказал он, — за мной погоня, меня могут арестовать в ее комнате, а это потревожило бы ее покой.

Едва он успел договорить эти слова, как на лестнице раздался сильный шум. Послышался топот ног на ступеньках и голос старухи привратницы, громко и пронзительно кричавшей:

— Клянусь господом богом, сударь, что во весь день и во весь вечер сюда не входила ни одна душа, а я ведь ни на минуту не отлучалась от дверей!

Мужской голос ответил:

— Однако в этой комнате горит свет.

Они узнали голос Жавера.

Расположение комнаты было таково, что дверь, открываясь, загораживала правый угол. Жан Вальжан задул восковую свечу и встал в этот угол.

Сестра Симплиция упала на колени возле стола.

Дверь отворилась.

Вошел Жавер.

Из коридора слышалось перешептывание нескольких человек и заверения привратницы.

Монахиня не поднимала глаз. Она молилась.

Свеча, поставленная ею на камин, едва мерцала.

Жавер увидел сестру и в замешательстве остановился на пороге.

Вспомним, что сущностью Жавера, его основой, его родной стихией было глубокое преклонение перед всякой властью. Он был цельной натурой и не допускал ни воз-

ражений, ни ограничений. И разумеется, духовная власть стояла для него превыше всего; он был набожен, соблюдая обряды, и был так же педантичен в этом отношении, как и во всех остальных. В его глазах священник был духом, не знающим заблуждения, монахиня — существом, не ведающим греха. То были души, жившие за глухой оградой, и единственная дверь ее открывалась лишь затем, чтобы пропустить в наш грешный мир истину.

Когда он увидел сестру, первым его побуждением было удалиться.

Однако в нем говорило и другое чувство, чувство долга, владевшее им и властно толкавшее его в противоположную сторону. И вторым его побуждением было — остаться и по крайней мере отважиться на вопрос.

Перед ним была та самая сестра Симплиция, которая не солгала ни разу в жизни. Жавер знал об этом и именно по этой причине особенно преклонялся перед ней.

— Сестрица, — сказал он, — вы одна в этой комнате? Наступила ужасная минута, бедная привратница едва не лишилась сознания.

Сестра подняла глаза и ответила:

— Да.

— Значит, — продолжал Жавер, — простите меня за настойчивость, но я выполняю свой долг, — значит, вы не видели сегодня вечером одну личность, одного человека? Он сбежал, мы ищем его. Вы не видели человека по имени Жан Вальжан?

— Нет, — ответила сестра.

Она солгала. Она солгала два раза кряду, раз за разом, без колебаний, без промедления, с такой быстротой, с какой человек приносит себя в жертву.

— Прошу прощения, — сказал Жавер и, низко поклонившись, вышел.

О святая девушка! Вот уже много лет, как тебя нет в этом мире; ты уже давно соединилась в царстве вечного света со своими сестрами-девственницами и братьями-ангелами. Да зачтется тебе в раю эта ложь!

Свидетельство сестры было столь убедительно для Жавера, что он даже не заметил одного странного обстоятельства: на столе стояла другая свеча, только что потушенная и еще чадившая.

Час спустя какой-то человек, пробираясь сквозь деревья и густой туман, быстро удалялся от Монрейля-Приморского по направлению к Парижу. Этот человек был Жан Вальжан. Показаниями двух или трех возчиков, встретивших его дорогой, было установлено, что он нес какой-то сверток и что на нем была надета блуза. Где он взял ее? Неизвестно. Впрочем, за несколько дней до того в фабричной больнице умер старик рабочий, который не оставил после себя ничего, кроме своей блузы. Не была ли это та самая блуза?

Еще одно слово о Фантине.

У всех нас есть одна общая мать — земля. Этой-то матери и возвратили Фантину.

Кюре считал, что хорошо поступил, — и может быть, действительно поступил хорошо, — сохранив возможно большую часть денег, оставленных Жаном Вальжаном, для бедных. В конце концов о ком тут шла речь? Всего лишь о каторжнике и о публичной женщине. Вот почему он крайне упростил погребение Фантины, ограничившись самым необходимым — то есть общей могилой.

Итак, Фантину похоронили в том углу кладбища, который принадлежит всем и никому, в углу, где хоронят бесплатно и где бесследно исчезают бедняки. К счастью, богу известно, где отыскать душу. Фантину опустили в гробовую тьму, среди костей, неведомо кому принадлежавших; прах ее смешался с чужим прахом. Она была брошена в общественную могилу. Ее могила была подобна ее ложу.

ЧАСТЬ II

РОЗЕТТА

Книга первая

ВАТЕРЛОО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Что можно встретить по дороге из Нивеля

В прошлом (1861) году, солнечным майским утром, прохожий, рассказывающий эту историю, прибыв из Нивеля, направлялся в Ла-Гюльп. Он шел по широкому обсаженному деревьями шоссе, которое тянулось по цепи холмов, то поднимаясь, то опускаясь как бы огромными волнами. Он миновал Лилуа и Буа-Сеньер-Исаак. На западе уже виднелась шиферная колокольня Брен-л'Алле, похожая на перевернутую вазу. Он оставил позади себя раскинувшуюся на холме рощу и, на повороте проселка, около какого-то подобия виселицы, источенной червями, с надписью: «Старая застава № 4», — кабачок, фасад которого украшала вывеска: «На вольном воздухе. Частная кофейная Эшабо».

Пройдя еще четверть лье, он спустился в небольшую долину, куда из-под мостовой арки в дорожной насыпи струился ручей. Группы не густых, но яркозеленых деревьев, оживлявших долину по одну сторону шоссе, разбегались с противоположной стороны по лугам и в изящном беспорядке тянулись к Брен-л'Алле.

Направо, на краю дороги, виднелся постоянный двор, четырехколесная тележка перед воротами, большая вязанка жердей для хмеля, плуг, куча хворосту возле живой изгороди, дымящаяся в квадратной яме известь, лестница, прислоненная к старому открытому сараю с соломенными перегородками внутри. Молодая девушка полола в поле, где трепалась по ветру огромная желтая афиша, возвещавшая, по всей вероятности, о ярмарочном представле-

нии по случаю храмового праздника. За углом постоянного двора, около лужи, в которой плескалась стая уток, вела в кустарники скверно вымощенная дорожка. Туда и направился прохожий.

Пройдя около сотни шагов вдоль ограды пятнадцатого столетия, увенчанной острым шипцом из цветного кирпича, он очутился перед большими каменными сводчатыми воротами, с прямым поперечным брусом над створками в суровом стиле Людовика XIV и двумя плоскими медальонами по сторонам. Фасад здания, такого же строгого стиля, возвышался над воротами; стена, перпендикулярная фасаду, почти вплотную подходила к воротам, образуя прямой угол. Перед ними на поляне валялись три бороны, сквозь зубья которых пробивались вперемежку всевозможные весенние цветы. Ворота были закрыты. Затворялись они двумя ветхими створками, на которых висел старый заржавленный молоток.

Ярко светило солнце; ветви деревьев тихо покачивались с тем нежным майским шелестом, который, кажется, исходит скорее от гнезд, нежели от листвы, колеблемой ветерком. Маленькая смелая пташка, видимо влюбленная, звонко заливалась меж ветвей раскидистого дерева.

Прохожий нагнулся и вниз, с левой стороны правого упорного камня ворот, разглядел довольно широкую круглую впадину, похожую на внутренность шара. В эту минуту ворота распахнулись, и появилась крестьянка.

Она увидела прохожего и догадалась, на что он смотрит.

— Сюда попало французское ядро, — сказала она. — Потом добавила: — А вот здесь повыше на воротах, около гвоздя, — это след картечи, но она не пробила дерева насквозь.

— Как называется это место? — спросил прохожий.

— Гугомон, — ответила крестьянка.

Прохожий выпрямился, сделал несколько шагов и взглянул за изгородь. На горизонте, сквозь деревья, он заметил пригорок, а на этом пригорке нечто, похожее издали на льва.

Он находился на поле битвы при Ватерлоо.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Гугомон

Гугомон — вот то зловещее место, начало противодействия, первое сопротивление, встреченное при Ватерлоо великим лесорубом Европы, имя которого Наполеон; первый неподатливый сук под ударом его топора.

Некогда это был замок, ныне — всего только ферма. Гугомон для знатока старины — «Гюгомон». Этот замок был воздвигнут Гюго, сиром де Сомерель, тем самым, который сделал богатый дар шестому капелланству аббатства Вилье.

Прохожий толкнул ворота и, задев локтем стоявшую под их сводом старую коляску, вошел во двор.

Первое, что поразило его на этом внутреннем дворе, были ворота в стиле шестнадцатого века, похожие на арку, ибо все вокруг них обрушилось. Развалины часто производят впечатление величия. Близ арки в стене находились другие сводчатые ворота, времен Генриха IV, сквозь которые видны были деревья фруктового сада. Около этих ворот — навозная яма, мотыги и лопаты, несколько тачек, старый колодец с каменной плитой на передней его стенке и железной вертушкой на вóрте, резвящийся жеребенок, индюк, распускающий веером хвост, часовня с маленькой звонницей, шпалерное грушевое дерево в цвету, осеняющее ветвями стену этой часовни, — таков этот двор, завоевать который было мечтой Наполеона. Если бы он сумел овладеть им, то, быть может, этот уголок земли сделал бы его владыкой мира. Тут куры ворошат клювами пыль. Слышится рычание большой собаки, она щерит клыки и заменяет теперь англичан.

Англичане здесь достойны были изумления. Четыре гвардейских роты Кука в течение семи часов выдерживали ожесточенный натиск целой армии.

Гугомон, изображенный на карте в горизонтальном плане, включая все строения и огороженные участки, представляет собой неправильный прямоугольник со срезанным углом. В этом углу, под защитой стены, с которой можно было обстреливать в упор атакующих, и находятся южные ворота. В Гугомоне двое ворот: южные — ворота замка, и северные — ворота фермы. Наполеон на-

правил против Гугомона своего брата Жерома; здесь столкнулись дивизии Гильемино, Фуа и Башлю; почти весь корпус Рейля тут был введен в бой и погиб, Келлерман потратил весь свой запас ядер на эту героическую стену. Отряд Бодюэна лишь с трудом проник в Гугомон с севера, а бригада Суа хоть и ворвалась туда с юга, но овладеть им не могла.

Строения фермы окружают двор с юга. Часть северных ворот, разбитых французами, висит, зацепившись за стену. Это четыре доски, приколотенные к двум перекидинам, и на них отчетливо видны шрамы, полученные во время атаки.

В глубине двора видны полуоткрытые северные ворота с заплатой из досок на месте вышибленной французами и висящей теперь на стене створки. Они проделаны в кирпичной с каменным основанием стене, замыкающей двор с севера. Это обыкновенные четырехугольные проходные ворота, какие можно видеть на всех фермах: две широкие створки, сколоченные из необтесанных досок. За ними расстилаются луга. Яростен был бой за этот вход. На косяках ворот долго оставались следы окровавленных рук. Именно здесь был убит Бодюэн.

Еще до сей поры ураган боя ощущается на этом дворе; здесь запечатлен его ужас; неистовство рукопашной схватки словно застыло в самом ее разгаре; это живет, а то умирает; кажется, все это было вчера. Рушатся стены, падают камни, стонут бреши; проломы похожи на раны; склонившиеся и дрожащие деревья будто силятся бежать отсюда.

Этот двор в 1815 году был застроен теснее, чем ныне. Постройки, которые позже были разрушены, образовали в нем выступы, углы, резкие повороты.

Англичане укрепились там; французы ворвались туда, но не смогли удержаться. Рядом с часовней сохранилось обрушившееся, вернее, развороченное, крыло здания — все, что осталось от Гугомонского замка. Замок послужил крепостью, часовня — блокгаузом. Здесь происходило взаимное истребление. Французы, обстреливаемые со всех сторон — из-за стен, с чердачных вышек, из глубины погребов, из всех окон, из всех отдушин, из всех щелей в стенах, — притащили фашины и подожгли стены и людей. Пожар был ответом на картечь.

В разрушенном крыле замка сквозь забранные железными решетками окна видны остатки разоренных покоев главного кирпичного здания; в этих покоях засела английская гвардия. Винтовая лестница, вся рассеявшаяся от нижнего этажа до самой крыши, кажется внутренностью разбитой раковины. Эта лестница проходила сквозь два этажа; осажденные на ней и загнанные наверх англичане разрушили нижние ступени. И теперь эти широкие плиты голубоватого камня лежат грудой, среди разросшейся крапивы. Десяток ступеней еще держится в стене; на первой из них высечено изображение трезубца. Эти недосигаемые ступени крепко сидят в своих гнездах. Вся остальная часть лестницы похожа на челюсть, лишенную зубов. Тут же высятся два дерева. Одно засохло, другое повреждено у корня, но каждую весну зеленеет вновь. Оно начало прорасти сквозь лестницу с 1815 года.

Резня происходила в часовне. Теперь там снова тихо, но у нее странный вид. Со времени этой бойни богослужений в ней не совершали. Однако аналой там уцелел — грубый деревянный аналой, прислоненный к необтесанной каменной глыбе. Четыре стены, выбеленные известкой, против престола дверь, два маленьких полукруглых окна, на двери большое деревянное распятие, над распятием четырехугольная отдушина, заткнутая охапкой сена, в углу, на земле, старая разбитая оконная рама — такова эта часовня. Около аналая прибита деревянная, пятнадцатого века, статуя святой Анны; голова младенца Иисуса оторвана картечью. Французы, на некоторое время овладевшие часовней и затем вытесненные из нее, подожгли ее. Пламя охватило это ветхое строение. Оно превратилось в раскаленную печь. Сгорела дверь, сгорел пол, не сгорело лишь деревянное распятие. Пламя обуглило ноги Христа, превратив их в почерневшие обрубки, но дальше не пошло. По словам местных жителей, это было чудо. Младенцу Иисусу, которого обезглавили, поспасалось меньше, чем распятию.

Стены все испещрены надписями. У ног Христовых можно прочесть: «Henquines»¹. А дальше: «Conde de Rio

¹ Энкинес (исп.).

Maïor¹. Marques y Marquesa de Almagro (Havana)»². Встречаются и французские имена с восклицательными знаками, говорящими о гневе. В 1849 году стены выбелили: здесь нации поносили друг друга.

Именно возле двери этой часовни подобрали труп, державший в руке топор. Это был труп подпоручика Летро.

Выходишь из часовни и направо замечаешь колодец. На этом дворе их два. Спрашиваешь: почему у этого колодца нет ведра и блока? А потому, что из него не черпают более воды. Почему же из него не черпают более воды? Потому что он набит скелетами.

Последний, кто брал воду из этого колодца, был Гильом ван Кильсом. Этот крестьянин проживал в Гугомоне и работал в замке садовником. 18 июня 1815 года его семья бежала и укрылась в лесу.

Лес, окружавший аббатство Вилье, давал в продолжение многих дней и ночей приют всему несчастному разбежавшемуся населению. Еще доньше сохранились ясные следы в виде старых обгоревших пней, отмечающих места этих жалких становищ, скрывавшихся в зарослях кустарника.

Гильом ван Кильсом, оставшийся в Гугомоне, чтобы «стеречь замок», забился в погреб. Англичане обнаружили его, вытащили из убежища и, избивая ножами сабель, заставили этого запуганного насмерть человека служить себе. Их мучила жажда, и Гильом должен был приносить им пить, черпая воду из этого колодца. Для многих то был последний глоток в жизни. Колодец, из которого пило столько обреченных на гибель, должен был и сам погибнуть.

После сражения очень торопились предать трупы земле. Смерть обладает повадкой, присущей ей одной, — дразнить победу, вслед за славой насылая болезни. Тиф — непременно дополнение к триумфу. Колодец был глубок, и его превратили в могилу. В него сбросили триста трупов. Быть может, это сделали слишком поспешно. Все ли были мертвы? Предание гласит, что не все.

¹ Граф де Рио Майор (*исп.*).

² Маркиз и маркиза де Альмагро (Гаванна) (*исп.*).

Говорят, что в ночь после погребенья из колодца слышались слабые голоса, взывавшие о помощи.

Этот колодец расположен особняком посредине двора. Три стены, наполовину из камня, наполовину из кирпича, поставленные наподобие ширм и напоминающие четырехугольную башенку, окружают его с трех сторон. Четвертая сторона свободна, и отсюда черпали воду. В задней стене имеется что-то вроде неправильного круглого оконца — вероятно, пробоина от разрывного снаряда. У башенки была когда-то крыша, от которой сохранились лишь балки. Железные подпорки правой стены образуют крест. Наклонишься, и взгляд тонет в глубине кирпичного цилиндра, наполненного мраком. Подножия стен вокруг колодца заросли крапивой.

Широкая голубая каменная плита, которая в Бельгии служит передней стенкой колодцев, заменена скрепленными перекладиной пятью или шестью бесформенными обрубками дерева, узловатыми и кривыми, похожими на огромные кости скелета. Нет больше ни ведра, ни цепи, ни блока, но сохранился еще каменный жолоб, служивший стоком. В нем скапливается дождевая вода, и от времени до времени из соседних рощ залетает сюда какая-нибудь пичужка, чтобы попить из него и тут же улететь.

Единственный жилой дом среди этих развалин — ферма. Дверь дома выходит во двор. Рядом с красивой, в готическом стиле, пластинкой дверного замка прибита наискось железная ручка в виде трилистника. В то мгновение, когда ганноверский лейтенант Вильда взялся за нее, чтобы укрыться на ферме, французский сапер отсек ему руку топором.

Семья, ныне живущая в этом доме, является потомством давно умершего садовника ван Кильсома. Седая женщина рассказывала мне: «Я была свидетельницей происходившего. Мне исполнилось в ту пору три года. Моя старшая сестра боялась и плакала. Нас отнесли в лес. Я сидела на руках у матери. Чтобы лучше расслышать, все припадали к земле ухом. А я повторяла за пушкой: «бум, бум».

Ворота во дворе, те, что налево, как мы уже говорили, выходят в фруктовый сад.

Вид фруктового сада ужасен.

Он состоит из трех частей, вернее сказать — из трех актов драмы. Первая часть — цветник, вторая — фруктовый сад, третья — роща. Все они обнесены общей оградой: со стороны входа — строения замка и ферма, на лево — плетень, направо — стена, в глубине — стена. Правая стена кирпичная, стена в глубине — каменная. Прежде всего входишь в цветник. Он расположен в самом низу, засажен кустами смородины, зарос сорными травами и заканчивается огромной облицованной тесаным камнем террасой с круглыми балясинами. Это был господский сад в том раннем французском стиле, который предшествовал Ленотру; ныне же — это руины и терновник. Пилястры увенчаны шарами, похожими на каменные ядра. Еще теперь насчитывают сорок три уцелевших балясины на подставках, остальные валяются в траве. Почти на всех видны следы картечи. А одна, поврежденная, держится на перебитом своем конце, точно сломанная нога.

Вот в этот-то цветник, находящийся ниже фруктового сада, проникли шесть солдат первого пехотного полка и, не имея возможности выйти оттуда, настигнутые и затравленные, словно медведи в берлоге, приняли бой с двумя ганноверскими ротами, из которых одна была вооружена карабинами. Ганноверцы расположились за этой балюстрадой и стреляли сверху. Неустрашимые пехотинцы, стреляя снизу, шесть против сотни, и не имея иного прикрытия, кроме кустов смородины, продержались четверть часа.

Поднимаешься на несколько ступеней и выходишь из цветника в фруктовый сад. Здесь, на пространстве в несколько квадратных саженей, в течение какого-нибудь часа пали тысяча пятьсот человек. Кажется, что стены тут и сейчас готовы ринуться в бой. Тридцать восемь бойниц, пробитых в них англичанами на различной высоте, еще уцелели. Против шестнадцатой бойницы находятся две могилы англичан с надгробными гранитными плитами. Бойницы есть лишь на южной стене, со стороны которой велось главное наступление. Снаружи эта стена скрыта высокой живой изгородью. Французы, наступая, предполагали, что им придется брать приступом лишь эту изгородь, а наткнулись на стену, на препятствие и на засаду — на английскую гвардию, на тридцать восемь

орудий, паливших одновременно, на ураган ядер и пуль; и бригада Суа была разгромлена. Так началась битва при Ватерлоо.

Однако фруктовый сад был взят. Лестниц не было, французы карабкались на стены, цепляясь ногтями. Под деревьями завязался рукопашный бой. Вся трава кругом обогрилась кровью. Батальон Нассау в семьсот человек был весь уничтожен. Наружная сторона стены, против которой стояли две батареи Келлермана, вся источена картечью.

Но и этот фруктовый сад, как всякий иной сад, не остается безучастным к приходу весны. И в нем распускаются лютики и маргаритки, растет высокая трава, пасутся рабочие лошади; протянутые между деревьями веревки с сохнувшим на них бельем заставляют прохожих пригибаться; ступаешь по этой целине, и нога то и дело попадает в кротовые норы. В густой траве можно разглядеть сваленный, с вывороченными корнями, зеленеющий ствол дерева. К нему прислонился, умирая, майор Блэкман. Под высоким соседним деревом пал немецкий генерал Дюпла, француз по происхождению, эмигрировавший с семьей из Франции после отмены Нантского эдикта. Совсем рядом склонилась старая, больная яблоня с повязкой из соломы и глины. Почти все яблони пригнулись к земле от старости. Нет ни одной, в которой не засела бы ружейная или картечная пуля. Этот сад полон сухостоя. Среди ветвей летают вороны; вдали виднеется роща, где цветет множество фиалок.

Здесь убит Бодюэн, ранен Фуа, здесь были пожар, резня, бойня, здесь яростно бурлил смешанный поток английской, немецкой и французской крови; здесь колодец, битком набитый трупами; здесь уничтожены полк Нассау и полк Брауншвейгский, убит Дюпла, убит Блэкман, искалечена английская гвардия, погублены двадцать французских батальонов из сорока, составлявших корпус Рейля, в одних только развалинах замка Гугомон изрублены саблями, искрошены, задушены, расстреляны, сожжены три тысячи человек, — и все это лишь для того, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог сказать путешественнику: «Сударь, дайте мне три франка, и, если хотите, я расскажу вам, как было дело при Ватерлоо!»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

18 июня 1815 года

Возвратимся назад — это право каждого повествователя — и перенесемся в 1815 год и даже несколько ранее того времени, с которого начинаются события, рассказанные в первой части этой книги.

Если бы в ночь с 17 на 18 июня 1815 года не шел дождь, то будущее Европы было бы иным. Несколько лишних капель воды сломили Наполеона. Чтобы Ватерлоо послужило концом Аустерлица, провидению оказался нужным лишь легкий дождь; достаточно было тучи, пронесшейся по небу, вопреки этому времени года, чтобы вызвать крушение целого мира.

Битва при Ватерлоо могла начаться лишь в половине двенадцатого, и это дало возможность Блюхеру прибыть во-время. Почему? Потому что почва размокла и необходимо было переждать, пока дороги обсохнут, чтобы подвезти артиллерию.

Наполеон был артиллерийским офицером, он и сам это чувствовал. Вся сущность этого изумительного полководца сказалась в одной фразе его доклада Директории по поводу Абукира: «Такое-то из наших ядер убило шесть человек». Все его военные планы были рассчитаны на артиллерию. Стянуть в назначенное место всю артиллерию — вот что было для него ключом победы. Стратегию вражеского генерала он рассматривал как крепость и пробивал в ней брешь. Слабые места подавлял картечью, завязывал сражения и разрешал исход их пушкой. Его гений — гений точного прицела. Рассекать каре, распылять полки, разрывать строй, уничтожать и рассеивать плотные колонны войск — вот его цель; разить, разить, разить непрестанно — и это дело он доверил ядру. Устрашающая система, которая в союзе с гениальностью за пятнадцать лет сделала непобедимым этого мрачного мастера ратного дела.

18 июня 1815 года он тем более рассчитывал на артиллерию, что численное ее превосходство было на его стороне. В распоряжении Веллингтона было всего лишь сто пятьдесят девять орудий, у Наполеона — двести сорок.

Представьте себе, что земля была бы суха, артиллерия подошла бы во-время и битва могла бы начаться

в шесть утра. Она была бы закончена к двум часам дня, то есть за три часа до прибытия пруссаков.

Велика ли доля вины Наполеона в том, что битва была проиграна? Можно ли обвинять в кораблекрушении кормчего?

Не осложнился ли явный упадок физических сил Наполеона в этот период упадком и его душевных сил? Не износились ли за двадцать лет войны клинок и ножны, не утомились ли его дух и тело? Не стал ли в полководце, как это ни прискорбно, брать верх уже отслуживший воин? Одним словом, не угасал ли уже тогда этот гений, как полагали многие видные историки? Не впадал ли он в неистовство лишь для того, чтобы скрыть от самого себя свое бессилие? Не начинал ли колебаться, в предчувствии неверного будущего, дуновение которого ощущал? Перестал ли — что так важно для главнокомандующего — сознавать опасность? Не существует ли и для этих великих людей реальности, для этих гигантов действия возраст, когда их гений становится близоруким? Над совершенными гениями старость не имеет власти; для Данте, для Микельанджело стареть — значило расти; неужели же для Аннибала и Наполеона это означало увядать? Не утратил ли Наполеон верного чутья победы? Не дошел ли он уже до того, что не распознавал подводных скал, не угадывал западни, не видел осыпающихся краев бездны? Не лишился ли он дара предвидения катастрофы? Неужели он, кому когда-то были ведомы все пути к славе и кто с высоты своей сверкающей колесницы перстом владыки указывал на них, теперь, в гибельном ослеплении, увлекал свои шумные, послушные легионы в бездну? Не овладело ли им в сорок шесть лет полное безумие? Не превратился ли этот подобный титану возникший судьбы просто в беспримерного сорви-голову?

Мы этого отнюдь не думаем.

Намеченный им план битвы был, по общему мнению, образцовым. Ударить в лоб союзным войскам, пробить брешь в рядах противника, разрезать неприятельское войско надвое, англичан оттеснить к Галю, пруссаков к Тонгру, разъединить Веллингтона с Блюхером, овладеть плато Мон-Сен-Жан, захватить Брюссель, сбросить немцев в Рейн, а англичан в море — вот что для Наполеона

представляла собой эта битва. Дальнейший образ действий подсказало бы будущее.

Мы, конечно, не собираемся излагать здесь историю Ватерлоо; одно из основных действий рассказываемой нами драмы связано с этой битвой, но история самой битвы не является предметом нашего повествования; к тому же она описана, и мастерски описана Наполеоном — с одной точки зрения, и целой плеядой историков¹ — с другой. Что же касается нас, то мы, предоставляя историкам спорить между собою, сами останемся лишь отдаленным зрителем, идущим по долине любознательным прохожим, который наклоняется над этой землей, удобренной трупами, и принимает, быть может, видимость за реальность. Мы не вправе пренебречь во имя науки совокупностью фактов, в которых, несомненно, есть нечто иллюзорное; мы не обладаем ни военным опытом, ни знанием стратегии, которые могли бы оправдать ту или иную систему воззрений. Мы полагаем лишь, что действия обоих полководцев в битве при Ватерлоо были подчинены сцеплению случайностей. И если дело идет о роке — этом загадочном обвиняемом, — то мы судим его, как судит народ — этот простодушный судия.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

А

Тем, кто желает ясно представить себе сражение при Ватерлоо, надо лишь вообразить лежащую на земле громадную букву А. Левая палочка этой буквы — дорога на Нивель, правая — дорога на Женап, поперечная черточка буквы А — проложенная в ложбине дорога из Оэна в Брен-л'Алле. Верхняя точка буквы А — Мон-Сен-Жан, там находился Веллингтон; левая нижняя точка — Гугомон, там стояли Рейль и Жером Бонапарт; правая нижняя точка — Бель-Альянс, там находился Наполеон. Немного ниже, — где поперечная черта пересекает правую палочку буквы А, расположен Ге-Сент. В центре поперечной черты

¹ Вальтер Скотт, Ламартин, Волабель, Шарас, Кинне, Тьер. (Прим. автора.)

находился пункт, где был решен исход сражения. Именно там позднее и водрузили льва — символ высокого героизма императорской гвардии.

Треугольник, заключенный в верхушке А, между двумя палочками и поперечной чертой, — это плато Мон-Сен-Жан. В борьбе за это плато и заключалось все сражение.

Фланги обеих армий тянулись вправо и влево от дорог на Женап и Нивель. Д'Эрлон стоял против Пиктона, а Рейль — против Гиля.

За вершиной буквы А, позади плато Мон-Сен-Жан, находится Суаньский лес.

Что же касается самой равнины, то вообразите себе обширное волнообразное пространство, где каждый последующий вал встает над предыдущим, а все вместе поднимаются к Мон-Сен-Жан, доходя до самого леса.

Два неприятельских войска на поле битвы — это два борца. Это схватка врукопашную. Один старается повалить другого. Цепляются за все: любой куст — опора, угол стены — защита; отсутствие самого жалкого домишки для прикрытия тыла заставляет иногда отступать целый полк. Впадина в долине, неровность почвы, вовремя пробежавшая наперерез тропинка, лесок, овраг — все может задержать шаг исполина, именуемого армией, и помешать его отступлению. Покинувший поле битвы — побежден. Вот откуда вытекает обязанность командующего тщательно всматриваться во всякую группу деревьев, проверять малейший холмик.

Оба полководца внимательно изучили равнину Мон-Сен-Жан, ныне именуемую равниной Ватерлоо. Еще за год до того Веллингтон ее исследовал с мудрой предусмотрительностью, на случай большого сражения. В этой местности и в этом бою лучшие условия оказались на стороне Веллингтона, худшие — на стороне Наполеона. Английская армия находилась наверху, а французская внизу.

Почти излишне изображать здесь Наполеона в утро 18 июня 1815 года, на коне, с подозрительной трубой в руках, на возвышенности Россом. Его облик и так всем давно известен. Этот спокойный профиль под маленькой форменной шапочкой Бриеннской школы, этот зеленый мундир, белые отвороты, скрывающие орденскую звезду,

редингот, скрывающий эполеты, кончик красной орденской ленты в вырезе жилета, лосины, белый конь под алым бархатным чепраком, по углам которого вышиты буквы N с короной и орлы, на шелковых чулках ботфорты для верховой езды, серебряные шпоры, шпага Маренго, — весь образ этого последнего Цезаря, превозносимого одними и осуждаемого другими, еще стоит у всех перед глазами.

Долгое время образ этот был окружен ореолом, что являлось следствием легендарного помрачения умов, вызываемого блеском славы многих героев и затмевающего на тот или иной срок истину; но в настоящее время вместе с историей наступает и прояснение.

Ясность истории неумолима. История таит в себе то странное и божественное свойство, что, будучи сама светом, и именно в силу того, что она свет, она бросает тень туда, где до этого видели сияние. Одного человека она превращает в два различных призрака, один нападает на другого, вершит над ним правосудие, и мрачные черты деспота сталкиваются с обаянием полководца. Это дает народам более правильное мерило при решающей оценке. Опозоренный Вавилон умаляет славу Александра, порабощенный Рим умаляет славу Цезаря, разрушенный Иерусалим умаляет славу Тита. Тирания переживает тирана. Горе тому, кто позади себя оставил мрак, воплощенный в своем образе.

ГЛАВА ПЯТАЯ

*Quid obscurum*¹ сражений

Всем хорошо известен первый этап этого сражения. Начало неустойчивое, неясное, нерешительное, угрожающее для обеих армий, но для англичан — в большей степени, чем для французов.

Всю ночь шел дождь. Земля была размыта ливнем. Там и сям в углублениях долины скопилась вода, словно в бассейнах; в некоторых местах вода заливала оси обозных повозок; с подпруг лошадей капала жидкая грязь.

¹ Нечто темное, неизвестное (лат.).

Если бы колосья пшеницы иржи, примятые беспорядочным потоком этихдвигающихся повозок, не заполнили выбоин и не образовали бы своего рода настил под колесами, то всякое движение, особенно в небольших долинах со стороны Папелота, оказалось бы невозможным.

Сражение началось поздно. Наполеон, как мы уже говорили, имел обыкновение сосредоточивать в своих руках всю артиллерию, целясь, словно из пистолета, то в одно, то в другое место поля битвы; и теперь он поджидал, когда батареи, поставленные на колеса, смогут быстро и свободно передвигаться; для этого необходимо было выглянуть солнцу и обсушить землю. Но солнце не выглянуло. Под Аустерлицем оно встретило его по-другому! Когда раздался первый пушечный залп, английский генерал Кольвиль, взглянув на часы, отметил, что было тридцать пять минут двенадцатого.

Нападение левого французского фланга на Гугомон, более ожесточенное, быть может, чем того желал сам император, открыло сражение. Одновременно Наполеон атаковал центр, бросив бригаду Кио на Ге-Сент, а Ней двинул правый французский фланг против левого английского, имевшего в своем тылу Папелот.

Атака на Гугомон была до некоторой степени ложной. Заманить туда Веллингтона и заставить его отклониться влево — таков был план Наполеона. План этот удался бы, если бы четыре роты английских гвардейцев и мужественные бельгийцы дивизии Перпонше не стояли так твердо на своих позициях, благодаря чему Веллингтон, вместо того чтобы стянуть туда основные силы своих войск, послал им для подкрепления всего лишь еще четыре роты английских гвардейцев и один брауншвейгский батальон.

Атака правого французского крыла на Папелот имела целью опрокинуть левое английское крыло, отрезать путь на Брюссель, загородить дорогу на случай появления пруссаков, захватить Мон-Сен-Жан, оттеснить Веллингтона к Гугомону, оттуда к Брен-л'Алле, оттуда к Галю, — ничего не могло быть яснее этого плана. За исключением некоторых несчастных случайностей, атака удалась. Папелот был отбит, Ге-Сент взят приступом.

Отметим следующую подробность. В английской пехоте, в частности в бригаде Кемпта, было много новобранцев. Эти молодые солдаты отважно сопротивлялись нашим грозным пехотинцам; отсутствие опыта восполняла неустрашимость; особенно блестяще проявили они себя как стрелки; солдат-стрелок, предоставленный отчасти собственной инициативе, является, так сказать, сам себе генералом; новобранцы выказали здесь чисто французскую сообразительность и боевой пыл. Новички пехотинцы сражались с воодушевлением. Это не понравилось Веллингтону.

После взятия Ге-Сента исход битвы стал сомнительным.

В этом дне от двенадцати до четырех часов есть темный промежуток; середина этой битвы почти неуловима и напоминает мрачный хаос рукопашной схватки. Вдруг наступают сумерки. В тумане виднеется какая-то зыбь, какое-то причудливое марево: части военного снаряжения того времени, ныне почти уже не встречающиеся, высокие меховые шапки, ташки кавалеристов, перекрещенные на груди ремни, сумки для гранат, доломаны гусар, красные сапоги с набором, тяжелые кивера, украшенные витым шнуром, почти черная пехота Брауншвейга, смешавшаяся с яркокрасной английской, у солдат которой вместо эполет были толстые белые валики вокруг проймы рукавов, легкая ганноверская кавалерия в удлиненных кожаных касках с медными полосками и султанами из рыжего конского волоса, шотландцы с голыми коленками и в клетчатых пледах, высокие белые гетры наших гренадер, — все это представляется рядом картин, но не рядами войск, построенных по правилам стратегии, и интересно для Сальватора Розы, но не для Грибоваля.

Во всякой битве всегда есть что-то общее с бурей. *Quid obscurum, quid divinum!*¹ Каждый историк изображает несколько поразивших его в этой схватке черт. Каким бы ни был расчет полководцев, при столкновении вооруженных масс неизбежны бесчисленные отступления от первоначального замысла; приведенные в действие планы обоих полководцев вклиниваются один в другой и

¹ Нечто темное, нечто божественное (лат.).

искажают друг друга. На поле боя вот это место пожирает большее количество сражающихся, чем вон то, как рыхлый грунт — здесь быстрее, а там медленнее — поглощает льющуюся на него воду. Это вынуждает бросать туда больше солдат, чем предполагалось. Вот издержки, которые нельзя предвидеть.

Линия расположения войск колыхается и извивается, словно нить; бесцельно проливаются потоки крови; фронт армий колеблется; выбывающие или прибывающие полки образуют в нем заливы или мысы; людские рифы непрерывно перемещаются, одни впереди других; там, где только что была пехота, появляется артиллерия; туда, где находилась артиллерия, примчалась кавалерия. Батальоны словно дымки: только сейчас здесь было что-то, теперь ищите — его уж нет. Просветы в рядах передвигаются; черные валы налетают и откатываются назад. Какой-то могильный ветер гонит, отбрасывает, вздувает и рассеивает эти трагические скопища людей. Что такое рукопашная схватка? — Колебание. Устойчивость математического плана выражает лишь минуту, а не целый день. Чтобы изобразить битву, нужен один из тех могучих художников, кисти которых был бы послушен хаос. Рембрандт напишет ее лучше Вандермелена, ибо Вандермелен, точный в полдень, лжет в три часа пополудни. Геометрия обманывает, только ураган правдив. Это-то и дает право Фолару противоречить Полибию. Добавим, что всегда наступает минута, когда битва словно мелькает, переходя в стычку, она дробится и распыляется на множество мелких фактов, которые, по выражению самого Наполеона, «относятся скорее к биографии полков, чем к истории армий». В таком случае историк имеет неоспоримое право на краткое общее изложение. Он может схватить лишь основные контуры борьбы, и ни одному повествователю, каким бы добросовестным он ни был, не дано запечатлеть полностью облик той грозной тучи, имя которой — битва.

Замечание это, справедливое по отношению ко всем великим вооруженным столкновениям, особенно применимо к Ватерлоо.

Но все же после полудня, в известный момент, исход битвы начал определяться.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Четыре часа пополудни

К четырем часам положение английской армии стало серьезным. Принц Оранский командовал центром, Гиль — правым крылом, Пиктон — левым. Смелый принц Оранский, вне себя, кричал бельгийцам и голландцам: «Нассау! Брауншвейг! Не смей отступать!» Уже слабевший Гиль стал под защиту Веллингтона, Пиктон был убит. В ту самую минуту, когда англичане захватили у французов знамя 105-го линейного полка, французы сразили пулей в голову навывлет генерала Пиктона. У Веллингтона в этой битве были две точки опоры: Гугомон и Ге-Сент: Гугомон еще держался, но весь пылал; Ге-Сент был взят. От защищавшего его немецкого батальона осталось в живых только сорок два человека; все офицеры, за исключением пяти, были убиты или захвачены в плен. Три тысячи сражающихся перебили друг друга на этом молотильном току. Сержант английской гвардии, лучший боксер своей страны, слывший среди товарищей непобедимым, был убит маленьким французским барабанщиком. Беринг был вынужден оставить свои позиции, Альтен зарублен. Множество знамен было потеряно, в том числе знамя дивизии Альтена и знамя Люнебургского батальона, которое нес принц из рода де Пон. Серых шотландцев не существовало более; могучие драгуны Понсонби были искрошены. Эту храбрую кавалерию смяли уланы Бро и кирасиры Траверса; от тысячи двухсот коней уцелело шестьсот; из трех полковников двое погибли. Гамильтон был ранен, Матер убит. Понсонби пал, пронзенный семью ударами копья, Гордон умер, Марх умер. Две дивизии — пятая и шестая — разгромлены.

Гугомон был обречен, Ге-Сент взят, — оставался еще один оплот, центр. Он держался непоколебимо. Веллингтон усилил его. Он туда вызвал Гиля, находившегося в Мерб-Брене, он туда вызвал Шассе, находившегося в Брен-л'Алле.

Центр английской армии, слегка вогнутый, очень плотный и мощный, был расположен на сильно укрепленной позиции. Он занимал плато Мон-Сен-Жан, имея в тылу деревню, а впереди — откос, в ту пору довольно крутой. Он опирался на массивное каменное здание, которое

в описываемую эпоху было государственным имуществом, принадлежавшим Нивелю, и отмечало пересечение дорог. Вся эта постройка шестнадцатого века была такая крепкая, что пушечные ядра отскакивали, не пробивая ее. Вокруг всего плато там и сям англичане поставили изгороди, сделали амбразуры в боярышнике, установили пушку между ветвей, в кустах устроили бойницы. Их артиллерия была помещена в засаде, в густом кустарнике. Этот вероломный прием, безусловно допускаемый войной, разрешающей западню, был так искусно осуществлен, что Гаксо, посланный в девять часов утра для разведки неприятельских батарей, ничего не заметил и, вернувшись, доложил Наполеону, что никаких препятствий нет, за исключением двух баррикад, преграждающих путь на Нивель и на Женап. В эту пору рожь уже начинала колоситься; на краю плато в высоких хлебах залег 95-й батальон бригады Кемпта, вооруженный карабинами.

Таким образом, центр англо-голландской армии, укрепленный и обеспеченный поддержкой, был в выгодном положении.

Уязвимое место этой позиции представлял Суаньский лес, смежный в то время с полем боя и перерезанный прудами Гренандаля и Буафора. Армия, отступая, должна была расколоться, полки — расстроиться, артиллерия — погибнуть в болотах. По мнению многих специалистов, правда, оспариваемому, отступление здесь явилось бы беспорядочным бегством.

Веллингтон присоединил к своему центру бригаду Шассе, снятую с правого крыла, бригаду Уинки, снятую с левого крыла, и, сверх того, дивизию Клинтона. Своим англичанам, бригаде Митчела, полкам Галкета и гвардии Метленда, он дал как прикрытие и фланговое подкрепление брауншвейгскую пехоту, нассауские части, ганноверцев Кильмансегге и немцев Омптеды. Благодаря этому у него под рукой оказалось двадцать шесть батальонов. Правое крыло, как говорит Шарас, было отведено за центр. Мощную батарею замаскировали мешками с землей в том месте, где ныне помещается так называемый «Музей Ватерлоо». Кроме того, в резерве у Веллингтона оставались укрытые в ложине тысяча четыреста гвардейских драгун Сомерсета. Это была другая половина

заслуженно прославленной английской кавалерии. Понсонби был уничтожен, зато оставался Сомерсет.

Батарея эта, которая представляла бы собой почти редут, будь она закончена, находилась за низкой садовой оградой, наскоро укрепленной мешками с песком и широким земляным откосом. Но работа над этим укреплением не была завершена; нехватило времени обнести его палисадом.

Веллингтон, встревоженный, но внешне бесстрашный, верхом на коне, не трогаясь с места, весь день простоял чуть впереди существующей и доныне старой мельницы Мон-Сен-Жан, под вязом, который впоследствии какой-то англичанин, вандал-энтузиаст, купил за двести франков, спилил и увез. Веллингтон сохранял героическое спокойствие. Вокруг сыпались ядра. Рядом с ним был убит адъютант Гордон. Лорд Гиль, указывая на разорвавшуюся вблизи гранату, спросил: «Милорд, каковы же ваши инструкции и какие распоряжения вы нам даете, раз вы сами ищете смерти?» — «Поступать так, как я», — ответил Веллингтон. Клинтону он коротко приказал: «Держаться до последнего человека». Было очевидно, что день кончится неудачей. «Можно ли думать об отступлении, ребята? Вспомните о старой Англии!» — кричал Веллингтон своим старым боевым товарищам по Талавере, Виттории и Саламанке.

Около четырех часов английские войска дрогнули и отошли назад. На гребне плато остались только артиллерия и стрелки, все другое вдруг исчезло; полки, преследуемые французскими гранатами и ядрами, отступили в глубину, туда, где и теперь еще пролегает тропинка для рабочих фермы Мон-Сен-Жан; произошло попятное движение, фронт английской армии скрылся, Веллингтон подался назад. «Начало отступления!» — воскликнул Наполеон.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Наполеон в духе

Император, хотя ему и нездоровилось и трудно было держаться в седле, никогда не был в таком великолепном расположении духа, как в этот день. С раннего утра он, обычно непроницаемый, улыбался. 18 июня 1815 года эта

глубокая, скрытая под мраморной маской душа беспричинно сияла. Человек, который был мрачен под Аустерлицем, в день Ватерлоо был весел. Самые высокие избранники судьбы часто поступают противно здравому смыслу. Наши земные радости призрачны. Последняя, блаженная наша улыбка принадлежит богу.

«*Ridet Caesar, Pompeius flebit*»¹, — говорили воины легиона *Fulminatrix*². На этот раз Помпею не суждено было плакать, но достоверно, что Цезарь смеялся.

Накануне, в час ночи, под грозой и дождем, объезжая с Бертраном холмы, смежные с Россомом, удовлетворенный видом длинной линии английских огней, озарявших весь горизонт от Фришмона до Брен-л'Алле, Наполеон не сомневался, что судьба его, которую в назначенный день он вызвал на поле сражения при Ватерлоо, придет в срок; он придержал коня и несколько минут стоял неподвижно, глядя на молнии, прислушиваясь к громам; и спутник его услышал, как этот фаталист бросил в ночь загадочные слова: «Мы заодно». Наполеон ошибался. Они уже не были больше заодно.

Ни на секунду он не сомкнул глаз, каждое мгновение этой ночи было отмечено для него радостью. Он объехал всю линию кавалерийских полевых постов, задерживаясь время от времени, чтобы поговорить с часовыми. В половине третьего ночи около Гугомонского леса он услышал шаг движущейся вражеской колонны; ему показалось, что это отступает Веллингтон. Он пробормотал: «Это снялся с позиций арьергард английских войск. Я захвачу в плен шесть тысяч англичан, которые только что прибыли в Остенде». Он говорил с жаром, он вновь обрел то одушевление, которое владело им 1 марта, во время высадки в бухте Жуан, когда, указывая маршалу Бертрану на восторженно встретившего его крестьянина, он воскликнул: «Ну что, Бертран, вот и подкрепление!» В ночь с 17 на 18 июня от трунил над Веллингтоном. «Этот маленький англичанин нуждается в уроке!» — говорил Наполеон. Дождь усиливался, и все время, пока император говорил, гремел гром.

¹ Смеется Цезарь, Помпей заплачет (лат.).

² Молниевержца (лат.).

В половине четвертого утра он лишился одной из своих иллюзий: посланные в разведку офицеры донесли, что в неприятельском лагере никакого движения не наблюдается. Все спокойно, ни один из бивуачных костров не погашен. Английская армия спала. На земле царил глухая тишина, гул стоял лишь в небесах. В четыре часа лазутчики привели к нему крестьянина, который был проводником у бригады английской кавалерии, по всей вероятности бригады Вивьена, отправившейся на позиции в деревню Оэн, в самом конце левого крыла. В пять часов два бельгийских дезертира донесли, что они сейчас бежали из своего полка и что английская армия ожидает боя. «Тем лучше! — воскликнул Наполеон. — Мне гораздо больше по душе разбитые полки, чем отступающие».

Утром, на откосе, там, где дорога поворачивает на Плансенуа, спешившись прямо в грязь, он приказал доставить себе с россомской фермы кухонный стол и простой стул, уселся, с охалкой соломы под ногами вместо ковра, и, развернув на столе карту, сказал Сульту: «Вот забавная шахматная доска!»

Вследствие ночного дождя обоз с продовольствием, увязший в размытых дорогах, не мог прибыть к утру, солдаты не спали, промокли и были голодны, однако это не помешало Наполеону весело крикнуть Нею: «У нас девяносто шансов из ста». В восемь часов императору принесли завтрак. Он пригласил нескольких генералов. Во время завтрака кто-то рассказал, что третьего дня Веллингтон был в Брюсселе на балу у герцогини Ричмонд, и Сульт, этот суровый воин, лицом похожий на архиепископа, заметил: «Настоящий бал — сегодня». Император подсмеивался над Неем, который сказал ему: «Веллингтон не до такой степени прост, чтобы дожидаться вашего величества». Впрочем, то была манера Наполеона. «Он охотно шутил», — говорит о нем Флери де Шабулон. «В сущности у него был веселый нрав», — говорит Гурго. «Он так и сыпал шутками, скорее своеобразными, нежели остроумными», — говорит Бенжамен Констан. Эти шутки исполнина стоят того, чтобы на них остановиться. Это он называл своих гренадер «ворчунами»; он щипал их за уши, дергал за усы. «Император только и делал, что шутки шутил над нами», — вот фраза одного из них. Во

время тайного переезда с острова Эльбы во Францию, 27 февраля, военный французский бриг «Зефир», встретив в открытом море бриг «Неверный», на котором скрывался Наполеон, спросил, как чувствует себя император? Наполеон, все еще сохранявший на своей шляпе белую с красным кокарду, усеянную пчелами, которую он стал носить на острове Эльба, смеясь, схватил рупор и сам ответил: «Император чувствует себя отлично». Кто способен на подобную шутку, тот запанибрата с судьбой. Во время завтрака под Ватерлоо Наполеоном несколько раз овладевал приступ смеха. Позавтракав, он с четверть часа предавался размышлениям, а затем два генерала уселись на соломенную подстилку, вооружившись перьями и положив лист бумаги на колени, и Наполеон продиктовал им план сражения.

В девять часов, в ту минуту, когда французская армия, построенная пятью колоннами, развернулась и двинулась вперед, сохраняя боевой порядок в две линии, с артиллерией между бригадами, с играющим походный марш оркестром во главе, барабанной дробью, звучаньем сигнальных труб, могучая, огромная, ликующая, — император, взволнованный видом этого моря касок, сабель и штыков, заколыхавшихся на горизонте, дважды воскликнул: «Великолепно! Великолепно!»

С девяти часов и до половины одиннадцатого вся армия, что может показаться невероятным, успела занять позиции и выстроилась в шесть линий, образуя, по выражению самого императора, «фигуру шести римских цифр V». Несколько мгновений спустя после приведения фронта войск в боевой порядок, среди глубокого предгрозового затишья, этого предвестника большого сражения, видя, как проходят три батареи из двенадцатифунтовых орудий, отведенные по его приказу от трех корпусов — д'Эрлона, Рейля и Лобо и предназначенные открыть бой, ударив на Мон-Сен-Жан в том месте, где пересекались дороги на Нивель и Женап, император, ударив по плечу Гаксо, сказал: «Вот двадцать четыре прелестных девушки, генерал».

Не сомневаясь в исходе сражения, он подбодрял улыбкой проходивших мимо него сапер первого корпуса, которые должны были окопаться в Мон-Сен-Жан, как только деревня будет взята. Вся эта безмятежность была только

один раз нарушена высокомерными словами сожаления: заметив влево от себя, в том месте, где ныне возвышается большой могильный курган, этих изумительных, строящихся сомкнутой колонной серых шотландцев на великолепных лошадях, он промолвил: «Как жаль».

Затем, вскочив на коня, он направился к Россому и выбрал себе наблюдательным пунктом узкий гребень поросшего травой холмика, вправо от дороги из Женапа в Брюссель; это была вторая его стоянка за время битвы. Третья, — в семь часов вечера, — между Бель-Альянс и Ге-Сент была очень опасна; это довольно высокий пригорок, существующий еще и теперь; позади него, в ложбине, расположилась гвардия. Вокруг пригорка ядра, падая на мощенную камнем дорогу, отскакивали рикошетом к ногам Наполеона. Как и при Бриенне, над его головой свистели пули и картечь. Впоследствии, почти на том самом месте, где стоял его конь, нашли словно источенные червями ядра, старые сабельные клинки и исковерканные гранаты, изъеденные ржавчиной — *scabra rubigine*. Несколько лет тому назад здесь откопали невзорвавшийся шестидесятисантиметровый снаряд, запальная трубка которого была сломана у своего основания. Именно на этой последней остановке император сказал проводнику Лакосту, враждебно настроенному, испуганному и привязанному к седлу гусара крестьянину, который вертелся при каждом залпе картечи, стараясь спрятаться за спиной всадника: «Дурачина, как тебе не стыдно? Ведь ты получишь пулю в спину». Пишущий эти строки, разрывая песок, нашел сам в сыпучем грунте откоса остатки горлышка бомбы, изъязвленные сорокашестилетней ржавчиной, и старые обломки железа, ломавшиеся между пальцами, как веточки бузины.

Теперь холмистых неровностей долины, где состоялась встреча Наполеона и Веллингтона, уже не существует, но всем известно, каковы они были 18 июня 1815 года. Взяв у этого мрачного поля материал для возведения ему памятника, его тем самым лишили характерного рельефа, и приведенная в замешательство история не могла в нем более разобраться. Чтобы прославить это поле, его обезобразили. Два года спустя Веллингтон, увидев поле Ватерлоо, воскликнул: «Мне подменили мое поле боя». Там, где ныне высится огромная земляная

пирамида, увенчанная фигурой льва, тогда тянулись холмы, переходившие в отлогий откос по направлению к нивельской дороге, но почти отвесный со стороны женапской дороги. Высоту его можно определить и теперь еще по высоте двух холмов, двух огромных могильных курганов, стоящих по обе стороны дороги из Женапа в Брюссель; слева могила англичан, справа — немцев. Могила французов нет вовсе. Для Франции вся эта равнина — усыпальница. Благодаря тысячам и тысячам возов земли, употребленной для насыпи, высотой в сто пятьдесят футов и около полумили в окружности, взобраться по отлогому откосу на плато Мон-Сен-Жан сейчас нетрудно, а в день битвы подступ к нему, особенно со стороны Ге-Сента, был крут и неровен. Склон его в этом месте был так обрывист, что английские пушки не видели фермы, расположенной внизу, в глубине долины, и являвшейся средоточием битвы. К тому же 18 июня 1815 года ливни так сильно изрыли эту крутизну, грязь так затрудняла подъем, что взбираться на нее означало тонуть в грязи. Вдоль гребня плато тянулось нечто вроде рва, о существовании которого издали нельзя было и подозревать.

Что же это был за ров? Поясим. Брен-л'Алле — одна бельгийская деревня. Оэн — другая. Обе деревушки, скрытые в глубоких извилинах местности, соединены дорогой длиной мили в полторы, которая пересекает волнообразную поверхность равнины и часто, словно борозда, прорезает холмы, вследствие чего во многих местах превращается в овраг. В 1815 году дорога, как и теперь, перерезала гребень плато Мон-Сен-Жан между женапским и нивельским шоссе; сейчас она в этом месте на одном уровне с долиной, а в ту пору пролегалла глубоко внизу. Оба ее откоса были скрыты, и земля оттуда пошла на возвышение для памятника. На большей части протяжения эта дорога, как и когда-то, представляет собою траншею, доходящую порой до двенадцати футов глубины; слишком крутые откосы ее местами оползали, особенно зимой, во время проливных дождей. Иногда там происходили несчастные случаи. При въезде в Брен-л'Алле дорога так узка, что однажды какой-то прохожий был там раздавлен проезжавшей телегой, о чем напоминает каменный крест на погосте, с указанием имени погибшего: «Господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя», и даты его

гибели: «февраль 1637»¹. Дорога настолько глубоко прорезала плато Мон-Сен-Жан, что в 1783 году там погиб под обвалившимся откосом крестьянин Матье Никез, о чем свидетельствует второй каменный крест, верхушка которого исчезла в распаханной земле, но опрокинутое подножье можно и сейчас различить на скате, поросшем травой, с левой стороны дороги между Ге-Сент и фермой Мон-Сен-Жан.

В день битвы эта дорога, на присутствие которой тогда ничего не указывало, идущая вдоль гребня Мон-Сен-Жан и напоминающая ров на вершине крутого откоса или глубокоую колею, скрытую среди пашен, была невидима, — иначе говоря, страшно опасна.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Император задает вопрос проводнику Лакосту

Итак, утром в день Ватерлоо Наполеон был доволен. Он имел для этого все основания: разработанный им план сражения, как мы уже отмечали, был действительно великолепен.

И вот сражение началось; однако все его разнообразнейшие перипетии — упорное сопротивление Гугомона и Ге-Сента; гибель Бодюэна; Фуа, выбывший из строя; непредвиденное препятствие в виде стены, о которую разбилась бригада Суа; роковое легкомыслие Гильемино, не запасшегося ни петардами, ни пороховницами; увязшие в грязи батареи; пятнадцать орудий без прикрытия, сброшенные Угсбриджем на пролегающую внизу дорогу; слишком слабое действие бомб, которые, попадая в место расположения англичан, зарывались в размытую ливнем землю, вздымая грязевые вулканы и превращая картечь

¹ Вот эта надпись:

«Превеликий, преблагый господь бог с тобою.

Здесь волей несчастного случая

был раздавлен

телегой

господин Бернар

Дебри, торговец

из Брюсселя (неразборчиво)

февраля 1637».

в брызги грязи; бесполезный маневр Пирэ при Брен-л'Алле, почти полностью уничтоженные пятнадцать эскадронов его кавалерии; сорвавшаяся атака против правого английского крыла, неудавшийся прорыв левого; странная ошибка Нея, сосредоточившего в одной колонне четыре дивизии первого корпуса, вместо того чтобы построить их эшелонами, уплотненность их двадцати семи рядов по двести человек каждый, обреченных в тесном строю стоять под огнем картечи, страшные бреши, произведенные ядрами в этих плотных рядах; разъединение штурмовых колонн; внезапная демаскировка фланговой, расположенной наискосок, батареи; замешательство Буржуа, Донзело, Дюрюта; отброшенный назад Кио; ранение лейтенанта Вье — этого геркулеса, воспитанника Политехнической школы — как раз в тот момент, когда он, под навесным огнем с баррикады противника, преграждавшей дорогу из Женапа на повороте ее к Брюсселю, ударами топора взламывал ворота Ге-Сента; дивизия Марконье, зажатая между пехотой и кавалерией, в упор расстрелянная во ржи Бестом и Пакком и изрубленная Понсонби, заклепанные семь орудий его батареи; принц Саксен-Веймарский, взявший и, несмотря на усилия графа д'Эрлона, удерживавший Фришмон и Смоэн; захваченные знамена 105-го и 45-го полков; тревожное сообщение черного гусара-пруссака, пойманного разведчиками летучей колонны из трехсот стрелков, разъезжавших между Вавром и Плансенуа; опоздание Груши; тысяча пятьсот человек, убитых в гугомонском фруктовом саду менее чем за час; тысяча восемьсот человек, павших в еще более короткий срок вокруг Ге-Сента, — все эти бурные события, словно грозовые облака, пронесившиеся перед Наполеоном в урагане сражения, почти не затуманили его взор и несколько не омрачили царственно-спокойное чело. Наполеон привык глядеть войне прямо в глаза. Он никогда не занимался сложением, цифра за цифрой, прискорбных подробностей; цифры слагаемых были ему безразличны, лишь бы они составили нужную ему сумму — победу. Пусть неудачным оказалось начало, это его несколько не тревожило, ибо он мнил себя господином и владыкой исхода битвы; он умел, не теряя веры в свои силы, выжидать и стоял перед судьбой, как равный перед равным. «Ты не посмеешь!» — казалось, говорил он року.

Представляя собою сочетание света и тьмы, Наполеон, творя добро, чувствовал покровительство высшей силы, а творя зло — ее терпимость к себе. Он имел — или верил в то, что имеет, — на своей стороне потворство, можно почти сказать сообщничество обстоятельств, равноценное древней неуязвимости.

Однако тому, у кого были позади Березина, Лейпциг и Фонтенебло, казалось, не надлежало бы доверять Ватерлоо. Уже зловеще хмурилось небо над его головой.

В тот момент когда Веллингтон двинул войска назад, Наполеон вздрогнул. Он вдруг заметил, что плато Мон-Сен-Жан как бы облысело и что фронт английской армии исчезает. Стягиваясь, она скрывалась. Император привстал на стременах. Победа молнией сверкнула перед его глазами.

Загнать Веллингтона в Суаньский лес и там разгромить — вот что было бы окончательной победой французов над англичанами. Это явилось бы мщением за Креси, Пуатье, Мальплаке, Рамильи. Победитель при Маренго зачеркивал Азенкур.

Тогда император, обдумывая эту грозную развязку, в последний раз оглядел в подзорную трубку все поле битвы. Его гвардия, стоя позади него с ружьями к ноге, взирала на него снизу вверх с каким-то благоговением. Он размышлял; он изучал откосы, отмечал склоны, внимательно вглядывался в группы деревьев, в квадраты ржи, тропинки; казалось, он считал каждый куст. Особенно пристально он всматривался в английские баррикады на обеих дорогах, в эти широкие засеки из сваленных деревьев — одну на женапской, повыше Ге-Сента, снабженную двумя пушками, единственными во всей английской артиллерии, которые могли простреливать насквозь все поле битвы, и другую — на нивельской дороге, где поблескивали штыки голландской бригады Шассе. Около этой баррикады Наполеон заметил старую, выкрашенную в белый цвет часовню святого Николая, что на повороте дороги в Брен-л'Алле. Наклонившись, он о чем-то вполголоса спросил проводника Лакоста. Тот отрицательно покачал головой, по всей вероятности тая коварный умысел.

Император выпрямился и задумался.
Веллингтон отступил.

Это отступление оставалось лишь довершить полным разгромом.

Внезапно обернувшись, Наполеон спешно отправил в Париж нарочного с эстафетой, извещавшей, что битва выиграна.

Наполеон был одним из гениев-громовержцев.

И вот теперь молния ударила в него самого.

Он отдал приказ кирасирам Мило взять плато Мон-Сен-Жан.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Неожиданность

Их было три тысячи пятьсот человек. Они растянулись по фронту на четверть мили. Это были люди-гиганты на конях-исполинах. Их было двадцать шесть эскадронов, а в тылу за ними, как подкрепление, стояли: дивизия Лефевра-Денуэта, сто шесть отборных кавалеристов, гвардейские егеря — тысяча сто девяносто семь человек, и гвардейские уланы — восемьсот восемьдесят пик. У них были каски без султанов и кованые кирасы, седельные пистолеты в кобурах и кавалерийские сабли. Утром вся армия любовалась ими, когда они в девять часов, под звуки рожков и гром оркестров, игравших «Будем на страже», появились сомкнутой колонной, с одной батареей во фланге, с другой в центре и, развернувшись в две шеренги между женапским шоссе и Фришмоном, заняли свое боевое место в той могучей, столь искусно задуманной Наполеоном второй линии, которая, сосредоточив на левом своем конце кирасир Келлермана, а на правом — кирасир Мило, обладала, так сказать, двумя железными крылами.

Адъютант Бернар передал им приказ императора. Ней обнажил шпагу и стал во главе их. Громадные эскадроны тронулись.

Тогда представилось грозное зрелище.

Вся эта кавалерия, с саблями наголо, с развевающимися по ветру штандартами, с поднятыми вверх трубами, сформированная в колонны по дивизионам, единым духом, как один человек, с точностью бронзового тарана, пробивающего брешь, спустилась по холму Бель-Альянс, ринулась в роковую глубь, поглотившую уже стольких

людей, скрылась там в дыму, потом, вырвавшись из этого мрака, появилась на противоположной стороне долины, такая же сомкнутая и плотная, и стала подниматься крупной рысью, сквозь облако сыпавшейся на нее картечи, по страшному, покрытому грязью склону плато Мон-Сен-Жан. Они поднимались, сосредоточенные, грозные, непоколебимые; в промежутках между ружейными залпами и артиллерийским обстрелом слышался тяжелый топот. Состоя из двух дивизий, они двигались двумя колоннами: дивизия Ватье — справа, дивизия Делора — слева. Издали казалось, будто на гребень плато вползают два громадных стальных ужа. Они возникли в битве словно некое чудо.

Ничего подобного не было видано со времени взятия тяжелой кавалерией большого московского редута. Недоставало Мюрата, но Ней был тут. Казалось, что вся эта масса людей превратилась в сказочного дива и обрела единую душу. Эскадроны, видневшиеся сквозь разорванное местами огромное облако дыма, извивались и вздувались, как кольца полипа. Среди пушечных залпов и звуков фанфар — хаос касок, криков, сабель, резкие движения лошадиных крупов, страшная и вместе с тем послушная воинской дисциплине сумятица. А над всем этим — кирасы, как чешуя гидры.

Можно подумать, что описываемое зрелище принадлежит иным векам. Нечто подобное этому видению являлось, вероятно, в древних орфических эпopeях, повествовавших о полулюдях-полуконях, об античных гипантропах, этих титанах с человеческими головами и лошадиным туловищем, которые вскачь взбирались на Олимп, страшные, неуязвимые, великолепные; боги и звери одновременно.

Странное совпадение чисел: двадцать шесть батальонов готовились к встрече этих двадцати шести эскадронов. За гребнем плато, в тени скрытой батареи, английская пехота, построенная в тринадцать каре, по два батальона в каждом, и в две линии: семь каре на первой, шесть — на второй, взяв ружья наизготовку и целясь в то, что должно было перед ней появиться, ожидала спокойная, безмолвная, неподвижная. Она не видела кирасир, кирасиры не видели ее. Она прислушивалась к нараставшему приливу этого моря людей. Она все яснее различала топот трех тысяч лошадей, бежавших крупной рысью, попеременный и мерный стук их копыт,

бряцанье сабель, звяканье кирас и какое-то могучее, яростное дыхание. Наступила грозная тишина, потом внезапно над гребнем возник длинный ряд поднятых рук, потрясающих саблями, каски, трубы, штандарты и три тысячи седоусых голов, кричавших: «Да здравствует император!» Вся эта кавалерия обрушилась на плато. Это походило на начинающееся землетрясение.

Вдруг — о ужас! — налево от англичан, направо от нас, среди раздавшегося страшного вопля, кони кирасир, мчавшиеся во главе колонны, встали на дыбы. Очутившись на самом гребне плато, кирасиры, отдавшиеся необузданной ярости и готовые к смертоносной атаке на неприятельские каре и батареи, внезапно увидели между собой и англичанами провал, пропасть. То была пролежавшая в ложбине дорога на Оэн.

Мгновение это было ужасно. Перед ними, неподвиженный, круто обрываясь вниз под самыми копытами лошадей, меж двух своих откосов зиял овраг глубиной в две туазы. Второй ряд конницы столкнул туда передний, а третий столкнул туда второй; кони взвивались на дыбы, откидывались назад, падали на круп, скользили по откосу ногами вверх, сбрасывали и подминали под себя всадников. Отступить не было никакой возможности, вся колонна словно превратилась в метательный снаряд; сила, собранная для того, чтобы раздавить англичан, раздавила самих французов. Преодолеть неумолимый овраг можно было, лишь набив его доверху; всадники и кони, смешавшись, скатывались вниз, давя друг друга, образуя в этой пропасти сплошное месиво тел, и только когда овраг наполнился живыми людьми, то, ступая по ним, перешли все уцелевшие. Почти треть бригады Дюбуа погибла в этой пропасти.

Это было началом проигрыша сражения.

Местное предание, которое, вероятно, преувеличивает потери, гласит, что на этой оэнской дороге нашли себе могилу две тысячи коней и полторы тысячи всадников. Цифры эти включают, повидимому, и все прочие трупы, сброшенные в овраг на следующий день.

Заметим мимоходом, что это была та самая, так жестоко пострадавшая бригада Дюбуа, которая за час перед тем, самостоятельно атакуя Люнебургский батальон, захватила его знамя.

Наполеон, прежде чем отдать кирасирам Мило приказ идти в атаку, тщательно исследовал местность, но дорогу в ложбине, ничем не выдававшую себя на поверхности плато, он увидеть не мог. Однако, предупрежденный видом маленькой белой часовни на пересечении этой дороги с нивельским шоссе, он насторожился и спросил проводника Лакоста о возможности какого-либо препятствия. Проводник отрицательно покачал головой. Можно почти с уверенностью сказать, что безмолвный ответ этого крестьянина породил катастрофу Наполеона.

Суждено было последовать и другим роковым обстоятельствам.

Мог ли Наполеон выиграть это сражение? Мы отвечаем: нет. Почему? Был ли тому помехой Веллингтон? Блюхер? Нет. Помехой тому был бог.

Победа Бонапарта при Ватерлоо не входила больше в расчеты девятнадцатого века. Подготавливался другой ряд событий, где Наполеону уже не было места. Немилость рока давала о себе знать задолго до того.

Пробил час падения этого необыкновенного человека.

Чрезмерный вес его в судьбе народов нарушал общее равновесие. Его личность сама по себе значила больше, чем все человечество в целом. Этот избыток жизненной силы человечества, сосредоточенной в одной голове, целый мир, представленный, в конечном итоге, мозгом одного человека, стали бы губительны для цивилизации, если бы такое положение продолжалось. Наступила минута, когда высшая, неподкупная справедливость должна была обратить на это свой взор. Возможно, к этой справедливости вопияли те правила и те основы, которым подчинены постоянные силы тяготения как в нравственном, так и в материальном порядке вещей. Дымящаяся кровь, переполненные кладбища, материнские слезы — все это грозные обвинители. Когда мир страждет от чрезмерного бремени, мрак испускает таинственные стенания, и бездна внемлет им.

На императора вознеслась жалоба небесам, и падение его было предрешено.

Он мешал богу.

Ватерлоо отнюдь не битва. Это изменение облика всей вселенной.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Плато Мон-Сен-Жан

Почти в то же самое мгновение, когда обнаружился овраг, обнаружилась и батарея.

Шестьдесят пушек и тринадцать каре открыли огонь в упор по кирасирам. Неустрашимый генерал Делор отдал военный салют английской батарее.

Вся английская конная артиллерия галопом вернулась к своим каре. Кирасиры не остановились ни на мгновение. Катастрофа во рву сократила их ряды, но не лишила мужества. Они были из тех людей, доблесть коих возрастает с уменьшением их численности.

Колонна Ватье одна пострадала от бедствия. Колонна Делора, которой Ней, будто предчувствуя западню, приказал итти стороной, влево, пришла в целости.

Кирасиры ринулись на английские каре.

Они неслись во весь опор, отпустив поводья, с саблями в зубах, с пистолетами в руках, — такова была эта атака.

В сражениях бывают минуты, когда душа человека до того ожесточается, что превращает солдата в статую, и тогда вся эта масса плоти становится гранитом. Английские батальоны не дрогнули перед отчаянным натиском.

Тогда наступило нечто страшное.

Весь фронт английских каре был атакован сразу. Неистовый вихрь налетел на них. Но эта стойкая пехота оставалась непоколебимой. Первый ряд, опустившись на колено, встречал кирасир в штыки, второй расстреливал их; за вторым рядом канониры заряжали пушки; фронт каре разверзлся, пропуская шквал картечного огня, и смыкался вновь. Кирасиры отвечали на это новой атакой. Огромные кони вздымались на дыбы, перескакивали через ряды каре, перепрыгивали через штыки и падали, подобные гигантам, среди этих четырех живых стен. Ядра пробивали бреши в рядах кирасир, а кирасиры пробивали бреши в каре. Целые шеренги солдат исчезали, раздавленные лошадьми. Штыки вонзались в брюхо кентавров. Вот причина тех уродливых ран, которых, быть может, никогда не видали при других битвах. Каре, как бы прогрызаемые этой бешеной кавалерией, стягивались, но не

подавались. Их запасы картечи были неистощимы, и взрыв следовал за взрывом среди самой массы штурмующих. Чудовищна была картина этого боя! Каре были уже не батальоны, а кратеры; кирасиры — не кавалерия, а ураган. Каждое каре превратилось в вулкан, атакованный тучей; лава боролась с молнией.

Крайнее каре справа, лишенное защиты с двух сторон и подвергавшееся наибольшей опасности, было почти полностью уничтожено при первом же столкновении. Оно состояло из 75-го полка шотландских горцев. В то время как вокруг шла резня, в центре атакуемых волынщик, сидевший на барабане, в глубоком спокойствии опустил меланхолический взор, полный отражений родных озер и лесов, играл песни горцев. Шотландцы умирали с мыслью о Бен Лотиане, подобно грекам, вспоминая об Аргосе. Сабля кирасира, отсекая волынку вместе с державшей ее рукой, заставила смолкнуть песню, убив певца.

Кирасирам, сравнительно немногочисленным, к тому же понесшим потери при катастрофе в овраге, противостояла чуть ли не вся английская армия, но они словно умножились, ибо каждый из них стоил десяти. Между тем несколько ганноверских батальонов отступило. Веллингтон заметил это и вспомнил о своей кавалерии. Если бы Наполеон в этот же момент вспомнил о своей пехоте, он выиграл бы сражение. То, что он забыл о ней, было его великой, роковой ошибкой.

Атакующие внезапно превратились в атакуемых. В тылу у кирасир оказалась английская кавалерия. Впереди — каре, позади — Сомерсет; Сомерсет означал тысячу четырехста гвардейских драгун. У Сомерсета по правую руку был Дорнберг с немецкой легкой кавалерией, по левую — Трип с бельгийскими карабинерами; кирасиры, атакуемые с фланга и с фронта, спереди и с тыла пехотой и кавалерией, должны были отбиваться во все стороны. Но не все ли равно им было? Они стали вихрем. Их доблесть перешла границы возможного.

Кроме того, в тылу у них непрерывно гремела батарея. Только при таком условии эти люди могли быть ранены в спину. Одна из их кирас, пробитая у левой лопатки, находится в коллекции музея Ватерлоо.

Против таких французов могли устоять только такие же англичане.

То была уже не сеча, а мрак, неистовство, головокружительный порыв душ и доблестей, ураган сабельных молний. В одно мгновение из тысячи четырехсот драгун осталось лишь восемьсот; их командир, подполковник Фуллер, пал мертвым. Ней подоспел с уланами и егерями Лефевра-Денуэта. Плато Мон-Сен-Жан было взято, отбито и взято вновь. Кирасиры оставляли кавалерию, чтобы снова обрушиться на пехоту, — вернее говоря, в этой ужасающей давке люди сошлись грудь с грудью, схватились врукопашную. Каре продолжали держаться.

Они выдержали двенадцать атак. Под Неем было убито четыре лошади. Половина кирасир полегла на плато. Битва длилась два часа.

Войска англичан были сильно потрепаны. Без сомнения, не будь кирасиры ослаблены при первой же своей атаке катастрофой на дороге в ложбине, они опрокинули бы центр и одержали бы победу. Эта необыкновенная кавалерия поразила Клинтона, видевшего Талаверу и Бадахос. Веллингтон, на три четверти побежденный, героически отдавал им должное, повторяя вполголоса: «Великолепно!»¹

Кирасиры уничтожили семь каре из тринадцати, захватили или заклепали шестьдесят пушек и отняли у англичан шесть знамен, которые были отнесены императору, к ферме Бель-Альянс, тремя кирасирами и тремя гвардейскими егерями.

Положение Веллингтона ухудшилось. Это страшное сражение было похоже на поединок между двумя остервенелыми ранеными бойцами, когда оба они, продолжая нападать и отбиваться, истекают кровью. Кто падет первым?

Борьба на плато продолжалась.

Докуда дошли кирасиры? Никто не мог бы определить этого. Достоверно лишь одно: на следующий день после сражения, в том месте, где перекрещиваются четыре дороги — на Нивель, Женап, Ла-Гюльп и Брюссель, на площадке монсенжанских весов для взвешивания повозок

¹ Splendid! — подлинное его выражение. (Прим. автора.)

были найдены трупы кирасира и его коня. Этот всадник пробился сквозь английские линии. Один из людей, поднявших труп, до сих пор проживает в Мон-Сен-Жане. Его зовут Дегаз. Тогда ему было восемнадцать лет.

Веллингтон чувствовал, что почва ускользает из-под его ног. Развязка приближалась.

Кирасиры не достигли желаемой цели в том смысле, что не прорвали центра. Так как плато принадлежало и тем и другим, то оно не принадлежало никому, однако большая часть его оставалась в конечном счете за англичанами. Веллингтон удерживал деревню и верхнюю часть плато. Ней держал только гребень и склон. Обе стороны словно пустили корни в эту могильную землю.

Но поражение англичан казалось неизбежным: армия ужасающим образом истекала кровью. Кемпт на левом крыле требовал подкреплений. «Их нет, — отвечал Веллингтон, — пусть даст себя убить!» Почти в ту же самую минуту — и это странное совпадение свидетельствует об истощении обеих армий — Ней требовал у Наполеона пехоты, и Наполеон восклицал: «Пехоты! А где я ее возьму? Сотворить мне ее, что ли!»

Однако английская армия была более истощена. Яростные броски этих исполинских эскадронов в кованых кирасах со стальными нагрудниками смяли пехоту. Лишь по кучке солдат, окружавших знамя, можно было судить о том, что здесь был полк; иными батальонами командовали теперь только капитаны или лейтенанты; дивизия Альтена, уже сильно пострадавшая при Ге-Сенте, была почти истреблена; неустрашимые бельгийцы из бригады Ван-Клузе устилали своими трупами ржаное поле вдоль нивельской дороги. Не оставалось почти ни единого человека от тех голландских гренадер, которые в 1811 году в одних рядах с французами сражались с Веллингтоном в Испании, а в 1815 году, примкнув к англичанам, сражались с Наполеоном. Потери среди командиров были очень значительны. У лорда Угсбриджа, который на другой день велел похоронить свою отрезанную ногу, было раздроблено колено. Если у французов во время атаки кирасир были из строя Делор, Леритье, Кольбер, Дноп, Траверс и Бланкар, то у англичан Альтен был ранен, Барн ранен,

Делансе убит, Ван-Меерен убит, Омштеда убит, генеральный штаб Веллингтона опустошен, и на долю Англии выпала горшая участь в этом кровавом равновесии. 2-й полк гвардейской пехоты лишился пяти подполковников, четырех капитанов и трех прапорщиков; первый батальон 30-го пехотного полка потерял двадцать четыре офицера и сто двенадцать солдат; у 79-го полка горцев было ранено двадцать четыре офицера, убито восемнадцать офицеров, уничтожено четыреста пятьдесят рядовых. Целый полк ганноверских гусар Камберленда, с полковником Гаке во главе, — его впоследствии судили и разжаловали, — повернул вспять, испугавшись рукопашной схватки, и бежал Суаньским лесом, сея смятение до самого Брюсселя. Увидев, что французы продвинулись вперед и приближаются к лесу, фурштат, фуражные повозки, обозы, фургоны, переполненные ранеными, тоже ринулись назад; голландцы под саблями французской кавалерии вопили: «Спасите!» От Вер-Куку до Гренандаля, на протяжении почти двух миль в направлении Брюсселя, вся местность, по свидетельству очевидцев, которые живы еще и теперь, была запружена беглецами. Паника была так сильна, что докатилась до принца Конде в Мехельне и Людовика XVIII — в Генте. За исключением слабого резерва, построенного эшелонами позади лазарета на ферме Мон-Сен-Жан, и бригад Вивиана и Ванделера, прикрывавших левый фланг, у Веллингтона кавалерии больше не было. Целые батареи валялись на земле, сбитые с лафетов.

Эти факты подтверждены Сиборном, а Прингль, преувеличивая бедствие, говорит даже, будто численность англо-голландской армии была сведена к тридцати четырем тысячам человек. Железный герцог оставался невозмутимым, однако губы его побледнели. Австрийский кriegс-комиссар Винцент, испанский кriegс-комиссар Алава, присутствовавшие при сражении в английском генеральном штабе, считали герцога погибшим. В пять часов Веллингтон вынул часы, и окружающие услышали, как он прошептал мрачные слова: «Блюхер или ночь!»

Именно в эту минуту и сверкнул ряд штыков вдалеке на высотах, в стороне Фришмона.

И тут наступил перелом в этой исполинской драме.

Трагическое заблуждение Наполеона всем известно; он ждал Груши, а явился Блюхер — смерть вместо жизни.

Судьба порой делает такие крутые повороты: человек рассчитывал на мировой трон, а перед ним возникает остров св. Елены.

Если бы пастушок, служивший проводником Бюлову, генерал-лейтенанту при Блюхере, посоветовал ему выйти из лесу повыше Фришмона, а не ниже Плансенуа, быть может, судьба девятнадцатого века была бы иной. Наполеон выиграл бы сражение при Ватерлоо. Следуя любым иным путем, кроме пролегающего ниже Плансенуа, прусская армия встретила бы непроходимый для артиллерии овраг, и Бюлов не подоспел бы во-время.

Между тем один лишь час промедления (так говорит генерал Мюфлинг) — и Блюхер не застал бы уже прежнего Веллингтона: «битва при Ватерлоо была бы проиграна».

Как явствует из всего, Блюхеру пора было явиться. Однако он сильно запоздал. Он стоял бивуаком на Дион-ле-Мон и выступил с зарей. Но дороги были непроезжие, и его дивизии застревали в грязи. Пушки вязли в колеях по самые ступицы. Кроме того, пришлось переправляться через реку Диль по узкому Ваврскому мосту; улица, ведущая к мосту, была подожжена французами; зарядные ящики и артиллерийский обоз не могли пробиться сквозь двойной ряд пылающих домов и должны были ждать, пока кончится пожар. К полудню авангард Бюлова все еще не достиг Шапель-Сен-Ламбер.

Если бы сражение началось двумя часами ранее, оно окончилось бы к четырем часам, и Блюхер подоспел бы к победе Наполеона. Таковы эти великие случайности, соразмерные с бесконечностью, которую мы не в силах постичь.

Еще в полдень император первый в зрительную трубу заметил на горизонте нечто, приковавшее его внимание. «Я вижу там вдали облако, мне кажется, это войско», — сказал он. Затем, обратившись к герцогу Дальматскому, спросил: «Сульт, что вы видите в направлении Шапель-Сен-Ламбер?» Маршал, приставив к глазам свою зри-

тельную трубу, ответил: «Четыре или пять тысяч человек, ваше величество. Очевидно, Груши!» Между тем все это хранило неподвижность, утопая в тумане. Зрительные трубы генерального штаба внимательно изучали «облако», замеченное императором. Некоторые утверждали: «Это колонны на бивуаке». Большинство же говорило: «Это деревья». Несомненно было лишь то, что облако не двигалось. Император отправил на разведку к этому темному пятну дивизион легкой кавалерии Домона.

Бюлов действительно не двигался. Его авангард был очень слаб и не мог принять боя. Он принужден был дожидаться главных сил корпуса и получил приказ сосредоточить войска, прежде чем построиться в боевом порядке; но в пять часов, при виде бедственного положения Веллингтона, Блюхер приказал Бюлову наступать и произнес знаменитые слова: «Надо дать передышку английской армии».

Вскоре дивизии Лостена, Гиллера, Гаке и Рисселя развернулись перед корпусом Лобо, кавалерия принца Вильгельма Прусского выступила из Парижского леса, Плансенуа запылало, и прусские ядра посыпались градом, залетая даже в ряды гвардии, стоявшей в резерве позади Наполеона.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Гвардия

Остальное известно: вступление в бой третьей армии, дислокация сражения, восемьдесят шесть внезапно захвативших пушечных жерл, появление вместе с Бюловым Пирха 1-го, предводительствуемая самим Блюхером кавалерия Цитена, отесненные французы, сброшенный с оэнского плато Марконье, выбитый из Папелота Дюрют, отступающие Донзелло и Кио, окруженный Лобо, стремительно разворачивающаяся к ночи новая битва, наши беззащитные полки, переходящая в наступление и двинувшаяся вперед вся английская пехота, огромная брешь во французской армии, дружные усилия английской и прусской картечи, истребление, разгром фронта, разгром

флангов, и среди этого ужасного развала — вступающая в бой гвардия.

Идя навстречу неминуемой смерти, гвардия кричала: «Да здравствует император!» История не знает ничего более волнующего, чем эта агония, исторгающая приветственные клики.

Весь день небо было пасмурно. Вдруг, в тот самый момент, — а было восемь часов вечера, — тучи на горизонте разорвались и пропустили сквозь ветви вязов, росших вдоль нивельской дороги, зловещий яркобагровый отблеск заходящего солнца. Под Аустерлицем оно всходило.

Каждый гвардейский батальон к развязке этой драмы был под началом генерала. Фриан, Мишель, Роге, Гарле, Мале, Поре де Морван — все были тут! Когда высокие шапки гренадеров с изображением орла на широких бляхах показались во мгле этой сечи стройными, ровными, невозмутимыми, величественно-гордыми рядами, неприятель почувствовал уважение к Франции. Казалось, двадцать богинь победы с развернутыми крылами вступили на поле боя, и те, что были победителями, считая себя побежденными, отступили; но Веллингтон крикнул: «Ни с места, гвардейцы, и целься вернее!» Полк красных английских гвардейцев, залегших позади плетней, поднялся, туча картечи пробила трехцветное знамя, реявшее над нашими орлами, солдаты сшиблись друг с другом, и началась беспримерная резня. В темноте императорская гвардия почувствовала, как дрогнули вокруг нее войска, как всколыхнулась огромная волна беспорядочного отступления, услышала крики: «Спасайся кто может!» — вместо прежнего: «Да здравствует император!» и, зная, что за ее спиной бегут, все же продолжала наступать, осыпаемая все возрастающим градом снарядов, теряя все больше людей с каждым своим шагом. Тут не было ни робких, ни нерешительных. Всякий солдат в этом полку был героем, равно, как и генерал. Ни один человек не уклонился от самоубийства.

Нэй, вне себя, величественный в своей решимости принять смерть, подставлял грудь всем ударам этого шквала. Под ним убили пятую лошадь. Весь в поту, с пылающим взором, с пеной на губах, в расстегнутом мундире, с одной эполетой, полуотсеченной сабельным ударом английского конногвардейца, со сплюснутым кре-

стом Большого орла, окровавленный, забрызганный грязью, великолепный, со сломанной шпагой в руке, он восклицал: «Смотрите, как умирает маршал Франции на поле битвы!» Но тщетно: он не умер. Он был растерян и возмущен. «А ты? Неужели ты не хочешь, чтобы тебя убили?» — крикнул он Друэ д'Эрлону. Под эгим сокрушительным артиллерийским огнем, направленным против горсточки людей, он кричал: «Значит, на мою долю ничего? О, я хотел бы заполучить в живот все эти английские ядра!» Несчастный, ты уцелел, чтобы пасть от французских пуль!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Катастрофа

Отступление в тылу гвардии носило зловеший характер.

Армия вдруг дрогнула со всех сторон одновременно — у Гугомона, Ге-Сента, Папелота, Плансенуа. За криками: «Измена!» раздалось: «Спасайся!» Разбегающаяся армия подобна оттепели. Все оседает, дает трещины, колеблется, ломается, катится, рушится, сталкивается, торопится, мчится. Это неопиcуемый распад целого. Ней хватает у кого-то коня, вскакивает на него и, без шляпы, без шейного платка, без шпаги, становится поперек брюссельского шоссе, задерживая и англичан и французов. Он пытается остановить армию, он призывает ее вернуться, он оскорбляет ее, он цепляется за убегающих, он рвет и мечет. Солдаты, обегая его, кричат: «Да здравствует маршал Ней!» Два полка Дюрюта мечутся в замешательстве, как мяч, перебрасываемый то туда, то сюда, между саблями уланов и огнем бригад Кемпта, Беста, Пакка и Риландта. Опаснейшая из схваток — это бегство; друзья убивают друг друга ради собственного спасения, эскадроны и батальоны разбиваются друг о друга и рассеиваются, словно гигантская пена битвы. Лобо на одном конце, Рейль на другом — втянуты в этот поток. Тщетно Наполеон ставит ему преграды с помощью остатков своей гвардии, напрасно в последнем усилии жертвует последними эскадронами личной охраны. Кю отступает перед Вивианом, Келлерман — перед Ванделером, Лобо —

перед Бюловым, Моран — перед Пирхом, Домон и Сюбер-вик — перед принцем Вильгельмом Прусским. Гийо, кото-рый повел в атаку императорские эскадроны, падает, за-топтанный конями английских драгун. Наполеон галопом пронесится вдоль верениц беглецов, увещевает, настаи-вает, угрожает, умоляет. Все уста, еще утром кричавшие: «Да здравствует император!», теперь безмолвствуют; его почти не узнают. Только что прибывшая прусская кавале-рия налетает, несется, сечет, рубит, режет, убивает, истребляет. Упряжки сталкиваются, орудия мчатся прочь, обозные выпрягают лошадей из артиллерийских повозок и бегут, фургоны, опрокинутые вверх колесами, загро-мождают дорогу и служат причиной новой бойни. Люди давят, теснят друг друга, ступают по живым и по мерт-вым. Руки разят наугад, что и как попало. Несметные толпы наводняют дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины, леса — все запружено этой обращенной в бегство сорокатысячной массой людей. Вопли, отчаяние, брошенные в рожь ружья и ранцы, расчищенные ударами сабель проходы; нет уже ни товарищей, ни офицеров, ни генералов, — царит один невообразимый ужас. Там — Цитен, крошащий Францию в свое удовольствие. Там — лвы, превращенные в ланей. Таково было это бегство!

В Женапе сделали попытку задержаться, укрепиться, дать отпор врагу. Лобо собрал триста человек. Построили баррикады при входе в селение; но при первом же залпе прусской артиллерии все снова бросились бежать, и Лобо был взят в плен. До сих пор видны следы этого залпа на коньке полуразвалившегося кирпичного дома по правую сторону дороги, в нескольких минутах езды от Женапа. Пруссаки ринулись на Женап, разъяренные, повидимому, такой бесславной победой. Преследование французов при-няло чудовищные формы. Блюхер отдал приказ о пого-ловном истреблении. Мрачный пример подал этому Роге, угрожавший смертью всякому французскому гренадеру, который привел бы к нему прусского пленного. Блюхер превзошел Роге. Дюгем, генерал молодой гвардии, при-жатый к двери одной женапской харчевни, отдал свою шпагу гусару смерти, тот взял оружие и убил пленного. Победа закончилась резней побежденных. Вынесем же приговор, коль скоро мы олицетворяем собою историю: старик Блюхер опозорил себя. Эта жестокость довершила

бедствие. Отчаявшиеся беглецы миновали Женап, миновали Катр-Бра, миновали Госели, Фран и Шарлеруа, миновали Тюэн и остановились лишь на границе. Увы! Но кто же это так позорно бежал? Великая армия.

Неужели эта растерянность, этот ужас, это крушение величайшего, невиданного в истории мужества были беспричинны? Нет. Громадная тень десницы божьей простирается над Ватерлоо. Это день свершения судьбы. Сила нечеловеческая предопределила этот день. Оттого-то в ужасе склонились все эти головы; оттого-то все эти великие души сложили оружие. Победители Европы пали, повергнутые во прах, не зная ни что сказать, ни что предпринять, ощущая во мраке присутствие чего-то страшного. *Nos erat in fatis*¹. В этот день перспективы всего рода человеческого изменились. Ватерлоо — это тот стержень, на котором держится девятнадцатый век. Исчезновение великого человека необходимо было для наступления великого столетия. И это взял на себя тот, кому не прекословят. Паника героев объяснима. В сражении при Ватерлоо появилось нечто более значительное, нежели облако: появился метеор. Там побывал бог.

В сумерки, в поле, неподалеку от Женапа, Бернар и Бертран схватили за полу редингота и остановили угрюмого, погруженного в думы, мрачного человека, который, будучи занесен до этого места потоком беглецов, только что спешил и, сунув поводья подмышку, брел одиноко, с блуждающим взором, назад к Ватерлоо. То был Наполеон, еще пытавшийся итти вперед — великий лунатик, влекомый этой погибшей мечтой.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Последнее каре

Несколько каре гвардии, неподвижные в бурлящем потоке отступающих, подобно скалам среди водоворота, продолжали держаться до ночи. Наступала ночь, а с нею вместе смерть; они ожидали этого двойного мрака и, непоколебимые, дали ему себя окутать. Каждый полк, ото-

¹ Так было суждено (лат.).

рванный от другого и лишенный связи с разбитой наголову армией, умирал одиноко. Чтобы свершить этот последний подвиг, одни каре расположились на высотах Россома, другие на равнине Мон-Сен-Жан. Там, покинутые, побежденные, грозные, эти мрачные каре встречали страшную смерть. С ними умирали Ульм, Ваграм, Иена и Фридланд.

В сумерках, около девяти часов вечера, у подошвы плато Мон-Сен-Жан все еще держалось одно каре. В этой зловещей долине у подножья склона, преодоленного кирасирами, а сейчас занятого войсками англичан, под перекрестным огнем победоносной неприятельской артиллерии, под плотным ливнем снарядов, каре продолжало бороться. Командовал им незаметный офицер, по имени Камброн. При каждом залпе каре уменьшалось, но продолжало отбиваться. На картечь оно отвечало ружейной пальбой, непрерывно стягивая свои четыре стороны. Останавливаясь на мгновение, запыхавшиеся беглецы прислушивались издали, в ночной тьме, к этим затихающим мрачным громовым раскатам.

Когда от всего легиона осталась лишь горсть людей, когда их знамя превратилось в лохмотья, когда их ружья, расстрелявшие все пули, превратились в простые палки, когда количество трупов превысило количество оставшихся в живых, тогда победителей объял некий священный ужас перед этими полными божественного величия умирающими воинами, и английская артиллерия, словно переводя дух, умолкла. То была как бы отсрочка. Казалось, вокруг сражавшихся толпились призраки, силуэты всадников, черные профили пушек; сквозь колеса и лафеты просвечивало белесоватое небо. Чудовищная голова смерти, которую герои всегда смутно различают сквозь дым сражений, надвигалась на них, глядела им в глаза. В сумеречной темноте они слышали, как заряжают орудия; зажженные фитили, похожие на глаза тигра в ночи, образовали вокруг их голов кольцо, к пушкам всех английских батарей приблизились запальники. И тогда английский генерал Кольвиль — по словам одних, а по словам других — Метленд, задержав смертоносный меч, уже занесенный над этими людьми, крикнул, взволнованный: «Сдавайтесь, храбрецы!» Камброн ответил: «Merde!»

Из уважения к французскому читателю это слово, быть может самое прекрасное, которое когда-либо было произнесено французом, не должно повторять. Свидетельствовать в истории о сверхчеловеческом воспрещено.

На свой страх и риск мы преступим этот запрет.

Итак, среди этих исполинов был титан — Камброн.

Крикнуть это слово и затем умереть, что может быть величественнее? Ибо желать умереть — это и есть умереть, и не его вина, если этот человек, расстрелянный картечью, пережил себя.

Человек, выигравший сражение при Ватерлоо, — это не обращенный в бегство Наполеон, не Веллингтон, отступавший в четыре часа утра и пришедший в отчаяние в пять, это не Блюхер, который совсем не сражался; человек, выигравший сражение при Ватерлоо, — это Камброн.

Поразить подобным словом гром, который вас убивает, — это значит победить!

Дать такой ответ катастрофе, сказать это судьбе, заложить такое основание для будущего льва, бросить эту реплику дождю, ночи, предательской стене Гугомона, оэнской дороге, опозданию Грушй, прибытию Блюхера, иронизировать даже в могиле, не пасть, будучи поверженным наземь, в двух слогах утопить европейскую коалицию, предложить королям известное отхожее место цезарей, сделать из последнего слова первое, придав ему весь блеск Франции, дерзко завершить Ватерлоо карнавалом Леонидаса, дополнить Рабле, подвести итог этой победе тем грубейшим словом, которое не произносят вслух, утратить свое место на земле, но сохранить его в истории, после такой бойни привлечь на свою сторону насмешников — это непостижимо!

Это оскорбить молнию. В этом эсхиловское величие.

Слово Камброна подобно звуку, сопровождающему образование трещины. Это треснула грудь под напором презрения; это избыток смертной муки, вызвавший взрыв. Кто же победил?

Веллингтон? Нет. Без Блюхера он бы погиб. Блюхер? Нет. Если бы Веллингтон не начал сражения, Блюхер не закончил бы его. Камброн, этот пришелец последнего

часа, этот никому неведомый солдат, эта бесконечно малая частица войны, чувствует, что здесь скрывается ложь, ложь в самой катастрофе, вдвойне непереносимая; и в ту минуту, когда он дошел до бешенства, ему предлагают это посмешище — жизнь. Как не выйти из себя? Вот они, все налицо, эти короли Европы, удачливые генералы, Юпитеры-громовержцы, у них сто тысяч победоносного войска, а позади этих ста тысяч еще миллион, их пушки с зажженными фитилями уже разверзли свои пасти, императорская гвардия и великая армия у них под пятой, они только что сокрушили Наполеона, — и остался один Камброн; чтобы протестовать, остался только этот жалкий земляной червь. Он будет протестовать! И вот он подбирает слово, как подбирают шпугу. Рот его наполняется слюной, эта слюна и есть нужное ему слово. Перед лицом этой величайшей и жалкой победы, перед этой победой без победителей, он, отчаявшийся, воспрянул духом; он несет на себе ее чудовищное бремя, но он же подтверждает всю ее ничтожность; он не только плюет на нее, больше того, изнемогая под гнетом численности, силы и грубой материи, он находит в душе слово, обозначающее мерзкий отброс. Повторяем, сказать это, сделать это, найти это — значит быть победителем!

В роковую минуту дух великих дней проник в этого неизвестного человека. Камброн нашел слово, воплотившее Ватерлоо, как Руже де Лиль нашел «Марсельезу», — это произошло по вдохновению свыше. Дыхание божественного урагана долетело до этих людей, пронзило их, они затрепетали, и один запел священную песнь, другой испустил чудовищный вопль. Свое свидетельство титанического презрения Камброн бросает не только Европе от имени Империи, — этого было бы недостаточно, — он бросает его прошлому от имени революции. Его услышали, и в Камброне распознали душу гигантов былых времен. Казалось, будто снова заговорил Дантон или зарычал Клебер.

В ответ на слово Камброна голос англичанина скомандовал: «Огонь!» Сверкнули батареи, дрогнул холм, все эти медные пасти изрыгнули последний залп губительной картечи; за клубился густой дым, слегка посеребренный восходящей луной, и когда он рассеялся, все исчезло. Остатки грозного воинства были уничтожены, гвардия

умерла. Четыре стены живого редута лежали недвижимо, лишь кое-где среди трупов можно было заметить последнюю судорогу агонии. Так погибли французские легионы, еще более великие, чем римские легионы. Они пали на плато Мон-Сен-Жан, на промокнувшей от дождя и крови земле, среди почерневших колосьев, на том месте, где ныне, в четыре часа утра, посвистывая и весело погоняя лошадь, проезжает Жозеф, кучер почтовой кареты, направляющейся в Нивель.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

*Quot libras in duce?*¹

Сражение при Ватерлоо — загадка. Оно одинаково непонятно и для тех, кто выиграл его, и для тех, кто его проиграл. Для Наполеона — это паника², Блюхер видит в нем лишь сплошную пальбу; Веллингтон ничего в нем не понимает. Просмотрите рапорты. Сводки туманны, пояснительные примечания сбивчивы. Одни запинаятся, другие что-то невнятно лепечут. Жомини разделяет битву при Ватерлоо на четыре фазы; Мюфлинг расчленяет ее на три эпизода; один Шарас — хотя в оценке некоторых вещей мы с ним и расходимся — уловил своим острым взглядом характерные черты этой катастрофы, которую потерпел человеческий гений в борьбе со случайностью, предначертанной свыше. Все прочие историки как бы ослеплены, и, ослепленные, они движутся ощупью. Действительно, то был день, подобный вспышке молнии, то была гибель военной монархии, увлекшей за собой, к великому изумлению королей, все королевства, то было крушение силы, поражение войны.

В этом событии, отмеченном высшей необходимостью, человек не играл никакой роли.

Разве отнять Ватерлоо у Веллингтона и Блюхера — значит лишить чего-то Англию и Германию? Нет. Ни о прославленной Англии, ни о величественной Германии нет

¹ Какая цена полководцу? (лат.)

² «Оконченный бой, заверченный день, исправление ошибочных мер, огромный успех, обеспеченный назавтра, — все было потеряно из-за мгновения панического страха» (Наполеон, Мемуары, продиктованные на острове св. Елены).

и речи при обсуждении проблемы Ватерлоо. Благодарение небу, величие народов не зависит от мрачных походов мечи и шпаги. Германия, Англия и Франция славны не силой оружия. В эпоху, когда Ватерлоо не более как бряцание сабель, в Германии над Блюхером возвышается Гете, а в Англии над Веллингтоном — Байрон. Нашему веку присуще широкое возникновение идей; в сияние этой утренней зари вливают свой сверкающий луч и Англия и Германия. Они полны величия, ибо они мыслят. Повышение уровня цивилизации является их прирожденным свойством, оно вытекает из их сущности и несколько не зависит от случая. Возвышение их в девятнадцатом веке отнюдь не имело своим источником Ватерлоо. Лишь народы-варвары внезапно вырастают после победы. Так вздувается после грозы ненадолго поток. Цивилизованные народы, особенно в современную нам эпоху, не возвышаются и не падают из-за удачи или неудачи полководца. Их удельный вес среди рода человеческого является следствием чего-то более значительного, нежели сражение. Слава богу, их честь, их достоинство, их просвещенность, их гений не являются выигрышным билетом, на который герои и завоеватели — эти игроки — могут рассчитывать в лотереях сражений. Случается, что битва проиграна, а прогресс выиграл. Меньше славы, зато больше свободы. Умолкает дробь барабана, и возвышает свой голос разум. Это игра, в которой выигрывает тот, кто проиграл. Обсудим же хладнокровно Ватерлоо с двух точек зрения. Припишем случайности то, что было случайностью, и воле божьей то, что было волей божьей. Что такое Ватерлоо? Победа? Нет. Квинта в игре.

Выигрыш достался Европе, но оплатила его Франция. Водружать там льва не стоило.

Впрочем, Ватерлоо — это одно из самых своеобразных столкновений в истории. Наполеон и Веллингтон. Это не враги — это противоположности. Никогда бог, которому нравятся антитезы, не создавал контраста более захватывающего, и очной ставки более необычайной. С одной стороны — точность, предусмотрительность, математический расчет, осторожность, обеспеченные пути отступления, сбереженные резервы, непоколебимое хладнокровие, невозмутимая методичность, стратегия, извлекающая выгоду из местности, тактика, согласующая действия

батальонов, резня, строго соблюдающая предписанные правила, война, ведущаяся с часами в руках, никакого упования на случайность, старинное классическое мужество, безошибочность во всем; с другой — интуиция, провиденье, своеобразие военного мастерства, нечеловеческое чутье, блистающий взор, нечто, обладающее орлиной зоркостью и разящее подобно молнии, чудесное искусство в сочетании с высокомерной пылкостью, все тайны глубокой души, союз с роком, река, равнина, лес, холм, собранные воедино и словно принужденные к повиновению, деспот, доходящий до того, что подчиняет своей тирании даже поля брани, вера в свою звезду, соединенная с искусством стратегии, возвеличенным ею, но в то же время смущенным. Веллингтон — это Барем войны, Наполеон — ее Микельанджело; и на этот раз гений был побежден расчетом.

Один и другой кого-то поджидали. И тот, кто рассчитал правильно, восторжествовал. Наполеон ждал Грушй — тот не явился. Веллингтон ждал Блюхера — тот прибыл.

Веллингтон — это война классическая, мстящая за давний проигрыш. На заре своей военной карьеры Наполеон столкнулся с такой войной в Италии и одержал тогда блистательную победу. Старая сова спасовала перед молодым ястребом. Прежняя тактика была не только разбита наголову, но и посрамлена. Кто был этот двадцатилетний корсиканец, что представлял собой этот великолепный невежда, который, имея все против себя и ничего за себя, без провианта, без боевых припасов, без пушек, без обуви, почти без армии, с горстью людей против целых полчищ, обрушивался на все объединенные силы Европы и самым нелепым образом одерживал победы там, где это казалось совершенно невозможным? Откуда явился этот грозный безумец, который, почти не переводя дыхания и с теми же картами в руках, распылил одну за другой пять армий германского императора, опрокинув за Альвицем Болье, за Болье Вурмсера, за Вурмсера Меласа, за Меласом Макка? Кто был этот новичок в боях, обладавший дерзкой самоуверенностью небесного светила? Академическая школа военного искусства отлучила его, доказав этим собственную несостоятельность. Вот откуда вытекает неукротимая злоба ста-

рого цезаризма против нового, злора вымуштрованной сабли против огненного меча, злора шахматной доски против гения. 18 июня 1815 года за этой упорной злобой осталось последнее слово, и под Лоди, Монтебелло, Монтенотом, Мантуей, Маренго и Арколем она начертала: «Ватерлоо». То был приятный большинству триумф посредственности. Судьба допустила эту иронию. На закате своей жизни и славы Наполеон снова встретился лицом к лицу с молодым Вурмсером.

Чтобы получить настоящего Вурмсера, было бы достаточно выбелить волосы Веллингтона.

Ватерлоо — это первостепенная битва, выигранная второстепенным полководцем.

Но кем следует восхищаться в сражении при Ватерлоо — это Англией, английской твердостью, английской решимостью, английским темпераментом. Самое великое, что было в этой битве, — это, не во гнев ей будь сказано, сама Англия. Не ее полководец, но ее армия.

Веллингтон с поразительной неблагодарностью заявляет в своем письме к лорду Батгерсту, что его армия, армия, сражавшаяся 18 июня 1815 года, была «отвратительной армией». Что думает об этом мрачное скопище человеческих костей, зарытых на полях Ватерлоо?

Англия была слишком скромна по отношению к Веллингтону. Возвеличить подобным образом Веллингтона — это умалить Англию. Веллингтон такой же герой, как и прочие, не больше. Эти серые шотландцы, эти конные гвардейцы, эти полки Метленда и Митчела, эта пехота Пакка и Кемпта, эта кавалерия Понсонби и Сомерсета, эти горцы, играющие на волынке под картечью, эти батальоны Риландта, эти только что призванные новобранцы, едва умеющие владеть оружием, но давшие отпор испытанным рубакам Эслинга и Риволи, — вот кто велик. Веллингтон был стоек, в этом его заслуга, и мы этого не оспариваем; но самый незаметный из его пехотинцев и кавалеристов был не менее тверд, чем он. Железные солдаты стояли своего железного герцога. Что же касается нас, то все наши хвалы мы отдадим английскому солдату. Если кто и заслуживает памятника в честь победы, то это Англия. Было бы правильнее, если бы колонна Ватерлоо вместо фигуры одного человека возносила к облакам статую, символизирующую народ.

Но наши слова возмутят эту великую Англию. Несмотря на свой 1688 и наш 1789 годы, она все еще не утратила феодальных иллюзий. Она продолжает верить в право наследования и в иерархию. Этот народ, которого никто не превзошел в могуществе и славе, уважает себя как нацию, но не как народ. Как народ он добровольно подчиняется лорду, признавая его своим господином. Как рабочий он позволяет презирать себя; как солдат он позволяет бить себя палкой.

Припомним, что после сражения при Инкермане сержант, который, как известно, спас армию, не мог быть упомянут лордом Рагланом, ибо английская военная иерархия не позволяет вносить в рапорт имена героев, не имеющих офицерского чина.

Но что всего сильнее поражает нас в сражении при Ватерлоо — это изумительное искусство, проявленное случаем. Ночной дождь, стена в Гугомоне, оэнская дорога, Грушй, не слышавший пушечной пальбы, проводник, обманувший Наполеона, проводник, указавший правильный путь Бюлову, — все это стихийное бедствие было превосходно подготовлено и проведено.

В итоге, следует это отметить, в битве при Ватерлоо преобладала резня, а не бой.

Из всех битв, подготовленных согласно принятым правилам, Ватерлоо отличалось наименьшим протяжением фронта сравнительно с числом сражавшихся. У Наполеона три четверти мили, у Веллингтона полмили; по семьдесят две тысячи сражающихся с каждой стороны. Следствием этой тесноты и явилась резня.

Был сделан подсчет, и установлено следующее соотношение. Потеря людьми при Аустерлице: у французов четырнадцать процентов, у русских тридцать процентов, у австрийцев сорок четыре процента; при Ваграме: у французов тринадцать процентов, у австрийцев четырнадцать; под Москвой: у французов тридцать семь процентов, у русских сорок четыре; при Бауцене: у французов тринадцать процентов, у русских и пруссаков четырнадцать; при Ватерлоо: у французов пятьдесят шесть процентов, у союзников тридцать один. Общий итог потерь для Ватерлоо — сорок один процент. Сто сорок четыре тысячи сражавшихся; шестьдесят тысяч убитых.

Поле Ватерлоо ныне дышит тем покоем, который присущ земле — этой бесстрастной опоре человека, и оно похоже теперь на любую равнину.

Но по ночам встает над ней какой-то призрачный туман, и если там окажется какой-либо путник, если он вглядывается, если он вслушивается, если грезит, подобно Вергилию на мрачных Филиппских полях, то им овладевает галлюцинация, он словно присутствует при этой катастрофе. Перед ним вновь оживает страшное 18 июня: исчезает искусственный курган-памятник, пропадает лев, поле битвы вновь обретает свой настоящий облик; колышутся на равнине ряды пехоты, на горизонте стремительно проносится конница; потрясенный мечтатель видит сверкание сабель, блеск штыков, вспышки взрывающихся бомб, чудовищную переключку громов; ему слышится хрипение в глубине могилы, смутный гул призрачной битвы. Вот эти тени — гренадеры; вон те мерцающие огоньки — кирасиры; этот скелет — Наполеон; тот скелет — Веллингтон. Все уже давно истлело, но продолжает сшибаться и бороться, и овраги обагряются кровью, и дрожат деревья, и до самых облаков вздымается неистовство битвы, и смутно возникают во мраке все эти зловещие высоты, Мон-Сен-Жан, Гугомон, Фришмон, Папелот и Плансенуа, покрытые роями истребляющих друг друга привидений.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

*Следует ли считать Ватерлоо событием
положительным?*

Существует весьма почтенная либеральная школа, которая отнюдь не осуждает Ватерлоо. Мы к ней не принадлежим. Для нас Ватерлоо — лишь поразительная дата рождения свободы. То, что из подобного яйца мог вылупиться подобный орел, было полной неожиданностью.

В сущности Ватерлоо по замыслу должно было явиться победой контрреволюции. Это Европа — против Франции; Петербург, Берлин, Вена — против Парижа; это *status quo*¹ — против дерзанья; это штурм 14 июля

¹ Существующее положение вещей, застой (лат.).

1789 года путем атаки 20 марта 1815 года; это сигнал к боевым действиям монархических держав против неподдающегося обузданию мятежного духа французов. Унять, наконец, этот великий народ, погасить этот вулкан, действующий уже двадцать шесть лет, — такова была мечта. Здесь проявилась солидарность Брауншвейгов, Нассау, Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов с Бурбонами. Ватерлоо несло на своем хребте «священное право». Правда, если Империя была деспотической, то королевская власть, в силу естественной реакции, должна была по необходимости стать либеральной, и невольным следствием Ватерлоо, к великому сожалению победителей, явился конституционный порядок. Ведь революция не может быть побеждена до конца; будучи предопределенной и совершенно неизбежной, она возникает снова и снова: до Ватерлоо — в лице Бонапарта, опрокидывающего старые троны, а после Ватерлоо — в лице Людовика XVIII, дарующего хартию и подчиняющегося ей. Бонапарт сажает на неаполитанский престол форейтора, а на шведский — сержанта, используя неравенство для доказательства равенства; Людовик XVIII подписывает в Сент-Уэне декларацию прав человека. Если вы желаете уяснить себе, что такое революция, назовите ее Прогрессом; а если вы желаете уяснить себе, что такое прогресс, назовите его Завтра. Это Завтра неотвратно творит свое дело и начинает его с сегодняшнего дня. Пусть самым необыкновенным образом, но оно всегда достигает своей цели. Это Завтра, пользуясь Веллингтоном, делает из Фуа, бывшего всего только солдатом, — оратора. Фуа повержен наземь у Гугомона — и вновь поднимается на трибуне. Так действует прогресс. Для этого рабочего не существует негодных инструментов. Не смущаясь, он приспособливает для божественной своей работы и человека, перешагнувшего через Альпы, и немощного старца, нетвердо стоящего на ногах, исцеленного ветхозаветным Елисеем. Он пользуется подагриком, равно как и завоевателем: завоевателем вовне, подагриком — внутри государства. Ватерлоо, одним ударом покончив с мечом, разрушающим европейские троны, имело следствием лишь то, что дело революции перешло в другие руки. Воины кончили свое дело, наступила очередь мыслителей. Тот век, движение которого Ватерлоо стремилось остановить,

перешагнул через него и продолжал свой путь. Эта мрачная победа была в свою очередь побеждена свободой.

Одним словом, бесспорно лишь одно: все, что торжествовало при Ватерлоо, все, что весело ухмылялось за спиной Веллингтона, что поднесло ему маршальские жезлы всей Европы, включая, как говорят, и маршальский жезл Франции, что радостно катило полные тачки земли, смешанной с костями убитых, чтобы воздвигнуть холм для льва, и победно начертало на этом пьедестале «18 июня 1815 года», все, что поощряло Блюхера рубить саблями отступающих, что с высоты плато Мон-Сен-Жан наклонялось над Францией, словно над своей добычей, — все это было контрреволюцией, бормочущей гнусное слово: «расчленение». Прибыв в Париж, контрреволюция увидела кратер вблизи, она почувствовала, что пепел жжет ей ноги, и тогда она одумалась. Она вновь обратилась к косноязычному лепету хартии.

Будем же видеть в Ватерлоо лишь то, что есть в Ватерлоо. Завоевание свободы отнюдь не было преднамеренной его целью. Контрреволюция была поневоле либеральной, так же как Наполеон благодаря сходному феномену был поневоле революционером. 18 июня 1815 года этот новый Робеспьер был выбит из седла.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Восстановление священного права

Конец диктатуре. Вся европейская система рухнула.

Империя погрузилась во тьму, подобную той, в которой исчез гибнущий античный мир. Можно восстать даже из бездны, как это бывало в варварские времена. Но только у варварства 1815 года, уменьшительное название которого — контрреволюция, нехватило дыхания, оно быстро запыхалось и остановилось. Надо сказать, что Империю оплакивали, и оплакивали герои. Если слава заключается в мече, превращенном в скипетр, то Империя была сама слава. Она распространила по земле весь свет, на какой только способна тирания; но то был мрачный свет. Скажем больше: черный свет. В сравнении с днем —

это ночь. Но когда эта ночь исчезла, казалось, наступило затмение.

Людовик XVIII вернулся в Париж. Хороводы 8 июля изгладили из памяти восторги 20 марта. Корсиканец стал антитезой Беарнца. Над куполом Тюильри взвился белый флаг. Настало царство изгнанников. Еловый стол из Гартвелла занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. Так как Аустерлиц устарел, стали говорить о Бувине и Фонтенуа, словно эти победы были только вчера одержаны. Трон и алтарь торжественно вступили в братский союз. Одна из самых общепризнанных в девятнадцатом веке форм общественного благоденствия водворилась во Франции и на континенте. Европа надела белую кокарду. Трестальон прославился. Девиз *populus pluribus impar*¹ вновь появился в ореоле лучей, высеченных из камня, на фасаде казармы Орсейской набережной, изображая солнце. Там, где прежде помещалась императорская гвардия, теперь разместились мушкетеры. Сбитая с толку всеми этими новшествами, триумфальная арка на Карусельной площади, сплошь уставленная словно занемогшими изображениями побед, быть может даже испытывая некоторый стыд перед Маренго и Арколем, выпуталась из положения с помощью статуи герцога Ангулемского.

Кладбище Мадлен, страшная братская могила 93-го года, украсилось мрамором и яшмой, ибо с его землей был смешан прах Людовика XVI и Марии-Антуанетты. В Венсенском рву поднялась из глубины надгробная колонна с усеченным верхом, напоминающая о том, что герцог Энгиенский умер в тот самый месяц, когда был коронован Наполеон. Папа Пий VII, совершивший это помазание на царство незадолго до этой смерти, благословил падение с тем же спокойствием, с каким благословил возвышение. В Шенбрунне появился маленький четырехлетний призрак, именовать которого Римским королем считалось государственным преступлением. И все это свершилось, и все короли снова заняли свои места, и властелин Европы был заточен в тюрьму, и старая форма правления была заменена новой, и все, что было светом,

¹ Превыше всего (лат.) — девиз «Короля-Солнца», Людовика XIV.

и все, что было мраком на земле, переместилось, потому что однажды летом, после полудня, пастух сказал в лесу пруссаку: «Пройдите здесь, а не там».

Этот 1815 год походил на хмурый апрель. Старая, ядовитая и нездоровая действительность приняла вид весеннего обновления. Ложь сочеталась браком с 1789 годом, «священное право» замаскировалось хартией, то, что было фикцией, прикинулось конституцией, предрассудки, суеверия и тайные умыслы, уповая на 14-ю статью, перекасились и покрылись лаком либерализма. Так змеи меняют кожу.

Наполеон одновременно и возвысил и унизил человека. Во время этого блистательного владычества материи идеал получил странное название идеологии. Какая неосторожность со стороны великого человека отдать на посмеяние будущее! А между тем народ — это пушечное мясо, так влюбленное в своего канонира, — искал его глазами. Где он? Что он делает? «Наполеон умер», — сказал один прохожий инвалиду, участнику Маренго и Ватерлоо. «Это он — да умер? — воскликнул солдат. — Много вы знаете!» Народное воображение обожествляло этого поверженного во прах героя. Фон Европы после Ватерлоо стал мрачен. С исчезновением Наполеона долгое время ощущалась какая-то огромная, зияющая пустота.

И в эту пустоту, как в зеркало, гляделись короли. Старая Европа воспользовалась ею для своего преобразования. Возник Священный союз. «Прекрасный союз!», как было заранее предсказано роковым полем Ватерлоо¹.

Перед лицом этой старинной преобразованной Европы наметились очертания новой Франции. Будущее, осмеянное императором, вступило в свои права. На челе его сияла звезда — Свобода. Молодое поколение обратило к нему свой восторженный взор. Странное явление: увлекались одновременно и этим будущим — Свободой, и этим прошедшим — Наполеоном. Поражение возвеличило пораженного. Бонапарт в падении казался выше Наполеона в славе. Те, кто торжествовал победу, ощутили страх. Англия приказала сторожить Бонапарта Гудсону Лоу, а

¹ Sainte Alliance — Священный союз; «Belle Alliance» («Бель Альянс») — «Прекрасный союз» — название постоянного двора и холма, места третьей стоянки Наполеона в битве при Ватерлоо.

Франция поручила следить за ним Моншеню. Его спокойно скрещенные на груди руки внушали тревогу тронам. Александр прозвал его: «моя бессонница». Страх этот внушало им то, что было в нем от революции. Именно в этом находит свое объяснение и оправдание бонапартистский либерализм. Этот призрак заставлял трепетать старый мир. Королям не любо было и царствовать, когда на горизонте маячила скала св. Елены.

Пока Наполеон томился в Лонгвуде, шестьдесят тысяч человек, павших на поле Ватерлоо, мирно истлевали в земле, и что-то от их покоя передалось всему миру. Венский конгресс, пользуясь этим, создал трактаты 1815 года, и Европа назвала это Реставрацией.

Вот что такое Ватерлоо.

Но какое дело до него вечности? Весь этот ураган, вся эта туча, эта война, затем этот мир, весь этот мрак ни на мгновение не затмили сияния того великого ока, перед которым травяная тля, переползающая с одной былинки на другую, равна орлу, перелетающему с башни на башню Собора Парижской богородицы.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Поле битвы ночью

Вернемся — этого требует наша книга — на роковое поле битвы.

18 июня 1815 года было полнолуние. Светлая ночь благоприятствовала яростной погоне Блюхера, она выдавала следы беглецов и, предавая злосчастные войска во власть озверевшей прусской кавалерии, помогала резне. В бедствиях можно проследить иногда это ужасное сообщничество ночи.

Когда последний пушечный залп умолк, равнина Мон-Сен-Жан опустела.

Англичане заняли лагерную стоянку французов; ночевать в лагере побежденного — обычай победителя. Свой бивуак они разбили по ту сторону Россома. Пруссаки, увлекшись преследованием, ушли дальше. Веллингтон направился в деревню Ватерлоо составлять рапорт лорду Батгерсту.

Изречение «*Sic vos non vobis*»¹ как нельзя более удачно применимо к деревушке Ватерлоо. Там не произошло никакого сражения; деревня расположена на расстоянии полумили от поля битвы. Мон-Сен-Жан был обстрелян из пушек, Гугомон сожжен, Папелот сожжен, Плансенуа сожжено, Ге-Сент взят приступом. Бель-Альянс был свидетелем дружеского объятия двух победителей; однако названия всех этих мест смутно удержались в памяти, а на долю Ватерлоо, стоявшего в стороне, достались все лавры.

Мы не принадлежим к числу поклонников войны. При случае мы всегда говорим ей правду в глаза. Есть у войны своя устрашающая красота, о которой мы не умалчиваем, но есть у нее, признаемся в том, и свое уродство. Одна из самых невероятных его форм — это поспешное ограбление мертвых вслед за победой. Утренняя заря, занимающаяся после битвы, освещает обычно обнаженные трупы.

Кто совершает это? Кто подобным образом порочит торжество победы? Чья подлая рука украдкой скользит в ее карман? Кто те мошенники, которые обделывают свои делишки за спиною славы? Некоторые философы, в том числе и Вольтер, утверждали, будто ими являются сами же творцы славы. Это все те же солдаты, говорят они, и никто другой; оставшиеся в живых грабят мертвых. Днем — герой, ночью — вампир. Они, мол, имеют некоторое право слегка обшарить того, кого собственной рукой превратили в труп. Мы держимся иного мнения. Пожинать лавры и стаскивать башмаки с мертвецов — на это неспособна одна и та же рука.

Достоверно лишь то, что вслед за победителями всегда крадутся грабители. Однако солдаты к этому непричастны, и особенно солдаты современные.

За каждой армией тянется хвост, и вот где следует искать виновников. Существа, родственные летучим мышам, полуразбойники, полулакеи, все разновидности нечеловеческих, возникающие в тех сумерках, которые именуются войной, люди, облаченные в военные мундиры, но никогда не сражавшиеся, мнимые больные, злобные

¹ «Так вы не для себя» (лат.) — начало стиха, который приписывался Вергилию.

калеки, подозрительные маркитанты, разъезжающие в тележках, иногда даже со своими женами, и ворующие то, что сами продали, нищие, предлагающие себя офицерам в проводники, обозная прислуга, мародеры — весь этот сброд волочился во время похода вслед за армией прежнего времени (мы не имеем в виду армию современную) и даже получил на специальном языке кличку «ползунов». Никакая армия и никакая нация не ответственны за них. Они говорили по-итальянски — и следовали за немцами; говорили по-французски — и следовали за англичанами. Именно один из таких подлецов, испанский «ползун», болтавший по-французски на тарабарско-пикарском наречии, и обманул маркиза де Фервака, полагавшего, что это француз. Маркиз был убит и ограблен на самом поле битвы при Серизоле в ночь после победы. Узаконенный грабеж породил грабителя. Следствием отвратительного принципа: «жить на счет врага» — явилась язва, исцелить которую могла лишь суровая дисциплина. Существуют обманчивые репутации; порой трудно понять, чему приписать необыкновенную популярность иных полководцев, хотя бы и великих. Тюренн был любим своими солдатами за то, что допускал грабеж; дозволенное зло является одним из проявлений доброты; Тюренн был настолько добр, что разрешил предать Палатинат огню и мечу. Количество присосавшихся к армии мародеров зависело от большей или меньшей строгости главнокомандующего. В армиях Гоша и Марсо «ползунов» совсем не было; следует отдать справедливость Веллингтону, что и в его армии их было мало.

Тем не менее в ночь с 18 на 19 июня мертвецов раздевали. Веллингтон был суров; он издал приказ беспощадно расстреливать каждого, кто будет пойман на месте преступления. Но привычка грабить пускает глубокие корни. Мародеры воровали на одном конце поля, в то время как на другом их расстреливали.

Зловеще светила луна над этой равниной.

Около полуночи какой-то человек брел, вернее полз по направлению к оэнской дороге. Это был, повидимому, один из тех, о которых мы только что говорили: не француз, не англичанин, не солдат, не землепашец, не человек, а вурдалак, привлеченный запахом мертвечины и пришедший обобрать Ватерлоо, понимая победу как грабеж.

На нем была блуза, смахивающая на солдатскую шинель, он был труслив и дерзок, он продвигался вперед, но то и дело оглядывался назад. Кто же был этот человек? Вероятно, ночь знала о нем больше, чем день. Мешка при нем не было, очевидно его заменяли вместительные карманы шинели. От времени до времени он останавливался, оглядывал поле, словно желая убедиться в том, что за ним не следят, быстро нагибался, ворошил на земле что-то безмолвное и неподвижное, затем выпрямлялся и незаметно уходил. Его скользящая походка, его позы, его быстрые и таинственные движения придавали ему сходство с теми злыми духами ночи, которые водятся среди развалин и которых древние нормандские предания окрестили «шатунами».

Иные голенастые ночные птицы такими же силуэтами вырисовываются на фоне болот.

Внимательно взглядевшись в окружающий туман, можно было заметить на некотором расстоянии неподвижную и как бы спрятанную за лачугой, стоящей у нивельского шоссе, на повороте дороги из Мон-Сен-Жан в Брен-л'Алле, небольшую повозку маркитанта, с верхом, крытым просмоленными прутьями ивняка. В повозку впряжена была тощая кляча, щипавшая через удила крапиву. Внутри фургона на ящиках и узлах сидела какая-то женщина. Быть может, существовала какая-то связь между этой повозкой и этим бродягой.

Ночь была ясная. Ни облачка в вышине. Пусть обгаренная кровью лежала внизу земля, луна все так же отливала серебром. В этом проявлялось безучастие неба. В лугах ветви деревьев, подбитые картечью, но удерживаемые корой от падения, тихо покачивались на ночном ветру. Легкое дуновение, почти дыхание, шевелило густые кустарники. По траве пробегала зыбь, словно последнее содрогание отлетающих душ.

Издали смутно доносились шаги ходивших взад и вперед патрулей да оклики дозорных в лагере англичан.

Гугомон и Ге-Сент все еще пылали, образуя на западе и на востоке два ярких зарева, связанных между собою цепью сторожевых огней английского лагеря, растянувшейся по холмам громадным полукругом на горизонте, напоминая развернутое рубиновое ожерелье с двумя карбункулами на концах.

Мы уже говорили о бедствии на оэнской дороге. При одной мысли о том, сколько храбрецов там погибло и какою смертью, сердце содрогается от ужаса.

Если существует на свете что-либо ужасное, если есть действительность, превосходящая самый страшный сон, то это: жить, видеть солнце, быть в расцвете сил, быть здоровым и радостным, смеяться над опасностью, лететь навстречу ослепительной славе, которую видишь впереди, ощущать, как дышат легкие, как бьется сердце, как послушна разуму воля, говорить, думать, надеяться, любить, иметь мать, иметь жену, иметь детей, обладать знаниями, — и вдруг, даже не вскрикнув, в мгновение ока рухнуть в бездну, свалиться, скатиться, раздавить кого-то, быть раздавленным, видеть хлебные колосья над собой, цветы, листву, ветви и быть не в силах удержаться за что-нибудь, сознавать, что сабля твоя бесполезна, ощущать под собой людей, над собой лошадей, тщетно бороться, чувствовать, как, брыкаясь, лошадь в темноте ломает тебе кости, как в глаз тебе вонзается чей-то каблук, яростно хватать зубами лошадиные подковы, задыхаться, реветь, корчиться, лежать внизу и думать: «Ведь только что я еще жил!»

Там, где во время этого ужасного бедствия раздавались хрипение и стоны, теперь царила тишина. Дорога в ложбине была доверху забита трупами лошадей и всадников. Жуткое зрелище! Откосы исчезли. Трупы сравнивали дорогу с полем и лежали в уровень с краями ложбины, как плотно утрясенный четверик ячменя. Груда мертвецов на более возвышенной части, река крови в низменной — такова была эта дорога вечером 18 июня 1815 года. Кровь текла даже через нивельское шоссе, образуя огромную лужу перед засекой, преграждавшей шоссе в том месте, на которое до сей поры обращают внимание путешественников. Как помнит читатель, кирасиры обрушились в овраг оэнской дороги с противоположной этому месту стороны — со стороны женапского шоссе. Количество трупов на дороге зависело от большей или меньшей ее глубины. Около середины, где дорога становилась ровной и где прошла дивизия Делора, слой мертвых тел был тоньше.

Ночной бродяга, виденный нами мельком, шел в этом направлении. Он рылся в этой огромной могиле. Он разглядывал ее. Он делал какой-то отвратительный смотр этим мертвецам. Он шагал по крови.

Вдруг он остановился.

В нескольких шагах от него, на дороге, там, где кончалось нагромождение трупов, из-под груды лошадиных и людских останков выступала рука, освещенная луной.

На одном из пальцев этой руки что-то блестело; то был золотой перстень.

Бродяга нагнулся, присел на мгновение на корточки, а когда встал, то перстня на пальце уже не было.

Собственно он не встал, а остался на коленях, в неловой и испуганной позе, спиной к мертвецам, всматриваясь в даль, всей тяжестью тела навалившись на пальцы, которыми упирался в землю, настороженный, с приподнятой над краем рва головой. Повадки шакала вполне уместны при свершении некоторых действий.

Затем он выпрямился, но тут же подскочил на месте. Он почувствовал, как кто-то ухватил его сзади. Он оглянулся. Вытянутые пальцы руки сжались, вцепившись в полу его шинели.

Честный человек испугался бы, а этот ухмыльнулся.

— Гляди-ка! — сказал он. — Это, оказывается, покойничек! Ну, мне куда милее выходец с того света, чем жандарм.

Рука между тем ослабела и выпустила его. Усилие не может быть длительным в могиле.

— Вон оно что! — пробормотал бродяга. — Мертвец-то жив! Ну-ка, посмотрим!

Он снова наклонился, разбросал кучу, отвалил то, что мешало, ухватился за руку, высвободил голову, вытащил тело и спустя несколько минут поволок во тьме дороги, если не бездыханного, то во всяком случае потерявшего сознание человека. Это был кирасир, офицер и даже, как видно, в высоком чине: из-под кирасы виднелся толстый золотой эполет; каски на нем не было. Глубокая рана от удара саблей пересекала лицо, залитое кровью. Впрочем, руки и ноги, повидимому, у него остались целы благодаря тому, что по какой-то счастливой, если это слово употребимо здесь, случайности мертвецы образовали над ним что-то вроде свода, предохранившего его от участи быть раздавленным. Глаза его были сомкнуты.

На кирасе у него висел серебряный крест Почетного легиона.

Бродяга сорвал этот крест, исчезнувший тут же в одном из глубоких тайников его шинели.

Затем он нащупал карман для часов, обнаружил часы и взял их. Потом обшарил жилетные карманы, нашел кошелек и присвоил его себе.

Когда его старания помочь умирающему достигли этой стадии, офицер внезапно открыл глаза.

— Спасибо, — пробормотал он слабым голосом.

Резкость движений прикасавшегося к нему человека, ночная прохлада, свободно вдыхаемый свежий воздух вернули ему сознание.

Бродяга ничего не ответил. Он насторожился. В отдалении слышался шум шагов: вероятно, приближался какой-нибудь патруль.

— Кто выиграл сражение? — чуть слышным от смертельной слабости голосом спросил офицер.

— Англичане, — ответил грабитель.

Офицер продолжал:

— Поищите в моих карманах. Вы найдете там часы и кошелек. Возьмите их себе.

Это было уже сделано.

Однако бродяга сделал вид, что ищет, потом ответил:

— Карманы пусты.

— Меня ограбили, — сказал офицер, — жаль. Это досталось бы вам.

Шаги патрульных слышались все отчетливее.

— Кто-то идет, — прошептал бродяга, собираясь встать.

Офицер, с трудом приподняв руку, удержал его:

— Вы спасли мне жизнь. Кто вы?

Грабитель быстро, шопотом, ответил:

— Я, как и вы, служу во французской армии. Сейчас я должен вас оставить. Если меня здесь схватят, я буду расстрелян. Я спас вам жизнь. Теперь сами выпутывайтесь из беды, как знаете.

— В каком вы чине?

— Сержант.

— Ваша фамилия?

— Тенардье.

— Я не забуду ее, — сказал офицер. — А вы запомните мою. Моя фамилия Понмерси.

Книга вторая

КОРАБЛЬ «ОРИОН»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Номер 24601 становится номером 9430

Жан Вальжан был опять арестован.

¹Читатель не посетует, если мы не станем задерживаться на печальных подробностях этого события. Мы ограничимся лишь тем, что приведем здесь две краткие заметки, опубликованные газетами того времени несколько месяцев спустя после поразительного происшествия в Монрейле-Приморском.

Эти заметки несколько кратки, но не следует забывать, что в то время еще не существовало «Судебной газеты».

Первую заметку мы заимствуем из газеты «Белое знамя». Она датирована 25 июля 1823 года.

«Один из округов Па-де-Кале явился ареной довольно необычайного происшествия. Неизвестно откуда появившийся человек по имени Мадлен несколько лет тому назад благодаря новым способам производства возобновил старинный местный промысел — выделку искусственного гадата и мелких изделий из черного стекла. На этом он нажил значительное состояние и, не будем скрывать, обогатил одновременно округ. В благодарность за его заслуги его избрали мэром. Полиция обнаружила, что Мадлен был не кто иной, как нарушивший распоряжение о месте жительства бывший каторжник, приговоренный в 1796 году за кражу, по имени Жан Вальжан. Жан Вальжан был снова заключен в острог. Повидимому, до своего ареста ему удалось получить в банкирской конторе г-на Лафита свой вклад, превышавший полмиллиона, который он

нажил, впрочем, как говорят, вполне законно, из доходов от своего производства. Узнать, куда спрятал он эти деньги, после того как его отправили на галеры в Тулон, установить не удалось».

Вторая заметка, несколько более подробная, взята из «Парижской газеты» от того же числа.

«Отбывший срок и освобожденный каторжник по имени Жан Вальжан предстал перед уголовным судом Вара при обстоятельствах, заслуживающих внимания. Этому негодяю удалось обмануть бдительность полиции; он переменил свое имя и добился того, что его избрали мэром одного из наших северных городков. В этом городе он открыл довольно крупное предприятие. Но в конце концов он был разоблачен и задержан благодаря неутомимому усердию прокурорского надзора. Он сожительствовал с публичной женщиной, которая в момент его ареста от потрясения скончалась. Этот негодяй, обладающий геркулесовской силой, нашел способ бежать, но спустя три-четыре дня полиция вновь задержала его, уже в Париже, в тот момент, когда он садился в один из небольших дилижансов, курсирующих между деревней Монфермейль (округ Сены и Уазы) и столицей. Говорят, что он воспользовался этими тремя-четырьмя днями свободы и вынул значительную сумму денег, помещенную им у одного из наших виднейших банкиров. Эту сумму исчисляют в шестьсот — семьсот тысяч франков. Согласно обвинительному акту, он запрятал эти деньги в таком месте, которое было известно лишь ему одному, и захватить деньги не удалось. Как бы там ни было, вышеупомянутый Жан Вальжан был доставлен в уголовный суд Варского округа, где ему было предъявлено обвинение в вооруженном нападении на большой дороге, около восьми лет тому назад, на одного из тех славных малых, которые, как говорит в своих бессмертных строках фернейский патриарх, —

Приходят из Савойи каждый год
И сажею забитый дымоход
Искусно в вашем доме прочищают.

Этот бандит отказался от защиты. В мастерски построенном и красноречивом выступлении государственного

прокурора было установлено, что кража совершена при содействии сообщников и что Жан Вальжан является членом воровской шайки, орудующей на юге. На основании этого Жан Вальжан был признан виновным и приговорен к смертной казни. Преступник отказался подать кассационную жалобу. Король, в бесконечном милосердии своем, пожелал смягчить наказание, заменив смертную казнь бессрочной каторгой. Жан Вальжан был тотчас же направлен в Тулон на галеры».

Еще не было забыто, что у Жана Вальжана в Монрейле-Приморском существовали связи с духовными лицами. Некоторые газеты, и среди них «Конституционалист», изобразили это смягчение приговора как торжество партии духовенства.

Жан Вальжан переменял на каторге номер. Он стал зваться номером 9430.

Чтобы уже более не возвращаться к этому вопросу, заметим, однако, что вместе с господином Мадленом из Монрейля-Приморского исчезло и благосостояние города. Во всяком случае, все то, что предвидел он в тревожную, полную сомнений ночь, сбылось; не стало его, не стало и души города. После его падения в Монрейле начался тот жестокий дележ, неизбежный при жизненном крушении выдающегося человека, тот роковой распад процветающих дел, который ежедневно втихомолку совершается в обществе и который история заметила только однажды, ибо произошел он после смерти Александра Великого. Лейтенанты возводят себя в сан королей; подмастерья объявляют себя хозяевами. Возникли зависть и соперничество. Обширные мастерские г-на Мадлена были закрыты, строения превратились в руины, рабочие разбрелись. Одни оставили страну, другие оставили ремесло. Отныне все начало делаться в малых, а не в больших масштабах; для наживы, но не для всеобщего блага. Связующее начало исчезло; всюду возникли конкуренция и ожесточение. Г-н Мадлен стоял во главе всего и всем управлял. Он пал — и каждый принялся тянуть в свою сторону. Дух созидания сразу сменился духом борьбы, сердечность — черствостью, благожелательное ко всем отношение организатора — взаимной ненавистью. Нити, связанные г-ном Мадленом, спутались и порвались, способ

производства подменили, продукцию обесценили, доверие убили; с уменьшением заказов снизился и сбыт, заработок рабочих упал, мастерские остановились, наступило разорение. И ничего больше не делалось для бедных. Исчезло все.

Само государство заметило, что где-то кого-то не стало. Менее чем через четыре года после приговора уголовного суда, который засвидетельствовал в интересах каторжных тюрем тождество г-на Мадлена с Жаном Вальжаном, издержки по взиманию налогов в округе Монрейля-Приморского удвоились, и г-н де Виллель сделал об этом публичное заявление в феврале 1827 года.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой прочтут двуступище, сочиненное, быть может, дьяволом

Прежде чем продолжит нашу повесть, будет кстати рассказать с некоторыми подробностями об одном странном случае, происшедшем в Монфермейле приблизительно в то же время и, быть может, подтверждающем некоторые предположения государственного прокурора.

В окрестностях Монфермейля сохранилось старинное поверье, тем более примечательное и любопытное, что народное поверье в такой непосредственной близости от Парижа — это то же, что алоэ в Сибири. Мы принадлежим к числу тех, кто почитает все, что можно рассматривать как редкое растение. Вот оно, это монфермейльское поверье. Дьявол с незапамятных времен избрал монфермейльский лес местом, где он укрывал свои сокровища. Кумушки утверждали, будто не диво встретить здесь в сумерки, в глуши леса, черного человека, в сабо, в холщовых шароварах и блузе, похожего не то на ломового извозчика, не то на дровосека. Приметен он тем, что на голове у него вместо колпака или шляпы — огромные рога. Это действительно важная примета. Обычно этот человек занят тем, что роет яму. Существуют три способа извлечь выгоду из этой встречи. Первый — приблизиться к нему и заговорить с ним. Тогда ты замечаешь, что этот человек — обыкновенный крестьянин, что черным он кажется от сгустившихся сумерек, что никакой ямы он не роет, а косит траву для своих коров; то же, что принимают за его рога, — просто-

напросто торчащие у него за спиной навозные вилы, зубья которых в измененной вечерним освещением перспективе кажутся рогами на его голове. Ты возвращаешься домой и умираешь в течение недели. Второй способ — наблюдать за ним, дожидаться, когда он выроет яму, опять засыплет ее и уйдет; тогда надо быстро подбежать к ней, разрыть и овладеть «сокровищем», которое туда, без сомнения, спрятал черный человек. В этом случае ты уже умрешь в течение месяца. Наконец третий способ — совсем не заговаривать с черным человеком, не глядеть на него, а убежать со всех ног. Тогда ты проживешь до года.

Поскольку все три способа равно имеют свои неудобства, то второй представляет по крайней мере то преимущество, что, правда, всего лишь на месяц, но ты овладеешь сокровищем, и потому этот способ считается предпочтительным. Смельчаки, которые всюду пытаются удачу, нередко, как уверяют люди, раскапывали ямы, вырытые черным человеком, и пробовали обокрасть дьявола. Повидимому, результаты подобных действий оказывались весьма скромными, если доверять преданию, и особенно двум загадочным стихам на варварской латыни, которые по этому поводу сочинил злобредный нормандский монах по имени Трифон, кое-что смекавший в колдовстве. Этот Трифон погребен в аббатстве Сен-Жермен в Бошервиле, близ Руана, и на его могиле родятся жабы.

Итак, приходится затрачивать огромные усилия, ибо эти ямы обычно очень глубоки; потеешь, роешь, трудишься целую ночь (потому что это делается именно ночью), рубаха вся взмокнет, свеча сгорит, мотыга зазубрится, и когда, наконец, докопаешься до дна ямы, когда «сокровище» — твое, что же ты находишь? Что представляет собой это сокровище дьявола? Иногда су, иногда экую или камень, а то скелет или окровавленный труп; порой это привидение, сложенное вчетверо, как лист бумаги, лежащий в бумажнике, а бывает и так, что вообще ничего не находишь. Вот обо всем этом, повидимому, и сообщают нескромным и любопытным людям стихи Трифона:

Fodit, et in fossa thesauros condit opaca
As, nummos, lapides, cadaver, simulacra, nihilque ¹.

¹ Он копает яму и прячет в этот тайник сокровища: деньги, монеты, камни, трупы, призраки и ничто (лат.).

Как будто и донные там находят то пороховницу с пулями, то старую засаленную и порыжевшую колоду карт, которой, несомненно, играл сам дьявол. О последних двух находках Трифон не упоминает ни слова, но следует принять во внимание, что Трифон жил в двенадцатом веке и что вряд ли у дьявола хватило бы ума изобрести порох до Роджера Бэкона, а карты — до Карла VI.

Впрочем, тот, кто будет играть в эти карты, может быть уверен, что он проиграется в пух и в прах; что же касается пороха из пороховницы, то он обладает свойством взрывать ружья вам в лицо.

Так вот, вскоре после того как прокурорскому надзору показалось, что бывший каторжник Жан Вальжан во время своего кратковременного побега бродил вблизи Монфермейля, люди в этой самой деревушке заметили, что один старый шоссейный рабочий, по прозвищу Башка, частенько «делает вылазки» в лес. В той местности ходили слухи, будто Башка был когда-то на каторге; он состоял под наблюдением полиции, и так как он нигде не находил себе работы, то администрация нанимала его за пониженную плату на починку шоссейной дороги между Ганьи и Ланьи.

На этого Башку все местные жители поглядывали косо. Он был слишком почтительный, слишком смиренный, перед каждым ломал шапку, трепетал перед жандармами и заискивающе им улыбался. Поговаривали, что он, видимо, связан с разбойничьей шайкой, его подозревали и в том, что он с наступлением темноты устраивает засады в кустах. В его пользу говорило лишь то, что он был пьяницей.

А заметили за ним вот что.

С некоторых пор Башка очень рано кончал настилку щебня и починку дороги и уходил в лес со своей киркой. Его встречали под вечер на самых пустынных лужайках, в самой дикой лесной чаще, где он как будто что-то искал, а иногда рыл ямы. Проходившие мимо кумушки принимали его с первого взгляда за Вельзевула, а потом хоть и узнавали Башку, но это отнюдь не успокаивало их. Такие встречи, казалось, сильно раздражали его. Не было сомнений, что он избегал чужих глаз и что в его поступках кроется какая-то тайна.

В деревне говорили: «Ясно, как божий день, что где-то появился дьявол. Башка видел его и теперь разыскивает.

По правде сказать, у него хватит смекалки заграбастать кубышку Люцифера». А вольнодумцы добавляли: «Еще посмотрим, кто кого надует: Башка сатану, или сатана Башку». Старухи при этом усиленно крестились.

Однако блуждания Башки по лесу кончились, он вернулся к своей обычной работе на шоссе. Люди стали судачить о другом.

Все же некоторые продолжали любопытствовать, полагая, что за этим, вероятно, что-то кроется, — отнюдь не баснословные сокровища, упоминаемые в легенде, но какая-нибудь неожиданная находка, более основательная и осязаемая, чем банковые билеты дьявола, и что в какой-то степени тайну ее этот шоссе́йный рабочий несомненно узнал. Больше всех заинтересованы были школьный учитель и трактирщик Тенардьё, друживший с кем попало и не погнушавшийся сблизиться с Башкой.

— Правда, он был на каторге, — говорил Тенардьё. — Но, господи боже мой, никогда нельзя знать, кто там сейчас и кому там быть суждено!

Однажды вечером школьный учитель заявил, что в быдое время правосудие занялось бы вопросом о том, что делал Башка в лесу, и конечно принудило бы его заговорить, а в случае необходимости подвергло бы его пытке еодой.

— Подвергнем его пытке вином, — сообразил Тенардьё.

Приложили все старания и заставили старого бродягу пить. Башка выпил очень много, но сказал очень мало. С изумительным искусством и в точной пропорции он сумел сочетать жажду пропойцы со сдержанностью судьи. Все же, упорно возвращаясь к интересующему их предмету, а также соединяя и сопоставляя некоторые вырвавшиеся у него туманные слова, Тенардьё и школьный учитель представили себе следующую картину.

Однажды Башка, отправившись рано утром на работу, очень удивился, заметив в лесу под кустом лопату и кирку, «вроде как припрятанные». Но он решил, что эта лопата и кирка принадлежат водовозу, дядюшке Шестипечному, и на этом успокоился было. Однако вечером того же дня, притаившись за большим деревом так, что сам не мог быть никем замечен, он увидел, как по дороге, ведущей в лесную глубь, шел «один человек, не из местных жителей,

которого он, Башка, прекрасно знал». В переводе Тенардые это означало: *товарищ по каторге*. Башка наотрез отказался назвать его имя. Этот его знакомец нес какой-то сверток четырехугольной формы, вроде большой коробки или маленького сундучка. Башка удивился. Однако только спустя семь-восемь минут ему пришлось на ум последовать за «знакомцем». Но было уже поздно, тот скрылся в лесной чаще, тьма сгустилась, и Башка не мог бы догнать его. Тогда он решил наблюдать за лесной опушкой. «Ночь была месячная». Спустя два или три часа Башка заметил, как тот человек выходил из кустарников, неся с собой уже не сундучок, а кирку и лопату. Башка дал ему возможность удалиться, не подумав даже заговорить с ним, ибо знал, что тот втрое сильнее его, вооружен киркой и, конечно, убьет его, если припомнит и если увидит, что и его самого узнали. Трогательное излияние чувств у двух повстречавшихся старых друзей! Но лопата и кирка были для Башки как бы лучом света. Он помчался к тому кусту, где был утром, но не нашел там ни того, ни другого. Из этого он заключил, что знакомец его, углубившись в лес, вырыл киркой яму, запрятал в нее сундучок и закопал яму лопатой. Так как сундучок был слишком мал для того, чтобы в нем мог поместиться труп, значит в нем были деньги. Вот почему Башка предпринял свои розыски. Он обследовал, изрыл и обыскал весь лес, обшарил все места, где ему казалось, что земля свежо вскопана. Напрасно!

Он ничего не «добыл». В Монфермейле стали забывать об этом. Только некоторые бесстрашные кумушки все еще повторяли: «Уж будьте уверены, что шоссейный рабочий из Ганьи всю эту кутерьму не зря затеял: тут наверняка объявился дьявол».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

из которой видно, что надо предварительно поработать над звеном цепи, чтобы разбить его одним ударом молотка

В конце октября того же 1823 года жители Тулона увидели, как после жестокой бури в их гавань вошел корабль «Орион», чтобы исправить некоторые повреждения. Впоследствии этот корабль нес службу учебного судна в

Бресте, а в то время он еще числился в средиземноморской эскадре.

Это судно, как оно ни было разбито, ибо море основательно потрепало его, все же произвело впечатление, выйдя на рейд. На нем развевался — не вспомню уже какой — флаг, и в его честь по уставу полагался салют из одиннадцати пушечных залпов, на которые «Орион» отвечал выстрелом на выстрел; итого двадцать два выстрела. Было подсчитано, что вместе с орудийными залпами для воздания королевских и военных почестей, для обмена изысканно вежливыми приветствиями, согласно с правилами этикета, а также с установленным порядком на рейдах и цитаделях, вместе с ежедневными пушечными салютами всех крепостей и всех военных кораблей при восходе и закате солнца, при открытии и закрытии ворот и пр., и пр., цивилизованный мир на всем земном шаре каждые двадцать четыре часа производит сто пятьдесят тысяч холостых выстрелов. Считая по шести франков каждый пушечный выстрел; это составляет девятьсот тысяч франков в день, триста миллионов в год, превращающихся в дым. Это только небольшая подробность. Тем временем бедняки умирают с голоду.

1823 год был годом, который Реставрация окрестила «эпохой Испанской войны».

Эта война заключала в себе одной много событий и множество особенностей. Здесь дело шло о важнейших семейных интересах дома Бурбонов; о его французской ветви, помогающей и покровительствующей ветви мадридской, — иначе говоря, выполняющей долг старшинства; об очевидном возврате к нашим национальным традициям, осложненным зависимостью и подчинением северным кабинетам; о господине герцоге Ангулемском, прозванном либеральными газетами «героем Андюжара», который в позе триумфатора, идущей несколько вразрез с его безмятежным обликом, укрощал старый реальный терроризм инквизиции, схватившийся с химерическим терроризмом либералов; о воскресших, к великому ужасу знатных вдов, санкюлотах, под именем *descamisados*¹; о монархизме, ставящем препоны прогрессу, получившему название анархии; о внезапно прерванной подспудной деятельности теорий

¹ Безрубашечники (*исп.*).

89-го года; о запрете, наложенном Европой на совершающую свое кругосветное путешествие французскую мысль; о стоящем рядом с престолонаследником Франции генералиссимусе принце Кариньяне — впоследствии Карле-Альберте, который принимал участие в этом крестовом походе королей против народов, пойдя добровольцем и пристегнув гренадерские красной шерсти эполеты. Здесь дело шло о вновь выступивших в поход солдатах Империи, постаревших после восьмилетнего отдыха, грустных и уже под белой кокардой; о трехцветном знамени, развевающемся на чужбине над героической горсточкой французов, подобно тому как развевалось тридцать лет тому назад в Кобленце белое знамя; о монахах, присоединившихся к нашим ветеранам; об усмиренном штыками духе свободы и нововведений; о принципах, уничтоженных пушечными выстрелами; о Франции, разрушающей своим оружием то, что было создано собственной ее мыслью. Наконец здесь дело шло о продажности вражеских генералов, о нерешительности солдат, о городах, осажденных не столько тысячами штыков, сколько миллионами франков; о полном отсутствии военной опасности, наряду с возможностью взрыва, как это случается во внезапно захваченном и занятом неприятелем минированном подкопе. Здесь было мало пролитой крови, мало чести для завоевателей, позор для некоторых, а славы — ни для кого. Такова была эта война, затеянная принцами королевской крови, потомками Людовика XIV, и руководимая полководцами, преемниками Наполеона. Ей выпала печальная участь: она не осталась в памяти ни как пример великой войны, ни как пример великой политики.

В ней было совершено несколько смелых нападений, — взятие Трокадеро является среди них одной из блестящих военных операций; но в целом, повторяем, трубы этой кампании звучали надтреснуто, все вместе внушало сомнение, и история одобряет то, что Франция не сразу согласилась признать этот ложный триумф. Бросалось в глаза, что некоторые испанские офицеры, обязанные сопротивляться, сдавались слишком поспешно, к победе примешивалась мысль о лихоимстве: казалось, здесь скорее имеет место подкуп генералов, чем выигранные сражения, и солдаты-победители возвращались униженными. Эта война дей-

ствительно умаляла достоинство нации, в складках ее знамени читалось: «Французский банк».

Солдаты войны 1808 года, на которых так страшно обрушилась осажденная ими Сарагосса, в 1823 году хмурились от того, что перед ними так легко распахивались ворота крепостей, и начинали жалеть о Палафоксе. Таков нрав французов, предпочитающих лучше видеть перед собой Растопчина, чем Баллестероса.

С точки зрения еще более серьезной, должно также подчеркнуть, что, оскорбляя во Франции дух армии, эта война возмущала и дух демократии. То был замысел порабощения. В этой кампании конечной целью французского солдата, этого сына демократии, было завоевание рабства для других. Отвратительное противоречие. Франция рождена для того, чтобы пробуждать дух народов, а не подавлять его. С 1792 года все революции в Европе — это французская революция: сияние свободы излучает Франция. Это излучение подобно солнечному. «Слепец, кто этого не видит!» — воскликнул Бонапарт.

Таким образом, война 1823 года была одновременно покушением на великодушную испанскую нацию и покушением на французскую революцию. И именно Франция творила это чудовищное насилие; правда, по принуждению, ибо исключая войны освободительные, все, что совершают армии, они совершают по принуждению. «Пассивное повиновение» — вот слово, определяющее их действия. Армия представляет собою необычайный и мастерской образчик расчета, при котором сила извлекается из огромной суммы бессилия. Так объясняется война, затеянная человечеством против человечества вопреки человечеству.

Что же касается Бурбонов, то война 1823 года была для них роковой. Они приняли ее за успех. Они совершенно упустили из виду, какая опасность таится в удушении идеи путем запрета. В своей наивности они забылись до такой степени, что, придя к власти, узаконили, как одну из основ своей силы, широчайшую терпимость к преступлению. Дух злого умысла вторгся в их политику. 1830 год зародился в 1823 году. Испанский поход в их решениях стал аргументом в пользу насилия и рискованных авантур «священного права». Франция, восстановив

el rey neto¹ в Испании, легко могла восстановить неограниченную королевскую власть и у себя. Приняв послушание солдата за согласие нации, Бурбоны совершили опасную ошибку. Подобное легковерие губит троны. Не следует дремать ни под тенью мансенилового дерева, ни под крылом армии.

Но возвратимся к кораблю «Орион».

Во время маневров армии под командованием принца-генералиссимуса, в Средиземном море крейсировала эскадра. Мы уже упоминали, что «Орион» принадлежал к этой эскадре и что буря вынудила его зайти в Тулонский порт.

Появление военного корабля в гавани таит в себе какую-то притягательную силу и занимает воображение толпы. Это зрелище — величественно, а толпа любит все величественное.

Линейный корабль, борющийся со стихией, — пример одного из самых великолепных столкновений человеческого гения с могуществом природы.

Линейный корабль представляет собой сочетание частей, от самых тяжелых, какие только существуют, до самых невесомых, ибо ему приходится сталкиваться сразу с тремя состояниями вещества — твердым, жидким и газообразным — и бороться против всех трех. У него есть одиннадцать железных когтей, чтобы цепляться за гранит на дне морском, и больше крыльев и надкрылий, чем у летучих насекомых, чтобы ловить в облаках попутный ветер. Его дыхание вылетает из ста двадцати пушек, словно из чудовищных оркестровых труб, и надменно вторит грому. Океан пытается сбить его с пути устрашающим однообразием своих волн, но у корабля есть душа — компас, дающий ему совет и неизменно указывающий на север. В темные ночи его сигнальные фонари заменяют звезды. Итак, против ветра у него есть канат и парус, против волн — дерево, против скал — железо, медь и свинец, против мрака — свет, против беспредельного простора — магнитная стрелка.

Чтобы получить представление о гигантских размерах всех этих отдельных частей, которые в совокупности

¹ Единственно достойный король (*исп.*) — формула испанского абсолютизма.

составляют линейный корабль, достаточно в гавани Бреста или Тулона войти внутрь шестизэтажного стапеля. Это, так сказать, защитный колпак над строящимся судном. Вон та огромная балка — рея; эта массивная деревянная колонна, лежащая на земле и видная насколько хватает глаз, — грот-мачта. Ее длина, если считать от основания в трюме до верхушки, теряющейся в облаках, равна шестидесяти саженьям, а ее диаметр у основания равен трем футам. Английская грот-мачта возвышается на двести семнадцать футов над грузовой линией судна. Во флоте наших предков употреблялись якорные канаты, у нас — якорные цепи. Обыкновенный круг корабельных цепей с одного стопушечного судна имеет четыре фута в высоту, двадцать футов в ширину и восемь футов в толщину. А сколько требуется строительного материала, чтобы построить такой корабль? — спросите вы. Три тысячи кубических метров. Это настоящий пловучий лес.

Кроме того, необходимо заметить, что здесь идет речь о военном судне, построенном сорок лет тому назад, о простом парусном судне; паровой двигатель, находившийся в те времена еще в младенческом состоянии, добавил позднее новые чудеса к этому диковинному сооружению, именуемому военным кораблем. В нынешнее время, например, смешанного типа винтовое судно представляет собою изумительную машину под парусами, поверхность которых равна трем тысячам квадратных метров, и с паровым котлом в две тысячи пятьсот-лошадиных сил.

Не говоря уже об этих поразительных новинках в судостроительном искусстве, даже старинное судно Христофора Колумба или Рюитера представляет собою один из величайших образцов человеческой изобретательности. Силы его так же неистощимы, как неистощимы дуновения воздуха, посылаемые бесконечностью; оно собирает ветер в свои паруса, оно не теряется среди необъятного разлива волн, оно плывет, оно царит.

Но наступает час, когда буря переламывает эту рею длиною в шестьдесят футов, словно соломинку, когда ветер гнет, словно тростник, эту грот-мачту вышиною в четыреста футов, когда этот якорь, который весит десять тысяч фунтов, ломается в пасти волн, как крючок рыболова в челюстях щуки, когда эти чудовищные пушки выпускают жалобный и бессильный рев, уносимый ветром в

мрак и пустоту, когда вся эта мощь и все это величие исчезают перед лицом высшего величия и высшей мощи.

Зрелище величайшей силы, пришедшей в состояние величайшей слабости, всегда заставляет людей задумываться. Вот почему в гаванях наблюдается такое множество любопытных, которые, сами хорошо не понимая зачем, толкуются около этих удивительных орудий войны и мореходства.

И вот ежедневно, с утра до вечера, набережные, мол и откосы шлюза тулонской гавани были усеяны толпами празднующихся и «зевак», как говорят в Париже, у которых только и было дела, что глазеть на «Орион».

Корабль был поврежден уже давно. Во время предшествовавших плаваний на его подводную часть налипли такие толстые слои раковин, что скорость его наполовину уменьшилась. В прошлом году корабль вытащили на сушу, чтобы соскоблить эти раковины, и затем он вновь ушел в море. Но соскабливание повредило крепления подводной части. Вблизи Балеарских островов наружная обшивка судна пострадала от ветра и отстала, а так как внутреннюю обшивку тогда не делали из листового железа, то судно дало течь. Бешено налетевший на него полуденный ветер пробил пушечный порт на бакборте и решетчатый помост на галюне, а также повредил руслени фокмачты. Вследствие этих повреждений «Орион» и возвратился в Тулонскую гавань.

Он бросил якорь около арсенала. Судно снаряжали и чинили. Со стороны штирборта корпус корабля поврежден не был, но несколько досок обшивки были, как это обычно делается, кое-где оторваны, чтобы внутрь мог проникнуть свежий воздух.

Однажды утром толпа, глазевшая на корабль, оказалась свидетельницей несчастного случая.

Экипаж занят был креплением парусов. Марсовой, который должен был взять верхний угол грот-марселя на штирборте, потерял равновесие. Он вдруг покачнулся, толпа, собравшаяся на набережной Арсенала, испустила крик; голова перевесила туловище, и человек повернулся вокруг реи, простирая руки к бездне. Падая, он успел ухватиться за перты под реей, сначала одной, а затем и другой рукой, и повис в воздухе. Под ним, на головокружительной глубине, расстиралось море. От сильного толчка

при его падении перты стали раскачиваться, словно качели. Человек летал на этой веревке из стороны в сторону, подобно камню в праще.

Помочь ему — значило подвергнуться страшному риску. Ни один матрос — все это были недавно призванные на военную службу местные рыбаки — не отважился на это. Тем временем несчастный марсовый начал уставать; разглядеть его лицо, искаженное смертельным ужасом, было нельзя, но по всем его движениям ясно было, что силы его иссякают. Руки его словно вывертывались в страшных судорогах. Каждое усилие, которое он делал, чтобы подтянуться вверх, только усиливало колебание снасти. Он не кричал, опасаясь утратить остаток сил. Все ожидали, что он вот-вот выпустит веревку, и иногда отворачивались, чтобы не видеть его падения. Бывают такие минуты, когда конец веревки, жердь, ветка дерева олицетворяют собою жизнь, и страшно наблюдать, как отделяется от них живое существо и падает наподобие спелого плода.

Вдруг все заметили человека, карабкавшегося по снастям с ловкостью оцелота. Человек этот был в красной одежде — значит, каторжник; на нем была зеленая шапка — значит, приговорен к каторге пожизненно. Когда он достиг марса, порыв ветра сорвал с него зеленую шапку и обнажил седую голову; человек этот не был молод.

Действительно, один из каторжников, посланных из острога работать на судне, сразу же подбежал к вахтенному офицеру и, среди смятения и суматохи экипажа, в то время как все матросы дрожали и не двигались с места, попросил офицера разрешить ему рискнуть жизнью для спасения марсового. По утвердительному знаку офицера он одним ударом молотка разбил цепь, прикованную к кольцу на его ноге, взял веревку и бросился на ванты. В ту минуту никто не заметил, с какой легкостью была разбита эта цепь. Об этом вспомнили лишь впоследствии.

В мгновение ока он был уже на рее. На несколько секунд приостановившись, он, казалось, взглядом измерял ее длину. Эти секунды, пока ветер раскачивал марсового на конце веревки, показались вечностью тем, кто смотрел на него. Наконец каторжник взглянул на небо, потом сделал шаг вперед. Толпа перевела дыхание. Он бегом побежал

по реке. Добравшись до ее края, он привязал к ней один конец веревки, которую он захватил с собою, другой же оставил висеть свободным, затем начал на руках скользить по этой веревке вниз. Всеми овладела невыразимая тревога: вместо одного человека теперь над бездной висели двое.

Казалось, паук готовился схватить муху; только здесь паук нес жизнь, а не смерть. Десять тысяч глаз были прикованы к этим людям. Ни единого возгласа, ни единого слова, все испытывают тот же трепет, у всех одинаково сдвинуты брови. Все затаили дыхание, словно боясь усилить малейшим дуновением ветер, который раскачивал двух несчастных.

Между тем каторжнику удалось спуститься к матросу. И как раз во-время: еще минута, и изнемогший, отчаявшийся человек сорвался бы в бездну. Каторжник одной рукой крепко обвязал его веревкой, за которую сам держался другою, и вот все увидели, как он снова взобрался на рею и подтянул к себе наверх матроса. С минуту он поддерживал его там, чтобы дать ему собраться с силами, потом схватил его на руки и понес по реке до эзельгофта, а оттуда до марса, где передал на руки товарищей.

Толпа принялась рукоплескать; некоторые из старых надзирателей смены каторжников заплакали, женщины на набережной обнимались, слышен был единодушный, звучащий какой-то яростью умиления крик: «Помиловать его!»

А он, считая своим долгом немедленно сойти вниз, чтобы присоединиться к партии каторжников, и желая побыстрее это сделать, скользнул по такелажу и побежал по нижней реке. Все взоры устремились на него. Было мгновение, когда толпу охватил страх: то ли от усталости, то ли по причине головокружения, но он вдруг приостановился и как будто покачнулся. Вдруг толпа испустила громкий вопль — каторжник упал в море.

Падение это грозило ему гибелью. Фрегат «Альжези-рас» стоял на якоре возле «Ориона», и несчастный упал между двух кораблей. Боялись, как бы он не попал под один из них. Четыре человека поспешно бросились к шлюпке. Толпа подбадривала их, всех снова охватила тревога. Человек не выплывал. Он канул в море, не возмущив поверхности, словно упал в бочку с маслом. Погру-

жали лот, ныряли. Тщетно! Искали до самого вечера, но ни живым, ни мертвым его не нашли.

На следующий день в тулонской газете появилась заметка «17 ноября 1823 года. Вчера каторжник из партии, работавшей на борту «Ориона», спасая матроса, упал в море и утонул. Тело его найти не удалось. Предполагают, что он попал между свай головной части арсенала. В тюремных списках человек этот числился под № 9430, имя его Жан Вальжан».

Книга третья

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЯ, ДАННОГО УМЕРШЕЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вопрос о водоснабжении в Монфермейле

Монфермейль расположен между Ливри и Шелем, на южном конце высокого плато, отделяющего Урк от Марны. Ныне это довольно большое торговое местечко, украшенное выбеленными виллами, а по воскресным дням — и жизнерадостными горожанами. В 1823 году в Монфермейле не было ни такого количества белых вилл, ни такого множества довольных горожан: это была затерянная в лесах деревенька. Правда, там и сям в ней попадались дачи в стиле минувшего столетия, которые легко можно было узнать по их барскому виду, по характерным для той эпохи балконам витого железа и продолговатым окнам, маленькие стекла которых переливались на белом фоне закрытых внутренних ставней всевозможными зелеными оттенками. Тем не менее Монфермейль был только деревенькой. Ни ушедшие на покой торговцы сукном, ни отдыхающие на даче стряпчие еще не набрали на нее. Это был тихий, прелестный уголок, ничего более собой не представлявший. Там вели сельский образ жизни, привольный, дешевый и простой. Только воды было мало, так как местечко находилось на возвышенности.

За ней приходилось идти довольно далеко. Конец деревни, который поближе к Ганьи, черпал воду из великолепных лесных прудов; противоположный конец, со стороны Шеля, там, где была церковь, питьевую воду мог брать только из небольшого родника на склоне косогора, близ дороги на Шель, приблизительно в четверти часа ходьбы от Монфермейля.

Таким образом, запастись водой было для каждой семьи довольно тяжелой обязанностью. Зажиточные дома, аристократия, в том числе и хозяин трактира Тенардые, платили по лиару за ведро воды одному старичку, который занимался ремеслом водовоза в Монфермейле и этим зарабатывал около восьми су в день. Но старичок летом работал до семи часов вечера, а зимой до пяти, и как только темнело, как только закрывались ставни в нижних этажах, тот, у кого не оставалось воды для питья, должен был идти за ней сам или обходиться без воды до утра.

Это и было постоянным источником ужаса для несчастного создания, которое читатель, быть может, не забыл, — для маленькой Козетты. Вспомните, что держать Козетту было выгодно для супругов Тенардые по двум причинам: они брали плату с матери и заставляли работать дитя. И когда мать перестала присылать деньги, а из предыдущих глав читатель знает, почему, Тенардые все же оставили девочку у себя. Она заменяла им служанку. Когда воды нехватало, за ней посылали Козетту. И девочка, умиравшая от страха при одной только мысли о том, что ей придется ночью идти к роднику, тщательно следила, чтобы в доме всегда была вода.

Рождество 1823 года праздновалось в Монфермейле особенно оживленно. В первую половину зимы погода стояла мягкая: не было еще ни морозов, ни снегопада. Приехавшие из Парижа фокусники получили от мэра разрешение поставить свои балаганы на главной улице села, а компания странствующих торговцев, в силу такой же льготы, построила будки на церковной площади до самой улицы Хлебопекров, где находилась, как известно, харчевня Тенардые. Весь этот люд наводнял постоянные дворы и кабаки, внося шумную и веселую струю жизни в эту глухую, спокойную деревушку. В качестве добросовестного историка мы должны даже упомянуть о том, что среди всевозможных диких, появившихся на площади, был зверинец, где уродливые шуты в лохмотьях, неизвестно откуда взявшиеся, показывали крестьянам Монфермейля в 1823 году одного из тех ужасных бразильских кондоров, которых королевский музей приобрел лишь в 1845 году и у которых глаза похожи на трехцветную кокарду. Если не ошибаюсь, зоологи называют эту птицу *Caracara Polyborus*; она принадлежит к разряду хищников и семей-

ству ястребиных. Несколько бравых старых солдат-бонапартистов, живших на покое в деревушке, приходили с благоговением поглядеть на эту птицу. Шуты уверяли, что такая трехцветная кокарда — исключительный феномен, созданный господом богом специально для их зверинца.

В рождественский сочельник несколько возчиков и странствующих торговцев сидели вокруг стола, на котором горело четыре или пять свечей, в низкой зале харчевни Тенардые. Эта зала ничем не отличалась от залы любого кабака: столы, оловянные жбаны, бутылки, пьяницы, курильщики, мало света, много шума. Впрочем, два модных в ту пору среди горожан предмета, на другом столе, свидетельствовали о том, что это был 1823 год, а именно: калейдоскоп и лампа из узорчатой белой жести. Кабатчица присматривала за ужином, поспевавшим в ярко пылавшей печи; супруг ее пил с гостями, толкуя о политике.

Кроме разговоров политических, главной темой которых были война в Испании и господин герцог Ангулемский, среди громкого гомона слышались замечания, имевшие чисто местный интерес, вроде:

— Вон сколько выжали вина кругом Нантера и Сюрена, — кто считал, что получит бочек десять, получил все двенадцать. Из-под давила ручьями текло. — Как же так? Виноград-то ведь еще не поспел? — В этих местах не к чему ждать, пока он поспеет. Если собираешь спелый, так вино, чуть весна, и загустело. — Стало быть, это совсем слабое вино? — У них вина еще послабее, чем тут. А виноград собирать нужно, когда он зеленый.

И т. д.

Потом слышались выкрики мельника:

— Разве мы можем отвечать за то, что насыпано в мешки? Там попадается пропасть мелких зерен, копать с ними нам недосуг, вот и приходится пускать все как есть под жернов. Там и куколь, и медунка, и ржавинка, и вика, и журавлиный горох, и конопля, и лисий хвост, и видимо-невидимо всякой другой дряни, не считая мелких камешков, которых другой раз полно в зерне, особенно в бретонском. Мне такая же охота молоть эту бретонскую рожь, как пильщику распиливать бревна, в которые набито гвоздей. Посудите сами, сколько скверной трухи попадает в помол. А потом народ жалуется на плохую муку. И зря! Мы в этом не виноваты.

В простенке между окнами косарь, сидевший за столиком с землевладельцем, который торговался с ним из-за цены на весенние луговые работы, говорил:

— Что трава сырая, беды никакой нет. Ее даже спорей косить. Роса полезна, сударь. Но все одно, трава эта ваша молоденькая да неподатливая пока что. Уж очень нежна, так и клонится под косой.

И т. д.

Козетта сидела на своем обычном месте, на перекладине кухонного стола около очага. Одета в лохмотья, в деревянных башмаках на босу ногу, она, при свете очага, вязала шерстяные чулки для маленьких девочек Тенардые. Под стульями играл котенок. Из соседней комнаты доносились смех и болтовня звонких детских голосов: то были Эпонины и Азельма.

В углу, возле печи, на гвозде висела плетть.

Порой пронзительный плач ребенка, находившегося где-то в доме, врывался в шум харчевни. Это кричал маленький сын хозяйки, родившийся в одну из предыдущих зим, «неизвестно почему, — говорила она, — вероятно, из-за холода». Ему шел четвертый год. Мать хотя и выкормила его, но не любила. Когда отчаянные вопли малыша становились слишком докучными, Тенардые говорил жене: «Слышишь, как твой сын развизжался. Пойди-ка погляди, чего ему там надо». — «А ну его! Надоел он мне!» — отвечала мать. И покинутый ребенок продолжал кричать в потемках.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Два законченных портрета

До сей поры в этой книге чета Тенардые была обрисована лишь в профиль; пришло время рассмотреть их со всех сторон и под всеми их личинами.

Самому Тенардые только что перевалило за пятьдесят. Г-жа Тенардые приближалась к сорока годам, что для женщины равно пятидесяти; таким образом, между мужем и женой было полное соответствие возраста.

Быть может, читатель со времени своего первого знакомства с нею сохранил еще некоторое воспоминание об этой высокой, белокурой, румяной, жирной, мясистой,

широкоплечей, огромной и подвижной супруге Тенардье. Она происходила, как мы уже говорили, из породы тех ди-карок-великанш, что ломаются в ярмарочных балаганах, привязав булыжники к волосам. Она одна делала все по дому: стлала постели, убирала комнаты, мыла посуду, стряпала — одним словом, была и грозой, и ясным днем, и домовым этого трактира. Ее единственной служанкой была Козетта, мышонок в услужении у слона. Все дрожало при звуке голоса Тенардье: стекла, мебель, люди. Ее широкое лицо, усеянное веснушками, напоминало шумовку. У нее росла борода. Это был настоящий крюч-ник, переодетый в женское платье. Она мастерски умела ру-гаться и хвалилась тем, что ударом кулака разбивает орех. Если бы не романы, которые она читала и которые порой самым странным образом пробуждали в кабатчице жеман-ницу, то никому никогда не пришло бы в голову назвать ее женщиной. Эта Тенардье являлась как бы сочетанием рыночной торговли с мечтательной девицей. Услышав, как она разговаривает, вы бы сказали: «Это жандарм»; заметив, как она пьянствует, вы бы сказали: «Это извоз-чик»; увидев, как она обращается с Козеттой, вы бы сказали: «Это палач». Когда она молчала, изо рта у нее торчал зуб.

Сам Тенардье был худой, бледный, костлявый, тощий и тщедушный человек, казавшийся болезненным, хотя обладал отменным здоровьем, — с этого начиналось прису-щее ему плутовство. Обычно он из предосторожности улы-бался и был вежлив почти со всеми, даже с нищими, кото-рым отказывал в милостыне. У него был взгляд хорька и вид литератора. Он очень был похож на портреты аббата Делиля. Он рисовался тем, что пил вместе с возчиками. Никому никогда не удавалось напоить его пьяным. Он не выпускал изо рта большую трубку, носил блузу, а под блузой — старый черный сюртук. Он старался произвести впечатление человека начитанного и материалиста. Чтобы придать вес своим словам, он часто упоминал имена Воль-тера, Реналья, Парни и даже, как это ни странно, святого Августина. Он утверждал, что у него есть своя «система». Сверх того он был отъявленный мошенник. Мошенник-фи-лософ. Подобного рода разновидность существует. Чита-тель помнит, что он выдавал себя за солдата. Несколько приукрашивая, он рассказывал, что в бытность свою

сержантом не то 6-го, не то 9-го легиона он один, против эскадрона гусар смерти, прикрыл своим телом от картечи «опасно раненного генерала» и спас ему жизнь. Этот случай послужил ему поводом украсить стену дома блистательной вывеской, а окрестному люду — прозвать его харчевню «кабачком сержанта при Ватерлоо». Он был либерал, классик и бонапартист. Он внес свое имя в список жертвователей на «Убежище». В деревне толковали, что он когда-то готовился в священники.

Мы же полагаем, что готовился он всего-навсего в трактирщики. Этот негодяй смешанной масти был, по всей вероятности, во Фландрии каким-нибудь фламандцем из Лилля, в Париже — французом, в Брюсселе — бельгийцем и чувствовал себя в своей тарелке как по эту, так и по ту сторону границы. Его подвиг при Ватерлоо известен. Как видит читатель, он его слегка приукрасил. Смена удач и неудач, хитрые уловки, рискованные предприятия составляли содержание его жизни; нечистая совесть влечет за собой неупорядоченное существование. Не лишено вероятности, что в бурное время 18 июня 1815 года Тенардь принадлежал к той разновидности маркитантов-мароде-ров, о которых мы упоминали выше и которые, разъезжая повсюду, продавали одним, грабили других и, руководимые чутьем, следовали обычно всей семьей — муж, жена и дети — в какой-нибудь хромоногой тележке за движущимися впереди частями армии-победительницы. Завершив кампанию, заработав, как он выражался, «малость деньжат», он поселился в Монфермейле, где и открыл харчевню.

Эти «деньжата», состоявшие из кошельков и часов, золотых перстней и серебряных крестов, собранных им во время жатвы на бороздах, усеянных трупами, не представляли все же собою настолько значительных средств, чтобы обеспечить надолго этого солдатских вин раздатчика, превратившегося в кабатчика.

В движениях Тенардь было нечто прямолинейное, что отдавало казармой, когда он бранился, и семинарией, когда он крестился. Он был краснбай и выдавал себя за ученого. Однако школьный учитель заметил, что разговор у него «с изъянцем». Счета проезжающим он составлял превосходно, но опытный глаз обнаружил бы в них иногда орфографические ошибки. Тенардь был скрытен, жаден,

ленив и хитер. Он не брезговал служанками, и потому его жена их больше не держала. Великанша была ревнива. Ей казалось, что этот щедедушный желтый человечек является предметом соблазна для всех женщин.

Сверх того Тенардые, человек коварный и хорошо владеющий собой, был мошенником из породы осторожных. Этот вид — наихудший; ему свойственно лицемерие.

Это не означает, что при случае Тенардые не был способен прийти в такую же ярость, как и его жена, хотя бывало это с ним редко. Но так как он злобился на весь род людской, так как в нем постоянно пылало горнило глубочайшей ненависти, так как он принадлежал к числу людей, которые постоянно мстят, которые обвиняют все окружающее во всех своих неудачах и несчастьях и, словно их обиды вполне законны, всегда готовы взвалить на первого встречного весь груз разочарований, банкротств и бедствий своей жизни, то в иные минуты, когда все эти чувства, поднимаясь подобно дрожжам, пенились у него на губах и застилали ему глаза, он становился ужасен. Горе тому, кто вставал на его пути в это мгновение!

Помимо всех своих прочих свойств, Тенардые был наблюдателен и проницателен, болтлив или молчалив, в зависимости от обстоятельств, и всегда чрезвычайно смышлен. В его взгляде было нечто, напоминавшее взгляд моряка, привыкшего щурить глаза в подзорную трубу. Тенардые был государственным мужем.

Всякий входящий в первый раз в харчевню, глядя на жену Тенардые, говорил себе: «Вот кто хозяин дома». Заблуждение! Она не была даже хозяйкой. И тем и другим был ее супруг. Она исполняла, он придумывал. Путем какого-то магнетического воздействия, незаметного, но постоянного, он управлял всем. Ему достаточно было слова, а иногда только знака, и мастодонт повиновался. Для жены Тенардые, хотя она и не отдавала себе в этом отчета, ее муж являлся каким-то особенным, высшим существом. Ей можно было поставить в заслугу ее поведение: никогда, даже если бы и возникло у нее какое-либо разногласие с «господином Тенардые» (гипотеза, впрочем, недопустимая), она «при чужих людях» ни в чем бы не перечила ему. Она никогда не совершала той ошибки, которую так часто совершают жены и которую на парламентском

языке именуют «подрывом власти». Хотя единодушные их конечной целью имело одно лишь зло, но в покорности жены Тенардые своему мужу таилось какое-то благоговейное поклонение. Эта гора мяса, этот ураган повиновался мановению мизинца тщедушного деспота. В этом проявлял себя, пусть в искаженной и причудливой форме, великий, всеобщий закон: преклонение материи перед духом; некоторые формы уродства имеют право существовать даже в самых недрах вечной красоты. В Тенардые таилось что-то загадочное, отсюда и вытекало неограниченное господство этого мужчины над этой женщиной. Бывали минуты, когда он казался ей зажженным светильником; в иные — она чувствовала лишь его когти.

Эта женщина была ужасным существом; она любила только своих детей и боялась только своего мужа. Матерью она была потому, что относилась к млекопитающим. Впрочем, ее материнское чувство сосредоточивалось только на дочерях и, как мы увидим в дальнейшем, не распространялось на сыновей. А мужчина — тот был поглощен только одной мыслью: разбогатеть.

Однако ему это не удавалось. Для такого великого таланта, каким он был, не находилось достойного поприща. Тенардые в Монфермейле разорялся, если только возможно разорение для круглого нуля; в Швейцарии или в Пиренеях этот голяк сделался бы миллионером. Но куда бы трактирщика ни забросила судьба, ему надо прокормиться.

Само собою разумеется, что слово «трактирщик» мы употребляем здесь в ограниченном смысле, и оно, конечно, не простирается на все это сословие в целом.

В 1823 году Тенардые имел около полутора тысяч франков неотложного долга, и это очень его тревожило.

Несмотря на упорную немилость судьбы, Тенардые был из числа тех людей, которые прекрасно понимали, в самом глубоком и современном значении этого слова, то, что является у дикарей добродетелью, а у народов цивилизованных — предметом торговли, — иначе говоря, гостеприимство. Вдобавок он был удивительно ловким браконьером, славившимся меткостью своего ружья. Иногда он смеялся спокойным и холодным смехом, который бывал особенно опасен.

Порой у него вырывались, словно вспышками света, исповедуемые им теории кабацкого ремесла. У него были свои профессиональные правила, которые он вдалбливал жене. «Обязанность кабатчика, — толковал он ей однажды яростным шопотом, — уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блох, улыбки; останавливать прохожих, опустошать тощие кошельки и честно облегчать толстую мошну, почтительно предлагать приют путешествующей семье, содрать с мужчины, ошипать женщину, слупить с ребенка; ставить в счет окно открытое, окно закрытое, угол около очага, кресло, стул, табурет, скамейку, перину, матрац, охапку соломы; знать, насколько повреждают зеркало отражения гостей, и брать за это деньги и, чорт подери, любым способом заставить путника платить за все, даже за мух, которых проглотила его собака!»

Этот мужчина и эта женщина были хитрость и злоба, сочетавшиеся браком, — омерзительный и ужасный союз.

В то время как муж раздумывал и соображал, жена и не вспоминала о далеких кредиторах, не заботилась ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне, а жадно жила настоящей минутой.

Таковы были эти два существа. Козетта, находясь между ними, испытывала двойной гнет: ее словно дробили мельничным жерновом и терзали клещами. Муж и жена мучили ее каждый по-своему: Козетту избивали до полусмерти — в этом виновата была жена; она ходила зимой босая — в этом виноват был муж.

Козетта носилась вверх и вниз по лестнице, мыла, чистила, терла, мела, бегала, выбивалась из сил, задыхалась, передвигая тяжести, и, как ни была тщедушна, выполняла самую тяжелую работу. И ни капли жалости к ней; свирепая хозяйка, злобный хозяин! Харчевня Тенардые была словно паутина, в которой запуталась и билась Козетта. В этой злосчастной маленькой служанке как бы воплотился образ самого рабства. Это была муха в услужении у пауков.

Бедный ребенок терпел все и молчал.

Что же происходит в этих душах, лишь недавно покинувших божье лоно, когда на самой заре своей жизни они, такие беззащитные, такие маленькие, оказываются среди подобных людей?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Людям вино, а лошадям вода

Приехали еще четыре новых путешественника.

Козетта погрузилась в печальные размышления; ей было только восемь лет, но она уже так много выстрадала, что в минуты горестной задумчивости казалась маленькой старушкой.

Одно веко у нее почернело от тумака, которым наградила ее Тенардье, время от времени восклицавшая по этому поводу: «Ну и уродина же эта девчонка с фонарем под глазом!»

Итак, Козетта думала о том, что настала ночь, темная ночь, что ей, как на беду, неожиданно пришлось наполнить свежей водой все кувшины и графины в комнатах для новых постояльцев и что в кадке нет больше воды. Только одно соображение немного успокаивало ее: в харчевне Тенардье редко пили воду. Страдающих жаждой здесь всегда было достаточно, но это была та жажда, которая охотней взывает к жбану с вином, чем к кружке с водой. Если бы кому-нибудь вздумалось потребовать стакан воды вместо стакана вина, то такого гостя все сочли бы дикарем. И все же было мгновение, когда девочка испугалась: тетка Тенардье приподняла крышку одной из кастрюлек, в которой что-то кипело на очаге, потом схватила стакан, быстро подошла к кадке с водой и открыла кран. Ребенок, подняв голову, следил за ее движениями. Из крана потекла жиденькая струйка воды и наполнила стакан до половины.

— Вот тебе и на! — проговорила хозяйка. — Воды больше нет! — и помолчала. Девочка затаила дыхание. — Ба! — продолжала Тенардье, рассматривая стакан, наполненный до половины, — хватит и этого.

Козетта снова взялась за работу, но больше четверти часа еще чувствовала, как сильно колотится у нее в груди сжавшееся в комок сердце.

Она считала каждую протекшую минуту и страстно желала, чтобы поскорее наступило утро.

Время от времени кто-нибудь из посетителей поглядывал в окно и восклицал: «Ну и тьма! Хоть глаз выколи!» Или: «В такую пору без фонаря только кошке по двору шататься». И, слыша это, Козетта дрожала от страха.

Вдруг вошел один из странствующих торговцев, остановившихся в харчевне, и грубо крикнул:

— Почему моя лошадь не поена?

— Как не поена? Ее поили, — ответила Тенардье.

— А я вам говорю нет, хозяйка! — возразил торговец. Козетта вылезла из-под стола.

— О сударь, право же, ваша лошадь напилась, она выпила ведро, полное ведро, я сама принесла ей воды и даже разговаривала с ней.

Это была неправда. Козетта лгала.

— Вот тоже выискалась, сама от горшка два вершка, а наврала с целую гору! — воскликнул торговец. — Говорю тебе, мерзавка, лошадь не пила! Когда ей хочется пить, она по-особому фыркает, уж я-то ее повадки отлично знаю.

Козетта настаивала на своем и охрипшим от тоскливой тревоги голосом еле слышно повторяла:

— Пила, даже вволю пила.

— Хватит! — гневно возразил торговец. — Ничего не пила. Сейчас же дать ей воды, и дело с концом!

Козетта залезла обратно под стол.

— Что верно, то верно, — сказала трактирщица, — если скотина не поена, то ее следует напоить.

Она огляделась по сторонам:

— А где же другая скотина?

Заглянув под стол, она разглядела Козетту, забившуюся в угол, в противоположном его конце, почти под самыми ногами посетителей.

— Ну-ка вылезай! — крикнула она.

Козетта выползла из своего убежища.

— Ты, собачье отродье! Ступай напои лошадь!

— Но, сударыня, — робко возразила Козетта, — ведь больше нет воды.

Тенардье настежь распахнула дверь на улицу:

— Так беги принеси. Ну, живо!

Козетта понурила голову и пошла за пустым ведром, стоявшим в углу около очага.

Ведро было больше ее самой, девочка могла бы свободно поместиться в нем.

Трактирщица снова стала к очагу, зачерпнула деревянной ложкой похлебку, кипевшую в касірюле, отведала ее и проворчала:

— Хватит еще воды в роднике. Подумаешь, какое дело. А зря я лук-то не огцедила.

Пошарив в ящике стола, где валялись вперемешку мелкие деньги, перец и чеснок, она добавила:

— На, жаба, держи! На обратном пути купишь в булочной большой хлеб. Вот тебе пятнадцать су.

На Козетте был передник с боковым кармашком; она молча взяла монету и сунула ее в этот карман.

С ведром в руке неподвижно стояла она перед распахнутой дверью, словно ждала, не придет ли кто-нибудь на помощь.

— Ну, пошла живей! — крикнула трактирщица.

Козетта выбежала. Дверь захлопнулась.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На сцене появляется кукла

Ряд будок, выстроившихся на открытом воздухе, начинался от церкви, как помнит читатель, и доходил до харчевни Тенардье. Все будки стояли на пути богомольцев, направлявшихся на предстоявшую полунощную службу, поэтому они были ярко освещены свечами в бумажных воронках, что представляло «чарующее зрелище», по выражению школьного учителя, сидевшего в это время в харчевне Тенардье. Зато ни одна звезда не светила на небе.

Будка, находившаяся как раз против двери харчевни, торговала игрушками и вся блистала мишурой, мелкими стекляшками и великолепными изделиями из жести. В первом ряду витрины, на самом видном месте, на фоне белых салфеток, торговец поместил огромную куклу, вышиной приблизительно в два фута, наряженную в розовое креповое платье, с золотыми колосьями на голове, с настоящими волосами и эмалевыми глазами. Весь день это чудо красовалось в витрине, поражая прохожих не старше десяти лет, но во всем Монфермейле не нашлось ни одной настолько богатой или расточительной матери, чтобы купить эту куклу своему ребенку. Эпонина и Азельма часами любовались ею, и даже Козетта, правда украдкой, нет-нет, да и взглядывала на нее.

Даже в ту минуту, когда Козетта вышла с ведром в руке, мрачная и подавленная, она не могла удержаться, чтобы не посмотреть на дивную куклу, на эту «даму», как она называла ее. Бедное дитя замерло на месте. Козетта еще не видала этой куклы вблизи. Вся лавочка казалась ей дворцом, а кукла — сказочным видением. Это был восторг, великолепие, богатство, счастье, возникшее в каком-то призрачном сиянии перед маленьким жалким существом, поверженным в бездонную, черную, леденящую нужду. Козетта с присущей детям простодушной и прискорбной проницательностью измеряла пропасть, отделявшую ее от этой куклы. Она говорила себе, что надо быть королевой или по меньшей мере принцессой, чтобы играть с такой «вещью». Она любовалась чудесным розовым платьем, роскошными блестящими волосами и думала: «Какая счастливица эта кукла!» И девочка не могла отвести глаз от волшебной лавки. Чем больше она смотрела, тем сильнее изумлялась. Она вообразила, что видит рай. Позади большой куклы сидели еще куклы, поменьше; и ей представлялось, что это феи и ангелы. Торговец, который прохаживался в глубине лавочки, казался ей чуть ли не самым господом богом.

Она так углубилась в благоговейное созерцание, что забыла обо всем, даже о поручении, которое должна была выполнить. Внезапно грубый голос трактирщицы вернул ее к действительности.

— Как! Ты все еще тут торчишь, бездельница? Вот я тебе задам! Скажите, пожалуйста! Чего ей тут нужно? Погоди у меня, уродина! — кричала Тенардье, которая выглянув в окно, увидела застывшую в восхищении Козетту.

Схватив ведро, Козетта со всех ног помчалась за водой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Малютка одна

Харчевня Тенардье находилась в той части деревни, где была церковь, поэтому Козетта должна была идти за водой к лесному роднику, в сторону Шеля.

Она больше не глядела ни на одну витрину. Пока она шла по улице Хлебопекров и вблизи церкви, ее путь освещали

щали огни лавчонок, но вскоре исчез и последний огонек в оконце последней палатки. Бедная девочка очутилась в темноте и потонула в ней. Ею стало овладевать какое-то волнение, поэтому она на ходу изо всей силы гроыхала дужкой ведра. Этот шум разгонял ее одиночество.

Чем дальше она продвигалась, тем гуще становился мрак. На улицах не было ни души. Все же ей встретилась одна женщина, которая, поравнявшись с ней, пробормотала сквозь зубы: «Куда это идет такая крошка? Уж не оборотень ли это?» Потом, всмотревшись, женщина узнала Козетту. «Гляди-ка! — сказала она. — Да это Жаворонок!»

Таким образом, Козетта прошла лабиринт извилистых безлюдных улиц, которыми заканчивается местечко Монфермейль со стороны Шеля. Пока ее путь лежал между домами или даже заборами, она шла довольно смело. От времени до времени сквозь щели ставен она видела отблеск свечи — то были свет, жизнь, там были люди, и это успокаивало ее. Однако по мере того как она подвигалась вперед, она бессознательно замедляла шаг. Завернув за угол последнего дома, Козетта остановилась. Итти дальше последней лавочки было трудно; итти дальше последнего дома становилось уже невозможным. Поставив ведро на землю, она запустила пальцы в волосы и принялась медленно почесывать голову, как свойственно напуганным и робким детям. Монфермейль кончился, начинались поля. Темная и пустынная даль расстилалась перед нею. Безнадежно глядела она в этот мрак, где уже не было людей, где хоронились звери, где бродили, быть может, привидения. Она глядела все пристальнее, и вот она услышала шаги зверей по траве и ясно увидела привидения, шевелившиеся среди деревьев. Тогда она схватила ведро, страх придав ей мужества. «Ну и пусть! — воскликнула она. — Я ей скажу, что там нет больше воды». И она решительно повернула в Монфермейль.

Но едва сделав сотню шагов, Козетта снова остановилась и снова принялась почесывать голову. Теперь представилась ей тетка Тенардье, отвратительная, страшная, с пастью гиены и сверкающими от ярости глазами. Ребенок беспомощно огляделся по сторонам. Что делать? Куда

итти? Впереди — призрак хозяйки, позади — все духи тьмы и лесов. И она отступила перед хозяйкой. И вновь пустилась бежать по дороге к роднику. Из деревни она выбежала бегом, в лес вбежала бегом, ни на что больше не глядя, ни к чему больше не прислушиваясь. Она только тогда замедлила бег, когда начала задыхаться, но и тут не остановилась. Охваченная отчаянием, продолжала она свой путь.

Она бежала бегом, еле сдерживая рыдания.

Ночной шум леса охватил ее со всех сторон. Она больше ни о чем не думала, ничего не замечала. Беспредельная ночь глядела в глаза этому крошечному созданию. С одной стороны всеобъемлющий мрак; с другой — пылинки.

От опушки леса до родника было не больше семи-восьми минут ходьбы. Дорогу Козетта знала, так как ходила по ней несколько раз в день. Странное дело, она не заблудилась. Остаток инстинкта смутно руководил ею. Впрочем, она не смотрела ни направо, ни налево, боясь увидеть что-нибудь страшное в ветвях деревьев или в кустарниках. Так она дошла до родника.

Это было узкое природное углубление, размытое водой в глинистой почве, около двух футов глубиной, окруженное мхом и высокими гофрированными травами, которые называют «воротничками Генриха IV», и выложенное несколькими большими камнями. Из него с тихим журчанием вытекал ручеек.

Козетта даже не передохнула. Было очень темно, но она привыкла ходить за водой к этому роднику. Нашупав в темноте левой рукой молодой дубок, наклонившийся над ручьем и служивший ей обычно точкой опоры, она отыскала ветку, ухватила за нее, нагнулась и погрузила ведро в воду. Она была так возбуждена, что силы ее устроились. Нагибаясь над ручьем, она не заметила, как из кармашка ее фартука выскользнула монета и упала в воду. Козетта не видела и не слышала ее падения. Она вытащила почти полное ведро и поставила его на траву.

Сделав это, она почувствовала, что изнемогает от усталости. Ей очень хотелось тотчас же вернуться обратно, но наполнить ведро стоило ей таких усилий, что она больше не могла сделать ни шагу. Волей-неволей ей надо было

отдохнуть. Она опустилась на траву и замерла, присев на корточки.

Козетта закрыла глаза, затем открыла их вновь, не понимая почему, но не в силах сделать иначе. Рядом с нею в ведре колыхалась вода, разбегаясь кругами, похожими на жестяных змеек.

Над ее головой небо было затянуто тяжелыми темными тучами, напоминавшими дымные полотнища. Трагическая маска ночи, казалось, смутно нависла над ребенком.

Юпитер склонялся к закату в бездонных глубинах неба. Девочка глядела растерянным взглядом на эту огромную неведомую ей звезду, которая пугала ее. Планета, действительно, в эту минуту стояла очень низко над горизонтом, прорезая густой слой тумана, придававшего ей страшный багровый оттенок. Зловещий красный туман увеличивал размеры светила. Чудилось, то была пламенеющая рана.

Холодный ветер дул с равнины. Мрачен был лес, не шелестели в нем листья и не брезжил там тот неуловимый и живой отблеск, который присущ лету. Угрожающе торчали огромные сучья. Чахлый, уродливый кустарник шуршал в прогалинах. Высокие травы извивались под северным ветром, словно угри. Ветки терновника вытягивались, как вооруженные когтями длинные руки, старающиеся схватить добычу. Сухой вереск, гонимый ветром, быстро пролетал мимо, словно в ужасе спасаясь от чего-то. Вокруг расстилались унылые дали.

От темноты кружится голова. Человеку необходим свет. Кто углубляется в мрак, чувствует, как у него замирает сердце. Когда перед глазами тьма, затемняется и сознание. В ночи, в непроницаемой мгле даже для самого мужественного человека таится что-то жуткое. Никто ночью один не проходит по лесу без страха. Тени и деревья — два опасных сгустка темноты. Призрачная действительность возникает в смутной глубине. Непостижимое намечается в нескольких шагах от вас с отчетливостью привидения. Видишь, как в пространстве — или в собственном мозгу — проплывает нечто смутное и неуловимое, словно грезы задремавших цветов. На горизонте возникают какие-то страшные очертания. Вдыхаешь испарения огромной черной пустоты. И боязно и хочется огля-

нуться. Провалы в ночи, какие-то тени, вселяющие ужас, безмолвные фигуры, которые рассеиваются при вашем приближении, купы качающихся деревьев, свинцовые лужи — отражение скорби во мраке, могильная глубина безмолвия, присутствие всевозможных неведомых существ, таинственное покачивание ветвей, жуткие стволы деревьев, длинные пряди шелестящей травы, — против всего этого чувствуешь себя беззащитным. Нет такого отважного сердца, которое не дрогнуло бы, не почувствовало тревоги. Испытываешь отвратительное ощущение, словно душа сливается с тьмой. Это растворение во мраке невыразимо страшно для ребенка.

Леса — обители тайны и ужаса, и трепет крыл младенческой души подобен предсмертному вздоху под их чудовищным сводом.

Не разбираясь в своих ощущениях, Козетта чувствовала, как ее обволакивает этот безмерный мрак природы. Ее охватил даже не ужас, а нечто более страшное, чем ужас. Она вся дрожала. Слова бессильны передать то необычайное, что таила в себе эта дрожь и от чего замирало ее сердце. В глазах у нее появилось что-то дикое. Ей стало казаться, что, наверно, она не сможет противостоять желанию снова прийти сюда завтра, в тот же час.

Тогда, как бы инстинктивно, чтобы освободиться от этого странного состояния, которого она не понимала, но которое пугало ее, она принялась считать вслух: «Раз, два, три, четыре», и так до десяти, а затем опять сначала. Это вернуло ее к правильному восприятию действительности. Она почувствовала, как заоченели ее руки, которые она замочила, черпая воду. Она встала. Страх вновь охватил ее, страх естественный и непреодолимый. Одна лишь мысль владела ею — бежать, бежать без оглядки, через лес, через поля, к домам, к окнам, к зажженным свечам. Ее взгляд упал на ведро, стоявшее перед нею. И так сильна была боязнь перед хозяйкой, что она не осмелилась убежать без ведра. Она ухватила обеими руками за дужку ведра и с трудом приподняла его.

Так сделала она шагов двенадцать, но полное ведро было тяжелым, она принуждена была опять поставить его на землю. Переведя дух, она снова ухватила за

дужку. На этот раз она шла дольше, но пришлось опять остановиться. Отдохнув несколько секунд, она продолжала путь. Козетта шла согнувшись, понутив голову, словно старуха; тяжелое ведро оттягивало и напрягало ее худенькие ручонки; железная дужка ведра леденила онемевшие пальцы; от времени до времени Козетта останавливалась, и каждый раз холодная вода, выплескиваясь из ведра, обливала ее голые ножки. Это происходило в глубине леса, зимней ночью, вдали от людского взора; девочке было восемь лет. Один лишь бог взирал на это раздирающее душу зрелище.

Видела это, конечно, и мать ее, увь!

Ибо в мире происходят вещи, которые заставляют усопших пробуждаться в могилах.

Козетта дышала с каким-то болезненным хрипом, рыдания сжимали ей горло, но плакать она не смела, так сильно боялась она своей хозяйки даже вдали от нее. Она привыкла всегда и везде представлять ее рядом с собою.

Однако, идя очень медленно, она мало подвигалась вперед. Напрасно старалась она сокращать время своих стоянок и проходить как можно больше от одной до другой. С мучительной тревогой думала она о том, что ей потребуется больше часу, чтобы вернуться в Монфермейль, и что Тенардье опять прибудет ее. Эта тревога примешивалась к ее ужасу перед тем, что она одна в лесу в ночную пору. Достигнув знакомого ей старого каштанового дерева, она остановилась передохнуть в последний раз, на более длительный срок, и, собрав остаток сил, мужественно двинулась в путь. И все же бедная малютка не могла удержаться, чтобы не простонать в отчаянии: «Боже мой, боже мой!»

В это мгновение она почувствовала, что ведро стало легким. Чья-то рука, показавшаяся ей огромной, схватила дужку ведра и легко приподняла его. Она вскинула голову. Высокая черная прямая фигура шагала рядом с ней в темноте. Это был мужчина, неслышно догнавший ее. Человек молча взялся за дужку ведра, которое она несла.

Во всех случаях жизни человек слышит предупреждающий голос инстинкта.

Ребенок не испугался.

*которая, быть может, доказывает сообразительность
Башки*

После полудня того же самого рождественского сочельника 1823 года какой-то человек довольно долго прохаживался по самой пустынной части Госпитального бульвара в Париже. Казалось, он подыскивал себе квартиру и, видимо, предпочитал самые скромные дома этой пришедшей в упадок окраины предместья Сен-Марсо.

В дальнейшем мы узнаем, что этот человек действительно снял комнату в этом уединенном квартале.

Как по своей одежде, так и по всему своему облику он воплощал тот тип, который можно назвать благородным нищим. Крайняя нужда соединялась у него с крайней опрятностью — довольно редкое сочетание, внушающее чутким сердцам двойное уважение к тому, кто столь беден и столь полон достоинства. На нем была круглая шляпа, очень старая и тщательно вычищенная, протертый до ниток редингот из грубого темножелтого сукна, — этот цвет не казался в те времена слишком странным, — закрытый старомодный жилет с карманами, черные панталоны, посеревшие на коленях, черные шерстяные чулки и грубые башмаки с медными пряжками. Он был похож на возвратившегося из эмиграции бывшего гувернера в аристократическом доме. По его совершенно седым волосам, по морщинистому лбу, бледным губам, по его скорбному, усталому лицу можно было предположить, что ему гораздо больше шестидесяти лет. Но по его уверенной, хотя и медленной походке, по удивительной силе, сквозившей во всех движениях, ему не дали бы и пятидесяти. Морщины на его лбу были такого благородного рисунка, что расположили бы в его пользу всякого, кто внимательно пригляделся бы к нему. Его сомкнутые губы хранили странное выражение не то суровости, не то смирения. В глубине его взгляда таилось какое-то скорбное спокойствие. В левой руке он нес маленький сверток, завязанный в носовой платок, а правой опирался на палку, видимо выдернутую из плетня. Палка была довольно тщательно отделана и не казалась слишком грубой: сучки были обрублены, а набалдашник сделан из красного сургуча — под коралл. Это была дубинка, но казалась она тростью.

Госпитальный бульвар довольно безлюден, особенно зимой. Человек, без всякого, впрочем, желания подчеркнуть это, казалось, скорее избегал людей, чем искал встречи с ними.

В те времена король Людовик XVIII почти ежедневно ездил в Шуази-ле-Руа. Это была одна из его излюбленных прогулок. Около двух часов дня почти всегда можно было видеть королевский экипаж и свиту, мчавшиеся во весь опор мимо Госпитального бульвара. Беднякам квартала их появление заменяло и карманные часы и стенные. Они говорили: «Уже два часа — вон король возвращается в Тюильри».

И одни выбегали навстречу, другие отходили в сторону, ибо проезд короля всегда вызывает суматоху. Впрочем, появление и исчезновение Людовика XVIII на улицах Парижа производило даже известное впечатление. Это было мимолетно, но величественно. Этот увечный король любил быструю езду; не в силах ходить, он хотел мчаться; этот хромо́й человек охотно бы взнуздal молнию. Он проезжал, спокойный и суровый, среди обнаженных сабель охраны. Тяжелая вызолоченная карета, на дверцах которой были нарисованы большие стебли лилий, катилась с грохотом. Люди лишь мельком успевали заглянуть в нее. В глубине, в правом углу, на подушках, обитых белым шелком, виднелось широкое, крепкое, румяное лицо, свеженапудренные волосы с взбитым хохолком, надменный, жесткий и хитрый взгляд, тонкая улыбка, два густых эполета с золотой бахромой, свисающей на штатское платье, орден Золотого руна, крест святого Людовика, крест Почетного легиона, серебряная звезда ордена св. Духа, огромный живот и широкая голубая орденская лента: это был король. За чертой города он держал шляпу с белым плюмажем на коленях, обтянутых высокими английскими гетрами; въезжая в город, надевал ее, редко отвечая на приветствия. Холодно глядел он на народ, отвечавший ему тем же. Когда король в первый раз появился в квартале Сен-Марсо, то весь успех, который он там стяжал, выразился в словах одного мастерового, обращенных к товарищу: «Вот этот толстяк и есть правительство».

Появление короля в один и тот же час было, таким образом, ежедневным событием на Госпитальном бульваре.

Прохожий в желтом рединготе не принадлежал, очевидно, к числу жителей квартала и, вероятно, не был даже жителем Парижа, ибо не подозревал об этой подробности. Когда в два часа королевская карета, окруженная эскадроном гвардейцев в серебряных галунах, выехала к бульвару, обогнув Сальпетриер, он, казалось, был изумлен и даже испуган. Кроме него, на боковой аллее никого не было, и он отступил за угол ограды, что не помешало герцогу д'Авре его заметить. В этот день герцог д'Авре, как начальник личной охраны, сидел в карете против короля. Он сказал его величеству: «Вот довольно подозрительная личность». Полицейские, зорко следившие за проездом короля, также заметили его, и одному из них дан был приказ проследить за прохожим. Но человек углубился в пустынные улицы предместья, и, так как уж начинало смеркаться, то полицейский потерял его из виду, о чем и было донесено в тот же вечер в рапорте на имя министра внутренних дел и префекта полиции, графа Англеса.

Сбив с толку полицейского, человек в желтом рединготе ускорил шаги, но не раз еще оглядывался, желая убедиться, что за ним никто не следует. В четверть пятого, то есть когда уже стало совсем темно, он проходил мимо театра Порт-Сен-Мартен, где в этот день давали пьесу «Два каторжника». Афиша, освещенная театральными фонарями, видимо поразила его: хотя он и шел торопливо, однако остановился прочитать ее. Спустя мгновение он уже был в Дровяном тупике и входил в гостиницу «Оловянное блюдо», где в ту пору помещалась контора дилижансов, отправлявшихся в Ланьи. Дилижанс отъезжал в половине пятого. Лошади были уже впряжены, и пассажиры, окликаемые кучером, поспешно взбирались по высокой железной лесенке старого рыдвана.

Пешеход спросил:

— Есть свободное место?

— Только одно, рядом со мной, на козлах, — ответил кучер.

— Я беру его.

— Садитесь.

Но прежде чем отъехать, кучер оглядел скромную одежду пассажира, его легкий багаж и потребовал плату вперед.

— Вы едете до Ланьи? — спросил кучер.

— Да, — ответил человек.

Он уплатил за проезд до Ланьи.

Тронулись в путь. Миновав заставу, кучер попытался было завязать разговор, но пассажир отвечал односложно. Кучер принялся насвистывать и понукать своих лошадей.

Он закутался в свой плащ. Было холодно. Но пассажир, казалось, не замечал ничего. Таким образом проехали Гурне и Нелзи-на-Марне.

Около шести часов вечера подъехали к Шелю. Перед трактиром, помещавшимся в старом здании королевского аббатства, кучер остановился, чтобы дать отдых лошадям.

— Я сойду здесь, — сказал пассажир.

Он взял свой сверток и палку и соскочил с дилижанса.

Минуто спустя он пропал из виду.

В трактир он не вошел.

Когда через некоторое время дилижанс снова тронулся в путь, держа на Ланьи, то не повстречал этого человека и на главной улице Шеля.

Кучер обернулся к пассажирам, сидевшим внутри дилижанса.

— Этот человек не здешний, я не знаю его, — сказал он. — У него такой вид, точно он без гроша в кармане, а между тем он не скаредничает: заплатил до Ланьи, а доехал только до Шеля. Уже ночь, все двери заперты в домах, в харчевню он не вошел, но его нигде не видно. Не иначе, как сквозь землю провалился.

Но человек не провалился сквозь землю, а торопливо шагал в темноте по главной улице Шеля, потом, не доходя до церкви, свернул влево, на проселочную дорогу, ведущую в Монфермейль, как будто он очень хорошо знал его окрестности и уже не раз бывал здесь.

Он быстро пошел по этой дороге. В том месте, где ее пересекает старое, окаймленное деревьями шоссе, ведущее из Ганьи в Ланьи, он услышал шаги прохожих. Поспешив укрыться во рву, он выждал, пока люди прошли мимо. Эта предосторожность была, пожалуй, излишней, ибо, как мы уже сказали, стояла темная декабрьская ночь. Лишь две или три звезды светились на небе.

Именно в этом месте и начинается подъем на холм. Но путник не пошел по дороге в Монфермейль. Он взял направо, пересек поля и быстрым шагом дошел до леса.

Оказавшись в лесу, он замедлил шаги и стал внимательно присматриваться к каждому дереву, медленно подвигаясь вперед, словно искал что-то, и держался таинственной, ему одному известной дороги. Было мгновение, когда ему показалось, что он сбился с пути, и он в нерешительности остановился. Наконец ошупью добрался он до прогалины, где лежала груда больших белевших в темноте камней. Поспешно подойдя к ним, он окинул их внимательным взглядом сквозь ночной туман, точно делал им смотр. Большое дерево, покрытое наростами, являющимися признаком старости, выросло в нескольких шагах от груды камней. Путник направился к этому дереву и провел рукой по стволу, словно хотел нащупать и пересчитать все наросты на его коре.

Против дерева — это был ясень — рос каштан, болевший отпаданием коры. К нему взамен повязки была прибита полоска цинка. Человек приподнялся на цыпочки и дотронулся до этой цинковой полоски.

Затем он потоптался на месте, словно желая убедиться, что земля между деревом и грудой камней не была свежевзрытой.

Сделав это, он осмотрелся и продолжал свой путь через лес.

Это и был тот самый человек, который только что встретился с Козеттой.

Пробираясь сквозь лесную поросль по направлению к Монфермейлю, он заметил маленькую движущуюся тень, которая то ставила свою ношу на землю, то с жалобным стоном подымала ее вновь и брела дальше. Он подошел ближе и увидел, что это была совсем маленькая девочка, еле тащившая огромное ведро с водой. Он тут же очутился возле нее и молча взялся за дужку ведра.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Козетта в темноте бок о бок с незнакомцем

Козетта, как мы уже сказали, не испугалась.

Человек заговорил с ней. Голос его был тих и серьезен.

— Дитя мое, твоя ноша слишком тяжела для тебя.

Козетта подняла голову и ответила:

— Да, сударь.

— Дай мне, — сказал он, — я понесу.

Козетта выпустила дужку ведра. Человек пошел рядом с ней.

— Это действительно очень тяжело, — пробормотал он сквозь зубы. Потом спросил:

— Сколько тебе лет, малютка?

— Восемь лет, сударь.

— И ты идешь издалека?

— От ручья, который в лесу.

— А далеко тебе еще идти?

— Добрых четверть часа.

Путник помолчал немного, потом вдруг спросил:

— Значит, у тебя нет матери?

— Я не знаю, — ответила девочка.

И прежде чем он успел вновь заговорить, она добавила:

— Думаю, что нет. У других есть. А у меня нет.

И помолчав, продолжала:

— Наверно, никогда и не было.

Человек остановился. Он поставил ведро на землю, наклонился и положил обе руки на плечи ребенка, стараясь в темноте разглядеть лицо.

Худенькое и жалкое личико Козетты смутно проступало в белесовато-сером свете неба.

— Как тебя зовут?

— Козетта.

Прохожий вздрогнул, словно от электрического тока. Он снова взглянул на нее, затем снял свои руки с плеч Козетты, схватил ведро и зашагал вперед.

Спустя мгновение он спросил:

— Где ты живешь, малютка?

— В Монфермейле, — может, вы знаете, где это?

— Мы идем туда?

— Да, сударь.

Немного погодя он снова спросил:

— Кто же это послал тебя в такой поздний час за водой в лес?

— Госпожа Тенардье.

Незнакомец продолжал голосом, которому силился придать равнодушие, но который, однако, странно дрожал:

— А чем эта твоя госпожа Тенардые занимается?

— Она моя хозяйка, — ответил ребенок. — Она содержит постоялый двор.

— Постоялый двор? — переспросил путник. — Хорошо, там я и переночую сегодня. Проводи-ка меня.

— А мы туда идем, — ответила девочка.

Человек шел довольно быстро. Козетта легко поспевала за ним. Она больше не чувствовала усталости. Время от времени она посматривала на него с каким-то спокойствием, с каким-то невыразимым доверием. Ее никто никогда не учил молиться богу. Однако она испытывала нечто похожее на чувство радости и надежды, обращенное к небесам.

Прошло несколько минут. Незнакомец заговорил снова:

— Разве у госпожи Тенардые нет служанки?

— Нет, сударь.

— Разве ты у нее одна?

— Да, сударь.

Вновь наступило молчание. Потом Козетта сказала:

— Правда, у нее есть еще две маленькие девочки.

— Какие маленькие девочки?

— Понина и Зельма.

Так упрощала Козетта романтические имена, столь любезные сердцу трактирщицы.

— Кто же это Понина и Зельма?

— Это барышни госпожи Тенардые. Ну, просто ее дочери.

— А что же они делают?

— О! — воскликнул ребенок. — У них красивые куклы, разные блестящие вещи, у них много всяких дел. Они играют, забавляются.

— Весь день?

— Да, сударь.

— А ты?

— А я работаю.

— Весь день?

Девочка подняла свои большие глаза, в которых угадывались слезы, скрытые ночным мраком, и кротко ответила:

— Да, сударь.

С минуту помолчав, Козетта добавила:

— Иногда, когда я кончу работу и когда мне позволят, я тоже могу поиграть.

— Как же ты играешь?

— Как могу. Мне не мешают. Но у меня мало игрушек. Понина и Зельма не хотят, чтобы я играла их куклами. У меня есть только оловянная сабелька, вот такой длины.

И девочка показала на мизинец.

— Ею ничего нельзя резать?

— Можно, сударь, — ответила девочка, — например, салат и головы мухам.

Они дошли до деревни; Козетта повела незнакомца по улицам. Они прошли мимо булочной, но Козетта не вспомнила о хлебе, который должна была принести. Человек перестал расспрашивать ее и хранил теперь мрачное молчание. Когда они миновали церковь, незнакомец, видя все эти разбитые под открытым небом лавчонки, спросил:

— Тут что же, ярмарка?

— Нет, сударь, это рождество.

Когда они подходили уже к постоялому двору, Козетта робко дотронулась до его руки.

— Сударь.

— Да, дитя мое?

— Вот мы уже совсем близко от дома.

— И что же?

— Можно мне теперь у вас взять ведро?

— Зачем?

— Если хозяйка увидит, что мне помогли его донести, она меня прибьет.

Человек отдал ей ведро. Минуту спустя они были у дверей харчевни.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Как неприятно впустить в дом бедняка, который может оказаться богачом

Козетта не могла удержаться, чтобы украдкой не взглянуть на большую куклу, все еще красовавшуюся в витрине игрушечной лавки, затем она постучала в дверь. На пороге показалась трактирщица, держа в руке свечу.

— А, это ты, бродяжка! Наконец-то! Куда это ты запропастилась? По сторонам глазела, срамница!

— Сударыня, — сказала, задрожав, Козетта, — вот господин, который хотел бы переночевать у нас.

Угрюмое выражение на лице тетки Тенардье быстро сменилось любезной гримасой, — это мгновенное превращение свойственно кабатчикам. Она жадно всматривалась в темноту, желая разглядеть вновь прибывшего.

— Это вы, сударь?

— Да, сударыня, — ответил человек, притронувшись рукой к шляпе.

Богатые путешественники не бывают столь вежливы. Этот жест, а также осмотр одежды и багажа путешественника, который бегло произвела хозяйка, заставили исчезнуть ее любезную гримасу, снова сменившуюся угрюмым выражением. Она сухо произнесла:

— Входите, милейший.

«Милейший» вошел. Тенардье вторично окинула его взглядом, уделив особенное внимание его изрядно потертому сюртуку и слегка помятой шляпе, потом, кивнув в его сторону головой, сморщила нос и, подмигнув, вопросительно взглянула на мужа, продолжавшего бражничать с возчиками. Супруг ответил незаметным движением указательного пальца, одновременно оттопырив губы, что в подобном случае обозначает: «голь перекатная». Тогда трактирщица воскликнула:

— Ах, любезный, мне очень жаль, но у меня нет ни одной свободной комнаты.

— Поместите меня, куда вам будет угодно — на чердак, в конюшню. Я заплачу, как за отдельную комнату, — сказал путник.

— Сорок су.

— Сорок су? Ладно.

— В добрый час.

— Сорок су! — шепнул один из возчиков кабатчице. — Но ведь комната стоит только двадцать су.

— А с него сорок, — ответила она тоже шопотом. — Дешевле я не беру с бедняков.

— Правильно, — кротким голосом заметил ее муж, — пускать к себе такой народ — только портить добрую славу заведения.

Тем временем человек, положив на скамью свой узелок и палку, присел к столу, на который Козетта поспешила поставить бутылку вина и стакан. Торговец, потребовавший

ведра воды для своей лошади, отправился сам напоить ее. Козетта опять уселась на обычное место под кухонным столом и взялась за свое вязание.

Человек налил себе вина и, едва пригубив из стакана, с каким-то странным вниманием разглядывал ребенка.

Козетта была некрасива. Возможно, будь она счастливой, она была бы миловидной. Мы уже набросали в общих чертах этот маленький печальный образ. Козетта была худенькая, бледная девочка, на вид лет шести, хотя ей шел восьмой год. Ее большие глаза, окруженные синевой, казались почти тусклыми от постоянных слез. Уголки ее рта были опущены с тем выражением привычного страдания, которое наблюдаешь у приговоренных к смерти и у безнадежно больных. Руки ее, как предугадала мать, «потрескались от мороза». Огонь, освещавший Козетту в это мгновение, выдавал ее резко выступающие кости и подчеркивал ее ужасную худобу. Так как ее постоянно знобило, то у нее образовалась привычка тесно сжимать колени. Вся ее одежда представляла собой лохмотья, которые летом возбуждали сострадание, а зимой внушали ужас. Ее прикрывала лишь дырявая холстина; ни лоскутка шерсти. Там и сям просвечивало тело, на котором можно было разглядеть синие или черные пятна — следы прикосновения хозяйской длани. Голые тонкие ножки покраснели от холода. Глубокие впадины над ключицами были жалостны до слез. Весь облик этого ребенка, его походка, его движения, звук его голоса, прерывистая речь, его взгляд, его молчание, малейший жест — все выражало и обличало лишь одно: страх.

Козетта была вся проникнута этим страхом, он ее как бы окутывал. Страх вынуждал ее тесно прижимать к себе локти, прятать под юбку ноги, стараться занимать как можно меньше места, еле дышать; страх сделался, если можно так выразиться, привычкой ее тела, способной лишь усиливаться. В глубине ее зрачков притаился ужас.

Этот страх был так велик, что, возвратясь домой совершенно измокшей, Козетта не посмела приблизиться к очагу, чтобы обсушиться, а тихонько уселась за свою работу.

Взгляд этого восьмилетнего ребенка был всегда так печален, а порой так мрачен, что в иные мгновения казалось, что она на пути к слабоумию или к помешательству.

Никогда, мы уже упоминали об этом, не знала она, что такое молитва, никогда не переступала порога церкви. «Разве у меня есть для этого время?» — говорила ее хозяйка.

Человек в желтом рединготе не спускал глаз с Козетты.

Вдруг трактирщица воскликнула:

— Постой! А хлеб где?

Козетта, как всегда, стоило только хозяйке повысить голос, быстро вылезла из-под стола.

Она совершенно забыла об этом хлебе. Она прибегла к обычной уловке запуганных детей. Она солгала.

— Сударыня, булочная была уже заперта.

— Надо было постучаться.

— Я стучалась, сударыня.

— Ну и что же?

— Мне не отперли.

— Завтра я проверю, правду ли ты говоришь, — сказала Тенардье, — и если ты соврала, то попляшешь у меня как следует. А покамест дай-ка сюда пятнадцать су.

Козетта сунула руку в карман фартука и помертвела. Монетки в пятнадцать су там не было.

— Ну, — крикнула трактирщица, — ты оглохла, что ли?

Козетта вывернула карман. Пусто. Но куда могла деться денежка? Несчастная малютка не находила слов. Она окаменела.

— Ты, значит, потеряла деньги, потеряла целых пятнадцать су? — прохрипела Тенардье. — А может, ты вздумала их у меня украсть?

С этими словами она протянула руку к плетке, висевшей на гвозде возле очага.

Это грозное движение вернуло Козетте силы, она закричала: «Простите! Простите! Я больше не буду!»

Тенардье сняла плетъ.

В это время человек в желтом рединготе, незаметно для окружающих, пошарил в жилетном кармане. Впрочем, остальные посетители пили, играли в кости и ни на что не обращали внимания.

Козетта в смертельном страхе забилась в угол за очагом, стараясь сжаться в комочек и как-нибудь спрятать свое жалкое полуобнаженное тельце. Трактирщица занесла руку.

— Виноват, сударыня, — вмешался неизвестный, — я сейчас видел, как что-то упало из кармана этой малютки и покатилося по полу. Не эти ли деньги?

Он тут же наклонился, делая вид, будто что-то ищет на полу.

— Так и есть, вот она, — сказал он, выпрямляясь.

И он протянул тетке Тенардье серебряную монетку.

— Та самая! — воскликнула тетка Тенардье.

Отнюдь не «та самая», а монета в двадцать су, но для трактирщицы это было выгодно. Она положила деньги в карман и удовольствовалась тем, что, злобно взглянув на ребенка, сказала: «Чтоб это было в последний раз!»

Козетта опять забралась в свою «нору», как называла это место тетка Тенардье, и ее большие глаза, устремленные на незнакомца, мало-помалу приобретали совершенно несвойственное им выражение. Пока это было лишь наивное удивление, но к нему примешивалась уже какая-то безотчетная доверчивость.

— Ну как, вы будете ужинать? — спросила трактирщица у приезжего.

Он ничего не ответил. Казалось, он глубоко задумался.

— Кто он, этот человек? — процедила она сквозь зубы. — Уверена, что за ужин ему заплатить нечем. Хоть бы за ночлег расплатился. Все-таки мне повезло, что ему не пришло в голову украсть деньги, валявшиеся на полу.

Тут открылась дверь, и вошли Эпонина и Азельма.

Это были две прехорошенькие девочки, скорее горожаночки, чем крестьяночки, очень миленькие, одна — с блестящими каштановыми косичками вокруг головы, другая — с длинными черными косами, спускавшимися по спине. Оживленные, чистенькие, полненькие, свежие и здоровые, они радовали глаз. Девочки были тепло одеты, но благодаря материнскому искусству плотность материи несколько не умаляла кокетливости их туалета. Одежда приноровлена была к зиме, не теряя вместе с тем изящества весеннего наряда. Эти две малютки излучали свет. Сверх того они были здесь повелительницами. В их одежде, в их веселости, в том шуме, который они производили, чувствовалось сознание своей верховной власти. Когда они вошли, трактирщица сказала ворчливым, но полным обожания голосом: «А, вот, наконец, и вы пожаловали!»

Притянув поочередно каждую к себе на колени, она пригладила им волосы, поправила ленты и, потрепав с материнской нежностью, отпустила, воскликнув: «Нечего сказать, хороши!»

Девочки уселись в углу, возле очага. В руках они держали куклу, которую тормошили на все лады, укладывая ее то у одной, то у другой на коленях, и весело щебетали. От времени до времени Козетта поднимала глаза от вязанья и печально глядела на них.

Эпонина и Азельма не замечали Козетту. Она была для них чем-то вроде собачонки. Этим трем девочкам всем вместе не было и двадцати четырех лет, а они уже олицетворяли собой человеческое общество: с одной стороны — зависть, с другой — пренебрежение.

Кукла сестер Тенардье была совсем полинявшая, совсем старая и вся поломанная, но тем не менее она казалась Козетте восхитительной: ведь у нее за всю жизнь не было куклы, настоящей куклы, — употребляя выражение, понятное для всех детей.

Вдруг тетка Тенардье, продолжавшая ходить взад и вперед по комнате, заметила, что Козетта отвлекается и вместо того чтобы работать, глядит на играющих детей.

— А вот я тебя и поймала! — закричала она. — Так-то ты работаешь? погоди, вот возьму плетку, она-то уж заставит тебя поработать!

Незнакомец, не вставая со стула, повернулся к трактирщице.

— Сударыня, — промолвил он, улыбаясь почти робко, — чего уж там, пусть ее поиграет!

Со стороны любого посетителя, съевшего кусок жаркого, выпившего за ужином две бутылки вина и не производящего впечатления оборванца, подобное желание равносильно было бы приказу. Но чтобы человек, обладающий такой шляпой, позволил себе высказать какое бы то ни было пожелание, чтобы человек, у которого был подобный редингот, смел бы выражать свою волю, — этого трактирщица допустить не могла. Она резко возразила:

— Девчонка должна работать, раз она ест мой хлеб. Я кормлю ее не для того, чтобы она бездельничала.

— А что же это она делает? — спросил незнакомец мягким голосом, странно противоречившим его нищенской одежде и широким плечам носильщика.

Трактирщица снизошла до ответа:

— Чулки вяжет, если вам угодно знать. Чулочки для моих дочурок. Прежние, можно сказать, все износились, и дети скоро останутся совсем босыми.

Человек взглянул на жалкие, красные ножки Козетты и продолжал:

— А когда же она окончит эту пару?

— Она будет над ней корпеть по крайней мере дня три, а то и четыре, этакая лентяйка!

— И сколько могут стоять эти чулки, когда они будут готовы?

Трактирщица окинула его презрительным взглядом.

— Не меньше тридцати су.

— А уступили бы вы их за пять франков? — снова спросил человек.

— Чорт возьми! — грубо засмеявшись, вскричал один возчик, слышавший этот разговор. — Пять франков? Тыфу ты пропасть! Я думаю! Целых пять монет!

Тут Тенардье решил, что пора вмешаться в разговор.

— Хорошо, сударь, ежели такова ваша прихоть, то вам отдадут эту пару чулок за пять франков. Мы не умеем ни в чем отказывать путешественникам.

— Но денежки на стол! — резко и решительно заявила его супруга.

— Я покупаю эти чулки, — ответил незнакомец, затем, вынув из кармана пятифранковую монету и протянув ее кабатчице, добавил: — И плачу за них.

Потом он повернулся к Козетте:

— Теперь твоя работа принадлежит мне. Играй, дитя мое.

Возчик был так потрясен видом пятифранковой монеты, что бросил пить вино и подбежал взглянуть на нее.

— И вправду, гляди-ка! — воскликнул он. — Настоящий пятифранковик! Не фальшивый!

Тенардье подошел и молча положил деньги в жилетный карман.

Супруге возразить было нечего. Она кусала себе губы, лицо ее исказилось злобой.

Козетта вся дрожала. Она отважилась, однако, спросить:

— Сударыня, это правда? Я могу поиграть?

— Играй! — бешеным голосом ответила тетка Тенардые.

— Спасибо, сударыня, — ответила Козетта.

И в то время как ее уста благодарили хозяйку, вся ее маленькая душа возносила благодарность приезжему.

Тенардые снова уселся пить. Жена прошептала ему на ухо:

— Кем он может быть, этот желтый человек?

— Мне приходилось встречать миллионеров, — величественно ответил Тенардые, — которые носили такие же рединготы.

Козетта перестала вязать, но не покинула своего места. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Она вытащила из коробки, стоявшей позади нее, какие-то старые лоскутики и свою оловянную сабельку.

Эпони́на и Азельма не обращали никакого внимания на происходящее вокруг. Они только что успешно завершили очень ответственное дело — завладели кошкой. Бросив на пол куклу, Эпони́на, которая была постарше, пеленала котенка в голубые и красные лоскутья, невзирая на его мяуканье и судорожные движения. Поглощенная этой серьезной и трудной работой, она болтала с сестрой на том нежном, очаровательном детском языке, обаяние которого, как и великолепие крыльев бабочки, исчезает, лишь только хочешь его запечатлеть.

— Знаешь, сестричка, эта вот кукла смешнее той. Смотри, она шевелится, пищит, она тепленькая. Знаешь, сестричка, давай с ней играть. Она будет моей дочкой. Я буду дама. Я приду к тебе в гости, а ты на нее посмотришь. Потом ты понемножку увидишь ее усики и удивишься. А потом ты увидишь ее ушки, а потом ты увидишь ее хвостик, и ты очень удивишься. И ты мне скажешь: «О боже мой!» А я тебе скажу: «Да, сударыня, это у меня такая маленькая дочка. Теперь все маленькие дочки такие».

Азельма с восхищением слушала Эпони́ну.

Между тем пьяницы затянули непристойную песню и так громко хохотали при этом, что дрожали стены. А Тенардые подзадоривал их и вторил им.

Как птицы из всего строят гнезда, так дети из всего мастерят себе куклу. Пока Азельма и Эпони́на пеленали

котенка, Козетта пеленала свою саблю. Потом она взяла ее на руки и, тихо напевая, стала ее убаюкивать.

Кукла — одна из самых настоятельных потребностей и вместе с тем воплощение одного из самых очаровательных женских инстинктов в девочке. Лелеять, наряжать, украшать, одевать, раздевать, переодевать, учить, слегка журить, баюкать, ласкать, укачивать, воображать, что нечто — есть некто, — в этом все будущее женщины. Мечтая и болтая, заготовляя игрушечное приданое и маленькие пеленки, нашивая платица, лифчики и крошечные кофточки, дитя превращается в девочку, девочка — в девушку, девушка — в женщину. Первый ребенок — последняя кукла.

Маленькая девочка без куклы почти так же несчастна и точно так же невысказима, как женщина без детей.

Козетта сделала себе куклу из сабли.

Тем временем тетка Тенардье подошла к «желтому человеку». «Мой муж прав, — решила она, — может быть, это сам господин Лафит. Бывают ведь на свете богатые самодуры!»

Она облокотилась на стол.

— Сударь... — сказала она.

При слове «сударь» мужчина обернулся. Трактирщица до сих пор называла его или «милейший» или «любезный».

— Видите ли, сударь, — продолжала она со своей слащавой вежливостью, которая была еще неприятней, чем ее грубость, — мне очень хочется, чтобы этот ребенок играл, я не возражаю, если вы так великодушны, но это хорошо один раз. Видите ли, ведь у нее никого нет. Она должна работать.

— Значит, это не ваш ребенок? — спросил человек.

— Бог с вами, сударь! Это нищенка, которую мы приютили из милости. Она вроде как дурочка. У нее, должно быть, водянка в голове. Видите, какая у нее большая голова. Мы делаем для нее все, что можем, но мы сами небогаты. Вот уже шесть месяцев, как мы напрасно пишем к ней на родину, нам не отвечают ни слова. Ее мать, надо думать, умерла.

— Вот как? — ответил человек и снова задумался.

— Хороша была эта мать, — добавила трактирщица. — Бросила собственное дитя.

В продолжение всей этой беседы Козетта, словно ей подсказал инстинкт, что речь шла о ней, не сводила глаз со своей хозяйки. Но слушала она рассеяннo, до нее долетали лишь обрывки фраз.

Между тем гуляки, почти все захмелевшие, с удвоенным азартом повторяли свой гнусный припев. То была крайняя непристойность, куда приплели пресвятую деву и младенца Иисуса. Трактирщица направилась к ним, чтобы принять участие в общем веселье. Козетта, сидя под столом, глядела на огонь, отражавшийся в ее неподвижных глазах; она опять принялась укачивать то подобие младенца в пеленках, которое соорудила себе, и, укачивая, тихо напевала: «Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!»

После новых настояний хозяйки желтый человек, «миллионер», согласился, наконец, поужинать.

— Что прикажете подать, сударь?

— Хлеба и сыру, — ответил он.

«Наверно, нищий», — решила тетка Тенардье.

Пьяницы продолжали петь свою песню, а ребенок под столом продолжал петь свою.

Вдруг Козетта умолкла: обернувшись, она заметила куклу маленьких Тенардье, которую девочки позабыли, занявшись кошкой, и бросили в нескольких шагах от кухонного стола.

Тогда она выпустила из рук запеленутую саблю, лишь наполовину удовлетворявшую ее сердце, затем медленно обвела глазами комнату. Тетка Тенардье шепталась с мужем и пересчитывала деньги; Эпонина и Азельма играли с кошкой; посетители кто ужинал, кто пил вино, кто пел, — на нее никто не обращал внимания. Каждая минута была дорога. Она на четвереньках выбралась из-под стола, еще раз удостоверилась в том, что за ней не следят, затем быстро подползла к кукле и схватила ее. Мгновение спустя она снова была на своем месте и сидела неподвижно, но повернувшись таким образом, чтобы кукла, которую она держала в объятиях, оставалась в тени. Счастье поиграть куклой было столь редким для нее, что тайло в себе все неистовство наслаждения.

Никто ничего не заметил, кроме проезжего, медленно поглощавшего свой скудный ужин.

Это блаженство длилось с четверть часа.

Но как осторожна ни была при этом Козетта, она не заметила, что одна нога куклы выходит из тени и ярко освещена огнем очага. Эта розовая и блестящая нога, выступавшая из темноты, вдруг поразила взгляд Азельмы, которая сказала Эпонине: «Погляди-ка, сестрица!»

Обе девочки остолбенели. Козетта осмелилась взять куклу!

Эпонина встала и, не выпуская кошки, подошла к матери и стала дергать ее за юбку.

— Да оставь ты меня в покое. Ну, что тебе надо? — спросила мать.

— Мама, — ответила девочка, — да посмотри же!

И указала пальцем на Козетту.

А Козетта, вся охваченная восторгом, ничего не видела и ничего не слышала.

Лицо кабатчицы приняло то особенное выражение, которое вызывается сильнейшей яростью по поводу мелочей жизни и которое заслужило подобного рода женщинам прозвище «мегеры».

На этот раз уязвленная гордость еще сильнее разожгла ее гнев. Козетта преступила все границы, Козетта совершила покушение на куклу «барышень»! Русская царица, которая увидела бы, что мужик примеряет синюю орденскую ленту ее августейшего сына, была бы разгневана не больше.

Охрипшим от возмущения голосом она крикнула:

— Козетта!

Козетта так вздрогнула, словно под ней заколебалась земля. Она обернулась.

— Козетта! — повторила кабатчица.

Козетта взяла куклу и с каким-то благоговением, смешанным с отчаянием, осторожно положила ее на пол. Потом, не сводя с куклы глаз, она сжала ручки и — страшно было видеть этот жест у восьмилетнего ребенка — она заломила их. Наконец пришло то, к чему ни одно переживание дня не могло вынудить ее, — ни ее путешествие в лес, ни тяжесть полного ведра, ни потеря денег, ни вид плетки, ни даже мрачные, услышанные ею слова хозяйки, — пришли слезы. Она захлебывалась от рыданий.

Приезжий встал из-за стола.

— Что случилось? — спросил он.

— Да разве вы не видите? — воскликнула кабатчица, указывая пальцем на вещественное доказательство преступления, лежавшее у ног Козетты.

— Ну, и что же? — снова спросил человек.

— Эта сквернавка осмелилась дотронуться до куклы моих детей! — ответила Тенардье.

— И только-то? — сказал человек. — Что ж тут такого, если она и поиграла этой куклой?

— Но она трогала ее своими грязными руками! Своими отвратительными руками! — продолжала кабатчица.

При этих словах рыдания Козетты усилились.

— Ты замолчишь или нет! — крикнула тетка Тенардье.

Незнакомец направился прямо к выходной двери, открыл ее и вышел.

Лишь только он скрылся, кабатчица воспользовалась его отсутствием и так ткнула под столом ногой Козетту, что девочка громко вскрикнула.

Дверь отворилась, человек появился вновь. Он нес в руках ту самую чудесную куклу, о которой мы уже говорили и на которую все деревенские ребятишки любовались весь день. Он поставил ее перед Козеттой и сказал:

— Возьми, это тебе.

По всей вероятности, в продолжение того часа, который он пробыл здесь, погруженный в задумчивость, он успел смутно разглядеть эту игрушечную лавку, так ярко освещенную плашками и свечами, что сквозь окна харчевни это обилие огней казалось иллюминацией.

Козетта подняла глаза. Человек, приближавшийся к ней с этой куклой, казался ей надвигавшимся на нее солнцем, ее сознания коснулись неслыханные слова: «Это тебе», она поглядела на него, поглядела на куклу, потом медленно отступила и забилась под стол в самый дальний угол, к стене.

Она больше не плакала, не кричала, — казалось, она не осмеливалась даже дышать.

Кабатчица, Эпониная и Азельма стояли истуканами. Пьяницы, и те умолкли. В харчевне воцарилась торжественная тишина.

Тетка Тенардье, окаменевшая и онемевшая от изумления, снова принялась строить догадки: «Кто же он, этот

старик? То ли бедняк, то ли миллионер? А может быть, и то и другое — то есть вор?»

На физиономии супруга Тенардье появилась та выразительная складка, которая так подчеркивает характер человека всякий раз, когда господствующий инстинкт проявляется в нем во всей своей животной силе. Кабатчик поочередно смотрел то на куклу, то на путешественника; казалось, он прошупывал этого человека, как ощупывал бы мешок с деньгами. Но это продолжалось одно мгновение. Подойдя к жене, он шепнул: «Кукла стоит по меньшей мере тридцать франков. Не дури! Распластывайся перед этим человеком!»

Грубые натуры имеют общую черту с натурами наивными: у них нет постепенных переходов от одного чувства к другому.

— Ну что же, Козетта, — сказала Тенардье кисло-сладким голосом, свойственным злой бабе, когда она хочет казаться ласковой, — почему же ты не берешь свою куклу?

Тогда Козетта осмелилась выползти из своего угла.

— Козетточка, — ласково подхватил Тенардье, — господин дарит тебе куклу. Бери ее. Она твоя.

Козетта глядела на волшебную куклу с чувством какого-то ужаса. Ее лицо было еще залито слезами, но глаза, словно небо на утренней заре, постепенно светлели, излучая необычайное сияние счастья. Если бы ей вдруг сказали: «Малютка, ты королева Франции», она испытала бы почти такое же чувство, как в это мгновение.

Ей казалось, что лишь только она дотронется до куклы, раздастся удар грома.

До некоторой степени это было верно, так как она не сомневалась, что хозяйка прибьет ее и выругает.

Однако сила притяжения победила. Козетта, наконец, приблизилась к кукле и, повернувшись к кабатчице, застенчиво прошептала:

— Можно, сударыня?

Нет слов передать этот тон, одновременно отчаянный, испуганный и восхищенный.

— Понятно, можно! — ответила кабатчица. — Она твоя. Ведь господин дарит ее тебе.

— Правда, сударь? — переспросила Козетта. — Разве это правда? Она моя, эта дама?

У проезжего глаза были полны слез. Он, видимо, на-
ходился на той грани волнения, когда молчат, чтобы не
разрыдаться. Он кивнул Козетте головой и вложил руку
«дамы» в ее ручонку.

Козетта быстро отдернула свою руку, словно рука
«дамы» жгла ее, и потупилась. Мы вынуждены отметить,
что в эту минуту язык у нее высывался самым неуме-
ренным образом. Внезапно она обернулась и порывистым
движением схватила куклу.

— Я буду звать ее Катериной, — сказала она.

Странно было видеть, как лохмотья Козетты коснулись
и перемешались с лентами и яркорозовым муслиновым
платьем куклы.

— Сударыня, — спросила она, — а можно мне поса-
дить ее на стул?

— Да, дитя мое, — ответила кабатчица.

Теперь пришел черед Азельмы и Эпонины с завистью
глядеть на Козетту.

Козетта посадила Катерину на стул, а сама села пе-
ред нею на пол и, неподвижная, безмолвная, погрузилась
в созерцание.

— Играй же, Козетта, — сказал проезжий.

— О, я играю! — ответил ребенок.

Этот проезжий, этот неизвестный, которого, казалось,
само провидение ниспослало Козетте, был в эту минуту
тем, кого кабатчица ненавидела больше всего на свете.
Однако надо было сдерживаться. Как ни привыкла она
скрывать свои чувства, стараясь подражать всем поступ-
кам мужа, но сейчас это было выше ее сил. Поспешно
отправила она дочерей спать и спросила у желтого чело-
века «позволения» отправить и Козетту, «Она сегодня
здорово утомилась», — с материнской заботливостью до-
бавила кабатчица. Козетта отправилась спать, унося в
объятиях Катерину.

Время от времени тетка Тенардье удалялась в про-
тивоположный угол залы, где сидел ее муж, чтобы, по
собственному ее выражению, «отвести душу». Она обме-
нивалась с ним несколькими словами, тем более ярост-
ными, что не решалась произносить их громко.

— Старая бестия! Какая муха его укусила? Только
растревожил нас! Он, видите ли, хочет, чтобы эта малень-
кая уродина играла! Хочет подарить ей куклу! Куклу в

сорок франков этой паршивой собачонке, которую, всю как есть, я отдала бы за сорок су! Еще немного, и он начнет величать ее «ваше величество», словно герцогиню Беррийскую! Да в здравом ли он уме? Рехнулся он, что ли, этот непонятный старикашка?

— Ничего не рехнулся! Все это очень просто, — восразил Тенардье. — А если ему так нравится? Тебе вот нравится, когда девчонка работает, а ему нравится, когда она играет. Он имеет на это право. Путешественник, если платит, может делать все, что хочет. Если этот старичина — филантроп, тебе-то что? Если он дурак, тебя это не касается. Чего ты суешься, раз у него есть деньги?

Это была речь главы дома и доводы трактирщика; ни тот, ни другой не терпели возражений.

Неизвестный облокотился на стол и вновь задумался. Все прочие посетители, торговцы и возчики, отошли подалее и перестали петь. Они взирали на него издали с каким-то почтительным страхом. Этот бедно одетый чуждак, вынимавший столь непринужденно из кармана пятифранковики и щедро даривший огромные куклы маленьким замарашкам в сабо, был, несомненно, удивительный, но и опасный человек.

Протекло несколько часов. Полуночная служба отошла, ужин рождественского сочельника закончился, бражники разошлись, кабак закрылся, нижняя зала опустела, огонь потух, а незнакомец продолжал сидеть все на том же месте, в той же позе. Порой он менял только руку, на которую опирался. Вот и все. Но с тех пор как ушла Козетта, он не произнес ни слова.

Супруги Тенардье из любопытства и приличия оставались в зале. «Он всю ночь, что ли, собирается этак провести?» — ворчала Тенардье. Когда пробило два, она сдалась, заявив мужу: «Я иду спать. Делай с ним что хочешь». Супруг уселся около стола в углу, зажег свечу и принялся читать «Французский вестник».

Так прошел добрый час. Достойный трактирщик прочел по крайней мере раза три «Французский вестник» от даты газеты до имени издателя включительно. Проезжий не трогался с места.

Тенардье шевельнулся, кашлянул, сплюнул, высморкался, скрипнул стулом. Человек оставался неподвижен.

«Уж не заснул ли он?» — подумал Тенардье. Человек не спал, но ничто не могло пробудить его от дум.

Наконец Тенардье, сняв свой колпак, осторожно подошел к нему и отважился спросить:

— Не угодно ли вам, сударь, итти почивать?

Сказать «итти спать» казалось ему слишком грубым и фамильярным. В слове «почивать» ощущалась какая-то пышность и одновременно почтительность. Подобные слова обладают таинственным и замечательным свойством раздувать на следующий день сумму счета. Комната, где «спят», стоит двадцать су; комната, где «почивают», стоит двадцать франков.

— Да, — сказал незнакомец, — вы правы. Где ваша конюшня?

— Сударь, — усмехаясь, произнес Тенардье, — я провожу вас, сударь.

Он взял подсвечник, незнакомец взял свой сверток и палку, и Тенардье повел его в комнату первого этажа, убранную с необыкновенной роскошью: там была мебель красного дерева, кровать в форме лодки и занавески из красного коленкора.

— Это что такое? — спросил путник.

— Это наша собственная спальня, — ответил трактирщик. — Мы с супругой теперь спим в другой комнате. Сюда входят не чаще двух-трех раз в год.

— Мне больше по душе конюшня, — резко сказал незнакомец.

Тенардье сделал вид, что не расслышал этого неучтывого замечания.

Он зажег две неначатые восковые свечи, украшавшие камин, внутри которого пылал довольно сильный огонь.

На каминной доске под стеклянным колпаком лежал женский головной убор из серебряной проволоки и поморанцевых цветов.

— А это что такое? — спросил проезжий.

— Сударь, — ответил Тенардье, — это подвенечный убор моей супруги.

Незнакомец окинул этот предмет взглядом, который словно говорил: «Значит, даже это чудовище когда-то было невинной девушкой!»

Но Тенардье лгал. Когда он снял в аренду этот жалкий домишко, чтобы открыть в нем кабак, то уже нашел эту

комнату подобным образом обставленную; он купил эту мебель и торговал померанцевые цветы, рассчитывая, что все это окружит ореолом изящества его «супругу» и придаст его дому то, что у англичан называется «респектабельностью».

Когда путешественник обернулся, хозяин уже исчез. Тенардьё скрылся незаметно, не осмелившись пожелать спокойной ночи, так как не желал вызывать оскорбительную сердечность человеку, которого предполагал на следующее утро ободрать как липку.

Трактирщик удалился в свою комнату. Жена уже лежала в постели, но не спала. Услыхав шаги мужа, она обернулась и сказала:

— Знаешь, завтра я выгоню Козетту вон.

— Прыткая какая! — холодно ответил Тенардьё.

Больше они не обменялись ни словом, и несколько минут спустя их свеча потухла.

Путешественник же, лишь только хозяин ушел, положил в угол свой сверток и палку, опустился в кресло и несколько минут сидел задумавшись. Потом он снял ботинки, взял одну из свечей, задул другую, толкнул дверь и вышел, осматриваясь вокруг, словно что-то искал. Он двинулся по коридору, который вывел его на лестницу. Тут он услышал чуть слышный звук, напоминавший дыхание ребенка. Он пошел на этот звук и очутился возле какого-то трехугольного углубления, устроенного под лестницей или, точнее, образованного самой же лестницей. Это углубление было не чем иным, как обратной стороной ступеней. Там, среди всевозможных старых корзин и битой посуды, в пыли и паутине, находилась постель, если только можно назвать постелью соломенный тюфяк, такой дырявый, что из него торчала солома, и одеяло, такое рваное, что сквозь него виден был тюфяк. Простыней не было. Все это валялось на каменном полу. На этой-то постели и спала Козетта.

Незнакомец подошел ближе и стал смотреть на нее.

Козетта спала глубоким сном. Она спала в одежде: зимой она не раздевалась, чтобы было теплее.

Она прижимала к себе куклу, большие открытые глаза которой блестели в темноте. От времени до времени Козетта тяжело вздыхала, словно собиралась проснуться, и

почти судорожно обнимала куклу. Возле ее постели стоял только один из ее деревянных башмаков.

Рядом с каморкой Козетты сквозь открытую дверь виднелась довольно просторная темная комната. Проезжий вошел в нее. В глубине, сквозь стеклянную дверь, видны были две одинаковые маленькие, очень беленькие кровати. Это были кровати Эпонины и Азельмы. Позади этих кроваток, наполовину скрытая ими, виднелась ивовая люлька без полога, в которой спал маленький мальчик, кричавший весь вечер.

Проезжий предположил, что эта комната была смежной с комнатой супругов Тенардье. Он хотел уже уйти, как вдруг взгляд его упал на камин, один из тех огромных трактирных каминов, в которых всегда горит такой скудный огонь, если он вообще горит, и от которых веет холодом. В этом камине не было огня, в нем не было даже золы; но то, что стояло в нем, привлекло, однако, внимание путешественника. То были два детских башмачка изящной формы и разной величины. Проезжий вспомнил прелестный старинный обычай детей ставить в камин в рождественский сочельник свой башмачок, в надежде, что ночью добрая фея положит в него какой-нибудь ослепительный подарок. Эпонины и Азельма не упустили такого случая, и каждая поставила в камин по башмачку.

Проезжий нагнулся.

Фея, то есть мать, уже побывала здесь, и в каждом башмачке блестела великолепная монета в десять су, совершенно новенькая.

Человек выпрямился и уже собирался удалиться, но заметил в глубине, в сторонке, в самом темном углу очага, какой-то предмет. Он взглянул и узнал сабо, самое грубое, ужасное деревенское сабо, наполовину разбитое, все в засохшей грязи и в золе. Это было сабо Козетты. Козетта, с той трогательной детской доверчивостью, которая, никогда не отчаиваясь, способна постоянно терпеть разочарования, поставила — и она тоже — свое сабо в камин.

Как божественна и трогательна была эта надежда в ребенке, который знал одно лишь горе!

В этом сабо ничего не лежало.

Проезжий пошарил в кармане, нагнулся и положил в сабо Козетты луидор.

Затем, неслышно ступая, вернулся в свою комнату.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тенардые за делом

На другое утро, по крайней мере за два часа до рассвета, Тенардые, сидя в нижней зале трактира за столом, на котором горела свеча, с пером в руке, составлял счет путешественника в желтом рединготе.

Жена стояла, слегка наклонившись над ним, и следила за его пером. Они не произносили ни слова. Он сосредоточенно размышлял, она же испытывала то благоговейное чувство, с которым человек взирает на возникающее и расцветающее перед ним чудесное творение человеческого ума. В доме слышался шорох: то Жаворонок подметала лестницу.

Спустя добрых четверть часа, после нескольких поправок, Тенардые создал следующий шедевр:

СЧЕТ ГОСПОДИНУ ИЗ № 1

Ужин	3 фр.
Комната	10 фр.
Свеча	5 фр.
Топка	4 фр.
Услуги	1 фр.
Итого	23 фр.

Вместо «услуги» написано было «услуги».

— Двадцать три франка! — воскликнула жена с восторгом, к которому все же примешивалось некоторое сомнение.

Тенардые, как все великие артисты, не был, однако, удовлетворен.

— Пфа! — пыхнул он.

То было восклицание Кастьери, составлявшего на Венском конгрессе счет, по которому должна была уплатить Франция.

— Ты прав, господин Тенардые, он действительно нам столько должен, — пробормотала жена, вспомнив о кукле, подаренной Козетте в присутствии ее дочерей. — Это справедливо, но многовато. Он не захочет платить.

Тенардые засмеялся своим холодным смехом и ответил:

— Заплатит.

Этот смех был высшим доказательством уверенности и превосходства. То, о чем говорилось подобным тоном,

не могло не сбыться. Жена не возражала. Она начала приводить в порядок столы; супруг расхаживал взад и вперед по комнате. Немного погодя он добавил:

— Ведь долгу-то у меня полторы тысячи франков!

Он уселся возле камина и, положив ноги на теплую золу, отдался размышлениям.

— Кстати, — опять заговорила жена, — ты не забыл, что сегодня я собираюсь вышвырнуть Козетту за дверь? Вот гадина! У меня прямо сердце разорвется из-за этой ее куклы! Мне легче было бы выйти замуж за Людовика Восемнадцатого, чем лишний день терпеть ее в доме!

Тенардые закурил трубку и сказал между двумя затяжками:

— Ты подашь счет этому человеку.

Затем он вышел.

Только он скрылся за дверью, как в залу вошел проезжий.

Тенардые тут же показался за его спиной и стал в полураскрытых дверях таким образом, что виден был только жене.

Желтый человек держал в руке свою палку и сверток.

— Так рано и уже на ногах? — воскликнула кабатчица. — Разве вы покидаете нас, сударь?

Она в замешательстве вертела в руках счет, складывая его и проводя ногтями по сгибу. Ее грубая физиономия выражала несвойственные ей чувства смущения и беспокойства.

Представить подобный счет человеку, похожему «точь-в-точь на нищего», казалось ей неудобным.

У проезжего был озабоченный и рассеянный вид. Он ответил:

— Да, сударыня, я ухажу.

— Значит, у вас, сударь, не было никаких дел в Монфермейле?

— Нет. Я здесь мимоходом. Вот и все. Сколько я вам должен, сударыня?

Тенардые молча подала ему сложенный счет.

Человек расправил его, взглянул, но, видимо, думал о чем-то ином.

— Сударыня, — спросил он, — а хорошо ли идут ваши дела здесь, в Монфермейле?

— Так себе, сударь, — ответила кабатчица, изумленная тем, что счет не вызвал взрыва возмущения. — Ах, сударь, — продолжала она жалобным и плаксивым тоном, — тяжелое время теперь! Вдобавок и людей-то зажиточных в нашей округе очень мало. Все, знаете, больше мелкий люд. К нам только изредка заглядывают такие щедрые и богатые господа, как вы, сударь. Мы платим пропасть налогов. А тут, видите ли, еще и эта девчонка влетает нам в копейчку!

— Какая девчонка?

— Ну, девчонка-то, помните? Козетта. Жаворонок, как ее тут в деревне прозвали.

— А-а! — протянул незнакомец.

Она продолжала:

— И дурацкие же у этих мужиков клички! Она больше похожа на летучую мышь, чем на жаворонка. Видите ли, сударь, мы сами милостыни не просим, но и подавать другим не можем. Мы ничего не зарабатываем, а платить должны много. Патент, подати, обложение дверей и окон, добавочные налоги! Вы сами знаете, сударь, какие ужасные деньги дерет с нас правительство. А кроме того, у меня ведь есть свои дочери. Очень мне надо кормить чужого ребенка.

Тогда незнакомец, стараясь говорить равнодушно, хотя голос его слегка дрожал, спросил:

— А что, если бы вас освободили от нее?

— От кого? От Козетты?

— Да.

Красная и свирепая физиономия кабатчицы расплылась в омерзительной улыбке.

— О, возьмите ее, сударь, оставьте у себя, уведите ее, унесите, осыпьте ее сахаром, начините трюфелями, пейте ее, скушайте, и да благословит вас пресвятая дева и все святые угодники!

— Хорошо.

— Правда? Вы возьмете ее?

— Я возьму ее.

— Сейчас?

— Сейчас. Позовите ребенка.

— Козетта! — закричала Тенардье.

— А пока, — продолжал путник, — я уплачу вам по счету. Сколько с меня следует?

Взглянув на счет, он не мог скрыть удивления:

— Двадцать три франка!

Он посмотрел на трактирщицу и повторил:

— Двадцать три франка?

В том, как произнесены были во второй раз эти три слова, скрывался оттенок, проводящий грань между восклицанием и вопросом.

У трактирщицы было достаточно времени, чтобы приготовиться к удару. Она ответила твердо:

— Ну да, сударь! Двадцать три франка.

Незнакомец положил на стол пять монет по пяти франков.

— Приведите малютку, — сказал он.

В это мгновение на середину комнаты выступил сам Тенардье.

— Этот господин должен двадцать шесть су, — сказал он.

— Как двадцать шесть су? — вскричала жена.

— Двадцать су за комнату, — холодно ответил Тенардье, — и шесть су за ужин. Что же касается малютки, то на этот счет мне надо потолковать немного с господином проезжим. Оставьте нас одних, жена.

Тетка Тенардье ощутила нечто подобное тому, что испытывает человек, ослепленный внезапным проявлением большого таланта. Она почувствовала, что великий актер вступил на подмостки, и, не возразив ни слова, удалилась.

Как только они остались одни, Тенардье предложил проезжему стул. Проезжий сел; Тенардье остался стоять, и лицо его приняло непривычно добродушное и простоватое выражение.

— Сударь, — сказал он, — послушайте, скажу вам прямо: я обожаю это дитя.

Незнакомец пристально взглянул на него.

— Какое дитя?

Тенардье продолжал:

— Смешно просто! А вот привязываешься к ним. На что мне все эти деньги? Можете забрать обратно ваши монетки в сто су. Этого ребенка я обожаю.

— Да кого же? — переспросил незнакомец.

— А нашу маленькую Козетту. Вы ведь, кажется, собираетесь увезти ее от нас? Так вот, говорю вам откро-

венно, я не соглашусь расстаться с ребенком, и это так же верно, как то, что вы честный человек. Я не могу на это согласиться. Когда-нибудь девочка упрекнула бы меня. Я видел ее совсем крошкой. Правда, она стоит нам денег, правда, у нее есть недостатки, правда, мы не богаты, правда, я заплатил за лекарства только во время одной ее болезни более четырехсот франков! Но ведь надо что-нибудь делать во имя божье. У бедняжки нет ни отца, ни матери, я ее вырастил. У меня хватит хлеба и на нее, и на себя. Одним словом, я привязан к этому ребенку. Понимаете, постепенно привыкаешь любить их; моя жена вспыльчива, но и она любит ее. Девочка для нас, видите ли вы, все равно что родной ребенок. Я привык к ее лепету в доме.

Незнакомец продолжал пристально глядеть на него.

— Прошу меня простить, сударь, — продолжал Тенардье, — но своего ребенка не отдают ведь ни с того ни с сего первому встречному. Разве я не прав? Конечно, ничего не скажешь, вы богаты, у вас вид человека очень порядочного. Может быть, это принесло бы ей счастье... но мне надо знать. Вы понимаете? Предположим, я отпущу ее и пожертвую собой, но я желал бы знать, куда она уедет, мне не хотелось бы терять ее из виду. Я желал бы знать, у кого она находится, чтобы время от времени навещать ее: пусть она чувствует, что ее добрый названный отец недалеко, что он охраняет ее. Одним словом, есть вещи, которые превышают наши силы. Я даже имени вашего не знаю. Вы уведете ее, и я скажу себе: «Ну, а где же наш Жаворонок? Куда он перелетел?» Я должен видеть хоть какой-нибудь клочок бумажки, хоть краешек паспорта, так ведь?

Незнакомец, не спуская с него пристального, словно проникающего в глубь его совести взгляда, ответил серьезным и решительным тоном:

— Господин Тенардье, отъезжая из Парижа на пять лет, паспорта с собой не берут. Если я увезу Козетту, то увезу ее, и баста! Вы не будете знать ни моего имени, ни моего местожительства, вы не будете знать, где она, и мое намерение таково, чтобы она никогда в жизни не видела вас больше. Я порываю нити, связывающие ее с этим домом, она исчезает. Согласны вы? Да или нет?

Как демоны и гении по определенным признакам познают присутствие высшего существа, так и Тенардье понял, что имеет дело с кем-то очень сильным. Он понял это как бы по наитию, мгновенно, со свойственной ему сообразительностью и проницательностью. Накануне, выпивая с возчиками, куря и распевая непристойные песни, он весь вечер наблюдал за неизвестным, подстерегая его, словно кошка, и изучая его, словно математик. Он выслеживал его из личного расчета, ради удовольствия и следуя инстинкту; одновременно он шпионил за ним, как будто должен был получить за это вознаграждение. Ни один жест, ни одно движение человека в желтом рединготе не ускользали от него. Еще до того, как неизвестный так явно проявил свое участие к Козетте, Тенардье уже угадал его. Он перехватил задумчивый взгляд старика, непрестанно обращаемый на ребенка. Но чем могло быть вызвано это участие? Кто был этот человек? Почему, имея такую толстую мошну, он был так нищенски одет? Вот вопросы, которые напрасно задавал себе Тенардье, не будучи в силах разрешить их, и это его раздражало. Он размышлял об этом всю ночь. Незнакомец не мог быть отцом Козетты. Может быть, дедом? Но тогда почему же он не открылся сразу? Если твои права законны, предъяви их! Этот человек, видимо, не имел никаких прав на Козетту. Но тогда кем же он был? Тенардье терялся в догадках. Он предполагал все и не знал ничего. Как бы там ни было, завязав разговор с этим человеком и, уверенный в том, что тут кроется какая-то тайна, что проезжий не без умысла желает остаться в тени, он чувствовал себя сильным. Но когда по ясному и твердому ответу незнакомца Тенардье понял, что эта загадочная фигура была проста при всей ее загадочности, кабатчик почувствовал себя слабым. Ничего подобного он не ожидал. Это было полное крушение всех его догадок. Он собрал свои мысли, он взвесил все это в одну секунду. Тенардье принадлежал к людям, умеющим в мгновение ока уяснить себе положение. Заключив, что пришло время действовать прямолинейно и быстро, он поступил так, как поступают великие полководцы в решающий момент, который им одним дано угадать: он внезапно сорвал прикрытия со всех своих батарей.

— Сударь, — заявил он, — мне нужны полторы тысячи франков.

Незнакомец вынул из бокового кармана старый черный кожаный бумажник, достал три банковых билета и положил их на стол. Затем, прикрыв широким большим пальцем билеты, сказал:

— Приведите Козетту.

Что же делала все это время Козетта?

Проснувшись, она побежала к своему сабо. В нем она нашла золотую монету. Это был не наполеондор, а монета времен Реставрации, стоимостью в двадцать франков, совершенно новенькая, и на лицевой ее стороне вместо лаврового венка изображен был прусский хвостик. Козетта была ослеплена. Ее судьба начинала опьянять ее. Она не знала, что такое золотой, она никогда их не видела, и поспешно спрятала монету в карман передника, словно украла ее. Между тем она чувствовала, что этот золотой — неоспоримая ее собственность, она догадалась, чей дар это был, однако испытывала какое-то смешанное чувство и радости, и страха. Она была довольна; еще более она была поражена. Подарки, такие великолепные, такие красивые, казались ей ненастоящими. Кукла возбуждала в ней страх, золотой возбуждал в ней страх. Она бессознательно трепетала перед всем этим великолепием. Только незнакомец не внушал ей страха. Напротив, одна мысль о нем уже успокаивала ее. Со вчерашнего дня, сквозь все потрясения, сквозь сон, она своим маленьким, детским умом размышляла об этом человеке, на вид таком старом, жалком и печальном, а на самом деле — таком богатым и добрым. С момента встречи с этим стариком в лесу все для нее словно изменилось. Козетта, испытывавшая счастья меньше, чем самая незаметная птичка небесная, никогда не знала, что значит жить, приютившись под крылышком матери. С пятилетнего возраста, то есть с тех пор, как она себя помнила, бедная малютка дрожала от страха и холода. Она всегда была беззащитна перед пронизывающим студеным ветром беды, теперь же ей казалось, что она укрыта. Прежде ее душе было холодно, теперь — тепло. Она уже не так боялась Тенардье. Она уже не была одинока; кто-то стоял подле нее.

Она проворно принялась за свою ежедневную утреннюю работу. Луидор, лежавший в том же кармашке, из

которого накануне выпала монета в пятнадцать су, отвлекла ее. Дотронуться до него она не смела, но минут по пять любовалась им, и, надо сознаться, высунув язык. Подметая лестницу, Козетта вдруг останавливалась и застывала на месте, неподвижная, позабыв о своей метелке, обо всем на свете, уйдя в созерцание этой звезды, блистающей в глубине ее кармашка.

В такую-то минуту и застигла ее тетка Тенардье.

По приказанию мужа она отправилась за девочкой. Потрясающее событие! Хозяйка не наградила ее ни одним тумачком и не обругала ее.

— Козетта, — сказала она почти кротко, — иди скорее.

Спустя минуту Козетта входила в нижнюю залу.

Незнакомец взял принесенный им сверток и развязал его. В свертке лежали детское шерстяное платьице, фартучек, бумазейный лифчик, нижняя юбка, косынка, шерстяные чулки, башмаки — одним словом, полное одяние для семилетней девочки. Все вещи были черного цвета.

— Дитя мое, — сказал незнакомец, — возьми все это и пойдй скорее переоденься.

День еще только занимался, когда те из жителей Монфермейля, которые начали отпирать свои двери, увидели, как по Парижской улице шел бедно одетый старик, ведя за руку маленькую девочку в трауре, державшую розовую куклу. Они шли по направлению к Ливри.

Это были наш незнакомец и Козетта.

Никто не знал этого человека, а так как Козетта сбросила свои лохмотья, то многие не узнали и ее.

Козетта уходила. С кем? Она не ведала. Куда? Она не знала. Лишь одно ей было понятно: она покидала харчевню Тенардье. Никто не подумал проститься с ней, как и она не простилась ни с кем. Козетта уходила из этого дома ненавидящая и ненавидимая.

Бедное, кроткое существо, чье сердце до сей поры знало одно лишь горе!

Козетта шла степенно, широко открыв большие глаза и глядя на небо. Свой луидор она положила в кармашек нового передника. От времени до времени она наклонялась и смотрела на него, потом переводила взгляд на старика. Ей казалось, будто рядом с нею сам господь бог.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Кто ищет лучшего, может найти худшее

Тетка Тенардые, по обыкновению, предоставила действовать мужу. Она ожидала великих событий. Когда проезжий и Козетта ушли, то Тенардые, подождав добрых четверть часа, отвел жену в сторону и показал ей полторы тысячи франков.

— И только-то? — удивилась она.

Впервые за всю их супружескую жизнь она осмелилась критиковать действия своего владыки.

Удар попал в цель.

— Ты права, конечно! — ответил он. — Я дурак! Дай-ка мне мою шляпу.

Сложив три банковых билета, он сунул их в карман и поспешно вышел, но сначала ошибся, взяв вправо. Соседи, которых он расспросил, направили его по верному следу; они видели, как Жаворонок и незнакомец шли в сторону Ливри. Он быстро зашагал по указанному ему пути.

«Этот человек, очевидно, миллион, одетый в желтое, а я — болван, — рассуждал он сам с собой. — Начал он с того, что дал двадцать су, затем пять франков, затем пятьдесят, затем полторы тысячи франков, и все с одинаковой легкостью. Он дал бы и пятнадцать тысяч франков. Но я нагоню его. А узелок с платьем, заранее заготовленный для девчонки, — все это весьма странно; под этим скрывается немало тайн. Но уловленную тайну из рук не выпускают. Секреты богачей — это губки, пропитанные золотом, надо только уметь их выжимать. — Все эти мысли вихрем кружились в его голове. — Я болван», — повторял он.

Когда выходишь из Монфермейля и достигаешь поворота, образуемого дорогой, ведущей в Ливри, то далеко вперед видно, как эта дорога бежит по плато. Дойдя до этого места, Тенардые рассчитывал увидеть старика и девочку. Он всматривался в даль, сколько хватал глаз, но никого не заметил. Тогда он вторично обратился за указаниями. А время между тем шло. Встречные ответили ему, что старик и ребенок, о которых он спрашивал, направились к лесу в сторону Ганьи. Он поспешил в ту же сторону.

Правда, они опередили его, но ведь ребенок идет медленно, а Тенардые шел быстро. К тому же местность была ему хорошо знакома.

Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, забывший самое главное и готовый повернуть обратно.

— Надо было захватить с собой ружье, — пробормотал он.

Тенардые принадлежал к числу тех двойственных натур, которые иногда незаметно появляются среди нас и исчезают непонятыми, потому что судьба показала их нам лишь с одной стороны. Удел множества людей именно таков: проявлять себя лишь наполовину. При спокойной и ровной жизни Тенардые обладал всеми данными, чтобы «прослыть» — мы не говорим «быть» — честным, как принято выражаться, торговцем, порядочным гражданином. И в то же время, при иных условиях, при некоторых потрясениях, пробуждавших скрытые его инстинкты, он обнаруживал все данные негодяя. Это был лавочник, в котором таилось чудовище. Должно быть, сам сатана в иные мгновения, сидя на корточках в каком-нибудь углу трущобы, где жил Тенардые, предавался размышлениям перед этим высочайшим образцом человеческой низости.

После минутного колебания Тенардые подумал: «Ну нет! А то они успеют скрыться!»

И он продолжал свой путь вперед быстрым, уверенным шагом, с безошибочным чутьем лисицы, которая выследила стайку куропаток.

И в самом деле, когда он, миновав пруды, пересек наискосок большую прогалину, что направо от лесной дороги на Бельвю, и достиг той заросшей травой аллеи, которая окружает почти весь холм, скрывая под собою своды старинного водопровода Шельского аббатства, он разглядел над кустарниками шляпу, по поводу которой он мысленно нагромоздил уже такое множество догадок. Эта шляпа принадлежала незнакомцу. Кустарник был низкорослый. Тенардые догадался, что путник и Козетта присели под ним отдохнуть. Ребенок был так мал, что его не было видно, зато видна была голова куклы.

Тенардые не ошибся. Незнакомец уселся там, чтобы дать Козетте немного передохнуть. Кабатчик обогнул кустарник и внезапно предстал перед теми, кого искал.

— Прошу прощения, сударь, — проговорил он, запыхавшись, — извольте получить ваши полторы тысячи франков.

С этими словами, он протянул незнакомцу три банковых билета.

Тот взглянул на него.

— Что это значит?

Тенардье ответил почтительно:

— Сударь, это значит, что я беру Козетту обратно.

Козетта вздрогнула и прижалась к старику.

А он, глядя пристально в глаза Тенардье, сказал, отделивая каждый слог.

— Вы бе-ре-те об-рат-но Козетту?

— Да, сударь, я беру ее. Сейчас я объясню вам, почему. Я передумал. В самом деле, я не имею права отдавать ее вам. Видите ли, я честный человек. Это не мое дитя, оно принадлежит своей матери. И мать доверила его мне, поэтому я могу вернуть его только матери. Вы ответите мне: «Но мать умерла». Допустим. В таком случае я доверю ребенка только тому, кто представит мне записку с подписью матери, где будет сказано, что я должен отдать ребенка предъявителю этой записки. Ясно?

Человек, не отвечая, порылся в кармане, и Тенардье снова увидел бумажник с банковыми билетами

Трактирщик задрожал от радости.

«Прекрасно! — подумал он. — Держись, Тенардье! Он хочет меня подкупить».

Прежде чем открыть бумажник, путник огляделся. Место было совершенно пустынное. В лесу и в долине не видно было ни души. Он открыл бумажник и, достав из него не пачку банковых билетов, как ожидал Тенардье, а простой клочок бумаги, развернул его и протянул трактирщику, сказав: «Вы правы. Прочтите».

Тенардье взял бумажку и прочел:

«Монрейль-Приморский, 25 марта 1823 года.

Господин Тенардье,

Отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены.

Остаюсь с уважением

Фантина».

— Вам знакома эта подпись, — добавил путник.

Подпись действительно принадлежала Фантине. Тенардые узнал ее.

Возражать было нечего. Он был сильно и вдвойне раздосадован: тем, что приходится отказаться от денег, на которые он рассчитывал, и тем, что был побежден.

— Эту бумажку вы можете сохранить как оправдательный документ, — сказал незнакомец.

Тенардые пришлось отступать по всем правилам.

— Подпись довольно ловко подделана, — проворчал он сквозь зубы. — Ну да ладно!

Затем он сделал еще одну безнадежную попытку.

— Пускай будет так, сударь, — сказал он, — поскольку вы являетесь подателем этого письма. — Но надо оплатить мне «все мелкие расходы». А должок-то поряточный.

Человек встал и, счищая щелчками пыль с потертого рукава, ответил:

— Господин Тенардые, в январе мать считала, что должна вам сто двадцать франков; но в феврале вы послали ей счет на пятьсот франков; вы получили триста франков в конце февраля и триста франков в начале марта. С той поры прошло девять месяцев; согласно условию, вы за каждый месяц должны получать пятнадцать франков; это составляет всего сто тридцать пять франков. Вы получили лишних сто. Остается долгу тридцать пять франков. А я только что дал вам тысячу пятьсот.

Тенардые испытал то же чувство, что волк, схваченный стальными челюстями капкана.

«Что за чорт этот человек!» — подумал он.

И поступил так, как поступает волк: рванулся вон из капкана. Ведь однажды его уже выручило нахальство.

— Господин-имени-которого-не-имею-чести-знать, — сказал он решительно, оставляя на этот раз в стороне вежливые свои приемы, — я забираю Козетту, или вы дадите мне тысячу экю.

Незнакомец спокойно сказал:

— Идем, Козетта.

Левую руку он протянул Козетте, а правой подобрал свою палку, лежавшую на земле.

Тенардье отметил про себя увесистость дубинки и уединенность местности.

Человек углубился с девочкой в лес; озадаченный кабатчик не тронулся с места.

Они уходили все дальше. Тенардье глядел на его широкие, слегка согбенные плечи и на его внушительные кулаки.

Потом он перевел взгляд на себя, на свои слабые, худые руки. «Выходит, я и вправду отпетый дурак, — подумал он, — пошел на охоту без ружья!»

И все же он не хотел сдаваться до конца.

— Мне надо знать, куда он пойдет, — пробормотал он. И, держась все время поодаль, последовал за ними. В руках у него оставались две вещи: насмешка — клочок бумажки с подписью «Фантина», и утешение — полторы тысячи франков.

Человек уводил Козетту по направлению к Ливри и Бонди. Он шел медленно, понутив голову, задумчивый и грустный. Зима сделала лес сквозным, и потому Тенардье не мог потерять их из виду, хоть и держался от них на довольно значительном расстоянии. От времени до времени человек оборачивался, чтобы удостовериться, не следит ли кто за ними. Внезапно он заметил Тенардье. Тогда он быстро углубился с Козеттой в лесную поросль, среди которой им легко было скрыться.

— Тыфу ты пропасть! — воскликнул Тенардье и ускори́л шаг.

Густота лесной чащи принудила его близко подойти к ним. Когда человек вошел в самую ее глубь, то обернулся. Напрасно Тенардье старался укрыться среди кустов, ему не удалось спрятаться от старика. Тот бросил на него беспокойный взгляд, покачал головой и продолжал путь. Трактирщик возобновил преследование. Так прошли они шагов двести — триста. Вдруг человек снова оглянулся и снова заметил трактирщика. На этот раз его взгляд, обращенный на Тенардье, был так мрачен, что тот счел «бесполезным» дальнейшее преследование. Тенардье круто повернул домой.

Номер 9430 появляется снова, и Козетта выигрывает его в лотерею

Жан Вальжан не умер.

Упав в море, точнее, бросившись туда, он был, как известно, без кандалов. Он поплыл под водой до стоявшего на рейде корабля, к которому было принайтовано гребное судно. Ему удалось спрятаться на нем до вечера. Ночью он снова пустился вплавь и достиг берега неподалеку от мыса Брен. Денег у него было достаточно, и он раздобыл себе там одежду. Кабак в окрестностях Балагье был в ту пору гардеробной беглых каторжников, что являлось для него прибыльной специальностью. Затем Жан Вальжан, подобно всем этим несчастным беглецам, старающимся обмануть бдительность закона и уйти от злой участи, уготованной им обществом, избрал сложный, беспокойный маршрут. Первый приют он нашел в Прадо близ Боссе. Затем он направился к Гран-Вилару, около Бриансона в Верхних Альпах. То было лихорадочное бегство вслепую, путь крота, подземные ходы которого никому неведомы. Впоследствии можно было обнаружить некоторые следы его пребывания в Эне, находящемся в области Сивриэ; в Пиренеях, в Аконе, расположенном в местности, называемой Гранж-де-Думек; около деревушки Шавайль и в окрестностях Периге в Брюни, кантоне Шапель-Гонаге. Наконец он добрался до Парижа. Мы только что видели его в Монфермейле.

Первой его заботой в Париже было купить траурную одежду для девочки семи-восьми лет и подыскать себе жилье. Сделав это, он направился в Монфермейль.

Читатель, вероятно, припомнит, что перед своим предыдущим бегством он уже предпринимал в самом Монфермейле или в его окрестностях таинственное путешествие, о котором правосудие имело некоторые сведения.

Впрочем, его считали умершим, и это еще сильнее сгущало опустившуюся на него тьму. В Париже ему попала в руки газета, устанавливавшая факт его смерти. Он почувствовал себя успокоенным, почти умиротворенным, словно действительно умер.

Вечером того же дня, когда Жан Вальжан вырвал Козетту из когтей Тенардье, он в сумерки вошел с ребенком

в Париж через заставу Монсо. Здесь он сел в кабриолет, доставивший его к эспланаде Обсерватории, где он сошел. Уплатив кучеру, он взял Козетту за руку, и оба, уже глубокой ночью, направились по пустынным улицам, прилегающим к Урсин и Гласьер, в сторону Госпитального бульвара.

Для Козетты это был необычайный и полный впечатлений день. Они ели под плетнями купленные в уединенных харчевнях хлеб и сыр, часто пересаживались из одного экипажа в другой, часть дороги шли пешком. Она не жаловалась, но устала, и Жан Вальжан заметил это по своей руке, которую она сильнее тянула на ходу. Он посадил ее к себе за спину. Козетта, не выпуская Катерины из рук, положила головку на плечо Жана Вальжана и уснула.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Хозяин Горбо

Если бы сорок лет тому назад одинокий прохожий, вздумавший углубиться в глухую окраину Сальпетриер, поднялся бы вдоль бульвара до Итальянской заставы, то он дошел бы до одного из тех мест, где, так сказать, исчезает Париж. Нельзя сказать, чтобы это была совершенная глушь, — здесь попадались прохожие; нельзя сказать, чтобы это была деревня, — здесь попадались городские домики и улочки. Но это не был и город, — на улицах пролегали колеи, как на больших проезжих дорогах, и росла трава; это не было и село, — дома были слишком высоки. Тогда что же представляла собой эта окраина, одновременно и обитаемая и безлюдная, пустынная и в то же время кем-то населенная? То был бульвар большого города, парижская улица, ночью более жуткая, чем лес, а днем более мрачная, чем кладбище.

Это был старый квартал Конного рынка

Если прохожий отваживался выйти за пределы четырех обветшалых стен Конного рынка, если он решался тем более миновать Малую Банкирскую улицу и, оставив вправо от себя конопляник, обнесенный высокими стенами, потом луг, где высились кучи молотой дубовой коры, похожие на жилища гигантских бобров, затем огороженное место, заваленное строевым лесом, грудями пней, опилок и щепы, на верхушке которых лаял сторожевой пес, затем длинную низкую развалившуюся стену с маленькой черной грязной дверью, покрытую мхом, который весной прорастал цветами, и далее, уже в самом глухом месте,

отвратительное ветхое строение, на котором большими печатными буквами было выведено: ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВЫВЕШИВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ, то этот отважный прохожий достигал конца улицы Винь-Сен-Марсель, весьма мало известной. Там, вблизи завода и между двумя оградами садов, виднелась в ту пору лачуга, которая казалась с первого взгляда маленькой, словно хижина, а на самом деле была огромной, как собор. На проезжую дорогу она выходила боковым своим фасадом — отсюда и обманчивое представление о ее величине. Почти весь дом был скрыт. Видны были только дверь и окно.

Лачуга эта была двухэтажной.

Внимательный глаз прежде всего заметил бы такую странность: тогда как дверь годилась бы разве только для чулана, окно, будь оно пробито в тесаном камне, а не в песчанике, могло украшать какой-нибудь особняк.

Эта дверь представляла собой ряд полусгнивших досок, соединенных поперечными перекладинами, похожими на плохо обтесанные поленья. Она открывалась непосредственно на крутую лестницу с высокими, покрытыми грязью, пылью и осыпавшейся штукатуркой ступеньками той же ширины, что и сама дверь. С улицы видно было, как эта лестница, совершенно прямо, словно приставная, уходила между двух стен куда-то в темноту. Верхняя часть грубого проема, в котором ходила дверь, скрывалась за узкой доской с выпиленным в середине ее треугольным отверстием, служившим одновременно и слуховым оконцем, и форточкой, когда дверь была закрыта. На внутренней стороне двери, кистью, обмокнутой в чернила, двумя мазками была изображена цифра 52, а над дверью той же кистью намалевана цифра 50; это ставило вас в тупик. Куда же вы попали? Закрытая дверь утверждала, что номер дома 50; она же, открытая, возражала: нет, это номер 52. На трехугольной форточке, заменяя занавеску, висели какие-то грязные тряпки.

Окно было широкое и довольно высокое, с решетчатыми ставнями и большими стеклами. Однако эти стекла отличались самыми разнообразными повреждениями, которые были скрыты и одновременно подчеркнуты искусно наложенным пластырем из бумажных наклеек, а полуоторванные и расшатанные ставни скорее служили угрозой

для прохожих, чем защитой для обитателей лачуги. То там, то тут на этих жалюзи нехватало поперечных планок, их простодушно заменили прибитыми перпендикулярно досками; таким образом, то, чему предназначалось быть жалюзи, превратилось в ставни.

Дверь, казавшаяся отвратительной, и это окно, казавшееся благопристойным, несмотря на его обветшалость, выступая на фоне одного и того же дома, производили впечатление двух случайно встретившихся нищих, которые пошли бы вместе, шагая бок о бок, но, прикрытые одинаковыми лохмотьями, обладали бы различной внешностью: один — напоминая профессионального попрошайку, другой — бывшего дворянина.

Лестница вела в главную, очень обширную часть здания, похожую на сарай, превращенный в жилой дом. Внутренним каналом этого здания служил длинный коридор, по правую и левую сторону которого расположены были разнообразных размеров клетушки, в случае крайней необходимости годные для жилья, но скорее похожие на кладовки, чем на каморки. Окнами они выходили на соседние пустопорожние участки. Все это темное, скучное, тусклое, печальное и унылое строение, в зависимости от того, в крыше или в дверях оказывались щели, пронизывал бледный луч солнца или ледяной северный ветер. Своеобразную и живописную подробность такого рода жилищ составляют громадные пауки.

Налево от входной двери, со стороны бульвара, на высоте человеческого роста находилось замурованное слуховое оконце, образовавшее квадратное углубление, полное камешков, которые туда забрасывали проходящие мимо дети.

Часть этого здания была недавно разрушена. Другая, уцелевшая донныне, позволяет судить о том, чем оно было когда-то. Всему зданию в целом — не более ста лет. Для собора сто лет — юность, для жилого дома — старость. Словно людскому жилью свойственна человеческая бренность, а жилищу бога — его бессмертие.

Почтальоны называли эту лачугу номером 50-52, но в квартале она известна была как дом Горбо.

Поясним происхождение этого названия.

Любители мелких происшествий, собирающие для собственного удовольствия целые коллекции анекдотов и

хранящие в своей памяти, словно посаженными на булавки, самые мимолетные даты, знают, что в прошлом столетии, около 1770 года, в Шатле были два прокурора. Одного звали Корбо, другого Ренар¹ — два имени, предугаданные Лафонтеном. Этот случай был слишком соблазнительным, чтобы судейские писцы не сделали его поводом для зубоскальства. По всем галлереям Дворца правосудия тотчас же разошлась составленная в стихах, хотя и довольно нескладных, сия пародия:

На груди папок раз ворона взобралась,
Арестный лист она во рту зажала.
Лиса, приятным запахом прельстясь,
Из лесу прибежала
И перед ней такую речь держала:
«Здорово, друг!..» и т. д.

Почтенные законники, смущенные плоской шуткой и уязвленные в своем достоинстве хохотом, раздававшимся им вслед, решили отделаться от своих фамилий и обратились с ходатайством к королю. Челобитие подано было Людовику XV как раз в тот момент, когда папский нунций справа, а кардинал Ларош Эмон — слева, оба набожно коленопреклоненные, надевали в присутствии его величества туфли на босые ножки г-жи Дюбарри, встававшей со своего ложа. Король, который заливался смехом, глядя на двух епископов, стал теперь весело смеяться над двумя прокурорами и милостиво разрешил этим судейским крючкам переменить — вернее, слегка изменить их фамилии. Так, господину Корбо от имени короля разрешено было к заглавной букве его фамилии добавить хвостик и прозываться Горбо; господину Ренару посчастливилось меньше, он только получил разрешение приставить к букве Р букву П и именоваться Пренар², так что новая фамилия не менее подходила к нему, чем старая.

Итак, согласно местному преданию, этот самый Горбо и был владельцем здания под № 50-52 на Госпитальном бульваре. Он же был и творцом этого огромного окна.

Вот почему лачуга называлась домом Горбо.

¹ По-французски ворона — le corbeau (корбо); лисица — le renard (ренар).

² По-французски Пренар (prenard) означает: взяточник, лихоимец.

Напротив дома № 50-52, среди других деревьев бульвара, рос большой вяз, почти на три четверти засохший; прямо перед ним начиналась улица заставы Гобеленов, в ту пору не застроенная, не вымощенная, обсаженная чахлыми деревьями, то зелеными, то бурыми, в зависимости от времени года, и резко обрывающаяся у самой парижской окружной стены. Клубы дыма из труб соседней фабрики распространяли по всему кварталу запах купороса.

Застава была близко. Стена, опоясывающая Париж, еще существовала в 1823 году.

Эта застава уже сама по себе вызывала в воображении мрачные образы. Здесь пролежала дорога, ведущая в Бисетр. Именно через эту заставу во времена Империи и Реставрации, в день своей казни, входили в Париж приговоренные к смерти. Именно здесь произошло в 1829 году таинственное убийство, именуемое «убийством у заставы Фонтенебло», виновников которого не могло обнаружить правосудие, — темное дело, оставшееся неразъясненным, страшная загадка, оставшаяся неразгаданной. Сделайте несколько шагов, и вы окажетесь на той роковой улице Крульбарб, где Ульбах поразил кинжалом пастушку из Иври под раскаты грома, как в мелодраме. Еще несколько шагов, и вы подойдете к безобразным, с обрезанными верхушками, вязам заставы Сен-Жак, к этому детищу филантропов, пытающихся скрыть эшафот, к этой жалкой и позорной Гревской площади лавочников и мещан, отшатнувшихся перед зрелищем смертной казни, не дерзнув ни мужественно отменить ее, ни открыто выступить ее сторонниками.

Тридцать семь лет тому назад, если не упоминать о площади Сен-Жак, которой словно предопределено было всегда внушать ужас, возможно самым мрачным уголком на всем этом мрачном бульваре была эта столь мало привлекательная и в наше время часть его, где стояла лачуга № 50-52.

Только двадцать пять лет спустя здесь начали появляться дома горожан. Это было угрюмое место. Скорбные мысли овладевали вами, вы чувствовали, что находитесь между Сальпетриер, чей высокий купол можно было разглядеть оттуда, и Бисетром, близ ограды которого вы находились; то есть между безумием женщины и

безумием мужчины. На всем доступном глазу расстоянии виднелись только бойни, окружная стена и редкие фасады фабрик, похожих на казармы или монастыри. Повсюду бараки, строительный мусор, старые стены — черные, словно траурный покров, новые стены — белые, словно саван; повсюду параллельные ряды деревьев, вытянутые в струнку постройки, длинные и холодные линии плоских фасадов и гнетущее уныние прямых углов. Ни признака складки, неровности почвы, никакой архитектурной прихоти. Все вместе — леденящее, однообразное, отвратительное зрелище. Ничто так не удручает сердца, как симметрия. Ибо симметрия — это скука, а скука и есть сущность печали. Отчаяние зевает. Если можно вообразить себе что-нибудь страшнее ада, где страдают, то это ад, где скучают. Если бы такой ад действительно существовал, то эта часть Госпитального бульвара могла бы служить аллеей, к нему ведущей.

Однако с приближением ночи, в час, когда меркнет день, особенно зимой, чье леденящее дыхание срыгает с вязов последние бурые листья, когда мрак непроницаем и небо беззвездно или когда ветер пробьет в облаках луне оконце, бульвар становится вдруг страшным. Черные его линии уходят в мрак и пропадают в нем, словно отрезки бесконечности. Прохожий невольно вспоминает все связанные с виселицей, бесчисленные предания об этом месте. В уединенности квартала, где совершенно было столько преступлений, таилось что-то жуткое. Чудилось, будто в этой темноте всюду расставлены западни, смутные очертания теней внушали подозрение, а длинные четырехугольные углубления между деревьев напоминали могилы. Днем это было безобразно; вечером это было мрачно; ночью это было зловеще.

Летом в сумерках кое-где на замшелых, старых скамьях у подножия вязов сидели старухи. Они назойливо выпрашивали милостыню.

Впрочем, этот квартал, на вид скорее старый, чем старинный, стремился уже тогда преобразиться. Кто хотел его видеть, должен был поспешить это сделать. Ежедневно из общей картины исчезала какая-нибудь деталь. В настоящее время, как и все последние двадцать лет, вокзал Орлеанской железной дороги, расположенный

рядом с этим старым предместьем, непрерывно его видоизменяет. Всюду, где на окраине столицы появляется железнодорожная станция, умирает предместье и рождается город. Кажется, что вокруг этих крупных средоточий движения людей от грохота этих мощных машин, от дыхания этих чудовищных коней цивилизации, пожирающих уголь и изрыгающих пламя, земля, полная новых ростков, дрожит и разверзается, готовая поглотить древние жилища человека и породить новые. Старые дома рушатся, новые дома воздвигаются.

С тех пор как станция Орлеанской железной дороги вторглась во владение Сальпетриер, старинные узкие улицы, граничащие со рвами Сен-Виктор и Ботаническим садом, дрогнули под стремительным потоком дилижансов, фиакров и омнибусов, который проносится по ним три-четыре раза в день в определенное время, отеснив дома вправо и влево. Есть явления, на первый взгляд неправдоподобные, тем не менее они вполне отвечают действительности: как верно то, что в крупных городах солнце заставляет появляться дома, обращенные фасадом на юг, так же несомненно и то, что непрерывное движение экипажей расширяет улицы. Признаки новой жизни очевидны. В этом старинном провинциальном квартале, в самых глухих закоулках, возникает мостовая, повсюду расползаются и тянутся тротуары даже там, где нет еще прохожих. Однажды утром, в памятное июльское утро 1845 года, там вдруг задымились черные котлы с асфальтом; можно считать, что в этот день цивилизация добралась до улицы Урсин и что Париж вступил в предместье Сен-Марсо.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Гнездо совы и славки

Именно здесь, перед лачугой Горбо, и остановился Жан Вальжан. Он, словно дикая птица, выбрал это пустынное место, чтобы свить себе тут гнездо.

Пошарив в жилетном кармане, он вынул что-то вроде отмычки, открыл дверь, вошел, затем тщательно запер ее за собой и поднялся по лестнице, продолжая нести на руках Козетту.

Наверху лестницы он вынул из кармана другой ключ и отпер им другую дверь. Комната, войдя в которую он тотчас же заперся, напоминала довольно просторное чердачное помещение. Убранство ее состояло из матраца, лежавшего на полу, стола и нескольких стульев. В углу стояла топившаяся печь, в которой виднелись раскаленные уголья. Фонарь, горевший на бульваре, тускло освещал это убогое жилье. В глубине комнаты был маленький чулан, где стояла складная кровать. Жан Вальжан так бережно опустил ребенка на эту кровать, что тот не проснулся.

Он высек огонь и зажег свечу, — все это заранее было приготовлено на столе; затем, как и накануне, устремил на Козетту восторженный взгляд, выражавший доброту и умиление, почти граничившие с безумием. Девочка, исполненная той спокойной доверчивости, которая присуща лишь величайшей силе или величайшей слабости, уснула, даже не зная, с кем она, и продолжала спать, не ведая, где она.

Жан Вальжан нагнулся и поцеловал ручку этого ребенка.

Девять месяцев тому назад он целовал руку матери, тоже уснувшей, но навеки.

То же горестное, благоговейное, щемящее чувство наполняло его сердце.

Он опустился на колени перед кроватью Козетты.

Наступил день, а ребенок продолжал спать. Бледный луч декабрьского солнца проник сквозь чердачное оконце и протянул по потолку длинные волокна света и тени. Вдруг тяжело нагруженная телега каменщика, проехавшая по бульвару, словно громовой раскат, потрясла и заставила задрожать всю лачугу сверху донизу.

— Да, сударыня! — внезапно проснувшись, вскрикнула Козетта. — Сейчас! Сейчас!

Она спрыгнула с кровати и со слипавшимися еще ото сна глазами протянула руки в угол комнаты.

— Боже мой! А где же моя метла? — воскликнула она.

Она широко раскрыла глаза и увидела перед собой улыбающееся лицо Жана Вальжана.

— Ах, да! Ведь я и забыла! — сказала она. — С добрым утром, сударь.

Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем и радостью, ибо они сами по природе своей — радость и счастье.

В ногах своей постели Козетта заметила Катерину и занялась ею. Играя, она задавала тысячу вопросов Жану Вальжану. Где она находится? Велик ли Париж? Достаточно ли далеко от нее госпожа Тенардье? Не придет ли она за ней? и т. д. Вдруг она воскликнула: «Как здесь красиво!»

Это была отвратительная конура; но Козетта чувствовала себя в ней свободной.

— Надо мне ее подмести? — спросила она наконец.

— Играй, — ответил Жан Вальжан.

Так прошел весь день. Ничего не пытаясь уяснить себе, Козетта была невыразимо счастлива возле этой куклы и этого человека.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Слившись, два несчастья дают счастье

На рассвете следующего дня Жан Вальжан снова был у постели Козетты. Он стоял неподвижно и, глядя на нее, ждал ее пробуждения.

Что-то неизведанное проникало в его душу.

Жан Вальжан никогда никого не любил. Уже двадцать пять лет он жил один на свете. Ему не довелось стать отцом, любовником, мужем, другом. На каторге это был злой, мрачный, целомудренный, невежественный и нелюбимый человек. Сердце старого каторжника было нетронуто. О сестре и ее детях он сохранил смутное и отдаленное воспоминание, которое в конце концов почти совершенно изгладилось. Он приложил все усилия к тому, чтобы отыскать их, и, не сумев найти, забыл их. Таково свойство человеческой природы. Все прочие сердечные привязанности его юности, если только он когда-либо имел их, канули в бездну.

Когда он увидел Козетту, когда он взял ее с собою, увел, освободил, он ощутил, как вся душа его дрогнула. Все, что было в ней страстного и нежного, вдруг пробудилось и устремилось навстречу этому ребенку. Подходя

к кровати, на которой она спала, он дрожал от радости; он был подобен молодой матери, чувствующей родовые схватки и не понимающей, что это такое; ибо смутно и сладостно великое, таинственное движение сердца, начинающего любить.

Бедное, старое, неискушенное сердце!

Но ему было пятьдесят пять лет, а Козетте восемь, поэтому вся любовь, какую он мог бы испытать в жизни, устремившись к ребенку, обернулась каким-то неизъяснимым сиянием.

Это было второе светлое видение, представшее перед ним. Епископ зажег на его горизонте зарю добродетели, Козетта зажгла зарю любви.

Первые дни протекли в этом ослеплении любовью.

Сама того не замечая, изменилась и Козетта, бедная крошка! Она была так мала, когда мать покинула ее, что совсем ее не помнила. Как все дети, подобно молодым побегам виноградной лозы, цепляющимся за все, она пыталась любить. Но это ей не удавалось. Все ее оттолкнули — и Тенардье, и их дети, и другие дети. Она любила собаку, но та издохла; после этого никому и ничему не нужна была ее привязанность. Страшно сказать, но мы уже упоминали об этом; в восемь лет у нее было холодное сердце. Винить ее нельзя, она не утратила способности любить, но — увы! — лишена была этой возможности. И потому, с первого же дня все ее мысли и чувства стали любовью к этому старому человеку. Она испытывала неизвестное ей доселе ощущение сердечной радости.

Этот добрый человек даже не казался ей больше ни стариком, ни бедняком. Она находила Жана Вальжана прекрасным, так же как находила красивой эту конуру.

Таково действие зари, детства, юности, радости. Новизна места и жизни имела здесь немалое значение. Нет ничего краше розового отблеска счастья на чердаке. У каждого из нас в прошлом есть такой светлый уголок.

Природа воздвигла между Жаном Вальжаном и Козеттой огромную преграду: между ними лежало полвека. Но эту преграду смела жизнь. Судьба внезапно столкнула и с неодолимой силой обручила эти два лишенные корней существования, столь различные по возрасту, но столь похожие по скорби. И действительно, эти жизни дополняли одна другую. Инстинкт Козетты искал отца, инстинкт

Жана Вальжана — ребенка. Встретиться — значило обрести друг друга. В таинственный миг, когда соприкоснулись их руки, они словно срослись. Увидевшись, эти души словно осознали, как они необходимы друг другу, и слились нерасторжимо.

Отделенные от всего мира могильной стеной, Жан Вальжан и Козетта словно олицетворяли собою Вдовство и Сиротство, если понимать эти слова в их наиболее общем и доступном для всех значении. И Жан Вальжан как бы велением неба стал отцом Козетты.

Таким образом, таинственное ощущение, которое возникло в Козетте, когда Жан Вальжан в темноте взял ее за руку в чаще леса Шель, было порождено не иллюзией, а действительностью. Вмешательство этого человека в судьбу ребенка было проявлением воли господней.

Итак, Жан Вальжан удачно выбрал свое убежище. Казалось, он был здесь в полной безопасности.

Комната с чуланом, которую он занимал с Козеттой, выходила окном на бульвар. Это было единственное окно в доме, и нечего было опасаться нескромного взгляда соседей, живущих как напротив, так и рядом.

Нижний этаж дома № 50-52 представлял собою нечто вроде обветшавшего сарая с навесом, который служил складом для огородников и не имел никакого сообщения с верхним. Отделяясь от него дощатым потолком, в котором не было ни люка, ни лестницы, он являлся как бы глухой перегородкой между этажами этой лачуги. Как мы уже говорили, второй этаж состоял из множества комнатушек и нескольких чердаков, и лишь один из них был занят старухой, согласившейся вести хозяйство Жана Вальжана. Все остальные помещения пустовали.

Старуха именовалась «главной жилищей», а в сущности была привратницей; она-то в рождественский сочельник и сдала комнату Жану Вальжану. Выдав себя за разорившегося на испанских ценных бумагах рантье, он выразил желание поселиться здесь с внучкой. Уплатив за шесть месяцев вперед, он поручил старухе обставить комнату и чулан так, как мы уже видели. Это она с вечера протопила печь и все приготовила к их приходу.

Неделя шла за неделей, а старик и дитя вели в этой жалкой конуре счастливое существование.

С самого раннего утра Козетта смеялась, болтала, пела. У детей, как у птиц, есть своя утренняя песенка.

Случалось, что Жан Вальжан брал ее маленькую красную, потрескавшуюся от холода ручку и целовал. Бедняжка, привыкшая только к побоям, не понимала, что это означает, и отходила смущенная.

Иногда, умолкнув, она с серьезным видом глядела на свое черное платье. Козетта не носила больше лохмотьев; она носила траур. Она уходила от нищеты и вступала в жизнь.

Жан Вальжан начал учить ее грамоте. Нередко, заставляя ее разбирать по складам, он вспоминал, что научился на каторге читать с целью творить зло. Теперь эта цель стала иною: он учил читать ребенка. И старый каторжник улыбался задумчивой ангельской улыбкой.

В этом он чувствовал предначертание свыше, волю кого-то, кто стоит над человеком, и он отдавался мечтам. У добрых мыслей, как и у дурных, есть свои бездонные глубины.

Учить грамоте Козетту и не мешать ей вволю играть — в этом и заключалась почти вся жизнь Жана Вальжана. Иногда он говорил ей о матери и заставлял молиться.

Она звала его «отец», иного имени его она не знала.

Он проводил целые часы, глядя, как она одевает и раздевает куклу, и слушая ее лепет. Отныне жизнь казалась ему исполненной интереса, люди представлялись добрыми и справедливыми; он никого больше мысленно не упрекал теперь, когда его полюбил ребенок; ему хотелось дожить до глубокой старости. Перед ним рисовалась будущность, вся освещенная Козеттой, словно лучезарным сиянием. Даже лучшим людям свойственны эгоистические мысли. Иногда он с какою-то радостью думал о том, что она будет некрасива.

Правда, это только наше личное мнение, но если уж говорить до конца, то мы полагаем, что Жан Вальжан, когда он полюбил Козетту, нуждался в любви, чтобы укрепить в своем сердце стремление к добру. Он только что увидел людскую злобу и ничтожность общества в их новых проявлениях. Но то, что предстало пред ним, роковым образом ограничивало действительность, выявляя лишь одну ее сторону: женскую судьбу, воплощенную в

Фантине, и общественное мнение, олицетворенное в лице Жавера. На этот раз Жан Вальжан отправлен был на каторгу за то, что поступил хорошо; его сердце вновь исполнилось горечи; отвращение и усталость вновь овладели им; даже воспоминание об епископе порой как бы начинало тускнеть, хотя позже оно возникало вновь яркое и торжествующее; но в конце концов и это священное воспоминание поблекло. Кто знает, быть может Жан Вальжан был на пороге отчаяния и полного падения? Но он полюбил и вновь стал сильным. Увы! в действительности он был нисколько не крепче Козетты. Он ей оказал покровительство, а она вселила в него бодрость. Благодаря ему она могла пойти вперед по пути жизни; благодаря ей он мог идти дальше по стезе добродетели. Он был поддержкой ребенка, а ребенок этот был его точкой опоры. Неисповедима и священна тайна равновесия твоих весов, о судьба!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Наблюдения главной жилицы

Из осторожности Жан Вальжан никогда не выходил из дому днем. Каждый вечер в сумерки он гулял час или два, иногда один, но чаще с Козеттой, выбирая боковые аллеи самых безлюдных бульваров и заходя в какую-либо церковь с наступлением темноты. Он охотно посещал ближайшую церковь Сен-Медар. Если он не брал Козетту с собой, то она оставалась под присмотром старухи, но для ребенка было радостью пойти погулять с добрым стариком. Она предпочитала час прогулки с ним даже восхитительным беседам с Катериной. Он шел, держа ее за руку и ласково говорил с нею.

Козетта оказалась очень веселой девочкой.

Старуха хозяйничала, готовила и ходила за покупками.

Они жили скромно, хотя и не нуждались в самом насущном, как люди с весьма ограниченными средствами. Жан Вальжан ничего не изменил в той обстановке, которую застал в первый день; только застекленную дверь, ведущую в каморку Козетты, он заменил обыкновенной.

Он носил все тот же желтый редингот, те же черные панталоны и старую шляпу. На улице его принимали за бедняка. Случалось, что сострадательные старушки, оглянувшись на него, подавали ему су. Жан Вальжан принимал это су и низко кланялся. Случалось также, что, встретив какого-нибудь несчастного, просящего подаяние, он, оглянувшись, не следит ли за ним кто-нибудь, украдкой подходил к бедняку, клал ему в руку медную, а нередко и серебряную монету и быстро удалялся. Это имело свои отрицательные стороны. В квартале его стали примечать и прозвали «нищим, подающим милостыню».

Старуха, «главная жилица», существо хитрое, снедаемое завистливым любопытством к ближнему, тщательно следила за Жаном Вальжаном, хотя он об этом и не подозревал. Она была глуховата и оттого болтлива. От всей ее прежней красоты у нее осталось только два зуба во рту, верхний и нижний, которыми она постоянно пощелкивала. Старуха допрашивала Козетту, но та, ничего не зная, ничего не могла ей сказать, кроме того, что она из Монфермейля. Однажды этот неусыпный страж заметил, что Жан Вальжан вошел в одно из нежилых помещений лачуги, что показалось любопытной кумушке подозрительным. Ступая бесшумно, словно старая кошка, она последовала за ним и принялась сквозь щель находящейся как раз против него двери незаметно наблюдать за ним. Жан Вальжан, видимо для большей предосторожности, повернулся к этой двери спиной. Старуха увидела, что, порывшись в кармане, он вынул оттуда игольник, ножницы и нитки, затем вспорол подкладку у полы редингота и, вытащив оттуда какую-то желтоватую бумажку, развернул ее. Старуха с ужасом разглядела банковый билет в тысячу франков. То был второй или третий тысячефранковый билет, который ей довелось увидеть в жизни. Она убежала в сильном испуге.

Минуту спустя Жан Вальжан пришел к ней и попросил разменять этот билет, объяснив, что это его рента за полугодие, которую он вчера получил. «Где же? — подумала старуха. — Ведь на улицу он вышел только в шесть часов вечера, а касса казначейства в это время должна быть заперта». Старуха отправилась разменять деньги, строя всяческие предположения. Эта история с тысяче-

франковым билетом, обогащенная новыми подробностями, превратившими тысячу франков в несколько тысяч, вызвала множество толков среди всполошившихся кумушек квартала Винь-Сен-Марсель.

Несколько дней спустя Жан Вальжан, в одном жилете, пилил в коридоре дрова. Старуха занималась хозяйством в комнате, а Козетта побежала смотреть, как пилят дрова. Оставшись одна и заметив висевший на гвозде редингот, старуха принялась основательно исследовать его. Подкладка была уже зашита. Женщина тщательно прощупала редингот, и ей показалось, что в полах и в проймах рукавов защиты толстые пачки бумаги. Вне всякого сомнения — другие билеты по тысяче франков.

Кроме того, она обнаружила, что в карманах лежит множество разных предметов. Не только иголки, ножницы и нитки, что она уже видела, но объемистый бумажник, большой нож и — подозрительная подробность — несколько париков разного цвета. Казалось, каждый карман этого редингота являлся вместилищем предметов «на случай», для всяких непредвиденных обстоятельств.

Так дожили обитатели лачуги до конца зимы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пятифранковая монета, падая на пол, издает звон

Неподалеку от церкви Сен-Медар, на краю заделанного общественного колодца, обычно сидел нищий, которому Жан Вальжан охотно подавал милостыню. Он редко проходил мимо него, не протянув ему нескольких су. Иногда он с ним разговаривал. Завистники нищего утверждали, что он из полицейских. Это был старый, семидесятипятилетний псаломщик, все время бормотавший молитвы.

Однажды вечером Жан Вальжан, проходя мимо, один, без Козетты, увидел нищего на его привычном месте под уличным фонарем, который только что зажгли. Казалось, этот сильно сгорбившийся человек, как всегда, бормочет свои молитвы. Жан Вальжан приблизился к нему и протянул свое подавание. Вдруг нищий в упор взглянул на Жана Вальжана и быстро опустил голову. Движение

было молниеносным, однако Жан Вальжан вздрогнул. Ему почудилось, что перед ним, при свете уличного фонаря, мелькнуло не кроткое и набожное лицо старого псаломщика, но знакомый и грозный образ. У него было такое чувство, словно он вдруг оказался во мраке лицом к лицу с тигром. Оцепенев от ужаса, он отпрянул назад, не смея ни дышать, ни говорить, ни оставаться на месте, ни бежать, и глядел на нищего, который, как будто не замечая присутствия Жана Вальжана, сидел, опустив обвязанную тряпкой голову. В эту необычайную минуту, руководимый инстинктом, быть может таинственным инстинктом самосохранения, Жан Вальжан не произнес ни слова. У нищего был тот же рост, те же лохмотья, тот же облик, как обычно. «Ба! — подумал Жан Вальжан. — Я сумасшедший! Мне померещилось! Это невозможно!» И он вернулся домой, глубоко потрясенный.

Он не смел признаться даже самому себе, что мелькнувшее перед ним лицо было лицом Жавера.

Ночью, обдумывая происшедшее, он пожалел, что не заговорил с нищим, — это заставило бы его еще раз поднять голову.

На следующий день, при наступлении сумерек, он снова отправился туда же. Нищий сидел на своем месте. «Здравствуй, милый человек», — решительно обратился к нему Жан Вальжан, подавая су. Нищий поднял голову и жалобно произнес: «Спасибо, добрый господин». Это несомненно был старый псаломщик.

Жан Вальжан совершенно успокоился. «Где, черт возьми, я увидел тут Жавера? — подумал он, сам над собой подсмеиваясь. — Не начинается ли у меня портиться зрение?» Больше он об этом не думал.

Спустя несколько дней, часов около восьми вечера, Жан Вальжан, сидя у себя в комнате, учил Козетту читать вслух по складам. Вдруг он услышал, как отворилась и опять закрылась входная дверь. Это показалось ему странным. Старуха, единственная жилица, кроме него, проживающая в доме, ложилась всегда спать с наступлением темноты, чтобы не жечь свечу. Жан Вальжан знаком приказал Козетте замолчать. Он слушал, как кто-то подымается по лестнице. Конечно, это могла быть и старуха, возможно почувствовавшая недомогание и отправившаяся в аптеку. Жан Вальжан прислушался. Шаги

были тяжелые и шумные, как у мужчины, но старуха ходила в грубых башмаках, к тому же ничто так не напоминает мужские шаги, как шаги старой женщины. Однако Жан Вальжан задул свечу.

Шепнув Козетте: «Ложись тихонько», он послал ее спать; пока он целовал ее в лоб, шаги остановились. Жан Вальжан продолжал сидеть молча и неподвижно на своем стуле, спиной к двери, в темноте, затаив дыхание. Спустя довольно продолжительное время, не слыша ничего более, он бесшумно обернулся и, взглянув на дверь своей комнаты, увидел сквозь замочную скважину свет. Этот свет казался какой-то зловещей звездой на черном фоне двери и стены. Несомненно, кто-то стоял за дверью и, держа свечу в руке, подслушивал.

Прошло несколько мгновений, и свет исчез. Но Жан Вальжан не услышал ни малейшего шума шагов; по всей вероятности, тот, кто подслушивал у дверей, снял сапоги.

Жан Вальжан бросился, не раздеваясь, на кровать и всю ночь не мог сомкнуть глаз.

На рассвете, когда он от усталости задремал, его разбудил скрип открывавшейся двери в одной из пустовавших комнаток в глубине коридора. Затем он услышал знакомые шаги мужчины, накануне поднимавшегося по лестнице. Шаги приближались. Он соскочил с кровати и, приложив глаз к замочной скважине, пытался разглядеть человека, который ночью вошел в дом и подслушивал у его дверей. Действительно, это оказался мужчина, который на сей раз прошел мимо комнаты Жана Вальжана не останавливаясь. В коридоре было еще слишком темно, чтобы можно было различить его лицо; но когда человек дошел до лестницы, луч света, падавший снаружи, обрисовал его силуэт, и Жан Вальжан ясно увидел его со спины. Он был высокого роста, в длинном рединготе, с дубинкой подмышкой. То была страшная фигура Жавера!

Жан Вальжан мог бы попытаться взглянуть на него еще раз через окно, выходящее на бульвар. Но для этого окно надо было открыть, на что он не осмелился.

Несомненно, этот человек вошел со своим ключом и как к себе домой. Но кто дал ему этот ключ? Что все это означало?

В семь часов утра, когда старуха пришла убирать комнату, Жан Вальжан окинул ее пронизательным взглядом, но ни о чем не спросил. Старуха вела себя, как всегда.

Подметая комнату, она сказала:

— Вы, наверное, сударь, слышали, как сегодня ночью к нам в дом кто-то входил?

В те времена в этом квартале восемь часов вечера уже считалось глубокой ночью.

— А ведь правда, слышал. Кто же это был? — спросил он самым естественным тоном.

— Это новый жилец, который поселился в доме.

— А зовут его...?

— Толком не знаю. Не то Дюмон, не то Домон. Вроде этого, — ответила старуха.

— А кто же он, этот господин Дюмон?

Старуха взглянула на него своими пронзительными глазками и ответила:

— Такой же рантье, как и вы.

Может быть, у нее не было никакой задней мысли, но Жан Вальжан решил, что сказано это было неспроста.

Когда старуха ушла, он сложил стопкой сотню франков, хранящихся у него в шкафу, и, завернув их в бумагу, положил в карман. Как ни осторожно он это делал, чтобы не слышно было звяканья денег, одна монета все же выскользнула у него из рук и со звоном покатилась по полу.

При наступлении сумерек, спустившись вниз, он внимательно оглядел бульвар из конца в конец. Нигде не было ни души. Бульвар оказался совсем пустынным. Правда, там можно было спрятаться за деревьями.

Он снова поднялся к себе.

— Идем, — сказал он Козетте

И, взяв ее за руку, он вышел из дома.

НОЧНАЯ ОХОТА С НЕМОЙ СВОРОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Стратегические ходы

К этим страницам, а также и к другим, с которыми встретится читатель в дальнейшем, необходимо дать пояснение.

Уже много лет, как автор этой книги, вынужденный, к сожалению, упомянуть о себе самом, не живет в Париже. С той поры, как он его покинул, Париж изменил свой облик. На его месте возник новый город, во многих отношениях автору незнакомый. Ему нет нужды говорить о своей любви к Парижу; Париж — его духовная родина. Вследствие разрушения старых домов и возведения новых Париж его юности, тот Париж, память о котором он благоговейно хранит, ныне уже ушел в прошлое. Но да будет ему дозволено говорить об этом прежнем Париже, как если бы он существовал еще. Быть может, там, куда автор поведет читателя, со словами: «Вот на такой-то улице стоял такой-то дом», нет теперь ни улицы, ни дома. Читатели проверят, если захотят взять на себя труд это сделать. Самому же ему современный Париж неведом, и он пишет, видя пред собой Париж былых времен, отдаваясь дорогой его сердцу иллюзии. Ему отраднее представлять себе, будто сохранились еще следы того, что он когда-то видел на родине, будто еще не все исчезло безвозвратно. Когда живешь в родном городе, то кажется, что эти улицы тебе безразличны, окна, кровли, двери ничего не значат для тебя, эти стены чужды, деревья — случайность на твоём пути, что дома, в которые не входишь, не нужны тебе, а мостовые, по которым ступаешь,

простой булыжник. Только впоследствии, когда тебя там уже нет, ты чувствуешь, что эти улицы тебе дороги, что этих кровель, этих окон, этих дверей тебе недостает, что стены эти тебе необходимы, что деревья эти горячо любимы тобой, что в тех домах, где ты никогда не бывал, ты все равно ежедневно присутствовал, и что частицу души своей, крови своей, сердца своего ты оставил на этом булыжнике. Все эти места, которых не видишь больше и не увидишь, быть может, никогда, но образ которых хранишь в памяти, приобретают какую-то мучительную прелесть и непрестанно возникают перед тобой, словно печальные видения. Они как бы становятся для нас землей обетованной, как бы воплощением самой Франции. Мы их любим, мы упорно воскрешаем их в своей памяти такими, какими они были когда-то, не желая ничего изменить в них, ибо лик нашей отчизны так же дорог нам, как лицо матери.

Итак, да будет нам дозволено говорить о минувшем так, как о настоящем. Предупредив об этом читателя, мы продолжаем.

Жан Вальжан тотчас же покинул бульвар и углубился в улицы, как можно чаще меняя направление и нередко возвращаясь назад, чтобы удостовериться, что за ним не следят.

Так ведет себя олень во время облавы. На мягком грунте, сохраняющем отпечаток его копыт, такой прием имеет, кроме прочих преимуществ, еще и то, что обратным следом он запутывает охотников и свору гончих. В охотничьей травле этот прием называется «ложным уходом в логово».

Стояло полнолуние. Это было наруку Жану Вальжану. Луна низко висела над горизонтом, широкими полосами тени и света перерезая улицу. Жан Вальжан мог красться вдоль домов и заборов по теневой стороне и наблюдать за освещенной. Ему, быть может, не приходило в голову, что эта теневая сторона ускользает от его внимания. Но все же он был уверен, что по всем пустынным улочкам, смежным с улицей Поливо, за ним никто не следует.

Козетта шла молча, не задавая никаких вопросов. Испытания первых шести лет ее жизни сообщили какую-то пассивность ее натуре. Кроме того — и к этой присущей

ей особенности нам придется еще не раз возвращаться, — она, не слишком разбираясь в них, привыкла к странностям старика и к причудам судьбы. К тому же с ним она чувствовала себя в безопасности.

Жан Вальжан знал не более Козетты, куда они идут. Он уповал на бога, как Козетта уповала на него. Ему, как и ей, казалось, что его ведет за руку кто-то более могущественный, чем он сам; он чувствовал, что кто-то невидимый направляет его шаги. Таким образом, не было у него никакой четкой мысли, никакой цели, никакого плана. Он даже не был уверен в том, что видел Жавера: это, конечно, мог быть и Жавер, но Жавер, не знавший, что сам он — Жан Вальжан. Ведь он был переодет. Ведь его считали умершим. Однако в последние дни произошли события, которые стали ему казаться странными. Этого было для него достаточно: он решил не возвращаться более в лачугу Горбо. словно поднятый из берлоги зверь, он искал какую-нибудь нору, где мог бы схорониться, пока не найдет надежного жилья.

Жан Вальжан покружил в разных направлениях по кварталу Муфтар, уже погруженному в сон, точно были еще в силе строгие порядки средневековья и давался сигнал о тушении огня. Различными способами, согласно с требованиями высокой стратегии, он пробрался из Податной улицы на Стружечную, оттуда на Батуар-Сен-Виктор и на Пюи л'Эрмит. На этих улицах имелись ночлежки, но Жан Вальжан туда даже не заходил, он искал другое. Кстати сказать, он не сомневался, что если даже случайно и попали на его след, то сейчас уже утеряли.

Когда на башне Сент-Этьен-дю-Мон пробило одиннадцать, он пересекал улицу Понтуаз против бюро полицейского пристава, помещавшегося в доме № 14. Спустя несколько мгновений тот инстинкт, о котором мы упоминали выше, заставил его оглянуться. И тут, на довольно близком от себя расстоянии, он ясно увидел трех следовавших за ним мужчин, которые один за другим прошли по теневой стороне улицы мимо фонаря полицейского бюро — их выдал свет фонаря. Один из них направился по аллейке, ведущей к дому № 14. Шедший во главе показался ему безусловно подозрительным.

— Идем, дитя, — сказал он Козетте и поспешил покинуть улицу Понтуаз.

Он сделал круг, обогнул уже запертый по случаю позднего времени Патриарший пассаж, миновал улицу Деревянного меча, Самострельную и углубился в Почтовую улицу.

Там есть перекресток, где в настоящее время находится коллеж Ролен и откуда ответвляется Новая Сент-Женевьевская улица.

(Само собою разумеется, что Новая Сент-Женевьевская улица — старая улица, и по Почтовой улице развез только раз в десять лет проезжает почтовая карета. В тринадцатом столетии эта Почтовая улица заселена была горшечниками, и ее настоящее название — Горшечная.)

Луна ярко освещала этот перекресток. Жан Вальжан укрылся за воротами, полагая, что если эти люди будут продолжать преследование, то он непременно увидит их, когда они будут пересекать полосу лунного света.

И действительно, не прошло и трех минут, как они появились вновь. Теперь их было уже четверо, все высокого роста, в долгополых темных рединготах, круглых шляпах и с толстыми дубинками в руках. Их зловещее шествие в темноте вызывало не меньшую тревогу, чем их огромный рост и внушительные кулаки. Можно было подумать, что это четыре призрака в обличье горожан.

Они собрались кучкой на середине перекрестка, словно для совещания. Вид у них был нерешительный. Тот, кто казался их вожаком, обернулся и быстрым движением руки указал направление, в котором скрылся Жан Вальжан, другой довольно настойчиво указывал в противоположную сторону. В ту минуту, когда первый обернулся, луна ярко осветила его лицо. Жан Вальжан узнал Жавера.

ГЛАВА ВТОРАЯ

*К счастью, по Аустерлицкому мосту
проезжают повозки*

Неизвестность для Жана Вальжана кончилась; по счастливой случайности, она длилась еще для этих людей. Он воспользовался их нерешительностью: это было потешное для них время, но выигранное для него. Выйдя

из-под ворот, где он притаился, он пошел вперед по Почтовой улице, в сторону Ботанического сада. Козетта начала уставать, он взял ее на руки и понес. Ему не встретилось ни одного прохожего; уличные фонари не были зажжены, так как светила луна.

Он ускорил шаг.

Быстро достиг он горшечной фабрики Гобле, на фасаде которой была отчетливо видна освещенная лунным светом старинная надпись:

Здесь фабрика Гобле и сына.
Прохожий, покупать спешите!
Горшки, тазы, котлы, кувшины —
Все предлагаем от души.

Оставив позади себя Ключевую улицу и фонтан Сен-Виктор, он направился вдоль Ботанического сада по сбегаящим вниз улицам до набережной. Здесь он оглянулся. Набережная была пустынна. Улицы были пустынные. Никто не шел за ним. Он облегченно вздохнул.

Он достиг Аустерлицкого моста.

В ту пору еще взимали мостовую пошлину.

Жан Вальжан подошел к будке сборщика пошлины и протянул су

— С вас полагается два су, — сказал ему старик инвалид. — Вы несете ребенка, который сам может ходить. Платите за двоих.

Жан Вальжан уплатил, досадуя, что его переход через мост привлек чье-то внимание. Беглец должен проскользнуть незаметно, как уж.

Одновременно с ним через мост проезжала большая повозка, направляясь также к правому берегу. Это было кстати. Он мог пройти весь мост, скрывшись в ее тени.

На середине моста у Козетты затекли ноги, и она пожелала идти сама. Он спустил ее на землю и повел за руку.

Перейдя мост, он заметил вправо от себя дровяные склады и направился к ним. Чтобы дойти до них, необходимо было пересечь довольно обширное открытое и освещенное пространство. Жан Вальжан не колебался. Преследователи, видимо, потеряли его след, и он считал себя в безопасности. Его искали, правда, но погони за ним не было.

Между двумя деревянными складами, обнесенными стеной, затерялась улочка Зеленая дорога. Она была узкая, темная, словно нарочно созданная для него. Прежде чем войти в нее, он оглянулся.

С того места, где он стоял, ему виден был Аустерлицкий мост во всю его длину.

Четыре темные тени только что появились на мосту.

Тени эти направлялись от Ботанического сада на правый берег.

Эти четыре тени были его четыре преследователя.

Жан Вальжан задрожал, как пойманный зверь.

В нем лишь брезжила надежда, что, может быть, эти люди не успели еще взойти на мост в то время, когда он, держа Козетту за руку, пересекал освещенное пространство, и не заметили его.

В таком случае, если, углубившись в маленькую, лежащую перед ним улицу, ему удастся достичь дровяных складов, огородов, полей и пустырей, они будут спасены.

Ему показалось, что он может довериться этой тихой улочке. Он пошел по ней.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Смотра план Парижа 1727 года

Пройдя шагов триста, Жан Вальжан дошел до того места, где улица разветвлялась, расходясь вправо и влево. Перед Жаном Вальжаном лежали как бы две ветви буквы Y. Которую же избрать?

Не колеблясь, он выбрал правую.

Почему?

Потому, что левое ответвление вело в предместье, то есть в заселенную местность, а правое — в поля, то есть в безлюдье.

Однако они шли уже не так быстро. Козетта замедляла шаг Жана Вальжана.

Он снова взял ее на руки. Она молча прижалась головкой к плечу старика.

От времени до времени он оглядывался назад. Он старался держаться теневой стороны прямо тянувшейся перед ним улицы. Первые два-три раза, когда он оглянулся, он

ничего не увидел, кругом царила глубокая тишина, и он, немного успокоившись, продолжал путь. Вдруг, снова обернувшись, он в какой-то миг заметил в глубине улицы, где-то далеко позади, в темноте, неясное движение.

Жан Вальжан уже не пошел, а стремительно бросился вперед, надеясь найти боковую улицу и, проскользнув в нее, еще раз сбить преследователей со следа.

Он добежал до какой-то стены.

Эта стена, однако, нисколько не мешала двигаться дальше; она тянулась вдоль поперечного переулка, примыкавшего к улице, по которой шел Жан Вальжан.

Снова надо было решать, куда идти: направо или налево.

Он взглянул направо. Улочка проходила между какими-то строениями, не то сараями, не то амбарами, и заканчивалась тупиком. В глубине этого глухого переулка можно было ясно разглядеть высокую белую стену.

Он взглянул влево. С этой стороны улочка была открыта и приблизительно через сто шагов вливалась в ту улицу, приток которой собой представляла. Вот где было спасение!

В ту минуту, когда Жан Вальжан намеревался свернуть влево, чтобы попасть на ту улицу, которую смутно различал в конце переулка, он заметил впереди на перекрестке что-то неподвижное, вроде темной статуи.

Это был человек, очевидно поставленный здесь, чтобы преградить кому-то путь, и кого-то подстерегавший.

Жан Вальжан отпрянул назад.

Та часть Парижа, где находился Жан Вальжан, расположенная между предместьем Сент-Антуан и Винной пристанью, в числе других коренным образом изменена недавними строительными работами, которые, по мнению одних, обезобразили ее, по мнению других — преобразили. Вспаханные поля, дровяные склады и старые дома исчезли. Теперь там уж появились широкие новые улицы, площади, цирки, ипподромы, железнодорожные вокзалы, тюрьма Мазас: прогресс, как мы видим, и его исправительное средство.

Полвека тому назад, на обиходном народном языке, который весь основан на преданиях и именуется Институт «Четырьмя нациями», а Комическую оперу — «Федо», то место, куда попал Жан Вальжан, называлось «Малый

Пикпюс». Ворота Сен-Жак, Парижские ворота, застава Сержантов, Свинари, Галиот, Целестинцы, Капуцины, Молотки, Грязи, Краковское древо, Малая Польша, Малый Пикпюс — все эти старинные названия уцелели и до сей поры. Эти обломки прошлого еще сохранились в памяти народа.

Малый Пикпюс, который, кстати, существовал недолго и лишь отдаленно напоминал парижский квартал, носил монастырский отпечаток испанского города. Дороги там были почти не мощеные, улицы почти не застроенные. Кроме двух-трех, о которых речь будет впереди, всюду тянулись заборы или пустыри. Нигде ни лавчонки, ни проезжающего экипажа; изредка кое-где мерцали в окнах огоньки свеч; после десяти вечера все огни гасились. Всюду сады, монастыри, дровяные склады, огороды, кое-где — низкие домишки и длинные, высотой с дом, ограды.

Таков был этот квартал в минувшем веке. Его облик резко изменился уже во времена Революции. Распоряжением республиканских властей он был просверлен, пробит, разрушен и отведен под склады щебня. Тридцать лет тому назад этот квартал оказался окончательно погребенным под выросшими новыми зданиями. В настоящее время он не существует более. Малый Пикпюс, от которого на современных планах не осталось и следа, довольно ясно обозначен на плане 1727 года, выпущенном в Париже у Дени Тьери в улице Сен-Жак, что напротив Штукатурной улицы, и в Лионе, у Жана Жирена в Торговой улице, в Прюданс. Квартал Малый Пикпюс, как мы упоминали, по своей форме был похож на букву Y, образуемую разветвлением улицы Зеленая дорога, левая ветвь которой носила название улочки Пикпюс, а правая — улицы Полонсо. Обе ветви этой буквы Y на своих концах были соединены как бы перекладиной. Перекладина эта называлась улицей Прямой стены. Здесь заканчивалась улица Полонсо, а улочка Пикпюс шла дальше, вплоть до рынка Ленуар. У того, кто шел со стороны Сены и достигал конца улицы Полонсо, слева оказывалась улица Прямой стены, сворачивающая под прямым углом, впереди — стена этой улицы, а направо — продолжение той же улицы, переходившей в глухой переулок, называемый ту-пиком Жанро.

Здесь-то и остановился Жан Вальжан.

Мы уже сказали, что, увидев темный силуэт, занимавший наблюдательный пост на углу улицы Прямой стены и улочки Пикпюс, Жан Вальжан отступил. Сомнений не было. Этот призрачный подстерегал его.

Что делать?

Возвращаться обратно было уже поздно. То, что он заметил мгновение назад и что двигалось в темноте на некотором расстоянии позади него, были, несомненно, Жавер и его помощники. По всей вероятности, Жавер находился уже в начале той улицы, в конце которой был Жан Вальжан. Видимо, Жавер был хорошо знаком с этим маленьким лабиринтом и принял свои меры, отрядив человека стеречь выход. Эти догадки, столь отвечавшие действительности, словно клубы пыли, вздымаемые внезапно налетевшим ветром, закружились в разгоряченном мозгу Жана Вальжана. Он посмотрел на тупик Жанро: там преграда. Он взглянул на улочку Пикпюс: там часовой. Он различал эту темную фигуру, выступавшую черным силуэтом на светлой, залитой лунным сиянием мостовой. Итти вперед — попасть в руки этого человека. Итти назад — попасть в лапы Жавера. Жану Вальжану казалось, что его медленно затягивает петля. С отчаянием взглянул он на небо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В поисках спасения

Чтобы понять все дальнейшее, следует точно представить себе переулок Прямой стены и, в частности, тот угол, который при выходе туда из улицы Полонсо оставался налево. Почти весь этот переулок с правой стороны, до улочки Пикпюс, был застроен убогими домишками; с левой же виднелось лишь одно строение строгих очертаний, состоящее из нескольких особняков, которые постепенно повышались то на один, то на два этажа, по мере своего приближения к улочке Пикпюс. Таким образом, будучи очень высоким со стороны улочки Пикпюс, это здание было значительно ниже со стороны улицы Полонсо. На том углу, о котором мы упоминали, оно очень понижалось и переходило в стену. Но стена не обрывалась на улице; она окружала сильно срезанный конец квартала, скрытая

в этом месте своими двумя углами от двух наблюдателей, если бы один из них находился на улице Полонсо, а другой — в переулке Прямой стены.

От этих двух углов стена по улице Полонсо доходила до дома № 49, а по улице Прямой стены, где отрезок ее был много короче, — до мрачного здания, о котором мы уже упоминали и боковой фасад которого она срезала, образуя новый вдававшийся вглубь угол. Этот боковой фасад выглядел угрюмо, в нем было только одно окно или, точнее, две ставни, обитые цинковым листом и постоянно закрытые.

Облик местности, восстанавливаемой здесь нами с величайшей точностью, несомненно пробудит самое живое о ней воспоминание в старожилах этого квартала.

Стену на срезанном углу целиком занимало нечто вроде огромных обветшалых ворот. Они состояли из множества досок, пригнанных вкось и вкривь друг к другу, причем верхние были шире нижних, и скрепленных длинными поперечными железными полосами. Рядом были другие ворота, обычного размера, пробитые, очевидно, не более как лет пятьдесят тому назад.

В этом месте стену осеняли ветви липы, а со стороны улицы Полонсо ее обвивал плющ.

Жана Вальжана, находившегося на грани неминуемой гибели, это здание привлекло к себе своей мрачностью и уединенностью. Он быстро окинул его взглядом, подумав, что если ему удастся проникнуть внутрь, то, возможно, он будет спасен. Вначале это было только мыслью и надеждой, но не намерением.

В средней части переднего фасада этого здания, выходящего на улицу Прямой стены, возле всех окон на всех этажах имелись старые свинцовые воронки. Разнообразные разветвления водосточных труб, которые тянулись от верхнего жолоба ко всем этим воронкам, образовали на фасаде рисунок какого-то странного дерева. Сотней своих изгибов они напоминали высохшие, лишенные листы виноградные лозы, выющиеся вверх по фасадам старинных ферм.

Это своеобразное шпалерное дерево с жестянными и железными сучьями было первое, что бросилось в глаза Жану Вальжану. Он усадил Козетту спиной к уличной тумбе, велел ей молчать, а сам подбежал к тому месту,

где водосточная труба спускалась до мостовой. А вдруг он сумеет взобраться по ней и проникнуть в дом! Но труба была расшатана, испорчена и еле держалась на стене. Кроме того, все окна безмолвного этого жилья, даже и слуховые, были забраны толстой железной решеткой. Вдобавок луна ярко освещала весь фасад, и человек, наблюдавший с другого конца улицы, увидел бы поднимавшегося по стене Жана Вальжана. И как быть с Козеттой? Как поднять ее на высоту трехэтажного здания?

Он отказался от намерения карабкаться вверх по водосточной трубе и двинулся вдоль стены, чтобы вернуться на улицу Полонсо.

Достигнув срезанного угла квартала, где сидела Козетта, он обнаружил, что здесь его никто не сможет заметить. Здесь, как мы уже говорили, он был недоступен ничьему взгляду, откуда бы ни велось наблюдение. К тому же он находился в тени. И, наконец, перед ним было двое ворот. Может быть, удастся их взломать? Стена, над которой виднелись липа и стебли плюща, была, несомненно, стеной сада, где, хотя деревья еще не покрылись листвой, он может по крайней мере спрятаться и провести там остаток ночи.

Время шло. Медлить было опасно.

Он быстро ощупал ворота и тут же обнаружил, что они забиты как снаружи, так и изнутри.

С большей надеждой на успех он подошел к другим, громадным воротам. Они были ужасающе ветхи, а их непомерная величина делала их даже менее крепкими; доски в них сгнили; железные полосы — их было всего три — заржавели. Ему показалось возможным прошибить эту источенную червями преграду.

Осмотрев их повнимательней, он обнаружил, что это не были ворота. На них не видно было ни петель, ни петельных крюков, ни замка, ни щели посередине. Соединенные друг с другом железные полосы пересекали их от края до края. Сквозь щели досок он разглядел грубо скрепленные цементом кирпичи и камни, которые прохожий мог заметить там еще десять лет назад. Потрясенный, он вынужден был признать, что это подобие двери — не что иное, как деревянная обшивка какого-то строения. Отодрать доску было нетрудно, но он оказался бы лицом к лицу со стеной.

В эту минуту до него донесся отдаленный глухой и мерный шум. Жан Вальжан отважился осторожно выглянуть из-за угла. Взвод солдат из семи-восьми человек выходил на улицу Полонсо. Он видел, как сверкали их штыки. Все это надвигалось на него.

Солдаты, во главе которых он различал высокую фигуру Жавера, приближались медленно, с опаской. Они часто останавливались. Очевидно, они обыскивали все углубления в стенах, все пролеты дверей и проходные аллеи.

По безошибочному предположению Жана Вальжана, это был какой-то ночной патруль, встреченный Жавером и взятый им себе в помощь.

Среди солдат были также два помощника Жавера.

Чтобы таким медленным шагом, то и дело останавливаясь, дойти до места, где находился Жан Вальжан, им требовалось около четверти часа. То было ужасное мгновение! Лишь несколько минут отделяли Жана Вальжана от страшной пропасти, которая в третий раз разверзалась перед ним. Но теперь каторга означала для него не только каторгу, но и утрату навек Козетты, — иначе говоря, жизнь, подобную пребыванию в могиле.

У него оставалась лишь одна возможность.

Особенностью Жана Вальжана было то, что он всегда имел при себе, если можно так выразиться, две суммы: в одной из них заключались мысли святого, в другой — опасные таланты каторжника. Он пользовался то одной, то другой, смотря по обстоятельствам.

Вследствие своих многократных побегов с тулонской каторги он, как припомнит читатель, был также и непревзойденным мастером взбираться без лестницы, без крючьев, при помощи только мускульной силы, упираясь затылком, плечами, бедрами и коленями, в сходящиеся под прямым углом отвесные стены, в случае нужды, — даже до высоты шестого этажа, только изредка пользуясь выступающими в них камнями. Это было то же искусство, что стяжало столь страшную и громкую славу тому уголку двора Консьержери в Париже, откуда двадцать лет тому назад бежал приговоренный к смертной казни Батмоль.

Жан Вальжан измерил глазами стену, над которой виднелась липа. В ней было приблизительно восемнадцать футов высоты. Угол, образуемый этой стеной и боковым фасадом большого здания, был заполнен массивной каменной кладкой в форме треугольника, вероятно с целью уберечь этот уголок, весьма удобный для тех останавливающихся за нуждой двуногих, которые зовутся прохожими. Такая предусмотрительная закладка углов в стенах очень распространена в Париже.

Эта каменная кладка была около пяти футов высоты, а в том расстоянии, которое надо было преодолеть от его верхушки до гребня стены, — не более четырнадцати футов.

Стена заканчивалась гладким камнем, без карниза.

Но как быть с Козеттой? Ведь Козетта не умела взбираться на стены. Бросить ее? Но это даже и в голову не приходило Жану Вальжану. Тащить ее на себе было невозможно. Чтобы успешно совершить это удивительное восхождение, человеку нужна вся его сила. Малейший груз, нарушив равновесие, вызвал бы его падение.

Необходима была веревка. У Жана Вальжана ее не оказалось. Где же достать веревку в полночь, на улице Полонсо? Владей Жан Вальжан в этот миг королевством, несомненно он отдал бы его за веревку.

Крайним жизненным обстоятельствам свойственно озарять все кругом, словно вспышкой молнии, которая нас то ослепляет, то просветляет.

Отчаявшийся взор Жана Вальжана упал на столб уличного фонаря, стоявшего в тупике Жанро.

В ту пору газовых рожков на улицах Парижа не было. При наступлении темноты зажигали уличные фонари, находившиеся на определенном расстоянии друг от друга. Их поднимали и опускали при помощи веревки, пересекавшей улицу из конца в конец и закрепленной в выемке прибитой к столбу перекладины. Катушка, на которую наматывалась эта веревка, была прикреплена под фонарем и находилась в маленьком железном шкафчике, ключ от которого хранился у фонарщика. Сама же веревка помещалась в металлическом футляре.

Нечеловеческим напряжением сил, одним прыжком, Жан Вальжан оказался в тупике, открыл острием ножа замок маленького шкафа и мгновение спустя вернулся к

Козетте. В руках у него была веревка. В борьбе с роком они действуют стремительно, эти мрачные изобретатели отчаянных средств.

Мы уже говорили, что в эту ночь уличных фонарей не зажигали. Таким образом, фонарь в тупике Жанро тоже не горел, и можно было пройти мимо, даже не заметив, что он висел ниже обычного.

А между тем поздний час, безлюдие, темнота, озабоченный вид Жана Вальжана, его исчезновения и возвращения, его странное поведение — все это начинало беспокоить Козетту. Другой ребенок на ее месте уже давно бы громко плакал. Она же ограничилась только тем, что дернула Жана Вальжана за полу его редингота. Шаги приближающегося патруля раздавались все отчетливее.

— Отец, мне страшно! — сказала она тихонько. — Кто это там идет?

— Тише! — ответил несчастный. — Это Тенардье.

Козетта задрожала. Он добавил:

— Молчи. Не мешай мне. Если ты будешь кричать, если будешь плакать, помни: Тенардье за тобой следит, она придет и заберет тебя.

Затем, не торопясь, но и не теряя времени, уверенными и точными движениями — это было тем более удивительно, что с минуты на минуту мог появиться патруль во главе с Жавером, — он снял свой шейный платок, обернул его вокруг тела Козетты подмышками, стараясь, чтобы он не причинил ей боли, привязал к платку морским узлом один конец веревки, взял в зубы другой, разулся, перебросил чулки и башмаки через стену, влез на каменный треугольник в углу между стеной и боковым фасадом дома и так уверенно и ловко начал взбираться, словно под его ногами были ступеньки, а под рукой — перила. Не более как через полминуты он уже стоял на коленях на самом верху стены.

Козетта с изумлением глядела на него, не произнося ни слова. Просьба Жана Вальжана и имя Тенардье ввергли ее в какое-то оцепенение.

Вдруг она услышала, как Жан Вальжан тихонько окликнул ее:

— Прислонись к стене!

Она повиновалась.

— Не говори ни слова и не бойся, — продолжал Жан Вальжан.

И она почувствовала, что ее поднимают.

Прежде чем она успела опомниться, она уже была на стене.

Жан Вальжан схватил Козетту, посадил ее к себе на спину, взял обе ее маленькие ручки в свою левую руку, затем лег плашмя и ползком добрался до срезанного угла стены. Как он и предполагал, там действительно было строение, крыша которого, начинаясь от верха деревянных ворот, довольно отлого спускалась почти до самой земли, слегка задевая липу.

Это оказалось удачным совпадением, ибо стена была с этой стороны значительно выше, чем со стороны улицы. Жан Вальжан видел землю глубоко внизу под собой.

Едва успел он достичь наклонной плоскости крыши, едва собрался сойти с гребня стены, как сильнейший шум возвестил о приближении патруля. Раздался громовый голос Жавера:

— Обыщите тупик! За улицей Прямой стены следят, за переулком Пикпюс тоже. Ручаюсь, что он в тупике!

Солдаты ринулись к тупику Жанро.

Жан Вальжан, поддерживая Козетту, скользнул вдоль крыши, добрался до липы и спрыгнул на землю. Страх ли был тому причиной, или присутствие духа, но Козетта не издала ни звука. Руки ее были слегка оцарапаны.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Начало загадки

Жан Вальжан очутился в каком-то очень большом и странном саду, — в одном из тех унылых садов, которые кажутся созданными для того, чтобы глядеть на них только зимой и ночью. Сад был продолговатой формы, в глубине его находилась тополевая аллея, по углам — купы высоких старых деревьев, а посередине — открытая полянка, на которой можно было различить огромное одиноко стоящее дерево, несколько кривых и взъерошенных плодовых деревьев, похожих на высокий кустарник, грядки овощей, парник для дынь с блестящими в лунном

свете стеклянными колпаками и заброшенный сточный колодец. Там и сям стояли каменные скамьи, казавшиеся черными от покрывавшего их мха. Низкие темные прямые кусты окаймляли дорожки. Часть дорожек заросла травой, другие — покрылись зеленой плесенью.

Рядом с Жаном Вальжаном было строение, крыша которого послужила ему спуском, куча хворосту, и за нею, возле самой стены, каменная статуя, — ее изувеченное лицо казалось лишь смутно белевшей во мраке бесформенной маской.

Это строение представляло собой какие-то развалины, где можно было различить разрушенные комнаты, одна из которых, загроможденная хламом, служила, видимо, сараем. Большое здание, выходявшее на улицу Прямой стены и в переулок Пикплюс, обращено было двумя своими внутренними фасадами, стоявшими под прямым углом, — в сад. Эти внутренние фасады выглядели еще мрачнее, чем главный. Все окна были зарешечены, нигде ни одного огонька. В верхних этажах над ними выступали навесы, как в тюрьмах. Одно крыло здания отбрасывало на другое свою тень, стлавшуюся по саду словно огромное черное покрывало.

Других домов не было видно. Глубь сада уходила в туман и мрак. Однако можно было смутно разглядеть какие-то стены, скрещивавшиеся друг с другом, как будто за ними находились другие участки обработанной земли, и низкие крыши домов на улице Полонсо.

Трудно было вообразить себе что-нибудь более дикое и пустынное, чем этот сад. В нем не было ни души, что естественно для такого позднего времени, но, видимо, это место даже и днем не предназначалось для прогулок.

Первой заботой Жана Вальжана было отыскать свои башмаки и надеть их, а затем войти с Козеттой в сарай. Беглец никогда не бывает уверен, что он надежно укрыт. Девочка, все еще продолжавшая думать о тетке Тенардье, разделяла его желание спрятаться как можно лучше.

Козетта дрожала и прижималась к Жану Вальжану. Слышен был беспорядочный шум, который производил патруль, обшаривая тупик и улицу, стук прикладов о камни мостовой, оклики Жавера, обращенные к полицейским агентам, расставленным на посты, его проклятия попеременно со словами, разобрать которые было трудно.

Через четверть часа этот похожий на громовые раскаты грохот стал понемногу стихать. Жан Вальжан за-
таил дыхание.

И тихонько закрыл рукой рот Козетте.

Впрочем, уединенное место, где находились они, ды-
шало таким необычайным спокойствием, что даже этот
ужасающий шум, такой неистовый и близкий, не мог
его встревожить. Казалось, что стены здесь сложены из
тех глухих камней, о которых говорит священное пи-
сание.

Вдруг среди этой глубокой тишины возникли иные
звуки. Звуки дивные, божественные, невыразимые, на-
столько же сладостные, насколько прежние были ужасны.
Это был гимн, лившийся из мрака, ослепительный свет
молитвы и гармонии: в черном и устрашающем безмолвии
ночи пели женские голоса, звучавшие девственной чистотой и детской наивностью, — те неземные голоса, кото-
рые еще слышит новорожденный и уже различает умирающий. Пение доносилось из мрачного здания, возвы-
шавшегося над деревьями сада. По мере того как уда-
лялся оглушительный шум скопища демонов, казалось,
хор ангелов приближался в темноте.

Козетта и Жан Вальжан упали на колени.

Они не понимали, что происходит, не знали, где они,
но оба, мужчина и ребенок, кающийся и невинная, чув-
ствовали, что надо склониться ниц.

В этих голосах было что-то странное: невзирая на них,
здание продолжало казаться безлюдным. Словно то было
нездешнее пение в необитаемом жилище.

Пока пели эти голоса, Жан Вальжан ни о чем не
думал. Он видел уже не темную ночь: он видел голубой
небосвод. Ему казалось, что душа его расправляет
крылья — те крылья, которые чувствует в себе каждый
из нас.

Пение умолкло. Быть может, оно длилось долго. Этого
Жан Вальжан сказать не мог. Часы экстаза пролетают
как мгновение.

Все снова погрузилось в тишину. Ни звука на улице,
ни звука в саду. Что угрожало, что ободряло — все ис-
чезло. Только с гребня стены доносился тихий, унылый
шелест сухих травинок, колеблемых ветром.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Продолжение загадки

Дул прохладный ночной ветер — значит, было около двух часов ночи. Бедняжка Козетта молчала. Она сидела возле Жана Вальжана, прислонившись к нему головой, и он решил, что она уснула. Он наклонился и взглянул на нее. Глаза Козетты были широко раскрыты, и их сосредоточенное выражение встревожило Жана Вальжана.

Она вся дрожала.

— Тебе хочется спать? — спросил он.

— Мне очень холодно, — ответила девочка.

Спустя мгновение она спросила:

— А она все еще здесь?

— Кто? — спросил Жан Вальжан.

— Госпожа Тенардье.

Жан Вальжан уже забыл о средстве, к которому прибегнул, чтобы заставить Козетту молчать.

— А, вот оно что! Она уже давно ушла, — ответил он. — Не бойся ничего.

Ребенок облегченно вздохнул, словно с души его спала тяжесть.

Земля была влажная, сарай открыт со всех сторон, ветер с каждой минутой свежел. Старик снял свой редингот и укутал им Козетту.

— Теперь тебе теплее? — спросил он.

— О да, отец!

— Хорошо, подожди меня минутку. Я сейчас вернусь.

Выйдя из сарая, он пошел вдоль большого здания, отыскивая лучшее пристанище. Ему попадались двери, но они были заперты. На всех окнах первого этажа были решетки.

Миновав внутренний угол здания, он подошел к овальным окнам, в которых виднелся слабый свет. Он встал на цыпочки и заглянул в одно из окон. Все они выходили из довольно обширного, вымощенного широкими плитами и разделенного арками и колоннами зала, где ничего нельзя было различить, кроме тусклого огонька и длинных теней. Свет лился из ночника, горевшего в углу. Зал этот был пуст, все в нем было недвижимо. Однако, всмотревшись,

он заметил на полу что-то, казалось, покрытое саваном и походившее на человеческую фигуру. Это существо лежало ничком, прижавшись лицом к каменным плитам, крестообразно раскинув руки, не шевелясь, словно в смертном покое. Возле него на полу тянулось что-то похожее на змею, и можно было подумать, что шею этой злобшей фигуры обвивала веревка.

Весь зал тонул в густом тумане, как бывает в больших, едва освещенных помещениях, и это придавало всему еще более жуткий характер.

Жан Вальжан часто говорил впоследствии, что хотя он в своей жизни бывал свидетелем множества мрачных зрелищ, однако ничего более ужасного и леденящего душу, чем эта неожиданно возникавшая перед ним загадочная фигура, выполнявшая какой-то таинственный ночной обряд в этом неведомом месте, он не видал. Страшно было подумать, что это мертвец, но еще страшнее вообразить себе, что это был живой человек.

У него хватило присутствия духа, прильнув к оконному стеклу, поглядеть, не шевельнется ли это существо. Напрасно ожидал он некоторое время, показавшееся ему очень долгим: распростертая на полу фигура хранила неподвижность. Внезапно его охватил невыразимый ужас, и он пустился бежать. Он мчался по направлению к сараю, не смея оглянуться. Ему казалось, что если он обернется, то увидит, как за ним, размахивая руками, поспевает это существо.

Задыхаясь, он добежал до развалин. Колени его подгибались; он обливался потом.

Где он находился? Кто мог бы вообразить, что нечто подобное этой усыпальнице существует в самом центре Парижа? Что это за странный дом? Что это за здание, полное ночных тайн, — здание, которое ангельскими головами созывает души во мраке, а когда те идут на призыв, вдруг показывает им это страшное видение? Оно обещало открыть им сияющие врата рая, а открывало отвратительные двери склепа! Тем не менее это было настоящее здание, настоящий дом, имевший свой номер по улице. Это не был сон. Чтобы поверить этому, Жан Вальжан должен был прикоснуться руками к камням развалин.

Холод, волнение, тревога, переживания вечера — все это вызвало у него настоящую лихорадку, мысли его путались.

Он подошел к Козетте. Она спала.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Загадка усложняется

Ребенок уснул, положив голову на камень.

Жан Вальжан сел подле и начал смотреть на девочку. Глядя на нее, он постепенно успокаивался и обретал обычную гибкость мысли.

Он ясно осознал истину, которая отныне легла в основу его жизни: до тех пор пока Козетта с ним, ничего ему не будет нужно для себя, а только для нее; ничто не вызовет в нем страха за себя, а только за нее. Он даже не ощущал, что продрог, хотя сбросил свой редингот, чтобы прикрыть ее.

Однако среди овладевшего им раздумья его слух поразил какой-то странный шум. Будто где-то звенел колокольчик. Звук доносился из сада и хотя был негромким, но слышался явственно. Он напоминал бессвязную ночную песенку бубенчиков, которые подвешивают скоту на пастбищах.

Звук этот заставил Жана Вальжана обернуться.

Вглядевшись в темноту, он заметил, что в саду кто-то есть.

Существо, похожее на человека, двигалось между стеклянными колпаками дынных грядок и то наклонялось, то вставало, то останавливалось, делая равномерные движения, словно тащило что-то или расстилало по земле. Казалось, что существо это хромает.

Жан Вальжан вздрогнул; его охватил привычный для всех гонимых трепет страха. Им все враждебно, все внушает подозрение. Дневного света они боятся потому, что он может их выдать, а ночной темноты — потому, что она помогает застигнуть их врасплох. Только что его пугала пустыньность сада, а сейчас — то, что в саду кто-то есть.

От ужасов призрачных Жан Вальжан перешел к ужасам реальным. Он говорил себе: «Может быть, Жавер и

полицейские агенты не ушли отсюда; наверное, они оставили на улице засаду; если человек в саду обнаружит мое присутствие, то закричит и тем выдаст меня». Тихонько поднял он на руки уснувшую Козетту и отнес ее в самый дальний угол сарая, положив за грудой старой, ненужной мебели. Козетта не шевельнулась.

Он начал наблюдать оттуда за поведением человека, ходившего среди дынных гряд. Странно было то, что бубенчик звенел при каждом его движении. Когда человек приближался, то приближался и звон, когда он удалялся, то и звон удалялся; когда он делал какое-нибудь резкое движение, его сопровождало тремоло бубенчика; когда он останавливался, звук затихал. Повидимому, бубенчик был привязан к этому человеку; но что же это могло означать? Кем мог быть этот человек, которому подвесили колокольчик, словно быку или барану?

Задавая себе мысленно эти вопросы, Жан Вальжан тронул руки Козетты. Они были как лед.

— О боже! — пробормотал он и тихо позвал ее: — Козетта!

Она не открыла глаз.

Он сильно встряхнул ее.

Она не проснулась.

«Неужели она умерла?» — подумал он и встал, дрожа с головы до ног.

Самые мрачные мысли беспорядочно закружились в его голове. Бывают минуты, когда чудовищные предположения осаждают нас, точно сонмы фурий, и силой проникают во все клеточки нашего мозга. Если вопрос касается тех, кого мы любим, то чувство тревоги за них рисует нам всякие ужасы. Жан Вальжан припомнил, что сон на открытом воздухе холодной ночью может быть смертельно опасным.

Козетта, бледная, неподвижная, лежала на земле у его ног.

Он прислушался к ее дыханию; она дышала, но так слабо, что ему показалось, будто дыхание ее вот-вот остановится.

Как согреть ее? Как разбудить? Только об этом он и думал. Обезумев, выбежал он из сарая.

Во что бы то ни стало, не позднее чем через пятнадцать минут, Козетта должна быть у огня и в постели.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Человек с бубенчиком

Он пошел прямо к человеку, которого заметил в саду. Предварительно он вынул из жилетного кармана сверток с деньгами.

Человек стоял, наклонив голову, и не заметил его приближения. В мгновение ока Жан Вальжан оказался около него.

— Сто франков! — крикнул он, обратившись к нему.

Человек подскочил и уставился на него.

— Вы получите сто франков, только приютите меня на сегодняшнюю ночь!

Луна ярко освещала встревоженное лицо Жана Вальжана.

— Как! Это вы, дядюшка Мадлен? — воскликнул человек.

Это имя, произнесенное в этот ночной час, в этой незнакомой местности, этим незнакомым человеком, заставило Жана Вальжана отшатнуться.

Он был готов ко всему, но только не к этому. Перед ним стоял сгорбленный, хромо́й старик, одетый наподобие крестьянина. На левой ноге у него был кожаный наколенник, к которому был привешен довольно большой колокольчик. Так как лицо его находилось в тени, то разглядеть его было невозможно.

Между тем старик снял шапку и воскликнул, трепеща от волнения:

— Ах, боже мой! Как вы очутились здесь, дядюшка Мадлен? Господи Иисусе, как вы сюда вошли? Не упали ли вы с неба? Хотя ничего особенного в этом и не было бы; откуда же еще, как не с неба, попасть вам на землю? Но какой у вас вид! Вы без шейного платка, без шляпы, без сюртука. Ведь если не знать, кто вы, то можно испугаться. Без сюртука! Владыка небесный, неужто и святые нынче теряют рассудок? Но как же вы вошли сюда?

Вопросы так и сыпались. Старик болтал с деревенской словоохотливостью, в которой, однако, не было ничего угрожающего. Все это говорилось тоном, выражавшим одновременно изумление и детское простодушие.

— Кто вы и что это за дом? — спросил Жан Вальжан.

— Чорт возьми! Вот так история! — воскликнул старик. — Да ведь я же тот самый, кого вы сюда определили, а этот дом — тот самый, в который вы меня определили. Как, вы разве не узнаете меня?

— Нет, — ответил Жан Вальжан. — Но вы-то каким образом меня знаете?

— Вы спасли мне жизнь, — ответил человек.

Он повернулся, и луна ярко осветила его профиль. Жан Вальжан узнал старика Фошлевана.

— Ах, это вы! Теперь я вас узнал.

— Слава богу! Наконец-то! — с упреком проговорил старик.

— А что вы здесь делаете? — спросил Жан Вальжан.

— Как что делаю? Прикрываю дыни, конечно.

И действительно, в ту минуту, когда Жан Вальжан обратился к старику Фошлевану, тот держал в руках конец рогожки, которой намеревался прикрыть дынную грядку. Он уже успел расстелить несколько таких рогожек за то время, пока находился в саду. Это занятие и заставляло его делать те странные движения, которые наблюдал Жан Вальжан, сидя в сарае.

Старик продолжал:

— Я сказал себе: «Луна светит ярко, значит ударят заморозки. Наряжу-ка я мои дыни в теплое платье!» Да и вам, — добавил он, глядя на Жана Вальжана с добродушной улыбкой, — право, не мешало бы тоже одеться. Но как же вы здесь очутились?

Жан Вальжан, удостоверившись, что этот человек знает его, хотя и под фамилией Мадлен, говорил с ним уже с некоторой осторожностью. Он стал сам задавать ему множество вопросов. Как ни странно, роли, казалось, переменялись. Спрашивал теперь он, непрошенный гость.

— А что это у вас висит за звонок?

— Этот-то? А для того, чтобы от меня убегали, — ответил Фошлеван.

— То есть как это, чтобы от вас убегали?

Старик Фошлеван подмигнул с загадочным видом.

— А вот так! В этом доме живут только женщины; много молодых девушек. Им сдается, что встретиться со мною опасно. Звоночек предупреждает их, что я иду. Когда я прихожу, они уходят.

— А что это за дом?

— Вот тебе и на! Вы сами хорошо знаете.

— Нет, не знаю.

— Но ведь это вы определили меня сюда садовником.

— Отвечайте мне так, будто я ничего не знаю.

— Ну, хорошо! Это монастырь Малый Пикпюс.

Жан Вальжан начал понемногу вспоминать. Случай, вернее, провидение неожиданно забросило его именно в этот монастырь квартала Сент-Антуан, куда два года тому назад старик Фошлеван, изувеченный придавившей его телегой, был по его рекомендации принят садовником.

— Монастырь Малый Пикпюс, — повторил он про себя.

— Ну, а все-таки как же это вам, чорт возьми, удалось сюда попасть, дядюшка Мадлен? — снова спросил Фошлеван. — Пусть вы святой, — вы все равно мужчина, а мужчин сюда не пускают.

— Но вы-то живете здесь?

— Только я один и живу.

— И все же мне надобно здесь остаться, — сказал Жан Вальжан.

— О господи! — вскричал Фошлеван.

Жан Вальжан подошел к старику и сказал ему серьезно:

— Дядюшка Фошлеван, я спас вам жизнь.

— Я первый вспомнил об этом, — заметил старик.

— Так вот. Вы можете сегодня сделать для меня то, что я когда-то сделал для вас.

Фошлеван схватил своими старыми, морщинистыми, дрожащими руками могучие руки Жана Вальжана и несколько мгновений не в силах был вымолвить ни слова. Наконец он проговорил:

— О! это было бы милостью божьей, если бы я хоть чем-нибудь мог отплатить вам! Мне спасти вам жизнь! Располагайте мною, господин мэр!

Радостное изумление словно преобразило старика, его лицо засияло.

— Что я должен сделать? — спросил он.

— Я вам объясню. У вас есть комната?

— Я живу в отдельном домишке, вон там, за развалинами старого монастыря, в закоулке, где его никто не видит. В нем три комнаты.

Действительно, домишко этот был настолько хорошо скрыт за развалинами и настолько недоступен для взгляда, что Жан Вальжан даже не заметил его.

— Хорошо, — сказал он. — Теперь исполните мои две просьбы.

— Какие, господин мэр?

— Во-первых, никому ничего обо мне не рассказывайте. Во-вторых, не старайтесь узнать обо мне больше, чем знаете.

— Как вам угодно. Я знаю, что вы не можете сделать ничего нечестного и что вы всегда были божьим человеком. А к тому же вы сами меня определили сюда. Значит, это ваше дело. Я весь ваш.

— Решено! Теперь идите за мной. Мы пойдем за ребенком.

— А-а! Тут, оказывается, еще и ребенок? — пробормотал Фошлеван.

Он больше ничего не сказал и последовал за Жаном Вальжаном, как собака за своим хозяином.

Спустя полчаса Козетта, порозовевшая от жаркого огня, спала в постели старого садовника. Жан Вальжан надел свой шейный платок и редингот. Шляпа, переброшенная через стену, была найдена и подобрана. Пока Жан Вальжан облачался, Фошлеван снял свой наколенник с колокольчиком; повешенный на гвоздь, рядом с корзиной для носки земли, он украшал теперь стену. Мужчины отогревались, облокотясь на стол, на который Фошлеван положил кусок сыру, ситный хлеб и поставил бутылку вина и два стакана. Тронув Жана Вальжана за колено рукой, старик сказал:

— Ах, дядюшка Мадлен, вы сразу не узнали меня! Вы спасаете людям жизнь и забываете о них! Это нехорошо. А они помнят о вас. Вы — неблагодарный человек!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

в которой рассказано, как Жавер сделал ложную стойку

События, закулисную, так сказать, сторону которых мы только что видели, произошли при самых простых обстоятельствах.

Когда Жан Вальжан, арестованный у смертного ложа Фантины, в ту же ночь скрылся из городской тюрьмы Монрейля-Приморского, полиция предположила, что бежавший каторжник должен был направиться в Париж. Париж — водоворот, в котором все теряется. Все исчезает в этом средоточии мира, как в глуби океана. Нет чаши, которая надежней укрыла бы человека, чем толпа. Это известно беглецам всякого вида. Они погружаются в Париж, словно в пучину; существуют пучины, спасающие жизнь. Полиции это тоже известно, и она ищет в Париже тех, кого потеряла в другом месте. Искала она там и бывшего мэра Монрейля-Приморского. Жавера вызвали в Париж, чтобы руководить розысками. Он действительно оказал большую помощь в поимке Жана Вальжана. Его усердие и сообразительность в этом деле были замечены господином Шабулье, секретарем префектуры при графе Англесе. Поэтому господин Шабулье, и прежде покровительствовавший Жаверу, теперь перевел полицейского надзирателя Монрейля-Приморского в парижскую префектуру. Там Жавер оказался человеком полезным в самых разнообразных отношениях и, мы должны это отметить, внушающим к себе уважение, хотя это последнее слово и кажется несколько неожиданным, когда речь идет о подлых услугах.

Он уже забыл о Жане Вальжане, — ведь гончие, начав травлю нового волка, забывают о вчерашнем, — как вдруг, в декабре 1823 года, он заглянул в газету, хотя вообще не читал их; на этот раз Жавер, как монархист, пожелал узнать обо всех подробностях торжественного въезда принца-генералиссимуса в Байону. Когда он уже дочитывал интересовавшую его статью, в конце страницы одно имя привлекло его внимание — это было имя Жана Вальжана. В газете сообщалось, что каторжник Жан Вальжан умер; форма этого сообщения была настолько официальной, что Жавер не усомнился в его правдивости. Он только ограничился замечанием: «Вот уж где запирают накрепко». Затем он отбросил газету и больше о нем не думал.

Спустя некоторое время префектура Сены и Уазы прислала в парижскую полицейскую префектуру донесение о том, что в Монфермейле похищен ребенок, причем, по слухам, это сопровождалось странными обстоятельствами.

Девочка семи или восьми лет, говорилось в донесении, доверенная матерью местному трактирщику, была похищена каким-то незнакомцем; имя девочки Козетта, и она является дочерью девицы Фантины, умершей неизвестно когда и в какой больнице. Донесение попало в руки Жавера и заставило его призадуматься.

Имя Фантины было ему хорошо знакомо. Он припомнил, что Жан Вальжан заставил его, Жавера, расхохотаться, попросив три дня отсрочки, чтобы поехать за ребенком этой девки. Он вспомнил также, что Жан Вальжан был арестован в Париже в тот момент, когда собирался сесть в дилижанс, отъезжавший в Монфермейль. Некоторые наблюдения, сделанные тогда, наводили даже на мысль, что он воспользовался этим дилижансом вторично и что еще накануне он совершил свою первую поездку в окрестности этой деревушки, ибо в самой деревушке его не видели. Что ему надо было в Монфермейле, никто не мог угадать. Теперь Жавер понял это. Там жила дочь Фантины. Жан Вальжан ездил за ней. И вот ребенок был похищен незнакомцем. Кто мог быть этот незнакомец? Жан Вальжан? Но Жан Вальжан умер. Никому не говоря ни слова, Жавер сел в омнибус, отъезжавший от гостиницы «Оловянное блюдо» в Дровяном тупике, и отправился в Монфермейль. Он надеялся найти там полное разъяснение этого дела, но нашел полную неизвестность.

В первые дни раздраженные Тенардье болтали о происшедшем. Исчезновение Жаворонка наделало в деревушке шуму. Сейчас же появились всевозможные версии их рассказа, превратившегося в конце концов в историю о похищении ребенка. Следствием этого и было донесение, полученное парижской префектурой. А между тем, когда первая досада улеглась, Тенардье благодаря своему удивительному инстинкту очень скоро понял, что не всегда полезно беспокоить господина прокурора его величества и что жалобы на «похищение ребенка» прежде всего направят на него самого и на множество темных его дел зоркое полицейское око. Свет — вот то, чего больше всего страшатся совы. И потом как объяснит он получение тысячи пятисот франков? Он круто изменил свое поведение, заткнул жене рот и притворялся удивленным, когда его спрашивали об «украденном ребенке». Что такое? Он

ничего не понимает. Ну конечно, в первое время он жаловался, что у него так быстро «отняли» его дорогую крошку; он любил ее, и ему хотелось, чтобы она побыла у него еще денек-другой; но за ней приехал ее «дедушка», что вполне естественно. Он придумал дедушку, и это производило хорошее впечатление. Именно в таком виде и услышал эту историю приехавший в Монфермейль Жавер. «Дедушка» заслонил собою Жана Вальжана.

Однако Жавер некоторыми вопросами, словно зондом, проверил рассказ Тенардье. «Кто был этот дедушка и как его звали?» Тенардье простодушно отвечал: «Это богатый земледелец. А имя его, кажется, Гильом Ламбер. Я видел его паспорт».

Ламбер — имя добропорядочное и вполне внушающее доверие. Жавер возвратился в Париж. «Этот Жан Вальжан действительно умер, а я простофиля», — сказал он себе.

Он стал уже забывать обо всей этой истории, как вдруг, в марте 1824 года, до него дошел слух о какой-то проживающей в квартале Сен-Медар странной личности, которую окрестили «нищий, что подает милостыню». Болтали, будто эта личность — богатый рантье; имени его никто в точности не знал; жил он вдвоем с восьмилетней девочкой, которая только и помнит, что она из Монфермейля. Опять Монфермейль! Это слово заставило Жавера насторожиться. Бывший псаломщик, а сейчас полицейский шпион под личиной нищего, которому этот человек подавал милостыню, добавил и несколько других подробностей. «Этот рантье нелюдим, выходит на улицу только по вечерам, ни с кем не разговаривает, разве только с бедными, ни с кем дела не имеет. На нем ужасный старый желтый редингот стоимостью в несколько миллионов, так как он весь подбит банковыми билетами». Последнее особенно подстрекнуло любопытство Жавера. Чтобы увидеть вблизи этого фантастического рантье и вместе с тем чтобы не вспугнуть его, он занял однажды у псаломщика его лохмотья и устроился на том месте, где старый шпион, сидя каждый вечер на корточках и гнусава свои псалмы, следил за прохожими.

«Подозрительная личность» действительно подошла к переодетому таким образом Жаверу и протянула ему подаяние. В эту минуту Жавер поднял голову и вздрогнул,

думая, что узнал Жана Вальжана, так же как вздрогнул Жан Вальжан, когда предположил, что узнал Жавера.

Но он мог ошибиться в темноте; ведь о смерти Жана Вальжана было объявлено официально; у Жавера все еще оставались серьезные сомнения, а в таких случаях, будучи человеком щепетильным, Жавер никогда никого не задерживал.

Он последовал за стариком до лачуги Горбо, где без особого труда заставил разговариваться старуху. Та подтвердила, что желтый редингот подбит миллионами, и рассказала ему о случае с билетом в тысячу франков. Она «сама его видела»! Она «сама его трогала»! Жавер снял комнату и в тот же вечер в ней водворился. Он подошел к двери таинственного жильца в надежде услышать звук его голоса, но Жан Вальжан, заметив сквозь замочную скважину огонек его свечи, не произнес ни слова, чем расстроил планы сыщика.

На следующий день Жан Вальжан решил переехать. Звук падения оброненной им пятифранковой монеты привлек внимание старухи, которая, услышав звон денег, подумала, что жилец собирается съезжать с квартиры, и поспешила предупредить об этом Жавера. Ночью, когда Жан Вальжан вышел, Жавер поджидал его, спрятавшись со своими двумя помощниками за деревьями на бульваре.

Жавер попросил в префектуре дать ему в помощь людей, но не назвал имени того, кого надеялся изловить. Это была его тайна, и он не хотел открывать ее по трем причинам: во-первых, малейшее неосторожное слово могло возбудить подозрение Жана Вальжана; во-вторых, наложить руку на старого беглого каторжника, считающегося умершим, на преступника, который в полицейских записях числился в рубрике *самых опасных злодеев*, было таким блестящим делом, которое старые ищейки парижской полиции безусловно не уступили бы новичку, и Жавер боялся, что у него отнимут его каторжника; наконец, артист своего дела, Жавер любил неожиданность. Он ненавидел заранее возвещенные удачи, которые утрачивают благодаря разговорам о них всю свежесть и новизну. Он предпочитал обрабатывать свои коронные дела в тиши, чтобы затем внезапно объявлять о них.

Жавер следовал за Жаном Вальжаном от дерева к дереву, а далее, от угла одной улицы до угла другой, ни на

минуту не теряя его из виду. Даже тогда, когда Жан Вальжан считал себя в полной безопасности, Жавер не спускал с него глаз.

Почему же он не арестовал Жана Вальжана? Потому что он все еще сомневался.

Не следует забывать, что как раз в ту эпоху полиция не чувствовала себя независимой в своих действиях: ее стесняла свободная печать. Несколько самовольных арестов, о которых было напечатано в газетах, наделали шуму, дойдя до сведения палат и внушив робость префектуре. Посягнуть на свободу личности считалось делом серьезным. Полицейские боялись ошибиться; префект возлагал всю вину на них; промах вел за собой отставку. Можно вообразить себе, какое впечатление произвела бы в Париже следующая коротенькая заметка, перепечатанная двадцатью газетами: «Вчера гулявший со своей восьмилетней внучкой седовласый старец, почтенный рантье, был арестован как беглый каторжник и препровожден в арестный дом»!

Кроме того, повторяем, Жавер и сам отличался большой щепетильностью; требования его совести вполне совпадали с требованиями префекта. Он действительно сомневался.

Жан Вальжан шел в темноте, повернувшись к нему спиной.

Печаль, беспокойство, тревога, усталость, это несчастье, это новое вынужденное бегство ночью и поиски в Париже случайного убежища для себя и Козетты, необходимость приноравливать свои шаги к шагам ребенка незаметно для него самого настолько изменили походку Жана Вальжана и придали ему такой старческий вид, что даже полиция, в лице Жавера, могла ошибиться и ошиблась. Невозможность подойти поближе, одежда старого эмигранта-наставника, заявление Тенардье, превратившее Жана Вальжана в дедушку, наконец уверенность в смерти его на каторге — все вместе усиливало нерешительность Жавера.

На мгновение у него возникла мысль потребовать, чтобы старик немедленно предъявил документ. Но если этот человек не Жан Вальжан и не старый почтенный рантье, то это, вероятно, был один из молодцов, глубоко и искусно впутанных в темный заговор парижских преступлений,

один из главарей опасной шайки, творящий милостыню, чтобы заслонить этим другие свои таланты, — старый, испытанный прием. Конечно, у него есть сообщники, соучастники преступления, есть запасные квартиры, где он намеревался скрыться. Все петли, которые он делал по улицам, доказывали, что это не простой старик. Задержать его слишком поспешно — значило бы «зарезать курицу, несущую золотые яйца». Почему бы не повременить с этим? Жавер был совершенно уверен, что он от него не уйдет.

Итак, он шел несколько озадаченный, сотни раз спрашивая себя, кем же могла быть эта загадочная личность?

И лишь на улице Понтуаз, при ярком свете, вырывавшемся из кабачка, он узнал Жана Вальжана; ошибки быть не могло.

В этом мире есть два существа, испытывающие равный по силе глубокий внутренний трепет: это мать, нашедшая своего ребенка, и тигр, схвативший свою добычу. Жавер ощутил такой трепет.

Как только он уверился, что перед ним Жан Вальжан, опасный каторжник, он сразу подумал о том, что взял с собой всего лишь двух помощников, и послал за подкреплением к полицейскому приставу улицы Понтуаз. Прежде чем сорвать ветку терновника, надевают перчатки.

Это промедление и остановка в переулке Ролен для совещания со своими агентами чуть было не заставили Жавера потерять след. Однако он быстро сообразил, что Жан Вальжан постарается положить между собою и своими преследователями препятствие, реку. Он склонил голову и задумался, подобно ищейке, обнюхивающей землю, чтобы не сбиться с пути. С присущим ему непогрешимым инстинктом Жавер пошел прямо к Аустерлицкому мосту и спросил сборщика пошлыны: «Видели вы мужчину с маленькой девочкой?» — «Да, я заставил его заплатить два су», — ответил сборщик. Этот ответ осветил положение. Жавер вступил на мост как раз в ту минуту, когда Жан Вальжан, держа Козетту за руку, переходил освещенное луной пространство. Увидев, что он направился в улицу Зеленая дорога, Жавер вспомнил о тупике Жанро, служившем там как бы ловушкой, вспомнил и о единственном выходе из улицы Прямой стены на улочку Пикпюс. Он, как выражаются охотники, «обложил зверя», поспешно,

обходным путем, послав одного из своих помощников стеречь этот выход. Он задержал направлявшийся в арсенал для смены караула патруль и заставил его следовать за собой. В подобной игре солдаты — козыри. Кроме того, есть правило: хочешь загнать кабана — будь опытным псовым охотником и имей побольше собак. Приняв все эти меры и зная, что Жан Вальжан зажат между тупиком справа, полицейским агентом слева, а сзади им самим, Жавером, он взял понюшку табаку.

И вот началась игра. Это был момент упоительной сатанинской радости; он позволил человеку итти впереди себя, зная, что тот уже в его власти, желая, насколько возможно, отдалить момент ареста и наслаждаясь сознанием, что этот с виду свободный человек на самом деле уже пойман. Он обволакивал его сладострастным взглядом паука, позволяющего мухе немного полетать, или кота, позволяющего мыши побегать. Когти и клешни ощущают чудовищную чувственную радость, порождаемую барахтаньем животного в мертвой их хватке. Какое наслаждение — душить!

Жавер ликовал! Петли его сети были надежны. Он был уверен в успехе; оставалось только сжать кулак.

Как бы ни был решителен и силен, как бы ни был охвачен отчаянием Жан Вальжан, Жаверу, при его свите, даже и самая мысль о сопротивлении беглеца казалась невозможной.

Он медленно подвигался вперед, обыскивая и обшаривая по пути все углы и закоулки улицы, словно карманы вора.

Когда же он достиг центра паутины, то мухи уже там не оказалось.

Легко представить его ярость.

Он расспросил своего дозорного, стерегшего улицы Прямой стены и Пикпюс. Тот, находясь безотлучно на своем посту, не видел, чтобы там проходил мужчина.

Случается иногда, что олень вот уже взят за рога — и вдруг его как не бывало; иными словами, он уходит, пусть даже вся свора собак повисла у него на боках. Тогда самые опытные охотники разводят руками. Даже Дювивье, Линьвивиль и Депрез, и те не знают, что сказать. В минуту подобной неудачи Артонж воскликнул: «Это не олень, а оборотень».

Жавер охотно повторил бы этот возглас.

Его разочарование в эту минуту больше походило на отчаяние и бешенство.

Как Наполеон допустил ошибки в войне с Россией, Александр — в войне с Индией, Цезарь — в африканской войне, Кир — в скифской, так, несомненно, и Жавер допустил ошибки в этом походе против Жана Вальжана. Жавер, быть может, сделал промах, медля признать в нем бывшего каторжника. Ему следовало довериться своему первому впечатлению. Жавер сделал промах, не арестовав его прямо на месте, в лачуге Горбо. Он сделал промах, не арестовав его на улице Понтуаз, когда окончательно признал его. Он сделал промах, совещаясь на перекрестке Ролен со своими помощниками, стоя в ярком лунном свете. Конечно, обмен мнениями полезен, и не мешает знать и выспросить, что думают ищейки, заслуживающие доверия. Но охотник, преследующий таких беспокойных животных, как волк и каторжник, должен быть очень предусмотрительным. Жавер, слишком озабоченный тем, чтобы пустить гончих по правильному следу, вспугнул зверя, дав ему учуять свору и скрыться. Основной же промах Жавера заключался в том, что, напав на Аустерлицком мосту на след Жана Вальжана, он повел эту ужасную и ребяческую игру, стараясь удержать такого человека, как Жан Вальжан, на кончике нити. Он мнил себя сильнее, чем был на самом деле, и решил, что может поиграть в кошки-мышки со львом. В то же время он думал, что недостаточно силен, когда счел необходимым взять себе подкрепление. Роковая предусмотрительность, повлекшая за собою потерю драгоценного времени. Хотя Жавер и совершил все эти ошибки, однакоже он оставался одним из самых знающих и исполнительных сыщиков, когда-либо существовавших. Он в полном смысле слова был тем, что на охотничьем языке называется «выжлец». Но кто же без греха?

И на великих стратегов находит затмение.

Подобно тому, как множество свитых вместе бечевки образуют канат, нередко огромная глупость является всего лишь суммой мелких глупостей. Разберите канат, бечеву за бечевой, возьмите в отдельности каждую из мельчайших решающих причин, приведших к большой глупости, и вы без труда справитесь со всеми.

«И только-то!» — скажете вы. Но скрутите, свейте их вместе — и тогда это страшная вещь. Это Аттила, который медлит в нерешительности между Марцианом на Востоке и Валентинианом на Западе; это Аннибал, который замешкался в Капуе; это Дантон, засыпающий в Арсисе-на-Обе.

Но как бы там ни было, когда Жавер увидел, что Жан Вальжан ускользнул от него, он не потерял головы. Полный уверенности, что бежавший от полицейского надзора каторжник не мог уйти далеко, он расставил стражу, устроил западни и засады и всю ночь рыскал по кварталу. Первое, что ему бросилось в глаза, это непорядок уличного фонаря, веревка которого была обрезана. Однако эта важная улика ввела его в заблуждение и заставила направить все розыски в сторону тупика Жанро. В этом тупике встречаются довольно низкие стены, выходящие в сады, которые прилегают к огромным неводеланным участкам земли. Повидимому, Жан Вальжан должен был бежать в этом направлении. Несомненно, если бы он проник поглубже в тупик Жанро, он, вероятно, так и сделал бы, и это было бы его гибелью. Жавер так тщательно обшарил эти сады и участки, словно искал иголку.

На рассвете он оставил двух сметливых людей на страже, а сам вернулся в префектуру, пристыженный, словно сыщик, пойманный воров.

Книга шестая

МАЛЫЙ ПИКПЮС

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Улица Пикпюс, номер 62

Полвека назад ворота дома номер 62 по улице Малый Пикпюс ничем не отличались от любых ворот. За этими воротами, по обыкновению гостеприимно полуоткрытыми, не было ничего особенно печального: там виднелся двор, окруженный стенами, увитыми виноградом, да физиономия слонявшегося по двору привратника. Над стеной, в глубине, можно было заметить высокие деревья. Когда луч солнца оживлял двор, а стаканчик вина оживлял привратника, то трудно было пройти мимо дома номер 62 по улице Малый Пикпюс, не унося с собой представления о чем-то радостном. Однако место, промелькнувшее перед вашими глазами, — было мрачное место.

Порог улыбался; дом молился и стenal.

Если вам удавалось пройти мимо привратника, — что было отнюдь не просто, а для всех даже почти невозможно, ибо существовало некое «Сезам, отворись!», которое следовало знать, — итак, если вам удавалось миновать привратника, то вы входили направо, в маленькие сени, откуда ведет вверх лестница, словно сдавленная между двумя стенами и такая узкая, что подниматься по ней мог только один человек; если эта лестница не отвращала вас своей канареечного цвета окраской и коричневым плитусом, если вы отваживались подняться по ней, то, пройдя первую площадку, затем вторую, вы попадали в коридор второго этажа, где клеевая желтая краска и коричневый плитус продолжали вас преследовать

с каким-то спокойным ожесточением. Лестница и коридор освещались двумя великолепными окнами. Коридор делал поворот и становился темным. Если вы огибали этот мыс, то, пройдя несколько шагов, оказывались перед дверью, тем более таинственной, что она не была заперта. Толкнув ее, вы попадали в маленькую квадратную комнату размером около шести футов, с плиточным полом, вымытую, чистую, холодную, оклеенную светложелтыми обоями с зелеными цветочками, по пятнадцати су за кусок. Бледный хмурый свет проникал слева, сквозь маленькие стекла большого решетчатого окна, занимавшего почти всю ширину стены. Вы оглядываетесь, но никого не видите; прислушиваетесь, но ни шороха шагов, ни звука человеческого голоса не слышите. Стены там голы, комната ничем не обставлена; даже стула, и того нет.

Вы снова оглядываетесь и замечаете в стене, напротив двери, четырехугольное отверстие приблизительно в квадратный фут, забранное железной решеткой из пересекающихся черных крепких узловатых прутьев, образующих мелкие квадраты, я даже сказал бы, почти петли, примерно дюйма полтора по диагонали. Маленькие зеленые цветочки светложелтых обоев спокойно и ровно тянутся до этих железных прутьев, не пугаясь соседства и не удирая от него вихрем во все стороны. Если предположить, что нашлось бы живое существо такой удивительной хитрости, которая позволила бы ему попытаться влезть и вылезть сквозь это квадратное отверстие, то решетка все равно помешала бы этому. Но если она служила преградой телу, то не препятствовала взгляду, иными словами, душе. Казалось, это было предусмотрено, ибо за решеткой, но не совсем вплотную к ней была вделана в стену жестяная пластинка вся пробитая дырочками, более мелкими, чем в шумовке. Внизу в этой пластинке была прорезана щель, точь-в-точь как в почтовом ящике. Направо от зарешеченного отверстия висел проволочный шнур, прикрепленный к рычажку звонка.

Если за этот шнурок дергали, то звонил колокольчик, и тогда где-то совсем близко раздавался голос, заставлявший вас вздрогнуть.

— Кто там? — спрашивал голос.

Эго был нежный женский голос, такой нежный, что казался скорбным.

Но здесь необходимо было знать магическое слово. Если вы его не знали, то голос умолкал, и стена вновь погружалась в безмолвие, словно по другую ее сторону царила могильная, потревоженная вами на мгновение тьма.

Если же магическое слово вам было известно, то голос говорил:

— Войдите направо.

Тогда вы замечали направо от себя, против окна, стеклянную дверь, с застекленной верхней рамой, выкрашенную в серый цвет. Вы нажимали дверную ручку, переступали порог и испытывали точно такое же впечатление, как если бы вошли в ложу бенуара, когда решетка еще не опущена, а люстра не зажжена. Действительно, вы как будто попадали в узкую театральную ложу, еле освещенную скудным светом, льющим сквозь стеклянную дверь, с двумя старыми стульями и растрепанной цыновкой, — в настоящую ложу с высоким по грудь барьером, кончавшимся сверху пластинкой черного дерева. Эта ложа была забрана решеткой; только не деревянной позолоченной решеткой, как в Опере, а безобразной решетчатой рамой из железных брусьев, отвратительно перепутанных и прикрепленных к стене огромными скрепами, похожими на сжатые кулаки.

Спустя несколько мгновений, когда вы начинали привыкать к этому полумраку подвала, вы пытались проникнуть взглядом за решетку. Но не дальше как в шести дюймах за нею пред вами вставала преграда из черных ставен, связанных и укрепленных деревянными перекладинами желтовато-коричневого цвета. То были складные ставни, разделенные на длинные тонкие полосы, прикрывавшие всю решетку целиком. Они всегда бывали закрыты.

Через несколько минут за этими ставнями раздавался голос, который окликал вас и говорил:

— Я здесь. Что вам угодно?

Это был голос той, которую вы любили, а порою той, которую вы обожали. Но вы никого не видели. Слышно было лишь едва уловимое дыхание. Казалось, вам вещает дух, заклинаниями вызванный из могилы.

При благоприятных для вас условиях, что случалось очень редко, одна из узких полос какой-нибудь ставни

приоткрывалась, и дух воплощался в видение. За решеткой, за ставнями, вы различали, насколько это допускала решетка, чью-то голову, вернее рот и подбородок; все остальное было скрыто черным покрывалом. Вы видели черный апостольник и смутные очертания фигуры, закутанной в черный саван. Эта голова говорила с вами, но никогда не смотрела на вас, никогда не улыбалась вам.

Падающий из-за вашей спины свет был рассчитан на то, чтобы вы видели эту фигуру светлой, а она вас темным. Это освещение было символическим.

Тем временем ваш взор жадно силится проникнуть сквозь отверстие, приоткрывшееся в этом месте, недоступном для взгляда. Плотная мгла окутывает фигуру в трауре. Ваши глаза ищут в этой мгле, стараясь разглядеть, что окружает это видение. Но вскоре вы обнаруживаете, что разглядеть ничего нельзя. То, что вы видите, — ночь, пустота, тьма, зимний туман, смешанный с могильными испарениями; вокруг жуткий покой, тишина, в которой ничего не уловить, даже вдоха, мрак, в котором ничего не различить, даже призрака.

То, что вы видите, — внутренность монастыря.

Это внутренность угрюмого и сурового дома, именуемого монастырем бернардинок Неустанного поклонения. Эта ложа, в которой вы находитесь, — приемная. Голос, первый, который вы здесь слышали, — голос дежурной послушницы, всегда неподвижно сидящей за стеной, возле квадратного отверстия, и защищенной, словно двойным забралом, железной решеткой и жестяной пластинкой с тысячью отверстий.

Темнота, в которую погружена забранная решеткой ложа, объяснялась тем, что в приемной было окно, выходящее на свет божий, но ни одного окна внутрь монастыря. Взоры мирских людей не смели проникать в это священное место.

Однако по ту сторону этого мрака скрывалось нечто — скрывался свет; в этой смерти таилась жизнь. Хотя монастырь этот был самым замкнутым из всех, мы постараемся проникнуть в него, поможем проникнуть туда читателю и расскажем, не переступая границ дозволенного, о том, чего никогда ни один рассказчик не видал, а потому и не мог рассказать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Устав Мартина Верга

Этот монастырь, существовавший задолго до 1824 года на улице Малый Пикпюс, был общиной бернардинок устава Мартина Верга.

Бернардинки эти, следовательно, принадлежали не к Клерво — как бернардинцы, но к Сито — как бенедиктинцы, иными словами, они были подчинены не святому Бернару, а святому Бенедикту.

Тот, кто когда-либо перелистывал фолианты, знает, что Мартин Верга основал в 1425 году конгрегацию бернардинок-бенедиктинок, главная церковь которой находилась в Саламанке, а подчиненная ей — в Алкале.

Эта конгрегация разветвилась по всем католическим странам Европы.

Подобное слияние одного ордена с другим не представляло ничего необычайного для латинской церкви. Только с одним орденом св. Бенедикта, о котором идет речь, связаны, не считая конгрегации устава Мартина Верга, еще четыре конгрегации: две в Италии — Монте-Кассини и св. Юстины Падуанской; две во Франции — Ключи и Сен-Мор, а также девять других орденов — Валоамброза, Грамон, целестинцы, камальдульцы, картезианцы, смиренные, орден Масличной горы, орден св. Сильвестра и, наконец, Сито; ибо Сито, являвшийся для других орденом-стволом, представлял собою лишь отпрыск ордена св. Бенедикта. Основание Сито св. Робертом, аббатом Модемским в епархии Лангр, восходит к 1098 году. Однако св. Бенедикт, еще в 529 году, в возрасте семнадцати лет, изгнал дьявола, жившего в древнем Аполлоновом храме и удалившегося потом в пустыню Субиако (он был тогда стар; уж не пожелал ли он стать отшельником?).

После устава кармелиток, которые должны ходить босыми, носить нагрудники, сплетенные из ивовых прутьев, и никогда не садиться, самым суровым является устав бернардинок-бенедиктинок Мартина Верга. Они носят черную одежду и апостольник, который, согласно предписанию св. Бенедикта, доходит им до подбородка. Саржевое платье с широкими рукавами, широкое шерстяное покрывало, апостольник, доходящий до подбородка и срезанный четырехугольником на груди, головная повязка, спускаю-

щаяся до самых глаз, — вот их одежда. Все это черное, кроме белой головной повязки. Послушницы носят такую же одежду, но только белую. Принявшие монашеский обет, помимо того, носят на поясе четки.

Бернардинки-бенедиктинки Мартина Верга соблюдают «неустанное поклонение», так же как бенедиктинки, называемые сестрами Святого причастия, которым в начале этого столетия принадлежали в Париже два монастыря: один в Тампле, другой на Новой Сент-Женевьевской улице. Однако орден бернардинок-бенедиктинок Малого Пикпюса, о которых идет речь, был совершенно не похож на орден сестер Святого причастия, обосновавшихся на Новой Сент-Женевьевской улице и в Тампле. В их уставе было множество различий; различна была и одежда. Бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса носили черные апостольники, бенедиктинки Святого причастия и с Новой Сент-Женевьевской улицы — белые; кроме того, у них на груди висело серебряное или медное позолоченное изображение чаши со святыми дарами, приблизительно в три дюйма длиной. Монахини Малого Пикпюса этого изображения чаши со святыми дарами не носили. Общее для монастыря Малый Пикпюс и для монастыря Тампль неустанное поклонение отнюдь не мешает этим двум орденам быть совершенно отличными друг от друга. Только в соблюдении одного этого правила и заключалось сходство сестер Святого причастия и бернардинок Мартина Верга, подобно двум другим, резко отличающимся и порой даже враждующим, орденам: итальянской Оратории, основанной Филиппом де Нери во Флоренции, и французской Оратории, основанной Пьером де Берюль в Париже, которые тем не менее сходны были в ревностном изучении и прославлении всех тайн, относящихся к детству, жизни и смерти Иисуса Христа, а также святой девы. Оратория парижская притязала на первенство, ибо Филипп де Нери был всего только святым, тогда как Пьер де Берюль был еще и кардиналом.

Вернемся к суровому испанскому уставу Мартина Верга.

Бернардинки-бенедиктинки этого устава едят весь год постное, воздерживаются вообще от пищи постом и в многие другие показанные им дни, встают, прерывая свой первый крепкий сон, чтобы между часом и тремя ночи

читать требник и петь утреню. Весь год спят на грубых простынях и на соломе, никогда не топят печей, не моют свое тело, каждую пятницу подвергают себя бичеванию, соблюдают обет молчания, разговаривают между собой лишь во время короткого своего отдыха и в течение шести месяцев — от 14 сентября, дня воздвиженья, и до пасхи — носят рубашки из колючей шерстяной материи. Шесть месяцев — это послабление, по уставу их следует носить весь год; но эта шерстяная рубашка, невыносимая во время летней жары, вызывала лихорадку и нервные судороги. Потребовалось ограничить пользование ими. Но даже при этом послаблении, когда монахини 14 сентября вновь облачаются в эти рубашки, их все равно лихорадит дня три-четыре. Послушание, бедность, целомудрие, безвыходное пребывание в монастырских стенах — вот их обеты, отягченные к тому же уставом.

Настоятельница избирается сроком на три года монахинями, которые называются «матери-изборщицы», ибо они имеют в капитуле право решающего голоса. Настоятельница может быть избрана вновь только дважды; таким образом, самый долгий допустимый срок правления настоятельницы — девять лет.

Они никогда не видят священника, совершающего богослужение, так как он всегда закрыт от них саржевым занавесом девяти футов высотой. Во время проповеди, когда священнослужитель находится в часовне, они опускают на лицо покрывала. Они всегда должны говорить тихо, ходить, опустив глаза долу, с поникшей головой. Лишь один мужчина пользуется правом доступа в монастырь — это епархиальный архиепископ.

Впрочем, есть еще и другой — садовник; но это всегда старик; чтобы он всегда оставался в саду один, а монахини были предупреждены о его присутствии, дабы избежать с ним встречи, к его колену привязывают бубенчик.

Монахини подчинены настоятельнице, и подчинение их беспредельно и беспрекословно. Это каноническая духовная покорность во всем ее самоотречении. Они покоряются, словно голосу Христа, *ut voci Christi*, жесту, малейшему знаку, *ad nutum, ad primum signum*, немедленно, с радостью, с решимостью, со слепым послушанием, *prompte, hilariter, perseveranter et caeca quadam obedientia*, словно подпилоч в руке рабочего, *quasi limam in*

manibus fabri, не имея права ни читать, ни писать чего бы то ни было, без особого разрешения *legere vel scribere non addiscerit sine expressa superioris licentia*.

Поочередно каждая из них совершает то, что называется *искуплением*. Искупление — это молитва за все грехи, за все ошибки, за все провинности, за все насилия, за все несправедливости, за все преступления, совершаемые на земле. Последовательно, в продолжение двенадцати часов, от четырех часов пополудни и до четырех часов утра или от четырех часов утра до четырех часов пополудни, сестра-монахиня, совершающая «искупление», стоит на коленях на каменном полу перед святыми дарами, скрестив на груди руки, с веревкой на шее. Когда она уже больше не в силах преодолеть усталость, она ложится ничком, лицом к земле, крестообразно раскинув руки; вот все, чем может она себя облегчить. В таком положении она молится за всех грешников мира. В этом величие, почти божественное.

Так как обряд этот выполняется у столба, на верхушке которого горит свеча, то в монастыре так же часто говорится «совершать искупление», как и «стоять у столба». Монахини из смирения даже предпочитают последнюю формулу, заключающую в себе мысль о каре и унижении.

«Совершать искупление» является делом, поглощающим всю душу. Сестра, стоящая у столба, не обернется, даже если позади нее ударит молния.

Кроме того, перед святыми дарами постоянно находится другая коленопреклоненная монахиня. Стояние это длится час. Они сменяются, как солдаты на карауле. В этом-то и заключается неустанное поклонение.

Настоятельницы и матери носят почти всегда имена, отмечающие какое-нибудь исключительно важное событие из жизни Иисуса Христа, а не имена святых или мучениц, например: мать Рождество, мать Зачатие, мать Введение, мать Страсти господни. Впрочем, имена в честь святых не воспрещены.

Если смотришь на них, то видишь только их рот. У всех у них желтые зубы. Зубная щетка никогда в монастырь не проникала. Чистить зубы — это значит ступить на вершину той лестницы, у подножия которой начертано: погубить свою душу.

Они не говорят *моя* или *мой*. У них ничего нет своего, и они ничем не должны дорожить. Всякую вещь они называют *наша*, например: наше покрывало, наши четки; даже о своей рубашке они сказали бы «наша рубашка». Иногда они привыкают к какому-нибудь небольшому предмету, молитвеннику, реликвии, образку. Но как только они замечают, что начинают дорожить этим предметом, они тотчас же обязаны отдать его. Они вспоминают слова св. Терезы, которой некая знатная дама в момент своего пострижения сказала: «Позвольте мне, матушка, послать за святой библией, которой я очень дорожу». — «А! У вас есть что-то, чем вы дорожите? Тогда не идите к нам».

Любой монахине воспрещается затворять свои двери, иметь *свой уголок, свою комнату*. Их кельи должны быть всегда открыты. Когда одна монахиня обращается к другой, то произносит: «Хвала и поклонение пресвятым дарам престола!» А другая отвечает: «Во веки веков». То же самое повторяется, когда одна монахиня стучит в келью другой. Едва она прикоснется к двери, а уж из кельи кроткий голос поспешно отвечает: «Во веки веков!» Как всякий обряд, это, в силу привычки, делается машинально; и часто одна отвечает: «Во веки веков» еще до того, как первая успела произнести: «Хвала и поклонение пресвятым дарам престола», что, впрочем, является довольно длинной фразой. У визитандинок входящая произносит: «Ave Maria»¹, а та, к кому входят, отвечает: «Gratiâ plena»². Это их приветствие, которое действительно «исполнено прелести».

Каждый час в монастырской церкви слышатся еще три дополнительных удара колокола. По этому сигналу настоятельница, матери-изборщицы, сестры, принявшие монашеский обет, послушницы, служки, белицы прерывают свою речь, мысль, дела и все вместе одновременно произносят, если пробило, например, пять часов: «В пять часов и всякий час хвала и поклонение пресвятым дарам престола!» Если пробило восемь: «В восемь часов и всякий

¹ «Радуйся, Мария» (лат.) — начальные слова католической молитвы.

² «Благодатная» (лат.) — буквально: «исполненная благодати, прелести» (продолжение той же молитвы).

час» и т. д., смотря по тому, который час отзвонил колокол.

Этот обычай, преследующий цель прервать мысль и неустанно направлять ее к богу, существует во многих общинах; видоизменяется лишь его форма. Так, например, в общине Младенца Иисуса говорят: «В этот час и всякий час да пламенеет в сердце моем любовь к Иисусу!»

Бенедиктинки-бернардинки Мартина Верга, затворницы Малого Пикпюса, вот уже пятьдесят лет совершают службу торжественным напевом, придерживаясь строгого церковного пения, и всегда полным голосом в продолжение всей службы. Повсюду, где в требнике стоит звездочка, они делают паузу и тихо произносят: «Иисус, Мария, Иосиф». Заупокойную службу они поют на таких низких нотах, какие едва доступны женскому голосу. Впечатление получается захватывающее и трагическое.

Монахини Малого Пикпюса устроили под главным алтарем церкви склеп, чтобы хоронить в нем сестер своей общины. Однако «правительство», как они говорят, не разрешило, чтобы туда опускали гробы. Таким образом, после смерти они покидали монастырь. Это огорчало и смущало их, как нарушение устава.

Они выхлопотали право, хоть и в слабое себе утешение, быть погребенными в особый час, в особом уголке старинного кладбища Вожирар, расположенного на земле, некогда принадлежавшей общине.

По четвергам эти монахини выстаивают позднюю обедню, вечерню и все церковные службы точно так же, как и в воскресенье. Кроме того, они тщательно соблюдают все малые праздники, о которых люди светские и понятия не имеют, установленные щедрой рукою церкви когда-то во Франции и до сих пор еще устанавливаемые ею в Испании и Италии. Часы стояния монахинь в часовне бесконечны. Что же касается количества и продолжительности их молитв, то лучшее представление о них дают наивные слова одной монахини: «Молитвы белиц тяжки, молитвы послушниц тяжелее, а молитвы принявших постриг еще тяжелее».

Один раз в неделю созывается капитул, где председательствует настоятельница и присутствуют матери-изборщицы. Каждая монахиня поочередно опускается перед ними на колени на каменный пол и кается вслух в тех

провинностях и грехах, которые совершила в продолжение недели. После каждой исповеди матери-изборщицы совещаются и во всеуслышание налагают епитимью.

Кроме этой исповеди вслух, в которой перечисляются все сколько-нибудь серьезные грехи, существует так называемый *повин* для малых прегрешений. Повиниться — значит пасть ниц перед настоятельницей во время богослужения и оставаться в этом положении до тех пор, пока та, которую величают не иначе, как «матушка», не даст понять кающейся, постучав пальцем по церковной скамье, что та может встать. Несут повин по всевозможным пустякам: разбили стакан, разорвали покрывало, случайно опоздали на несколько секунд к богослужению, сфальшивили во время церковного пения, и т. д., — этого достаточно, чтобы нести повин. Повин совершается добровольно; *повинница* (слово это здесь этимологически вполне оправдано) сама обвиняет себя и сама накладывает на себя наказание. В праздники и воскресные дни четыре матери-певчие поют псалмы перед большим налоем с четырьмя столешницами. Однажды какая-то мать-певчая при пении псалма, начинавшегося со слова Ессе¹, громко взяла вместо Ессе три ноты — *ut, si, sol*; за свою рассеянность она должна была нести повин в продолжение всей службы. Грех ее во много крат усугубило то, что весь капитул рассмеялся.

Когда какую-нибудь монахиню вызывают в приемную, то, будь это даже сама настоятельница, она, как мы уже упоминали, опускает покрывало так, что виден только ее рот.

Одна настоятельница имеет право общаться с посторонними. Все прочие могут видаться лишь с ближайшими родственниками, и то редко. Если изредка какой-либо посторонний человек выражает желание повидать монахиню, которую знал или любил в миру, то приходится вести длительные переговоры. Если разрешения о свидании просит женщина, то его иногда дают; монахиня приходит, и с ней беседуют сквозь ставни, которые открываются лишь для матери или для сестры. Само собой разумеется, что мужчинам в подобной просьбе всегда отказывают.

¹ Сей (лат.).

Таков устав св. Бенедикта, еще более отягченный Мартином Верга.

Эти монахини не веселы, не свежи, не румяны, какими часто бывают монахини других орденов. Они бледны и суровы. Между 1825 и 1830 годом три из них сошли с ума.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Строгости

В этом монастыре надо по крайней мере два года, а иногда даже четыре, пробыть в белицах и четыре года послушницей. Очень редко кто принимает большой постриг ранее двадцати трех — двадцати четырех лет. Бернардинки-бенедиктинки из конгрегации Мартина Верга не допускают в свой орден вдов.

В своих кельях они разнообразными, неизвестными способами предаются умерщвлению плоти, о чем никогда не должны говорить.

В тот день, когда послушница принимает схиму, она облачается в свой лучший наряд, голову ей убирают белыми розами, помадят волосы, завивают их; затем она простирается ниц; на нее набрасывают большое черное покрывало и поют над ней отходную. После этого монахини разделяются на два ряда: один, проходя мимо нее, печально поет: «Наша сестра умерла», а другой отвечает ликуя: «Жива во Иисусе Христе!»

В описываемую нами эпоху при монастыре существовал закрытый пансион. Воспитанницы этого пансиона были в большинстве девушки благородного происхождения и почти все богатые; среди них находились девицы Сент-Олер, Белиссен и одна англичанка, носившая знатную католическую фамилию Тальбот. Этим молодым девушкам, воспитываемым монахинями в четырех стенах, прививалось отвращение к миру и к светским интересам. Одна из них как-то сказала нам: «При виде мостовой я содрогалась с головы до ног». Они носили голубые платья и белые чепчики, на груди у них приколото было изображение святого духа из золоченого серебра или меди. По большим праздникам, в особенности в день св. Марты, им разрешали в знак высокой милости величайшее счастье —

облачаться в монашескую одежду и в продолжение целого дня выстаивать церковные службы и совершать обряды по уставу св. Бенедикта. Вначале монахини ссужали их своими черными рясами. Но это показалось нечестивым и было настоятельницей запрещено. Такое заимствование одеяния разрешали только послушникам. Интересно отметить, что исполнение роли монахинь, допускаемое и поощряемое в монастыре, несомненно, с тайной целью вербовать новообращенных и вызывать в этих детях некое влечение к монашеской жизни, доставляло воспитанницам настоящее удовольствие и душевный отдых. Они просто-напросто забавлялись. *Это было ново, это развлекало их.* Наивная детская забава бессильна, однако, убедить нас, мирян, в том, что держать в руках кропильницу и часами стоять перед наоем, самозабвенно распевая псалмы, — высочайшее блаженство.

Воспитанницы исполняли все монастырские правила, за исключением умерщвления плоти. Нередко молодые женщины по выходе из монастыря и будучи уже несколько лет замужем не могли отвыкнуть от того, чтобы не проговорить поспешно «Во веки веков!» всякий раз, когда постучатся к ним в дверь. Как и монахини, воспитанницы виделись с родными только в приемной. Даже матери, и те не имели права целовать их. Вот образец подобной строгости. Как-то одну воспитанницу посетила ее мать в сопровождении трехлетней дочери. Воспитанница плакала, ей очень хотелось обнять свою сестренку. Нельзя. Она умоляла позволить девочке хотя бы просунуть ручку сквозь прутья решетки, чтобы она могла ее поцеловать. Но и в этом ей было отказано, и почти с возмущением.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Веселье

И все же эти молодые девушки оставили множество очаровательных воспоминаний о себе в суровой обители

В определенные часы монастырь словно начинал искриться детским весельем. Звонили к рекреации. Одна из дверей поворачивалась на своих петлях. Птицы щебетали: «Чудесно! А вот и дети!» Поток юности заливал сад,

выкроенный крестом, точно саван. Сияющие личики, белые лобики, невинные глазки, блещущие радостным светом, — все краски утренней зари расцветали повсюду в этом мраке. После псалмопений, колоколов, благовеста, похоронного звона, богослужений внезапно раздавался шум, более нежный, чем гуденье пчелок, — то шумели маленькие девочки! Распахивался улей веселья, и каждая несла в него свой мед. Играли, перекликались, собирались кучками, бегали; в уголках стрекотали прелестные белозубые ротки; черные рясы издали надзирали за смехом, тени наблюдали за солнечными лучами. Ну и пусть себе! Кругом все лучилось и все смеялось. На долю этих мрачных стен тоже выпадали свои ослепительные минуты. Они присутствовали при этом кружении пчелиного роя, как бы слегка посветлев от бьющей ключом радости. Точно дождь розовых лепестков проливался над этим трауром. Девочки резвились под оком монахинь: взор праведных не смущает невинных. Благодаря этим детям в веренице строгих часов был час простодушного веселья. Младшие прыгали, старшие плясали. Небесной чистотой веяло от этих ребяческих игр. Нет очаровательнее и величественнее зрелища свежих, распускающихся душ. Гомер вместе с Пьерро охотно пришли бы поохотаться сюда, в этот мрачный сад, где царили юность, здоровье, шум, крики, беспечность, радость и счастье, способные развеселить всех прабабок — из эпопей и побасенок, из дворцов и хижин, начиная с Гекубы и кончая бабусей стародавних сказок.

В этой обители, быть может чаще, чем где бы то ни было, слышались те детские «словечки», в которых так много очарования и которые заставляют нас задумчиво улыбаться. Именно в этих четырех мрачных стенах однажды пятилетний ребенок воскликнул: «Матушка, одна старшая только что сказала, что мне осталось пробыть здесь только девять лет и десять месяцев. Какое счастье!»

Здесь же произошел следующий памятный разговор:

М а т ь - и з б о р щ и ц а. Что ты плачешь, дитя мое?

Р е б е н о к (*шести лет, рыдая*). Я сказала Алисе, что знаю урок по истории Франции. А она говорит, что я не знаю, когда я знаю!

А л и с а (*старшая, девяти лет*). Нет, не знает.

М а т ь - и з б о р щ и ц а. Как же так, дитя мое?

А л и с а. Она велела мне открыть книгу, где попало, и задать ей оттуда какой-нибудь вопрос и сказала, что ответит на него.

— Ну и что же?

— И не ответила.

— Постой! А о чем ты ее спросила?

— Я открыла книгу, где попало, как она сама велела, и задала ей первый вопрос, который увидела.

— И какой это был вопрос?

— А вот какой: *Что же произошло потом?*

Там же было сделано глубокомысленное замечание по поводу довольно прожорливого попугая, принадлежавшего одной монастырской постоялице:

«Ну не милашка ли? Она склевывает верх тартинки, словно настоящий человек!»

Это там на одной из монастырских плит найдена была следующая исповедь, заранее записанная для памяти семилетней грешницей:

«Отец мой, я грешна в скупости.

Отец мой, я грешна в прелюбодеянии.

Отец мой, я грешна в том, что смотрела на мужчин».

Это там, на дерновой скамейке сада, маленький розовый ротик шестилетней девочки пролепетал сказку, которой внимало голубоглазое дитя лет четырех или пяти:

«Жили-были три петушка, у них была своя страна, где росло много-много цветов. Они сорвали цветики и спрятали их в свой кармашек. А потом сорвали листики и спрятали их в игрушки. В стране жил волк; и там был большой лес; и волк жил в лесу; и он съел петушков».

А вот и другое произведение:

«Раз как ударят палкой!

Это Полишинель дал по голове кошке.

Ей от этого было совсем не приятно, а только больно.

Тогда одна дама посадила Полишинеля в тюрьму».

Там же бездомная девочка-найденыш, которую воспитывали в монастыре из милости, произнесла трогательные, раздирающие душу слова. Она слышала, как другие девочки говорили о своих матерях, и прошептала, сидя в своем углу:

«А когда я родилась, моей мамы со мной не было!»

В монастыре жила толстая сестра-привратница, которая постоянно куда-то спешила по коридорам со связкой

ключей. Звали ее сестра Агата. «Старшие — то есть те, которым было больше десяти лет, прозвали ее «Агата-ключ».

Трапезная, большая продолговатая четырехугольная комната, получала свет лишь из крытой с резными арками галлерей, находившейся на одном уровне с садом. Это была сумрачная комната, сырая и, как говорили дети, полная зверей. Все близлежащие помещения наградили ее своей долей насекомых. Каждому углу трапезной воспитанницы дали свое выразительное название. Был угол Пауков, угол Гусениц, угол Мокриц и угол Сверчков. Угол Сверчков был рядом с кухней и его особо почитали. Там было всего теплее. От трапезной эти прозвища перешли к пансиону, и по ним различали, как некогда в коллеже Мазарини, четыре землячества. Каждая воспитанница принадлежала к одному из этих четырех землячеств, в зависимости от того, в каком углу она сидела за трапезой. Однажды архиепископ во время своего пастырского посещения монастыря заметил входящую в класс хорошенькую румяную девочку с великолепными белокурыми волосами; он спросил у другой воспитанницы, очаровательной брюнеточки со свежими щечками, стоявшей возле него:

— Кто эта девочка?

— Это паук, ваше высокопреосвященство.

— Вот оно что! А вон та, другая?

— Сверчок.

— А эта?

— Гусеница.

— Неужели? Ну, а ты?

— А я мокрица, ваше высокопреосвященство.

У каждого такого закрытого пансиона есть свои особенности. В начале этого столетия Экуан был одним из тех суровых и почти торжественных мест, где в уединении протекало детство молодых девушек. Для крестного хода в день св. причастия в Экуане их делили на «дев» и на «цветочниц». Там были также «балдахинщицы» и «кадильщицы»; первые несли кисти от балдахина, а вторые кадрили, шествуя перед чашей со святыми дарами. Цветы, разумеется, несли «цветочницы». Впереди выступали четыре «девы». Утром этого торжественного дня нередко можно было слышать в спальней такой вопрос:

— А кто у нас дева?

Госпожа Кампан приводит следующие слова одной «младшей», семилетней воспитанницы, обращенные к «старшей», шестнадцати лет, возглавлявшей процессию, тогда как младшая шла в хвосте: «Так ты же дева, а я нет».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Развлечения

Над дверью трапезной крупными черными буквами была написана молитва, называемая воспитанницами «Беленькое отченаш» и обладавшая свойством вводить людей прямо в рай:

«Миленькое беленькое отченаш, господь его сотворил, господь его говорил, господь его в рай посадил. Вечером, как я спать ложилась, у постели трех ангелов находила, одного в изножье, двух в изголовье, преблагую деву Марию посредине. Преблагая дева мне приказывала ложиться, ничего не страшиться. Отец мой — господь, мать — богородица, братья — три апостола, сестрицы — три девы пречистые. Младенца Христа сорочка мое тело прикрывает, святой Маргариты крестик мою грудь осеняет. Уходит госпожа наша мать божия на поля, о сыне рыдает, святого Иоанна встречает. «Сударь мой, святой Иоанн, откуда идете?» — «От Ave salus¹ иду». — «А не видали вы милосердного бога, там ли он?» — «Он на дереве крестовом, руки-ноги пригвождены, малый венчик терний белых на челе». Кто молитву эту скажет трижды ввечеру, трижды поутру, будет в раю».

В 1827 году эта своеобразная молитва исчезла под тройным слоем известки. А в наши дни сглаживается ее последний след и в памяти молодых девушек тех времен, а ныне уже старух.

Большое распятие на стене довершало украшение трапезной, единственная дверь которой, как мы уже, кажется, упоминали, выходила в сад. Два узких стола, каждый с двумя деревянными скамьями по бокам, тянулись параллельными линиями из конца в конец во всю длину трапезной. Стены были белые, столы черные; только эти

¹ Вечерня (лат.).

два траурных цвета и чередовались в монастыре. Еда была неприхотливая, даже детей кормили скудно. К столу подавалось одно блюдо: мясо с овощами или соленая рыба — вот и вся роскошь. Однако и это грубое дежурное блюдо, предназначенное только для пансионеров, составляло исключение в монастырской пище. Дети ели молча, под присмотром сменяющейся еженедельно монахини, которая время от времени с шумом открывала и закрывала деревянный ларец в форме книги, если муха, нарушая устав, осмеливалась летать и жужжать. Эта тишина была приправлена чтением вслух жития святых с небольшой кафедры под распятием. Чтицей была дежурившая в эту неделю взрослая воспитанница. На голом столе там и сям стояли муравленные миски, в которых воспитанницы сами мыли свои чашки и тарелки, а иногда бросали туда же остатки пищи, жесткое мясо или тухлую рыбу; за это полагалось наказание. Миски назывались «круговыми чашами».

Ребенок, нарушивший молчание, должен был сделать «крест языком». Где? На полу. Он лизал пол. Прах, это завершение всех земных радостей, призван был карать эти бедные розовые лепесточки за то, что они шелестели.

В монастыре хранилась книга, которую всегда печатали только *в одном экземпляре* и которую запрещалось читать. Это был устав св. Бенедикта. Ничей непосвященный взор не смел касаться этой тайны. «*Nemo regulas, seu constitutiones nostras, externis communicabit*»¹.

Однажды воспитанницам удалось похитить эту книгу, и они жадно принялись читать ее. Но страх быть застигнутыми на месте преступления часто заставлял их поспешно захлопывать книгу и прерывать чтение. Из этой чрезвычайно рискованной затеи они вынесли весьма умеренное удовольствие. Несколько туманных страниц «о грехах отроков» — вот что показалось им «самым интересным».

Они играли в аллее сада, обрамленной чахлыми фруктовыми деревьями. Невзирая на зоркую бдительность и на строгость наказаний, им удавалось, когда ветер качал деревья, украдкой поднять упавшее недозрелое яблоко,

¹ «Никто не будет сообщать наших правил или установлений посторонним» (лат.).

гнилой абрикос или червивую сливу. Пусть вместо меня говорит письмо, лежащее передо мной, — письмо, написанное двадцать пять лет тому назад бывшей пансионеркой, ныне герцогиней, одной из самых элегантных женщин Парижа. Привожу текст письма дословно: «Грушу или яблоко стараешься спрятать как можно лучше. Когда перед ужином поднимаешься наверх, чтобы положить на кровать свое покрывало, то засовываешь их поглубже под подушку и вечером съедаешь уже лежа в кровати, а если это не удастся, то съедаешь в ретиреде». Это было одним из самых жгучих наслаждений воспитанниц.

Однажды, — произошло это опять-таки в одно из посещений монастыря архиепископом, — молодая девушка, мадмуазель Бушар, приходившаяся несколько сродни Монморанси, держала пари, что попросит у него день отпуска, — поблажка, совершенно невыносимая в такой строгой общине. Пари было принято, но ни та, ни другая сторона не верили в возможность успеха. И вот, когда архиепископ проходил мимо воспитанниц, мадмуазель Бушар, к неопишуемому ужасу своих товарок, выступила из ряда и сказала: «Ваше высокопреосвященство, прошу отпустить меня на один день!» Мадмуазель Бушар была цветущая, статная девушка, с прелестным румяным личиком. Г-н де Келен улыбнулся и ответил: «Как, милое дитя, всего на один день? На три, если вам угодно! Я даю вам три дня!» Настоятельница ничего не могла сделать, — ведь это сказал архиепископ. Скандальное происшествие для монастыря, но что за радость для воспитанниц! Судите сами, каково было впечатление!

Однако угрюмый монастырь не был так наглухо замурован, чтобы мир страстей, бурливший за его стенами, чтобы драмы и даже романы не проникали туда. В доказательство мы лишь приведем, рассказав его вкратце, одно действительное происшествие, не имеющее, впрочем, само по себе никакого касательства к нашему повествованию и никак с ним не связанное. Мы упомянем о нем лишь для того, чтобы дать читателю более полное представление о монастыре.

Итак, приблизительно в это же время в обители проживала таинственная особа, к которой, хотя она и не была монахиней, все относились с глубоким почтением, величая ее «госпожой Альбертиной». О ней было известно лишь,

что она потеряла рассудок и что в свете ее считали умершей. Говорили, что вся эта история имела своей подоплекой какие-то денежные соображения, необходимые для осуществления блестящего брака.

Эта женщина, едва достигшая тридцати лет, была довольно красивая брюнетка с темными большими глазами и затуманенным взглядом. Видела ли она что-нибудь? Сомнительно. Она скорее скользила, чем ходила; она никогда не говорила; нельзя было даже с уверенностью сказать, что она дышит. Ее ноздри были сжаты и мертвенно бледны, как у покойницы. Прикасаясь к ее руке, вы словно касались снега. Она обладала какой-то странной грацией призрака. Где она появлялась, веяло холодом. Как-то, видя, как она проскользнула мимо, одна монахиня сказала другой: «Ее считают мертвой». — «А может, она и мертвая», — ответила ей та.

О г-же Альбертине ходило множество рассказов. Она непрерывно возбуждала любопытство воспитанниц. В часовне были хоры, прозванные «бычий глаз». И вот на этих-то хорах, где единственным источником света было круглое окно — «бычий глаз», и отстаивала службы г-жа Альбертина. По обыкновению она находилась там в одиночестве, так как с этих хор, расположенных в верхней части часовни, можно увидеть проповедника или священника, совершающего богослужение, что монахиням возбранялось. Однажды с амвона проповедовал молодой священник знатного рода, герцог де Роган, пэр Франции, командир красных мушкетеров в 1815 году, когда он еще именовался принцем Леонским, впоследствии кардинал и архиепископ в Безансоне, где он и скончался в 1830 году. В этот день герцог де Роган в первый раз говорил проповедь в монастыре Малый Пикпюс. Г-жа Альбертина обычно держалась во время богослужений и проповедей совершенно спокойно, храня полную неподвижность. В этот же день, увидев герцога де Рогана, она слегка выпрямилась и среди абсолютной тишины, царившей в часовне, громко произнесла: «Вот как? Огюст?» Вся община в изумлении взглянула на нее, но г-жа Альбертина впала вновь в обычную свою оцепенелость. Дуновение внешнего мира, отблеск жизни на мгновение осветил это угасшее неподвижное лицо, затем все исчезло, и безумная вновь превратилась в труп.

Однако эти два слова развязали языки многим, кто только способен был в монастыре болтать. Чего-чего только не таило в себе это восклицание: «Вот как? Огюст?» Чего только оно не скрывало! Герцога де Рогана действительно звали Огюст. Было очевидно, что г-жа Альбертина принадлежала к самому избранному обществу, раз она знала г-на де Рогана; что и сама занимала в нем высокое положение, раз о таком вельможе говорила так фамильярно; что была, возможно, в родственных с ним отношениях, и наверное достаточно близких, раз ей было известно его «крестное имя».

Две весьма суровые герцогини, г-жа де Шуазель и де Серан, часто посещали общину, куда имели свободный доступ, по всей вероятности в силу привилегии *Magnates mulieres*¹, и нагоняли на воспитанниц неодолимый страх. Когда эти две старые дамы проходили мимо них, то бедные молодые девушки дрожали и опускали глаза.

Впрочем, герцог де Роган, сам того не подозревая, являлся центром внимания воспитанниц. В ту пору он, в ожидании епископского сана, получил назначение главного викария при архиепископе Парижском. У него была привычка петь на клиросе во время богослужения в часовне монастыря Малый Пикпюс. Ни одна из молодых затворниц не могла его видеть сквозь саржевый занавес, но он обладал мягким, довольно высоким голосом, который они научились узнавать и различать. Когда-то он был мушкетером; говорили, что он очень следит за своей внешностью и замечательно причесан, что его великолепные каштановые волосы изумительными завитками обрамляют его лоб, что опоясан он дивным широким муаровым поясом и что черная сутана его — самого элегантного покроя в мире. Он сильно занимал воображение всех этих шестнадцатилетних девушек.

Ни один звук из внешнего мира не проникал в монастырь. Тем не менее выпал год, когда долетели до монастыря звуки флейты. То было настоящее событие, и тогдашние пансионерки еще до сих пор помнят об этом.

Кто-то по соседству играл на флейте. Флейтист исполнял всегда одну и ту же арию, теперь уже устаревшую:

¹ Знатных дам (лат.).

«Моя Зетюльбе, приходи царить в душе моей!», и ее можно было услышать два-три раза в день. Молодые девушки часами слушали эту арию, матери-изборщицы впали в отчаяние, юные умы работали, наказания так и сыпались. Это продолжалось несколько месяцев. Все воспитанницы в большей или меньшей степени были влюблены в неведомого музыканта. Каждая воображала себя этой «Зетюльбе». Звуки флейты доносились со стороны улицы Прямой стены. Пансионерки отдали бы все, пошли бы на все, рискнули всем, лишь бы хоть на секунду поглядеть на «молодого человека», разглядеть, наглядеться на того, который так восхитительно играл на флейте и, сам того не ведая, играл на струнах их сердец. Нашлись среди них воспитанницы, которые, проскользнув в дверь черного хода, взобрались на четвертый этаж, надеясь через оконце, выходящее на улицу Прямой стены, увидеть хоть что-нибудь. Невозможно. Одна дошла даже до того, что, подняв руку над головой и просунув ее сквозь решетку оконца, стала махать белым платком. Двое оказались еще более смелыми. Они придумали способ взобраться на крышу, не побоялись это сделать и увидели, наконец, «молодого человека». Это был старый, слепой, разорившийся дворянин-эмигрант, от скуки игравший на флейте в своей мансарде.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Малый монастырь

В ограде Малого Пикпюса было три совершенно отдельных здания: большой монастырь, населенный монахинями, пансион, где помещались воспитанницы, и, наконец, так называемый малый монастырь. Это был особый флигель, с садом, где жили одной семьей всевозможные старые монахини различных орденов, живые обломки монастырей, уничтоженных революцией: пестрая смесь всяких инокинь, черных, серых и белых, принадлежавших к самым разным общинам и самого разного толка. Это был, если позволительно употребить подобное выражение, лоскутный монастырь.

Со времени Империи этим бедным, рассеянным по всей стране и лишенным права женщинам дозволено было

приютиться здесь, под крылышком бенедиктинок-бернардинок. Правительство выдавало им скромное пособие; монахини Малого Пикпюса с готовностью приняли их. То было самое причудливое смешение. Каждая гостя соблюдала свой устав. Иногда воспитанницам разрешали в качестве особенного развлечения посещать их; вот почему многие юные головки навсегда запомнили мать св. Василию, мать св. Схоластику и мать св. Якобу.

Одна из таких пришлых монахинь оказалась почти дома. Это была монахиня из Сент-Ор, единственная, которая пережила свой орден. Бывший монастырь сестер Сент-Ор занимал в начале восемнадцатого века как раз то самое здание Малого Пикпюса, которое впоследствии перешло к бенедиктинкам конгрегации Мартина Верга. Эта старая монахиня, слишком бедная, чтобы носить роскошную одежду своего ордена — белое платье с пурпуровым наплечьем, благоговейно возложила ее на маленький манекен, который охотно показывала, и, на случай своей смерти, завещала монастырю. В 1824 году от этого ордена оставалась лишь одна монахиня; ныне же остался один манекен.

Кроме этих достойных сестер, несколько старых светских женщин, вроде г-жи Альбертины, также получили от настоятельницы разрешение поселиться на покое в малом монастыре. К числу их принадлежали г-жа де Босфорд-Отпуль и маркиза Дюфрен. Была там еще одна обительница, известная только тем, что она необыкновенно звучно сморкалась. Воспитанницы прозвали ее «мадам Шумихины».

Около 1820 или 1821 года г-жа Жанлис просила разрешения стать постоялицей монастыря. Она издавала в то время небольшой периодический сборник под названием «Неустрашимый». За нее ходатайствовал герцог Орлеанский. Великое смятение в улье! Матери-изборщицы затрепетали. Г-жа де Жанлис писала романы! Но она же заявила, что первая ненавидит их, а к тому же она достигла тогда того периода жизни, когда ее обуяло свирепое благочестие. С помощью божьей, а также герцогской, она поселилась в монастыре. Но месяцев через шесть или семь покинула его под тем предлогом, что в саду нет тени. Монахини были в восторге. Хотя она была уже очень стара, но она все еще играла на арфе, и играла чудесно.

Покидая монастырь, она оставила память о себе в келье, где жила. Г-жа де Жанлис была суеверкой и латинисткой. Несколько лет тому назад еще можно было видеть в небольшом шкафчике, где она обыкновенно хранила деньги и драгоценности, наклеенную изнутри маленькую записочку со стихами, написанными ее рукой красными чернилами на желтой бумаге. Эти пять латинских стихотворных строк, по ее мнению, обладали свойством отпугивать воров:

Imparibus meritis pendent tria corpora ramis:
Dismas et Gesmas, media est divina potestas;
Alta petit Dismas, infelix, infima, Gesmas.
Nos et res nostras conservet summa potestas.
Hos versus dicas, ne tu furto tua perdas¹.

Эти вирши на латыни VI века возбуждают вопрос: как же звали двух распятых на Голгофе разбойников — Димас и Гестас, как думают обычно, или же Дисмас и Гесмас? Это правописание могло бы опровергнуть все притязания виконта Гестаса в прошлом столетии на происхождение от нераскаявшегося разбойника. Впрочем, в полезное свойство, приписываемое этим стихам, орден госпитальеров твердо верит.

Монастырская церковь, построенная так, что она отделяла, словно настоящим крепостным валом, большой монастырь от пансиона, была, само собой разумеется, общей и для большого монастыря, и для пансиона, и для малого монастыря. В церковь допускалась даже и посторонняя публика через сделанный на улицу вход в лазарет. Но все было расположено таким образом, что ни одна из обитательниц монастыря не могла видеть прихожан. Вообразите себе церковь, клирос которой, как бы схваченный и согнутый исполинской рукой, не продолжается, как в обыкновенных церквях, за престолом, а образует род залы или темной пещеры направо от священника, совершающего богослужение; вообразите далее, что эта зала скрыта занавесом высотой в семь футов, о котором мы уже упоминали, и что там, за этим занавесом, на деревян-

¹ Неравные по заслугам, висят на крестах три тела: Дисмас и Гесмас, а посредине божественный владыка; ввысь стремится Дисмас, а несчастный Гесмас — вниз. Нас и наше имущество да сохранит всевышний. Говори эти стихи, чтобы у тебя не украли твоего добра (лат.).

ных скамьях, налево сгруппированы монахини-клирошанки, направо — воспитанницы, а в центре — послушницы и белицы, и вы получите некоторое представление о том, как монахини Малого Пикпюса присутствовали при богослужениях. Эта темная пещера, именуемая клиросом, сообщалась с монастырем посредством коридора. Свет проникал туда со стороны сада. Во время служб, на которых, согласно уставу, монахини обязаны были хранить молчание, публика узнавала об их присутствии по стуку поднимавшихся и опускавшихся полочек с нижней стороны сидений, на которые те, кто устал стоять, могли незаметно опереться.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Несколько силуэтов среди мрака

В течение шести лет, с 1819 и по 1825 год, настоятельницей монастыря Малый Пикпюс была мадмуазель де Блемер, в иночестве — мать Непорочность. Происходила она из рода Маргариты Блемер, автора «Жития святых ордена св. Бенедикта». Ее избрали вторично. Это была женщина лет шестидесяти, приземистая, дородная, с голосом, дребезжащим, точно «надтреснутый горшок», как говорится в письме, о котором мы уже упоминали выше, впрочем, добрейшая душа, единственное веселое существо во всем монастыре, и за это любимая до обожания.

Мать Непорочность унаследовала качества прабабки Маргариты, этой Дасье своего ордена. Она была образованна, начитанна, учена, книжница, своеобразный знаток истории, нашпигована латынью, напичкана греческим, начинена еврейским — скорее бенедиктинец, чем бенедиктинка.

Помощницей настоятельницы была старая, почти слепая, монахиня-испанка, мать Синерес.

Самыми почитаемыми среди матерей-изборщиц были: мать св. Гонория, казначея; мать св. Гертруда, начальница послушниц; мать св. Ангела, ее помощница; мать Благовещение, заведовавшая ризницей; мать св. Августина, заведовавшая лазаретом, единственная злая женщина во всем монастыре; затем мать св. Мехтильда (девица Говэн), совсем еще молодая, обладавшая чудным

голосом; мать Святые ангелы (девица Друэ), уже побывавшая в монастыре сестер Странноприимного ордена и в монастыре Священных сокровищ, что между Жизором и Маньи; мать св. Иосифа (девица Коголлудо); мать св. Аделаида (девица д'Оверне); мать Милосердие (девица де Сифуентес), которая не в состоянии была вынести строгостей устава; мать Сострадание (девица де Мильтиер), принятая в общину шестидесяти лет, вопреки уставу, очень богатая; мать Провидение (девица де Лодиньер); мать Введение (девица Сигенца), ставшая в 1847 году настоятельницей; наконец мать св. Селина (сестра скульптора Черакки), сошедшая с ума, и мать св. Шанталь (девица де Сюзон), тоже сошедшая с ума.

В числе красивейших была также прелестная двадцатитрехлетняя девушка с острова Бурбон, правнучка кавалера Роз. В миру она носила бы имя мадмуазель Роз, а в схиме называлась мать Вознесение.

Мать Мехтильда, руководившая пением на клиросе, охотно привлекала в свой хор пансионеров. Она обычно набирала полную гамму, то есть семь девочек от десяти до шестнадцати лет включительно, подбирая голоса и рост и заставляя их петь, выстроившись в ряд, от самой низенькой до самой высокой. Казалось, перед вами свирель из молодых девушек, род живой флейты Пана, составленной из ангелов.

Среди послушниц больше всего любили сестру св. Эфразию, сестру св. Маргариту, сестру св. Марфу, впавшую в детство, и сестру св. Михаилу — всех смешил ее длинный нос.

Все эти женщины относились кротко к детям. Они были суровы только к самим себе. Печи топились лишь в пансионе, а пища воспитанниц, по сравнению с монашеской, была изысканной. И сверх всего этого — бесконечные попечения о них. Но если ребенок, проходя мимо монахини, заговаривал с ней, она никогда не отвечала.

Устав молчания привел к тому, что во всем монастыре дар слова отнят был у существ живых и передан предметам неодушевленным. То гудел церковный колокол, то звенел бубенчик садовника. Очень звонкий колокол, помещавшийся около привратницы и звучащий на весь дом, возвещал при помощи разнообразных звонов, словно некий акустический телеграф, о разных событиях повсе-

дневной жизни и призывал в приемную, по мере надобности, ту или иную обитательницу монастыря. Каждому человеку и каждому предмету был присвоен особый звук. Для настоятельницы — один и один удар; для ее помощницы — один и два. Шесть и пять ударов означали: «время итти в класс», и воспитанницы вместо «итти в класс» всегда говорили: «итти в шесть-пять». Четыре-четыре были звоном для г-жи де Жанлис. Он звучал очень часто. «Это бесовский звон для бесовки», — говорили пансионерки, не отличавшиеся милосердием. Девятнадцать ударов возвещали о важном событии: это означало, что распахивалась настежь «монастырская дверь» — ужасная железная доска, вся ошетиненная засовами, которая поворачивалась на своих петлях только перед особой архиепископа.

Кроме него, а также садовника, как мы уже говорили, ни один мужчина не имел доступа в монастырь. Впрочем, пансионерки видели еще двух мужчин: один из них — священник, старый и безобразный аббат Банес, которым они могли любоваться сквозь решетку клироса; другой — учитель рисования, г-н Ансио, упомянутый в вышеприведенном письме как «ужасный старый горбун Ансьошка».

Отсюда явствует, что все мужчины были подобраны тщательно.

Такова была эта любопытная обитель.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Post corda lapides*¹

Обрисовав внутренний облик монастыря, не лишне в нескольких словах описать и его наружный вид. О нем читатель уже имеет некоторое представление.

Сент-Антуанский монастырь Малый Пикпюс заполнял почти всю площадь обширной трапеции, образуемой пересечением улицы Полонсо, улицы Прямой стены, улочки Пикпюс и глухого переулка, носящего на старинных планах название улицы Омарэ. Эти четыре улицы окружали трапецию, подобно рву. Монастырь состоял из нескольких

¹ После сердец — о камнях (лат.).

зданий и сада. Главный корпус здания, взятый в целом, представлял собою группу строений смешанного характера, которые с высоты птичьего полета довольно точно воспроизводили очертания виселицы, положенной наземь плашмя. Столб виселицы тянулся вдоль того отрезка улицы Прямой стены, который находился между улочкой Пикпюс и улицей Полонсо; перекладину же заменял высокий, строгий серый фасад за решеткой, выходящий на улочку Пикпюс; ворота № 62 помещались в конце этой перекладины. У середины фасада находились другие, низкие, побелевшие от слоя пыли и золы, ворота, под сводом которых пауки ткали паутину; ворота эти отпирались на час или на два по воскресеньям и в тех редких случаях, когда из обители выносили гроб с умершей монахиней. Это был вход в церковь для мирян. Угол, образуемый столбом и перекладиной, занимала квадратная зала, служившая буфетной, которую воспитанницы прозвали «кладовкой». В столбе виселицы помещались кельи матерей, сестер и послушниц. В перекладине — кухни, трапезная, бывшая филиалом монастырской, и церковь. Между воротами под № 62 и углом тупика Омарэ находился пансион, который был незаметен снаружи. Остальную часть трапеции занимал сад, уровень которого был значительно ниже улицы Полонсо, вследствие чего его стены с внутренней стороны оказывались еще выше, чем с внешней. На середине сада возвышался пригорок; на самой верхушке пригорка росла прекрасная остроконечная конусообразная ель, от которой, словно от наверхья щита, расходились четыре больших аллеи и восемь маленьких, расположенных попарно между разветвлениями больших так, что, будь этот сад круглым, геометрический план аллей представлял бы тогда крест, положенный на колесо. Все аллеи, примыкавшие к крайне неправильной линии садовых стен, были разной длины. Их окаймляли смородинные кусты. В глубине сада, от развалин старого монастыря, помещавшегося на углу улицы Прямой стены, и до здания малого монастыря на углу переулочка Омарэ, тянулась аллея тополей. Перед малым монастырем находился так называемый «малый сад». Прибавьте ко всему этому двор, разнообразные углы, образуемые внутренними строениями, тюремные стены, а вместо всякого соседства, вместо всякой перспективы — длинную черную линию крыш, окаи-

млявшую противоположную сторону улицы Полонсо, — и вы получите довольно точное представление о том, каков был сорок пять лет тому назад монастырь бернардинок Малого Пикпюса. Эта обитель построена как раз на том месте, где с четырнадцатого и до шестнадцатого века находилось помещение со знаменитым залом для игры в мяч, прозванное «вертепом одиннадцати тысяч чертей».

Все эти улицы принадлежали к числу самых старинных в Париже. Названия — Прямая стена и Омарэ — очень давние, а улицы, носящие их, еще старше. Тупик Омарэ назывался тупиком Мальгу; улица Прямая стена называлась улицей Шиповника, ибо господь стал растить цветы много раньше, чем человек стал тесать камень.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сто лет под апостольником

Теперь, когда мы ознакомились в подробностях с тем, что собою представлял монастырь Малый Пикпюс в прошлом, и осмелились бросить взгляд внутрь этого ревниво охраняющего свою тайну убежища, да позволит нам читатель еще одно небольшое отступление, не относящееся к сути этой книги, но характерное и полезное в том смысле, что оно показывает, с какими своеобразными личностями можно было встретиться в самой обители.

В малом монастыре жила столетняя старуха, поступившая туда из аббатства Фонтевро. До революции она даже принадлежала к светскому обществу. Она часто рассказывала о г-не Миромениле, хранителе печати при Людовике XVI, и о г-же Дюпла, супруге председателя суда, с которой была близко знакома. Поминая то и дело этих людей, она испытывала удовольствие и чувство удовлетворенного тщеславия. Об аббатстве Фонтевро она рассказывала всевозможные чудеса: будто оно похоже было на город и будто в монастыре были проложены настоящие улицы.

Она говорила на пикардийском наречии, что очень забавляло воспитанниц. Всякий год она торжественно возобновляла свои обеты и, прежде чем произнести их, говорила священнику: «Монсеньор святой Франсуа вру-

чил свой обет монсеньору святому Евсевию, монсеньор святой Евсевий — монсеньору святому Прокопию... и т. д., и т. д., а мой я вручаю вам, пресвятой отец». И воспитанницы смеялись исподтишка, или, вернее, из-под покрывала, прелестным сдержанным смешком, заставлявшим матерей-изборщиц хмурить брови.

Иногда эта столетняя монахиня рассказывала разные истории. Она утверждала, что во времена ее молодости «бернардинцы не уступали мушкетерам». Ее устами говорил целый век, но век восемнадцатый. Она рассказывала об обычае «четырех вин», существовавшем до революции в Шампани и Бургундии. Когда какое-нибудь именитое лицо — маршал Франции, принц, герцог или пэр — проезжало через один из городов Шампани или Бургундии, то городской совет выходил его приветствовать и подносил в четырех серебряных чашах в виде ладьи четыре различных сорта вина. На первом кубке красовалась надпись: «обезьянье вино», на втором — «львиное вино», на третьем — «баранье вино» и на четвертом — «свиное вино». Эти четыре надписи обозначали четыре ступени, по которым спускается пьяница. Первая ступень опьянения веселит, вторая — раздражает; третья — оглуляет; наконец четвертая — оскотинивает.

Она хранила у себя в шкафу под ключом какой-то таинственный предмет, которым очень дорожила. Устав аббатства Фонтевро не воспрещал этого. Она никому не хотела его показывать. Она запиралась у себя, что также не было воспрещено уставом, когда желала им тайком полюбоваться. Лишь только раздавался звук чьих-нибудь шагов в коридоре, она запирала шкаф с поспешностью, на какую только были способны ее дряхлые руки. Стоило кому-нибудь заговорить с ней об этом, как она, обычно такая болтливая, тотчас же умолкала. Самые любопытные не в силах были сломить ее молчание, а самые настойчивые отступали перед ее упорством. Это, разумеется, давало пищу для пересудов всем праздным или скучающим обитательницам монастыря. Что ж это был за предмет, столь драгоценный и столь таинственный, — предмет, являвшийся сокровищем столетней старухи? Может быть, какая-нибудь священная книга? Редкостные четки? Чудодейственные мощи? Все терялись в догадках. Когда бедная старушка умерла, то бросились к шкафу, быть может

поспешнее, чем то позволяло приличие, и отперли его. Предмет этот нашли завернутым в тройной полотняный покров, как освященный дискос. Это оказалось фаэнцское блюдо, на котором изображены были улетающие амур, преследуемые аптекарскими учениками с огромными клистирными трубками. Эта сцена преследования изобиловала всякими гротескными гримасами и комическими позами. Например, один из очаровательных маленьких амуров уже попался; он отбивается, трепещет маленькими крылышками и пытается взлететь, но клистирщик хохочет сатанинским смехом. Мораль: любовь, побежденная резью в желудке! Это блюдо, кстати, чрезвычайно интересное и, быть может, вдохновившее Мольера, существовало еще в сентябре 1845 года: оно продавалось у антиквара на бульваре Бомарше.

Добрая старушка не желала, чтобы ее посещали миряне, «потому что приемная слишком мрачна», — говорила она.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Происхождение «неустанного поклонения»

Впрочем, эта почти загробная приемная, о которой мы старались дать некоторое понятие, — явление местное, оно не повторяется с тою же строгостью в других монастырях. В частности, на улице Тампл, в монастыре, принадлежавшем, правда, другому ордену, вместо черных ставен были кофейного цвета шторы, а сама приемная представляла собой гостиную с паркетным полом и окнами, на которых висели белые кисейные занавески; на стенах красовались различные картины — например, портрет бенедиктинки с открытым лицом, букеты цветов и даже изображение головы турка.

В монастырском саду на улице Тампл рос знаменитый индийский каштан, слывший самым красивым и высоким во Франции. В восемнадцатом веке его называли патриархом всех каштановых деревьев королевства.

Мы уже говорили, что монастырь на улице Тампл был занят бенедиктинками ордена Неустанного поклонения, совершенно отличными от тех, которые были подчинены цистерьянцам. Этот орден Неустанного покло-

нения не принадлежит к числу очень древних, он насчитывает всего двести лет. В 1649 году святые дары на протяжении нескольких дней были дважды осквернены в двух храмах Парижа: Сен-Сюльпис и Сен-Жан-ан-Грев — неслыханное и страшное святотатство, взволновавшее весь город. Старший викарий, он же настоятель монастыря Сен-Жермен-де-Пре, назначил торжественный крестный ход всего духовенства обители, причем богослужение совершал папский нунций. Но этот искупительный обряд не удовлетворил двух достойных женщин — г-жу Куртен, маркизу де Бук, и графиню Шатовье. Оскорбление, нанесенное «высокочтимой святыне алтаря», хотя и мимолетное, не изглаживалось из памяти этих двух благочестивых душ и, по их мнению, могло быть смыто лишь «неустанным поклонением» в какой-либо женской обители. Обе они, одна в 1652 году, другая в 1653, пожертвовали крупные суммы бенедиктинской монахини из конгрегации Святых даров, матери Катерине де Бар, на основание, с этой благочестивой целью, монастыря ордена св. Бенедикта. Первое разрешение основать такой монастырь было дано Катерине де Бар г-ном де Мец, аббатом Сен-Жерменским, с тем, чтобы ни одна из девиц не принималась в него иначе, как при условии уплаты трехсот ливров в год за содержание, которые являлись бы доходом с шести тысяч ливров основного взноса. Вслед за аббатом Сен-Жерменским король дал жалованную грамоту, а все вместе — аббатская хартия и королевская грамота — было в 1654 году утверждено счетной палатой и парламентом.

Таково происхождение узаконенной церковью и государством парижской конгрегации бенедиктинок «Неустанного поклонения святым дарам». Их первый монастырь был «заново воздвигнут» в улице Кассет на средства г-жи де Бук и г-жи Шатовье.

Этот орден, как мы видим, не имел ничего общего с орденом бенедиктинок Сито, именовавшихся цистерьянками. Он находился под главенством аббата Сен-Жермен-де-Пре, подобно тому, как монахини ордена Сердце Иисусово подчинялись генералу ордена иезуитов, а монахини ордена Милосердие — генералу ордена лазаристов.

Он нисколько не походил и на общину бернардинок Малого Пикпюса, внутреннюю жизнь которой мы только что описали. В 1657 году Папа Александр VII особой гра-

мотой разрешил бернардинкам Малого Пикпюса неустанное поклонение, по примеру бенедиктинок ордена Святых даров. Но тем не менее оба ордена сохранили за собой все присущие им особенности.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Конец Малого Пикпюса

С самого начала Реставрации монастырь Малый Пикпюс стал хиреть, что было одним из проявлений общего упадка ордена, который после восемнадцатого века сошел на-нет, как и все монашеские ордена той эпохи. Созерцание, как и молитва — потребность человечества; но, подобно всему, чего коснулась революция, оно преобразится и из враждебного станет благоприятствующим прогрессу.

Монастырь Малый Пикпюс быстро обезлюдел. В 1840 году малый монастырь исчез, пансион исчез также. Уже не было там больше ни дряхлых старух, ни юных девушек. Первые умерли, вторые рассеялись. *Volaverunt*¹.

Устав конгрегации Неустанного поклонения настолько суров, что отпугивает всех; все меньше и меньше желающих принять постриг; орден не пополняется. В 1845 году еще находились охотницы итти в сестры-послушницы, но в монахини-клирошанки — ни одной. Сорок лет тому назад монахинь было более ста; пятнадцать лет тому назад их осталось всего двадцать восемь. Сколько их теперь? В 1847 году настоятельница была молодая — признак того, что выбор суживался. Ей не было и сорока лет. С уменьшением числа монахинь возрастает тяжесть искуса, обязанности каждой становятся все более непосильными; недалек уже момент, когда останется не более двенадцати согбенных и измученных спин, способных нести тяжкий крест устава св. Бенедикта. Это бремя неумолимо и остается неизменным вне зависимости от того, мало их или много. Прежде оно угнетало, теперь оно сокрушало. И монахини стали умирать. В то время, когда автор этой книги жил в Париже, умерли две монахини. Одной было двадцать пять лет, другой двадцать три. Последняя могла сказать о себе, как Юлия Альпинула: «*Nic jaseo. Vixi*

¹ Улетели (лат.).

annos viginti et tres»¹. По причине этого упадка монастырь и отказался от воспитания девушек.

Мы не в силах были пройти мимо этого своеобразного неизвестного темного дома, чтобы не проникнуть в него и не ввести туда всех, кто следует за нами, внимая, быть может, не без пользы для себя, грустной истории Жана Вальжана, которую мы рассказываем. Мы вошли в эту обитель, сохранившую древние обряды, которые ныне представляются нам столь новыми. Это запертый сад. Hortus conclusus. Мы рассказали об этом странном месте подробно, но с уважением, — с тем уважением по крайней мере, которое совместимо с подробным рассказом. Мы понимаем не все, но мы ничего не хулим. Мы одинаково далеки как от осанны Жозефа де Местра, дошедшего до прославления палача, так и от насмешки Вольтера, шутившего даже над распятием.

Заметим, между прочим, что со стороны Вольтера это не логично, ибо он защищал бы Иисуса, как защищал Жана Каласа; даже для тех, кто отрицает воплощение божества, — что представляет собой распятие? Убийение праведника.

В девятнадцатом веке религиозная идея переживает кризис. Люди от многого отучаются, и хорошо делают, — лишь бы, отучившись от одного, научились бы другому. Сердце человеческое не должно пустовать. Происходит известное разрушение, и пусть происходит, — но при условии, чтобы оно сопровождалось созиданием.

А пока изучим те явления, которых не существует более. С ними необходимо ознакомиться хотя бы для того только, чтобы их избежать. Подделки прошлого принимают чужое имя и охотно выдают себя за будущее. Прошлое, это привидение, способно подчистить свой паспорт. Остережемся ловушки. Будем начеку! У прошлого свое лицо — суеверие и своя маска — лицемерие. Откроем же это лицо, сорвем с него маску.

Что касается монастырей, то это вопрос сложный. Цивилизация осуждает их, а свобода защищает.

¹ «Здесь я покоюсь Прожила я двадцать три года» (лат).

Книга седьмая

В СКОБКАХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Монастырь как отвлеченное понятие

Эта книга — драма, в которой главное действующее лицо — бесконечность.

Человек в ней лицо второстепенное.

Посему, встретив на пути своем монастырь, мы проникли в него. Зачем? Потому что монастырь — достояние как Востока, так и Запада, как мира древнего, так и мира современного, как язычества, буддизма, магометанства, так и христианства — является одним из оптических приборов, применяемых человеком для познания бесконечности.

Здесь отнюдь не место слишком подробно развивать некоторые идеи. Однакоже, нисколько не поступаясь нашей сдержанностью, нашими мысленными оговорками и даже нашим негодованием, мы должны признаться, что всякий раз, когда мы встречаем в человеке стремление к бесконечности, хорошо ли, дурно ли понятой, мы чувствуем к нему уважение. В синагоге, в мечети, в пагоде, в вигваме есть сторона отвратительная, которой мы гнушаемся, и есть сторона величественная, которую мы почитаем. Какой предмет для созерцания, для глубоких дум — это отражение бога на экране, которым служит ему человечество!

С точки зрения истории, разума и истины, монашество подлежит осуждению.

Монастыри, в изобилии расплодившиеся у какой-нибудь нации и загромаждающие страну, являются помехами для движения и средоточиями праздности там, где надлежит быть средоточиям труда. Монашеские общины по отношению к великим общинам социальным — это то же, что омела по отношению к дубу или бородавка — к телу человека. Их процветание и благоденствие означает обнищание страны. Монастырский уклад, полезный в младенческую пору цивилизации, смягчающий своим духовным воздействием грубость нравов, вреден в период возмужалости народов. Кроме того, с появлением в обителях распущенности, в период их упадка, уклад этот, поскольку он все еще продолжает служить примером, становится пагубным по тем же причинам, по которым был благотворным в период его чистоты.

Затворничество отжило свое время. Монастыри, полезные во времена появления современной цивилизации, препятствовали дальнейшему ее росту и стали губительны для ее развития. Как институты, как способ формирования человека, эти монастыри, благотворные в десятом веке, спорные в пятнадцатом, отвратительны в девятнадцатом. Монашеская проказа разъела почти до костей две прекрасных нации — Италию и Испанию, олицетворявших одна — светоч, другая — великолепие Европы в течение ряда веков. И если в современную нам эпоху эти две прославленные нации начинают излечиваться, то лишь благодаря целительной и здоровой гигиене 1789 года.

Обитель, старинная обитель, особенно женская, в том виде, в каком мы находим ее еще на рубеже нашего столетия в Италии, Австрии, Испании, является одним из самых мрачных воплощений средних веков. Подобный монастырь — средоточие всех ужасов. Монастырь католический, в подлинном значении этого слова, — залит злоеющим сиянием смерти.

Особенно мрачен испанский монастырь. Там, в темноте, под сводами, полными мглы, под куполами, тонущими в мути теней, громоздятся массивные исполинские

алтари, высокие, как соборы; там, в потемках, свисают на цепях огромные белые распятия; там вытягиваются на черном дереве большие нагие Иисусы из слоновой кости, окровавленные, более того, — кровоточащие, безобразные и в то же время великолепные, с обнажившимися на локтях костями, с содранной на коленях кожей, с открытыми ранами, увенчанные серебряными терниями, пригвожденные золотыми гвоздями, с рубиновыми каплями крови на лбу и алмазными слезами в глазах. Эти алмазы и рубины кажутся влажными и заставляют рыдать у подножия распятия существа, окутанные покрывалами, у которых тело истерзано власяницей и плетью с железными наконечниками, грудь сдавлена плетением из ивовых прутьев, колени изранены от стояний на молитве. То женщины, которые мнят себя супругами Христовыми; призраки, которые мнят себя серафимами. Мыслят ли эти женщины? Нет. Есть ли у них желания? Нет. Любят ли они? Нет. Живут ли они? Нет. Их нервы превратились в кость; их кости превратились в камень. Их покрывала сотканы из ночи. Их дыхание под покрывалами подобно какому-то трагическому веянию смерти. Игуменья, кажущаяся привидением, и благословляет их, и держит их в трепете. Здесь бдит непорочность во всей своей свирепости. Таковы старинные испанские монастыри. Гнездилища грозного благочестия; вертепы девственниц; дикие места.

Католическая Испания была более римской, чем самый Рим. Испанский монастырь был по преимуществу монастырем католическим. В нем чувствовался Восток. Архиепископ, небесный кизляр-ага, шпионил за этим сералем душ, уготованных для бога, и держал его на запоре. Монахиня была одалиской, священник — евнухом. Наиболее ревностные в вере становились во сне избранницами и супругами Христа. Ночью прекрасный юноша сходил нагой с креста и повергал в экстаз келью. Высокие стены охраняли от всех впечатлений живой жизни мистическую султаншу, которой распятый заменял султана. Единственный взгляд, брошенный на внешний мир, почитался изменой. *In-rase*¹ заменяло собой кожаный мешок. То, что на Востоке кидали в море, на Западе бросали в недра земные. И там и тут женщины ломали себе руки; на

¹ Подземная темница пожизненного заключения (лат.).

долю одних — волны, на долю других — могила; там утопленницы, здесь — погребенные. Чудовищная параллель!

Ныне защитники старины, не будучи в состоянии отрицать эти факты, отделиваются усмешкой. В моду вошла удобная и своеобразная манера устранять разоблачения истории, уничтожать комментарии философии и обходить все щекотливые факты и мрачные вопросы. «Предлог для пышных фраз», — говорят люди ловкие. «Это пышные фразы», — вторят им простаки. Жан-Жак — фразер; Дидро — фразер; Вольтер, защищавший Каласа, Лабара и Сирвена, — фразер. Некто — кто именно, не помню — недавно доказывал, что Тацит был фразером, что Нерон — жертва и что решительно надо пожалеть «этого бедного Олоферна».

А факты между тем не легко сбить с толку, они упорны. Автор этой книги собственными глазами видел в восьми лье от Брюсселя, — вот подлинное средневековье, имеющееся под рукой у всех у нас, — в аббатстве Вилье, ямы от «каменных мешков» среди луга, который когда-то был монастырским двором, а на берегу Диля — четыре каменных темницы, наполовину под землей, наполовину под водой. Это были *in-rase*. В каждой из таких темниц целы остатки железной двери, отхожее место и зарешеченное оконце, которое с наружной стороны находится в двух футах от воды, а с внутренней — в шести футах от земли. Река протекает вдоль стен на высоте четырех футов. Пол в темнице всегда мокрый. Эта мокрая земля заменяла ложе заключенному в *in-rase*. В одной из таких темниц сохранился обломок железного ошейника, вделанного в стену; в другой — подобие квадратного ящика из четырех кусков гранита, — ящика, слишком короткого, чтобы в нем можно было лежать, слишком низкого, чтобы в нем можно было стоять. В него помещали живое существо, прикрывая гранитной крышкой. Так было. Это можно видеть. Можно осязать. Эти *in-rase*, эти темницы, эти железные крючья, эти ошейники, это высоко прорезанное слуховое окно, в уровень с которым протекает река, этот каменный ящик, прикрытый гранитной плитой, словно могила, с той только разницей, что здесь мертвецом был живой человек, эта грязь, заменяющая пол, эта дыра отхожее места, эта стена, сквозь которую просачивается вода! Каковы фразеры!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

При каких условиях можно уважать прошлое

Монашество в том виде, в каком оно существовало в Испании, и в том виде, в каком до сих пор еще существует в Тибете, — род чухотки для цивилизации. Оно совершенно останавливает жизнь. Оно просто-напросто опустошает страну. Монастырское заточение — оскотление. Оно было бичом Европы. Добавьте к этому насилие, так часто применяемое над совестью, принудительное пострижение, феодальный строй, опирающийся на монастырь, право первородства, разрешающее старшим отсылать в монастыри младших членов слишком больших семей, те жестокости, о которых мы только что упоминали, in-race, замкнутые уста, заточенные мысли, такое множество несчастных душ, брошенных в темницу монашеских обетов, принятие схимы, погребение заживо. Добавьте к захирению всей нации муки этих людей, и, кто бы вы ни были, вы содрогнетесь перед рясой и покрывалом, этими двумя саванами, изобретенными человечеством.

Однакоже, вопреки философии, вопреки прогрессу, в некоторых местах и в некоторых отношениях дух монашества стойко держится в самый разгар девятнадцатого века, и непонятное усиление аскетизма изумляет в настоящее время цивилизованный мир. Упорное желание отживших установлений продлить свою жизнь похоже на назойливость затхлых духов, которые требовали бы, чтобы мы все еще душили ими наши волосы, на притязание испорченной рыбы, которая захотела бы, чтобы ее съели, на надоедливые просьбы детского платья, которое пожелало бы, чтобы его носил взрослый, и на нежность покойника, который бы вернулся на землю, чтобы обнимать живых.

«Неблагодарный! — говорит одежда. — Я прикрывала вас в непогоду, почему же теперь я вам больше не нужна?» — «Я родилась в морском просторе», — говорит рыба. «Мы были розой», — твердят духи. «Я любил вас», — говорит покойник. «Я просвещал вас», — говорит монастырь.

На это есть один ответ: «То было когда-то».

Мечтать о бесконечном продлении того, что истлело, и об управлении людьми с помощью этого забальзамированного тлена, укреплять расшатавшиеся догматы, освежать позолотой раки, подновлять монастыри, вновь освящать ковчеги с мощами, восстанавливать суеверия, подкармливать фанатизм, приделывать новые ручки к копиям и рукоятки к шпагам, возрождать монашество и милитаризм, веровать в возможность спасти общество путем размножения паразитов, навязывать прошлое настоящему — все это кажется странным. Однако находятся теоретики, развивающие подобные теории. Эти теоретики, впрочем, люди умные, применяют весьма простой прием: они покрывают прошлое штукатуркой, которую именуют общественным порядком, божественным правом, моралью, семьей, уважением к предкам, авторитетом веков, священной традицией, законностью, религией и шествуют, крича: «Вот вам, получайте, добрые люди!» Но подобная логика была знакома еще древним. Ее применяли аруспиции. Они натирали мелом черную телку и заявляли: «Она белая». *Vos cretatus*¹. Что касается нас, то мы в иных случаях почитаем прошлое, щадим его всюду, лишь бы оно соглашалось мирно покоем в могиле. Если же оно упорно хочет восстать из мертвых, мы нападаем на него и стараемся убить.

Суеверия, ханжество, пустосвятство, предрассудки — эти призраки, несмотря на всю свою призрачность, цепляются за жизнь: они зубасты и когтисты, хоть и эфемерны; с ними надо вступить в рукопашную и воевать с ними, не давая им передышки, ибо одним из роковых предназначений человечества является вечная борьба с привидениями. Трудно схватить за горло тень и повергнуть ее наземь.

Монастырь во Франции, в середине девятнадцатого века — это сборище сов среди бела дня. Монастырь, открыто исповедующий аскетизм в центре города, пережившего 1789, 1830 и 1848 годы, этот Рим, пышно распустившийся в Париже, — настоящий анахронизм. В обычное время, чтобы обнаружить анахронизм и заставить его исчезнуть, надо только разобраться в годе его чеканки. Но мы живем не в обычное время.

¹ Набеленный мелом бык (лат.) Ювенал (Сатира 10).

Будем бороться!

Будем бороться, но осмотрительно. Свойство истины — никогда не преувеличивать. Ей нет в этом нужды! Существует нечто, подлежащее уничтожению, иное же надо только осветить и в нем разобраться. Великая сила таится в благожелательном и серьезном изучении предмета! Не надо языков пламени там, где достаточно простого луча.

Итак, живя в девятнадцатом веке, мы вообще относимся враждебно к аскетическому затворничеству, у каких бы народов оно ни существовало, будь то в Азии или в Европе, в Индии или в Турции. Кто говорит: «монастырь» — говорит: «болото». Их способность к загниванию очевидна, их стоячие воды вредоносны, их брожение заражает лихорадкой и изнуряет народы; их размножение становится казнью египетской. Мы без ужаса не можем помыслить о тех странах, где кишат, как черви, всевозможные факиры, бонзы, мусульманские монахи-отшельники, калугеры, марабуты, буддистские священники и дервиши.

И все же религиозный вопрос существует. В нем есть таинственные, почти грозные стороны. Да будет нам дозволено взглянуть в них пристальней.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Монастырь с точки зрения принципов

Люди собираются и живут сообща. В силу какого права? По праву объединения.

Они запираются у себя. В силу какого права? По праву каждого человека отворять или запирать свою дверь.

Они не покидают своих четырех стен. В силу какого права? По праву свободного передвижения, включающего также право оставаться у себя.

Но что делают они там, у себя?

Они говорят шопотом; они опускают глаза долу; они работают. Они отрекаются от мира, от городов, от чувственных наслаждений, от удовольствий, от суетности, от гордыни, от корысти. Они облачены в грубую шерсть или

грубый холст. Никто из них не владеет никакой собственностью. Вступая в подобную общину, богатый становится бедным. То, чем он владеет, он отдает всем. Тот, кто был так называемого благородного происхождения, дворянин, вельможа, равен теперь простому крестьянину. Келья одна и та же для всех. Все подвергаются тому же обряду пострижения, носят одинаковые рясы, едят тот же черный хлеб, спят на той же соломе, на одинаковом пепле умирают. То же вретище на спине, то же вервие вокруг чресел. Если положено ходить босыми, все ходят босые. Среди них может быть князь, но и князь — такая же тень, как и другие. Титулов больше нет. Даже фамилии исчезают. Остаются лишь имена. Крестное имя равняет всех. Люди отторгаются от семьи кровной и создают в своей общине семью духовную. У них нет иной родни, кроме всего человечества. Они помогают бедным, ухаживают за больными. Они сами избирают тех, кому повинуются. Они называют друг друга «брат».

Вы прерываете меня, восклицая: «Но ведь это идеальный монастырь!»

Да, если бы такой монастырь существовал, я должен был бы принять его в расчет.

Потому-то в предыдущих главах книги я говорил об одном монастыре с почтением. Если забыть о средних веках, забыть об Азии, отложить до другого времени вопросы исторический и политический, то, с точки зрения чистой философии, оставляя в стороне требования воинствующей политики, я, при условии совершенно добровольного пострижения и пребывания в монастыре, всегда готов относиться к общинному началу монашества с известного рода вдумчивой, а в некоторых отношениях даже и с благожелательной серьезностью. Где налицо община — там коммуна; где налицо коммуна — там право. Монастырь является продуктом формулы: Равенство, Братство. О величие свободы! Какое блистательное преобразование! Достаточно одной свободы, чтобы монастырь превратить в республику.

Продолжаем.

Эти мужчины или эти женщины, заключенные в четырех стенах, носят грубые рясы, они все равны, они зовут друг друга братьями, все это так; но ведь они еще что-то делают?

Да.

Что же?

Они устремляют взор во мрак, становятся на колени и складывают руки.

Что это означает?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Молитва

Они молятся.

Кому?

Богу.

Молиться богу — что это значит?

Существует ли какая-нибудь бесконечность вне нас? Едина ли она, перманентна, имманентна ли? Непременно ли субстанциональна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она ограниченной там, вне нас, не обладая субстанцией? Непременно ли разумна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она конечной там, вне нас, не обладая разумом? Пробуждает ли в нас эта бесконечность идею сущности мироздания, в то время как мы самим себе можем приписать только идею личного существования? Иными словами, не является ли она абсолютным понятием, по отношению к которому мы — лишь понятие относительное?

И нет ли, одновременно с бесконечностью вне нас, другой бесконечности, внутри нас самих? Не наслаиваются ли эти две бесконечности (какое страшное множественное число!) друг на друга? Не лежит ли, так сказать, эта вторая бесконечность под первой? Не является ли она зеркалом, отражением, отголоском, бездной, имеющей общий центр с другой бездной? Обладает ли эта вторая бесконечность разумом, как первая? Мыслит ли она? Любит ли? Желает ли? Если эти обе бесконечности одарены разумом, то у каждой из них есть волевое начало, и есть свое «я» как в высшей, так и в низшей бесконечности. Это низшее «я» — душа; это высшее «я» — бог.

Мысленно приводить в соприкосновение низшую бесконечность с высшей и значит молиться.

Не будем ничего оспаривать у человеческого духа; упразднить — дурно. Следует преобразовывать и преображать. Некоторые способности человека направлены к Неведомому: мысль, мечта, молитва. Неведомое — это океан. Что такое сознание? Это компас в Неведомом. Мысль, мечта, молитва — могучее свечение тайны. Будем уважать их. К чему тяготеет это величественное лучеиспускание души? К мраку; то есть к свету.

Величие демократии заключается в том, чтобы ничего не отвергать, ничего не отрицать у человечества. Наряду с правом Человека — по меньшей мере, возле него — стоит право Души.

Сокрушить фанатизм и благоговеть перед бесконечным — таков закон. Не будем ограничиваться тем, что, коленопреклоненные перед древом мироздания, мы созерцаем его несметные разветвления, униженные светилами. У нас есть долг: трудиться над душой человеческой, защищать тайное от чудесного, чтить непостижимое и отвергать нелепое, допускать в области необъяснимого лишь необходимое, оздоравливать верования, освобождать религию от суеверий; уничтожать все, что паразитирует во имя бога.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Неоспоримая благодать молитвы

Что же до способа молиться, то хорош всякий, лишь бы молитва была от души. Переверните ваш требник вверх ногами и слейтесь с бесконечностью.

Мы знаем, что существует философия, отрицающая бесконечность. Существует также философия, отрицающая солнце; эту философию, относящуюся к области патологии, именуют слепотой.

Возводить недостающее нам чувство в источник истины — на это способна лишь дерзкая самоуверенность слепца.

Любопытны те замашки высокомерия, превосходства и снисхождения, которые эта бредущая ощупью философия усваивает по отношению к философии, зрящей бога. Она напоминает крота, восклицającego: «Как они жалки со своим солнцем!»

Мы знаем, что есть прославленные, мудрые атеисты. Приведенные к познанию истины самой своей мудростью, они, в глубине души, не слишком уверены в собственном атеизме; остается лишь дать им другое название. Но во всяком случае, если они и не верят в бога, то уже само величие их разума подтверждает существование бога.

Мы приветствуем в них философов, неумолимо осуждая их философию.

Продолжаем.

Достойна восхищения и та легкость, с какою иные отделяются словами. Одна северная школа метафизики, отличающаяся некоторой туманностью, вообразила, что произвела переворот в человеческих умах, заменив слово «сила» словом «воля».

Сказать: «растение хочет», вместо того чтобы сказать «растение произрастает», было бы действительно очень плодотворно, если бы добавляли: «вселенная хочет». Почему? Потому что вывод был бы такой: растение хочет, значит у него есть свое «я», вселенная хочет, значит у нее есть свой бог.

Что же касается нас, то хотя мы, в противоположность этой школе, и ничего не отмечаем а priori¹, все же при сутствие воли в растении, признаваемое этой школой, нам труднее допустить, нежели присутствие воли во вселенной, ею отрицаемое.

Отрицать волю бесконечности, то есть волю бога, возможно лишь при условии отрицания бесконечности. Мы это доказали.

Отрицание бесконечности ведет непосредственно к нигилизму. Все становится «измышлением разума».

Всякий спор с нигилизмом бесполезен. Ибо нигилист, если он логичен, сомневается в существовании своего собеседника и не совсем уверен в собственном существовании.

С его точки зрения допустимо, что он сам для себя — «измышление разума».

Однако он не замечает того, что все, отрицавшееся им, принимается им же в совокупности, как только он произносит слово «разум».

¹ Заранее, независимо от опыта (лат.).

Словом, всякий путь для мысли закрыт той философией, которая сводит все к односложному «нет».

На «нет» есть лишь один ответ: «да».

Нигилизм заводит в тупик.

Небытия нет. Нуля не существует. Все представляет собой нечто. Ничто — есть что-то.

Человек живет утверждением еще более, чем хлебом.

Видеть и показывать — недостаточно. Философия должна быть действенной; ее стремлением и целью должно быть совершенствование человека. Сократ должен воплотиться в Адама и воспроизвести Марка Аврелия, другими словами — должен выявить в человеке-жизнелюбце человека-мудреца, заменить Эдем аристотелевым Ликеем. Наука должна быть живительным средством. Наслаждаться — какая жалкая цель и какое суетное тщеславие! Наслаждается и скот. Мыслить — вот подлинное торжество души. Протянуть жаждущему человечеству чашу мышления, дать всем людям в качестве эликсира познание бога, заставить в их душах совесть побрататься со знанием, сделать их справедливыми в силу этого таинственного союза, — таково назначение реальной философии. Нравственность — это цветение истин. Созерцание приводит к действию. Абсолютное должно быть целесообразным. Надо, чтобы идеал можно было вдыхать, впивать, надо, чтобы он стал удобоварим для ума человеческого. Именно идеал и вправе сказать: «Примите, ядите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Мудрость — это святое причастие. Лишь при этом условии она перестает быть бесплодной любовью к науке, и, став единственным и главным средством объединения людей, она из философии превращается в религию.

Философия не должна быть башней, воздвигнутой для того, чтобы созерцать оттуда тайну в свое удовольствие и ради одного только любопытства.

Мы же, откладывая подробное развитие нашей мысли до другого случая, лишь скажем: нам непонятны ни человек как точка отправления, ни прогресс как цель без двух движущих сил — веры и любви.

Прогресс есть цель, идеал есть образец.

Что такое идеал? Это бог.

Идеал, абсолют, совершенство, бесконечность — слова тождественные.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Порицать следует с осторожностью

На истории и философии лежат обязанности, вечные и в то же время простые; бороться против Кайафы-первосвященника, против Дракона-судьи, против Тримальхиона-законодателя, против Тиверия-императора, — все это ясно, определено, четко и ничего туманного в себе не содержит. Но право жить обособленно, при всех неудобствах и злоупотреблениях, связанных с этим, требует признания и пощады. Отшельничество — проблема чисто человеческая.

Говоря о монастырях, этих местах заблуждения, но вместе с тем и непорочности, самообмана, но и добрых намерений, невежества, но и самоотвержения, мучений, но и мученичества, следует почти всегда и допускать их, и отвергать.

Монастырь — противоречие. Его цель — спасение; средство — жертва. Монастырь — это предельный эгоизм, искупаемый предельным самоотречением.

Отречься, чтобы властвовать, — вот, повидимому, девиз монашества.

В монастыре страдают, чтобы наслаждаться. Выдают вексель, по которому платить должна смерть. Ценой земного мрака покупают лучезарный небесный свет. Принимают ад, как залог райского блаженства.

Пострижение в иноки или инокини — самоубийство, вознаграждаемое вечной жизнью.

По-нашему, тут насмешки неуместны. Здесь все серьезно: и добро и зло.

Человек справедливый нахмурится, но никогда не позволит себе язвительной улыбки. Нам понятен гнев, но не злоба.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вера, закон

Еще несколько слов.

Мы осуждаем церковь, когда она преисполнена козней, мы презираем хранителей даров духовных, когда они

алчут даров мирских; но мы всюду чтим того, кто погружен в размышление.

Мы приветствуем тех, кто преклоняет колени.

Вера! Вот что необходимо человеку. Горе не верующему ни во что!

Быть погруженным в созерцание не значит быть праздным. Есть труд видимый, и есть труд невидимый.

Созерцать — все равно что трудиться; мыслить — все равно что действовать. Руки, скрещенные на груди, — работают, сложенные пальцы — творят. Взгляд, устремленный к небесам, — деяние.

Фалес оставался четыре года неподвижным. Он заложил основы философии.

В наших глазах затворники — не праздные люди, отшельники — не тунеядцы.

Размышлять о Сокровенном — в этом есть величие.

Не отказываясь ни от чего сказанного нами выше, мы полагаем, что живым никогда не следует забывать о могиле. В этом вопросе и священник и философ сходятся. *Смерть неизбежна.* Аббат ордена трапистов переключается тут с Горацием.

Вкрапывать в свою жизнь мысль о смерти — правило для мудреца и правило для аскета. В этом и мудрец, и аскет согласны друг с другом.

Существует материальное развитие — и его мы хотим. Существует также нравственное величие — и к нему мы стремимся.

Легкомысленные и скорые на заключения люди говорят:

— Какой смысл в этих неподвижных фигурах, обращенных своей мыслью к тайне? Для чего они? Что они делают?

Увы! перед лицом той тьмы, которая окружает нас и ожидает нас, и в неведении того, во что превратит нас великий конечный распад, мы отвечаем: «Быть может, нет деяния выше того, что творят эти души». И добавляем: «Быть может, нет труда более полезного».

Нужны ведь людям вечные молеельщики за тех, кто никогда не молится.

По-нашему, весь вопрос в том, сколько мысли примешивается к молитве.

Молящийся Лейбниц — это величественно; Вольтер, поклоняющийся божеству, — это прекрасно. Deo egexit Voltaire ¹.

Мы стоим за религию против религий.

Мы принадлежим к числу тех, кто уверен в ничтожестве молитвословий и в возвышенности молитвы.

Впрочем, в переживаемое нами время, которое, к счастью, не наложит своего отпечатка на девятнадцатый век, — время, когда существует столько людей с низкими лбами и низменными душонками, когда столько людей возводят наслаждение в моральный принцип и поглощены скоропреходящими и отвратительными материальными благами, — всякий удаляющийся от мира заслуживает в наших глазах почета. Монастырь — отречение. Жертва, в основе которой лежит ошибка, все же жертва. Поставить себе долгом суровую ошибку — это не лишено высокого благородства.

Если взять истину и беспристрастно исследовать ее до конца, со всех сторон, то нельзя не признать, что монастырь, сам по себе и как отвлеченное понятие, бесспорно обладает некоторым величием. И особенно женская обитель, ибо в нашем обществе больше всего страдает женщина, а в этом добровольном уходе в иночество звучит протест.

Столь суровое и столь безотрадное монастырское существование, отдельные черты которого мы только что обрисовали, — не жизнь, ибо в нем нет свободы, и не могила, ибо в нем нет успокоения; это странное место, откуда, как с вершины высокой горы, по одну сторону видна бездна, где мы находимся, а по другую — бездна, где будем находиться. Это грань, узкая и туманная, разделяющая два мира, освещаемая и омрачаемая обоими одновременно, — здесь угасающий луч жизни сливается с мгlistым лучом смерти; это полумрак гробницы.

Мы же, не веруя в то, во что веруют эти женщины, но живя, как и они, верой, — мы никогда не могли смотреть без некоторого священного и нежного трепета, без страдания, смешанного с какой-то завистью, на эти самоотверженные существа, трепещущие и доверчивые, на эти смиренные и возвышенные уповающие души, осмеливающиеся

¹ Богу вознес молитву Вольтер (лат.).

жить на самом краю тайны, между миром, который замкнут для них, и небом, которое для них не отверсто. Обратившись душой к невидимому свету, обладая лишь счастьем думать, что им известно, где этот свет находится, ищущие бездны и неведомого, они вперяют взор в неподвижный мрак, коленопреклоненные, исступленные, изумленные, трепещущие, в иные часы полувознесенные могучим дуновением вечности.

КЛАДБИЩА БЕРУТ ТО, ЧТО ИМ ДАЮТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

где говорится о способе войти в монастырь

Именно в такую обитель Жан Вальжан и «упал с неба», как выразился Фошлеван.

Он перелез через садовую ограду, на углу улицы Полонсо. Этот гимн ангелов, донесшийся до него среди глухой ночи, был хор монахинь, певших утреню; эта зала, представшая перед ним во мраке, была часовня: этот призыв, который он увидел простертым на полу, была сестра, «совершающая искупление»; этот бубенчик, звук которого столь поразил его, был бубенчик садовника, привязанный к колену дедушки Фошлевана.

Уложив Козетту спать, Жан Вальжан и Фошлеван, как мы уже упоминали, поужинали куском сыра и стаканом вина перед ярко пылающим очагом; затем они быстро улеглись на двух охапках соломы, так как единственная постель в сторожке занята была Козеттой. Улегшись, Жан Вальжан сказал: «Я должен остаться здесь навсегда». Эти слова всю ночь вертелись в голове Фошлевана.

Говоря по правде, ни тот, ни другой не сомкнули глаз до самого утра.

Жан Вальжан, чувствуя, что Жавер узнал его и идет по горячим следам, понимал, что если он и Козетта вернутся в Париж, то погибнут. Но налетевший на него новый шторм забросил их в этот монастырь, и Жан Вальжан теперь помышлял лишь об одном: остаться здесь. Сейчас для несчастного в его положении этот монастырь был одновременно и самым опасным, и самым безопасным местом: самым опасным, ибо ни один мужчина не имел

права ступить за его порог; если его там обнаруживали, то считали застигнутым на месте преступления, — таким образом, для Жана Вальжана этот монастырь мог оказаться дорогой к тюрьме; самым безопасным, ибо если человеку удавалось проникнуть сюда и остаться, то кому же взбредет в голову искать его здесь? Поселиться там, где поселиться невозможно, — вот спасение.

Ломал себе над этим голову и Фошлеван. Начал он с признания в том, что ровно ничего не понимает. Каким образом г-н Мадлен оказался здесь, когда кругом стены? Через монастырские ограды так просто не пролезть. Как же так он оказался здесь да еще с ребенком? По отвесным стенам не карабкаются с ребенком на руках. Что это был за ребенок? Откуда они оба появились? С той поры как Фошлеван находился в монастыре, он никогда ничего не слыхал о Монрейле-Приморском и ни о чем происшедшем там не знал. Дядюшка Мадлен держал себя так, что подступиться к нему с вопросами нельзя было; к тому же Фошлеван и сам говорил себе: «Святых не расспрашивают». В его глазах г-н Мадлен продолжал оставаться значительной особой. Единственно, что мог заключить садовник из нескольких слов, вырвавшихся у Жана Вальжана, это что г-н Мадлен по причине тяжелых времен, видимо, разорился и его преследуют кредиторы, или же замешан в каком-нибудь политическом деле и скрывается; но это отнюдь не отвратило от него Фошлевана, который, как многие из наших северных крестьян, был старой бонапартистской закваски. Скрываясь, г-н Мадлен избрал убежищем монастырь и, само собою разумеется, захотел в нем остаться. Но что для Фошлевана было необъяснимым, к чему он постоянно возвращался и перед чем становился втупик, это — каким образом г-н Мадлен очутился здесь, и не один, а с малюткой. Фошлеван видел их, касался их, говорил с ними — и не мог этому поверить. Впервые в сторожку Фошлевана вступило непостижимое. Фошлеван терялся в догадках и ничего ясно себе не представлял, кроме того, что г-н Мадлен спас ему жизнь. В этом он был уверен твердо, и это повлияло на его решение. Он сказал себе: «Теперь моя очередь». А совесть его добавила: «Господин Мадлен столько не раздумывал, когда нужно было кинуться под повозку меня оттуда вытаскивать». Он решил спасти г-на Мадлена.

Он задал себе все же несколько вопросов и сам дал на них ответы: «А что, если б он оказался вором, стал бы я его спасать, помня, кем он был для меня? Конечно. Если бы он был убийцей, стал бы я его спасать? Конечно. Но он святой, стану я его спасать? Конечно».

Однакож как помочь ему остаться в монастыре? Какая трудная задача! Перед такой попыткой, почти неосуществимой, Фошлеван тем не менее не отступил. Скромный пикардийский крестьянин решил преодолеть крепостной вал монастырских запретов и сурового устава св. Бенедикта, имея взамен штурмовой лестницы лишь преданность, искреннее желание и некоторую долю старей крестьянской смекалки, призванной на этот раз сослужить ему службу в великодушном его намерении. Дедушка Фошлеван был старик, проживший всю свою жизнь эгоистом, и вот, на склоне дней, хромой, немощный, ничем уже в жизни не интересующийся, он нашел отраду в чувстве признательности и, увидев возможность совершить добродетельный поступок, с такой жадностью накинулся на это, с какой умирающий, найдя под рукой стакан хорошего вина, никогда им не отведенного, хватает его и пьет. Добавим к этому, что атмосфера монастыря, которой он дышал вот уже несколько лет, уничтожила в нем себялюбие и привела к тому, что в душе его возникла потребность проявить милосердие, совершив хоть какое-нибудь доброе дело.

Итак, он решился отдать себя в распоряжение г-на Мадлена.

Мы только что назвали его «скромным пикардийским крестьянином». Определение правильное, но не исчерпывающее. Мы дошли до того места нашего рассказа, где полезно дать некоторую психологическую характеристику дедушки Фошлевана. Он был из крестьян, но когда-то служил письмоводителем у нотариуса, и это придало некоторую гибкость его уму и проницательность его простодушию. Потерпев по множеству разнообразных причин крушение в своих делах, он из письмоводителя превратился в возчика и поденщика. И все же, вопреки ругани и щелканью кнутом, что составляло его занятие и без чего, повидимому, не могли обходиться его лошади, в нем был еще жив письмоводитель. Он обладал природным умом; его речь была правильной; он, что редко встречается в

деревне, умел поддерживать разговор, и крестьяне говорили про него: «Он что твой барин в шляпе». Фошлеван действительно принадлежал к тому разряду простолюдинов, которые на дерзком и легкомысленном языке прошлого столетия назывались «полугорожанин, полудеревенщина» и которые в метафорах, употребляемых во дворцах по адресу хижин, именовались так: «не то мещанин, не то мужик; в общем ни то ни се». Фошлеван, этот жалкий старик, дышавший на ладан, хоть и много претерпел от судьбы и был изрядно ею измучен, все же оставался человеком, повинующимся, и совершенно добровольно, первому побуждению, — драгоценное качество, никогда не допускающее человека творить зло. Его недостатки и его пороки, ибо он таковыми обладал, были поверхностны; словом, он принадлежал к числу людей, которые при ближайшем соприкосновении с ними выигрывают. На этом старческом лице отсутствовали те неприятные морщины, которые, покрывая верхнюю часть лба, свидетельствуют о злобе или тупости.

Открыв глаза на рассвете, Фошлеван, размышлявший всю ночь напролет, увидел, что г-н Мадлен, сидя на своей охалке соломы, глядит на спящую Козетту. Фошлеван приподнялся и сказал:

— Теперь, когда вы здесь, как вы думаете поступить, чтобы войти сюда уже по всем правилам?

Эти слова определили положение вещей и вывели Жана Вальжана из задумчивости.

Старики принялись совещаться.

— Прежде всего, — сказал Фошлеван, — вы не переступите порога этой комнаты, ни вы, ни девочка. Стоит вам выйти в сад, мы пропали.

— Это верно.

— Господин Мадлен, вы попали сюда в очень хорошее время, то есть, я хочу сказать, в очень плохое. Одна из этих преподобных здорово больна. Значит, на нас не будут обращать особенного внимания. Сдается, она уже при смерти. Ее соборуют. Вся обитель на ногах. Они заняты. Та, что отходит, — святая. Сказать правду, все мы тут святые. Между ними и мною только и разницы, что они говорят: «наша келья», а я говорю: «мой закуток». Сначала будут служить отходную, а потом заупокойную.

Сегодня мы можем не беспокоиться, но за завтра я не ружаюсь.

— Однако, — заметил Жан Вальжан, — эта хижина стоит в углублении стены, она скрыта чем-то вроде развалин, окружена деревьями, из монастыря ее не видно.

— А я прибавлю еще, что монахини никогда к ней и не подходят.

— Так в чем же дело? — воскликнул Жан Вальжан.

Вопросительный знак, которым заканчивалась его фраза, означал: «Мне кажется, что здесь можно жить незамеченным». Именно на это Фошлеван и возразил:

— А девочки?

— Какие девочки? — удивился Жан Вальжан.

Только что Фошлеван собрался ответить, как раздался удар колокола.

— Монахиня скончалась, — сказал он. — Слышите похоронный звон?

Он сделал знак Жану Вальжану, чтобы тот прислушался.

Колокол прозвучал вторично.

— Это похоронный звон, господин Мадлен. Колокол будет звонить ежеминутно целых двадцать четыре часа, до самого выноса тела из церкви. А девочки, видите ли, играют; если во время перемены у них закатится сюда мячик, так они, несмотря на запрещение, все равно прибегут сюда и будут совать свой нос повсюду. Эти херувимчики — настоящие дьяволята!

— Кто? — спросил Жан Вальжан.

— Девочки. Вас мигом обнаружат, не сомневайтесь. А потом станут кричать. «Глядите-ка, мужчина!» Но сегодня опасаться нечего. Никакой перемены у них не будет. Весь день уйдет на молитвы. Вы слышите колокол? Я вам уже говорил — по удару в минуту. Это похоронный звон

— Понимаю, дедушка Фошлеван. Здесь, значит, есть воспитанницы?

А про себя он подумал: «Воспитание Козетты было бы обеспечено».

Фошлеван воскликнул:

— Еще бы! Конечно, тут есть маленькие девочки! Ну и подняли же бы они тут около вас пискотню! И задали же бы стрекача! Здесь мужчина — все равно что чума.

Вы сами видите, что мне к лапе привязывают бубенчик, словно я дикий зверь.

Жан Вальжан глубоко задумался.

— Этот монастырь — наше спасение, — шептал он про себя. Затем сказал вслух:

— Да, самое трудное — это остаться здесь.

— Нет, — ответил Фошлеван, — выйти отсюда.

Жан Вальжан почувствовал, что вся кровь отхлынула у него от сердца.

— Выйти?

— Да, господин Мадлен, для того чтобы вы могли сюда вернуться, необходимо сначала отсюда выйти.

И, переждав очередной удар колокола, Фошлеван продолжал:

— Никак нельзя, чтобы вас тут застали. Сейчас же спросят, откуда вы появились. Я-то могу считать, что вы упали с неба, потому что я вас знаю. А что касается монахинь, так им требуется, чтобы вы вошли в ворота.

Вдруг послышался более замысловатый звон другого колокола.

— Ага! — сказал Фошлеван. — Это сбор капитула. Зовут матерей-изборщиц. Так бывает всегда, когда кто-нибудь умирает. Она скончалась на рассвете. Все обыкновенно умирают на рассвете. А вы не могли бы выйти тем же путем, каким вошли? Слушайте, это не потому, что я хочу вас допрашивать, но скажите, как вы сюда вошли?

Жан Вальжан побледнел. Одна мысль о том, чтобы спуститься через стену обратно на эту страшную улицу, приводила его в трепет. Вообразите себе, что вы выбрались из леса, полного тигров, и когда вы в безопасности, вдруг вы слышите дружеский совет вновь возвратиться туда же. Жан Вальжан представил себе весь квартал, еще кишачий полицией, агентов, ведущих наблюдение, дозоры, руки, протянутые к его вороту, и, быть может, на углу перекрестка — сам Жавер.

— Невозможно, — воскликнул он. — Дедушка Фошлеван, считайте, что я упал сюда с неба.

— Ну, я-то верю этому, охотно верю, вам незачем говорить мне, — отвечал Фошлеван. — Господь бог, наверное, взял вас на руки, чтобы разглядеть поближе, а потом выпустил. Только он хотел, чтобы вы попали в мужской

монастырь, да ошибся. Ну вот, опять звонят. Этим звонком предупреждают привратника, чтобы он пошел предупредить муниципалитет, а уж тот предупредит врача покойников, чтобы пришел посмотреть покойницу. Так уж водится, когда умирают. Наши преподобные недолюбливают такие осмотры. Ведь врачи — это народ, который ни во что не верит. Врач приподымает покрывало. Иногда он даже приподымает кое-что другое. Что это они так поспешили на этот раз предупредить врача? Что такое случилось? А ваша малютка все еще спит. Как ее зовут?

— Козетта.

— Это ваша девочка? Вернее сказать, вы будеге ее дед?

— Да.

— Ей-то выйти отсюда будет легко. Есть тут служебная калитка прямо во двор. Я постучусь Привратник откроет. У меня за спиной корзина, в ней малютка. Я выхожу. Дедушка Фошлеван вышел с корзиной — ничего странного в этом нет. Вы скажете девочке, чтобы она сидела смирно. Ее не будет видно под чехлом. На столько времени, сколько потребуется, я помещу ее у моей старой приятельницы, глухой торговки фруктами на улице Зеленая дорога, у нее есть детская кровать. Я крикну ей в ухо, что это моя племянница и что я ее оставлю до завтра у нее. А потом малютка вернется уже с вами, потому что я устрою так, что вы вернетесь. Это непременно надо сделать. Но вы-то как отсюда выйдете?

Жан Вальжан покачал головой.

— Лишь бы меня никто не видел, дедушка Фошлеван, в этом все дело. Найдите способ, чтобы я мог выбраться отсюда в какой-нибудь корзине и под чехлом, как Козетта

Фошлеван принялся чесать у себя за ухом, что служило признаком серьезного замешательства.

Третий удар колокола придал другой оборот его мыслям.

— Это уходит врач покойников, — сказал Фошлеван. — Он поглядел и сказал: «Она умерла, так и есть». После того как доктор заверил пропуск в рай, бюро похоронных процессий присылает гроб. Если скончалась игуменья, то ее в гроб обряжают игуменьи; если сестра-монахиня, то обряжают сестры. Потом я заколачиваю гроб. Это тоже мое дело, дело садовника. Садовник, он всегда немножко могильщик. Гроб ставят в нижнюю,

выходящую на улицу, церковную залу, куда не имеет права входить ни один мужчина, кроме доктора. Меня да факельщиков за мужчин не считают. В этой самой зале я забиваю гроб. Факельщики приходят, выносят гроб — и с богом! Таким-то манером и отправляются на небеса. Вносят пустой ящик, а выносят уже с грузом внутри. Вот что такое похороны. «De profundis»¹.

Косой утренний луч слегка касался личика Козетты; она спала с чуть приоткрытым ртом и казалась ангелом, пьющим солнечное сияние. Жан Вальжан загляделся на нее. Он больше не слушал Фошлевана.

Если тебя не слушают, то это еще не значит, что ты должен замолчать. Добряк садовник спокойно продолжал переливать из пустого в порожнее.

— Могилу роют на кладбище Вожирар. Говорят, что кладбище Вожирар собираются закрыть. Это старинное кладбище, никаких уставов оно не соблюдает, мундира не имеет и должно скоро выйти в отставку. Жаль, потому что оно удобное. У меня там есть приятель, могильщик, дядюшка Метьен. Здешним монахиням дают там поблажку — их отвозят на это кладбище в сумерки. Префектура насчет этого издала особый приказ. Но чего-чего только не случилось со вчерашнего дня! Матушка Распятие скончалась, а дядюшка Мадлен...

— Погребен, — сказал Жан Вальжан с грустной улыбкой. Фошлеван подхватил это слово.

— Ну, разумеется, если бы вы здесь остались навсегда, это было бы настоящим погребением!

Звон колокола раздался в четвертый раз. Фошлеван поспешно снял с гвоздя наколенник с колокольчиком и снова пристегнул его к колену.

— На этот раз звонят мне. Меня требует мать-настоятельница. Так и есть, я укололся шпением от пряжки. Господин Мадлен, не трогайтесь с места и ждите меня. Видно, есть какие-то новости. Если проголодаетесь, то вот вино, хлеб и сыр.

И он вышел из сторожки, приговаривая: «Иду! Иду!»

Жан Вальжан видел, как он быстро, насколько ему позволяла хромая нога, направился через сад, оглядывая мимоходом свои дынные грядки.

¹ «Из глубины взываю» (лат.) — начало заупокойного псалма,

Не прошло и десяти минут, а дедушка Фошлеван, бублик которого обращал в бегство встречавшихся на его пути монахинь, уже тихонько стучался в дверь, и нежный голос ответил ему: «Во веки веков», что означало: «Войдите».

Эта дверь вела в приемную, отведенную для разговоров с садовником по делам его службы. А приемная примыкала к залу заседаний капитула. На единственном, стоящем в приемной стуле сидела настоятельница и ожидала Фошлевана.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Фошлеван в затруднительном положении

При некоторых критических обстоятельствах людям известного склада характера, а также людям известных профессий свойственно принимать взволнованный и одновременно значительный вид — особенно священнослужителям и монахам. В ту минуту, когда вошел Фошлеван, именно такое двойственное выражение озабоченности и лежало на лице настоятельница — некогда очаровательной и ученой мадмуазель Блемер, а ныне матушки Непорочность, обычно такой веселой.

Садовник боязливо поклонился, остановившись на пороге кельи. Настоятельница, перебиравшая четки, взглянула на него и сказала:

— А, это вы, дедушка Фован?

Этим сокращенным именем принято было называть его в монастыре.

Фошлеван снова поклонился.

— Дедушка Фован, я приказала позвать вас.

— Вот я и пришел, честная мать.

— Мне нужно поговорить с вами.

— И мне тоже, — сам испугавшись своей дерзости, сказал Фошлеван. — Мне тоже надо кое-что сказать вам, пречестная мать.

Настоятельница поглядела на него.

— Вы хотите сообщить мне что-то?

— Нет, попросить.

— Хорошо, говорите.

Добряк Фошлеван, бывший письмоводитель, принадлежал к тому типу крестьян, которые не лишены самоуверенности. Невежество, приправленное хитрецей, — сила; его не страшатся, и поэтому на него попадают. Прожив около двух с лишним лет в монастыре, Фошлеван добился признания в общине. Если не считать его работу по садоводству, ему, в постоянном его одиночестве, больше ничего не оставалось делать, как всюду совать свой нос. Держась на расстоянии от всех этих скрытых монашескими покрывалами женщин, снующих взад и вперед, Фошлеван сначала видел перед собой одно лишь мелькание каких-то теней. Но наблюдательность и проницательность помогли ему в конце концов облечь эти призраки в плоть и кровь, и все эти мертвецы ожили для него. Он был словно глухой, глаза которого приобрели дальность, или слепой, слух которого обострился. Он старался разобраться в значении всех разновидностей колокольного звона и преуспел в этом настолько, что загадочная и молчаливая обитель уже не таила в себе для него ничего непонятного. Этот сфинкс выбалтывал ему на ухо все свои тайны. Фошлеван обо всем знал и обо всем молчал. В этом заключалось его искусство. В монастыре все считали его дурачком. Это большое достоинство в глазах религии. Матери-изборщицы дорожили Фошлеваном. Это был удивительный немой. Он внушал доверие. Кроме того, он знал порядок и выходил из своей сторожки только тогда, когда того явно требовала необходимость быть либо в огороде, либо в саду. Подобная сдержанность была ему поставлена в заслугу. Тем не менее Фошлеван заставил проболтаться двух людей: в монастыре — привратника, и потому знал подробности всего происходившего в приемной; а на кладбище — могильщика, и потому знал все особые обстоятельства похорон. Таким образом, он получал двойного рода сведения о монахинях: одни проливали свет на их жизнь, другие — на их смерть. Но он не злоупотреблял ничем. Община ценила его. Старый, хромой, решительно ничего не смыслящий, без сомнения глуховатый — какое множество достоинств! Заменить его было бы трудно.

С уверенностью человека, знающего себе цену, добряк обратился к почтенной настоятельнице с весьма глубокомысленной и по-деревенски многословной речью. Он про-

странно говорил о своем возрасте, хворостях, о бремени лет, удвоившемся для него отныне благодаря возрастающей трудности работы, обширности сада и бессонным ночам, — к примеру, нынешней, когда ему из-за того, что светила луна, пришлось накрывать соломенными матами дынные грядки, — и договорился до следующего: у него есть брат (настоятельница сделала движение), — брат отнюдь не молодой (настоятельница опять сделала движение, но уже более спокойное), и если пожелают, то этот брат мог бы поселиться с ним и помогать ему в работе; это превосходный садовник, и для общины он будет очень полезен, полезнее его самого; а если этого брата взять не согласятся, в таком случае он, Фошлеван-старший, чувствуя упадок сил и видя, что ему не справиться с работой, вынужден будет, как это ни обидно, уйти отсюда; наконец, у его брата есть дочка, которую тот привел бы с собой, девочка выросла бы здесь в страхе божьем и, как знать, может стать, в один прекрасный день постриглась бы в монахини.

Когда он умолк, настоятельница бросила перебирать четки и сказала:

— Можете ли вы сегодня же, до наступления вечера, раздобыть крепкий железный брус?

— Для чего?

— Чтобы можно было употребить его вместо рычага.

— Да, честная мать, — ответил Фошлеван.

Не сказав больше ни единого слова, настоятельница встала и удалилась в соседние покои, бывшие залом заседаний капитула, где, по всей вероятности, собрались матери-изборщицы. Фошлеван остался один.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мать Непорочность

Прошло приблизительно четверть часа. Настоятельница вернулась и вновь села на стул.

Оба собеседника казались озабоченными. Записываем со всей тщательностью их диалог.

— Дедушка Фован!

— Да, честная мать?

- Знаете вы часовню?
- У меня там есть свое местечко, откуда я слушаю обедню и прочие службы.
- А заходили вы на клирос по служебным надобностям?
- Два или три раза.
- Вот в чем дело. Там надо приподнять камень.
- Тяжелый?
- Каменную плиту возле алтаря.
- Которая закрывает вход в склеп?
- Да.
- Вот случай, когда бы пригодился еще один мужчина.
- Матушка Вознесение вам поможет, она сильна, как мужчина.
- Женщина никогда не заменит мужчину.
- Мы можем дать вам в помощь только женщину. Каждый делает то, что в его силах. Только потому, что отец Мабильон приводит четыреста семнадцать посланий святого Бернара, а Мерлонус Горстиус всего триста шестьдесят семь, я ведь не отношусь презрительно к Мерлонусу Горстиусу.
- И я так не отношусь.
- Заслуга в том, чтобы работать сообразно со своими силами. Монастырь — не дровяной склад.
- А женщина — не мужчина. Вот брат мой, тот силен!
- А кроме того, у вас будет рычаг.
- Только такой ключ и подходит к таким дверям.
- В плите есть кольцо.
- В него я продену рычаг.
- А плита устроена так, что можно ее повернуть.
- Хорошо, честная мать. Я отворю склеп.
- А четыре матери-певчие вам помогут.
- И когда склеп будет отворен?..
- Тогда его придется вновь закрыть.
- И это все?
- Нет.
- Приказывайте, пречестная мать.
- Фован, мы доверяем вам.
- Я здесь, чтобы исполнять все приказания.
- И соблюдать молчание.

— Да, честная мать.

— Когда склеп будет открыт...

— То я его опять закрою.

— Но сначала...

— Что, честная мать?

— В него надо будет кое-что опустить.

Наступило молчание. Настоятельница поджала нижнюю губу, точно сомневаясь в чем-то, затем, прервав молчание, заговорила:

— Дедушка Фован!

— Да, честная мать?

— Вам известно, что сегодня утром скончалась монахиня?

— Нет.

— Разве вы не слышали колокольного звона?

— В глубине сада ничего не слышно.

— Правда?

— Я даже с трудом слышу звон, которым вызывают меня.

— Она скончалась на рассвете.

— А кроме того, ветер сегодня дул не в мою сторону.

— Преставилась матушка Распятие. Праведница.

Настоятельница умолкла, пошевелила губами, словно мысленно произнося молитву, и продолжала:

— Три года тому назад госпожа Бетюн, янсенистка, приняла истинную веру только потому, что видела, как молится мать Распятие.

— А, верно! Вот теперь я слышу похоронный звон, честная мать.

— Монахини перенесли ее в покойницкую, смежную с церковью.

— Я знаю, где это.

— Ни один мужчина, кроме вас, не смеет и не должен входить в эту комнату. Следите за этим. Каково было бы, если бы в покойницкую проник какой-нибудь мужчина!

— Как бы не так!

— Что?

— Как бы не так!

— Что вы говорите?

— Я говорю, что как бы не так!

— Что как бы не так?

— Честная мать, я не говорю «что как бы не так!», а говорю «как бы не так!»

— Я вас не понимаю. Почему вы говорите «как бы не так?»

— Чтобы подтвердить то, что вы сказали, честная мать.

— Но я не говорила «как бы не так!»

— Вы этого не говорили, но я это сказал, чтобы подтвердить то, что вы сказали.

В эту минуту пробило девять часов.

— В девять часов и во всякий час хвала и поклонение пресвятым дарам престола, — произнесла настоятельница.

— Аминь, — сказал Фошлеван.

Часы пробили очень кстати. Они пресекли это «как бы не так». Не пробей они, вполне вероятно, что настоятельница и Фошлеван никогда бы не выпутались из этого дела.

Фошлеван отер пот со лба.

Настоятельница опять что-то пробормотала про себя, наверное из святого писания, потом, повысив голос, изрекла:

— При жизни матушка Распятие творила обращения; после смерти она будет творить чудеса.

— Уж она-то будет их творить! — подтвердил Фошлеван, подделываясь к настоятельнице и стараясь больше не сплеховать.

— Дедушка Фован, для общины матушка Распятие была благословением божьим. Конечно, не всякому дана такая кончина, как кардиналу Берюлю, который, служа обедню, со словами «*Hanc igitur oblationem*»¹ на устах, отдал богу душу. Но, хотя наша усопшая и не была удостоена такого счастья, кончина ее все же достойна зависти. Она до последней минуты была при полном сознании. Она говорила с нами, потом говорила с ангелами. Она сообщила нам свою последнюю волю. Если бы вы были крепче в вере и если бы могли тогда быть у нее в келье, то она одним своим прикосновением исцелила бы вашу ногу. Она улыбалась. Так и чувствовалось, что она воскресает в боге. Блаженная кончина!

¹ «Вот это приношение» (лат.) — слова из католической мессы.

Фошлеван решил, что настоятельница заканчивает молитву.

— Аминь, — сказал он.

— Дедушка Фован, волю умерших надо исполнять.

Настоятельница пропустила сквозь пальцы несколько зерен на четках. Фошлеван молчал. Она продолжала:

— По этому вопросу я справлялась у многих духовных лиц, трудившихся во Христе над подвигами монашеской жизни. Плоды их усилий удивительны.

— Честная мать, отсюда похоронный звон слышен много лучше, чем из сада.

— Кроме того, она больше, чем просто усопшая, она — святая.

— Как и вы, честная мать.

— Она двадцать лет спала в своем гробу, с особого разрешения святого нашего отца папы Пия Седьмого.

— Того самого, который короновал импе... Буонапарта.

Для такого смышленного человека, каким был Фошлеван, подобное воспоминание было неудачным. К счастью, настоятельница, всецело поглощенная своей мыслью, не расслышала его. Она продолжала:

— Дедушка Фован!

— Да, честная мать?

— Святой Диодор, архиепископ Каппадокийский, пожелал, чтобы на его склепе было написано единственное слово: «Асагус», что значит червь земляной; это было исполнено. Не так ли?

— Так, честная мать.

— Блаженный Мецокан, аквилейский аббат, пожелал быть преданным земле под виселицей; это было исполнено.

— Верно.

— Святой Теренций, епископ города Порты, расположенного при впадении Тибра в море, пожелал, чтобы на его надгробной плите была вырезана такая же надпись, как у отцеубийц, надеясь, что все прохожие будут плевать на его могилу; это было сделано. Волю усопших следует исполнять.

— Да будет так.

— Тело Бернара Гвидония, родившегося во Франции близ Рош-Абейль, было, как он приказал, и вопреки

королю Кастилии, перенесено в церковь доминиканцев, в городе Лиможе, хотя Бернар Гвидоний был епископом испанского города Тюи. Можно ли на это что-нибудь возразить?

— Никак нет, честная мать.

— Этот случай засвидетельствован Плантавием де ла Фос.

Молча пропустив еще несколько зерен, настоятельница продолжала:

— Дедушка Фован, матушка Распятие будет погребена в том гробу, в котором спала двадцать лет.

— Это правильно.

— Это будет продолжение ее сна.

— Значит, мне придется заколотить ее в этот самый гроб?

— Да.

— А казенный гроб мы так и оставим без дела?

— Именно.

— Я к услугам пречестной общины.

— Четыре матушки-певчие вам помогут.

— Это чтобы заколотить гроб? И без них обойдусь.

— Не заколотить, а спустить.

— Куда?

— В склеп.

— В какой склеп?

— Под алтарем.

Фошлеван так и подскочил на месте.

— В склеп под алтарем!

— Под алтарем.

— Но...

— У вас будет железный брус.

— Да, но...

— Вы приподнимете плиту за кольцо, продев в него этот брус.

— Но...

— Воле усопших надо повиноваться. Быть погребенной в склепе под алтарем часовни, не лежать в неосвященной земле, остаться после смерти там, где молилась при жизни,— это предсмертная воля матери Распятие. Она просила нас об этом, иначе говоря, приказала.

— Но ведь это запрещено.

— Запрещено людьми, повелено богом.

— А если об этом узнают?

— Мы вам доверяем.

— Ну, я-то нем, как камень из вашей ограды.

— Капитул собрался. Матери-изборщицы, с которыми я только что опять советовалась и которые продолжают еще обсуждение, решили, что матушка Распятие, согласно ее желанию, будет похоронена в своем гробу под нашим алтарем. Вы только подумайте, дедушка Фован, сколько здесь будет твориться чудес! Как прославится во имя господа наша обитель! Из могил и исходят чудеса.

— Но, честная мать, а если уполномоченный санитарной комиссии...

— Святой Бенедикт Второй расхотелся по вопросам погребения с Константином Погонатом.

— А полицейский пристав...

— Хонодмер, один из семи королей германских, вторгшихся в Галлию при императоре Констанции, именно за монахами признал право быть погребенными в лоне религии, то есть под алтарем.

— Но инспектор префектуры...

— Все мирское есть прах перед лицом церкви! Мартин, одиннадцатый генерал картезианцев, дал ордену своему такой девиз: «Stat crux dum volvitur orbis»¹.

— Аминь, — сказал Фошлеван, неизменно выходивший подобным образом из затруднительного положения, в какое его всякий раз ставила латынь.

Для того, кто слишком долго молчал, годятся любые слушатели. В тот день, когда ритор Гимнасторас вышел из тюрьмы, с множеством вбитых там в него новых дилемм и силлогизмов, то, остановившись перед первым попавшимся ему по дороге деревом, он обратился к нему с речью и затратил огромные усилия, чтобы его убедить. Настоятельница, обычно соблюдавшая обет строгого молчания, но обуреваемая желанием высказаться, поднялась и разразилась речью с неудержимостью потока, хлынувшего в открытый шлюз.

— По правую руку мою — Бенедикт, по левую — Бернар. Кто такой Бернар? Он первый настоятель Клерво. Фонтен в Бургундии — место благословенное, ибо там он появился на свет. Отца его звали Теселином, а мать

¹ «Крест стоит, пока вращается вселенная» (лат.).

Алетой. Свой подвиг он начал в Сито, а закончил в Клерво; в настоятели он был рукоположен епископом Шалона-на-Соне, Гильомом де Шампо. У него было семьсот послушников, он основал сто шестьдесят монастырей; он поверг во прах Абельяра на Санском соборе в тысяча сто сороковом году, а также Пьера де Брюи и его ученика Генриха и других заблудших, которые именовались «апостольскими учениками»; он смутил Арно из Брешии, разгромил монаха Рауля, убийцу евреев; в тысяча сто сорок восьмом году он диктовал свою волю собору в Реймсе, осудил Жильбера де ла Поре, епископа Пуатье, осудил Эона де л'Этуаль, уладил распри между принцами, обратил в истинную веру Людовика Младшего, давал советы папе Евгению Третьему, руководил монастырем Тампль, проповедовал крестовый поход, сотворил двести пятьдесят чудес в течение своей жизни, творя иногда по тридцати девяти чудес в день. Кто такой Бенедикт? — Это патриарх Монте-Кассини; это второй основоположник монастырских уставов, это Василий Великий Запада. Учрежденный им орден дал сорок пап, двести кардиналов, пятьдесят патриархов, тысячу шестьсот архиепископов, четыре тысячи шестьсот епископов, четырех императоров, двенадцать императриц, сорок шесть королей, сорок одну королеву, три тысячи шестьсот канонизированных святых и существует уже тысячу четыреста лет. С одной стороны, святой Бернар; с другой — уполномоченный санитарной комиссии! С одной стороны, святой Бенедикт; с другой — инспектор городских свалок! Государство, инспекция, бюро похоронных процессий, правила, администрация, — какое нам до этого дело? Любой встречный был бы возмущен, если бы увидел, как с нами обходятся. Мы не имеем даже права отдавать прах наш Иисусу Христу! Ваша санитарная комиссия — это революционная выдумка. Господь, подчиненный полицейскому приставу, — вот наш век! Молчите, Фован!

Под этим ливнем слов Фошлеван чувствовал себя не в своей тарелке. Настоятельница продолжала:

— В праве монастыря на погребение никто не сомневается. Только фанатики и еретики отрицают его. Мы живем в эпоху страшных заблуждений. То, о чем следует знать, никому не ведомо, а ведомо то, о чем знать не следует. Люди невежественны и нечестивы. В наше время

находятся среди них такие, что не делают различия между Бернаром, величайшим из святых, и так называемым Бернаром Бедных католиков, добрым священником, жившим в тринадцатом веке. А иные доходят до такого богохульства, что сравнивают казнь Людовика Шестнадцатого на эшафоте с казнью Иисуса Христа на кресте. Людовик Шестнадцатый был всего только королем. Убоимся же гнева господня! Нет больше ни праведного, ни неправедного. Все знают имя Вольтера, но никто не знает имени Цезаря де Бюс. Между тем Цезарь де Бюс был блаженный, а Вольтер — просто блажной. Последний архиепископ, кардинал Перигор, не знал даже, что Шарль де Гондран был преемником Берюля, а Франсуа Бургуэн — преемником Гондрана, а Жан-Франсуа Сэно — преемником Бургуэна, а отец Сент-Март — преемником Жана-Франсуа Сэно. Все знают имя отца Котона, но не потому, что он был одним из трех основателей оратории, а потому, что дал предлог для бранной поговорки короля-гугенота Генриха Четвертого. Сердцу мирских людей святой Франсуа Сальский любезен потому, что он плутовал в карточной игре. А после этого нападают на религию. Почему? Потому что были дурные пастыри, потому что епископ Гапский был братом Салона, епископа Амбренского, и потому что оба они были последователями Момоля. Ну и что же? Разве это помешало Мартину Турскому остаться святым и отдать половину своего плаща нищему? Святых преследуют. Закрывают глаза на истину. Привыкли к мраку. А самые свирепые звери — звери слепые. Никто всерьез не думает об аде. О негодный народ! «Именем короля» означает ныне «именем революции»; люди забыли свой долг и в отношении живых и в отношении мертвых. Умирать, как должно праведнику, воспрещено. Погребение стало делом гражданских властей. Это ужасно. Его святейшество Лев Второй написал по этому поводу два обращения — одно к Пьеру Нотеру, другое к королю вестготов, с целью оспорить и низвергнуть главенства экзарха и верховную власть императора в вопросах, касающихся усопших. Готье, епископ Шалонский, дал по этому же поводу отпор Отону, герцогу Бургундскому. Прежде магистратура держалась того же мнения. В былое время, в капитуле, мы имели право высказываться и по мирским делам. Аббат Сито, генерал ордена, был

почетным советником в бургундской судебной палате. Мы поступаем с нашими усопшими так, как считаем нужным. Разве прах святого Бенедикта не покоится во Франции в аббатстве Флери, именуемом Сен-Бенуа-на-Луаре, хотя он скончался в Италии, в Монте-Кассини, в субботу двадцать первого марта пятьсот сорок третьего года? Все это неоспоримо. Я презираю гнусавых псалмопевцев, терпеть не могу приоров, питаю отвращение к еретикам, но еще больше я возненавижу того, кто станет мне противоречить. Довольно перелистать Арну Виона, Габриэля Буселена, Тритема, Мороликуса и Люка д'Ашери, чтобы всякий согласился со мною.

Настоятельница перевела дух и обратилась к Фошлевану:

— Решено, дедушка Фован?

— Решено, честная мать.

— Можно на вас рассчитывать?

— Я буду повиноваться.

— Отлично.

— Я всей душой предан монастырю.

— Хорошо. Вы заколотите гроб. Сестры отнесут его в часовню. Там отслужат панихиду. Затем все вернутся в монастырь. Между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи вы придете с вашим железным брусом. Все будет совершено в величайшей тайне. В часовне будут находиться только четыре матери-певчие, мать Вознесение и вы.

— А сестра, которая стоит у столба?

— Она не обернется.

— Но она услышит.

— Она не будет слушать. Кроме того, что ведомо монастырю, то неизвестно миру.

Вновь наступила пауза. Затем настоятельница продолжала:

— Вы снимете ваш бубенчик. Сестре у столба незачем знать о вашем присутствии.

— Честная мать!

— Что, дедушка Фован?

— А врач покойников был здесь?

— Он придет сегодня, в четыре часа. Уже прозвонили, чтобы пришел врач. Но вы ведь не слышите никакого звона?

- Я прислушиваюсь только к своему.
- Это похвально, дедушка Фован.
- Честная мать, рычаг должен быть по крайней мере шести футов длины.
- Где же вы найдете такой?
- Там, где есть железные решетки, найдутся и железные брусья. У меня куча всякого железного лома в глубине сада.
- Примерно без четверти двенадцать; не забудьте же.
- Честная мать.
- Что?
- Если у вас еще когда-нибудь встретится надобность в такой работе, то вспомните о моем брате. Вот это силач! Настоящий турок!
- Вы сделаете все это как можно быстрее.
- Я-то не очень проворен. Я калека; потому мне бы нужен был помощник. Я хромаю.
- Хромота не недостаток, она может быть даже благодатью. У императора Генриха Второго, который ниспроверг лже-папу Григория и восстановил Бенедикта Восьмого, было два имени: «Святой» и «Хромой».
- Конечно, очень хорошо иметь два имени, — пробормотал Фошлеван, который действительно был туговат на ухо.
- Дедушка Фован, пожалуй, возьмем на все это час времени. Это не так уж много. Будьте у главного алтаря с вашим железным брусом в одиннадцать часов ночи. Заупокойная служба начинается в полночь. Надо, чтобы все было кончено по крайней мере за четверть часа до того.
- Я сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать общине мое усердие. Мое слово крепко. Я заколочу гроб. Ровно в одиннадцать я буду в часовне. Там уже будут матери-певчие. Там будет и мать Вознесение. Двое мужчин со всем этим управились бы лучше. Ну да ладно, как-нибудь! У меня будет рычаг. Мы откроем склеп, спустим туда гроб и опять закроем склеп. И никаких следов! Начальство об этом и подозревать не будет. Честная мать, значит, все в порядке?
- Нет.
- Что же еще?
- А пустой гроб?

Это замечание послужило причиной паузы в диалоге. Фошлеван раздумывал. Раздумывала и настоятельница.

— Дедушка Фован, что же делать с гробом?

— Его понесут на кладбище.

— Пустым?

Снова молчание. Фошлеван сделал жест левой рукой, словно отмахиваясь от назойливой мысли.

— Честная мать, но ведь я один заколачиваю гроб в нижней церковной комнате, и туда, кроме меня, никто не может войти, я и накрою гроб покровом.

— Да, но когда носильщики будут поднимать гроб на похоронные дроги, а потом опускать его в могилу, они непременно почувствуют, что он пустой.

— Ах, дья...! — воскликнул Фошлеван.

Настоятельница подняла руку, чтобы осенить себя крестным знамением, и пристально взглянула на садовника. Окончание «вол» застряло у него в глотке.

— Честная мать, я насыплю в гроб земли. Будет казаться, что в нем кто-то лежит.

— Вы правы. Земля — то же, что человек. Значит, вы уладите дело с пустым гробом?

— Я беру это на себя.

Лицо настоятельницы, до сей поры мрачное и встревоженное, прояснилось. И начальническим жестом она отпустила своего подчиненного. Фошлеван направился к двери. Когда он переступал порог, настоятельница тихонько окликнула его:

— Дедушка Фован, я вами довольна; завтра после похорон придите ко мне с вашим братом и скажите ему, чтобы он привел с собой девочку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой может показаться, что Жан Вальжан читал Остена Бастилью

Шаг хромого похож на подмигивание кривого: они не скоро достигают цели. Кроме того, Фошлеван был растерян. Он потратил около четверти часа, чтобы достигнуть садовой сторожки. Козетта уже проснулась. Жан Вальжан усадил ее возле огня. В то мгновение, когда Фошле-

ван входил в сторожку, Жан Вальжан, указывая ей на висевшую на стене корзинку садовника, говорил:

— Слушай меня хорошенько, маленькая моя Козетта. Мы должны уйти из этого дома, но мы опять вернемся сюда, и нам здесь будет очень хорошо. Старичок, который тут живет, вынесет тебя отсюда в этой корзине на своей спине. Ты будешь поджидать меня у одной женщины. Я приду за тобой. Главное, если не хочешь, чтобы Тенардьё опять тебя забрала, будь послушна и ничего не говори!

Козетта серьезно кивнула головой.

На скрип отворяемой Фошлеваном двери Жан Вальжан обернулся.

— Ну как?

— Все устроено, а толку мало, — ответил Фошлеван. — Мне разрешили привести вас; но прежде чем привести, надо вас отсюда вывести. Вот в чем загвоздка! С малюткой это просто.

— Вы унесете ее?

— А она будет молчать?

— Ручаюсь.

— Ну, а как же вы, дядюшка Мадлен?

После некоторого молчания, в котором чувствовалось беспокойство, Фошлеван воскликнул:

— Да выйдите отсюда той же дорогой, какой вошли!

Как и в первый раз, Жан Вальжан коротко ответил:

— Невозможно.

Фошлеван, обращаясь больше к самому себе, чем к Жану Вальжану, пробурчал:

— Еще и другая вещь беспокоит меня. Я ей сказал, что наложу туда земли. Но мне кажется, что земля в гробу, вместо тела... — нет, тут не обманешь, ничего не выйдет, она будет передвигаться, пересыпаться. Носильщики это почувствуют. Понимаете, дядюшка Мадлен, начальство непременно догадается.

Жан Вальжан пристально поглядел на него и подумал, что он бредит.

Фошлеван продолжал:

— Но как же вам, дья... шут его возьми, выйти отсюда? Главное, все это надо уладить до завтрашнего дня! Как раз завтра мне велено привести вас. Настоятельница будет ждать.

И он объяснил Жану Вальжану, что это было вознаграждением за услугу, которую он, Фошлеван, оказывал общине: что в круг его обязанностей входит участие в похоронах, что он заколачивает гробы и помогает могильщику на кладбище; что умершая сегодня утром монахиня завещала положить ее в гроб, который при жизни служил ей ложем, и похоронить в склепе под алтарем часовни; что это воспрещено полицейскими правилами, но усопшая принадлежала к того рода праведницам, предсмертной просьбе которых перечить нельзя; что поэтому мать-настоятельница и прочие монахини намеревались исполнить волю усопшей; что тем хуже для правительства; что он, Фошлеван, заколотит гроб в келье, поднимет в часовне плиту и опустит усопшую в склеп; что в благодарность настоятельница согласна принять в монастырь его брата садовником, а племянницу воспитанницей; что его брат — это он, г-н Мадлен, а племянница — Козетта; что настоятельница приказала привести к ней брата на следующий день вечером, после мнимых похорон на кладбище; что он не может привести в монастырь г-на Мадлена, если тот уже находится внутри монастыря; что в этом заключается первое затруднение; что, наконец, есть и другое затруднение — пустой гроб.

— Какой такой пустой гроб? — спросил Жан Вальжан.

— Казенный гроб.

— Почему гроб? И почему казенный?

— Умирает монахиня. Приходит врач из мэрии, потом он говорит: «Умерла монахиня». Городское начальство присылает гроб. На завтра оно присылает катафалк и факельщиков, чтобы взять гроб и отвезти его на кладбище. Факельщики придут, поднимут гроб, а внутри — ничего.

— Так положите в него что-нибудь.

— Покойника? Его у меня нет.

— Нет, не покойника.

— А кого?

— Живого.

— Какого живого?

— Меня, — сказал Жан Вальжан.

Фошлеван вскочил с места так стремительно, словно под его стулом взорвалась петарда.

— Вас?

— А почему бы нет?

И Жан Вальжан улыбнулся одной из своих редких улыбок, походившей на солнечный луч на зимнем небе.

— Помните, Фошлеван, вы сказали: «Матушка Распятие скончалась», и я добавил: «А дядюшка Мадлен погребен». Так оно и будет.

— Ну, ну, вы шутите, вы это не всерьез говорите!

— Очень даже всерьез. Выйти отсюда надо?

— Ну конечно.

— Говорил я вам, чтобы вы нашли корзину с чехлом и для меня?

— Ну, говорили.

— Корзина будет сосновая, а чехол из черного сукна.

— Во-первых, белого сукна. Монахинь хоронят в белом.

— Пусть будет белое.

— Вы не похожи на других людей, дядюшка Мадлен.

Увидеть, как подобная игра воображения, являющаяся лишь примером дикарской и смелой изобретательности каторги, возникает среди окружающей его мирной обстановки и посягает на то, что он именовал «жизнем-бытием монастырским», было для Фошлевана так же необычайно, как для прохожего увидеть морскую чайку, вылавливающую рыбу из канавы на улице Сен-Дени.

Жан Вальжан продолжал:

— Все дело в том, чтобы выйти отсюда незамеченным. А это и есть такой способ. Но раньше расскажите мне подробности. Как это происходит? Где гроб?

— Пустой гроб?

— Да.

— Внизу, в комнате, которую называют покойницей. Он стоит на двух подставках и накрыт погребальным покровом.

— Какова длина гроба?

— Шесть футов.

— А какая она, эта покойница?

— Это комната в нижнем этаже; в ней есть окно с решеткой, которое выходит в сад и закрывается снаружи ставнями, да двое дверей — одна в монастырь, другая — в церковь.

— В какую церковь?

- В церковь, что на этой улице, в общую церковь.
- У вас есть ключи от этих двух дверей?
- Нет. У меня ключ от двери, ведущей в монастырь; а ключ от двери в церковь у привратника.
- А когда привратник отворяет эту дверь?
- Когда приходят факельщики за гробом. Как вынесут гроб, так сейчас дверь и запирается.
- А кто заколачивает гроб?
- Я.
- Кто накладывает погребальный покров?
- Я.
- Вы бываете один в это время?
- Никто, кроме врача, не может войти в покойницкую. Это даже на стене написано.
- Могли бы вы сегодня ночью, когда все в обители уснут, спрятать меня в этой комнате?
- Нет. Но я могу вас спрятать в темной маленькой каморке рядом с покойницей, я там держу мои инструменты для погребения, я за ней присматриваю, и у меня есть ключ от нее.
- В котором часу приедет завтра катафалк за гробом?
- В три часа пополудни. Хоронят на кладбище Вожирар, когда свечереет. Кладбище довольно далеко отсюда.
- Я спрячусь в вашей каморке с инструментами на всю ночь и на все утро. Но как быть с едой? Ведь я проголодаюсь.
- Я принесу вам что-нибудь.
- Вы могли бы прийти заколотить меня в гроб часа в два ночи.

Фошлеван отшатнулся и хрустнул пальцами.

— Это невозможно!

— Ба! Трудно ли взять молоток и вбить несколько гвоздей в доски!

То, что Фошлевану казалось неслыханным, для Жана Вальжана было, повторяем, делом простым. Ему приходилось проскальзывать в любые щели. Кто бывал в тюрьме, познал искусство уменьшаться в соответствии с выходом, ведущим на волю. Заключенный так же неизбежно приходит к попытке бегства, как больной к кризису, который исцеляет его или губит. Исчезновение — это выздоровление. А на что только не решаются, лишь бы выздороветь! Дать себя заколотить в ящик и унести, как

тук с товаром, лежать в такой коробке долгое время, находить воздух там, где его нет, часами сберегать дыхание, уметь задыхаться, не умирая, — вот один из мрачных талантов Жана Вальжана.

Впрочем, эта уловка каторжника — гроб, в который ложится живое существо, — была также и уловкой короля. Если верить монаху Остену Кастильхо, то к такому способу, желая в последний раз повидать г-жу Пломб, прибегнул после своего отречения Карл Пятый, чтобы ввести ее в монастырь святого Юста и затем вывести оттуда.

Придя немного в себя, Фошлеван воскликнул:

— Но как же вы будете дышать там?

— Уж как-нибудь буду.

— В этом ящике! Только подумаю об этом, и я уже задыхаюсь.

— У вас, конечно, найдется буравчик, вы просверлите около моего рта несколько дырочек, а верхнюю доску приколотите не слишком плотно.

— Ладно. Ну, а если вам случится кашлянуть или чихнуть?

— Тот, кто спасается бегством, не кашляет и не чихает.

И Жан Вальжан добавил:

— Дедушка Фошлеван, необходимо решиться: дать себя захватить здесь, или выехать отсюда на погребальных дрогах.

Всем известна повадка кошек останавливаться у приотворенной двери и прохаживаться меж ее двух створок. Кто из нас не говорил кошке: «Ну, входи же!» Есть люди, которые, попав в неопределенное положение, так же склонны колебаться между двумя решениями, рискуя быть раздавленными судьбой, внезапно закрывающей для них всякий выход. Слишком осторожные, при всех их кошачьих свойствах и именно благодаря им, иногда подвергаются большей опасности, чем смельчаки. Фошлеван и был человеком такого нерешительного склада. Однако, вопреки его воле, хладнокровие Жана Вальжана покорило его. Он пробормотал:

— И вправду, другого тут средства не найдешь.

Жан Вальжан продолжал:

— Одно только меня беспокоит, как все это пройдет на кладбище.

— А вот это меня как раз и не тревожит, — воскликнул Фошлеван. — Если вы уверены в том, что выберетесь живым из гроба, то я уверен, что вытащу вас из ямы. Могильщик тамошний — пьяница. Это мой приятель, дядюшка Метьен. Старый пропойца. Мертвец у могильщика в яме, а сам могильщик у меня в кармане. Я вам объясню, как оно все будет. На кладбище мы приедем незадолго до сумерек, за три четверти часа до закрытия кладбищенских ворот. Похоронные дроги доедут до могилы. Я пойду следом; это моя обязанность. У меня с собой будут молоток, долото, клещи. Дроги останавливаются, факельщики обвязывают ваш гроб веревкой и спускают в могилу. Священник читает молитву, крестится, брызгает святой водой — и поминай как звали. Мы остаемся вдвоем с дядюшкой Метьеном. Повторяю, он мой приятель. Одно из двух: или он уже будет пьян, или он еще не будет пьян. Если он не пьян, то я говорю ему: «Идем выпьем по стаканчику, пока не заперли «Спелую айву». Я его увожу, угощаю, — а дядюшку Метьена напоить недолго, он и так-то всегда под мухой, — потом укладываю его под стол, забираю его пропуск на кладбище и возвращаюсь один. Тогда вы уже имеете дело только со мной. Ну, а если он будет уже пьян, то я скажу ему: «Ступай себе, я сам все за тебя сделаю». Он уходит, а я вытаскиваю вас из ямы.

Жан Вальжан протянул ему руку, Фошлеван схватил ее с трогательной сердечностью крестьянина.

— Договорились, дедушка Фошлеван. Все будет хорошо!

«Только бы прошло гладко, — подумал Фошлеван. — А вдруг какая беда стрясется!»

ГЛАВА ПЯТАЯ

Быть пьяницей еще не значит быть бессмертным

Назавтра сильно поредевшие к вечеру прохожие обнажали головы, встретив на Менском бульваре старинные похоронные дроги, украшенные изображениями черепов, берцовых костей и стеклянными слезками. На дрогах стоял гроб под белым покровом, на котором виднелся

большой черный крест, напоминавший огромную покойницу со свисающими по обе стороны руками. Сзади следовала парадная траурная карета, в которой можно было разглядеть священника в стихаре и маленького певчего в красной скуфейке. Два факельщика в серой одежде с черными галунами шли по левую и по правую сторону похоронных дрог. Сзади плелся хромо́й старик в одежде рабочего. Шествие направлялось к кладбищу Вожирар.

Из кармана рабочего высовывались ручка молотка, лезвие простого долота и концы клещей.

Кладбище Вожирар представляло исключение среди парижских кладбищ. У него были свои особые порядки, были свои ворота и своя калитка, которые у старожилов квартала, придерживающихся старинных наименований, назывались воротами для всадников и воротами для пешеходов. Как мы уже говорили, бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса получили разрешение хоронить своих покойниц вечером и в отдельном углу кладбища, так как этот участок земли некогда принадлежал их общине. Для могильщиков, которые по этой причине работали там летом по вечерам, а зимой по ночам, были установлены особые правила. В те времена ворота парижских кладбищ запирались при закате солнца, а так как приказ этот исходил от городского управления, он распространялся и на кладбище Вожирар. Ворота для всадников и ворота для пешеходов решетками своими соприкасались с двух сторон с павильоном работы архитектора Перроне, в котором жил кладбищенский привратник. Эти решетки неумолимо повертывались на своих петлях в ту самую минуту, когда солнце опускалось за купол Инвалидов. Если к этому времени какой-нибудь могильщик задерживался на кладбище, то у него оставалась только одна возможность выйти оттуда: предъявить свой пропуск, выданный ему бюро похоронных процессий. В ставню окна привратницкой вделано было нечто вроде почтового ящика. Могильщик бросал туда свой пропуск, привратник слышал звук падения, дергал за шнур, и ворота для пешеходов отворялись. Если у могильщика пропуска не было, то он называл свое имя, и тогда привратник, иногда уже спавший, вставал с постели, опознавал могильщика и

отпирал ключом ворота; могильщик выходил, уплачивая, однако, пятнадцать франков штрафа.

Это кладбище, со всеми его особенностями, выходящими за рамки общих правил, нарушало административное единообразие. Вскоре после 1830 года кладбище Вожирар закрыли. На его месте возникло кладбище Мон-Парнас, унаследовавшее заодно и граничивший с кладбищем Вожирар знаменитый кабачок, увенчанный нарисованной на доске айвой. Он стоял под углом к столикам посетителей одной своей стороной, а к могилам — другой. На вывеске его значилось: «Под спелой айвой».

Кладбище Вожирар, что называется, отмирало. Им переставали пользоваться. Его завоевывала плесень, цветы покидали его. Буржуа не стремились быть похороненными на кладбище Вожирар; это говорило бы о бедности. Кладбище Пер-Лашез — дело другое! Покоиться на кладбище Пер-Лашез — все равно что иметь обстановку красного дерева. Вэтом сказывался изящный вкус. Кладбище Вожирар, разбитое по образцу старинных французских садов и обнесенное оградой, было уголком, который внушал чувство почтения. Прямые аллеи, буксы, туи, остролистники, старые могилы, осененные старыми тисами, высокая трава. Вечером от него веяло чем-то трагическим. В его очертаниях чувствовалась мрачная печаль.

Солнце еще не успело зайти, когда катафалк с гробом, под белым сукном и черным крестом, появился на аллее, ведущей к кладбищу Вожирар. Следовавший за ним хромой старик был не кто иной, как Фошлеван.

Погребение матери Распятие в склепе под алтарем, выход Козетты из монастыря, проникновение Жана Вальжана в покойницкую — все прошло благополучно, без малейшей заминки.

Заметим мимоходом, что погребение матери Распятие в склепе под алтарем кажется нам поступком вполне простительным. Это одно из тех прегрешений, которые походят на выполнение долга. Монахини совершили его, не только не смущаясь, но с полного одобрения их совести. В монастыре действия того, что именуется «правительством», рассматриваются лишь как вмешательство в чужие права, — вмешательство, всегда требующее отпора.

Превыше всего монастырский устав; что же касается закона, — там видно будет. Люди, сочиняйте законы,

сколько вам заблагорассудится, но берегите их для себя! Последняя подорожная кесарю — всегда лишь крохи, оставшиеся после уплаты подорожной богу. Земной властитель перед лицом высшей власти — ничто.

Фошлеван, очень довольный, ковылял вслед за колесницей. Его два тесно связанных друг с другом заговора — один с монахинями, другой с г-м Мадленом, один — в интересах монастыря, другой — в ущерб этим интересам, — удались наславу. Невозмутимость Жана Вальжана была сродни тому нерушиму спокойствию, которое сообщается и другим. Фошлеван больше не сомневался в успехе. То, что теперь оставалось сделать, было пустяком. В течение двух лет Фошлеван раз десять угощал могильщика, этого славного толстяка, дядюшку Метьена. Он обводил его вокруг пальца, этого дядюшку Метьена. Он делал с ним, что хотел. Он вбивал ему в голову все, что вздумается. И дядюшка Метьен поддакивал всякому его слову. У Фошлевана была полная уверенность в успехе.

В ту минуту, когда похоронная процессия достигла аллеи, ведущей к кладбищу, счастливый Фошлеван взглянул на дроги и, потирая свои ручищи, пробормотал: — Вот так комедия!

Внезапно катафалк остановился; подъехали к решетке. Надо было предъявить разрешение на похороны. Служащий похоронного бюро вступил в переговоры с кладбищенским привратником. Во время этой беседы, обычно останавливающей кортеж на две-три минуты, подошел какой-то незнакомец и стал позади катафалка, рядом с Фошлеваном. По виду это был рабочий, в блузе с широкими карманами, с заступом подмышкой.

Фошлеван взглянул на незнакомца.

— Вы кто будете? — спросил он.

Человек ответил:

— Могильщик.

Если, получив пушечное ядро прямо в грудь, человек остался бы жив, то у него наверное было бы такое же выражение лица, как у Фошлевана в эту минуту.

— Могильщик?

— Да.

— Вы?

— Я.

— Могильщиком работает здесь дядюшка Метъен.

— Работал.

— Как это работал?

— Он умер.

Фошлеван приготовился к чему угодно, но только не к тому, что могильщик может умереть. А между тем это так; могильщики тоже смертны. Копая могилу другим, приоткрываешь и свою собственную.

Фошлеван остолбенел. Он насилу пролепетал, заикаясь:

— Не может этого быть!

— Это так.

— Но, — слабо возразил Фошлеван, — могильщик — это же дядюшка Метъен.

— После Наполеона — Людовик Восемнадцатый. После Метъена — Грибье. Моя фамилия Грибье, деревенщина.

Весь побледнев, Фошлеван всматривался в этого Грибье.

То был высокий, тощий, землисто-бледный, весьма мрачный человек. Он походил на неудачливого врача, который взялся за работу могильщика.

Фошлеван расхохотался.

— Ну что за потешные вещи случаются на свете! Дядя Метъен умер. Умер добрый дядюшка Метъен, но да здравствует добрый дядюшка Ленуар! Вы знаете, кто такой дядюшка Ленуар? Это кувшинчик запечатанного красного винца в шесть су. Кувшинчик сюренского, будь я неладен! Настоящего парижского сюрена. А! он умер, старина Метъен! Да, жаль; он был не дурак пожить. Ну, а вы? Вы ведь тоже не дурак пожить? Не правда ли, приятель? Мы сейчас отправимся вместе пропустить стаканчик.

Человек ответил: «Я получил образование. Я окончил четыре класса. Я никогда не пью».

Погребальные дроги снова тронулись в путь и пока-тили по главной аллее кладбища.

Фошлеван замедлил шаги. От волнения он стал еще сильнее прихрамывать.

Могильщик шел впереди.

Фошлеван принялся снова оглядывать этого свалившегося с неба Грибье.

Новый могильщик принадлежал к тому сорту людей, которые, несмотря на молодость, кажутся стариками и, несмотря на худобу, бывают очень сильны.

— Приятель! — окликнул его Фошлеван.

Человек обернулся.

— Я могильщик из монастыря.

— Мой коллега, — ответил человек.

Фошлеван, хотя и малограмотный, но очень проницательный малый, понял, что имеет дело с опасной породой человека, то есть с краснобаем.

Он проворчал:

— Значит, дядюшка Метьен умер.

Человек ответил:

— Окончательно. Господь бог справился в своей всеобщей книге. Увидел, что пришел черед расплачиваться дядюшке Метьену. И дядюшка Метьен умер.

Фошлеван повторил машинально:

— Господь бог...

— Да, господь бог, — внушительно заявил человек. — Для философов он — отец предвечный; для якобинцев — верховное существо.

— Разве мы не познакомимся с вами поближе? — пролепетал Фошлеван.

— Мы уже это сделали. Вы деревенщина, я парижанин.

— Пока не выпьешь вместе — по-настоящему не познакомишься. Раскупоришь бутылочку, раскупоришь и душу. Идем выпьем. От этого не отказываются.

— Нет, дело прежде всего.

«Я пропал», — подумал Фошлеван.

До маленькой аллейки, ведущей к уголку, где хоронили монахинь, оставалось всего лишь несколько шагов.

Могильщик заговорил снова:

— Деревенщина, у меня семеро малышей, которых надо прокормить. Чтобы они могли есть, я не должен пить.

И с удовлетворенным видом мыслителя, нашедшего нужное выражение, он присовокупил:

— Их голод — враг моей жажды.

Похоронные дроги обогнули купу кипарисов, свернули с главной аллеи и направились по боковой, затем, проехав прямо по траве, они углубились в чащу деревьев. Это

указывало на непосредственную близость места погребения. Фошлеван замедлял свои шаги, но не в силах был замедлить движение катафалка. К счастью, рыхлая и размытая зимними дождями земля налипала на колеса и затрудняла их ход.

Он приблизился к могильщику.

— Там есть такое отличное аржантейльское вино, — прошептал он.

— Поселянин, — снова заговорил человек, — мне бы не могильщиком быть. Мой отец был привратником в Пританэ. Он предназначал меня к литературной карьере. Но на него свалились всякие несчастья. Он проигрался на бирже. Я должен был отказаться от литературного поприща. Однако я и сейчас работаю общественным писцом.

— Значит, вы не могильщик? — воскликнул Фошлеван, цепляясь за эту, столь хрупкую, веточку.

— Одно не мешает другому. Я совмещаю.

Фошлеван не понял последнего слова.

— Идем выпьем, — сказал он.

Тут необходимо сделать замечание. Фошлеван, как ни велика была его тревога, предлагая выпить, насчет одного пункта умалчивал, а именно: кто будет платить? Обычно Фошлеван предлагал выпить, а дядюшка Метьен платил. Предложение выпить со всей очевидностью вытекало из нового положения, созданного новым могильщиком; сделать подобное предложение, конечно, было необходимо, но старый садовник преднамеренно оставлял пресловутые, так называемые раблезианские четверть часа во мраке неизвестности. Что касается его самого, Фошлевана, то, несмотря на все свое волнение, он и не думал раскошеливаться.

Могильщик продолжал, высокомерно улыбаясь:

— Ведь есть-то надо! Я согласился стать преемником дядюшки Метьена. Когда получаешь почти законченное образование, становишься философом. К работе пером я добавил работу заступом. Моя канцелярия на рынке, на Севрской улице. Вы его знаете? На Зонтичном рынке. Все кухарки из госпиталей Красного креста обращаются ко мне. Я стряпаю им нежные послания к солдатам. По утрам сочиняю любовные цыдулки, по вечерам — копаю могилы. Такова-то жизнь, селянин!

Похоронные дроги подвигались вперед. Фошлеван, тревога которого дошла до последнего предела, озирался по сторонам. Со лба у него катились крупные капли пота.

— А между тем, — продолжал могильщик, — нельзя служить двум господам. Придется сделать выбор между пером и заступом. Заступ портит мне почерк.

Дроги остановились.

Из траурной кареты вышел маленький певчий, за ним священник.

Одно из передних колес катафалка слегка задело кучку земли, по другую сторону которой виднелась отверстая могила.

— Вот так комедия! — растерянно повторил Фошлеван.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Меж четырех досок

Кто лежал в гробу? Мы знаем. Жан Вальжан.

Жан Вальжан устроился в нем так, чтобы сохранить жизнь, чтобы можно было, пусть с трудом, но дышать.

Удивительно, до какой степени от спокойствия совести зависит спокойствие человека вообще. Вся затея, придуманная Жаном Вальжаном, удавалась, и удавалась отлично со вчерашнего дня. Он, как и Фошлеван, рассчитывал на дядюшку Метьена. В благополучном исходе Жан Вальжан не сомневался. Нельзя вообразить положение более критическое; нельзя вообразить спокойствие более безмятежное.

От четырех гробовых досок веяло каким-то умиротворением. Казалось, спокойствие Жана Вальжана восприняло нечто от мертвого покоя усопших.

Из глубины этого гроба он мог следить, и следил, за всеми этапами той опасной игры, которую он вел со смертью.

Вскоре после того как Фошлеван приколотил верхнюю доску, Жан Вальжан почувствовал, что его понесли, а затем повезли. По более редким толчкам он почувствовал, что с мостовой съехали на утопанную землю, то есть проехали улицы и достигли бульваров. По

глухому стуку он догадался, что переезжает Аустерлицкий мост. При первой остановке он понял, что подъехали к кладбищу; при второй он сказал себе: «Вот могила».

Внезапно он почувствовал, что гроб приподнят руками, потом послышалось какое-то резкое трение о доски; он сообразил, что гроб обвязывают веревкой, чтобы спустить его в яму.

Затем у него как будто закружилась голова.

По всей вероятности, факельщик и могильщик покачнули гроб и опустили его вниз изголовьем. Жан Вальжан пришел окончательно в себя, когда почувствовал, что лежит прямо и неподвижно. Гроб коснулся дна могилы.

Он ощутил какой-то особенный холод.

Леденящий торжественный голос раздался над ним. Он услышал, как медленно, — так медленно, что он мог уловить каждое из них, — над ним произносились латинские слова, которых он не понимал:

«Qui dormiunt in terrae pulvere, evigilabunt: alii in vitam aeternam et alii in opprobrium; ut videant semper»¹.

И детский голос ответил:

«De profundis»².

Суровый голос продолжал:

«Requiem aeternam dona ei, Domine»³.

Детский голос ответил:

«Et lux perpetua luceat ei»⁴.

Он услышал, как по крышке гроба что-то мягко застучало, словно дождевые капли. Вероятно, гроб окропили святой водой.

Он подумал: «Это должно скоро кончиться! Еще немного терпения. Священник сейчас уйдет. Фошлеван уведет Метьена выпить. Меня оставят. Потом Фошлеван вернется один, и я выйду. На все это уйдет добрый час времени».

Суровый голос возгласил вновь:

«Requiescat in pace»⁵.

¹ «Спящие во прахе земли пробудятся: одни на вечную жизнь, а другие на вечное мучение; пусть всегда это помнят» (лат.).

² «Из глубины...» (лат.).

³ «Вечный покой даруй ему, господи» (лат.).

⁴ «И да светит ему вечный свет» (лат.).

⁵ «Да почит в мире» (лат.).

И детский голос ответил:

— Amen¹.

Жан Вальжан, напрягши слух, уловил нечто вроде звука удаляющихся шагов.

«Вот они и уходят, — подумал он, — я один».

Вдруг он услышал над головой звук, показавшийся ему раскатом грома.

То был ком земли, упавшей на гроб.

Упал второй ком.

Одно из отверстий, через которые он дышал, забилося землей.

Упал третий ком.

Затем четвертый.

Есть вещи превосходящие силы самого сильного человека. Жан Вальжан лишился чувств.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

из которой читатель уяснит, как возникла поговорка: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь»

Вот что происходило над гробом, в котором лежал Жан Вальжан.

Когда похоронные дроги удалились, когда священник и маленький певчий уселись в траурную карету и отъехали, Фошлеван, не спускавший глаз с могильщика, увидел, что тот нагнулся и схватил воткнутую в кучу земли лопату.

Тогда Фошлеван принял отчаянное решение.

Он стал между могилой и могильщиком, скрестил руки и сказал:

— Я плачú!

Могильщик удивленно взглянул на него.

— Что такое, деревенщина?

Фошлеван повторил:

— Я плачú!

— За что?

— За вино.

— Какое вино?

¹ Аминь (лат.).

— Аржантейльское.

— Где оно, твое аржантейльское?

— В «Спелой айве».

— Пошел к чорту! — выругался могильщик.

И сбросил в могилу лопату земли.

Гроб ответил глухим звуком. Фошлеван почувствовал, что земля уходит у него из-под ног и что он сам готов упасть в могилу. Он крикнул сдавленным, хриплым голосом:

— Приятель, поторопимся же, пока «Спелая айва» еще не закрыта!

Могильщик снова набрал на лопату земли. Фошлеван продолжал:

— Я плачú!

И он схватил могильщика за локоть.

— Послушайте-ка, приятель. Я монастырский могильщик, я пришел подсобить вам. Эго дело можно сделать и ночью. А сначала пойдем глотнем стаканчик.

И продолжая говорить, продолжая упорно, безнадежно настаивать, он в то же время мрачно раздумывал над следующим: «А вдруг он и выпьет, да не охмелеет?»

— Провинциал, если вам так этого хочется, я согласен, — сказал могильщик. — Выпьем. Но после работы, никак не раньше.

И он взялся за лопату. Фошлеван удержал его.

— Это аржантейльское вино, — по шесть су которое!

— Ах, вы, звонарь! — сказал могильщик. — Динь-дон, динь-дон, только одно и знаете. Пойдите прогуляйтесь.

И он сбросил вторую лопату земли.

Фошлеван дошел до такого состояния, что сам уже не понимал, что говорит:

— Да идемте же выпьем, — крикнул он, — ведь платить-то буду я!

— После того как уложим ребенка спать, — ответил могильщик.

И он сбросил третью лопату земли.

Затем, воткнув ее в землю, он добавил:

— Видите ли, сегодня ночью будет холодно, и покойница начнет звать нас, если мы бросим ее здесь без одеяла.

В это мгновение, набирая лопатой землю, могильщик нагнулся, и карман его блузы раскрылся.

Блуждающий взгляд Фошлевана случайно упал на этот карман и задержался на нем.

Солнце еще не скрылось за горизонтом; было достаточно светло, чтобы можно было разглядеть в глубине этого кармана что-то белое. Глаза Фошлевана блеснули так ярко, насколько это мыслимо для пикардийского крестьянина. Его вдруг осенила одна мысль.

Осторожно, чтобы могильщик, занятый лопатой, ничего не заметил, он запустил сзади руку к нему в карман и вытащил из этого кармана лежавший в нем белый предмет.

Могильщик сбросил в могилу четвертую лопату земли.

Когда он обернулся, чтобы набрать пятую, Фошлеван, взглянув на него с самым невозмутимым видом, сказал:

— Кстати, новичок, а пропуск у вас при себе?

Могильщик остановился.

— Какой пропуск?

— Но ведь солнце-то заходит.

— Ну и хорошо, пусть напаяливает на себя ночной колпак.

— Сейчас запрут кладбищенскую решетку.

— И что же дальше?

— А пропуск у вас при себе?

— Ах, пропуск! — понял могильщик.

И стал шарить в кармане.

Обшарив один карман, он принялся за другой. Затем перешел к жилетным карманам, обследовал один, вывернул второй.

— Нет, — сказал он, — у меня нет пропуска... Должно быть, забыл его дома.

— Пятнадцать франков штрафа, — заметил Фошлеван.

Могильщик позеленел. Зеленоватый оттенок означает бледность у людей с землистым цветом лица.

— О-Иисусе-Христе-сверни-шею-луне! — воскликнул он. — Пятнадцать франков штрафа!

— Три монеты по сто су, — уточнил Фошлеван.

Могильщик выронил лопату.

Теперь настал черед Фошлевана.

— Ну, ну, юнец, — сказал Фошлеван, — не горюйте. Из-за этого самоубийством не кончают, даже если готовая могила под боком. Пятнадцать франков — это всего-навсего пятнадцать франков, а кроме того, можно их и не уплачивать. Я стреляный воробей, а вы еще желторотый. Мне тут прекрасно известны все ходы, выходы, приходы, уходы. Я дам вам дружеский совет. Ясно одно: солнце заходит, оно достигло уже купола Инвалидов, через пять минут кладбище закроют.

— Это верно, — ответил могильщик.

— За пять минут вы не успеете засыпать могилу, она чертовски глубокая, эта могила, и не успеете выйти до того, как запрут решетку.

— Правильно.

— В таком случае, с вас пятнадцать франков штрафа.

— Пятнадцать франков!

— Но время не потеряно... Вы где живете?

— В двух шагах от заставы. Четверть часа ходьбы отсюда. Улица Вожирар, номер восемьдесят семь.

— Время не потеряно, если вы возьмете ноги в руки и уйдете отсюда немедленно.

— Это точно.

— Как только вы окажетесь за воротами, вы мчитесь домой, хватаете ваш пропуск, бежите обратно, привратник впускает вас. А раз у вас будет пропуск, ничего платить не придется. И тогда уже вы зароете вашего покойника. А я пока что постерегу его, чтобы он не сбежал.

— Я обязан вам жизнью, провинциал.

— Убирайтесь-ка поскорей, — сказал Фошлеван.

Вне себя от радости, могильщик потряс ему руку и пустился бежать.

Когда он скрылся в чаще деревьев и последний звук его шагов замер, Фошлеван нагнулся над могилой и сказал вполголоса:

— Дядюшка Мадлен.

Никакого ответа.

Фошлеван вздрогнул. Он не слез, а прямо скатился в могилу, припал к изголовью гроба и закричал:

— Вы здесь?

В гробу царила тишина.

Фошлеван, еле переводя дух, так его трясло, вынул из кармана долото и молоток и оторвал верхнюю доску у крышки гроба. В сумеречном свете перед ним появилось лицо Жана Вальжана, бледное, с закрытыми глазами.

У Фошлевана волосы на голове встали дыбом. Он поднялся, но вдруг, едва не упав на гроб, осел, привалившись к внутренней стенке могилы. Он взглянул на Жана Вальжана.

Жан Вальжан лежал недвижимо, мертвенно-бледный.

Фошлеван тихо, точно вздохнув, прошептал:

— Он умер!

И снова выпрямившись, он так яростно скрестил на груди руки, что сжатые кулаки ударили его по плечам.

— Так вот как я спас его! — вскричал он.

Бедняга принялся всхлипывать и разговаривать с самим собой. Ошибочно думать, что монолог не свойственен человеческой природе. Сильное волнение нередко говорит о себе во всеуслышанье.

— В этом виноват дядюшка Метьен, — причитал он. — С какой стати он умер, этот дуралей? Ну зачем понадобилось ему околевать, когда никто этого не ждал? Это он уморил господина Мадлена. Дядюшка Мадлен! Вот он лежит в гробу! Он достиг всего. Кончено! Ну разве во всем этом есть какой-нибудь смысл? Господи боже! Он умер! А его малютка, что мне с ней делать? Что скажет торговка фруктами? Чтобы такой человек и так умер! Господи, возможно ли это? Только подумать, что он подлез под мою телегу! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Ей-богу, он задохся, я ведь говорил. Он не хотел мне верить. Нечего сказать, хороша шуточка для ради конца! Он умер, такой славный человек, самый добрый из всех божьих людей. А его малютка! Ах! Во-первых, я не вернусь туда. Я остаюсь здесь. Отколоть такую штуку! И ведь надо же было двум старым людям дожить до таких лет, чтобы оказаться двумя старыми дураками. Как же он все-таки попал в монастырь? С этого и началось. Не следует проделывать такие вещи. Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Мадлен! Господин Мадлен! Господин мэр! Он не слышит. Ну попробуйте-ка теперь из этого выкрутиться!

И он стал рвать на себе волосы.

Издали из-за деревьев послышался пронзительный скрип. Запирали кладбищенскую решетку.

Фошлеван наклонился над Жаном Вальжаном и вдруг подскочил и отшатнулся назад, насколько это возможно было в могиле. У Жана Вальжана глаза были открыты, и они смотрели на него.

Видеть смерть жутко, видеть воскресение — почти так же жутко. Фошлеван точно окаменел: бледный, растерянный, потрясенный всеми этими чрезмерными волнениями, он не понимал, покойник перед ним или живой, и глядел на Жана Вальжана, а тот глядел на него.

— Я уснул, — сказал Жан Вальжан.

И он привстал на своем ложе.

Фошлеван упал на колени.

— Пресвятая дева! Ну и напугали вы меня!

Затем он поднялся и крикнул:

— Спасибо, дядюшка Мадлен!

Жан Вальжан был только в обмороке. Свежий воздух привел его в сознание.

Радость — это отлив ужаса. Фошлевану надо было затратить почти столько же сил, сколько Жану Вальжану, чтобы прийти в себя.

— Так вы не умерли! Ну, до чего ж вы умный! Я так долго звал вас, что вы вернулись! Когда я увидел ваши закрытые глаза, то я сказал себе: «Так, ну вот он и задохся!» Я помешался бы, стал бы настоящим буйным помешанным, на которого надевают смирительную рубашку. Меня бы посадили в Бисетр. А что мне было еще делать, если бы вы умерли? А ваша малютка? Вот уж кто ничего не понял бы, так это торговка фруктами. Ей сбрасывают на руки ребенка, а дедушка умирает! Ну что за история! Святители, что за история! Ах, вы живы, вот счастье-то!

— Мне холодно, — сказал Жан Вальжан.

Эти слова окончательно вернули Фошлевана к действительности, настойчиво о себе напоминавшей. Эти двое людей, даже придя в себя, продолжали, сами того не понимая, испытывать душевное смятение, в них говорило какое-то необычайное чувство, порожденное мрачной затерянностью этого места.

— Уйдем скорее отсюда! — воскликнул Фошлеван.

Он пошарил у себя в кармане и вытащил флягу, которой запасся заранее.

— Но сначала хлебните водочки, — сказал он.

Фляга довершила то, что начал свежий воздух. Жан Вальжан отпил глоток и вполне овладел собой.

Он вылез из гроба и помог Фошлевану снова заколотить крышку.

Через три минуты они выбрались из могилы.

Впрочем, Фошлеван был спокоен. Он не спешил. Кладбище было заперто. Неожиданного возвращения могильщика Грибье опасаться было нечего. Этот «юнец» находился у себя дома и разыскивал свой пропуск, который ему довольно трудно было найти, ибо он лежал в кармане у Фошлевана. Без пропуска вернуться на кладбище он не мог.

Фошлеван взял лопату, Жан Вальжан заступ, и оба закопали пустой гроб.

Когда могила была засыпана, Фошлеван сказал Жану Вальжану:

— Идем. Я беру лопату, а вы несите заступ.

Дело шло к ночи.

Жану Вальжану нелегко было двигаться и ходить. В этом гробу он окостенел и сам почти уподобился трупу. Среди четырех гробовых досок им овладела неподвижность смерти. Ему надо было, так сказать, оттаять от могилы.

— Вы окоченели? — спросил Фошлеван. — Как жаль, что я хромаю, а то мы потопали бы ногами, чтобы согреться.

— Пустяки! — ответил Жан Вальжан. — Два-три шага, и я снова научусь ходить.

Они направились теми же аллеями, по которым ехали погребальные дроги. Дойдя до запертой решетки и павильона привратника, Фошлеван, державший в руке пропуск могильщика, бросил его в ящик, привратник дернул за шнур, дверь открылась, и они вышли.

— Как все хорошо устраивается! Какая хорошая мысль пришла вам в голову, дядюшка Мадлен! — сказал Фошлеван.

Они спокойно миновали заставу Вожирар. В окрестностях кладбища лопата и заступ служат паспортами.

Улица Вожирар была пустынна.

— Дядюшка Мадлен, — сказал Фошлеван, подвигаясь вперед и всматриваясь в дома, — вы видите лучше моего. Покажите-ка мне, где номер восемьдесят седьмой?

— Вот как раз и он, — сказал Жан Вальжан.

— На улице никого нет, — продолжал Фошлеван. — Дайте мне заступ и подождите здесь минутку.

Фошлеван вошел в дом, поднялся на самый верхний этаж, повинуясь инстинкту, неизменно ведущему бедняка к чердачному помещению, и постучался в темноте в дверь мансарды. Чей-то голос ответил:

— Войдите.

То был голос Грибье.

Фошлеван толкнул дверь. Квартира могильщика, как все эти убогие жилища, представляла собою лишенную мебели тесную каморку. Какой-то ящик для упаковки товара — может быть, и гроб — служил комодом, горшок из-под масла — посудой для воды, соломенный тюфяк — постелью, вместо стульев и стола — плитчатый пол. В углу на дырявом обрывке старого ковра сидели, сбившись в кучку, худая женщина и несколько детей. Все в этой жалкой комнате носило следы домашней бури. Можно было подумать, что здесь произошло какое-то «комнатное» землетрясение. Крышки с кастрюль были сдвинуты с места, лохмотья разбросаны, кружка разбита, мать заплакана, дети, повидимому, избиты; всюду следы безжалостного, грубого обыска. Было очевидно, что могильщик совсем потерял голову, разыскивая свой пропуск, и возложил ответственность за пропажу на все, что находилось в каморке — от кружки до своей жены. Всем своим видом он выражал отчаяние.

Но Фошлеван слишком торопился к развязке приключения, чтобы обращать внимание на печальную сторону своего успеха.

Войдя, он заявил:

— Я принес вам ваши заступ и лопату.

Грибье изумленно взглянул на него.

— Это вы, поселянин?

— А завтра утром у кладбищенского привратника вы получите ваш пропуск.

И он положил на пол лопату и заступ.

— Что это значит? — спросил Грибье.

— Это значит, что вы выронили из кармана ваш пропуск, что, когда вы ушли, я его нашел на земле, что я похоронил покойницу, что я засыпал могилу, что я выполнил вашу работу, что привратник вернет вам ваш пропуск и что вы не будете платить пятнадцать франков штрафа. Так-то, новичок!

— Благодарю, провинциал! — вскричал восхищенный Грибье. — В следующий раз за выпивку плачу я!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Удачный допрос

Час спустя, поздним вечером, двое мужчин и ребенок подошли к дому номер 62 по улочке Пикпюс. Старший из мужчин поднял молоток и постучал.

Это были Фошлеван, Жан Вальжан и Козетта.

Оба старика зашли за Козеттой к торговке фруктами на улицу Зеленая дорога, куда Фошлеван доставил ее накануне. Все эти двадцать четыре часа Козетта провела, дрожа втихомолку от страха и ничего не понимая. Она так боялась, что даже не плакала. Она не ела, не спала. Почтенная фруктощица задавала ей тысячу вопросов, получая в ответ лишь все тот же угрюмый взгляд. Козетта ничего не выдала из того, что видела и слышала в течение этих двух дней. Она догадывалась, что происходит какой-то перелом в ее жизни. Она всем своим существом ощущала, что надо «быть умницей». Кто не испытал могущества трех слов, произнесенных с определенным выражением на ухо маленькому, напуганному существу: «Не говори ничего!» Страх нем. Впрочем, лучше всех хранят тайну дети.

Но когда после этих мрачных суток она вновь увидела Жана Вальжана, то испустила такой восторженный крик, что, услышь его человек вдумчивый, он угадал бы в нем счастье спасения из бездны.

Фошлеван жил в монастыре, и ему были известны условные слова. Все двери перед ним открылись.

Так была разрешена двойная и страшная задача: выйти и войти.

Привратник, которому дано было особое распоряжение, отпер маленькую служебную калитку со двора в сад, которую еще двадцать лет тому назад можно было видеть с улицы, в стене, в глубине двора, как раз против входных ворот. Привратник впустил всех троих через эту калитку, и они дошли до той внутренней, отдельной приемной, где накануне Фошлеван выслушал распоряжения настоятельницы.

Настоятельница ожидала их, перебирая четки. Одна из матерей-изборщиц, с опущенным на лицо покрывалом, стояла возле нее. Робкий огонек единственной свечи освещал, вернее, силился осветить, приемную.

Настоятельница произвела смотр Жану Вальжану. Всего зорче — взгляд из-под опущенных век.

Затем она стала его расспрашивать:

— Вы его брат?

— Да, честная мать, — ответил Фошлеван.

— Ваше имя?

Фошлеван ответил:

— Ультим Фошлеван.

У него действительно был когда-то брат Ультим, давно умерший.

— Откуда вы родом?

Фошлеван ответил:

— Из Пикиньи, близ Амьена.

— Сколько вам лет?

Фошлеван ответил:

— Пятьдесят.

— Какова ваша профессия?

Фошлеван ответил:

— Садовник.

— Добрый ли вы христианин?

Фошлеван ответил:

— В нашей семье все добрые христиане.

— Это ваша малютка?

Фошлеван ответил:

— Да, честная мать.

— Вы ее отец?

Фошлеван ответил:

— Я ее дедушка.

Мать-изборщица заметила настоятельнице вполголоса:

— Он отвечает разумно.

Жан Вальжан не произнес ни слова.

Настоятельница внимательно оглядела Козетту и тихонько сказала матери-изборщице:

— Она будет дурнушкой.

Обе монахини тихо побеседовали в углу приемной, затем настоятельница обернулась и проговорила:

— Дедушка Фован, вам дадут второй наколенник с бубенчиком. Теперь нужны будут два.

И правда, на следующий день в саду уже раздавался звон двух бубенчиков, и монахини не могли побороть искушения приподнять кончик своего покрывала. В глубине сада, под деревьями, двое мужчин бок о бок копали землю — Фован и кто-то другой. Событие из ряда вон выходящее! Молчание было нарушено до такой степени, что монахини даже стали сообщать друг другу: «Это помощник садовника».

А матери-изборщицы присовокупляли: «Это брат де-душки Фована».

Действительно, Жан Вальжан вступил в должность, согласно всем правилам; у него был кожаный наколенник и бубенчик; отныне он стал лицом официальным. Его звали Ультим Фошлеван.

Решающей причиной согласия принять его на службу явилось соображение настоятельницы относительно Козетты: «Она будет дурнушкой».

Предсказав это, настоятельница тотчас же почувствовала расположение к Козетте и зачислила ее бесплатной монастырской пансионеркой.

Это было вполне последовательно. Пусть в монастырях нет зеркал, но внутреннее чувство подсказывает женщинам, какова их внешность; поэтому девушки, сознающие свою красоту, неохотно постригаются в монахини. Так как степень склонности к монашеству обратно пропорциональна красоте, то больше надежд возлагается на уродов, чем на красавиц. Отсюда и вытекает живой интерес к дурнушкам.

Все это происшествие возвеличило добряка Фошлевана; он имел тройной успех: в глазах Жана Вальжана, которого он приютил и спас; в глазах могильщика Грибье, говорившего себе: «Он избавил меня от штрафа»; в глазах монастырской обители, которая, сохранив благодаря

ему гроб матушки Распятие под своим алтарем, обошла кесаря и воздала «богово богу». Гроб с телом усопшей покоился в монастыре Малый Пикпюс, а пустой гроб — на кладбище Вожирар. Конечно, общественный порядок был серьезно подорван, но никто этого не заметил. Что же касается монастыря, то его благодарность Фошлевану была очень велика. Фошлеван стал считаться лучшим из служителей и исправнейшим из садовников. При ближайшем же посещении монастыря архиепископом настоятельница рассказала обо всем его преосвященству, как будто бы и каясь слегка, но вместе с тем и похваляясь. Архиепископ, покинув монастырь, с одобрением шепнул об этом г-ну де Латиль, духовнику его высочества, впоследствии архиепископу Реймскому и кардиналу. На этом слава Фошлевана не остановилась, она дошла и до самого Рима. Мы собственными глазами видели записку папы Льва XII, адресованную к одному из его родственников, архиепископу, парижскому нунцию, носившему ту же фамилию делла Женга; в ней можно прочесть следующие строки: «Говорят, что в одном из парижских монастырей есть замечательный садовник и святой человек, по имени Фован». Но ни единого отзвука этой славы не достигло сторожки Фошлевана; он продолжал прививать, полоть, прикрывать от холода дынные грядки, не подозревая о своих высоких достоинствах и о своей святости. Он столько же знал о собственной славе, сколько знает о своей дургемский или сюррейский бык, изображение которого красуется в «Illustrated London News»¹, со следующей подписью: «Бык, получивший первый приз на выставке рогатого скота».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Жизнь в заточении

Козетта и в монастыре продолжала молчать.

Козетта, что было вполне естественно, считала себя дочерью Жана Вальжана. Но ничего не зная, она ничего и не могла рассказать, а если б и знала, все равно никому

¹ «Иллюстрированные лондонские новости» (англ.).

не сказала бы. Ничто так не приучает детей к молчанию, как несчастье, — мы недавно упомянули об этом. Козетта так много страдала, что боялась всего, даже говорить, даже дышать. Как часто из-за одного только слова на нее обрушивалась страшная лавина! Она понемногу начала приходить в себя лишь с тех пор, как попала к Жану Вальжану. Довольно быстро освоилась она с монастырем. Тосковала только по Катерине, но говорить об этом не осмеливалась. Как-то раз она все же сказала Жану Вальжану: «Если бы я знала, отец, то взяла бы ее с собой».

Сделавшись воспитанницей монастыря, Козетта обязана была носить форму пансионеров. Жану Вальжану удалось упросить, чтобы ему отдали сброшенную ею одежду. Это был тот самый траурный наряд, в который он передел ее, когда увел из харчевни Тенардье. Она его еще не совсем износила. Жан Вальжан запер это старое платье вместе с ее шерстяными чулками и башмачками в маленький чемодан, который умудрился себе раздобыть, пересыпав все камфорой и благовонными веществами, столь распространенными в монастырях. Этот чемодан он поставил на стул возле своей кровати, а ключ от него всегда носил при себе. «Отец, — однажды спросила его Козетта, — что это за ящик, который так хорошо пахнет?»

Дедушка Фошлеван, кроме славы, о которой мы только что говорили и о которой он не подозревал, был вознагражден за свое доброе дело: во-первых, он был счастлив, что оно удалось, а во-вторых, у него намного убавилось работы благодаря помощнику. Наконец, питая сильное пристрастие к табаку, он теперь мог нюхать его втрое чаще и с гораздо большим наслаждением, так как платил за него г-н Мадлен.

Имя Ультим у монахинь не привилось; они называли Жана Вальжана «другой Фован».

Если бы эти святые души обладали хотя бы долей проницательности Жавера, то заметили бы в конце концов, что всякий раз, когда приходилось отправляться за пределы монастыря по каким-нибудь надобностям, касающимся садоводства, то шел дряхлый, хворый, хромо́й Фошлеван-старший, а другой — никогда. Но потому ли, что взор, всегда устремленный к богу, не умеет шпионить,

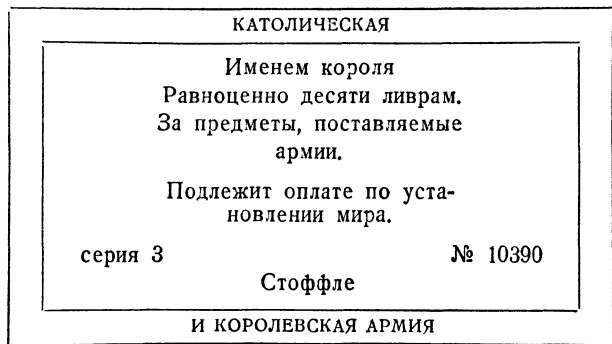
потому ли, что монахини предпочтительно были заняты тем, что следили друг за другом, они на это не обращали внимания.

Впрочем, счастье Жана Вальжана, что он оставался в тени, нигде не показываясь. Жавер целый месяц наблюдал за кварталом.

Этот монастырь для Жана Вальжана был словно окруженный безднами остров. Отныне эти четыре стены представляли для него вселенную. Там он мог видеть небо, — этого было достаточно для душевного спокойствия, и Козетту — этого было достаточно для счастья.

Для него вновь началась жизнь, полная отрады.

Он жил со стариком Фошлеваном в глубине сада, в сторожке. Этот домишко, построенный из всяких строительных отходов и еще существовавший в 1845 году, состоял, как известно, из трех совершенно пустых, с голыми стенами, комнат. Самую большую Фошлеван отдал, несмотря на упорное, но тщетное сопротивление Жана Вальжана, г-ну Мадлену. Стена этой комнаты, кроме двух гвоздей, предназначенных для наколенника и корзины, украшена была висевшим над камином роялистским кредитным билетом 1793 года, изображение которого мы здесь приводим.



Эта вандейская ассигнация была прибита к стене прежним садовником, умершим в монастыре старым шуаном, которого и заместил Фошлеван.

Жан Вальжан работал в саду ежедневно и был там очень полезен. Когда-то он работал подрезальщиком деревьев и охотно взялся снова за садоводство. Вспомним, что он знал множество разнообразных способов и секретов ухода за растениями. Он воспользовался ими. Почти все деревья в саду одичали; он привил их, и они вновь стали приносить превосходные плоды.

Козетте разрешено было ежедневно приходить к нему на час. Так как сестры были всегда мрачны, а он приветлив, то ребенок, сравнивая его с ними, обожал его. В определенный час девочка прибегала в сторожку. С ее приходом там воцарялся рай. Жан Вальжан расцветал, чувствуя, что его счастье возрастает от того счастья, которое он дает Козетте. Радость, доставляемая нами другому, пленяет тем, что она не только не бледнеет, как всякий отблеск, но возвращается к нам еще более яркой. В рекреационные часы Жан Вальжан издали смотрел на игры и беготню Козетты и отличал ее смех от смеха других детей.

Ибо Козетта теперь смеялась.

Даже личико Козетты изменилось. Оно утратило мрачное свое выражение. Смех — это солнце: оно прогоняет зиму с человеческого лица.

Когда по окончании рекреации Козетта убегала, Жан Вальжан глядел на окна ее класса, а по ночам вставал, чтобы поглядеть на окна ее дортуара.

Пути господни неисповедимы; монастырь, подобно Козетте, помог укрепить и завершить в Жане Вальжане тот переворот, доброе начало которому положил епископ. Не подлежит сомнению, что одной из своих сторон добродетель соприкасается с гордыней. Их связывает мост, построенный дьяволом. Быть может, Жан Вальжан бессознательно был уже близок именно к этой стороне и к этому мосту, когда провидение забросило его в монастырь Малый Пикпюс. Пока он сравнивал себя только с епископом, он чувствовал себя недостойным и был полон смирения; но с некоторых пор он начал сравнивать себя с прочими людьми, и в нем пробуждалась гордость. Кто знает? Быть может, он незаметно для себя научился бы вновь ненавидеть.

На этой наклонной плоскости его задержал монастырь.

Это было второе место неволи, которое ему пришлось увидеть. В юности, в те времена, которые можно назвать зарею его жизни, и позже, еще совсем недавно, он видел другое место, — отвратительное, ужасное место, суровость которого всегда казалась ему несправедливостью правосудия, беззаконием закона. Ныне после каторги перед ним предстал монастырь, и, размышляя о том, что он жил жизнью каторги, а теперь стал как бы наблюдателем монастырской жизни, он с мучительной тоской мысленно сравнивал их между собою.

Порой, облокотившись на заступ, он медленно, точно спускаясь по бескрайней винтовой лестнице, погружался в пучину раздумья.

Он вспоминал былых своих товарищей. Как они были несчастны! Поднимаясь с зарей, они трудились до глубокой ночи; им едва оставалось время для сна; они спали на походных кроватях с тюфяками не больше чем в два пальца толщиной, в помещениях, отапливаемых только в самые жестокие морозы; одеты они были в красные, ужасные куртки; из милости им позволяли надевать холщовые панталоны в сильную жару и шерстяные блузы в сильные холода; они пили вино и ели мясо только в те дни, когда отправлялись на особо тяжелые работы. Утратив свои имена, обозначенные лишь номером и как бы превращенные в цифры, они жили не поднимая глаз, не повышая голоса, обритые, под палкой, заклеянные позором.

Потом мысль его возвращалась к тем существам, которые были перед его глазами.

И эти существа также были острижены, жили также не поднимая глаз, не повышая голоса, и если не позор был их уделом, то людские насмешки, если спина их не была изранена палкой, то плечи истерзаны бичеванием. Их имена были также утрачены для мира; существовали они лишь под суровым условным прозвищем. Никогда не вкушали они мяса, никогда не пили вина; часто до самого вечера ничего не ели; одеты они были не в красные куртки, а в шерстяной черный саван, слишком тяжелый для лета, слишком легкий для зимы, и не имели права ничего от своей одежды убавить и ничего к ней добавить; не имели даже, в зависимости от времени года, ни холщо-

вого одеяния, ни шерстяной верхней одежды в запасе; и шесть месяцев в году они носили грубую шерстяную сорочку, от которой их лихорадило. Они жили не в помещениях, которые все же отапливались в жестокие морозы, а в кельях, где никогда не разводили огня; они спали не на тюфяках толщиной в два пальца, а на соломе. Наконец им даже не оставляли времени для сна; каждую ночь, когда, закончив дневные труды, изнеможенные, они, кое-как согревшись, начинали дремать, им надо было прерывать первый свой сон, чтобы молиться, преклонив колена, на каменном полу холодной темной часовни.

Бывали дни, когда каждое из этих созданий обязано было, поочередно, двенадцать часов подряд, стоять коленопреклоненным на каменных плитах пола или лежать, распростершись ниц на земле, крестом раскинув руки.

Те существа были мужчины; эти — были женщины.

Что сделали мужчины? Они воровали, убивали, нападали из-за угла, насиловали, резали. Это были бандиты, фальшивомонетки, отравители, поджигатели, убийцы, отцеубийцы. Что сделали эти женщины? Они ничего не сделали.

Там — разбой, мошенничество, воровство, насилие, разврат, человекоубийство, все виды кошунства, все разнообразие преступлений; здесь же — только невинность.

Невинность чистейшая, почти вознесенная в таинственном успении, еще тяготеющая к земле своей добродетелью, но уже тяготеющая к небу своею святостью.

Там — признания в преступлениях, поверяемые друг другу шопотом; здесь — исповедание в грехах, во всеуслышание. И какие преступления! И какие грехи!

Там — миазмы, здесь — благоухание. Там — нравственная чума, которую неусыпно стерегут, которую держат под дулом пушек и которая медленно пожирает зачумленных; здесь — чистое пламя душ, возженное на едином очаге. Там — мрак, здесь — тень; но тень, полная озарений, и озарения, полные лучезарного света.

Одно и другое — места рабства; но в первом — возможность освобождения, предел, всегда predetermined законом, наконец побег. Во втором — рабство пожизненное; единственная надежда — и лишь в самом отда-

ленном будущем — тот брезжащий луч свободы, который люди называют смертью.

К первому прикованы лишь цепями; ко второму прикованы своей верой.

Что исходит из первого? Неслыханные проклятия, скрежет зубовой, ненависть, отчаявшаяся злоба, яростный вопль против человеческого общества, хула на небеса.

Что исходит из второго? Благословение и любовь.

И вот в этих столь схожих и столь различных местах два вида существ, столь разных, совершали одно и то же дело — искупление.

Жан Вальжан хорошо понимал необходимость искупления для первых, — искупления личного, искупления собственного греха. Но он не мог понять искупления чужих грехов, взятого на себя этими безупречными, непорочными созданиями, и, содрогаясь, спрашивал себя: «Искупление чего? Какое искупление?»

И голос его совести отвечал: «Самый высокий пример человеческого великодушия — искупление чужих грехов».

Собственное наше мнение по этому поводу мы оставляем про себя, ибо являемся здесь лишь рассказчиком; мы просто становимся на точку зрения Жана Вальжана и передаем его впечатления.

Перед ним была высшая ступень самоотверженности, высочайшая вершина возможной добродетели; невинность, прощающая людям их грехи и несущая за них покаяние; добровольное рабство, приятие мученичества, страдание, о котором взывают души безгрешные, чтобы избавить от него души заблудшие; любовь к человечеству, поглощенная любовью к богу, но в ней не исчезающая и молящая о милосердии; кроткие, слабые существа, испытывающие муки тех, кто несет кару, и улыбающиеся улыбкой тех, кто взыскан милостью.

И тогда Жан Вальжан думал о том, что он осмеливался еще роптать!

Нередко он вставал среди ночи, чтобы внимать благодарственному песнопению этих невинных душ, несущих бремя сурового устава, и холод пробежал по его жилам, когда он вспоминал, что если те, кто были наказаны справедливо, и обращали свой голос к небу, то лишь для бого-

хульства и что он, несчастный, тоже восставал когда-то против бога.

Его поражало то, что и подъем по стене, и преодоленные ограды, и рискованная затея, сопряженная со смертельной опасностью, и тяжелое, суровое восхождение — все усилия, совершенные им для того, чтобы выйти из первого места искупления, были им повторены, чтобы проникнуть во второе. Не символ ли это судьбы его? Он глубоко размышлял над этим, словно внимая тихому, предупреждающему голосу самого провидения.

Этот дом был тоже тюрьмой и имел мрачное сходство с другим жилищем, откуда он бежал, однакоже никогда он не мог себе представить ничего подобного.

Он увидел вновь решетки, замки, железные засовы; кого же должны были они стеречь? Ангелов.

Он видел некогда, как эти высокие стены окружали тигров; теперь он видит их опять, но вокруг овечек.

Это было место искупления, а не наказания; между тем оно было еще суровее, угрюмее, еще беспощаднее, чем то, другое. Эти девственницы были еще безжалостней согнуты жизнью, чем каторжники. Студеный, резкий ветер, — ветер, леденивший когда-то его юность, пронизывал забраный решеткой, запертый на замок ястребиный ров; северный ветер, еще более жестокий и мучительный, дул в клетке голубиц. Почему?

Когда он думал над этим, то все существо его склонялось перед тайной непостижимо высокого.

При подобных размышлениях гордость исчезает. Он со всех сторон разбирал себя и, осознав свое ничтожество, не раз плакал над собой. Все, что вторглось в его жизнь в течение этих шести месяцев, возвращало его к святым увещаниям епископа: Козетта — путем любви, монастырь — путем смирения.

Порой, по вечерам, в сумерки, когда в саду никого не было, его можно было видеть в аллее, что возле часовни, стоящим на коленях под тем окном, в которое он заглянул в ночь своего прибытия, и повернувшись в ту сторону, где, как он знал, лежала расprostертой в искупительной молитве сестра-монахиня. И он молился, колено-преклоненный перед нею.

Казалось, перед богом он не осмеливается преклонить колена.

Все, что окружало его, — этот мирный сад, эти благоухающие цветы, эти дети, эти радостные возгласы, эти серьезные и простые женщины, этот тихий монастырь, — медленно овладевало им, и постепенно в душу его проникли тишина этого монастыря, благоухание этих цветов, мир этого сада, простота этих женщин, радость этих детей. И он думал, что то были два божьих дома, один вслед за другим приютивших его в роковые минуты его жизни: первый — когда все двери были закрыты для него и человеческое общество оттолкнуло его; второй — когда человеческое общество вновь стало преследовать его и вновь открывалась перед ним каторга; не будь первого, он вновь опустился бы до преступления, не будь второго, он вновь опустился бы в бездну страданий.

Вся душа его растворялась в благодарности, и он любил все сильнее и сильнее.

Так протекло много лет; Козетта подрастала.

КОММЕНТАРИИ

Стр 15 ...член Совета пятисот, выказавший себя сторонником 18 брюмера... — 18 брюмера VIII года по календарю Первой французской буржуазной революции (9 ноября 1799 г.) Наполеон Бонапарт произвел государственный переворот, изменивший форму диктатуры буржуазии: Законодательный корпус, состоявший из Совета пятисот и Совета старейшин, был разогнан, Директория упразднена и власть передана в руки трех консулов с Бонапартом во главе.

Стр 25. *Одни восхищаются ею, как де Местр; другие, подобно Беккарии, проклинают ее.* — Де Местр Жозеф (1753—1821) — реакционный французский писатель, проповедник господства католической церкви и всемирной власти папы. Беккариа Чезаре (1738—1794) — итальянский юрист и публицист, распространитель в Италии идей французского Просвещения. Ему принадлежит книга «О преступлениях и наказаниях», в которой он выступает против смертной казни.

Стр. 34. *Турнефор, Жюсье* — французские ученые-ботаники конца XVII и первой половины XVIII вв

Линней Шарль (1707—1778) — шведский ученый-натуралист, основоположник научной системы классификации растений.

Стр. 39 *Пиго-Лебрен* Шарль-Антуан (1753—1835) — французский писатель и драматург, автор многочисленных фривольных романов, пользовавшихся популярностью в 20-е годы XIX в.

Стр. 40. *Мы с вами — два авгура.* — *Авгуры* — жрецы у древних римлян, толковавшие волю богов. Выражение «смеющиеся авгуры» стало нарицательным для обозначения сговорившихся мошенников.

...*маркиз д'Аржанс, Пиррон, Гоббс и Нежон* *вовсе не плуты.* — *Маркиз д'Аржанс* — французский писатель XVIII в., близкий к энциклопедистам, философ-скептик. *Пиррон* — греческий философ

(ок. 365—275 гг. до н. э.), считавшийся родоначальником античного скептицизма. *Гоббс* Томас — английский философ-материалист (1588—1679). *Нежон* — последователь Дидро и его сотрудник по «Энциклопедии».

Угри Нидгема. — *Нидгем* — английский физик XVIII в.; утверждал, что в определенных условиях (при брожении) может происходить самопроизвольное зарождение живых организмов — угревидных телец, и считал это доказательством наличия в природе божественной силы. Вольтер в бытность свою в Англии осыпал Нидгема жестокими сарказмами.

Стр. 41. *Тертуллиан* (II—III вв.) — древнеримский богослов и юрист.

«*Монитор*» — газета, основанная в 1789 г. и дававшая отчет о политических событиях. Направление «*Монитера*» много раз менялось. В период Реставрации «*Монитор*» стал официальной газетой правительства Бурбонов.

Стр. 42. *Будь вы Сарданапалом, будь вы Венсен де Полем...* — *Сарданапал* — полубогатый ассирийский царь (IX в. до н. э.), которому приписывалась жизнь, полная роскоши и наслаждений. *Венсен де Поль* — французский миссионер XVI в.; церковная легенда изображает его праведником, образцом самоотречения.

Стр. 44. ...*Телемак, посвящаемый в рыцари Минервой...* — *Телемак* — сын Одиссея в поэме Гомера. В данном случае речь идет об иллюстрациях к популярному в начале XVIII в. политико-нравостроительному роману французского писателя Фенелона «*Приключения Телемака*» (1699).

Стр. 47. *Проскрипционные списки* — в древнем Риме списки лиц, объявленных вне закона (*proscriptio* — письменное объявление); во Франции во время Реставрации — списки участников революции, подлежавших изгнанию.

Стр. 53. *Картуш* — парижский бандит, главарь шайки, связанной с лицами из высших кругов общества; колесован на Гревской площади в Париже в 1721 г.

Стр. 56. ...*Боссюэ, распевавшем «Те Деум» по поводу драгонад*. — *Боссюэ* Жак-Бенинь — французский богослов и проповедник XVII в., идеолог абсолютной монархии. *Драгонады* — военные карательные экспедиции, которые посылал король Людовик XIV против гугенотов в 80-х годах XVII в.

Карье — уполномоченный Конвента, в 1793 г. беспощадно расправлялся с участниками контрреволюционного вандейского мятежа. *Монревель* (XVI в.) — кардинал-архиепископ в г. Безансоне, организатор религиозных преследований и массовых казней гугенотов.

Фукье-Тенвиль — видный деятель Первой французской буржуазной революции; в 1793 г. был общественным обвинителем в революционном трибунале. *Ламуаньон-Бавиль* — интендант Людовика XIV в провинции Лангедок, на юге Франции, один из главных инициаторов кровавых драгонад.

Мальяр — один из выдвинутых народом героев французской революции. В 1789 г. возглавлял штурм Бастилии; в 1792 г., во время сентябрьских казней заключенных в парижских тюрьмах врагов народа, был председателем стихийно возникшего народного трибунала. *Со-Таван* — французский маршал, принимавший личное участие в резне гугенотов в Варфоломеевскую ночь 1572 г.

«Отец Дюшен» — газета, издававшаяся вождем народных низов в период Первой французской буржуазной революции, главою клуба кордельеров Жаком-Рене Эбером. *Летелье* — отец маркиза де Лувуа (см. ниже), сановник короля Людовика XIV, подписавший приказ об отмене Нантского эдикта (см. примеч. к стр. 357) и фанатически преследовавший гугенотов.

Журдан-Головорез (настоящее имя Матье Жув) — в 1791 г. руководил подавлением католической реакции в Авиньоне, на юге Франции. *Маркиз де Лувуа* — военный министр Людовика XIV, проявлял чудовищную жестокость к населению завоеванного в 1689 г. Пфальца, к своим солдатам, а также к гугенотам.

Стр. 61. ...*скорее оказался бы ультрамонтаном, нежели галликанцем.* — *Ультрамонтаны* — сторонники подчинения французской церкви Риму и светской власти папы. *Галликанцы* — сторонники независимости французской церкви.

Стр. 62. *Сто дней* — время вторичного правления Наполеона после возвращения его во Францию с острова Эльбы в 1815 г.

Стр. 64. *«Лучше умереть... чем носить на сердце трех жаб!»* — Приняв введенный Наполеоном орден Почетного легиона, Бурбоны заменили изображение Наполеона на лицевой стороне ордена изображением Генриха IV, а на оборотной стороне вместо орла поместили три геральдические лилии (по контурам цветы отдаленно напоминали сидящих жаб, от которых, по одной версии, и происходил этот рисунок на гербе французских королей).

Стр. 65. *Омофор* — белое одеяние с черными крестами, которое римский папа посылал епископам как знак особого отличия.

Стр. 66. ...*с кувшином Перетты на голове...* — *Перетта* — персонаж басни французского писателя Лафонтена (XVII в.). Размечтавшись по дороге на рынок, как много добра накупит она на вырученные за молоко деньги, Перетта уронила кувшин, вместе с которым погибли все ее мечты.

Стр. 67. ...*пусть лже-Корнель написал «Тиридата»*... — *«Тиридат»* (1691) — эпигонская трагедия Кампистрона, название которой по звучанию напоминает трагедию «Митридат» (1673) Расина, принадлежащего, как и его современник Пьер Корнель, к классикам французской литературы.

...*военный Прюдом случайно выиграл битву*... — Жозеф Прюдом — персонаж книги Анри Монье «Мемуары Жозефа Прюдома» (1857), тип самодовольного, ограниченного буржуа; это имя стало нарицательным.

Стр. 73. ...*Сведенборг и Паскаль соскользнули в безумие*. — *Сведенборг* — шведский философ-мистик XVIII в., описывал свои галлюцинации. *Блез Паскаль* (1623—1662) — известный французский математик, физик и философ, к концу жизни страдал приступами душевного расстройства на почве религии.

Стр. 76. *Бухта Жуан*. — 1 марта 1815 г. Наполеон Бонапарт, бежавший с острова Эльбы, высадился в бухте Жуан на юге Франции.

Стр. 107. *Клод Ге украл хлеб; Жан Вальжан украл хлеб*... — В повести Гюго «Клод Ге» (1834) дан первый набросок истории Жана Вальжана.

Стр. 130. ...*увидел... маленького савояра*... — Беднейшее население Савойи каждую зиму массами отправлялось во Францию и бродило по селам и городам в поисках заработка.

Стр. 139. *1817 год был годом, который Людовик XVIII... называл двадцать вторым годом своего царствования*. — По конституции, «дарованной» Франции Бурбонами, первый год Реставрации (1814) провозглашался девятнадцатым годом «законного» царствования Людовика XVIII (считая от 1795 г., когда умер Людовик XVII). Этим актом Бурбоны как бы зачеркивали весь период революции и правления Наполеона.

Герцог Ангулемский — старший сын графа д'Артуа (впоследствии короля Карла X); командовал французскими роялистскими войсками при водворении на престол Людовика XVIII. В 1823 г. возглавил организованный Священным союзом поход против революционной Испании.

Стр. 140. *Потье, Одри* — французские комические актеры первой половины XIX в.

Г-жа Саки — акробатка; *Фориозо* — танцовщик на проволоке (начало XIX в.).

Делало — один из главарей роялистского мятежа против Конвента 13 вандемьера (5 октября 1795 г.); при Реставрации стал членом палаты депутатов.

Пленье, Карбоно и Толерон — организаторы бонапартистского тайного общества «Патриоты».

...Талейран в качестве епископа, а Луи в качестве дьякона. — Князь Шарль-Морис Талейран (1754—1838) — выдающийся французский дипломат, известный своей политической беспринципностью; в молодости был священником и получил сан епископа. Будучи активным участником первых событий революции, он действительно служил мессу во время празднования годовщины взятия Бастилии в 1790 г. *Аббат Луи* — барон Жозеф-Доминик Луи, впоследствии министр финансов Людовика XVIII.

...изображениями орлов и пчел... — Орлы, изображавшиеся на знаменах Наполеона, и золотые пчелы, вышитые на его мантии, считались символом наполеоновской империи.

Майское собрание — во времена феодализма сбор вассалов для обнародования каких-либо важных актов; во времена Ста дней — военный парад и торжественное собрание Законодательного корпуса, устроенные Наполеоном на Марсовом поле в Париже для оглашения новой конституции, в которой он либеральными уступками пытался привлечь народ на свою сторону.

Вольтер издания Туке. — Издатель-книгопродавец Туке, в прошлом офицер наполеоновской армии, выражал свое отрицательное отношение к режиму Реставрации тем, что издавал сочинения оппозиционных авторов, а также просветителей XVIII в. — Вольтера и Руссо.

...дела злополучного фрегата «Медуза», которое должно было покрыть позором Шомарея и славою — Жерико. — В 1816 г. французский фрегат «Медуза» потерпел крушение; из ста сорока восьми пассажиров, пытавшихся спастись на лодках и плотках, выжило девять. Капитан «Медузы» Шомарей был отдан под суд. Художник Жерико создал себе известность картиной «Плот Медузы»

Стр. 141. *Матюрен Брюно* — сын башмачника, выдававший себя за принца Наваррского (Людовика XVII); был сослан на каторгу в 1818 г.

Г-н Беллар блистал официальным красноречием. — Беллар — генеральный прокурор, прославившийся своей жестокостью во время белого террора Реставрации.

...Броэ, которому суждено было стать мишенью для сарказмов Поля-Луи Курье. — Броэ — прокурор, обвинитель на многих политических процессах периода Реставрации, в том числе и на процессе Поля-Луи Курье (1772—1825) — писателя-памфлетиста, выступавшего против феодальной реакции во Франции с резкой и остроумной сатирой.

Нашелся лже-Шатобриан в лице Маршанжи; лже-Маршанжи в лице д'Арленкура... — Маршанжи Луи-Антуан — автор реакционной эпопеи «Поэтическая Галлия» (1813), в которой подражал «Гению христианства» и «Мученикам» Шатобриана (см. примеч. к стр. 142). *Д'Арленкур* Шарль, виконт — третьестепенный плодовитый писатель эпохи Реставрации, автор поэмы «Каролеида», где он воспевал Бурбонов.

...е-жа Коттен была провозглашена лучшим писателем... — Коттен Софи (1773—1807) — французская писательница, автор чувствительных любовных романов, в том числе «Клары Альба» и «Матильды», — последний послужил сюжетом оперы «Малек-Адель» итальянского композитора Коста.

...Ангюлем должен был по праву пользоваться всеми преимуществами морского порта. — Ирония заключается в том, что город Ангюлем расположен не на море, а на реке Шаранте.

Франкони — содержатель цирка в Париже.

Г-н Паэр, автор «Агнезы»... — Паэр Фердинандо (1771—1839) — итальянский композитор, оперы которого ставились в Париже. «Агнеза» — лучшее его произведение.

«Желтый карлик» — литературно-театральный сатирический журнал, основанный в 1814 г. и закрытый в 1815 г. за поддержку Наполеона во время Ста дней.

Герцога Беррийского... где-то во мраке уже подстерегал Лувель... — Герцог Беррийский — второй сын графа д'Артуа (впоследствии французского короля Карла X), которого Бурбоны рассматривали как возможного наследника французского престола; был убит 13 февраля 1820 г. рабочим-шорником Пьером Лувелем. Этот террористический акт был вызван белым террором, свирепствовавшим в первые годы Реставрации, и повлек за собою усиление реакции.

Госпожа де Сталь (1766—1817) — известная французская писательница.

Мадмуазель Марс (1779—1847) — знаменитая французская актриса.

Стр. 142. *Формат их был ограничен, зато не ограничена свобода.* — Эта фиктивная «свобода» буржуазной печати сводилась к кратковременной отмене предварительной цензуры (восстановлена после убийства герцога Беррийского, в 1820 г.).

«Конституционалист» — одна из наиболее популярных газет «левой» (умеренно-либеральной) группировки буржуазии в период Реставрации.

Давид уже не был талантлив, Арно не был умен, Карно не был честен... — Давид Жан-Луи (1748—1825) — выдающийся француз-

ский художник-классицист, участник революции, член Конвента; при Реставрации жил в изгнании. *Арно* (1766—1834) — драматург и баснописец. *Карно* (1753—1823) — видный деятель Конвента и Комитета общественного спасения, убежденный противник политического деспотизма, изгнанный из Франции Бурбонами.

Сульт (1769—1851) — маршал наполеоновской армии, прославившийся в битве при Аустерлице и в сражениях в Испании.

...на пьедестале, ожидавшем статую Генриха IV... — В начале Реставрации Бурбоны усиленно создавали культ короля Генриха IV (годы правления: 1589—1610) как основателя их династии. В 1819 г. была восстановлена его статуя, низвергнутая во время революции.

«Надо написать Бако». — Барон Бако де Роман — ярый роялист, член реакционной «Бесподобной палаты» 1815—1816 гг.

Общество «Черной булавки» — тайное общество либеральных буржуа, оппозиционных Реставрации; судебный процесс над его участниками происходил в 1817 г.

Господин Деказ, до некоторой степени либерал... — Деказ — первый министр Людовика XVIII, лавировавший в начале Реставрации между либералами и ультрароялистами. Последние, стремясь свергнуть Деказа, организовали против него «Береговой заговор»; в последующие годы Деказ сам стал одним из крайних реакционеров.

Шатобриан Франсуа-Рене, виконт (1768—1848) — французский писатель-реакционер, выступавший против просветительской литературы и философии XVIII в. («Опыт о революциях», «Гений христианства»), глава реакционного романтизма (повести «Рене» и «Атала»).

Стр. 143. *...критика отдавала предпочтение Лафону перед Тальма.* — Франсуа-Жозеф Тальма (1763—1826) — знаменитый трагический актер, выдвинувшийся в период революции. Лафон — также крупный актер; выступал после Тальма.

Де Фелец подписывался буквой А; Гофман — буквой Z, — Гофман Франсуа — французский журналист, критик и драматург. Фелец Шарль-Мари — критик; в 1817 г. оба играли видную роль в газете «Журналь де Деба», занимавшей тогда роялистские позиции.

Шарль Нодье (1780—1844) — французский писатель, одна из центральных фигур романтического движения начала 20-х годов XIX в.

Римский король. — Единственный сын Наполеона и дочери австрийского императора Марии-Луизы при рождении получил титул

короля Римского; после падения Наполеона он был отправлен вместе с матерью в австрийский замок Шенбрунн, недалеко от Вены, где жил под именем герцога Райхштадтского.

Дом инвалидов — дворец на левом берегу Сены, построенный в XVII в. королем Людовиком XIV для дворян, получивших увечья в сражениях. В XIX в. там помещались библиотека и военный музей.

Тренкелас — второстепенный политический деятель, реакционер.

Клозель де Кусерг (член парламента), *Клозель де Монталь* (священник) — два брата, реакционные политические деятели времен Реставрации, ультрароялисты.

Салабери Шарль — один из организаторов белого террора в начале Реставрации.

Пикар Луи-Франсуа — популярный в годы Реставрации французский актер и драматург.

Кюнье де Монтарло — политический деятель периода Реставрации, находившийся в либеральной оппозиции к правительству Бурбонов, участник двух заговоров против них. Сражался на стороне испанцев против войск герцога Ангулемского и был расстрелян последним в 1824 г.

Фабвье, Баву — либеральные профессора-юристы, популярные среди студенчества Парижа в 20-е годы XIX в.

Шарль Луазон — реакционный литератор, представил на конкурс во Французскую академию сборник стихов, посвященных Людовику XVIII.

Стр. 144. В Академии наук восседал знаменитый *Фурье*... — Имеется в виду барон Жан-Батист-Жозеф *Фурье* (1768—1830), выдающийся геометр, однофамилец великого утописта.

Давид д'Анже Пьер-Жан (1788—1856) — выдающийся французский скульптор.

Ламенне Фелисите-Робер (1782—1854) — один из главных теоретиков и деятелей христианского социализма 30—40-х годов XIX в.

Сен-Жерменское предместье и Марсанский павильон... — *Сен-Жерменское предместье* — аристократический район Парижа. *Марсанский павильон* — крыло королевского дворца Тюильри, где при Реставрации жил герцог Беррийский; постоянное место сборищ крайних реакционеров (ультрароялистов).

Стр. 145. *Руайе-Коллар* — глава политической группы «доктринеров» — умеренных монархистов в годы Реставрации.

Блюхер — прусский фельдмаршал времен наполеоновских войн, игравший видную роль в сражении при Ватерлоо.

Стр. 146. *Веллингтон* Артур — английский полководец и реакционный политический деятель; в сражении при Ватерлоо командо-

вал объединенными силами Англии, Голландии, Ганновера и Брауншвейга против Наполеона.

Стр. 151. *Кипсеки* (англ.) — альбомы сентиментальных рисунков и стихов, дарившиеся на память.

Стр. 155. «*Отплытие на Киферу*» — картина Ватто (1684—1721), крупнейшего художника французского рококо, известного галантными сюжетами. *Ланкре* — друг Ватто, живописец того же направления, прозванный «художником галантных празднеств».

Д'Юрфе Оноре — французский писатель XVII в., автор жеманных пасторальных романов. *Друиды* — жрецы древних кельтов.

Стр. 156. ...*Тюркаре, преобразившегося в Приапа*. — *Тюркаре*, разбогатевший лакей, ставший откупщиком, — персонаж одноименной комедии Лесажа (1807). *Приап* — бог сладострастия в греческой мифологии.

Грез Жан-Батист (1725—1805) — известный французский художник, автор сентиментальных картин из буржуазного быта и серии женских головок.

Стр. 159. *Дайте ему пику, и вы увидите 10 августа...* — 10 августа 1792 г. — день народного восстания, в результате которого Франция была объявлена республикой.

Кавдинское ущелье — место решительного сражения, в ходе которого римская армия была разбита самнитами (321 г. до н. э.).

Стр. 161. *Гримо де ла Реньер вполне согласен на этот счет с Талейраном*. — Речь идет о циничном изречении Талейрана, обращенном к политикам: «Главное, поменьше усердия». *Гримо де ла Реньер* — французский литератор конца XVIII — начала XIX вв., автор восьмитомного шуточного «Альманаха гурманов».

Стр. 163. ...*во-время принять героическое решение и отречься, как Сулла или как Ориген*. — *Сулла* Луций Корнелий (138—78 гг. до н. э.) — римский полководец и государственный деятель, известен в истории как жестокий узурпатор. За год до смерти Сулла отказался от власти и вернулся к частной жизни. *Ориген* — христианский философ II—III вв.; во время гонения на Александрийскую церковь в 216 г. удалился в Палестину.

Стр. 167. *Дезожье* — автор водевилей и песенок, возглавлявший в начале XIX в. веселые сборища литературного кружка «Современный погребок». В числе прочих там присутствовал поэт Беранже.

Стр. 168. *Беркен* Арно — французский писатель конца XVIII — начала XIX вв., составивший себе популярность религиозно-моралистическими сочинениями для детей. *Бершу* Жозеф — второстепенный поэт того же времени, автор шуточной поэмы «Гастрономия».

Апулей Луций (II в.) — древнеримский писатель, автор романа «Метаморфозы, или Золотой осел», где дана широкая картина нравов и суеверий эпохи.

Аспазия — подруга правителя Афин Перикла (V в. до н. э.), славилась умом и красотой. Вокруг нее собирались виднейшие люди того времени, в том числе был и философ Сократ.

Стр. 169. *Манон Леско* — обольстительная куртизанка, героиня романа французского писателя аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1733).

Стр. 172. «*Мы несемся в объятия Лафита на крыльях Кальяра*» — то есть к богатству через юридическую карьеру. *Лафит* — парижский банкир, сыгравший видную роль в возведении на трон «короля-буржуа» Луи-Филиппа Орлеанского. При Июльской монархии возглавлял министерство, затем был министром финансов. *Кальяр* — адвокат XVII в. В погоне за богатством брался за самые сложные дела.

Стр. 174. *Гомер сковал бы ею Полифема, а Шекспир — Калибана*. — *Полифем* — одноглазый великан, циклоп («Одиссея»); *Калибан* — безобразное чудовище («Буря» Шекспира).

Стр. 183. ...старый классический роман уже спустился от «*Клелии*» к «*Лодоиске*»... — «*Клелия*» — роман французской писательницы-аристократки XVII в. мадмуазель Скюдери, являвшийся руководством галантного обхождения и салонной игры в любовь. «*Лодоиска*» — сочинение Фильета-Лоро, давшее сюжет для одноименных опер Крейцера и Керубини.

Госпожа де Лафайет — французская писательница XVII в.; автор психологических любовных романов.

Памела — героиня одноименного романа английского писателя Ричардсона (1740), олицетворение буржуазной добродетели.

Стр. 184. *Дюкре-Дюминиль* — автор бульварных романов, комедий и мелодрам, широко популярных во Франции в начале XIX в.

Стр. 188 *Гагат* — разновидность каменного угля, служащая материалом для мелких изделий и украшений.

Стр. 249. *Лазаристки, урсулилки, кармелиты* — монашеские ордена, распространенные во Франции.

Стр. 257. ...сонмища призраков, как у Мильтона, и фантасмагорические круги, как у Данте. — *Мильтон Джон* (1608—1676) — поэт и активный участник английской буржуазной революции; в своей поэме «Потерянный рай» он изображает восстание адских сил во главе с сатаной против небесного самодержца. *Фантасмагорические*

круги. — Великий итальянский поэт Данте Алигьери в своей поэме «Божественная комедия» изобразил ад в виде воронки, разделенной на концентрические круги.

Стр. 312. *Антономазия* — риторическая фигура, заменяющая имя собственное описательным выражением, а имя нарицательное — собственным.

БОЗЕТТА

Стр. 352. *Жером* Бонапарт — младший брат Наполеона, возведенный им в 1807 г. на трон Вестфальского королевства.

Стр. 356. *Ленотр* — садовод-декоратор XVII в., устроитель королевских садов Версаля, Фонтенебло и др., установивший стиль так называемых «французских» парков.

Стр. 357. *Нантский эдикт* — эдикт, изданный 13 апреля 1598 г. королем Генрихом IV, формально завершивший период религиозных войн во Франции; католицизм признавался государственной религией, но протестантам (гугенотам) предоставлялась свобода вероисповедания и богослужения (за исключением Парижа и некоторых других городов). Отмена Нантского эдикта Людовиком XIV в 1685 г. вызвала массовую эмиграцию гугенотов.

Стр. 358. *Абукир* — деревня на египетском побережье, место морского сражения 1 августа 1798 г., в котором англичане уничтожили французский флот и отрезали войска Бонапарта от Франции.

Стр. 364. *Сальватор Роза* (1615—1673) — итальянский художник, автор ряда батальных полотен. *Грибоваль* — французский военный инженер второй половины XVIII в., внесший ряд усовершенствований в артиллерию.

Стр. 365. *Вандермелен* (1634—1690) — художник фламандской школы, придворный живописец Людовика XIV, специализировавшийся на батальном жанре; писал картины, отличавшиеся скрупулезной точностью деталей и портретным сходством персонажей.

Это-то и дает право Фолару противоречить Полибию. — *Фолар* (1669—1752) — французский стратег, автор «Комментария к «Всеобщей истории» греческого историка *Полибия* (III—II вв. до н. э.), где описываются войны древних римлян, их военный строй и дисциплина.

Стр. 367. *Шарас* Жан-Батист (1810—1865) — французский военный писатель, враг бонапартизма. После государственного переворота Луи Бонапарта был изгнан из Франции, одновременно с Гюго, и также подвергался преследованиям со стороны европейской реакции. Почти одновременно с «Отверженными» в Брюсселе была издана

книга Шараса — «История кампании 1815 года», представляющая собой первую серьезную попытку разоблачить наполеоновскую легенду. В описании и истолковании сражения при Ватерлоо Гюго опирался на известные ему труды Шараса и одновременно полемизировал с ним.

Стр. 368. ...*кричал Веллингтон своим старым боевым товарищам по Талавере, Виттории и Саламанке.* — В период войн Наполеона в Испании английские войска под командованием Веллингтона сражались на стороне испанцев против французских войск. В битвах при *Талавере* (1809), *Виттории* (1813) и *Саламанке* (1812) французы отступили перед войсками Веллингтона.

Стр. 369. ...*Помпею не суждено было плакать, но достоверно, что Цезарь смеялся.* — Гней Помпей (106—48 гг. до н. э.), римский полководец и государственный деятель, представитель реакционных слоев древнеримского общества, был побежден Юлием Цезарем в результате упорной и кровавой гражданской войны.

Стр. 375. ...*бесполезный маневр Пирэ...* — Генерал Ипполит Пирэ в сражении при Ватерлоо командовал кавалерией на правом фланге наполеоновской армии. Ему удалось вывести свое подразделение из-под удара и направить его к Парижу. По пути, недалеко от Версаля, Пирэ разгромил отряд прусских гусар, что было бесполезно ввиду поражения при Ватерлоо.

...*опоздание Груши.* — Груши Эммануэль — маршал Наполеона, в сражении при Ватерлоо командовал резервной кавалерией и получил приказ преследовать пруссаков, разбитых 16 июня при Линьи. Благодаря ряду случайностей Блюхер успел оторваться от Груши и прибыл 18 июня на поле битвы при Ватерлоо на помощь англичанам, прежде чем Груши соединился с Наполеоном. Последний считал поэтому Груши виновником своего поражения.

Стр. 376. ...*у кого были позади Березина, Лейпциг и Фонтенебло...* — Переправа через *Березину* (ноябрь 1812 г.), в ходе которой погибло 10 тысяч французских солдат, завершила разгром наполеоновской армии во время отступления из России. Сражение при *Лейпциге* 16—19 октября 1813 г. («битва народов») между армией Наполеона и войсками союзников закончилось отступлением Наполеона, потерявшего около 65 тысяч человек; 6 апреля 1814 г., после капитуляции Парижа перед сотысячной армией союзников, в замке *Фонтенебло* Наполеон подписал свое отречение от престола, после чего был отправлен на о. Эльбу.

Это явилось бы мщением за Креси, Пуатье, Монплаке, Рамилы. — Во время Столетней войны с Англией в сражениях при *Креси* (1346) и при *Пуатье* (1356) французские войска были разбиты

англичанами. Во время так называемой войны за испанское наследство войска французского короля Людовика XIV потерпели жестокие поражения в битвах с английскими войсками при *Монплаке* (1709) и при *Рамильи* (1706).

Победитель при Маренго зачеркивал Азенкур. — Имеется в виду победа наполеоновских войск над австрийцами 14 июня 1800 г. в битве при *Маренго*. 25 октября 1415 г. английский король Генрих V в сражении при *Азенкуре* наголову разбил превосходящие силы французов.

Стр. 378. *Недоставало Мюрата, но Ней был тут.* — Иоахим Мюрат (1767—1815) — маршал наполеоновской армии, стал шурином Наполеона и был посажен им на престол Неаполитанского королевства. При известии о бегстве Наполеона с о. Эльбы Мюрат неожиданно выступил против австрийцев и был разбит раньше, чем сам Наполеон начал военные действия. Наполеон считал, что выиграл бы сражение при Ватерлоо, если бы армия Мюрата была с ним. *Ней* — см. примеч. к стр. 389.

Стр. 382. *Шотландцы умирали с мыслью о Бен Лотиане, подобно грекам, вспоминаям об Аргосе.* — *Лотиан* — коренная область Шотландии, которая названа здесь как символ родины для шотландцев, так же как город *Аргос* для древних греков.

Стр. 383. *...порозила Клинтон, видевшего Талаверу и Бадахос.* — *Талавера* — см. примеч. к стр. 368. *Бадахос* — испанский город, ставший местом ожесточенного сражения войск не покорившейся Наполеону Испании с французскими войсками.

Стр. 385. *Паника... докатилась до принца Конде в Мехельне и Людовика XVIII — в Генте.* — *Принц Конде* (Луи-Жозеф Бурбон) был командующим контрреволюционной армией французских дворян-эмигрантов. Людовик XVIII назначил его начальником всех пехотных войск. *Гент* — бельгийский город, куда бежал Людовик XVIII во время Ста дней.

Железный герцог — прозвище Веллингтона.

Стр. 387. *Бюлов Фридрих-Вильгельм* — прусский генерал, в битве при Ватерлоо атаковавший правый фланг французских войск.

Стр. 389. *...ты уцелел, чтобы пасть от французских пуль!* — Имеется в виду Мишель *Ней* (1769—1815) — маршал Наполеона, участник всех крупнейших его походов; перед отречением Наполеона перешел на сторону Бурбонов. Во время Ста дней вместе с группой королевских войск снова перешел к Наполеону и сражался при Ватерлоо на его стороне. После вторичного падения Империи бежал в Швейцарию, но был схвачен и 7 декабря 1815 г. расстрелян по приговору палаты пэров.

Стр. 392. *Ульм, Ваграм, Иена и Фридланд* — сражения, в которых Наполеон одержал победу. При *Ульме* (20 октября 1805 г.) капитулировала австрийская армия; при *Ваграме* (5—6 июля 1809 г.) были также разгромлены австрийские войска; в сражении при *Иене* (14 октября 1806 г.) была фактически уничтожена прусская армия; в сражении под *Фридландом*, близ Кенигсберга (14 июня 1807 г.), Наполеон разбил русские войска под командованием Беннигсена.

Камброн — один из наиболее близких к Наполеону офицеров. Стал генералом, сопровождал Наполеона на о. Эльбу и принимал активное участие в организации его возвращения во Францию; командуя гвардейским подразделением, погиб при Ватерлоо.

Стр. 393. *...сделать из последнего слова первое...* — Современные Гюго историки утверждали, что Камброн ответил иначе: «Гвардия умирает, но не сдается». Гюго отвергал эту версию, считая ее приукрашиванием исторического факта. В материалах к роману имеется следующая заметка: «Камброн. Почему я поместил его бранное слово? Оно по праву вошло в мою книгу. Это отверженное среди слов. Но приходит день, когда, возвысившись до героизма, оно превращается в снаряд. Презираемое слово совершает великое деяние. Я констатирую факт».

Стр. 394. *...как Руже де Лиль нашел «Марсельезу»...* — Музыка и слова революционной песни «Марсельеза» были сочинены в порыве патриотического одушевления французским саперным капитаном *Руже де Лилем* в ночь на 24 апреля 1792 г. в Страсбурге при получении известия о создании коалиции европейских держав против революционной Франции.

Клебер — французский генерал, принимавший участие в египетской экспедиции Бонапарта и затем ставший главнокомандующим французскими силами в Египте.

Стр. 397. *Веллингтон — это Барем войны...* — *Барем* (XVII в.) — автор «Книги ведения счетов», ряда «руководств» по денежным операциям и стихотворной «Похвалы деньгам». Во Франции его имя стало нарицательным для обозначения умелого пользования прикладной арифметикой.

Старая сова спасовала перед молодым ястребом. — В 1796 г., во время войны в Италии, Наполеон трижды разбил австрийского генерала Вурмсера, закрепив этим успешное начало своей карьеры.

Стр. 400. *Филиппские поля* — очевидно, имеется в виду битва при Филиппах в Македонии во время гражданской войны в древнем Риме (42 г. до н. э.), в которой Брут был разбит Антонием и Октавианом. Свидетелем этого сражения был поэт Гораций (а не Вергилий, как сказано у Гюго).

Это штурм 14 июля 1789 года путем атаки 20 марта 1815 года... — 14 июля 1789 года — день взятия Бастилии; 20 марта 1815 года — день вступления Наполеона в Париж, после возвращения его с о. Эльбы.

Стр. 401. *Бонапарт сажает на неаполитанский престол фореятора, а на шведский — сержанта...* — Маршал Мюрат, возведенный на неаполитанский престол в 1808 г., был сыном трактирщика и начал свою военную карьеру рядовым солдатом. Маршал Наполеона Бернадот, сын адвоката и в прошлом также рядовой солдат, в конце 1810 г. был избран регентом, а в 1818 г. вступил на шведский престол (под именем Карла XIV).

Фуа повержен наземь у Гугомона — и вновь поднимается на трибуне. — Генерал наполеоновской армии Максимилиан Фуа, раненный в сражении при Ватерлоо, при Реставрации вошел в палату депутатов, где занял видное место как оратор либеральной оппозиции (речь о свободе личности и свободе печати, 1820).

Стр. 403. *Хороводы 8 июля изгладил из памяти восторги 20 марта.* — 8 июля — вступление в Париж Людовика XVIII после Ста дней; 20 марта 1815 г. — см. примеч. к стр. 400.

Беарнец — прозвище Генриха IV, который был родом из провинции Беарн.

Еловый стол из Гартвелла... — Гартвелл — замок в 60 км. от Лондона, где много лет жил Людовик XVIII Бурбон до своего восшествия на французский престол.

Бувин — место сражения 27 июля 1214 г., в котором французский король Филипп II Август разбил германского императора Оттона IV. *Фонтенуа* — бельгийская деревня; 11 мая 1745 г., во время войны за австрийское наследство, французские войска под предводительством Мориса Саксонского опрокинули здесь и обратили в бегство англо-ганноверское войско.

Трестальон — один из главарей монархических банд, свирепствовавших в южных провинциях Франции во время белого террора в 1815 г.

...испытывая некоторый стыд перед Маренго и Арколем, выпуталась из положения с помощью статуи герцога Ангулемского. — Победы Наполеона при Маренго (см. примеч. к стр. 376) и при Арколе (в Италии, в 1796 г.) противопоставляются здесь карательной экспедиции герцога Ангулемского в революционную Испанию (см. примеч. к стр. 139).

Герцог Энгиенский — принц из династии Бурбонов, был расстрелян Наполеоном в ночь на 15 марта 1804 г.

Римский король — см. примеч. к стр. 143.

Стр. 404. *...уповая на 14-ю статью...* — Статья 14 Хартии Людовика XVIII устанавливала, в числе других прав короля, право распределять все государственные должности.

Стр. 405. *Англия приказала сторожить Бонапарта Гудсону Лоу, а Франция поручила следить за ним Моншеню.* — Гудсон Лоу — губернатор острова св. Елены, куда был сослан Наполеон. Для надзора за Наполеоном на острове постоянно находились четыре представителя европейских держав, в том числе маркиз де Моншеню, уполномоченный Франции.

Стр. 415. *Виллель* — ставленник крайних роялистов, с 1821 по 1827 г. возглавлял реакционное министерство при Людовике XVIII и Карле X.

Стр. 417. *Роджер Бэкон* (ок. 1214—1294) — английский ученый, один из крупнейших средневековых естествоиспытателей.

Стр. 421. *Принц Кариньяне* — представитель рода князей Савойских; в 1823 г. принимал участие в походе герцога Ангулемского против Италии для подавления национально-освободительного движения. В 1831 г. под именем Карла-Альберта вступил на королевский престол Сардинии. Несмотря на свою репутацию либерального короля, жестоко разгромил республиканское движение «Молодой Италии» (1843).

...о трехцветном знамени, развевавшемся на чужбине над героической горсточкой французов... — Во время похода герцога Ангулемского в Испанию в 1823 г. группа французских республиканцев присоединилась к испанским патриотам и сражалась под трехцветным знаменем против французских роялистских войск.

...подобно тому как развевалось тридцать лет тому назад в Кобленце белое знамя... — Кобленц — крепость в Рейнской провинции Пруссии, ставшая во время Первой французской буржуазной революции местом сбора эмигрантов-монархистов, центром борьбы против Французской республики. *Белое знамя* — знамя Бурбонов.

Стр. 422. *Палафокс* — вождь революционного гарнизона крепости Сарагосса, прославившейся героическим сопротивлением французским войскам во время Испанской революции 1808 г.

...лучше видеть перед собой Растопчина, чем Баллестероса. — *Растопчин* в данном случае произвольно взят Гюго как олицетворение Отечественной войны русского народа против Наполеона в 1812 г. Наполеоновские войны с Россией и с Испанией, в которых французская армия потерпела поражение, противопоставляются легким победам французов в Испании в 1823 г., когда испанское реакционное дворянство и духовенство, в страхе перед народной революцией, открывало ворота крепостей сотысячной французской армии,

пользуясь слабостью временного буржуазного правительства, возглавлявшегося Франциско *Баллестеросом*.

Стр. 424. *Рюитер* Андриансон — прославленный голландский адмирал XVII в.

Стр. 448. *Шуази-ле-Руа* — королевский замок в окрестностях Парижа.

Стр. 490. *Госпожа Дюбарри* — всесильная фаворитка Людовика XV.

Стр. 491. ...*Ульбах поразил кинжалом пастушку из Иври*... — В 1827 г. слуга пригородного парижского кабачка Оноре Ульбах убил отвергнувшую его невесту, прозванную «пастушкой из Иври». Вокруг ее образа возникла легенда; ей был поставлен памятник на Жаворонковом поле.

Сальпетриер — большая женская больница в Париже с отделением для умалишенных и убежище для престарелых; основанная в XVII в., долгое время являлась местом заключения для проституток и воровок.

Бисетр — старинная мужская больница в Париже с психиатрическим отделением и дом призрения; основан был как исправительный дом для нищих и бродяг.

Стр. 511. ...*именует Институт «Четырмя нациями», а Комическую оперу — «Федо»*... — По завещанию кардинала Мазарини в 1688 г. был открыт «Коллеж четырех наций», где обучались 15 итальянцев, 15 эльзасцев, 15 фламандцев и 15 руссильонцев. Во время революции коллеж был закрыт, и здание его в 1806 г. передано *Институту* (объединению академий). *Федо* — старое название театра Комической оперы (по его местоположению на улице Федо).

Стр. 511—512. *Малый Пикпюс*. — За одной из монашеских конгрегаций францисканского ордена укрепилось название «Пикпюс» — по деревне Пикпюс, примыкавшей к Сент-Антуанскому предместью Парижа, в которой находились главные учреждения конгрегации.

Стр. 512. *Ворота Сен-Жак*. — Во времена Гюго сохранились застава, улица и башня церкви Сен-Жак. *Застава сержантов* — павильон, где нотариусы, называвшиеся в старину сержантами, поджидали клиентов. *Свинари* (Porcherons) — поселок за парижской городской заставой, застроенный кабачками; в XVIII в. — модное место увеселений ремесленников, гризеток и даже светского общества. Впоследствии здесь возникло предместье Монмартр. *Молотки* (Mails) — название произошло от деревянных молотков для игры шарами; Молотками называлось также самое место игры, обычно окруженная деревьями площадка или аллея, которая использовалась для прогулок. *Грязи* (Bourbe) — в старину парижская городская

больница, родильный дом для нищих и арестанток. *Краковское древо* — старый каштан в саду дворца Пале-Рояль; название его возникло в XVIII в. и связано с вопросом о разделе Польши.

Стр. 516. *Консьержери* — тюрьма в Париже.

Стр. 538. *Аттила* — вождь гуннов (ум. в 453 г.).

Стр. 552. *Перро* Шарль и его сын Пьер — французские писатели XVII в., авторы знаменитых обработок народных сказок.

Стр. 563. *...этой Дасье своего ордена.* — Анна *Дасье* (урожденная Лефевр, 1651—1720) — ученая женщина своего времени, перевела на французский язык «Илиаду» и «Одиссею» и ряд произведений греческих и римских поэтов и драматургов

Стр. 576 *Жан-Жак* — то есть Жан-Жак Руссо.

...Вольтер, защищавший Каласа, Лабара и Сирвена... — В 1762 г. старик протестант Жан *Калас* был колесован по ложному обвинению в убийстве своего сына-католика, в действительности покончившего самоубийством из-за долгов. Вольтер встал на защиту Каласа, смело обличая религиозный фанатизм, и в результате упорной трехлетней борьбы добился посмертной реабилитации Каласа и спас его семью. *Сирвен* и *Лабар* — жертвы религиозного фанатизма, которых Вольтер защищал вскоре после Каласа.

Олоферн — по библейскому мифу, жестокий вавилонский полководец, погибший от руки красавицы Юдифи, которая отомстила ему за злодеяния против ее народа.

Стр. 584. *...заменить Эдем аристотелевым Ликеем.* — *Эдем* — по библии, земной рай, где жили первые люди Адам и Ева. *Ликей* — одна из трех афинских гимназий, расположенная близ храма Аполлона Ликейского. Там читал свои лекции Аристотель.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

ФАНТИНА

Перевод Д. Г. Лившиц

Книга первая

ПРАВЕДНИК

Глава первая. Господин Мириэль	9
Глава вторая. Господин Мириэль превращается в монсеньора Бьенвеню	12
Глава третья. Доброму епископу трудная епархия	17
Глава четвертая. Слово не расходится с делом	19
Глава пятая. О том, что монсеньор Бьенвеню слишком долго носил свои сутаны	27
Глава шестая. Кому он поручил охранять свой дом	30
Глава седьмая. Крават	35
Глава восьмая. Философия за стаканом вина	39
Глава девятая. Сестра о брате	43
Глава десятая. Епископ перед неведомым светом	47
Глава одиннадцатая. Оговорка	60
Глава двенадцатая. Одиночество монсеньора Бьенвеню	64
Глава тринадцатая. Во что он верил	67
Глава четырнадцатая. О чем он думал	72

Книга вторая

ПАДЕНИЕ

Глава первая. Вечером, после целого дня ходьбы	75
Глава вторая. Мудрость, предостерегаемая благоразумием	87
Глава третья. Героизм слепого повиновения	91

<i>Глава четвертая. Некоторые подробности о сыроварнях в</i> <i>Понтарлье</i>	97
<i>Глава пятая. Спокойствие</i>	101
<i>Глава шестая. Жан Вальжан</i>	102
<i>Глава седьмая. Глубь отчаянья</i>	108
<i>Глава восьмая. Море и мрак</i>	116
<i>Глава девятая. Новые горести</i>	118
<i>Глава десятая. Человек проснулся</i>	119
<i>Глава одиннадцатая. Что он делает</i>	122
<i>Глава двенадцатая. Епископ за работой</i>	126
<i>Глава тринадцатая. Малыш Жерве</i>	129

Книга третья
В 1817 ГОДУ

<i>Глава первая. 1817 год</i>	139
<i>Глава вторая. Двойной квартет</i>	145
<i>Глава третья. Четыре пары</i>	150
<i>Глава четвертая. Толомьес так весел, что поет испанскую</i> <i>песенку</i>	154
<i>Глава пятая. У Бомбарды</i>	157
<i>Глава шестая, в которой все обожают друг друга</i>	159
<i>Глава седьмая. Мудрость Толомьеса</i>	161
<i>Глава восьмая. Смерть лошади</i>	167
<i>Глава девятая. Веселый конец веселья</i>	170

Книга четвертая
ДОВЕРИТЬ ДРУГОМУ, ЗНАЧИТ ИНОГДА БРОСИТЬ НА
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ

<i>Глава первая, в которой одна мать встречается другую мать .</i>	173
<i>Глава вторая. Беглая характеристика двух темных личностей .</i>	182
<i>Глава третья. Жаворонок</i>	184

Книга пятая
ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ

<i>Глава первая. Как было усовершенствовано производство</i> <i>изделий из черного стекла</i>	188
<i>Глава вторая. Мадлен</i>	190
<i>Глава третья. Суммы, депонированные у Лафита</i>	193

<i>Глава четвертая.</i> Господин Мадлен в трауре	196
<i>Глава пятая.</i> Смутные вспышки молний	199
<i>Глава шестая.</i> Дедушка Фошлеван:	204
<i>Глава седьмая.</i> Фошлеван становится садовником в Париже .	207
<i>Глава восьмая.</i> Госпожа Виктюрье тратит тридцать пять франков во имя нравственности	209
<i>Глава девятая.</i> Торжество госпожи Виктюрье	212
<i>Глава десятая.</i> Последствия торжества	214
<i>Глава одиннадцатая.</i> Christus nos liberavit	220
<i>Глава двенадцатая.</i> Досуги господина Баматабуа	221
<i>Глава тринадцатая.</i> Разрешение некоторых вопросов, нахо- дящихся в ведении муниципальной полиции	224

Книга шестая

ЖАВЕР

<i>Глава первая.</i> Начало отдохновения	235
<i>Глава вторая.</i> Каким образом Жан может превратиться в Шан.	239

Книга седьмая

ДЕЛО ШАНМАТЬЕ

<i>Глава первая.</i> Сестра Симплиция	249
<i>Глава вторая.</i> Проницательность дядюшки Скофлера	252
<i>Глава третья.</i> Буря в душе	257
<i>Глава четвертая.</i> Страдание принимает во сне странные образы	276
<i>Глава пятая.</i> Палки в колесах	279
<i>Глава шестая.</i> Испытание сестры Симплиции	291
<i>Глава седьмая.</i> Приезжий обеспечивает себе обратный путь .	298
<i>Глава восьмая.</i> Вход для избранных	303
<i>Глава девятая.</i> Место, где слагаются убеждения	306
<i>Глава десятая.</i> Система запирательства	313
<i>Глава одиннадцатая.</i> Удивление Шанматье возрастает	321

Книга восьмая

УДАР РИКОШЕТОМ

<i>Глава первая.</i> В каком зеркале господин Мадлен видит свои волосы	326
<i>Глава вторая.</i> Фантина счастлива	329

<i>Глава третья.</i> Жавер доволен	333
<i>Глава четвертая.</i> Законная власть восстанавливает свои права.	336
<i>Глава пятая.</i> По мертвецу и могила	340

Часть вторая

КОЗЕТТА

Перевод Н. А. Коган

Книга первая

ВАТЕРЛОО

<i>Глава первая.</i> Что можно встретить по дороге из Нивеля	349
<i>Глава вторая.</i> Гугомон	351
<i>Глава третья.</i> 18 июня 1815 года	358
<i>Глава четвертая.</i> А	360
<i>Глава пятая.</i> Quid obscurum сражений	362
<i>Глава шестая.</i> Четыре часа пополудни	366
<i>Глава седьмая.</i> Наполеон в духе	368
<i>Глава восьмая.</i> Император задает вопрос проводнику Лакосту	374
<i>Глава девятая.</i> Неожиданность	377
<i>Глава десятая.</i> Плато Мон-Сен-Жан	381
<i>Глава одиннадцатая.</i> Дурной проводник у Наполеона, хороший у Бюлова	386
<i>Глава двенадцатая.</i> Гвардия	387
<i>Глава тринадцатая.</i> Катастрофа	389
<i>Глава четырнадцатая.</i> Последнее каре	391
<i>Глава пятнадцатая.</i> Камброн	393
<i>Глава шестнадцатая.</i> Quot libras in duce?	395
<i>Глава семнадцатая.</i> Следует ли считать Ватерлоо событием положительным?	400
<i>Глава восемнадцатая.</i> Восстановление священного права	402
<i>Глава девятнадцатая.</i> Поле битвы ночью	405

Книга вторая

КОРАБЛЬ «ОРИОН»

<i>Глава первая.</i> Номер 24601 становится номером 9430	412
<i>Глава вторая,</i> в которой прочтут двустилие, сочиненное, быть может, дьяволом	415

<i>Глава третья</i> , из которой видно, что надо предварительно поработать над звеном цепи, чтобы разбить его одним ударом молотка	419
--	-----

Книга третья

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЯ, ДАННОГО УМЕРШЕЙ

<i>Глава первая</i> . Вопрос о водоснабжении в Монфермейле . . .	429
<i>Глава вторая</i> . Два законченных портрета	432
<i>Глава третья</i> . Людям вино, а лошадям вода	438
<i>Глава четвертая</i> . На сцене появляется кукла	440
<i>Глава пятая</i> . Малютка одна	441
<i>Глава шестая</i> , которая, быть может, доказывает сообразительность Башки	447
<i>Глава седьмая</i> . Козетта в темноте бок о бок с незнакомцем .	451
<i>Глава восьмая</i> . Как неприятно впустить в дом бедняка, который может оказаться богачом	454
<i>Глава девятая</i> . Тенардые за делом	472
<i>Глава десятая</i> . Кто ищет лучшего, может найти худшее . .	480
<i>Глава одиннадцатая</i> . Номер 9430 появляется снова, и Козетта выигрывает его в лотерею	485

Книга четвертая

ЛАЧУГА ГОРБО

<i>Глава первая</i> . Хозяин Горбо	487
<i>Глава вторая</i> . Гнездо совы и славки	493
<i>Глава третья</i> . Слившись, два несчастья дают счастье . . .	495
<i>Глава четвертая</i> . Наблюдения главной жилицы	499
<i>Глава пятая</i> . Пятифранковая монета, падая на пол, издает звон	501

Книга пятая

НОЧНАЯ ОХОТА С НЕМОЙ СВОРОЙ

<i>Глава первая</i> . Стратегические ходы	505
<i>Глава вторая</i> . К счастью, по Аустерлицкому мосту проезжают повозки	508
<i>Глава третья</i> . Смотри план Парижа 1727 года	510
<i>Глава четвертая</i> . В поисках спасения	513
<i>Глава пятая</i> . Что было бы немыслимо при газовом освещении	516

<i>Глава шестая.</i> Начало загадки	519
<i>Глава седьмая.</i> Продолжение загадки	522
<i>Глава восьмая.</i> Загадка усложняется	524
<i>Глава девятая.</i> Человек с бубенчиком	526
<i>Глава десятая,</i> в которой рассказано, как Жавер сделал ложную стойку	529

Книга шестая
МАЛЫЙ ПИКПЮС

<i>Глава первая.</i> Улица Пикпюс, номер 62	539
<i>Глава вторая.</i> Устав Мартина Верга	543
<i>Глава третья.</i> Строгости	550
<i>Глава четвертая.</i> Веселье	551
<i>Глава пятая.</i> Развлечения	555
<i>Глава шестая.</i> Малый монастырь	560
<i>Глава седьмая.</i> Несколько силуэтов среди мрака	563
<i>Глава восьмая.</i> Post corda lapides	565
<i>Глава девятая.</i> Сто лет под апостольником	567
<i>Глава десятая.</i> Происхождение «неустанного поклонения» .	569
<i>Глава одиннадцатая.</i> Конец Малого Пикпюса	571

Книга седьмая
В СКОБКАХ

<i>Глава первая.</i> Монастырь как отвлеченное понятие	573
<i>Глава вторая.</i> Монастырь как исторический факт	574
<i>Глава третья.</i> При каких условиях можно уважать прошлое .	577
<i>Глава четвертая.</i> Монастырь с точки зрения принципов . . .	579
<i>Глава пятая.</i> Молитва	581
<i>Глава шестая.</i> Неоспоримая благодать молитвы	582
<i>Глава седьмая.</i> Порицать следует с осторожностью	585
<i>Глава восьмая.</i> Вера, закон	585

Книга восьмая
КЛАДБИЩА БЕРУТ ТО, ЧТО ИМ ДАЮТ

<i>Глава первая,</i> где говорится о способе войти в монастырь .	589
<i>Глава вторая.</i> Фошлеван в затруднительном положении . . .	597
<i>Глава третья.</i> Мать Непорочность	599

<i>Глаза четвертая</i> , в которой может показаться, что Жан Вальжан читат Остена Кастильхо	610
<i>Глава пятая</i> . Быть пьяницей еще не значит быть бессмертным	616
<i>Глава шестая</i> . Меж четырех досок	623
<i>Глава седьмая</i> , из которой читатель уяснит, как возникла поговорка: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь» . .	625
<i>Глава восьмая</i> . Удачный допрос	633
<i>Глава девятая</i> . Жизнь в заточении	636
Комментарии <i>С. Брахман</i>	645
Перевод стихов в тексте романа сделан <i>В. Левином</i> .	

ОПЕЧАТКИ И РЕДАКЦИОННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ К 5-му ТОМУ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
59	9 св.	директора	диктатора
693	11 св.	Вашингтон, Джордж (1732—1779)	Вашингтон, Джордж (1732—1799)
713	1 св.	Шатобриан, Франсуа - Огюст (1769—1848)	Шатобриан, Франсуа Рене (1763—1848)

Редакторы

С. Рошаль и Н. Хуцишвили

Оформление художника С. Пожарского

Художественный редактор А. Ермаков

Технический редактор Г. Каунина

Корректор Л. Петрова

*

Сдано в набор 9/II 1954 г.

Подписано к печати 25/V 1954 г.

А 04636. Бумага 84×108¹/₃₂—42 печ. л.—

34,44 усл. печ. л. 34,03 уч.-изд. л. Тираж

150 000. Заказ № 1085. Цена 12 р.

Гослитиздат

Москва, Ново-Басманная, 19

*

Министерство культуры СССР.

Главное управление полиграфической
промышленности. 2-я типография

«Печатный Двор» им А. М. Горького.

Ленинград, Гатчинская, 26.